СИБИРЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

НОВОСИБИРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НОВОСИБИРСК—1938

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

До победы Великой Октябрьской социалистической революции Сибирь была одной из самых отсталых окраин России.

Огромные природные богатства Сибири или лежали неисследованными, или хищнически эксплоатировались шайкой капиталистов. Промышленность была не развита.

Идиллические басни о, так называемом, «привольном» житье сибирского крестьянина давно уже разоблачены. Привольно в дореволюционной Сибири жилось царским чиновникам, торговцам, промышленникам, попам, баям, кулакам, всякого рода авантюристам, а миллионы трудящихся жили в нужде, темноте, жестоко эксплоатировались. Трудящиеся многочисленных национальностей Сибири, «инородцы», как их презрительно звали много столетий — ойроты, хакасы, шорцы, казахи, татары, буряты, якуты, народы севера, — все они, кроме эксплоатации российским царизмом и российскими капиталистами, кулаками, торговцами и попами, безжалостно эксплоатировались и своей родовой знатью, баями, зайсанами, шаманами.

В течение многих веков Сибирь была местом каторги и ссылки всех, кто поднимал свой голос против эксплоататоров, кто боролся против них.

«На дальней родине моей
Обычный звук был звук цепей»

писал поэт Омулевский полвека тому назад. Радищев, декабристы, Чернышевский, сотни тысяч рабочих, крестьян, представителей интеллигенции, выступавших против царского самодержавия, крепостничества, капиталистов и помещиков, ссылались в Сибирь.

Руководители большевистской партии товарищи В. И. Ленин и И. В. Сталин и выдающиеся деятели ее товарищи Я. М. Свердлов, Г. К. Орджоникидзе, Ф. Э. Дзержинский, В. В. Куйбышев, М. В. Фрунзе были также в сибирской ссылке, и многие из них не раз.

О Сибири имеется богатая художественная литература. Лучшие писатели дореволюционной России и СССР в художественных образах показали нам прошлое Сибири. Пушкин, Рылеев, Некрасов, Л. Толстой, Достоевский, Гончаров, Короленко, Чехов, Мамин-Сибиряк, Омулевский, советские писатели: В. Иванов, А. Фадеев, В. Шишков, Новиков-Прибой и многие другие — все они писали о Сибири. Сибирь нашла отражение в ряде прекрасных произведений А. М. Горького.

Какая же задача ставилась при составлении этой книги? Здесь совсем не предполагалось дать антологию сибирских писателей или хрестоматию по истории Сибири. Мы хотели в лучших образцах художественной литературы показать лишь основные, характерные страницы прошлого Сибири.

Разумеется, не все произведения равноценны в художественном отношении, некоторые произведения недостаточно правильно оценивают события и в хрестоматию они включены исключительно потому, что дают читателю ценный фактический материал о прошлом Сибири.

Как бы ни была велика художественная литература о Сибири, все же целый ряд крупнейших исторических событий оказался не освещенным в художественной литературе или освещенным совершенно недостаточно.

Революция 1905 года, большевики в сибирской ссылке, Ленские события 1912 г., отражение империалистической войны в Сибири — об этих событиях художественной литературы почти нет, как нет еще произведений об Октябрьской социалистической революции в Сибири. Это не могло не отразиться на характере и содержании книги.

Материал в сборнике расположен по тематическому принципу. Однако внутри каждого раздела он помещен в хронологическом порядке. Так, например, в разделе о политической ссылке последовательно идут произведения о ссылке Радищева, декабристов, Чернышевского, народников, деятелей большевистской партии.

В примечаниях даются короткие библиографические сведения о каждом произведении, которое вошло в сборник, без оценок этих произведений, считая, что политико-литературная оценка многочисленных художественных произведений о Сибири должна послужить предметом особой работы.

В этой книге делается попытка показать дореволюционную Сибирь. Показ советской социалистической Сибири — тема другой книги, над которой ведет работу Новосибирское областное издательство ОГИЗа.

С. Я. Елпатьевский

Абаканская степь

Все могилы, могилы... От Саянских гор, что полукругом обошли широкую степь, до темных лесов, обнявших ее с севера, на сотни верст нескончаемою вереницей тянутся десятки тысяч могильников. То как сторожевой пикет на степном бугре, то как кружок близких родственников, собравшихся в тихой долине у степного ручья, то как большой город, раскинувшийся на несколько верст на ровной площади,—они заполонили степь, наполнили ее от края до края. Высокие, в человеческий рост, плоские камни, врытые в землю и поставленные стоймя, окружают каждую могилу, словно стерегут ее.

Могильные камни, заросшие травой огромные оросительные каналы, засыпанные землей шахты и подземные ходы для добывания меди, серебра и золота, да таинственные письмена, начертанные на высоких скалах, угрюмо нависших над Енисеем, где летают только орлы, — вот все, что осталось от могучего народа, когда-то наполнявшего степь и жившего огромною жизнью. Он унес все с собой в могилу: унес свои медные стрелы, свои чудные бронзовые ножи и странные золотые и серебряные украшения, он похоронил с собой свое прошлое, свою историю, свой язык, даже самое имя свое. Не одну тысячу лет встает солнце над степью-кладбищем — и все так же обросшие мхом камни стерегут старые могилы, все такою же темной загадкой стоят перед новым человеком таинственные письмена на высоких скалах Енисея.

Кто ты, безыменный, трижды мертвый народ? Как ты жил, о чем думал, во что верил, где потомки твои?.. Могилы молчат, люди забыли.

Тиха и мертва огромная Абаканская степь. Безоблачное раскаленное небо, зноем пышущая, растрескавшаяся от жары земля, низкая выжженная степная трава, сумрачною толпой уходящие вдаль темные горы и могилы, могилы кругом... Белыми пятнами блеснут на солнце солончаки, голубою пеленой глянет в голых берегах горько-соленое озеро, мелькнет между могилами на степном холме, бог знает откуда взявшаяся, хилая березка с опущенными ветвями и завядшими листьями, тонкою струей встанет вдали синий дымок, как свидетельство одинокой людской жизни, где-то теплящейся в безлюдной степи, — и опять вправо и влево, куда только глянет глаз, горячее синее небо, раскаленная земля, бесконечный ковыль, бесконечные могилы...

Вот, как ураган, пронеслось по степи стадо в несколько тысяч полудиких коней. С диким ржанием, с раздувающимися ноздрями и развевающимися гривами бешено мчатся они к своему водопою, и степь дрожит под ногами их. Исчезли из виду кони, — тихо и пусто в степи, только земля еще гудит, да узкая полоса поднятой пыли далеко тянется и долго стоит в неподвижном воздухе. Вот показалась между могилами сонная фигура качинца. Опустивши голову на грудь, он медленно покачивается в седле и тянет свою бесконечную, тихую, как журчанье горного ручья, песню. Он в'ехал на бугор; узкие сонные глаза его раскрываются и лениво смотрят в раскаленную степь; голова с черными как уголь, и жесткими, как конская грива, волосами запрокидывается назад, и дикие, как ржанье степного коня, звуки вырываются из горла, странно гремят и далеко разносятся по степи; снова опускается голова на грудь, резко обрывается и падает голос — и снова, как журчащий ручей,

тихо льется заунывная песня. Еще раз мелькнула из-за могил темная голова, долетел издалека последний звук песни, и опять степь пуста и тиха, только саянский орел медленно плавает в синей выси безоблачного неба, да Енисей глухо плещет сонною волной...

Ночью, когда встанет над горами луна, оживает степь. Странный шум наполняет ее, словно неясный говор тысяч голосов, словно смутный шорох где-то далеко идущей толпы. Закроется луна набежавшим облаком — и странные тени побегут между могилами. Прозвенит испуганный крик птички, словно полузадавленный человеческий стон, и степь замолчит, насторожится, прислушается. А горы подошли ближе и обступили степь, и смотрят на нее своими темными головами. Могильные камни выросли и стоят словно люди, словно сторожевые воины в спящем лагере, ждущие, что вот загремит вестовая труба и проснутся спящие люди, заблестит бронзовое оружие и громом пронесется по степи крик миллионной толпы...

Смутный говор все несется из степи; неподвижно стоят могильные камни; как чье-то бледное лицо, смотрит из-за могил угол озаренного луной озера... Степь замерла, полная тревоги, ожиданий, какой-то смутной тоски, а Енисей все говорит, все что-то шепчет...

Встанет солнце над степью, пропадут ночные привидения — и снова неподвижно стоят обросшие мхом старые могильные камни, стоят безмолвные, печальные, забытые.

Только горы, которые все видели, и Енисей, который все помнит, да ветер, что день и ночь носится по свету и знает все старые истории, — только они одни время от времени вспоминают далекое прошлое...

Тогда облаками, как белым саваном, окутывают горы свои вечные лица и острые пики дымятся, как жертвенники: тогда ветер, как безумная мать, с безумным плачем носится по степи; тогда встают седые волны старого Енисея и глухо ропщут, и тяжело бьются о пустынный берег... В ужасе мечется степная березка и гнется до земли, и снова встает, и, как умоляющий человек, протягивает свои руки-ветви, и печальный ковыль с робкою лаской припадает к холодным плитам, могильные камни дрожат и гудят, гудит и земля, словно там, в глубине ее старые люди ворочаются в старых могилах.

Тихо и пусто кругом. Все могилы, могилы...

К. Ф. Рылеев

Смерть Ермака

Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали;
Бесперерывно гром гремел
И ветры в дебрях бушевали...
Во славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, об'ятый думой.

Товарищи его трудов,
Побед и громозвучной славы,
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали близ дубравы.
«О спите, спите, — мнил герой: —
Друзья, под бурею ревущей;
С рассветом глас раздастся мой,
На славу, иль на смерть зовущий!

Вам нужен отдых; сладкий сон
И в бурю храбрых успокоит;
В мечтах напомнит славу он
И силы ратников удвоит...

Кто жизни не щадил своей
В разбоях, злато добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святую погибая?

Своей и вражьей кровью смыв
Все преступленья буйной жизни,
И за победы заслужив
Благословения отчизны, —
Нам смерть не может быть страшна;
Свое мы дело совершили:
Сибирь царю покорена,
И мы — не праздно в мире жили!»

Но роковой его удел
Уже сидел с героем рядом,
И с сожалением глядел
На жертву любопытным взглядом.
Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали;
Бесперерывно гром гремел
И ветры в дебрях бушевали.

Иртыш кипел в крутых брегах;
Вздымалися седые волны
И рассыпались с ревом в прах,
Бия о брег казачьи челны.
С вождем покой в об'ятьях сна
Дружина храбрая вкушала;
С Кучумом буря лишь одна
На их погибель не дремала.

Страшась вступить с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный,
Прокрался тайною тропой,
Татар толпами окруженный;
Мечи сверкнули в их руках —
И окровавилась долина,
И пала, грозная в боях,
Не обнажив меча, дружина...

Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны;
Душа отвагою полна,
Но далеко от брега челны!

Иртыш волнуется сильней...
Ермак все силы напрягает,
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает...

Плывет... уж близко челнока...
Но сила року уступила,
И, закипев страшней, река
Героя с шумом поглотила.
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцырь — дар царя —
Стал гибели его виною.

Ревела буря... Вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной, озарился.
Носились тучи, дождь шумел,
И молнии еще сверкали,
И гром вдали еще гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

П. Ершов

Сузге

Сибирское предание из времен завоевания Сибири

ЦАРЬ КУЧУМ

Царь Кучум один владеет
Всей Сибирскою землею;
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем
Одному ему подвластны;
Он берет со многих дани,
Сам не платит никому.
Царь Кучум, сидя в Искере,
С утра раннего до ночи,
Пишет царские приказы,
Рассылает повеленья,
От Урала до Алтая,
По Сибирской всей земле.
Много силы у Кучума,
Много всякого богатства:
Драгоценные каменья,
Из монистов ожерелья,
Черный соболь и лисицы,
Золото и серебро.
Царь Кучум живет в палатах,
Ест с серебряного блюда,
Из ковша пьет золотого,
Спит под шелковым навесом,
На пуховых на постелях,
Ходит мягко по коврам.
У того царя Кучума
Две подруги молодые,
Две пригожие царицы,
Полногруды, белолицы;
У одной глаза как небо,
У другой глаза как ночь.
Царь Кучум обеих любит,
Царь Кучум обеих нежит,
С алой розы умывает,
В шелк, в монисты наряжает,
И дородство, и пригожство,
Пуще глаза бережет.
. . . . . .

ГОНЕЦ

Всходит утро над Сузгуном.
Вдруг к Сузге в высокий терем
Старшина седой приходит;
Торопливо просит видеть
Чрез рабынь свою царицу,
Молвить важные ей вести,
Слово нужное сказать.
И царица призывает
Старшину в свою светлицу,
И волнистою фатою,
Словно облаком летучим,
Осторожно закрывает
Полнолунное лицо.
Вскоре входит старый воин.
Скинув шапку меховую,
Он честит Сузге поклоном.
— «Вести важные, царица!
«Здесь гонец царя Кучума,

«Сохрани его Алла!
«К нам от западной границы,
«От крутых верхов Урала,
«Без призыву, без прошенья,
«Вдруг пожаловали гости,
«И пируют нашей кровью
«По Сибирской всей земле.
«Царь Кучум гонцов отправил,
«Чтоб со всех сторон Сибири
«Для защиты, для отпора,
«Собирались стар и молод;
«Чтобы все свои селенья
«Укрепляли в тот же час.
«И к тебе гонец, царица!
«Царь Кучум велит, не медля,
«Строить стены и бойницы,
«Делать валы и ограды,
«Снаряжать себя довольством,
«Рать осадную сбирать».
— «А далеко ль эти гости?» —
Старшину Сузге спросила.
— «А когда б стрела летела
«Час один с одною силой,
«Так к концу она упала б
«В их неверные шатры».
И дает Сузге-царица
Старшине тому седому
Тихо умные приказы,
И послушно старый воин
Ей клянется головою
Все исполнить, как велит.

УКРЕПЛЕНИЕ

Спеет дружная работа:
С утра раннего до ночи
Сто работников послушных
Носят камни, возят бревна,
Роют рвы и сыплют валы,
Укрепляют царский холм.
Вот проходят две недели,
И Сузге веселый терем
Смотрит грозною твердыней:
Обнесен кругом стенами,
Обведен высоким валом,
Окружен глубоким рвом;
Две бойницы подле ската,
И одна из них — на запад,
Где Иртыш шумит волнами
А другая — на востоке,
Там, где стелется равнина
Бесконечной полосою.
И с бойниц тех непрестанно
Смотрят вдаль сторожевые
И, при каждом появленьи
Незнакомых лиц в равнине,
Вызывают громким криком
На бойницы весь отряд.
И гонец, два раза в сутки,
Скачет шибко за вестями
От Сузгуша до Искера;
Но, к несчастью, с каждым разом,
Все нерадостные вести
Он привозит от царя.

МАХМЕТ-КУЛ

Раз, вечернею порою,
В те часы, когда молитву
Правоверные свершали,
А Сузге в своей светлице
Думу думала, — нежданно
Быстро входит воин к ней.
Грозен вид его сердитый;
Лоб наморщен; губы гневом
Сведены; глаза сверкают.
Ни поклона, ни привета
Он не делает царице
И не смотрит на нее.
— «Брат!» — царица восклицает,
И встает поспешно с места,
И сжимает брату руки: —
«Или новое несчастье
«Нас постигло? Что ж?.. Не медли!
«Все ли кончено? скажи!»
Молчалив и гневен воин.
—«Что с Кучумом? Что с народом?..»—
Вновь царица начинает: —
«Или бог совсем оставил
«Правоверных? Иль пришельцы
«Посягнули на царя?..»
Вздох страданья, вздох тяжелый —
Был ответ Махмет-Кула.
Вдруг сорвал он свою саблю,
Бросил об пол с сильным гневом
И, закрыв лицо руками,
— «Все пошибло!» — простонал: —
«Пришлецы теперь пируют
«В нашем городе Искере;
«Наше войско — куча трупов;
«Сам Кучум бежал поспешно,
«Бросив все свои богатства...
«Гибель царства решена!..»
Долго длилося молчанье
Между братом и сестрой.
Вдруг из ясных глаз царицы
Слезы градом покатились:
— «Мой супруг! мой повелитель!» —
Громко вскрикнула она.

. . . . . .

ЕРМАК

Царь Кучум в степях горюет
По своем богатом царстве;
А в больших его палатах
Казаки сидят за чарой,
Поминают Русь святую
И московского царя.
Впереди сидит начальник

И большой их воевода,
Первый в бое и советах,
Тот Ермак ли Тимофеич.
Редко к чаре он коснется,
И среди веселья крепко
Думу думает свою.
Справа — грозный воевода,
Атаман Кольцо, отважный,
Буйну голову повесив;
Слева — весел и разгулен
С полной чарою глубокой,
Атаман Гроза сидит.
На другом конце пируют
Три другие атамана:
Мещеряк, Михайлов с Паном.
За палатами ж Кучума
На дворе большом гуляют
Удалые казаки.

Светлый день идет на вечер,
А казацкий пир к исходу...
Вдруг большой их воевода,
Тот Ермак ли Тимофеич,
Выпив чарку едным духом,
Быстро встал из-за стола.

— «Нет, товарищи!» — сказал он: —
«Рано нам еще на отдых;
«Наше дело начатое
«Довершить сперва надлежит:
«Мы Искер один лишь взяли,
«Остается взять Сибирь.
«К нам дошли худые вести:
«Говорят, что царский шурин
«Не бежал с царем Кучумом,
«Что сидит теперь в Сузгуше,
«Что тайком сбирает войско,
«Чтоб Искер у нас отнять.
«Завтра — с богом, за работу!
«Ты, Гроза, пойдешь к Сузгуну
«Со своею всей дружиной,
«И уж волей, иль невóлей,
«А возьми Махмета-Кула;
«Только помни благость бога,
«Не губи напрасно всех.
«Ты, Кольцо, сиди в Искере,
«Береги его для Руси;
«Сам же я пойду с другими
«На царя того, Сейдяка.
«Надо кончить поскорее:
«Ведь зима не за горами».

Речь Ермак свою окончил,
Встали тихо атаманы.
— «Гой, Ермак наш Тимофеич!» —
Громко все они вскричали: —
«Ты приказывать нам можешь,
«Мы послушники твои!».

. . . . . .

ОСАДА

День седьмой уже проходит;
Утомился казаки;
Утомился татары.
— «Стыд, когда не взяв, отступим,
— «Стыд, когда сдадим ограду!»
Вновь напор и вновь отпор.
Наконец, Гроза, с согласья
Всех десятников и старших,
Пишет грамоту и просьбу
К Ермаку, такою речью:
— «Две недели уж проходят,
«А мы все еще не можем
«Взять Сузгуна на мечи,
«Да и что это за крепость!
«Да и что это за люди!
«Хоть Махмета не видали,
«Но по этому упорству
«Думу думаем такую,
«Что он верно тут сидит.
«Ждем приказу войскового —
«Что нам делать. Если снова
«Ты велишь держать в осаде
«Эту крепость, то мы просим
«К нам людей прислать побольше:
«Малым крепости не взять.
«Вот, когда бы в чистом поле
«Нам схватиться привелось, —
«Это дело бы другое.
«А стена покрепче груди,
«Хоть и то мечи порядком
«Мы сточили об нее».

СТРЕЛА

Снова тянется осада.
Двои сутки уж проходят,
А на третьи, темной ночью,
От Махметова улана
В крепость брошена с известьем
Быстроперая стрела.
— «Бог совсем татар оставил», —
Так известье начинает: —
«Три дня ровно, как случилась
«Сеча с русскими большая;
«Нами правил брат твой храбрый,
«Ими властвовал Ермак.
«Семь часов та сеча длилась,
«А в восьмой — твой брат, царица,
«Ранен меткою пищалью.
«Без главы осталось войско.
«Те побиты, те бежали,
«А Махмет-Кул взят в полон».
Нет речей в устах царицы!
Нет слезы в глазах несчастной!
А меж тем, как черны тучи,
Думы тяжкие проходят,
Женский ум ее тревожат,
Точат сердце, давят грудь.

О, Сузге, моя царица!
И последняя надежда
На великого Махмета
Вдруг потеряна! Он пленник!
Царь Кучум — в степях, далеко!
Что ты ждешь еще себе?

. . . . . .

ВХОД КАЗАКОВ

Входят весело казаки
В крепость грозного Сузгуна;
Впереди их воевода,
Атаман Гроза, и
Он прилежно озирает
Покорившийся Сузгун.
Вот идет он в терем царский,
Словом ласковым приветить
Несчастливую царицу,
Но в палатах царских пусто.
Он обходит все строенье,
Но царицы нет нигде.
— «Где ж она?» — Гроза подумал,
И большое подозренье
В грудь казачую запало.
Злой укор в устах теснится...
Вдруг увидел он царицу
И укор свой удержал.
Под навесом пихт душистых,
Прислоняся головою
К корню дерева, сидела
Слинокая царица.
Вьется ветром покрывало,
Руки сложены на грудь.
Атаман к Сузге подходит,
Шапку ей свою снимает,
Низко кланяясь, молвит:
— «Будь спокойна ты, царица!
«Мы казаки, а не звери,
«Мы уважим царский сан.
«Бог нам дал победу,
«Так прешно бы нам и стыдно,
«Благость бога презирая,
«Обижать тебя, царица!
«Ты о плене позабудешь,
«Слово честное даю».
Но напрасно воевода
Ждет ответа от царицы.
Изумлен ее молчаньем,
Подошел он тихо к ней,
Тихо поднял покрывало
И поспешно отступил.
Матерь божия! не сон ли
Видит он? В лице нет жизни;
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь из-под одежды,
И в глазах полуоткрытых
Померкает божий свет.
— «Что ты сделала, царица?» —
Вскрикнул громко воевода,
Кровь рукою зажимая.
Вдруг царица задрожала,
На Грозу она взглянула...
Это не был взор отмщенья,
Это был последний взор!

ОТПЛЫТИЕ

Под наклоном пихт душистых
Собрался все казаки.
И стоят они без шапок;
Два урядника отряда
Насыпают холм могильный.
Тишина лежит кругом.
Вот обряд печальный кончен.
Поклонясь сырой могиле,
Говорит Гроза казакам:
— «Гой, товарищи-казаки!
«Здесь нам нет уж больше дела,
«Снаряжайтесь на Искер!»

. . . . . .

Ночь спустилася на землю,
Ветер воет по дубраве,
Гонит тучи дождевые,
И Иртыш о круть утеса
Плещет звонкою волной.
Распустив свои ветрила,
Едут добрые казаки.
Льется песня их живая —
Что про матушку про Волгу,
Что про Дон, их Дон родимый,
Что про славу казака!
А вдали, крутясь волнами,
Блещет пламя над Сузгуном.
На стенах его высоких,
На крутых его бойницах,
Рдеет небо полуночи,
Блещут волны Иртыша.

И. М. Петров

Картины из времен завоевания Сибири

Уж потемнело; луч зари
Померк за дальнею горою;
В утесах скрылись дикари,
Умолк призывный голос к бою.
Глядит задумчиво луна
На дикий берег Енисея.
Увы, пустынная страна!
Пробил твой час: во мгле чернея,
Как привиденья, вдоль реки
Отаборились казаки.

Расстлав ковры на поле чистом
Вокруг пылающих огней,
Одни тревожат дикарей
Пронзительным, ужасным свистом;
Другие, шумною толпой
Стеснясь в кружок, в восторге диком
Добычу делят меж собой,
И даль гремит победным кликом;
Меж тем зеленое вино
Струей шипучей в чары льется,
Готовят в пищу толокно
И песнь удалых раздается.
Они поют про Ермака:
Его сибирские походы
Предмет любимый казака.
В стране, где вьюги на полгода
Мертвят весенний злак полей,
И вновь воскресшая природа
Сильнее властвует душой, —
Однообразен, как могилы
Торжественная тишина,
И так же мрачен, как она,
Напев угрюмый и унылый.
Но он питателен сердцам
К суровой жизни приученным,
Как снег растительным полям,
Весенним солнцем озаренным.

Но что?.. Какое там светило
На дальних всходит берегах?
Что ночи тишину смутило?
И в глубине и на скалах
Опять раздался клик военный!
Глядит Хорлу... бегут, шумят,
И волн несется стон смятенный,
Плывут ладьи, брега горят!
И вот весь стан в ночном тумане —
Как шквал внезапный в океане
Расторгнув, к битве полетел.
И засвистали тучи стрел
В дружину смелую казаков.
Светила ночи догорали;
Взошла с улыбкою заря.
Туман росою подымался,
Река сияла, как стекло;
Все было весело, светло,
И бой давно уж миновался,
И громко вторилось: ура!

В. Саянов

Старый Иркутск

На Дьячьем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб собирать ясак;
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.

Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.

И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуренный пожарами курень.

Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Не мало есть фамилий именитых:
Трапезниковы, Львовы, Баснины.

Он богател. Его жирели тракты.
Делил полмира белыми дверьми.
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.

Он грузен стал, он стал богат, а впрочем
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин,
От ярмарок и пазухов речных.

Он, словно струг, в века врезался, древний;
Рубили дом, стучали топоры;

Бродяги шли из Жилкинской деревни,
С Ерусалимской проклятой горы.

Он шлет их в даль. Оборванные парни
Идут навстречу смерти и пурге,
Мрут от цынги в тени холодных варниц,
От пули гибнут смолоду в тайге.

Чтоб богател, чтоб наливался жиром,
Купеческий, кабацкий, поторжной,
На весь немшоный край, над целым полумиром,
Поставленный купцами и казной.

В. М. Михеев

26 октября 1881 года

Уж триста лет, как сын опальный
России — в дальний край пришел,
И в нем обрел конец печальный
И славу громкую нашел...
И краем тем Москве спесивой
Челом ударил... Но река
Сибири мстительно-ревниво
Взяла навеки Ермака.
И из наследия опалы
Наш край опалы стал страной:
Сердец не мало припадало
Ко груди чуждо-ледяной...
Не зная к ней любви, быть может,
Они согрели эту грудь:
Ермак не ведал, что проложит
Для декабристов дальний путь.
Тот путь проложен им широко:
Тяжел и долог он — пускай!
Но нем детей своих с востока
На запад шлет далекий край.

И. Т. Калашников

Дочь купца Жолобова

Поднявшись к вершине Хамар-Дабана, которая покрылась к утру довольно глубоким снегом[1], Алексей был поражен величественною картиною, пред глазами его раскрывшеюся. На востоке, сливаясь с небом, синелись отдаленные воды Байкала; на западе тянулась бесконечная гряда гор, которые, быв также по вершинам покрыты снегом, и, сияя подобно ярко-освещенным облакам, представлялись в виде огромной, великолепной стены, как бы нарочно сложенной для ограждения благословенных стран юга от хладных ветров севера. Далеко в бездне синелись дремучие леса, коих гордая высота также была неприметна взору, как и величие всего земного незаметно пред взором, возносящимся к небу. Над головою светлел ясный, голубой свод неба, по которому, во всем блеске, катился золотой шар утреннего солнца. Воздух был самый чистый и благорастворенный. Все возносило мысли к творцу и благодетелю человека. Алексей невольно остановился. Он чувствовал в душе своей возрождающуюся какую-то непонятную силу, которая поставила его выше всех превратностей земли, как будто все земное уже окончилось, и начиналось небесное; как будто все земные бедствия уже не причастны ему, остались долу, и не могут коснуться к нему на сей высоте, на которой он владычествовал над ними. Сие возвышенное парение духа так приближало его к вечнонеизменному, вечнопокойному небу, столь было сладостно, утешительно для сердца, что Алексей желал бы продолжить его навсегда; но сии минуты небесного блаженства, блистающего иногда душе, столь же кратки на земле, как блеск молнии: они только открывают на мгновение таинство будущего, и снова погружают душу в прежний мрак земной ночи.

Между тем как Алексей предавался мечтанию, весь караван поднялся на гору, и начал спускаться вниз. «Какой прекрасный вид!» — сказал Алексей, обращаясь к

---

[1] Байкальские горы большею частью все лето бывают покрыты снегом, который едва растаивает в июне, а в августе по утрам начинает выпадать снова. (Прим. авт.).

известному путешественнику, который был селенгинский купец Гаврила Васильевич Неудачин, содержавший находящийся в недальнем расстоянии от Селенгинска соляной завод.

— Да, батюшко Алексей Федорович, видик больно хорош! — отвечал Гаврила Васильевич с большим равнодушием, быв из людей не самых чувствительных. — И какие леса чудесные! Кабы они да росли подле моего завода, то-то бы раздолье! А тут либо сгниют без всякой пользы, либо сгорят от п а л у[1]. Вон за Калтуком сколько лесов погибло! Право, взглянешь, так сердце поворотится!

— Правда! — отвечал Алексей, дивясь бесчувственности своего товарища, — потому-то и самое место названо Г а р я м и.

— Ах, батюшко, кстати о Г а р я х - т о: ведь какой же странный случай там встретился! Еду я, так помнится, часу около девятого... так, девятого; солнышко уже село за горы; в лесах была такая тишь; и я только что вздремнул, как вдруг слышу голос: «Помогите!». Я выскочил из повозки; глядь: а два человека привязаны к дереву. Я отвязал их. И кто бы, вы думали, один из них?

— Почему мне знать! — отвечал побледневший Алексей, опасаясь за Жолобова и Наталью.

— Однако ж, как бы вы думали? Кто? — продолжал несносный Неудачин.

— Боже мой! почему мне знать это?

— Мой старый приятель, капитальный купец иркутский...

— О, боже! неужели это он? — сказал сам себе Алексей, дрожа от ужаса.

— Андрей Иванович Жолобов! Да что с вами сделалось? Вы валитесь с лошади!

В самом деле Алексей от ужаса упал в обморок и повалился с лошади.

— Воды, воды! — закричал Неудачин, бросаясь поднимать Алексея.

— Да где ее возьмешь! — отвечал казак. — Разве снегу?

— Давай хошь снегу, да проворнее!

Казак сбегал недалеко от дороги, нагреб в шапку себе снегу, и вместе с купцом начали оттирать Алексея. По прошествии нескольких минут Алексей очнулся, как бы пробудясь от глубокого сна.

— Что с вами сделалось? — спросил Неудачин.

— Ах, ничего! — отвечал Алексей едва слышным голосом. — Не спрашивайте меня. Дайте мне несколько успокоиться.

Он возвел глаза на небо и думал сам с собою: «Этого только недоставало к моему несчастию! О, если Наталья убита! Если...» Тут какая-то непонятная ярость появилась на лице Алексея, глаза его заблистали гневом, и он, как бы по мановению волшебного жезла, к удивлению всех, вскочил быстро сам на ноги, и с поспешностью спросил купца: «Что сделалось с его дочерью?»

— Он и сам не знает, — отвечал Неудачин, — кроме того, что ее похитили разбойники из шайки Бузы.

— Злодеи! Кровопийцы! вы не уйдете от меня! — кричал исступленный любовник. — Я найду вас на краю земли! Я растерзаю вас своими руками! Я...

— Успокойтесь, батюшко Алексей Федорович! — говорил изумленный купец. — Все мы во власти божией! Кого захочет защитить он, так защитит! Иона и три дня сидел во чреве китовом, да не погиб!

Алексей не отвечал ни слова, но поворотил свою лошадь назад и пустил ее во весь скак на гору. Купец и казак погнались за ним.

— Что вы делаете, Алексей Федорович? — говорил первый, схватив за узду его лошадь.

— Отойди прочь! Прочь! говорю тебе, — кричал Алексей. — Я освобожу ее или погибну! Без нее жизнь и смерть для меня равны! Пустите меня!

— Не могу, Алексей Федорович! Вы спасли меня; я должен погибнуть для вас: делайте, что хотите со мной, не пущу! Во-первых, поскакав во всю прыть под гору, вы сломите себе голову, а во-вторых, можно ли одним вам бороться с целою шайкою, хотя бы вы и нашли разбойников! А их в лесу и сам чорт не найдет! Доедемте до моего завода: там собьем людей, так это будет дело-то аккуратнее. Я от вас не отстану: рад с вами в огонь и в воду лезть; да все же надо делать с рассудком; а что бестолку совать голову в петлю? Пожалуй, они, каторжные, нас укокошить не поленятся; да ведь еще пожить хочется. А лучше сделать так, чтобы их, чертей, от-

[1] Лесного пожара. (Прим. автора).

править в тар-тарары; там их и родина, окаянных!.. Ну, поедемте же! не упрямьтесь! Послушайтесь меня, старика! Право, худа не будет! На все бог!

В продолжение сего монолога Алексей несколько успокоился и, признав справедливыми дельные рассуждения купца, не препятствовал ему заворотить свою лошадь и поехал с ним рядом, сохраняя глубокое молчание, более походившее на бесчувственность. В уме его царствовал совершенный мрак; он сам не мог ясно представить себе, что с ним случилось. Сердце его замерло. Оно было не способно ни к каким чувствованиям, как бы пораженное сильною летаргиею. Так благодетельная природа, пекущаяся о сохранении своего творения, посылает к нему спасительное бесчувствие, когда сильные, разительные удары судьбы готовы его разрушить.

По переезде через Хамар-Дабан караван должен был снова подняться на длинный и не менее высокий хребет, называемый Гольцы, коего каменная равнина, простирающаяся верст на двенадцать, обнажена от всякого растения[1]. Здесь почти беспрестанно дует самый холодный пронзительный ветер, наносящий стужу среди лета, и потому снег устанавливается на Гольцах гораздо ранее, нежели на прочих горах. Переезд через сию обширную пустыню в бурную ночь чрезвычайно опасен, ибо легко можно сбиться с дороги. Но нашим путешественникам погода благоприятствовала: застигшая их на дороге ночь была самая ясная, тихая, можно сказать, самая романическая. Молодая луна, которой весь круг явственно рисовался, по причине необыкновенной чистоты воздуха[2], светлела на западе. Вблизи ее, подобно огромному брильянту, поверх светлолилового полога вечерней зари, блистала прелестная Венера. С юга смотрел неподвижным взором своим огневидный Юпитер. На севере выходила огромная Медведица, спутница звероловов. С востока восставали блестящие Кичиги[3]. На высоте горизонта горела непостижимая группа миров, странно именуемая в Сибири Гнездом утичьим[4]. Наконец, все небо подобилось беспредельному темно-голубому полю, где в блистании вечно горящих огней являлась нескончаемая жизнь, всегда исполненная силы, но всегда одинаковая, всегда безмятежная. Смотря на небо, Алексей мало-по-малу успокаивался; слезы полились из глаз его и облегчили тяжесть гнетущей его скорби. «Не там ли, — думал он, — не в сих ли обителях вечного света человек успокаивается от бурь здешней жизни? Не встретим ли там опять любезных нашему сердцу, с которыми смерть так безжалостно нас разлучает?.. Ах, Наталья! О, милый друг мой! Увижу ли я тебя еще хотя раз в сем мире? Или ты уже оставила...»

— Смотрите, Алексей Федорович! — вскричал ехавший позади его Неудачин, — не свалитесь в падь! Подтяните повод-то у лошади! Ведь обрушитесь!

В сем месте дорога, быв не более полуторых аршин, шла по боку горы, имея на одной стороне ужасную пропасть, по дну которой протекала весьма быстрая, подобная водопаду, речка. Спустившись с горы, путешественники должны были ехать по самой речке, дабы об'ехать утес; потом, выехав на берег, очутились на довольно большой долине, и с удивлением смотрели, как огромнейшие гранитные куски, как бы брошенные какою-то ужасною силою, лежали в дальнем расстоянии от гор; инде видели они обрушившиеся целые утесы, и должны были перебираться через груды камней: все напоминало действие бывшего тут некогда какого-то сильного переворота. Самая коническая форма гор, особенно же остатки лавы, находимой в разных местах Байкальских гор, вели к сему заключению. Но наши путешественники не вдавались и не могли вдаваться ни в какие геологические умствования, и думали только о том, как бы скорее достигнуть ночлега. Наконец они доехали до него, и остановились также в бурятской юрте.

...Приблизившись к юрте, близ которой около огня кружилась шаманка, Алексей был удивлен страшным ее видом. Платье на ней было длинное кожаное, увешанное жестяными идолами, колокольчиками, орлиными когтями, змеиными чучелами, ремешками из невыделанных кож и разного рода металлическими побрякушками. На голове у ней была кожаная шапка, а на ногах унты, т.-е. кожаные чулки, — обыкновенная обувь всех сибирских народов. В левой руке держала она бубен, а в пра-

---

[1] О высоте сего хребта можно судить из того, что он виден с Байкала, в расстоянии 120 верст. (Прим. автора).

[2] В Сибири во время новолуния весь сегмент луны виден несравненно явственнее, нежели в Петербурге. (Прим. автора).

[3] Орионов пояс. (Прим. автора).

[4] Плеяды. (Прим. автора).

вой колотушку, обтянутую заячьею кожею для произведения глухого звука. Ударяя в бубен, шаманка с величайшим напряжением скакала около огня и через огонь, делала самые страшные, самые усиленные телодвижения: размахивала руками, кривила рот, закатывала врачки глаз и ревела самым диким голосом. Пот лил с нее градом. Наконец, как бы сделавшись без чувств, она упала на землю. В сие время, по сказанию шаманов, душа их отделяется от тела, посещает преисподних духов и с ними беседует. В течение получаса шаманка находилась в сем роде забвения, наконец очнулась, и начала провещать неведомое. Буряты, окружавшие свою Пифониссу, с величайшим благоговением делали ей разные вопросы, и отходили от нее, иные с довольными, другие с печальными лицами.

— Не заглянуть ли и нам? — шутя спросил Неудачин Алексея. — Пускай и нам что-нибудь сболтает! По крайней мере не даром смотрели на ее дурачества!

Алексей принял сие предложение с явным отвращением, быв совершенно уверен, что ответы шаманки в самом деле не что иное, как обман и невежество; но в то же время чувствовал какое-то непреодолимое желание спросить ее о своем жребии. Таково сердце наше, вечно противоборствующее с рассудком! Наконец Алексей, убежденный Неудачиным, спросил шаманку: исполнится ли мною желаемое? Шаманка, устремив на него свои дикие, блуждающие взоры, затряслась всеми членами, и по некотором молчании сказала: «христианин, сними крест; он отнимает у меня язык». Неудачин перевел сие Алексею, который, не переставая считать действие шаманки одним глупым обманом, решился исполнить ее требование. После сего шаманка снова начала бить изо всей силы в свой бубен и коверкаться самым ужасным образом. Сия комико-трагическая сцена продолжалась несколько минут. Наконец шаманка, вдруг обратясь к Алексею со сверкающими глазами и горевшим от исступления лицом, произнесла на бурятском языке диким, но довольно мерным голосом, следующий ответ:

Внимай, христианин, ответ окодила[1]!
Зверь кровожадный сразится тобой,
И черная кровь заструится рекой,
И море — злодею могила!
Внимай окодила ответ!
Там юная дева спасителя ждет;
Там море ярится, и волны там стонут;
Там в бездне кипящей злодеи потонут;
И к деве спаситель придет!
Вот окодила ответ!
(Внимай, христианин, и верь нам, шаманам!)
Он гибель нарек, вам в удел, христианам —
И хищным прощения нет!
Губите друг друга, свой род истребляйте!
И кровью заклятой леса обагряйте!

Алексей слушал ответ сей с ужасом и удивлением, ибо не мог из'яснить, каким образом шаманка, видя его в первый раз от роду, узнала о его обстоятельствах. Он бросил серебряный рубль к ногам ее и, возвращаясь медленными шагами назад, старался разгадать из ее таинственных слов жребий Натальи.

Ф. И. Бальдауф

К бурятке

Люблю я странный твой наряд,
Твои неловкие движенья,
Люблю я твой нескромный взгляд
И чуждой речи выраженья...
Я помню вечер, вкруг огня
Твои родные все сидели
И ты смотрела на меня,
Как я, больной, склонясь к постели,
В припадке тягостном страдал.
Заснули все... но я не спал...
Мечты сменялися мечтами;
Твои я вздохи узнавал —
И беспокойными очами
Тебя во мгле пустой искал.

[1] Злой дух (Прим. автора)

Я помню утро: закипал
Душистый чай в котле широком,
А ты в молчании глубоком,
Склонясь к узорчатым коврам,
Своим молилася богам.
Не обо мне ли, одиноком,
(Ах, не разрушь моей мечты!)
Не обо мне ль молилась ты?..

Быть может, скрытою тропою
И я до счастья добреду;
Тогда, растроганный мечтою,
Про Борзю песни заведу.
В ней песня Бальджи будет всюду —
И я до гроба не забуду
Твое прощальное мэнду!

А. А. Бестужев-Марлинский

Саатырь

Якутская баллада

Не ветер вздыхает в ущельи горы,
Не камень слезится росою, —
То плачет якут до полночной поры,
Склонясь над женой молодою.
Уж пятую зорю томится она,
Любви и веселья подруга,
Без капли воды, без целебного сна,
На жаркой постели недуга.

С румянцем ланит луч надежды погас:
Как вороп, над нею погибели час.

Умолкните, чар и моления вой
И бубнов плачевные звуки!
С одра Саатырь поднялась головой,
Простерла поблеклые руки:
И так, как под снегом роптанье ручья,
Как звон колокольчика дальной,
Струится по воздуху голос ее;
Внемлите вы речи прощальной.

Священ для живых предсмертный завет:
У гробных дверей лицемерия нет!

«О, други! уйдет ли журавль от орла?
От пуль быстроногие козы?
Коль смертная тень мне на сердце легла,
Прильют ли дыхания слезы?
О, муж мой, не плачь: нам судьба изрекла
И в браке разлучную долю.
По воле твоей я доселе жила,
Исполни теперь мою волю:

«Покой и завет нерушимо храня,
На горном холме схорони ты меня!

Не вешай мой гроб на лесной вышине
Духам, непогодам забавой;
В родимой земле рой могилу ты мне
И кровлей замкни величавой.
Вот слово еще, роковое оно:
Едва я дышать перестану,
Сей перстень возьми и ступи в стремено,
Отдай его князь Буйдукану.

Разгадки ж к тому не желай, не следи:
Тайна эта в моей погребется груди!»

И смерть осенила больную крылом.

Сомкнулись тяжелые вежды;
Казалось, она забывается сном
В об'ятиях сладкой надежды;
С дыханием уст замирали слова,
И жизнь улетела со звуком.
Отринув стрелу, так звенит тетива,
Могучим расторгнута луком.

Родных поразил изумляющий страх...
На сердце тоска, и слеза на очах.

Убрали. Подпизки подобием струй
Текут на богатые шубы,
Но грусти печать — от родных поцелуй
Не сходит на бледные губы;
Лишь смело к одру подходил Буйдукан
Один и стопою незыбкой:
Он обнял ее, не смущен и румян,
И вышел с надменной улыбкой.

И чудилось им — Саатыри чело,
Как северным блеском, на миг рассвело!..

На утро, где Лена меж башнями гор
Течет под завесой туманов,
И ветер, будя истлевающий бор,
Качает гробами шаманов...
При клике родных Саатырь принесли
В красивой колоде кедровой,
И тихо разверстое лоно земли
Сомкнулось над жертвою новой.

И девы, и жены, и старый, и млад
В улус потекли, озираясь назад.

Вскипели котлы, задымилася кровь
Коней — украшения стада,
И брызжет кумыс от широких краев,
От счастья и горя услада;
И шумно кругом, упоенья кумир,
Аях пробегает бездонный,
Уж вянет заря. Поминательный пир
Затих. У чувала склоненный

Круг сонных гостей возлежит недвижим,
Лишь в юрте, синея, волнуется дым.

Осыпаны кудри цветных тальников
Росинками ночи осенней,
И вышита зелень холмов и лугов
Узором изменчивых теней;
Вот месяц над теменем сумрачных скал
Вспрянул кабаргой златорогой,
И луч одинокий по Лене упал
Виденьям блестящей дорогой:

По мхам, по тропам заповедных полян
Мелькают они сквозь прозрачный туман.

Что крикнул испуганный вран на скале,
Блюститель безмолвия ночи?
Что искрами сыплют и меркнут во мгле
Огнистые филина очи?

Не адский ли по лесу рыщет седок
Заглохшей шаманскою тропкой?
Как бубен, звуча, отражаемый скок
Гудит по окрестности робкой...

Вот кто-то примчался — он бледен лицом,
Как идол, стоит на холме гробовом.

И прянул на землю; удар топора
Раздвинул затвор над могилой,
И молвит он мертвой: «Подруга, пора!
Жених дожидается милой.
Воскресни для новых веселия дней,
Для жизни и счастия. Кони
Умчат нас далеко — и ветер степной
Завеет следы от погони.

Притворной кончиною вольная вновь,
Со мной ты найдешь и покой и любовь».

«Ты ль это, о, милый? о, князь Буйдукан!
Как вечно казалось мне время!
Как душно и страшно мне было! Обман
На сердце налег, будто бремя!..
Роса мне катилась слезами родных,
На ветре — их стон безотрадной!
И черви на место перстней золотых
Вились — и так смело, так жадно!..

Вся кровь моя стынет — а близок ли путь?
О, милый, согрей мне в об'ятиях грудь!»

И вот поцелуев таинственный звук
Под кровом могильной святыни,
И сладкие речи... но вдруг — и вокруг
Слетелися духи пустыни,
И трупы шаманов свились в хоровод,
Ударили в бубны и в чаши...
Внимая, трепещут любовники! Вот
Им вопят: «Вы наши, вы наши!

Не выдаст могила схороненный клад,
Преступников духи карают, казнят!»

И падают звезды, и прыщет огонь...
Испуганный адскою ловлей,
Храпит и кидается бешеный конь
На кровлю — и рухнула кровля!
Вдали огласился раздавленных стон...
Погибли. Но тень Саатыри
Доныне пугает изменчивых жен
По тундрам Восточной Сибири.

И ловчий, когда разливается тьма,
В боязни бежит рокового холма.

А. Н. Радищев

Записки путешествия в Сибирь

(1790 г.)

30 июля

Из Тобольска вдоль Иртыша за Обалак, где перевоз, — места прекрасные; от Старого Погоста до Вагая не столь хороши, по Вагаю места хороши. Крестьяне мало имеют земли, — лучшая вся у татар. Земля расчищена по реке, а вдоль болота, переехав Вагай, места становятся пустее. От Кусерака до Голопутова волок, то-есть пустое место, где одна деревенька Чистякова о пяти дворах; 10 верст от Кусерака начинают строиться мужики из-за Ишима на полянах, где могут сидеть 2000 душ. От Голопутова места становятся выше, по Ишиму очень хорошие. По речке Баруку селений много. Викулова сидит на прекрасном месте, на Ишиме и заливе. Земля черная; живут в сей слободе купцы — мужики бойкие. По Ишиму — земля чернозем. От Ачимовой до Зудиловского форпоста волок болотами или низкими полями. В Становке живут посельщики, — они беднее старожилов. За Рыбиной, выехав на реку Аев, едешь вниз ее до Аевской слободы. Здесь везде, как и в Таре, все почти раскольники. Знаменский погост сидит на заливе Иртыша или озере, называемом Изюк. Будаково — село на Иртыше. Мужики все зажиточные, пашут, торгуют скотом, бьют зверей, ездят в извоз. Во многих селениях живут стрельцы и конфедераты. До Тары — 560. От Тары до Тобольска делают новую дорогу по Иртышу.

Под'езжая к Таре и по ту сторону Тары, при в'езде многих деревень, стоят деревянные кресты. Город Тара стоит — половина на пригорке, половина внизу, примкнув одним углом к Иртышу. В Таре промышляют кожевенным мастерством, кузнечным. Торгуют салом в Петербург, на линию с киргизами.

9 августа

Из Тары дорога идет почти вдоль Иртыша до Такмыцкой слободы, где ее переезжают. В сей слободе пристань, откуда ездят с хлебом на завод подле горы и на линию вверх. В деревне Артынке стояли у крестьянина Блинова. Благословляя бога за свое состояние, он с чувствительностию и прослезясь говорил о бедствии, которое терпел народ в бывший недород три года тому назад... За Артыном в 20 верстах начинается Бараба, — сперва места ровные, потом пригорки и между ними озера, болота и луга, рощи чистые, иногда места прекрасные. От Коньева живут посельщики, в Вознесенском на Осни есть старожилы. Пашни по пригоркам. Чувствовали по вечерам запах гравяной — весьма тяжелый. Зараза весьма была велика нынешний год. В Голопутове, где живут старожилы, перевоз через Тартас. За лесом на строение ездят за 400 и 600 верст в урман или леса. Лес кедровый. Когда начали селить Барабу, то жили тут татары, которые от ехали к урману. В Покровском есть старожилы и посельщики.

Старожилы живут в изобилии, посельщики живут очень бедны. За подушный отдают их в работу на винный завод, где работают и каторжные. С Кортемова много. Посельщиков много старых, дряхлых и нищих. Их лучше бы селить по разным местам, не деревнями. Ближе к Конюху болоте лесу. Конюх, был деревня, приписанная к

СССР—17810
Научно-техническая
Ц/ф

Барисульским заводам, в него переселяются купцы, которые живали по деревням. От Тары 34 версты.

От Кониска до Каргата на реке, где старожилы, а от нее до речки Чулыма, на которой деревня посельщиков, речек нет. Все поселяне на озерах. Деревня Камнакова поселена в 4 верстах от большого Убинского озера, в коем зимою рыбу ловят. Около Убинской, близ озера, растет малый сосняк. Село Иткуль большое, где волостное правление и бывшее комиссарство. Село Секты — в нем ямщики. От крутых логов земля становится не столь ровная и тут конец Барабе. От Тырышкиной на Леше земля возвышается до Чаусского острога, где есть старая деревянная крепость, в ней живут старые беломестные казаки, ныне приписные крестьяне к заводам, как и все старожилы. Чаусский стоит на изрядном месте при Чаусе. На перевозе видны оба каменистые берега и берега поросли сосняком, а на низких местах — горовица. Дорога лесиста, по рекам — бор, а между — березняк; грунт песчаный. В деревне Колтая живут русские и татары. В 4 верстах от Томска переезжают Томь. Сия река камениста, у перевоза видна каменная ломка, сланец, аспид[1]... купоросная земля, слои кварцовые.

В Томске живут раскольники, татары. Рыбу имеют из Оби. Кожевни, холст продают, набойки делают, баранки для милостыни.

12 сентября

От Томска дорога идет перелесками и расчищенными полями. Лес — сосняк, лиственник, а больше березняк. Места сухие. По близости рек более сосняку. Яя течет по камням и берег местами каменный; Кия такая же. От Кии до Ачинска прекраснейшие поляны, дубровы, для хлебопашества и скотоводства удобные. Боготольское село на Чулыме, которого один берег плоский, а другой гористый. Хребет гор вышел мысом к Чулыму, который его обошел, протекая сперва от юга, потом от востока, там от запада и, наконец, склонясь к западу в Обь. Близ Красной речки находится винный казенный завод, на который посылают за неплатеж податей крестьян работать, а также и тех, которые не в срок платят; с 60 и 15-летних — податей не собирают, и так с души приходит более 7 р. Вся Томская округа, опричь посельщиков, приписана к Колыванским заводам. Некоторые живут богато, а большая часть бедно. В Ачинске живут старожилы и посельщики. Посадские, приписанные к нему, живут по деревням. От Томска до Ачинска — 395.

16

Из Ачинска дорога идет на отлогую возвышенность лесом, потом высоко сверх поверхности Чулыма через не весьма большие горы, которые к ручьям становятся круче. Наконец, проехав лес через березовые дубровы, дорога выходит лугами к Заледеевой деревне. От Заледеевой вниз, по речке Каче едучи, дорога входит наклонностию в горы. По речке поставлено много малых мельниц, которые действуют быстриною воды. В правой стороне открывается каменный хребет, которого видны в иных местах острые и голые концы. В левой стороне берега гористые, наконец, к Красноярскому безлесисты и красностию своею показывают изобильную железную руду. Енисей течет между гор, оставляя в лощинах, к нему прилежащих, места изобильные. Красноярск имеет положение, как некоторые города в Альпах. Правый берег вдоль идет высок и горы неровные, а левый высок же, но поверхность ровна.

22

От Красноярска сперва долинами, потом на возвышенность пойдет лесными местами и несколько гористо, потом склоняется к быстрой реке Кану. Места, однако же, по большей части хорошие и много равнин. От Канского острога сперва несколько ровными местами, потом лесисто. Ельники, и топи, и тайги. Места становятся гористее и, наконец, ближе к Удинску открываются каменные горы. Удинск стоит между гор и лесов. От Канского до Удинска все мужики бедны, живут худо, промыслов мало, и хлеб родится худо, как и в Кемчугах. От Оби все речки каменисты, опричь текущих чрез болота.

Выехав из Удинского 1-го октября едешь лесом и гористыми местами 125 до Тулуна, где, переехав Ию, дорога становится глаже и полистее, но, переехав Оку при деревне Зиме, проезжать надлежит степь, Братской именуемую, но юрт или жилищ оного народа при дороге, опричь одного летнего, не видно. Сия степь кон-

[1] Пропуск в рукописи.

чится близ реки Белой, которую переезжают при деревне Белой. На оной реке и на Китое был уже лед. От Китоя выезжают на 14 версте на Ангару и дорога идет от последней перемены лугами до Иркутска. В 4 верстах от города есть монастырь в немалой деревне. Ангару переезжать под городом в том месте, где Иркутск впадает.

20 декабря

Из Иркутска мы выехали в половине дня и предприняли ехать большею якутскою дорогою, которая, хотя гораздо далее, но лучше, ибо, по уверению ехавших прямою Илимскою, она была чрезмерно худа, узка и гориста. Якутская дорога отходит от Ангары версты за три от города и подымается сперва нечувствительно лощиною через горы, потом вдруг (на которые вз'ехав) виден становится каменный хребет, косго вершины все почти голы — на другой стороне Ангары и называется Урал-камень. Переехав два окатистые хребта, дорога тихим склонением ведет на реку Куда, на которой стоит Кудинская слобода расстоянием от города в 21 версте, где взятая в секвестр мельница. Дорога потом продолжается вверх Куды приятною и широкою долиною между гор, которые, чем дале едешь, уменьшаются. На 40 верстах, то-есть несколько за село Анок, где стан почтовый, в 13 верстах от него находятся многие россейские селения, а потом почти непрерывные братские. В 4½ вер. от Ушардинского зимовья, при жилище содержателя сего стана, в 29 вер. от Анока, дорога, оставив Куду влево, продолжается непрерывными долинами, идя вверх разных речек. Тут находятся везде братские летние и зимние селения. Наезжали на их жертвы, то-есть кобью кожу или тмок, вздетую на березу, наезжали на лошадей, пасущихся по снегу, и рогатый скот.

От Анока до деревни Манзурки на 120 верстах почта сменяется в зимовьях, или самых дурных черных избах. В трех местах между братскими селениями находятся в дальнем один от другого расстоянии 3 дома крестьянских, хороших. В последний из оных не могли в'ехать, ибо в то самое время хозяин умер; дом наполнен был воплем и стоном. К последнему почтовому зимовью пред Манзурской, за 8 верст от оного, дорога идет через лес и спускается под гору отлого. За 10 верст едешь Манзурскими полями или широкою долиною до речки Манзурки, коей правый берег очень высок. Дорога потом идет вниз речки Манзурки, на которой живут братские, до устья оной — до самой Лены, которая в сем месте течет, как и далее, между высоких хребтов, но между ними есть большое пространство. Первое русское селение на Лене по сей дороге — Исеть, где есть пристань и строят суда, на которых плавят хлеб в Якутск. А в 14 верстах деревня Качуга, где также хлеб грузят. От устья Манзурки много селений братских по Лене.

От Качуги до Усть-Куты дорога идет зимою по льду, летом подле самого берега крутого, так что в ином месте она 1½ арш.

Берега Лены — сперва высокие, утесы — красного плитняка, который становится мягок и, осыпаясь, превращается в глину. Лена в сем месте не шире иногда 30 и 50 сажен, летом очень мелка и везде ездят вброд. Берега и утесы поросли густым лесом: сосняк, лиственник и ниже в воде — ельник, иногда березняк и тальник. Ниже Качуги братских селений нет, а есть около Верхоленска, бывшего острога, города, построенного на правом берегу Лены, где и ныне есть мещан 200 человек, но без ратуши. Против оного выпала река, по которой много русских и братских селений. Из Верхоленска отправляются суда в Якутск с хлебом. Они продают его в селениях ниже устья Илги. Задаток берут зверями. Омуля возят даже до Якутска. Лена сперва течет излучисто, ибо хребты гор частые; где они расходятся, там делает острова. По Лене селений очень много, иногда очень часты слободы или села и заимки или деревни. До Усть-Илги хлебопашество входит в счет крестьянского приобретения. А ниже главное их приобретение состоит в белках и все жители Лены оную промышляют без из'ятия. На правом берегу она чернее. С Верхоленска есть уже тунгусы, — живут в лесах. До устья Илги много есть коз или козюль, а ниже на горбине снега их уже нет, так же, как и волков, а много медведей; есть олени, кабарги и сайги. При Тутуре, Почике и по Илге есть селения.

В местах, где камень оголился, — он виден, — расположен горизонтальными склонами, иногда мало наклонными. Часто из средины горизонтальной оба бока опускаются, как будто под ними земля осела, иногда одна сторона подымается сверху хребта почти вертикально.

С Тутуры горы становятся окатистее и местами реже. Утесов мало и невысокие, а ниже Илги камень виден. Иногда по низу река глубже и шире, а ниже Илги и Орленги река, кажется, течет по склонению горных хребтов, ибо они в длину свою дальний берег ее составляют, а ближний состоит из желтого песку и илу с камнем— желтым плитняком, ибо верхи хребтов уже не красны, а сперва желтели, потом состоят из серобелого плитняка. В трех местах, не доезжая до Тарасовой деревни, есть остатки зимовья, близ коего находятся медные рудники, откуда руду плавили на завод Савельева, построенный ниже устья Кутли. На ключах — во многих местах мельницы с горизонтальным колесом, мутовкою называемым. На Лене сеят коноплю и вяжут невода. Зимою рыбу добывают мережами и мордами, а зверей — больше плашками.

И. А. Гончаров

Фрегат „Паллада"

...При ясной и теплой погоде я с пятью якутами переправился через Лену, т.-е. через узенькие протоки, разделявшие бесчисленные острова. Когда якуты зашевелили веслами — точно обоз тронулся с места: раздался скрип, стук. После гребли наших матросов, куда неискусны показались мне ленские гребцы! Один какой-то якут сидел тут праздно; между тем, мальчишка лет пятнадцати работал изо всех сил; мне показалось это не совсем удобно для мальчишки, и я пригласил заняться греблей праздного якута. Он с величайшей готовностью спрятал трубку в сары и принялся за весло. «Кто это такой?» — спросил я. «Староста», — сказали мне: с наслега едет в город. Я раскаялся, что заставил работать такого сановника, но уж было поздно: он так и выходил из лопаток, работая веслом. Мальчишка достал, между тем, из сапога грубый кусок дерева с отверстием (это трубка), положил туда щепоть зеленоватого листового табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и покрошил туда же; из кремня добыл огня, зажег клочок моха, вместо трута, и закурил все это вместе. «Зачем дерево кладешь в табак?» — спросил я. «Крепше!» — отвечал он.

Вдали сияли уже главы церквей в Якутске. «Скоро ли же будет Лена?» — спрашивал я, все ожидая, что река к нагорному берегу будет глубже, следовательно островов не имеет, и откроется во всей красе и величии. Один из якутов, претендующий на знание русского языка, старался мне что-то растолковать, но напрасно. У одного острова якуты вышли на берег и потянули лодку бечевою вверх. Дотянув до конца острова, они сели опять и переправились, — уже не помню через который, — узенький проток и пристали к берегу, прямо к деревянной лесенке.

«Тут!» — сказали они. — «Что тут?» — «Пешкьюем надо». — «Где же Лена?» — спрашиваю я. Якуты, как и смотритель, указали назад, на пески и луга. Я посмотрел на берег: там ровно ничего. Кустов дивно; правда, между ними бродит стадо коров, да два-три барана, которых я давно не видал. За Лену их недавно послано несколько, для разведения между русскими поселенцами и якутами. Еще на берегу же стоял пастушеский шалаш из ветвей.

Один из якутов вызвался сходить в город за лошадьми. Я послал с ним человека, а сам уселся на берегу, на медвежьих шкурах. Нельзя сказать, чтоб было весело. Трудно выдумать печальнее местности. С одной стороны — Лена, — я уж сказал какая, — пески, кусты и луга, с другой — к Якутску — луга, кусты и пески. Вдали, за всем этим, синеют горы, которые, кажется, и составляли некогда настоящий берег реки. Якутск построен на огромной отмели, что видно по пространным пескам, кустам и озеркам. И теперь, во время разлива, Лена, говорят, доходит до города и заливает отчасти окрестные поля.

От нечего делать я развлекал себя мыслью, что увижу, наконец, после двухлетних странствий, первый русский, хотя и провинциальный, город. Но и то не совсем русский, хотя в нем и русские храмы, русские дома, русские чиновники и купцы, но зато как голо все! Где это видано на Руси, чтоб не было ни одного садика и палисадника, чтоб зелень, если не яблонь и груш, так хоть берез и акаций, не осеняла бы домов и заборов? А этот узкоглазый, плосконосый народ, разве русский? Когда я ехал по дороге к городу, мне попадались навстречу якуты, якутки на волах, на лошадях, в телегах и верхом.

Городские якуты одеты понаряднее. У мужчин трубого сукна кафтан, у женщин тоже, но у последних полы и подол обшиты широкой красной тесьмой; на голове у тех и других высокие меховые шапки, несмотря на прекрасную, даже жаркую погоду. Якуты стригутся, как мы, оставляя сзади за ушами две тонкие пряди длинных волос — вероятно, последний, отдаленный намек на свои родственные связи с той тесной толпой народа, которая из средней Азии разбрелась до берегов Восточного океана. Я в этих прядях видел сокращение китайской косы, которую китайцам навязали манчжуры. А может быть, якуты отпускают сзади волосы подлиннее просто затем, чтоб защитить уши и затылок от жестокой зимней стужи.

Сколько я мог узнать, якутов, кажется, несправедливо считают кочующим народом. Другое дело — тунгусы, чукчи и прочие племена здешнего края: те, переходя с одного места на другое, более удобное, почти никогда на прежнее не возвращаются. Якуты, напротив, если и откочевывают на время в другое от своей родной юрты место, где лучше корм для скота, то не надолго, и после возвращаются домой. У них большею частью по две юрты, — летняя и зимняя. Этак, пожалуй, и мы с вами кочующий народ, потому что летом перебираемся в Парголово, Царское село, Сраниенбаум.

* *
*

... Пока я ехал по городу, на меня из окон выглядывали ласковые лица, а из-под ворот сердитые собаки, которые в маленьких городах чересчур серьезно понимают свои обязанности. Весело было мне смотреть на проезжавшие по временам разнохарактерные дрожки, на кучеров в летних кафтанах и меховых шапках, или наоборот, в полушубках и летних картузах. Вот гостиный двор, довольно пространный, вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом.

В гостином дворе, который в самом деле есть двор, потому что большая часть лавок открывается внутрь, я видел много входящих и выходящих якутов: они, говорят, составляют большинство потребителей. Прочие горожане закупают все, что им нужно, раз в год, на здешней ярмарке.

Я ехал мимо старинной, полуразрушенной стены и несколько башен: это остатки крепости, уцелевшей от времен покорения области. Якутск основан пришедшими от Енисея казаками, лет за двести перед этим, в 1630 годах. Якуты пробовали нападать на крепость, но напрасно. Возникшие впоследствии между казаками раздоры заставили наше правительство взять этот край в свои руки, и скоро в Якутск прибыл воевода.

Еще я видел больницу, острог, казенные хлебные магазины; потом проехал мимо базара, с пестрой толпой якутов и якуток. Много и русского, и нерусского, что современем будет тоже русское. Скоро я уже сидел на квартире в своей комнате, за обедом.

После обеда я пошел к товарищам, которые опередили меня. Через день они отправлялись далее; я хотел ехать вслед за ними, а мне еще надо было запастись меховым платьем и обувью: на Лене могли застать морозы.

* *
*

...Вот теперь у меня в комнате лежит доха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, заячье одеяло, торбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукавицы и несколько медвежьих шкур для подстилки. Когда станешь надевать все это, так чувствуешь, как постепенно приобретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, козлового и медвежьего, а человеческое мало-по-малу пропадает. Кухлянка и доха лишают употребления воли и представляют полную возможность только лежать. В пыжиковых чулках и торбасах ноги вместе сдвинуть нельзя, а когда наденешь двойную меховую шапку, или, по-здешнему, малахай, то мысли начинают вязаться ленивее в голове и одна за другой гаснут. Еще бы что-нибудь прибавить, так, кажется, над вами, того и гляди, совершится какая-нибудь любопытная метаморфоза.

Все это надевается в защиту сорокаградусного мороза. «Сорок градусов!» — повторил я: «у нас когда и двадцать случится, так по городу только и разговора, что о погоде: забудут всякие и политические, и литературные новости». — «У вас двадцать хуже наших сорока», — сказал один, бывший за Уральским хребтом. —

«Это отчего?» — «От ветра: там при пятнадцати градусах да ветер, так и нехорошо; а здесь в сорок ничего не шелохнется: ни движения, ни звука в воздухе; над землей лежит густая мгла; солнце кровавое, без лучей, покажется часа на четыре, не разгонит тумана и скроется». — «Ну, а вы что?» — «А мы — ничего, хорошо; только дышать почти нельзя: режет грудь». — «Вы что делаете в эти морозы?» — спросил я одну барыню. — «Визиты, говорит, делаем». — «Что вы!..» — «Да как же? а в рождество, в новый год: родные есть, — тетушка, бабушка, — рассердятся, пожалуй, как не приедешь».

Впрочем, здесь, как я увидел после, и барыня, и кучер, и лошадь — все визиты делают. Барыню вводят в гостиную, кучера — в людскую, а лошадь — в сарай.

«В чем же вы ездите, — в дахе и в малахае?» — спросил я ее. — «Нет, в пыжиках, в салопах». — «Конечно, не в таких салопах, которые носят барыни в Петербурге и которые похожи на конфетные бумажки, так что не слыхать, есть ли что на плечах, или нет. Верно здесь кроют байкой или сукном?».

А оказалось, что в таких же: «материей, говорит, крыты».

...Я не уехал ни на другой, ни на третий день. Дорогой на болотах и на реке Мае, едучи верхом и в лодке, при легких утренних морозах, я простудил ноги. На третий день по приезде в Якутск, они распухли. Доктор сказал, что водой по Лене мне ехать нельзя, что надо подождать, пока пройдет опухоль.

Через неделю мне стало лучше; я собрался ехать. «Куда вы? как можно!» — сказали мне: «да теперь вы ни в каком разе не поспеете добраться водой: скоро пойдет шуга». — «Что это такое шуга?» — «Мелкий лед; тогда вы должны остановиться и ждать зимнего пути где-нибудь на станции. Лучше вам подождать здесь». — «А берегом?» — спросил я. «Г о р о й ехать? помилуйте! Почта два раза в год в распутицу приходит горой, да и то мучится, бьется. Ведь надо ехать верхом по утесам, через пропасти, по узеньким тропинкам. А вы еще с больными ногами! Лучше подождите всего каких-нибудь два месяца»...

«Два месяца! Это ужасно!» — в отчаянии возразил я. — «Может быть, и полтора», — утешил кто-то. — «Ну, нет: с е й г о д Лена не станет рано», — говорили другие: «осень теплая и ранний снежок выпадал — это верный знак, что зимний путь не скоро установится...».

Опухоль в ногах прошла, но также прошла и всякая возможность ехать до зимы. Я, между тем, познакомился со всеми в городе; там обед, там завтрак, кто именинник, не сам, так жена, наконец — тетка. Для вас, не последних гастрономов, замечу, что здесь есть превосходная рыба — нельма, которая играла бы большую роль на петербургских обедах. Она хороша и разварная, и в пирогах, и в жарком, да и везде; ее также маринуют. Есть много отличной дичи: рябчики, куропатки и тетерева — ежедневное блюдо к жаркому. Но коренные жители почти совсем не едят кур и телятины, как в других местах некоторые не едят, например, зайцев. Зелени тоже мало, кроме капусты и огурцов. Вина дороги: шампанское продается по 6 и 7 руб. сер. бутылка; зато хороши наливки.

Обычаи здесь патриархальные: гости пообедают, распростятся с хозяином и отправятся домой спать, и хозяин ляжет, а вечером явятся опять и садятся за бостон до ужина. Общество одно. Служащие, купцы и жены тех и других, видятся ежедневно и... живут все в больших ладах.

* *
*

...Здесь идет правильный почтовый тракт, и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. Проедет почта, или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом. На одной станции случается ехать по берегу, потом спуститься на проток Лены, потом переехать остров, выехать на самую Лену, а от нее опять на берег, в лес. Иногда же, напротив, едешь по Лене от станции до станции, любуешься то горами, то торосом, т.-е. буграми льда, где Лена встала неровно: иногда видишь — в одном месте стоит пар над рекой. — «Что такое?» — спросишь. — «Наледи», — говорят, т. е. проступающая сквозь лед вода, или вытекающие на ленский лед горные ключи, вероятно, минеральные, которые иногда вовсе не замерзают, может-быть, от присутствия в них газов.

Какие развлечения на таком длинном переезде? Приедешь на станцию: «скорей, скорей дай кусочек вина и кружок щей». Все это замороженно и везется в твердом виде; пельмени тоже, рябчики, которых здесь множество, и другая дичь. Надо иметь замороженный черный и белый хлеб. На станциях есть молоко, кое-где яйца, местами овощи, но на это нельзя рассчитывать. Жители, по малому числу проезжих, держат все это только для себя, или отправляют, если близко, на приписки, которые много поддерживают здешние места, доставляя работу. Туда стекается народ: предметов потребления надобится все больше и больше, обозы идут чаще из Иркутска на приписки и обратно — и формируется центр сильного народонаселения и деятельности. Та же история, что в Калифорнии, в Австралии. Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. — Дело — не в золоте.

Первые дни мороз был уж очень силен. Высунешь на минуту руку поправить что-нибудь — и пальцы озябнут до костей; дотронешься даже до дерева, и то жжется как железо. На одной станции я спросил, сколько считают они градусов такого мороза. — «Градусов пятьдесят, батюшка», сказала мне старуха. Человек мой усмехнулся. — «Градусов пятьдесят не бывает», — сказал он. — «И, родимый! у нас и семьдесят бывает», — отвечала она. — «Когда же кончаются эти морозы?» — «А в апреле, кормилец; в мае все тает, а уж в июне, в половине, и высохнет все». — «Как вы это живете тут?» — спросил я. — «Да мы уж обнатуренные», сказала она. — «А лето у вас хорошо?» — спросил я. — «Годявое, да только коротко: сеем ярицу, да озябает, не каждый год родится, а когда родится, так хорошо».

В другом месте станционный смотритель позабавил меня уж другим языком. Он предложил обедать у него. — «А что у вас есть?» — «Налимы имеются». — «А мясо есть?» — «Имеется баранина». — «Да скоро ли все это поспеет?» — «Быстро соорудим».

Откуда этот язык да и обнатуренные — кто завез сюда?

Хороши камелыки или чувалы на станциях и вообще в юртах. Как войдешь с морозу, — охватит вас и в минуту согреет тепло, которое так и пышет от целого костра стоймя горящих поленьев лиственницы. Она лучше даже березы на дрова: славно горит и долго держит жар. Толпа крестьян, женщин, мальчишек в минуту похватают у вас, — кто шарф, кто шапку, рукавицы, — и тотчас высушат, держа у камина. Тот вам подвигает скамью, другой — стул. На станциях большею частью опрятно, сухо и просторно; столы, лавки и кровати — все выстругано из чистого белого дерева. Ветхие избы предположено весной перестроить по новому, лучшему образцу. Тесниться в духоте уже не позволено. Со мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер для осмотра старых строений.

Пустыня имеет ту выгоду, что здесь нет воровства. Кибитка стоит на улице, около нее толпа ямщиков, и ничего не пропадает. По дороге тоже все тихо. Нет даже волков, или редко водятся где-то в одном только месте. Медведи зимой все почивают.

Мне, по случаю трудной дороги, подпрягают пять и шесть лошадей, хотя повозка у меня довольно легка, но у нее есть подрези, а здесь ездят без них: они много прибавляют тяжести по рыхлому снегу. Еще верст двести, триста, и потом уже будут запрягать лошадей гусем, по семи, восьми, и даже десяти лошадей, смотря по экипажу. Там глубоки снега и дорога узенькая, так что тройка не умещается в ряд.

Каменская станция, 7-го декабря

Мороз не смягчается ни на минуту, везде по станциям говорят, что он свыше 40°. Я думал гораздо больше об этом морозе; я его легко переношу. Сегодня попались плохие лошади, и мы ехали тридцать верст 4½ часа — мне и горя мало! Еще под Якутском один ямщик предложил мне «проехать зараз, вместо двадцати, — сорок пять верст». «Что ты, любезный, с ума сошел: нельзя ли, вместо сорока пяти, проехать только двадцать?» — «Сделайте божескую милость», — начал он умолять: «На станции гора крута, мои кони не встащат, так нельзя ли вам остановиться внизу, а ямщики сведут коней вниз и там заложат, и вы поедете еще двадцать пять верст?» — «Однако, не хочу», — сказал я: «если озябну, как же быть?» — «Да как-нибудь уж...» Я сделал ему милость — и ничего. Только с носа кожа лущится.

Сегодня я проехал мимо полыньи. Несмотря на лютый мороз, вода не мерзнет и

облако черного пара, как дым, клубится над ней. Лошади храпят и пятятся. Ямщик франт попался, в дахе, в шапке с кистью, и везет плохо. Лицо у него нерусское. Вообще здесь смесь в народе.

Сегодня я ночевал на Ноктуйской станции; это центр жительства золотоприскателей. Тут и дорога получше, и все живее, потому что много проезжих. Лена делается уже; в ином месте и версты нет, только здесь выдался плёс, версты в две. Берега крутые, оба сплошь покрыты лесом.

Скоро ехать нет возможности, как ездят, например, в европейской России. Там можно, не выходя из экипажа, переменить лошадей и ехать далее. Можно даже закусить в экипаже, и выйти на пять минут, с'есть кусочек сыру, ветчины, холодной телятины: а здесь все замерзает до того, что надо щи рубить топором, или ждать час, пока у камина отогреются. Вот и остановка. Вы с морозу, вам хочется выпить рюмку вина, — бутылка и вино составляют одну ледяную глыбу: поставьте к огню — она лопнет, а в обыкновенной комнатной температуре не растает и в час; захочется напиться чаю — это короче всего, хотя хлеб тоже обращается в камень, но он отходит скорее всего; но вынимать одно что-нибудь, т. е. чай-сахар — нельзя: на морозе нет средства разбирать, что взять, надо тащить все: и вот опять возни на целый час — собирать все!

Беда еще, когда столкнется много проезжих — лошадей мало. Вот нас едет четыре экипажа, мы и сидим теперь: я здесь, на Каменской станции, чиновник с женой и инженер — на Жербинской, другой чиновник — где-то впереди, а едущий сзади купец сидит, говорят, не на станции, а на дороге. Лошади устали или пристали, как здесь говорят. Всему этому причина почта, которая настигла нас. Я забыл сказать, что мы сутки пробыли в Олекме. Это маленький, бедный городок. Там живет исправник, почтмейстер, окружной лекарь, да несколько купцов. Нам указали квартиру у одного из последних. Останавливаться бы незачем, да надо возобновить запас хлеба. Добрый купец и старушка, мать его, угощали нас, как родных, отдали весь дом в распоряжение, потом ни за что не хотели брать денег. «Мы рады добрым людям», — говорили они: «ни за что не возьмем: вы нас обидите». Мы не мало смеялись над m—me К., которая, в уверенности, что возьмут деньги, командовала в доме, требуя того, другого.

На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, — это две тысячи верст: до Иркутска столько же остается — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по европейской России!

К удивлению моему, здешние крестьяне недовольны приисками; все стало дороже: пуд сена теперь стоит двадцать пять, а иногда и пятьдесят, хлеб — девяносто коп. — и так все. Якутам лучше: они здесь природные хозяева, нанимаются в рабочие и выгодно сбывают на прииски хлеб; притом у них есть много лугов и полей, а у русских нет.

Чуйская станция, 13 декабря. Витим.

Лена, Лена и Лена! Но все еще пустая Лена; кое-где на лугах видны большие кучи снегу — это стога сена; кое-где — три-четыре двора, есть хижины, буквально заваленные снегом, с отверстиями, т.-е. окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол: ничего, — тепло, только на улицу ничего не видать. В других избах, — и это бо́льшею частию, — окна затянуты бычачьими пузырями. На каждой станции кучи ямщиков толпятся у экипажа. Деревеньки содержат гоньбу всем миром, т.-е. с каждого мужика требуется пара лошадей. Все ямщики «ладят коней» и толпой идут спускать с горы. Двое везут.

Витим — слобода с церковью преображенья, с сотней жителей, с приходским училищем, и ямщики почти все грамотные. Кроме извоза, они промышляют ловлей зайцев, и тулупы у всех заячьи, как у нас — бараньи. Они сеют хлеб. От Витима еще около четырехсот верст до Киренска, уездного города, да оттуда девятьсот шестьдесят верст до Иркутска. Теперь пост, и в Витиме толпа постников, окружившая мою повозку, утащила у меня три рыбы, два омуля и стерлядь, а до рябчиков и другого скоромного не дотронулись: грех!

Кажется, я миновал дурную дорогу и не «хлебных» лошадей. «Тут уж пойдут натуральные кони и дорога торная, особенно от Киренска к Иркутску», говорят мне. «Натуральные» — значит, привыкшие, приученные, а не сборные. —

«Где староста?» — спросишь, приехав на станцию... — «Коней ладит, барин. — «Эй, ребята! заревите или гаркните (т. е. позовите) старосту», — говорят потом.

Смотрители здесь не везде: они заведывают пятью станциями. Из них один — на Мухтуйской станции — франт. Он двумя пальцами грациозно взял подорожную, согнув мизинец в кольцо. Форменный сюртук у него в рюмочку; сам расчесан. Мухтуй называют здесь Парижем, потому что крестьяне (из ссыльных) ходят в пальто и танцуют кадрили. Но я пробыл на ней четверть часа и ничего этого не видал. Один проезжий мне сказал, что, выехав рано утром, после проведенной здесь ночи, и вглядываясь в лицо своего ямщика, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить, где он его видел. «Я где-то видел тебя?» — спросил он наконец ямщика.— «А вчера я был вашим визави в кадрили, на вечеринке», — отвечал тот. Это уж не «натуральный» ямщик, говоря по-здешнему.

Вчера ночью я проехал так называемые щеки, одну из достопримечательностей Лены. Это — огромные, величественные утесы, каких я мало видел и на морских берегах. Едешь у подошвы и повозка с лошадьми похожи на ползающих насекомых. Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорее миновать их. Щеки эти находятся между Пьянобыковской и Частинской станциями, верстах в тысяче двухстах от Иркутска. Какие названия станций! Всему есть местные причины, до которых археологу не трудно добраться, по молодости края. Например, Пьяным быком прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. Спешу сообщить вам это археологическое сведение, опасаясь, что оно погибнет от времени. Деревень еще мало, скоро пойдут, говорят, чаще, чем ближе к Иркутску. Встречаются часто приискатели, приказчики их, возы. Дорога уже лучше, торнее, морозы возобновились, да еще с ветром: несносно, спрятаться некуда.

Киренск. Решительно нельзя ехать: скоро очень везут. Только приедешь куда-нибудь, только скинешь с себя все и расположишься у теплой печки, как уже говорят, что лошади готовы. А все от того, что кони натуральные, и ямщики тоже. Не могу нахвалиться расторопностью и радушием здешних ямщиков: они не знают, как принять приезжего, где посадить, и угощают, чем богаты — сальной свечкой, лучиной, скамьей. Потом (это уж такой обычай) идут все спускать лошадей на Лену: «на руках спустим», — говорят они, и каждую лошадь берут человека четыре, начинают вести с горы и ведут, пока лошади и сами смирно идут, а когда начинается самое крутое место, они все рассыпаются и лошади мчатся до тех пор, пока захотят остановиться.

Слава богу! все стало походить на Россию: являются частые селения, деревеньки. Лена течет излучинами, и ямщики, чтобы не огибать их, едут через мыски и заимки, как называют небольшие слободки. В деревнях по улице бродят лошади: они или заигрывают с нашими лошадьми, или, испуганные звуком колокольчиков, мчатся, что есть мочи, вместе с рыжим поросенком, в сторону. Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб — дым отечества! Всем знакомы картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне... Этого никогда не было в Сибири: и это, т.-е. отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии.

Киренск город небольшой. «Где остановиться?» — спросил меня ямщик: «есть у вас знакомые?» — «Нет». — «Так управа отведет». — «А кто живет по дороге?» — «Живет Синицын, Марков, Лаврушин». — «Поезжай к Синицыну».

Повозка остановилась у хорошенького домика. Я послал спросить, можно ли остановиться часа на два погреться? — Можно. И меня приняли, сейчас угостили чаем и завтраком — и опять ничего не хотели брать.

В Киренске я запасся только хлебом к чаю и уехал. Тут же я помчался быстро. Чем ближе к Иркутску, тем ямщики и кони натуральнее. Только под'езжаешь к станции, ямщики ведут уже лошадей, здоровых, сильных и дюжих на вид. Ямщики позажиточнее здесь, ходят в дахах из собачьей шерсти, в щегольских шапках. Тут ехал приискатель с семейством, в двух экипажах, да я — и всем доставало лошадей. На станциях уже не с боязнью, а с интересом спрашивали: бегут ли за нами еще подводы.

Стали встречаться села с большими запасами хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя птица. Дорога все — Лена, чудесная, проторенная частой ездой

между Иркутском, селами и приисками. «А что, смирны у вас лошади?» — спросишь на станции. — «Чего не смирны? словно овцы: видите, запряжены, никто их не держит, а стоят». «Как же так? а мне надо бы лошадей побойчее?» — говорил я, сбивая их. — «Лошадей тебе побойчее?» — «Ну, да». — «Да эти-то ведь настоящие черти: их и не удержишь ничем». И оно действительно так.

Верстах в четырехстах от Иркутска, начиная от Жегаловской станции, лошади на взгляд сухи, длинношеи, длинноплечи и не обещают силы. Они уныло стоят в упряжи, привязанные к пустым саням, или бочке, преграждающей им самовольную отлучку со двора: но едва проезжие начнут садиться, они навострят уши, ямщики обступят их кругом, по-двое держат каждую лошадь, пока ямщик садится на козлы. «Ты, парень, говорят ему: пошевеливайся, коренняк-то больно торопится». В самом деле, коренная поворачивает морду то направо, то налево, стараясь освободиться, пристяжные переминаются и встряхивают головой. Вот ямщик уселся, забрал вожжи, закрутил их около рук... «Ну!» — говорит он. Все мгновенно раздаются в сторону, и тройка разом выпорхнет из ворот, как птица, и мчит версты две-три вскачь, очертя голову, мотая головами, потом сажен сто резкой рысью, а там опять вскачь — и так до станции. Седок не имеет надобности побуждать ямщика, а ямщик — лошадей. Чуть лошади немного задумаются — ямщик поднимет над ними только руку, или гикнет — и опять пошли. И не увидишь, как мелькнут двадцать пять верст.

К Иркутску все живее: много попадается возов: села большие, многолюдные; станционные дома чище. Крестьянские избы очень хорошие, во многих местах с иголочки.

На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было отчего: у носа постоянно торчал обледенелый шарф: кто-то будто держал за нос ледяными клещами. Боль невыносимая! Я спешил добраться до города, боясь разнемочься, и гнал более двухсот пятидесяти верст в сутки, нигде не отдыхал, не обедал.

От слободы Качуги пошла дорога степью; с Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрыл траву; лошади паслись и щипали ее, как весной. На последней станции все горы; но я ехал ночью и не видал Иркутска с «Веселой горы». Хотел было доехать бодро, но в дороге сон неодолим. Какое неловкое положение ни примите, как ни сядьте, задайте себе урок не заснуть, пугайте себя всякими опасностями — и все-таки заснете и проснетесь, когда экипаж остановится у следующей станции.

Я проснулся однако не на станции. «Что это?» — спросил я, заметив строения: «деревня, что ли?» — «Нет, это Иркутск». — «А Веселая гора?» — «Э, уж давно проехали!».

А. П. Чехов

Из Сибири

— Отчего у вас в Сибири так холодно?

— Богу так угодно! — отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге уже давно цветут акации и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых, как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

— Из какой губернии?

— Из Курской.

Позади всех плетется мужик, непохожий на других. У него бритый подбородок,

седые усы и какой-то непонятный кламан позади на сермяге; подмышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, нестепенный, хворый, чувствительный к холоду, неравнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили... Нестоющий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке, да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и, ах, как играл! Но вот брат продал избу, скот и все хозяйство и идет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет — деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки... А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так, что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться, и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному; ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды... Вернись, дядя!

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена во внутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

— Хуже не будет! — говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: — «Хуже не будет!»

— Будет хуже! — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко переселенец с острым взглядом. — Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге, около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: «порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальною, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...»

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге 30-40 арестантов, по сторонам их — солдаты с ружьями, а позади — две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как-будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего — бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи итти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать, и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных... Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит возок о мерзлую землю, да когда закуриваешь папиросу, около дороги вспархивают разбуженные огнем две-три утки...

Под'езжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.

— Уплыли на ту, язви их душу! — говорит возница. — Давай, ваше благородие, реветь.

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать — здесь значит реветь, и потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи и мыши. «Попалась кошке и ревет», — говорят про мышь.

Начинаем реветь. Река широка, в потемках не видно того берега... От речной сырости стынут ноги, потом все тело.... Ревем мы полчаса, час, а парома все нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта темная, гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать; отец и мать — «киржаки», т.-е. раскольники, не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима, а он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться — курить. Узнаю от него, что в этой темной, суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем.

Но вот, наконец, слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи: на нем человек пять гребцов, и их два длинные весла с широкими лопастями похожи на рачьи клешни.

Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно, спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов это — «чтоб тебя уязвило» или «язвина тебе в рот!» Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке: в потемках не видно, что я «ваше благородие», и один из гребцов кричит мне хриплым голосом:

— Эй, ты, язвина, что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!

Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется — скучно, пахать землю не умеют, или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда, на перевоз. Лица у них испиты, истасканные, битые. А какие выражения на лицах! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревянели до мозга костей; а теперь, болтаясь днем и ночью в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка... На этом свете они уже не люди, а звери, а по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад.

* *
*

... В Колывани мне не дают почтовых лошадей; говорят, что по берегу Оби затопило луга, нельзя ехать. Задержали даже почту и ждут особого распоряжения.

Станционный писарь советует мне ехать на вольных в какой-то Вьюн, а оттуда в Красный Яр; из Красного Яра меня повезут верст 12 на лодке в Дубровино, и там уж мне дадут почтовых лошадей. Так и делаю: еду во Вьюн, потом в Красный Яр... Приводят меня к мужику Андрею, у которого есть лодка.

— Есть лодка, есть! — говорит Андрей, мужик лет 50, худощавый, с русой бородкой. — Есть лодка! Рано утром она повезла в Дубровино заседателева писаря и скоро будет назад. Вы подождите и пока чайку покушайте.

Пью чай, потом взбираюсь на гору из пуховиков и подушек... Просыпаюсь, спрашиваю про лодку — не вернулась еще. В горнице, чтоб не было холодно, бабы затопили печь и кстати, заодно, пекут хлеб. Горница нагрелась и хлеб уже испекся, а лодки все еще нет.

— Парня ненадежного послали! — вздыхает хозяин, покачивая головой. — Неповоротливый, как баба, должно, ветра испугался и не едет. Ишь ведь какой ветер! Ты бы, барин, еще чайку покушал, что ли? Небось тоскливо тебе?

Дурачок, в изодранной сермяге и босой, вымокший на дожде, таскает в сени дрова и ведра с водой. Он то и дело заглядывает ко мне в горницу; покажет свою лохматую, нечесаную голову, быстро проговорит что-то, промычит, как теленок, — и назад. Кажется, что, глядя на его мокрое лицо и немигающие глаза и слушая его голос, скоро сам начнешь бредить.

После полудня к хозяину приезжает очень высокий и очень толстый мужик, с широким, бычьим затылком и с громадными кулаками, похожий на русского ожиревшего целовальника. Зовут его Петром Петровичем. Живет он в соседнем селе и держит там с братом пятьдесят лошадей, возит больных, поставляет на почтовую станцию тройки, землю пашет, скотом торгует, а теперь едет в Колывань по какому-то торговому делу.

— Вы из России? — спрашивает он меня.

— Из России.

— Ни разу не был. У нас тут, кто в Томск с'ездил, тот уж и нос дерет, словно весь свет об'ездил. А вот скоро, пишут в газетах, к нам железную дорогу проведут. Скажите, господин, как же это так? Машина паром действует — это я хорошо понимаю. Ну, а если, положим, ей надо через деревню проходить, ведь она избы сломает и людей подавит!

Я ему об'ясняю, а он внимательно слушает и говорит: «Ишь ты». Из разговора узнаю, что этот жирный человек был и в Томске, и в Иркутске, и в Ирбите, что он, будучи уже женатым, выучился самоучкой читать и писать. На хозяина, который бывал только в Томске, он смотрит снисходительно, слушает его неохотно. Когда ему что-нибудь предлагают или подают, он вежливо говорит: «не беспокойтесь».

Хозяин и гость садятся пить чай. Молодая бабенка, жена хозяйского сына, подает им чай на подносе и низко кланяется, они берут чашки и молча пьют. В стороне, около печки, кипит самовар.

Я опять лезу на гору из пуховиков и подушек, лежу и читаю, потом спускаюсь вниз и пишу; проходит много времени, очень много, а бабенка все еще кланяется и хозяин с гостем все еще пьют чай.

— Бе-ба! — кричит в сенях дурачок. — Ме-ма!

А лодки нет! На дворе темнеет, и в горнице зажигают сальную свечу. Петр Петрович долго расспрашивает меня о том, куда и зачем я еду, будет ли война, сколько стоит мой револьвер, но уж и ему надоело говорить; сидит он молча за столом, подпер щеки кулаками и задумался.

На свече нагорел фитиль. Отворяется бесшумно дверь, входит дурачок и садится на сундук; он оголил себе руки до плеч, а руки у него худые, тонкие, как палочки. Сел и уставился на свечку.

— Ступай сюда, ступай! — говорит хозяин.

— Ме-ма! — мычит он и, согнувшись, выходит в сени. — Бе-ба!

Дождь стучит в окна. Хозяин и гость садятся есть утячью похлебку; есть им обоим не хочется, и едят они только так, от скуки...

Потом бабенка постилает на полу пуховики и подушки; хозяин и гость раздеваются и ложатся рядом.

Какая скука! Чтобы развлечь себя, переношусь мыслями в родные края, где уже весна и холодный дождь не стучит в окна, но, как нарочно, мне вспоминается жизнь вялая, серая, бесполезная; кажется, что и там нагорел фитиль, что и там кричат: «ме-ма! бе-ба!» Нет охоты возвращаться назад.

Постилаю себе полушубок на полу, ложусь и ставлю у изголовья свечу. Петр Петрович приподнимает голову и смотрит на меня.

— Я вот что хочу вам об'яснить... — говорит он вполголоса, чтобы хозяин не услышал. — Народ здесь, в Сибири, темный, бесталанный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди, а сам он ничего не умеет. Только землю пашет, да вольных возит, а больше ничего... Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ, не дай бог, какой скучный! Живешь с ними и только жиреешь без меры, а чтоб для души и для ума — ничего, как есть! Жалко смотреть, господин! Человек-то ведь здесь стоющий, сердце у него мягкое, он и не украдет, и не обидит, и не очень, чтоб пьяница. Золото, а не человек, но, гляди, пропадает ни за грош, без всякой пользы, как муха, или, скажем, комар. Спросите его: для чего он живет?

— Человек работает, сыт, одет, — говорю я. — Что же ему еще нужно?

— Все-таки он должен понимать, для какой надобности он живет. В России, небось, понимают!

— Нет, не понимают.

— Это никак невозможно, — говорит Петр Петрович, подумав. — Человек не лошадь. Примерно, у нас по всей Сибири нет правды. Ежели и была какая, то уж давно замерзла. Вот и должен человек эту правду искать. Я мужик богатый, сильный, у заседателя руку имею и могу вот этого самого хозяина завтра же обидеть: он у меня в тюрьме сгниет, и дети его по миру пойдут. И нет на меня никакой управы, а ему защиты, потому — без правды живем... Значит, в метрике только записано, что мы люди, Петры да Андреи, а на деле выходит — волки. Или вот в рассуждении бога... Дело не шуточное, страшное, а хозяин ложился и только три раза лоб перекрестил, как будто это и все; наживает и прячет деньги, небось, гляди, уж сот восемь скопил, все новых лошадей прикупает, а спросил бы себя, для чего это? Ведь на тот свет не возьмешь! Он и спросил бы, да не понимает: ума мало.

Долго говорит Петр Петрович... Но вот он кончил; вот уж и светает, и поют петухи.

— Ме-ма! — мычит дурачок. — Бе-ба!

А лодки все еще нет!

* *
*

Сибирский тракт — самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете. От Тюмени до Томска, благодаря не чиновникам, а природным условиям местности, она еще сносна; тут безлесная равнина; утром шел дождь, а вечером уже высохло; и если до конца мая тракт покрыт горами льда от тающего снега, то вы можете ехать по полю, выбирая на просторе любой окольный путь. От Томска же начинаются тайга и холмы; сохнет почва здесь нескоро, выбирать окольный путь не из чего, поневоле приходится ехать по тракту. И потому-то только после Томска проезжающие начинают браниться и усердно сотрудничать в жалобных книгах. Господа чиновники аккуратно прочитывают их жалобы и на каждой пишут: «оставить без последствий». Зачем писать? Китайские чиновники завели бы штемпель.

Со мною от Томска до Иркутска едут два поручика и военный доктор. Один поручик пехотный, в мохнатой папахе, другой топограф с аксельбантом. На каждой станции мы, грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся: — «Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станционные писаря и старосты говорят нам:

— Это еще ничего, а вот погодите, что на Козульке будет!

Пугают Козулькой на каждой станции, начиная с Томска — писаря загадочно улыбаясь, а встречные проезжающие со злорадством: «я, мол, проехал, так теперь же ты поезжай!» И до того запугивают воображение, что таинственная Козулька начинает сниться в виде птицы с длинным клювом и зелеными глазами.

Козулькой называется расстояние в 22 версты между станциями Чернореченской и Козульской (это между городами Ачинском и Красноярском). За две, за три станции до страшного места начинают уже показываться предвестники. Один встречный говорит, что он четыре раза опрокинулся, другой жалуется, что у него ось сломалась, третий угрюмо молчит и на вопрос, хороша ли дорога, отвечает: «Очень хороша, чорт бы ее взял!» На меня все смотрят с сожалением, как на покойника, потому что у меня собственный экипаж.

— Наверное, сломаете и застрянете в грязи! — говорят мне со вздохом. — Лучше бы вам на перекладных ехать!

Чем ближе к Козульке, тем страшнее предвестники. Недалеко от станции Чернореченской, вечером, возок с моими спутниками вдруг опрокидывается, и поручики, и доктор, а с ними и их чемоданы, узлы, шапки и ящик со скрипкой летят в грязь. Ночью наступает моя очередь. У самой станции Чернореченской ямщик вдруг об'являет мне, что у моей повозки согнулся курок (железный болт, соединяющий передок с осевой частью; когда он гнется или ломается, то повозка ложится грудью на землю). На станции начинается починка. Человек пять ямщиков, от которых пахнет чесноком и луком так, что делается душно и тошно, опрокидывают грязную повозку на бок и начинают выбивать из нее молотом согнувшийся курок. Они говорят мне, что в повозке треснула еще какая-то подушка, опустился подвизок, отскочили три гайки, но я ничего не понимал, да и не хочется понимать... Темно, холодно, скучно, спать хочется...

В комнате на станции тускло горит лампочка. Пахнет керосином, чесноком и луком. На одном диване лежит поручик в папахе и спит, на другом сидит какой-то бородатый человек и лениво натягивает сапоги; он только что получил приказ ехать куда-то починять телеграф, а ему хочется спать, а не ехать. Поручик с аксельбантом и доктор сидят за столом, положив отяжелевшие головы на руки, и дремлют. Слышно, как храпит папаха и как на дворе стучат молотом.

Разговаривают... Все эти станционные разговоры везде по тракту ведутся на одну и ту же тему: критикуют местное начальство и бранят дорогу. Больше всего достается почтово-телеграфному ведомству, хотя оно по сибирскому тракту только царствует, но не управляет. Утомленному проезжающему, которому еще осталось до Иркутска более тысячи верст, все, что рассказывается на станциях, кажется просто ужасным. Все эти разговоры о том, как какой-то член Географического общества, ехавший с женою, раза два ломал свой экипаж и в конце концов вынужден был заночевать в лесу, как какая-то дама от тряски разбила себе голову, как какой-то акцизный просидел 16 часов в грязи и дал мужикам 25 рублей за то, что его вытащили и довезли до станции, как ни один собственник экипажа не доезжал благополучно до станции, — все подобные разговоры отдаются в душе, как крик зловещей птицы.

Судя по рассказам, больше всех страдает почта. Если бы нашелся добрый человек, который взял бы на себя труд проследить движение сибирской почты от Перми до Иркутска и записал свои впечатления, то получилась бы повесть, которая могла бы вызвать у читателя слезы. Начать с того, что все эти кожаные тюки и кули, несущие в Сибирь религию, просвещение, торговлю, порядок и деньги, без всякой надобности ночуют целые сутки в Перми только потому, что ленивые пароходы всегда опаздывают к поезду. От Тюмени до Томска весною до самого июня почта воюет с чудовищными разливами рек и с невылазной грязью; помнится, на одной из станций, благодаря разливу, я должен был ждать около суток; со мной ждала и почта. Через реки и затопленные луга тяжелые почты перевозятся на маленьких лодках, которые не опрокидываются только потому, что за сибирских почтальонов, вероятно, горячо молятся их матери. От Томска же до Иркутска почтовые телеги по 10-20 часов просиживают в грязи около разных Козулек и Чернореченских, которым нет числа. 27-го мая на одной из станций мне рассказывали, что недавно на речке Каче под почтою провалился мост и что едва не утонули лошади и почта, — это одно из обычных приключений, которые давно уже стали для сибирской почты привычными. Пока я ехал от Иркутска, меня в продолжении шести суток не обгоняла почта из Москвы; это значит, что она опоздала больше, чем на неделю, и что целую неделю терпела какие-то приключения.

Сибирские почтальоны — мученики. Крест у них тяжелый. Это герои, которых упорно не хочет признать отечество. Они много работают, воюют с природой, как никто, подчас страдают невыносимо, но их увольняют, отчисляют и штрафуют гораздо чаще, чем награждают. Знаете ли, сколько они получают жалованья, и видали ли в своей жизни хоть одного почтальона с медалью? Быть может, они гораздо полезнее тех, которые пишут: «оставить без последствий», но посмотрите, как они запуганы, забиты, как робки в вашем присутствии...

Но вот, наконец, об'являют, что экипаж готов. Можно ехать дальше.

— Вставайте! — будит доктора папаху. — Чем раньше проедем эту проклятую Козульку, тем лучше.

— Господа, не так страшен чорт, как его малюют, — утешает бородатый человек. — Право, Козулька ничем не хуже других станций. Да и к тому же, если боитесь, то 22 версты можно и пешком пройти...

— Да, если в грязи не увязнешь... — добавляет писарь.

На небе брезжит утренняя заря. Холодно... Ямщики еще не выехали со двора, но уже говорят: — «Ну, дорога, не дай господи!» Едем сначала по деревне... Жидкая грязь, в которой тонут колеса, чередуется с сухими кочками и ухабами; из гатей и мостков, утонувших в жидком навозе, ребрами выступают бревна, езда по которым у людей выворачивает души, а у экипажа ломает оси...

Но вот деревня кончилась, и мы на страшной Козульке. Дорога тут в самом деле отвратительна, но я не нахожу, чтобы она была хуже, чем, например, около Мариинска или той же Чернореченской. Представьте вы себе широкую просеку, вдоль которой тянется насыпь сажени в четыре ширины из глины и мусора — это и есть тракт. Если глядеть с этой насыпи сбоку, то кажется, что из земли, как в открытой музыкальной шкатулке, выдается большой органный вал. По обе стороны его — канавы. Вдоль вала тянутся колеи, глубиною в поларшина и более, эти колеи перерезываются множеством поперечных, и таким образом весь вал представляет собою ряд горных цепей, среди которых есть свои Казбеки и Эльбрусы; вершины гор уже высохли и стучат по колесам, у подножия еще хлюпает вода. Только разве очень искусный фокусник мог бы поставить на этой насыпи экипаж так, чтобы он стоял прямо; обыкновенно же всегда экипаж находится в положении, которое, пока вы не привыкли, каждую минуту заставляет вас кричать: — «Ямщик, мы опрокидываемся!» То правые колеса погружаются в глубокую колею, а левые стоят на вершинах гор, то два колеса увязли в грязи, третье на вершине, а четвертое болтается в воздухе... Тысячи положений принимает коляска, вы же в это время хватаете себя то за голову, то за бока, кланяетесь во все стороны и прикусываете себе язык, а ваши чемоданы и ящики бунтуют и громоздятся друг на друга и на вас самих. А посмотрите на ямщика: как этот акробат умудряется сидеть на козлах?

Если бы кто посмотрел на нас со стороны, то сказал бы, что мы не едем, а сходим с ума. Мы хотим держаться подальше от насыпи и едем по опушке, стараясь найти сносный путь; но и тут колеи, кочки, ребра и мостки. Проехав немного

ямщик останавливается; он думает минуту и, беспомощно крякнув, с таким выражением, как будто хочет сейчас совершить большую подлость, правит к тракту, прямо на канаву. Раздается треск: трах по передним колесам, трах по задним! — это мы через канаву едем. Потом взбираемся на насыпь, тоже с треском. С лошадей валит жар, вальки отрываются, шлеи и дуги ползут в сторону... — «Но, матушка! — кричит ямщик, хлеща изо всей силы кнутом. — Но, дружок! Уязви твою душу!» Протащив возок шагов десять, лошади останавливаются; теперь, как ни хлещи по ним, как ни обзывай, а уж не пойдут дальше. Нечего делать, опять правим на канаву и спускаемся с насыпи, опять ищем окольной дороги, потом опять раздумье и поворот к насыпи — и так без конца.

Тяжело ехать, очень тяжело, но становится еще тяжелее, как подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течет цивилизация! Да, говорят, говорят много, и если бы нас подслушали ямщики, почтальоны и эти вот мокрые, грязные мужики, которые по колена вязнут в грязи около своего обоза, везущего в Европу чай, то какого бы мнения они были об Европе, об ее искренности!

Кстати посмотрите на обоз. Возов сорок с чайными цибиками тянутся по самой насыпи... Колеса наполовину спрятались в глубоких колеях, тощие лошаденки вытягивают шеи... Около возов идут извозчики; вытаскивая ноги из грязи и помогая лошадям, они давно уже выбились из сил... Вот часть обоза остановилась. Что такое? У одного из возов сломалось колесо... Нет, уж лучше не смотреть!

Чтобы поглумиться над измученными ямщиками, почтальонами, извозчиками и лошадями, кто-то распорядился насыпать по сторонам дороги кучи кирпичного мусора и камня. Это для того, чтобы каждую минуту напоминать, что в скором времени дорога будет еще хуже. Говорят, что в городах и селах, по сибирскому тракту, живут люди, которые получают жалованье за то, что починяют дорогу. Если это правда, то надо им прибавить жалованья, чтобы они, пожалуйста, не трудились починять, так как от их починок дорога становится все хуже и хуже. По словам крестьян, ремонт дороги, вроде Козульской, производится так. В конце июня или в начале июля, в самый сезон мошкары — местной египетской казни, «сгоняют» из сел народ и велят ему засыпать высохшие колеи и ямы хворостом, кирпичным мусором и камнем, который стирается между пальцами в порошок; ремонт продолжается до конца лета. Потом идет снег и покрывает дорогу ухабами, единственными в свете, укачивающими до морской болезни; потом весна и грязь, потом опять ремонт — и так из года в год.

До Томска мне пришлось познакомиться с одним заседателем и проехать вместе с ним две-три станции. Помнится, когда мы сидели в избе у какого-то еврея и ели уху из окуней, вошел сотский и доложил заседателю, что в таком-то месте дорога совсем испортилась и что дорожный подрядчик не хочет починять ее...

— Позови его сюда! — распорядился заседатель.

Немного погодя вошел маленький мужичонка, лохматый, с кривой физиономией. Заседатель сорвался со стула и бросился на него...

— Ты как же смеешь, подлец, не починять дорогу? — стал он кричать плачущим голосом. — По ней проехать нельзя, шеи ломают, губернатор пишет, исправник пишет, я выхожу у всех виноват, а ты, мерзавец, язви твою душу, анафема, окаянная твоя рожа, — что смотришь? А? Гадина ты этакая! Чтоб завтра же была починена дорога! Завтра буду ехать назад, и если увижу, что дорога не починена, то я тебе рожу раскровяню, искалечу, разбойник! Пош-шел вон!

Мужичонка заморгал глазами, вспотел, сделал лицо еще кривее и юркнул в дверь. Заседатель вернулся к столу, сел и сказал, улыбаясь:

— Да, конечно, после петербургских и московских вам здешние женщины не могут понравиться, но если хорошенько поискать, то и здесь можно найти девочку...

Интересно бы знать, что успел мужичонка сделать до завтра? И что можно сделать в такой короткий срок? Не знаю, к счастью или к несчастью для сибирского тракта, заседатели недолго сидят на одном месте; их часто меняют. Рассказывают, что один вновь назначенный заседатель, прибыв в свой участок, согнал крестьян и приказал им копать по сторонам дороги канавы; его преемник, не желая уступать ему в оригинальности, согнал крестьян и приказал им зарывать канавы. Третий распорядился в своем участке покрыть дорогу слоем глины в пол-

аршина. Четвертый, пятый, шестой, седьмой — каждый постарался принести в улей свою долю меда...

В продолжении всего года дорога остается невозможной: весною — грязь, летом — кочки, ямы и ремонт, зимою — ухабы. Та быстрая езда, которая когда-то захватывала дух у Ф. Ф. Вигеля и позднее у И. А. Гончарова, теперь бывает мыслима только разве зимою впервопутку. Правда, и современные писатели восхищаются быстротой сибирской езды, но это только потому, что неловко же, побывав в Сибири, не испытать быстрой езды, хотя бы только в воображении...

Трудно надеяться, чтобы Козулька когда-нибудь перестала ломать оси и колеса. Сибирские чиновники на своем веку не видали ведь дороги лучше; им и эта нравится, а жалобные книги, корреспонденции и критика проезжающих в Сибири приносят дорогам так же мало пользы, как и деньги, которые ассигнуются на их починку...

Приезжаем мы на Козульскую станцию, когда уже высоко стоит солнце. Мои спутники едут дальше, а я остаюсь починять свой экипаж.

**
*

Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае, да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч верст. Природа же, которую боготворят инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается только с Енисея.

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу — Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея; я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо...

Скоро после Енисея начинается знаменитая тайга. О ней много говорили и писали, а потому от нее ждалось не того, что она может дать. Вначале как будто немного разочаровываешься. По обе стороны дороги непрерывно тянутся обыкновенные леса из сосны, лиственницы, ели и березы. Нет ни деревьев в пять обхватов, ни верхушек, при взгляде на которые кружится голова; деревья нисколько не крупнее тех, которые растут в московских Сокольниках. Говорили мне, что тайга беззвучна и растительность ее не имеет запаха. Я ожидал этого, но все время, пока я ехал по тайге, заливались птицы, жужжали насекомые; хвои, согретые солнцем, насыщали воздух густым запахом смолы, поляны и опушка у дороги были покрыты нежно-голубыми, розовыми и желтыми цветами, которые ласкали не одно только зрение. Очевидно, писавшие о тайге наблюдали ее не весною, а летом, когда и в России леса беззвучны и не издают запаха.

Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на нее внимания; во вторые и в третьи удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого земного чудовища. Взберешься на высокий холм, покрытый лесом, гля-

нешь вперед на восток, по направлению дороги, и видишь внизу лес, дальше холм, кудрявый от леса, за ним другой холм, такой же кудрявый, а за ним третий, и так без конца; через сутки опять взглянешь с холма вперед — и опять та же картина... Впереди, все-таки, знаешь, будут Ангара и Иркутск, а что за лесами, которые тянутся по сторонам дороги на север и юг, и на сколько сотен верст они тянутся, неизвестно даже ямщикам и крестьянам, родившимся в тайге. Их фантазия смелее, чем наша, но и они не решаются наобум определять размеры тайги и на наш вопрос отвечают: «конца нет!» Им только известно, что зимою через тайгу приезжают с далекого севера на оленях какие-то люди, чтобы купить хлеба, но что это за люди и откуда они, не знают даже старики.

Вот около сосен плетется беглый с котомкой и с котелком на спине. Какими маленькими, ничтожными представляются в сравнении с громадною тайгой его злодейство, страдание и он сам! Пропадет он здесь в тайге, и ничего в этом не будет ни мудреного, ни ужасного, как в гибели комара. Пока нет густого населения, сильна и непобедима тайга, и фраза: «человек есть царь природы» нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь. Если бы, положим, все люди, которые живут теперь по сибирскому тракту, сговорились уничтожить тайгу и взялись бы для этого за топор и огонь, то повторилась бы история синицы, хотевшей зажечь море. Случается, пожар сожрет лесу верст на пять, но в общей массе пожарище едва заметно, а проходят десятки лет, и на месте выжженного леса вырастает молодой, гуще и темнее прежнего. Один ученый в бытность свою на восточном берегу нечаянно поджег лес; в одно мгновение вся видимая зеленая масса была охвачена пламенем. Потрясенный необычайной картиною ученый назвал себя «причиною страшного бедствия». Но что значит для громадной тайги какой-нибудь десяток верст? Наверное, на месте бывшего пожара растет теперь непроходимый лес, гуляют в нем безмятежно медведи, летают рябчики, и труды ученого оставили в природе гораздо больше следа, чем напугавшее его страшное бедствие. Обычная человеческая мерка в тайге не годится.

А сколько тайн прячет в себе тайга! Вот между деревьев крадется дорога или тропинка и исчезает в лесных сумерках. Куда она идет? В тайный ли винокуренный завод, в село ли, о существовании которого не слыхал еще ни исправник, ни заседатель, или, может быть, в золотые прииски, открытые артелью бродяжек? И какою бесшабашною, обольстительною свободою веет от этой загадочной тропинки!

По рассказам ямщиков, в тайге живут медведи, волки, сохатые, соболи и дикие козы. Мужики, живущие по тракту, когда нет работы, целые недели проводят в тайге и стреляют там зверей. Охотничье искусство здесь очень просто: если ружье выстрелило, то слава богу, если же дало осечку, то не проси у медведя милости. Один охотник жаловался мне, что ружье у него делает по пяти осечек подряд и выстреливает только после шестого раза; итти с таким сокровищем на охоту без ножа или рогатки — большой риск. Привозные ружья здесь плохи и дороги, и потому не редкость встретить по тракту кузнецов, умеющих делать ружья. Вообще говоря, кузнецы — талантливые люди, и особенно это заметно в тайге, где они не затерялись в массе других талантов. Мне по необходимости пришлось коротко познакомиться с одним кузнецом, которого ямщик рекомендовал мне так: — «У-у, это большой мастер! Он даже ружья делает!» И тон и выражение лица у ямщика живо напомнили мне наши разговоры о знаменитых художниках. У меня сломался тарантас, понадобилось починять, и по рекомендации ямщика явился ко мне на станцию худощавый бледный человек с нервными движениями, по всем приметам, талант и большой пьяница. Как хороший врач-практик, которому скучно лечить неинтересную болезнь, он мельком и нехотя оглядел мой тарантас, коротко и ясно поставил диагноз, подумал и, ни слова не сказав мне, лениво поплелся по дороге, потом оглянулся и сказал ямщику:

— Что ж? Пожалуй, вези тарантас в кузницу.

Починять тарантас помогали ему четыре плотника. Работал он небрежно, нехотя, и казалось, что железо принимало разнообразную форму помимо его воли; он часто курил, без всякой надобности рылся в куче железного мусора, глядел вверх на небо, когда я торопил его — так ломаются артисты, когда их просят спеть или прочесть что-нибудь. Изредка, точно из кокетства или желая удивить меня и плотников, он высоко поднимал молот, сыпал во все стороны искрами и одним ударом решал какой-нибудь очень сложный и мудреный вопрос. От неуклюжего, тяжелого

удара, от которого, казалось бы, должна была рассыпаться наковальня и вздрогнуть земля, легкая железная пластинка получила желаемую форму, так что и блоха не могла бы придраться. За работу получил он от меня пять с полтиной; пять взял себе, а полтинник отдал четырем плотникам. Те сказали спасибо и потащили тарантас к станции, завидуя, вероятно, таланту, который и в тайге так же знает себе цену и так же деспотичен, как и у нас в больших городах.

Омулевский (И. В. Федоров)

Бирюсинский лес

Дорожный набросок

Что пристально взглянул, ямщик, ты на меня?
Дивит тебя, небось, с каким восторгом я
На жестком облучке присел с тобою рядом?
Ты думаешь: «Зачем он жадным ловит взглядом,
По обе стороны дороги, темный лес?
Ведь в Питере, поди, каких уж нет чудес!»
Пожалуй, ты и прав... Но знай, земляк любимый,
Мне всяческих чудес милее край родимый,
Мне любо оттого, что едем мы тайгой:
Не снится и во сне столице лес такой.
Как все сибиряки, люблю я бор дремучий,
Где бродит наш земляк косматый и могучий —
Медведь; его у нас «хозяином» зовут, —
И точно, он вполне хозяйничает тут.
Мне Мишка тоже люб: сибирские трущобы
Представить не могу я без его особы.
Давно, когда еще я отроком был сам
И шлялся, как иной зверенок, по лесам,
Запас поэзии беспечно накопляя, —
Уж знал я этого причудника-лентяя:
Встречался ли мне кедр, обросший снизу мхом,
Бруснику ли я брал горстями, как черпком,
Искал ли диких пчел в лесине лиственничной,—
Мне так и думалось, что лакомка привычный
Таких лесных даров, таких отборных блюд —
Косматый мой земляк — уж где-нибудь да тут.
Случилось даже нам и лакомиться вместе,
Хотя и не вблизи, но так... шагов за двести.
Заметивши меня, — гроза сибирских баб —
Рябины спелой куст он выпустил из лап
И вежливо привстал, как будто приглашая,
Чтоб я ему прочел стихи, не унывая;
Но я скорей удрал: «лукав, мол, ты, земляк,
Да только ведь и я... природный сибиряк».
Так вот как, мой ямщик! Сибирскою тайгою
Потешил ты меня; а там, за Бирюсою,
Пойдет уж лес другой, и я соснуть могу.
Но, знаешь ли, за что люблю я так тайгу?
Она являет мне живое воплощенье
Страны моей родной: в ней то же запустенье,
Такой же в ней хаос, безлюдье, тишина,
И так же благом прав обижена она;
В ней столько же богатств, нетронутых от века,
На пользу общую, рукою человека,
И те же наконец медведи, за людей,
На полной волюшке хозяйничают в ней...

Карандашом с натуры

I.

Тому уже несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, и люди сотнями здесь пропадали с лица земли: о том повествуют летописи, знают бездонные погреба и кладбища. И те и другие — место последнего прибежища и жертв и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел здесь открыто.

На упрек Екатерины II Демидов добродушно ответил:

— И, матушка, о чем толковать! Все мы твои и с потрохами!

Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые железом зеленые крыши, на весь этот уют и манящий к себе вид в майской веселой обстановке, — и невольно рисуются в контраст захлебывавшиеся когда-то в погребах, исковерканные ужасом и мукой лица... Дальше...

Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами, река Тура, маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег.

По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. Навоза масса, и берег весь завален, — значит, в поле не возят.

В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина.

— Какая ж это Сибирь? — говорит, недовольно морщась, один из пассажиров, инженер с собакой. — И что тут покорил Ермак, когда и теперь здесь никого нет?

— Это, батюшка, все от настроения зависит, — отвечает мрачный контролер. — У меня был знакомый, и, знаете, его послали на Кавказ от пьянства лечиться. Ну, водки, конечно, ни-ни. Так что бы вы думали: озлился. Встречаю его, спрашиваю: «ну, что Кавказ, как?» — «Какой Кавказ? — говорит: — никакого Кавказа нет». — «Ну, как же, говорю, все-таки — виды»... — «Какие виды? Никаких видов нет». — «Горы...» — «И гор никаких нет...». Вот до чего можно дойти.

Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей небольшой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири: эскимосы, самоеды, олени, медведи, упряжь, одежда, оружие, латы; но тут же поломанный нивеллир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится, и в свое время тоже старинной станет. По стенам портреты Ермака. Пять их, и сходства между ними никакого.

На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестантов. Идут, звенят кандалами: торчат рыжие голенища; серые халаты, на спинах по два бубновых туза; наполовину обритые головы по продольному направлению. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем следов злобы, отчаяния, преступления, ищем, но глаз утомляется на общих масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорадный звериный взгляд тоски и горя. И все же общее впечатление строго-арестантского цвета: серого неба, серой реки и всей серой, однообразной природы той Сибири, которую мы до сих пор видели.

Приехали на пароход, — до отхода еще полчаса. Пьют пиво, разговаривают о городе, рассматривают покупки и угадывают цены. На пристани праздного народу масса. Стоят и смотрят. Молодой человек, в легком костюме, довольно грязном, больше, очевидно, думающий о материях высших, чем о том, что у него под ногами, споткнувшись на кем-то положенную палку, чуть было не растянулся на полу, но оправился и сел возле меня.

— Далеко-с?

— В Томск.

— Из Петербурга?

— Да.

— А я, позвольте представиться: здешний репортер. Может, слышали о нашей газете? Не слыхали, конечно; 215 экземпляров расходится: 180 платных и 35 даровых. При начале издания так и рассчитывали: городскими только ошиблись — считали 80, а набралось 90.

— Что ж вы не продаете отдельными номерами? Вот бы и мы купили.

— Не разрешают.

— Как же? Ведь это мера наказания.

— Ну, и редактор то же говорит, а местная власть говорит, что она права не имеет на розничную продажу, ну, и не продаем... Конечно, если бы через министра — можно бы добиться; но ведь тогда совсем зарез же будет: вроде войны выйдет, — тогда и вовсе бросай. Теперь и то уж... Дама одна... Тут благотворительный спектакль нам расстроила. Ну, и описали так слегка в газете, а муж ее, доктор, ведь редактору и залепил затрещину. Да еще как залепил, — сзади! — А? Ну, хотели огласку дать, — не разрешили.

— Дуэль была?

— Какая там дуэль... Так и прошло... А вы никакого материала не дадите нам?

— К сожалению, не имею... Да ведь у вас много же материала должно быть и здесь.

— Да, его-то много, да не любит наш цензор, вычеркивает. Пишите, говорит, о чем хотите, — ну, о других губерниях; что вам непременно далась здешняя: забудьте о ней. Ну, о чем же писать? Кто его знает, как у других, свою знаешь...

— А можно бы было написать, если бы позволили?

Молодой человек только рукой махнул.

— Пиво-то у вас на пароходе лучше нашего, сибирского. У нас вроде как будто не настоящее...

— Еще бы в Сибири захотели настоящего, — вмешался один из пассажиров, Иван Владимирович. — В Сибири уж такое положение... Все исполняющие должность, ну, и пиво вроде того, что должность исполняет.

Рассмеялись. Репортер заглянул мне в глаза и тоже вдруг рассмеялся. Добрые голубые глаза, голая шея, порыжевшие сапоги, желтое лицо. Опять поехали. Берег все уходил, река шире да шире.

Проснулись как-то: Обь. Куда глаз ни хватит, все вода да вода, а по ней, точно плавучие кусты, целые острова — голые, лишайные, с тонкими прутьями тальника, еле распустившегося. Чтоб сказать — величественно было, поражало, подавляло, — нет. Скучно просто...

— Чего смотреть? Идем в каюты. Там пиво, — хоть выпить можно, а здесь на ветру.

И, не договорив, контролер молча стал спускаться с трапа.

Инженер с собакой еще постоял, скрючившись от «дыханья Ледовитого океана», или, говоря проще, от северного ветра; оглянув серую безжизненную гладь, пустую палубу и тоже ушел. Поскрипывает пароход, иногда порядком покачивается от разгуливающих на просторе волн; сверкают мрачные свинцовые тучи; ветер воет; оголенные деревья, когда к ним подойдешь поближе, свистят свою унылую осеннюю песенку. Кто бы узнал здесь в этом костюме весенний месяц май во второй его половине?

В рубке все уютно сидят, все выползли из своих кают: кто играет, кто обедает, кто чай пьет. Никто не читает только. Дамы с работой чувствуют себя хорошо, уютно, не прочь от беседы, — умные слова, умные речи — товар лицом показывается. Только двое: контролер и инженер — скучными, усталыми глазами обводят по временам общество и еще усерднее после того стараются забыть за картами все окружающее.

Иван Владимирович, толстый старик со вставными зубами, коренной сибиряк, как он сам себя аттестует, сидит на диване и рассказывает о сибирских делах и порядках. Рассказывает о том, как в Томске один полицмейстер из беглых сидел несколько лет и ушел по доброй воле, а не уйди — и теперь бы, вероятно, сидел; о том, как один сибиряк пропал за то, что дневник вел.

— И ничего в этом дневнике, знаете, не было, кроме одной фразы, что вот, мол, какие бывают прекрасные люди. Ну, и рассказ при этом.

— Да за что ж тут пропадать? — окрысился инженер.

— А вот пропал же, — с злорадным торжеством проговорил Иван Владимирович и начал нюхать табак из табакерки.

— Да...

Начал было инженер, вероятно, желая возразить, но посмотрел на рассказчика, на публику, пренебрежительно переглянулся с контролером, получил поддержку и молча уткнулся в карты.

— Вот и да... — тихо, самодовольно пробурчал Иван Владимирович, — вот и да... Надо сибирскую жизнь знать, понимать надо, вот тогда и будет да.

И опять новые рассказы про горного исправника. Иван Владимирович искусно обрисовал тип пройдохи-негодяя, которого тридцать раз прогоняли за воровство, но в критические минуты снова принимали на службу за распорядительность.

— Действительно, я вам доложу, — говорит Иван Владимирович, сидя степенно, опираясь одной рукой на сиденье дивана, а другой, в которой была табакерка с табаком и платком с красным обводом, плавно поводя по временам по воздуху: — бывают такие случаи в приисковом деле, что хоть бери, но дело делай. А то ведь неопытный да нераспорядительный совсем зарежет. Да вот я вам скажу... Приняли одного... Ну, действительно, честный, — ни-ни... Ну, хорошо... Приезжает на прииск... Речь рабочим говорит... об'ясняет им, что он взяток брать не будет и все у него будет по закону... Хорошо... Едет на второй прииск — и там то же... На третий... об'ехал всех, воротился в свою резиденцию и руки потирает от удовольствия, какой он честный человек. Вдруг трах! Бунт на приисках, в одном, другом, третьем. Сразу раскусили, что за гусь... Туда, сюда... Да хорошо, что еще во-время догадались убрать, а то наделал бы таких делов... Круть-верть: опять этого прощалыгу вернули... Через месяц все тихо, спокойно. А так не видно: вор, вор, а вот как прогнали, вот тогда и оказалось... Ну, а вор действительно... грабитель просто...

— А в чем же польза от него? — спросил инженер.

— Ну как в чем! Надо знать приисковое дело — тогда и польза понятна будет. Брал, вот и польза. Убился, задавило рабочего, сломал руку, ногу; норовят уйти рабочие — воротить их назад, обходиться без слова «бунт» — вот и польза. Где деньги добывают, там уж денег не жаль — бери сколько хочешь, да дело делай.

Кто-то заметил, что теперь уж не те времена.

— Оно, конечно, не те, да и я ведь не про царя Гороха говорю.

— Выведут эти порядки...

— Конечно, выведут...

Иван Владимирович самодовольно посмотрел в окно.

— Я человек старый, мне ничего не надо... Я прямо говорю...

Иван Владимирович чувствовал в себе прилив хорошего гражданского мужества и так сомлел, что ясно было, что он готов хоть сейчас положить свои кости за правое дело.

— Ну, а дряни у вас, как видно, все-таки много, — заметил ему инженер.

— Да дрянь-то не от нас — вы же ее развели... Просветители, — у нас интеллигенция наша называет вас, господа просветители, не взыщите, огулом — навозным элементом, а простой народ из коренных еще хлеще: вместо «матушка Русь» величает «из дыры Рассеи разве чего путного дождешься». Коренной русский в Сибири открещивается: «я, говорит, единородец». Вот вам непонятно, может, а вот, как поживете, увидите сами, да если у вас совесть есть — вот тогда и вспомните меня. Вот как на своей шее почувствуете: я да я, да ничего знать не хочу, — вот тогда и загложет тоска... Точно вот целая этакая, можно сказать, огромная страна ему в наследство осталась.. лежала, лежала, — видите ли, дожидалась охотничка на своем горбу ум его испытывать. А ведь каждый-то с каким умом приезжает: он один все видит, все знает, все понимает... он один все рассмотрел, а там до него как-то все ерунда, все потемки, один он принес свет, он знает... А суньтесь к нему, — что, мол, как же, господин честной, мы для тебя или ты для нас? Ежели мы для тебя, ну так так, а ежели ты для нас, так хоть послушай нашего глупого слова, — вот он вам и покажет тогда кузькину мать... Тогда и узнаете, что такое эта самая Сибирь...

Ивану Владимировичу не мешали, и по стариковской болтливости он и не думал себя удерживать.

А Сибирь это вот какая штука... Это, прежде всего, царство казны... Вот как Россия при Николае Павловиче еще выглядывала, так вот теперь глядит Сибирь... В городах по трактам везде казенное клеймо; на каждом шагу вы чувствуете: если казенный вы человек — вам место, не казенный — вы так себе что-то... терпеть вас только можно... вот вы кто... Это по казенному аршину... Это на первом плане. За казенной Сибирью идет коренная Сибирь: торговый народ и простой. Это опять особенная жизнь, особенный строй, которого никто не знает, всякий по-своему прицеливается, но никто колупнуть не может, потому что не понимает да и не дорос...

Это уж не в обиду... За вот этой Сибирью опять идет целая Сибирь: вольная, бродячая Сибирь. Это опять целое царство: тут опять надвое делится: бродячие народы на законном основании — переселенцы, и коренные бродяжки... Вот тут и разбирайтесь... Каждая жизнь свое ядро имеет и не сливается с другим, а только соприкасается. Вот в этих местах, где она прикоснулась, там и видна она, а ядро-то самое, что там в нем, — это ни один из ваших писак никогда не видел, а видел, так не понял. Потому что, чтоб понять, — мало родиться в Сибири, а от деда к внуку это понимание идет.

— Ну, чем же у вас занимается, например, торговое сословие в Сибири? — спросил едко инженер.

— Как чем? Торговлей... золото, чай, пушной товар...

— Ну, вот про приписки мы слыхали... для чего вот вам воровство исправника нужно, а про пушное дело, водку и прочее расскажите нам; расскажите кто развратил всех этих остяков, бурят и прочих?

Иван Владимирович тяжело встал.

— Стар я, отец мой, чтобы шутки надо мной шутить, — проговорил он и с чувством собственного достоинства ушел в каюту.

— Гусь, — пустил ему вдогонку инженер: — коренной гусь...

— Какой он коренной, — пренебрежительно проговорил один из пассажиров:— это бывший управитель казенного завода, при Муравьеве в отставку вышел или должен был выйти. Ну, родился действительно в Сибири, но и отец был чиновником. Он лезет только в коренные... Вот видели, вместе с ним ушел старик бритый, молчит все да слушает, — вот этот из коренников... у этого вот десятка два миллионов наберется; ну, так он и разговаривать не будет, а этот только так, бесструнная балалайка, и говорит он, чтоб больше заслужить перед вот этим, бритым.

В это время в рубку поднялся тот, о ком говорили, — бритый господин, — и все смолкли.

С широким плоским лицом, плотный, бритый господин смахивал скорее на типичного актера-трагика, чем на коренной Сибири миллионера.

Его поношенное пальто, скромный вид, скромная манера совсем не импонировали публике. Он подошел поодаль к играющим и заглядывал в карты. Он приятно улыбался ошибке игрока и напоминал собою скряту, ищущего дешевых развлечений. За обедом ел только то, что было в карточке обеда, два раза чай пил и недоверчиво косился на тех, кто внимательно, сосредоточенно старался проникнуть в глубь этих безразличных, скромных глаз.

А на палубе попрежнему холодно, дует ветер, ходят по небу тучи, сердито скалится река своими белыми гребнями, то и дело появляющимися на волнах, уныло машут своими оголенными вершинами деревья, и только чайки среди этой всеобщей тоски сохраняют свой обычный, бодрый, веселый вид.

. . . . . .

Я уже месяц верчусь по всевозможным направлениям этого треугольника между Обью и Томью, разыскиваю и намечаю будущую железнодорожную линию Сибирской дороги.

Магистраль назначил; очередь за вариантами, т.-е. частичными изменениями.

Еду сегодня для такого варианта из Томска в село Талы (на Томи, в 90 в. от города). Из Башурина[1] повез меня мой старый знакомый Иван. И он и я рады тому, что опять свиделись.

На дворе начало июля.

— Вот и еще раз господь привел свидеться, — говорит Иван, выезжая со двора и приветливо оборачиваясь ко мне.

— Ну, что у вас, все благополучно?

— Все, слава богу.

Едем по берегу Томи. Татарская деревушка раскинулась на самом берегу. Гуси, скотина гуляют по зеленой лужайке. Обитатели — все бритые татары; сегодня у них праздник какой-то, и они праздничной кучей сидят на берегу, словно смотрят на нас, в своих бархатных тюбетейках.

— Чем занимаются?

— Извозом.

---

[1] Башурино — село в 25 в. от Томска. (Прим. авт.).

— Хорошо живут?

— Мало же... Больше в нужде.

Рыболовством занимаются?

— Нет, по Томи мало рыбы. Прежде, говорят, было... Воды большие пошли, доставать неудобно стало.

Навстречу едет, в широкой шляпе, широкоплечий, притиснутый мещанин в франтоватой притиснутой тележке. Рядом толстая, как бочка, нарядная баба. Мещанин степенно снял шляпу, я тоже.

— Это кто?

— А вот мельницу видел? Пять домиков? Это старший брат. Те, про коих сказывают, что от фальшивых денег жить пошли.

Я вспомнил о фальшивых деньгах, убийствах, о всех случаях, связанных с пятью домиками, и с любопытством оглянулся.

Я увидел только широкую спину старшего брата и курчавые русые волосы.

— Отличный мужик, дай бог ему здоровья, — все спасибо говорят. Если бы не он, наша бы деревня совсем пропала в эти два года: хлеб дорогой, весной где деньгу зашибить? А он, спасибо ему, хлебом всю деревню кормил.

— Даром?

— Где даром!.. Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может, две-три гривны и дороже возьмет, да ведь даст народу помощь.

... Разговор оборвался. Мы едем по лугам, заливаемым Томью; мелкий березняк, тальник по бокам; Томь то здесь, то там сверкает. Хотя июль, но холодно, как осенью. Солнце то выглянет, то спрячется за тучи. Кругом яркая зелень. Летают чайки, мартышки.

В Яру перевоз через Томь. Паром на той стороне. Звали-звали, стрелял я два раза, наконец услышали, зашевелились, стали запрягать лошадей, и скоро воздух огласился шумом лопастей о воду. Здесь паромы приводят в движение помощью лошадей. Лошади вертятся в кругу, устроенном в конце парома, колеса приходят в движение, и паром едет. На Томи — две лошади, на Оби — три.

В ожидании я хожу по живописному берегу Томи и ищу интересных камешков. Я хожу, в сущности, по золоту. В Сибири нет реки, где в песке не было бы золота; вопрос в его количестве, а, следовательно, в выгодности его добычи. Я нашел кусок кварца с блестящей золотой точкой. Неужели, действительно, золото? Я оглянулся к Ивану, но он куда-то ушел. Сидел только мой спутник, Михаил Осипович.

— Золото, — показал я ему.

Михаил Осипович посмотрел, отодвинул от глаз подальше и авторитетно проговорил:

— Нет.

Я не стал спорить, потому что знаю, что Михаил Осипович никакого представления о добыче золота не имеет.

Пришел Иван.

— Золото добывал? — спрашиваю.

— Бог миловал от греха. А вот какое золото добывал.

Иван вынул из-за пазухи кучу кедровых шишек.

— Где ты их достал?

— А вот в поскотине.

Поскотиной называется отгороженное вокруг деревни поле и лес для пастьбы скота. Так как здесь весной палов не пускают, чтоб не сжечь самих себя, то лес в поскотине всегда густой, красивый и рослый. Настоящая роща с массой орехов. Эти орехи составляют целый промысел и требуют большого искусства для их сбивания. Надо влезть на самую верхушку дерева. Один будет сбивать целый день одно дерево, а другой пять таких деревьев успеет опустошить. Отсюда плата искусному работнику доходит до пяти рублей в день. Сбивают орехи между 15-м августа и 1-м сентября. В июле уже есть орехи, но они еще сырые, липкие, и хотя сердцевина и вкусная, но добраться до нее можно не иначе, как обутлив на огне шишку: смолистые части выгорят и тогда не будут приставать к рукам и ко рту.

— А можно разве в чужой поскотине рвать?

— А пошто нельзя? Их бог садил на потребу всем, все одно, как траву, лес.

Вот страна, которая ближе всех подходит к мечтам о том, что когда-то будет и было.

Мы разговорились.

— Хорошо здесь у вас, — говорю Ивану, — умирать не надо.

— И у нас худо же есть. Три зла у нас: первое — мороз, второе — гнус, третье — прех.

— Какой прех?

— Какой? А зачем в Сибирь ссылают? Вот от этих от самых бродяжек и прех.

— А разве они донимают?

— Всякие бывают. Плохо положишь — позаботятся... Да не в том сила: сейчас содержи его, да отвечай, да подвода — замают. Хуже вот всех здешние же; они, к примеру, и не бродяжки, — только паспорта нет, — все вот и шляются. Придет в Томск и об'явится, что без паспорта, ну, его сейчас в тюрьму, одежду арестантскую и опять — в Каинск, или куда там. Сидит себе на подводе, а солдат пешком должен итти, он развалится себе, как барин, а ты вези...

— Какой же ему интерес?

— А такой интерес, что арестантскую одежду получит, потому что как его доставят в Каинск, что ль, — окажется, что он тамошний — его и выпустят. А закон такой, чтоб выпускать с одеждой. Ну, сапоги, одежда 18 рублей стоят, сейчас ему и найдено. В Томске побывал, одежду справили, привезли, да еще и с солдатом, чего же ему? Посидит—айда назад в Томск. Вот эти и донимают; самый отчаянный народ. А те, что с каторги тянутся, те никого не тронут, потому что опасаются, как бы не схватили; он так и пробирается осторожно до России, ну, там, действительно, ему не опасно.

— Отчего ж там не опасно?

— Да там поймают, первое — не бьют, потому что бьют только того, кого на месте, пока в Сибири еще, значит, поймали. Второе — опасно, как бы не признали, а в России — об'явился бродягой, и концы в воду, на поселение марш, а ему и найдено. Уж его тогда никто тронуть не может, будь он хоть сам каторжный.

— И много их, бродяжек?

— Тьмы кишат. Здесь им у нас, как в саду; первое — жалеют, подают, второе — работа. Так, в настоящие работники его брать не приходится, а поденно поработал, получил и марш. Их ведь было порешили совсем прикончить, как у немцев; там ведь их нет: камень на шею и в воду; ну, вы сами знаете, — неграмотней моего, — а у нас царь воспротивел: пущай, говорит, бегают до времени — из моей Палестины никуда не уйдут. Царь их жалеет. Оно, конечно, несчастная душа; с каждым может случиться. Как говорится, — от тюрьмы да от сумы не зарекайся.

— Со мной вот какой был раз случай. Еду я обратным из Варюхиной. Только выехал на поскотину, выходит человек из лесу. «Свези меня, — говорит, — в Яр». Я гляжу, — что такое, едет человек? Ни при нем, вроде того, что ни вещей, нет ничего. Я говорю ему: «Как же это вы, господин, так едете в дорогу?» Так чего-то он сказал, не разобрал; я посадил его да дорогой и пристал к нему, кто он да кто. Ну, он было туда-сюда, и признайся, что уехал из Варюхиной от солдат, пошел будто себе на задний двор да и лататы. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехали в Яр, остановился я посреди дороги и крикнул: «Люди православные, ловите его, это арестант, убег из Варюхиной да ко мне и пристал». Ну, тут его и схватили.

— Тебе не жаль его было?

— А как же он подводил солдата? Ведь солдат за него пошел бы туда же. Никак невозможно! Пропал бы солдат. И бил же его солдат, как привели назад. Ну, действительно, было отчаялся совсем. Уж тут так выходило: либо тому, либо другому пропадать, — друг дружку будто не жалеют.

Мы выехали на большую дорогу. То и дело тянутся обозы переселенцев.

— Много их?

— Конца света нет. Одни туда, другие назад шляются, угла не сыщут себе. Все больше свои, сибирские же, из Тобольской больше губернии. А чего шляются? Чтоб повинностей не платить; он ищет место до смерти, а мир — плати за него. Непутящий народ, нигде не уживаются.

— Куда же они едут?

— Да так, свет за очи. Все больше за Бийск к белотурке... и у нас которые садятся, да не живут же, все туда норовят: там белотурка родит.

— Ну, а у вас они могут, если захотят, осесть?

— Могут. Общество их не примет, а губернское правление отписывает, чтоб принять, помимо, значит, схода. Вот в прошлом году было такое дело. Пришли двое и просятся. Мир говорит: «Нам и самим тесно, мы вас не примем. Можете по другому закону сесть — садитесь, а от нас вам воли нет». Ну, они, действительно, отправились в город. Тут бумага из правления: принять таких-то, и не принять, значит, а прямо зачислить без мира, — значит, нельзя отказывать: иди кто хочет.

— И что ж, поселились?

— Живут.

— Что ж мир?

— Так что ж мир? Как разрешили, так и живите с богом; взяли с них подати, паши, где хочешь, сей, где хочешь, как, одним словом, все прочие.

— И не обиделся мир?

— Какая же тут обида, когда закон такой.

Иван замолчал, повернулся к лошадям и погнал.

А. А. Мисюрев

О плавильщике руд Иване Зажигаеве

Многие мастеровые жадными глазами смотрели на крутобокую девку Машеньку. Ее привез один из приказчиков, потом рассердился на нее за что-то и велел ей стоять при кухне. У нее были волосы желтые, как песчаные вихри, а глаза голубые и веселые.

Однажды она услышала, как Иван Зажигаев рассказывал подмастерьям очень веселую сказку, подошла ближе; парень смутился и замолчал. Она сорвала желтый цветок и ударила Ивана по щеке. И мастеровые стали завидовать ему, что он ходит с ней в лес, а солдат на сторожевой башне пропускает их, потому что девка Машенька умела улыбнуться.

Лицо у Ивана было красноватое, овеянное жаром плавильных печей, взгляд был туманный, и любил Иван выдумывать то, что другим не приходило на ум.

Однажды он сказал девке Машеньке:

— Видишь, как в небесах-то паучки ползают, золотые ниточки ткут?

Девка Машенька удивилась и сказала, что это — звезды божьи, лучезарные, а не паучки.

Но Иван продолжал:

— Нет, Машенька, сдается мне, крепки те нитки, никем и ничем не порвать их, самому палачу не разрубить смертным топором... И найдутся мастеровые люди, всяких дел искусники, и совьют из тех ниток веревку лучшую на свете, а я сотворю петлю, да на всех приказчиков демидовских и вздену. И самого господина нашего Демидова зацеплю той же петлей. И повесим их, супротивцев наших, на самой высокой сосне, что в бору Колыванском красуется.

— Ой, что ты баешь! — испугалась девка. — Разве ж можно нам без господ?!

Иван усмехался, но глаза его были печальны.

— Слух в народе идет, что господин наш Демидов одержим недугом и скоро представиться должен на суд всевышнего. И как представится на суд, отымет казна заводы его, что поставлены в здешних краях сибирских, и отойдут они в императорское владычество, и станем все мы подкоронные.

— Ваня, Ивашечка, помолчал бы ты лучше.

— Чего молчать? Лес кругом, слышат нас птицы одни... И мечта моя об одном: скорей бы забрали чиновники царицы нас на казенный кошт. Дочь Петра правит, справедливая Лизавета, не обидит она людишек мастеровых, прекратится беззаконие демидовское... Еще Петр император Демидову наказывал шибко мастеровых не обижать, да приказчики захватили все в свои руки, и творят, что вздумается им, безо всякого следствия и суда.

— Ивашечка, будет ли лучше?

— Неведомо тебе, Марья, как на Урале приказчик демидовских работных людей в шахте затопить приказал, когда на перепись чиновники приехали? Беспаспортных много набрано было... Вот, чтобы грозу на свои головы не навлечь, приказчик всех их и погубил. Ведала ты?

— Слыхать, Ваня, и не о таком доводилось... Лучше бы тебе скорее мастером стать, а мне угодить в хоромы, господам прислуживать...

— Молчи, девка! Не пущу я тебя в хоромы!

Возвращаясь в избу, где жили подмастерья, Иван увидел голого работника, вымазанного дегтем и облепленного пухом. Вокруг него толпились плавильщики, хохотали, указывали пальцами. Черный человек кричал, стараясь освободиться от железных рогов, надетых на него:

— Ребятушки! Сделайте милость, дайте до Оби добраться, деготь отмыть! Ребятушки!..

Но рабочие хохотали, а солдат острием багинета[1] слегка покалывал наказанного, заставляя его корчиться и вприпрыжку бежать по улице. Толпа следовала за ними. Иван с горечью подумал, что не жалеют мастеровые людишки своего брата, нет у них сочувствия.

Толпа, улюлюкая, бежала за голым черным человеком. Иван спросил подмастерья, который был тих, кроток, все кашлял и смирно сидел сейчас на бугорке:

— За что его?

— Приказчика Родиона Родионыча обозвал червем. Служители слышали, как он баял: дескать, приказчик Набатов — гробовой червь и грызет меня, будто мертвеца, с'ел на работе уже все мясо и до костей добирается. Ну, Родион Родионыч и приказали его дегтем намазать да в препровождении солдата по улице и пустить, народу на поругание.

На другой день девка Машенька в слезах прибежала на завод и умолила карульного пустить ее к печам. Иван не любил, когда его отрывали от работы; он смотрел, как закипает кровяными пузырьками жидкая медь, и удивительные вещи представлялись ему... поэтому он встретил Машеньку хмуро. Но она схватила его за руку и стала говорить, что Родион Родионыч велел ей прийти убирать в его личных покоях и готовить постель, а она не хочет итти, боится и не знает, что делать. Иван рассердился, и крикнул:

— Не ходи! Он — червь гробовой, а не человек!

И она не пошла доброй волей, а еще через день Иван увидел прибитую на воротах завода длинную, тугую косу, пышную косу Машеньки. Коса была прибита на видном месте гвоздем, ее перевивала ненужная и неуместная сейчас лента алого китайского шелка, рядом висел широкий лист витиевато исписанной канцелярской синеватой бумаги. Иван начал читать — он был обучен грамоте, как и все подмастерья, — но не мог справиться с некоторыми титлами, кудряво выведенными конторским писчиком, подозвал этого писчика, проходившего мимо, и вдвоем они прочли. И гнев охватил Ивана.

В «Из'яснении» говорилось, что у девки Марьи, Агафоновой дочери, а фамилии то ж и прозвища у ней нет, коса отрезана и выставлена на посмотрение всякого звания заводским людям для поругания и позора, дабы женки и девки блюли себя в чистоте и целомудренной скромности, а не наподобие упомянутой девки Марьи.

Иван понял, что Родион Набатов сделал это, чтобы отомстить Машеньке. И сколько Иван ни глядел, как вскипает и пенится медь, сердце его стучало тревожно и мысли возвращались к Машеньке и ее отрезанной косе.

Когда с покрасневшими от яркого блеска меди глазами, истомленные, измазанные копотью, вернулись мастеровые в избу и принялись неохотно есть базарные калачи со сбитнем, Иван сказал:

— Умрет Демидов, отойдут заводы в казну, — царица-матушка давно жаждет здешние руды взять под свою руку, — и начнется жизнь справедливая. Сама императрица Лизавета, Петрова дочь, сюда к нам прибыть соизволит и зачнет раздавать мастеровым искусникам почетные табакерки с ее портретом и пожалует лучшим подмастерьям и работникам штофные кафтаны. И прикажет она положить быков жареных близ плавильных печей и начинить быков рублями золотыми и выставить бочки с вином, — ешьте, пейте, мастеровые люди, берите горстями деньги! И зачнется великий пир, и после того пира хватит каждому золотых рублей до самой смерти. И призовет она наилучших мастеров и скажет: — «Сотворите мне дворец из чистого серебра, сотворите мне, детушки, любезные подданные, медных голубей, дабы лета-

[1] Штык. (Прим. авт.).

ли те голуби под серебряным сводом и садились бы те голуби на свинцовые деревья и клевали железные плоды...»

Мастеровые хохотали, не веря сказке, но Иван упрямо продолжал:

— И медное солнышко и медный месяц сотворите мне, чтоб светили ясные плошницы в моем новом дворце, и заводных прислужниц, чтоб ходили на железных ногах и подавали яства серебряными руками. И ответят подкоронные, бывшие Демидова люди: «Все, матушка-царица, сотворим, что душе твоей угодно, все сумеем, ко всему сподручны, русский человек мастерством немца завсегда перегонит». А приказчику Набатову, будь он за мучительства во веки-веков проклят, царица велит подать на ассамблее ковш плавленой руды и еще кубок плавленой руды и заставит его пить, пока не сгорят у него кишки и не остановится сердце...

Иван говорил горячо. Мастеровые посмеивались.

Звякнул замок. Железная цепь сдавила Ивану горло. Гиря весом до двух пудов тянула к земле. Иван качнулся, расставил руки, рухнул на землю. Он хотел выругаться, но только застонал. Служители подмигнули друг другу.

Сибирский приказчик владельца заводов и дворянина Акинфия Демидова Родион Набатов — благообразный старичок в красном парчевом камзоле господского покроя и простых русских сапогах, пахнущих дегтем, кротко произнес:

— За развратное поведение наказуем тебя, сыне. Бог-то все видит и слышит, бог и карает. Поработай с гирькой на выю, слезно помолись, может, и простятся тебе грехи твои.

Приказчик достал из малахитовой табакерки щепоть табаку, понюхал, чихнул.

— И зачем тебе сие понадобилось? — раздумчиво говорил он, качая головой, и такая грусть звучала в его голосе, что можно было подумать, будто и вправду он жалеет Ивана. — Гирька спину согнет, кланяться людям властным почаще заставит. Сам виноват, парень! Семена рассуждений злокозненных средь мастеровых людишек сеял, как мне донесли...

Гирю сняли только на четвертое утро. Шея не поворачивалась, распухла, болела. Ни лекаря, ни подлекаря Демидов на сибирских заводах не держал.

Ивану очень хотелось увидать девку Машеньку. Служитель сказал, что дается после отбытия наказания гульной день. Иван, все еще шатаясь, побрел искать ее. Небо казалось ему особенно просторным, облака — чистыми и пушистыми. Хорошо было Ивану, что с него сняли гирю, его тянуло погозорить об этом с людьми. Навстречу попалась приказчичья корова. Иван потрепал ее по спине.

На воротах снова увидел он истрепанную ветром, запыленную косу своей милой и подумал, что не нужно сейчас искать Машеньку: увидят их вместе, донесут...

Сердце Ивана, стуча, звало его к Машеньке, но он круто повернулся и пошел назад. Целый день он лежал на траве; болела шея, болел затылок. Приказчичьи коровы паслись на пригорке — пегие, рыжие, черные. Он принялся считать коров и заснул наконец-то без томительных сновидений.

В субботу он все же не вытерпел и сунул копейку одной служительской жене, чтобы та позвала Машеньку.

Он ждал ее в конце лесистой тропы, на задах приказчичьих домов и удивился, что идет сюда некая госпожа в парчевой робе небесного цвета, заткапной золотыми пчелами. Волосы дамы были завиты и густо напудрены, мушка на щеке придавала ей вид настолько величественный, что еще немного — и он принял бы даму за царицу Лизавету, которая явилась на Барнаульский завод судить злых приказчиков.

Он снял шапку и низко поклонился. Госпожа приблизилась и сказала знакомым и милым голосом:

— Какой же ты, Иванушка, стал... косоголовый.

Это была девка Машенька. Откуда же у ней такое платье и пудра и мушка?

Она сказала:

— Взял меня, все же, приказчик Родион Родионыч. Разве против господской воли пойдешь?

Иван протянул к ней руки, но она отстранила их,

— Нет, Иван. Кончилась наша любовь. Узнают — сожгут тебя в плавильной печи, а меня... меня...

Машенька засмеялась чрезмерно весело — так не смеются люди, когда у них спокойно на душе.

— Меня... — смеясь, говорила она, и слезы блестели в ее глазах, — мало ли что могут сделать со мной, приказчичьей девкой!.. А ты, Иванушка, стал юродивого вроде, — продолжала она, захлебываясь от смеха и слез, — голова-то набок, бабы теперь не полюбят.

— Пьяна ты, Марья, — сказал Иван, присматриваясь к ней. — Напоил тебя Родион Набатов. Купил тебя за парчевую робу.

— Не продалась я ему. Сам знаешь, — подневольные мы.

— Люби меня, Марья, попрежнему! За тебя ведь я пострадал.

— Нет, Иван, не могу любить тебя ныне. Косу отрезали мне, а еще что заметят — искрестят кнутом. Принадлежу я приказчику, старому Родиону.

— Хитришь ты, девка, евино отродье! Проговорилась ведь: вроде юродивого я стал, шея набок свернута. Будь проклята, распутная девка! Не нужен я тебе стал, вишь, такой. Ну, так я тебе скажу... скажу...

— Проклятьями, Иван, только озлобишь ты вконец мое сердце.

— Косу тебе не зря отрезали, Марья! Не зря!

— Ох, Ваня, не ждала я таких слов от прежнего милого. Ну, что ж... Заслужила, видно.

Слезы текли по ее лицу. Губы Ивана затряслись.

— А может, пожалеешь меня, Машенька!

— Нет, Иван. Скажу я тебе правду горькую, нечего таить. Живу, как барыня. А ты... что же ты?.. Не решусь я на мучения.

И пошел Иван Зажигаев своим путем, а девка Машенька вернулась в приказчичьи светлицы.

Прошло время — умер владелец заводов, приказчики и надзиратели тревожно шептались о чем-то, чиновные люди в зеленых плащах приехали составлять опись всем заводским строениям, капиталам, плавильным печам, запасам меди и серебра, скоту и людям. Приближалось то, о чем мечтал Иван Зажигаев: царица брала сибирские заводы в казну. Шел 1747 год. Службы ее величества бригадиру и кавалеру Иоганну Бейеру в Санкт-Петербурге вручили указ Елизаветы:

«Ехать тебе на Колывано-Воскресенские заводы умершего действительного статского советника Акинфия Демидова и учинить там следующее: оные Колывано-Воскресенские, Барнаульский, Шульбинский и прочие на Иртыше и Оби реках между оными... взять на нас. Оным строениям и рудам сделать опись и оценку, чего стоят, — для знания, что должно будет наследникам его из казны нашей заплатить, а в таковой заплате зачитать в то, ежели оный покойный Акинфий Демидов и его наследники чем в казну нашу должны и о том о всем справятся, где надлежит, прислать и нам известие».

Бригадир лежал в четырехместной карете, на перине, под лисьим одеялом. С ним ехала любимая собака. Всю дорогу обучал своего пса не бояться выстрелов, стреляя над его ухом из пистолета. Пес лаял, выл. Впереди кареты и следом за ней скакали гусары, вершники и гайдуки. Жители деревень, заслышав издалека, что под'езжает знатная персона, закрывали ворота на засовы и уходили в поле, в лес. Деревни казались вымершими. Это раздражало Бейера; он приказывал гайдукам согнать народ, чтобы поклонились ему. Старост он собственноручно таскал за бороды, ругаясь по-немецки и по-русски. Пес Бейера лаял, вырывая целые клинья из мужицких самотканных чембаров. Гайдуки и гусары играли в кости на здешних девок.

В тех случаях, когда крестьяне не прятались от него, Бейер был милостив. Он щупал руки парней, заставлял их бороться и удовлетворенно думал, что эти крепкие люди станут неплохими рудокопами ее величества. На каждой остановке камердинер приготовлял ему жженку, и Бейер пил ее из булатной чарки, мысленно поздравляя столь расположенную к нему русскую императрицу.

Ближе к Барнаулу крестьяне, наученные приказчиками, выходили навстречу с хлебом-солью, становились на колени. Около Барнаула приказчики и надзиратели, желая усердие показать, выпрягли лошадей из кареты и потащили ее сами. Бейер хохотал, развалясь на штофных подушках. Потом он осмотрел надзирателей, потных

и кряхтящих от натуги, и спросил, почему он не видит среди них капитального приказчика Родиона Набатова.

— Не ведаем, батюшка! — хором отвечали надзиратели. — Не вели судить, вели миловать, ваше превосходительство, токмо не можем знать!

А саксонские мастера, встретившие Бейера с большим достоинством и не вприглядку в карету, зашептались между собой и делали Бейеру знаки, прикладывая палец к губам.

Скрипели гусиные перья. Писчики и копиисты так тщательно выводили цифры в своих промемориях и так низко склонялись над бумагой, что пшеничная мука с париков осыпалась на аккуратно разграфленные листы. За малейшую ошибку писчиков били плетьми, за более крупный промах — кнутом с вырыванием ноздрей. Бейер, прямой и плоский, осматривал завод, куря на ходу трубку из голландского фарфора в два локтя длиной. Приказчики-раскольники не выносили табачный дым, они чувствовали тошноту, их лица зеленели, но приказчики шли за Бейером. И только Родиона Набатова не было здесь.

С приказчиками Бейер почти не говорил. Он говорил с мастерами по-немецки.

Вскоре Иван и все другие заводские люди увидели зрелище необычайное: Родион Набатов, в цепях поверх затрапезного архалука, выведен был солдатами из своего дома и посажен на телегу. Родион был бледен, он бормотал молитву, глаза его были злы, как у бейеровой собаки, которая все норовила схватить скованного приказчика за ногу.

— Пса отгони, — взмолился Родион солдату. Тот привязывал к телеге ранец с сухарями и долго не обращал внимания на просьбы приказчика. Наконец, солдат обернулся и, вместо того, чтобы отогнать пса, ударил недавнего властителя заводов по шее. Родион съежился и вдруг стал маленьким, тощим, жалким.

— Молчи! — с сердцем сказал солдат, — и без тебя тошно.

Тем временем близ телеги собралась толпа.

— Простите, люди добрые, — завопил Родион, — коль ненароком обидел кого, простите! — Он поклонился в пояс, цепь зазвенела. Народ молчал. Шапок не снял.

«Как бы не так, — простить тебе, злодей», — подумал Иван Зажигаев, стоявший в переднем ряду. Возница тикнул, стегнул лошадей, телега покатилась, вздымая пыль. Из распахнутых настежь окон приказчичьего дома слышались причитания женской прислуги. Видны были пышные парики казенных людей, согнувшихся над бумагами с перьями в руках. Казенные люди описывали имущество Родиона Набатова. Никто не вышел на крыльцо, не вышла и Машенька. Вскоре телега скрылась за кустами.

Как после было об'явлено рабочим, Родиона отправили в тобольскую духовную консисторию, дабы подвергнуть пыткам за принадлежность к расколу и совращение в оный мастеровых. Сами рабочие добавляли, что Родион тайно препятствовал описи заводского имущества и посылал ночью доверенного человека сорвать казенные печати, наложенные Бейером на плавильные печи.

Бейер немедленно поселился в доме Набатова. Из Петербурга прибыл караван с имуществом бригадира и тремя поварами. Ожидали второй караван с супругой Бейера, ее имуществом, шутами, шутихами и прочей челядью. В ожидании супруги Бейер, уже утвержденный главным командиром Колывано-Воскресенских заводов, развлекался Машенькой. Главный командир млел от восторга. Он не думал, что русские женщины в их сарафанах могут быть так привлекательны и даже изящны. Бейер дал Машеньке честное слово дворянина исполнять все ее просьбы.

Он посадил Машеньку к себе на колени и, потрепав ее пухлый подбородок, раскрыл перед ней шкатулку черного дерева, принадлежавшую Родиону Набатову. Машенька ахнула. Никто никогда не дарил ей такие вещи. Она выбрала миндалевидные бусы горного хрусталя, свежие и чистые, как слезы — вот-вот расплещутся, разольются, и еще бусы редкого камня, круглые, как маленькие яблочки. Они были такого цвета, как ее губы.

Камердинер наводил порядок в доме, выгравляя тараканов, укрывшихся у приказчика за иконами древнего письма, и уничтожая различными эссенциями лампадный запах. Сундуки с приказчичьим добром были слишком громоздки; их вынесли в ту светлицу, где жила Машенька.

Остальных приказчиков и демидовских надзирателей Бейер распорядился проводить за ворота на все четыре стороны. Немецкие мастера стали заправлять всем.

Они входили к Бейеру без доклаад, он пил с ними пиво и курил трубку, расстегнув камзол.

Раздалась барабанная дробь, и солдатские капралы заставили всех рабочих построиться на площади в две шеренги, одна против другой. Потом капралы ушли. Рабочие, недоумевая, переминались с ноги на ногу.

— Для чего ж нас так?

— Никогда сего не бывало.

— А мы, видишь, ныне стали подкоронные. Бают, служба солдатской вроде нам положена.

— Служба? А хлеба-то на рынке нет. Впервые в сих местах такое содеялось, что хлеба нет.

— Ребятишки дома орут, есть просят...

— А куда ж хлеб девался?

— Сеять некому, голубь ты мой. Нынче год особливый, подкоронный царицын год. Крестьяне вольные были, а теперь их к заводам приписывают, возить руду, уголь жечь в лесах принуждают под страхом.

— Ну, про крестьян не рассказывай. Всем знамо.

— Тогда и про хлеб не спрашивай!

— Работы великие зачались. Руды навозили — страсть! Леса жгут на уголь, зверь бежит из оных мест. Крестьяне туторят — лось ушел.

— Гляньте, мужики, — везут сюда целый воз веток березовых. Зачем сие?

— Сад садить немцы удумали.

— Для того, видно, и нас пригнали, и плавильню прикрыли на сегодня.

— Э, чует мое сердце — не для сада березки...

— Глядите, немцы идут!

Во главе нового заводского начальства на площадь прибыл Иоганн Бейер. Все начальство было при шпагах. Главный писчик принялся вычитывать рабочим военный устав и адмиралтейский регламент. По этим законам они теперь должны были жить и работать, пожизненно прикрепленные к заводам. Голос у писчика был гнусавый, монотонный, солнце жгло, рабочим хотелось есть и пить, и они многое прослушали. До сознания их доходили лишь отдельные фразы, на которых писчик повышал голос: «Бить шпицрутеном десять тысяч раз»... «ноздри вырывать»... «отрезать левое ухо»... «четвертование»... Все это были кары за побеги со службы, непослушание начальству и за прочие «воровства».

— Все ли понятно, мастеровые людишки? — спросил Бейер.

По-русски он говорил хорошо, но медленно, подбирая слова. Рабочим казалось, что он делает это нарочно, для важности.

— Непонятно, барин, — ответил из рядов Иван. — Думали мы, что ее императорское величество житьишко наше облегчит против демидовских времен. Ан, нет, не то получается. При демидовских приказчиках мы то ж биты бывали немилосердно и работали бесконечно, и шея у меня кривая от гири сделалась, зато хлеб ели привольно. А нынче хлеба нет. И как бы умолить матушку Лизавету, чтоб сюда соизволила прибыть и навела собственноручный порядок? А то в законе словечки все вроде немецких, не при нас писаны, и не знаем мы, что за такой шпицрутен? Растолкуйте, сделайте милость.

Бейер подумал, переведя речь Ивана на немецкий язык, и вдруг захохотал. Уж очень смешным показалось ему, что мастеровые не знают шпицрутена.

Бейер махнул рукой и воз, нагруженный прутьями, остановился посредине шеренг. Новые надзиратели-солдаты схватили Ивана, обнажили до пояса, привязали его руки к ружью. Бейер сказал, продолжая смеяться:

— Узнаете сейчас, мастеровые, что в службе императорской называется шпицрутеном. Эй, дать каждому прут и проверить, нет ли поломанных прутьев, а также прутьев с листвой. Каждый должен ударить, а за неподчинение подвергнется жестокой каре, по регламенту адмиралтейскому. Сего наглого человека, — он указал на Ивана, — наказать подобает со всем усердием.

Ивана повели вдоль рядов. Засвистели прутья. Каждый рабочий ударял, дрожа и отворачиваясь. Скоро просекли кожу. За Иваном по дороге тянулась лента крови. Один подмастерье не хотел бить Ивана и надломил свой прут. Надзиратели заметили. На спине подмастерья начертили косой крест мелом. Окровавленного Ивана

увезли в госпиталь, учрежденный Бейером. Тому, кто не хотел бить, дали столько же ударов и отправили в тот же госпиталь.

... Хлеба не было на заводах. Начальство повелело: «...у целовальников взять сказки под смертную казнию, коликое число у них ныне при тех заводах имеется и каковое порознь хлеба, и из одного вино курить до указу им по тому ж запретить».

Генерал-майор Киндерман составил проект о снабжении войск сибирских и мастеровых вместо хлеба березовой корою «во избежание казне ее величества ущерба».

Раскольники в деревнях сжигали себя. Полыхали пожары, раздавались вопли гибнущих и пение псалмов — озлобленное, гневное.

Тогда и появился в Космолинском бору Селезень-беглец. Бежал он со Змеиногорского рудника и собрал себе отряд беглых удалых молодцов. Ноздри у него были рваны за буйные дела на руднике, и буквы были выжжены на щеках и лбу: В-О-Р Страшное было лицо, но нравом он был для своих приятен и добр. Беглые любили его и слушались во всем.

Селезень мстил. Он грабил не кого придется, а проезжих купцов и понаехавших с Бейером горных офицеров. Особенно ненавидел он последних, и ни один попавшийся ему горный чин не мог уйти от него. Зеленые форменные плащи убитых офицеров он вешал в своей пещере на крюк, вбитый в каменную стену, и со временем этих плащей скопилось у него пять. Он любовался добычей, ощупывая тонкое сукно могучими своими пальцами и тогда на его обезображенном, изрезанном лице появлялась детская улыбка. Он говорил, что успокоится его душенька только тогда, когда этих плащей наберется дюжина.

И джунгарских купцов грабили молодцы. Каждый купец падал на колени и вопил: «алла, алла!» Разбойники отбирали у них китайскую голь темновасильковую, позументы в рясах жемчужных, бусы из таких пестрых камешков, каких нет в наших краях. Уцелевшие купцы, дрожа за свою жизнь и товар, нанимали в Барнауле писца, который строчил от их имени прошения Бейеру. Но солдатские команды ничего не могли поделать с Селезнем и его шайкой. Местность кругом была дикая, горная и лесная, укрываться беглецам было легко. Солдаты же были голодны, изнурены. Не хотелось им продираться сквозь чащу, где сам чорт ногу сломит, и карабкаться по крутым склонам оврагов.

— Да ну его к ляду, — воеваться и по тем людишкам стрелять, — ляжем-ка, ваше капральство, на травку, да хоть табачку покурим, коль жрать нечего, — говорили солдаты. Капралы и прочее мелкое начальство старались в этой дикой стране с солдатами жить в ладу, побаивались их и особенно не перечили. Селезень из-за какого-нибудь куста видел лежащих на траве солдат, посмеивался, делал молодцам знак не шуметь, и шайка уходила подальше.

Однажды, смеха ради, захватили они в полон отбившегося от своих солдата, драли его за косу парика, а солдат качался, как дряхлый инвалид. Он не ел трое суток. Накормили его жареной медвежатиной, «только хлеба у нас нет, парень, и соли нет». Солдат выпил чарку офицерского сладкого вина, стал благодарить и, низко кланяясь, просился остаться с ними: «Сытно живете, братцы». Селезень подумал, потом надвинул ему на глаза его треуголку и пнул ногой в зад: «Иди, а то еще при случае выдашь». Шайка, на конях, отобранных у купцов, ушла дальше от Барнаула.

В одну темную ночь караульному около заводских ворот померещился чорт. Чорт был в белом балахоне. Лица его караульный рассмотреть не мог, но потом божился, что лицо его было черное, чорт шел босой, ужасно рыча, со смертной свечкой в руках.

Караульный от страха выронил ружье, присел на корточки, зажмурил глаза. Чорт скрылся.

При утренней перекличке, согласно устава коронной службы, проводимой теперь на заводах, не досчитались Ивана Зажигаева.

Была послана для поимки драгунская команда. Но ей так и не удалось поймать беглеца.

Долго он плутал в бору, питаясь кореньями, но к голоду Иван уже привык и не так уже плохо было ему. Воля!.. Звенели ручьи, голубая птица пролетела над головой Ивана, точно платок, играючи, брошенный Машенькой. Так и казалось, что вот-

вот она выйдет из-за хмурых толстых деревьев, прекрасная, как тогда, и он услышит ее сладкий голос: «Я тоже воли захотела. Я буду с тобой до смерти». Но он понимал, что это невозможно, и гнал эти мысли.

Вечером он разводил огонь при помощи трута и огнива, варил похлебку из кореньев. Туман спускался на землю, тянуло холодом, плесенью. Жутко становилось беглецу. Иван подумал, бросая сухие ветви в костер:

— Какие здесь мертвецы быть могут, в бору заводском? Наша мастеровщина больше помирает, никто иной... Что ж, они — свои, разве они меня тронут?

Спал Иван на траве, мокрой от росы, крепко и безмятежно — он был на воле. И вот однажды разбудил его человек, под'ехавший верхом на добром коне, но без седла. Одет он был в парчевый кафтан, испачканный нето дегтем, нето еще чем-то, шапки у него не было, и черные, жесткие, как проволока, волосы вились дико и буйно. Борода лежала на его груди, как железный клин. Солдатская фузея с багинетом торчала за его спиной на мочальной веревочке. Одного уха у него не было, и беглец понял, что это — ухорез, некогда наказанный палачом.

Иван встал и низко поклонился.

— Прими, христа-ради, отведи к Селезню-атаману.

— А откуда путь держишь?

— А с барнаульского завода, добрый человек, с плавильни сбежал, шпицрутеном драный.

— Добро! Мастеровой, аль крестьянского роду?

— Мастеровой.

— Таких Селезень любит. Он сам таков, и мы все таковы. Только у нас народ все боле со Змиева рудника. Что, не сладок пришелся царицын кошт?

И, усмехнувшись, повел беглец новичка на дно заросшего кустами оврага — к Селезню-атаману.

Уж вы горы, гороньки Алтайские,
Приютите вы нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, разбойничков;
Мы пришли к вам, гороньки, не век вековать, —
Не век вековать, одну ночку ночевать...

Эти слова и заунывный напев придумал Иван, когда шайка уходила все дальше на юг, все дальше от Барнаула. Многие версты отделяли его от Машеньки. Неужели немец попрежнему целует ее синими губами своими?..

Он пел эту песню, придуманную им, сидя на склоне горы, обняв колени руками и низко опустив голову. Шея болела — к непогоде.

Молодцы отдыхали. Иные боролись, хохоча и сталкивая друг друга под откос; кто постарше годами — смазывал медвежьим салом фузею; кто точил топор или осматривал кистень, припоминая, как ловко угораздил этим кистенем по виску русского в поддевке или джунгарского в пышной чалме и халате купца. Селезень бродил, посматривая на молодцов и думая, что, пожалуй, еще долго не разобьют его шайку и можно будет вволю погулять, мстя всякому начальству и богатеям.

Селезень увидел, что Иван сидит неподвижно, как старик, и услышал песню. Атаман подошел и ударил его по плечу. Рука была такая тяжелая, что Иван сразу вскочил.

— О чем горюешь, молодец? — спросил Селезень, как мог ласково.

— Хотел бы я руду плавить на неких вольных заводах и в счастливой земляце, что за горами теми, быть может, лежат... Хотел бы я дворцы строить из той руды, отец-атаман, медные, серебряные, свинцовые, и чтобы в тех дворцах все звенело.

— Кому же ты, парень, дворцы творить хочешь? Царице Лизавете, расчутной бабе?

— Нет, Селезень, не царице, ибо испытал я службу подкоронную, спину до сих пор к непогоде от шпицрутенов саднит. Так хочу, чтоб жил в тех дворцах простой черный народ, смерды, как мы с тобой. И в лучшем дворце с четырьмя башнями по углам чтоб жил я с Машенькой, и были бы во дворе плавильни, и все больше руды плавил бы я на счастье черным людям, чтоб ни один в курной избе не остался, а все поселились во дворцах. И чтоб сама пришла ко мне Машенька, по доброй воле, а не втащил бы я ее за косу в покои те... И был бы ты, Селезень, генералом с лентой

и звездой, а Сережка-ухорез — капитальным караульщиком плавилен всенародных.

— А Лизавету-царицу, тварь непотребную, куда ж ты денешь?

— Не ведаю, Селезень; только не надо мне царицы... И чтоб сбирался народ, в тех дворцах обитающий, на вече и решал чему быть, чему не быть, вольным сговором и советом.

— Не найдешь ты, Иван, на всей земле от окияна до синь-моря таких дворнов. А за горами теми лежит Зюнгерская землица, живут в ней злые калмыки-нехристи, и нет у них вольных плавилен.

Селезень уходил, качая головой. Был он для своих «утят», как добрый дядька, и боялся, как бы Иван не сошел с ума от таких мыслей: лишится тогда шайка удалого, смелого человека.

... Взяли они джунгарского купца в чалме солнечного цвета и пурпурном халате. Купец знал по-русски и попросил:

— Не убивай, Селезень. Выкуп за меня будет; ой, большой выкуп!

В ожидании выкупа жил он с беглыми, но медвежатину есть не мог, осунулся и совсем почернел. Чалма у него стала похожа на желтую тряпку. Селезень приставил Ивана караулить купца.

Наступили дожди, в лесу стало холодно и неприютно. И купец сказал Ивану:

— Родом я из Кашгара, платящего дань джунгарам. Ой, весело в нашей землице.

Иван спросил:

— Есть у вас там коронная служба и шпицрутен?

Купец не ответил, а глазами черными и острыми, как гвозди, впился он в лицо Ивана и прочел его думу. И сказал:

— Коль ведаешь плавку руд, да в зюнгерской землице бы проживал, не довелось бы тебе укрываться в лесах, грабить купцов проезжих! Ой, хорошо бы ты жил у нас! Пушки лить надо, и некому пушки лить. Тебе дворец дадут, гарем дадут, одежду почетную, станешь ты сановник и вельможа. И когда понесут тебя по улице, трубач будет играть на трубе.

Слушал Иван, и разгорелось его сердце...

— А как же мне попасть в вашу землицу?

Купец подмигнул хитро:

— Пришлют выкуп — иди со мной. Иначе не попадешь: сторожевые джунгары пронзят тебя стрелами. А шайку вашу скоро изловят...

Но нет, не мог Иван бежать в зюнгерскую землицу. Не мог бы бросить Селезня и удалых молодцов. Позорно было бы Ивану покинуть в такое время товарищей.

Мечта — отчаянная и прекрасная — нежданно вспыхнула в его мозгу. Барнаульский завод... Иван проберется туда с купцом, в виде его слуги, в чужеземном халате и чалме... Девка Машенька поможет... Надо зажечь завод и кликнуть клич работникам... Они будут рады в огневую ночь мятежа перебить начальников... А может, и солдаты присоединятся к ним.

— Ладно, — ответил Селезень, — купца отпущу, дам коней. Поезжай с ним на завод. Вопите, что селезневы молодцы вас ограбили. А купец не выдаст?

— Нет, — ответил Иван. — С него возьми клятву великую, да он и так бесконечно благодарен будет, что без выкупа отпустили.

— Ну, ин будь по-твоему! Все равно погибать всем нам, — не сегодня, так завтра. Коль в сорочке родился, — не узнают тебя, завод подожжешь и своего добьешься. В халат кутайся хорошенько, рожа-то в лесах засмуглела, бородой оброс, может, за бухаретина и сойдешь...

Купец, когда ему сказали, что его отпускают в Барнаул и даже слугу дают, — упал на колени и поцеловал подол пыльного азяма Селезня. Но Селезень приставил к его груди острие кинжала и, сдвинув брови, спросил, не выдаст ли он своего «слугу»?

И купец клялся всеми клятвами, какие знал, призывал в свидетели аллаха:

— Да побьет меня огонь мой, коль нарушу клятву. Да буду своим синим ослом в двух мирах!

Купец лизал ногти на пальцах рук, умильно глядя в небо.

— Смотри! — сказал Селезень, — от нас не уйдешь, убить тебя мы всегда сумеем.

И вот наступил час отъезда. Мокрые осенние листья скользили под копытами

коней. Беглые, добродушно усмехаясь и подталкивая друг друга, завязывали Ивану чалму точно так же, как носил купец. Застоявшиеся кони ржали. Солнце пронзило тучи длинным, очень красным лучом, и лесная чаща сделалась такой многоцветно-пестрой, как будто самые лучшие ленты джунгарских купцов были навешаны на деревья.

— Ну, — произнес атаман, — поцелуемся, Ваня!

— С богом, — тихо сказал какой-то беглый.

— С богом? — переспросил Селезень. — Как ты сказал? С богом? Бог от нас давно отступился; его призывать нечего...

Чувство горечи и тревоги охватило Ивана.

Он сел на коня.

— Ишь, как тебя размалевали, — смеялся Селезень, украдкой смахивая слезу, — целоваться с тобой, Ваня, невыгодно, в угле да в каких-то бабьих красках вся твоя рожа...

Купец поехал впереди. Его толстая широкая спина обтянута ватным халатом в синих разводах.

— Экий жирный купчина! — хмуро думал Иван. Он трусил сзади мелкой рысью, как подобает слуге.

Прямая узкая тропинка вела к дикому оврагу. Через него предстояло им переехать. Сосны махали худыми руками-ветвями...

— Прощай, Селезень. Прощайте, ребята, вольные удальцы.

Сердце стучало в тревоге:

— На-всег-да, на-всег-да!..

— Ты! — вскрикнула Машенька. Палисандровый ларец с изображением целующихся амуров стукнул, выпав из ее рук.

— Здравствуй, Марья, — сказал Иван. — Признала все же? А я думал — говорить со мной не захочешь.

— Зачем... Зачем ты вернулся... — тяжелые бронзовые серьги затряслись от ее рыданий, она закрыла лицо пухлой своей рукой. — Я уж тебя забывать стала, оно бы и к лучшему, а ты... вернулся — сердце мое бередить...

— Знаю, не полюбишь больше меня, косоголового беглеца, висельника отпетого, — Иван грустно улыбнулся. — Не за любовью твоею пришел, только молю об одном: не выдай! Видишь, какое обличие басурманское довелось принять...

— Ох, Иван, лжешь! Знаю — тянет тебя ко мне...

— Разве зелье какое приворотное ты мне дала?

— Молчи... Дай, погляжу на тебя... Чалму-то скинь...

— Сия чалма добротно прилажена, скидывать не годится.

— Зачем ты пришел? Ты... разбойник ведь, лютый душегуб! Глаза стали вон какие... кровавые...

— За правду разбойничаем, Марья... Начальству мстим, лиходеям...

— Молчи, молчи! Вот крикну, позову людей, пусть тебя скрутят...

— Ты любила меня, Марья!..

— Что было, то прошло, Иван!

— Реветь брось, девка! Судьба наша с тобой горьчайшая, да что ж реветь? Слезами горю не поможешь.

— Уходи! Людей позову!

Полушопотом говорили они в маленькой светлице. Ивану хотелось прилечь отдохнуть с дороги на полосатый штофный диван, как бы присевший на точеных позолоченных ножках. Спинка дивана была украшена выпуклым изображением Аполлона, играющего на лире. Дорогими палевыми суконами было до половины закрыто круглое оконце с настоящим заграничным стеклом. Хорошо Машеньке вышивать за круглым столиком черного дерева; медвежьим мехом гордится ее кровать. Но стоит чуть присмотреться, чтобы увидеть, как все это великолепие потерто, поедено молью — становится ясно, что и штофные занавеси и мех отдали Машеньке только потому, что они слишком стары для барских хором.

— Немцев и всех чиновных господ переколем, вот тогда время придет на гуслях без опаски играть, как сей господский болван играет, — он показал на изображение Аполлона, — песни петь, сказки складывать, руду плавить, строить дворцы...

— О, господи! — страшась его взгляда, шептала Машенька. — Все такой же ты, Иван, неуемный!

— Уймет меня, Марья, одна смерть своей косой.

— Покайся, Ваня! С повинной явись, пока не схватили, а то хуже будет! Упрошу господина Бейера, авось простит, к работе приставит, может, и я тебе улыбнусь понежнему.

— Ну, нет, Марья. Не за тем я сюда пробрался. Иные у меня думы.

— Чего же ты хочешь, о, господи?!

— Туяс плетеный зришь? В том туясе под разными товарами спрятан у меня горшок с порохом. Печи здешние, хоть и жаль мне их, — нечистые печи, кровью обрызганы, рушить их надо... И взовьется пламя, и учнут мастеровые и приписные начальников бить... Двоим парням надежным я уже открылся, — говорят: добро...

— Покайся, Ваня! Может опять полюблю тебя! Вспомни, как в лес ходили, птичек слушали. Помнишь, дерево большущее с дуплом? Бывало, в дупло залезем, обнимемся и сидим, как птички...

— Марья, Марья... Болит мое сердце, мстить надо господам за мучения... Селезень-атаман с драгунами бьется, в лесу погибает — за него мстить...

— Что тебе твой Селезень? Ты меня слушай, свою любу... Вспомни, как в пруд смотрелись, целовались и морковку ели, на приказчичьем огороде сорванную. Я укушу морковку — ты меня поцелуешь, ты укусишь — я тебя поцелую... Вспомни, Ваня!

— Неужто любишь меня, Марья? Ты же любить не хотела, как стал косоголовый.

— Люблю, Ивашечка! Думала о тебе дни и ночи — из-за меня ведь в разбой ушел... Жаль мне тебя!

— А немец тебя тоже целовать будет?

Ничего не ответила Марья, только обвила она Ивана горячими руками, белыми руками своими, и так сладко стало ему, что забыл он и о горшке с порохом, и о Селезне, и о своей горькой доле... И целовал он ее — нарядную, набеленную, и чужеземная чалма свалилась с его головы. Тихо плакала Машенька, жалея Ивана, а он все целовал ее губы и влажные от слез глаза...

Она прислушалась и сказала:

— Господин Бейер к обеду из плавильной прибыл. Слышишь, челядь забегала, зашумела? Сиди здесь, пойду к нему, в ноги брошусь, он мне слово дал дворянское просьбы мои исполнять.

Она оправила платье и вышла с веером в руке, плавной походкой, как госпожа. Иван схватил чалму.

Бежать, бежать!.. Иван шагнул к двери. Поздно! Дверь распахнулась — входил Бейер, в зеленом камзоле, с трубкой в руках. За ним — гайдуки, такие рослые, что задевают головами потолок.

— Взять, — сказал Бейер. — Заковать в твердые железа.

Сидел Селезень на стволе упавшего дерева, курил офицерскую трубку, слушал взволнованную речь нового своего «утенка». Вечерело, а туман в лесу был такой, как дым из трубки, — будто бы много накурил Селезень и все окрестности скрылись в серо-голубых струях этого дыма. Худощавый лицом, истомленного вида человек, в одежде почерневшей и прожженной у плавильных печей, стоял перед ним, говорил спеша и размахивая руками:

— Ныне работаем не токма днями — и в ночь, немец караваны богатейшие меди и серебра в Санкт-Петербург царице отправлять собирается. И вот вышли мы в ночь на работу, встали к печам, зелье из трейбофенов лезет в глотку, головы ходуном идут, вроде, как у шумниц в кабаке, да мы уж к сему привыкли, и не об одном зелье речь поведу...

— Ты говори про Ивана, — прервал Селезень.

— Всю подноготную выложу, сударь-атаман, дай срок! Стоим, стало быть, у печей своих окаянных: кто уголь подсыпает, кто в глазок смотрит, — беды особливой не ждем. И открываются врата плавильни с превеликим шумом и лязгом и проходит к печам в сие неурочное время сам немец — Бейер. Помощники его — немцы — за ним идут, в руках пистоли, курки взведены, а следом ведут служителя

скованного Ивана Зажигаева — сердечного нашего дружка. Цепи его звенят, халат джунгарский в лохмотьях кровавых, факелы над ним пылают — ну, прямо, грешник в аду... Испугались мы, к печам жмемся. Что будет? И совершилось злодеяние, душе человеческой противное. Побормотал Бейер на собачьем языке своем с помощниками, спрашивает Ивана по-русски (а мы уши навострили):

— Каешься, смерд, в преступлениях своих?

— Нет, — отвечает Ивашка, приятель наш сердечный; и так смотрит на Бейера, что немец аж попятился. — Коль не удалось мне мастеровых поднять против вас, лиходеев, — другой найдется, другой сотворит сие!

И разнеслись слова его по всей плавильне, и ярче вспыхнули факелы, и медь заклокотала в печах...

Рассказчик умолк, он не смог справиться с волнением, захлестнувшим его.

— Говори дальше! — закричал Селезень, бросая трубку. — Дальше говори!

— И велел немец Бейер служителям своим: возьмите его, бросьте в печь. А служителям сие дело все же несвычное, растерялись они, глядят друг на друга, яко болваны. Подхватили сердечного друга нашего... один орет: — «Головой пихать его надо!» А другой спорит: — «Почто головой? Ногами!» Пихают Ивана служители ногами вперед, а дверцы-то узки; он, сердечный, упирается; шея у него кривая, голова за железный штырь зацепилась, торчит из печи наружу. И крикнул сердечный так, что я зубами аж заскрипел, точно меня самого в огонь бросили:

— Будут вольные плавильни! Будут!

Ударил служитель крюком по голове, и скрылась она, и взревел огонь в печи... И таков был Ивану Зажигаеву конец. А мы, все, кто у печей в оную ночь стояли, решили на утро бежать. И вот пришли к тебе, сударь-атаман. И караульный солдат башенный с нами ж.

Душа Селезня была горяча. Жаль Ивана, — погиб Иван. Он снова закурил трубку и крикнул:

— Отсюда никуда не пойдем. Эй, утята, выкатывай на поляну боченок, разводи костер, мясо жарь!

Это был заветный боченок с лучшим вином, который возили беглые за собой всюду: берег Селезень вино для некого большого пира.

Туман отодвинулся, отступил. Вместе с теплым приятным пламенем костра разгоралась беседа.

Селезень наполнил чарку и высоко поднял ее:

— Был у меня Иван Зажигаев, — повело его буйство молодецкое в Барнаул, сожгли его там в печах плавильных. Да вон сидят утята новые. Был Иван один — стал Иван сам-пять. Стало нас больше, стали мы сильнее.

— Сколь справедливо твое слово, сударь-атаман, — сказали люди у костра.

Селезень продолжал:

— Оную чарку пью за Ивана Зажигаева, за новых удальцов, за то, чтоб железных плащей поболе с господских плеч снять!

П. Заборинский

Иван Ползунов

Иван Иванович Ползунов родился в 1730 году в семье одного из солдат горной роты. До нас не дошло никаких подробностей о его детстве. Нужно думать, что оно было очень тяжелым и безрадостным.

В то мрачное время крепостного права, вернее крепостного бесправия, образование, даже самое скромное, было привилегией людей, принадлежащих к дворянскому или купеческому сословию. Низшие сословия, так называемые «подлые люди», почти были лишены возможности получить хотя бы начальное образование. Однако в этом отношении судьба детей солдат-горнорабочих отличалась от участи детей других «подлых людей». Заботясь о том, чтобы обеспечить усиленно строившиеся заводы хорошо обученными рабочими и мастерами, в которых ощущался большой недостаток, правительство установило при некоторых горных правлениях школы, где в обязательном порядке должны были обучаться «солдатские дети».

Такая школа имелась и при Екатеринбургском горном правлении, восьми лет Ползунов начал в нее ходить; разумеется, в таких школах, где была почти военная дисциплина, где за малейшие проступки без жалости применялись физические наказания, учиться было не легко.

Единственным утешением было то, что кончавшие горную школу попадали мастерами на различные заводы и, занимая, таким образом, более привилегированное положение, имели возможность выслуживаться и продвигаться в чинах. Кроме того, окончивших школу не могли отдавать ни в солдаты, ни в матросы, а попасть на военную службу в качестве рядового считалось в то время делом таким же ужасным, как быть сосланным на каторжные работы.

До нас не дошли сведения об успехах Ползунова во время его пребывания в Екатеринбургской горной школе, но, судя по проявленным им впоследствии выдающимся способностям, нужно думать, что он учился весьма успешно. Хотя в эту эпоху в России школ почти не было, но обучение в горных школах было поставлено довольно хорошо. Здесь имелось два отделения — «словесное», где учили читать и писать, а также преподавали обязательный «страх божий»; второе отделение называлось «арифметическим». Помимо этого, в школе уделялось большое внимание практическому обучению учеников на производстве. Еще до окончания школы они должны были работать за небольшое вознаграждение на заводах, усваивая, таким образом, практические навыки в той или иной специальности.

«Когда которые возрастные обучатся геометрии, оных немедленно определять в работы к делам кто охоту возымеет и место есть, и давать им до сущей работы по 60 копеек на месяц. И у тех работ быть им после обеда и до обеда ходить в школу, доколе окончают науку».

Такой наказ был дан Екатеринбургскому горному управлению от управляющего уральскими горными заводами Геннина. Таким образом Ползунов очень рано познакомился с заводским производством в качестве «механического ученика».

На заводе будущий изобретатель, несмотря на свои юные годы, проявил, повидимому, большие способности. Во всяком случае, ему заводским начальством было положено «жалованья» не 60 копеек, а целый рубль в месяц. На завод Ползунов попал в 1742 году, когда ему исполнилось всего 12 лет. Здесь, согласно той же инструкции Геннина, ученики должны были усвоить все необходимые практические знания и навыки; они были обязаны «не только присматриваться, но и руками по возможности применяться и в искусстве ремесла, в чем оное состоит внятно уведомиться и рассуждать: из чего лучше или хуже может быть»; практическим обучением «солдатских детей» на заводе руководили старые мастера, по большей части иностранцы, приехавшие в Россию еще при Петре 1. Они обязаны были передавать ученикам свои навыки и знания, а также показывать, «как принадлежащие к тому чертежи начертить, старые смеривать и счерчивать и вновь, что потребно, прибавливать или убавливать».

Работая на екатеринбургских заводах, Ползунов не только расширил знания, приобретенные в школе, но непосредственно познакомился с производством и получил навыки к самостоятельной конструкторской работе, которые ему впоследствии весьма пригодились.

На екатеринбургских заводах Ползунов проработал около пяти лет, с 1742 по 1747 год, когда в его жизни произошла значительная перемена.

В этом году через Екатеринбург проезжал бригадир Беэр, назначенный начальником Колывано-Воскресенских заводов на Алтае, только что перешедших от знаменитого уральского горнопромышленника Демидова в собственность казны и находившихся в ведении так называемого «Кабинета ее величества». Горнозаводское дело на Алтае только начинало зарождаться. На устроенных здесь казенных заводах ощущался огромный недостаток в обученных мастерах и рабочих. Поэтому Беэру было поручено взять с собой на алтайские заводы уральских мастеров из Екатеринбурга. Среди других был выбран Ползунов, которому и пришлось в 1747 году покинуть родной Урал с тем, чтобы отправиться в еще более дикую и глухую Сибирь.

С переводом на Алтай Ползунов получил звание мастера гиттентрейбора[1] и его «жалованье» было увеличено с 12 рублей до 24 рублей в год. Он сначала был определен на Барнаульский завод, где должен был обучаться «пробирному плавильному

[1] Мастер, наблюдающий за плавильной печью.

и абтрейберному делам», а затем послан на Колывано-Воскресенские заводы для обучения «горному и плавильному делу»; затем он попадает в распоряжение бергмастера Змеевского рудника Эйсфельда.

В действительности, однако, местная администрация, пользуясь расторопностью, аккуратностью и добросовестностью Ползунова, предпочитала использовать его не по прямому назначению, а для разного рода административных и хозяйственных поручений, которые вовсе не соответствовали ни внутренним склонностям, ни приобретенным специальным знаниям Ползунова. Так, он должен был заведывать рабочими командами, заниматься заготовкой продовольствия, вести денежные расчеты с возчиками руды; на него же возлагалось снаряжение сплавных караванов в Барнаульский завод.

Начало деятельности на алтайских заводах было для Ползунова в материальном отношении очень тяжелым периодом. Он жил в Барнауле вместе со своей матерью Дарьей Абрамовной, здесь же, повидимому, он сам обзавелся семьей.

Положение Ползунова было настолько тяжелым, что в 1751 году он обращался с прошением к начальству, напоминая о данном ему обещании повысить оклад содержания с 2 до 3 рублей в месяц. Однако эта просьба уважена не была, несмотря на то, что Ползунов был прекрасно аттестован по службе. Только в 1756 году Ползунов стал получать 50 рублей в год; при этом в отзыве о его работе было сказано, что он обладает отличными знаниями как в области теоретических наук, так и во всех областях производства и что «никаких (за ним) непорядков и пьянства видно не было». Последнее особенно выгодно отличало Ползунова не только среди его сослуживцев-мастеров, но и среди всего прочего начальства, предававшегося в этой заводской глуши повальному пьянству.

К этому времени Ползунов переходит в непосредственное распоряжение так называемого Барнаульского комиссарского правления, которое ведало различного рода хозяйственными делами по производству местных казенных горных заводов.

Наконец, приказом по горному округу 31 марта 1759 года Ползунов получает офицерский чин шихтмейстера. Следует напомнить, что получение офицерского звания избавляло от телесного наказания розгами и палками, которому до этого Ползунов, при всех своих достоинствах, рисковал подвергнуться даже за незначительный проступок перед начальством. Теперь он не только был избавлен от этой малопривлекательной перспективы, но к нему был приставлен для домашних услуг денщик, взятый из заводских мастеровых. Хотя новое начальство и продолжало удерживать Ползунова вдали от близкой ему технической деятельности, но оно улучшало его материальное положение и давало ему некоторый досуг, который он использовал для пополнения своего образования, а также для занятий различного рода метеорологическими наблюдениями.

Об этих занятиях Ползунова сообщает Эрих Лаксманн в своих «Сибирских письмах». Эрих Лаксманн прибыл в Барнаул около 1764 года в качестве лютеранского проповедника для обслуживания мастеров-лютеран, живших целой колонией в самом Барнауле и разбросанных по близлежащим заводам и рудникам.

Живя в Барнауле, Ползунов имел возможность пользоваться книгами, принадлежащими Лаксманну, и книгами, предназначавшимися «для чтения господам штаб и обер-офицерам» из библиотеки при Барнаульской горной школе. Помимо книг духовного и исторического содержания, в этой библиотеке имелись книги научного и технического характера, например «Гидравлическая архитектура» французского инженера Белидора и «Леопольдова механика с чертежами в 8 томах» на немецком языке. Здесь же Ползунову представилась возможность изучить только что вышедшую книгу И. Шлаттера. Эта книга, написанная в 1760 году, называлась «Обстоятельное наставление рудному делу»; она действительно содержала подробное описание различных отраслей горно-заводского производства, поясненное большим количеством рисунков. В этой же книге впервые на русском языке была описана «огненная» машина, т. е. примитивный паровой двигатель, применявшийся в то время для откачки воды из глубоких шахт. Эти же машины описывались в сочинениях Белидора и Леопольда.

Ползунов и раньше проявлял склонность к изобретательству; так, например, около 1757 года, заведуя отправкой караванов с Кабановской пристани, он предложил

пользоваться барабанным боем в качестве звуковой сигнализации между отдельными судами каравана, который иногда растягивался на 5-7 километров.

Повидимому, именно чтение книг, а также глубокое знание техники и нужд производства побудили Ползунова попытаться применить на алтайских заводах «огненную» машину и привели его к замечательному изобретению.

По ним он ознакомился с крупнейшим достижением тогдашней техники — «водоотливной огнем действующей машиной». Этот неуклюжий предок современной паровой машины был изобретен около 1711 года английским механиком и кузнецом Ньюкоменом и уже 40 лет применялся в Англии для приведения в действие тяжелых насосов, откачивавших воду из каменноугольных копей.

До Ньюкомена для этой цели пользовались главным образом конными и ветряными приводами или вододействующими колесами, а также применялся паровой насос, устроенный Севери около 1698 года.

Росла добыча угля и руды. Глубина шахт и копей все увеличивалась, и скоро эти водопод'емные приспособления перестали справляться со своей задачей. Все чаще и чаще приходилось бросать затопленные подпочвенными водами богатые залежи углей и руд. Перед английской капиталистической горной промышленностью встала задача найти новый, более мощный и удобный двигатель, чем лошадь, ветер и вода. «Огненная» машина Ньюкомена и явилась первым решением этого вопроса.

Хорошо знакомый с техникой горного дела, Ползунов обратил внимание именно на эту сторону вопроса; у него возникла замечательная идея — освободить горнозаводское производство от неудобной и стеснительной зависимости от местных условий и для этой цели построить «огнедействующую» машину. Пользуясь имеющимися в его распоряжении сочинениями с описанием и изображениями «огнедействующих» машин, Ползунов разработал проект такого двигателя.

25 апреля (старого стиля) 1763 года Ползунов закончил свой проект и представил его начальнику заводов генералу Поропшину вместе с подробным письмом, в котором указывал на значение и пользу «огненной» машины. До нас дошло это письмо вместе с чертежом машины Ползунова и подробнейшим ее описанием. Хотя Ползунов и пользовался уже существовавшими описаниями, он разработал вполне оригинальную конструкцию парового двигателя и в этом отношении далеко опередил то, что было сделано в других странах. Прежде всего он предназначал свою машину не для приведения в действие водопод'емных насосов, как это делалось в Западной Европе, а для раздувания огромных воздушных мехов при плавильных печах. Для подобной цели паровую машину до того времени нигде еще не применяли.

Машину Ползунова также следует отнести к двигателям атмосферного типа. Но по своей конструкции двигатель Ползунова был вполне оригинальным, отнюдь не копируя имевшиеся образцы. Огромным шагом вперед было то, что алтайский изобретатель применил вместо одного цилиндра — два. Его машина — первая в истории техники сдвоенная паровая машина — обладала тем преимуществом, что давала непрерывное действие. В атмосферных машинах рабочим ходом было только движение поршня вниз; при его движении вверх полезной работы не происходило. В машине же Ползунова, при наличии двух цилиндров со встречным движением поршней, было возможно дать непрерывное движение мехов и безостановочное нагнетание воздуха в плавильные печи. Это было очень важно для правильного хода самого металлургического процесса. Это нововведение поставило перед изобретателем новую задачу — теперь нельзя было просто копировать остальные детали машины из книг, а приходилось вполне самостоятельно разработать необходимые механизмы, управлявшие впуском пара, ввести новую передачу к мехам и т. д.

В каждом из цилиндров движется поршень, или, как говорится в описании, «эмвол». Эти поршни соединяются между собой при помощи цепи, перекинутой через шкив. Как и в машине Ньюкомена, движение поршней вверх происходило за счет давления пара, пускавшегося в цилиндр, и за счет специально положенных грузов; этому также помогала цепь, соединяющая оба поршня. Рабочее же усилие развивалось за счет атмосферного давления, после того как при вбрызгивании холодной воды в цилиндр пар сгущался и здесь образовывалось разреженное пространство. При этом впуск пара и его охлаждение были рассчитаны так, что когда один поршень шел вверх, — второй опускался вниз. Легко сообразить, что при этом шкив, через который была перекинута цепь, соединявшая поршень, должен был ка-

чаться около своей оси. При помощи так называемой бесконечной цепи это движение передавалось второму шкиву, через который в свою очередь была перекинута еще одна цепь, прикрепленная концами к крышкам больших мехов, нагнетавших воздух. При повертывании второго шкива крышка одного из мехов поднималась и в него засасывался воздух. В это время крышка другого меха имела возможность опуститься под действием наложенного на нее груза и засосанный сюда воздух нагнетался по специальным трубам в печь.

Трудно себе представить ту огромную работу, которую пришлось выполнить изобретателю при составлении своего проекта. Никогда не видя до сих пор «огненной» машины в действии, пользуясь только чертежами, которые в то время далеко не отличались точностью и ясностью, Ползунов разработал совершенно новую конструкцию двигателя. При этом он чрезвычайно подробно описал каждую часть, называя их «составом машины», и об'яснял, какую роль при этом будут играть вода, пар и воздух. В проекте также был дан расчет работы машины, настолько точный и правильный, что удовлетворил бы и современным требованиям.

Однако с окончанием работы над проектом, мытарства автора только начинались. Следует напомнить, что Ползунов был не только стеснён требованиями почти военной дисциплины, существовавшей на казенных заводах, но ему приходилось жить и работать в окружении корыстолюбивой бюрократической верхушки офицерства и высших заправил, которые по своим знаниям и культурному уровню стояли весьма невысоко. Уже упоминавшийся Эрих Лаксманн дает такую беспощадную характеристику среды, окружавшей изобретателя:

«Начальники, сила умевшие читать и писать, офицеры и чиновники, расположенные к увеселениям и собраниям, презиравшие химию и горные науки, как что-то непристойное, врачи, охотнее занимавшиеся меновой торговлей на Ирбитской ярмарке, нежели медициной и физикой».

Подобным людям, разумеется, меньше всего было дела до технических усовершенствований на заводах, находившихся в их ведении. Этим усовершенствованиям предпочитали усиление эксплоатации и угнетение крестьян и мастеровых, работавших на заводе. Положение рабочих на заводах было настолько невыносимо, что они предпочитали каторгу или даже смерть работе на заводах, многие умышленно оговаривали себя в вымышленных преступлениях, а нередко доходили до самоубийства, вызванного отчаянием.

Ползунов представил свой проект Порошину с подробной запиской, где указывал на технические и экономические выгоды, которые может принести заводам применение «огнедействующей» машины. Начальник заводов — генерал Порошин, надеявшийся, повидимому, выслужиться перед высшим начальством и удостоиться внимания самой царицы Екатерины II, отнесся к предложению Ползунова благосклонно. Проект был рассмотрен канцелярией Колывано-Воскресенских заводов и получил благоприятный отзыв. Канцелярия между прочим указывала, что подобных машин в России нигде не применялось, и что она «его Ползунова предприятие и похвальное намерение приемлет за благо», что применение «огнедействующих» машин вообще может принести большую пользу русской горной промышленности:

«не токмо в здешних нужных заводах, но и во всей России тот способ войтить и укорениться может, которое несравненно с нынешним могло бы быть полезно потому, что во многих местах, а особливо здесь... в ближних к рудникам местах, где воды довольно, то лесов нет, или весьма недостаток, где лесов великое довольство, руд в близости воды нет или весьма мало».

Однако местное начальство не осмелилось самостоятельно решить вопроса о постройке машины. Было решено донести в Кабинет ее величества, в ведении которого находились заводы. Таким образом проект Ползунова вместе с моделью машины, отзывом и прочей переписной отправился в далекий Петербург, где должна была решиться его судьба.

В Петербурге о проекте алтайского шихтмейстера было доложено самой царице. Екатерина II, всего несколько лет до этого свергшая своего мужа, Петра III, и захватившая при помощи дворянской гвардии императорский престол, любила создавать себе репутацию покровительницы «науки и искусств». Она благосклонно отнеслась как к проекту, так и к самому изобретателю. Рассмотреть проект было поручено уже известному нам Шлаттеру, автору обстоятельного «наставления горному делу»,

занимавшему тогда пост президента так называемой Берг-Коллегии, ведавшей всей горнозаводской промышленностью в России. Шлаттер дал пространный отзыв, в котором между прочим говорится следующее:

«Шихтмейстер Ползунов свой проект точно на действительных и в действии находящихся машинах основал... токмо он, шихтмейстер, так похвалы достойного хитростью оную машину умел переделать и изобразить, что сей его вымысел за новое изобретение почесть должно».

При этом Шлаттер указал на имевшиеся, по его мнению, недостатки проекта; он вообще находил, что вряд ли будет выгодно «к каждой плавильной печи такую хитрую, из многих членов состоящую машину для привода мехов в действие строить»; вместо этого он рекомендовал построить обыкновенную машину с одним цилиндром и применять ее для поднимания на высоту воды, которой затем уже и приводить в действие меха.

Екатерина распорядилась выдать Ползунову 400 рублей и произвести в берг-механикусы «для вящего его и протчих... в таковых же полезных упражнениях поощрения».

Вместе с тем предлагалось прислать Ползунова в Петербург учиться при Академии наук «для приобретения себе большего в механике искусства».

Однако местная администрация решила дело по-своему: изобретателя в Петербург не послали и денежной награды ему также не выдали, но машину было решено начать строить. Долго еще длилась переписка по этому поводу между Петербургом и канцелярией заводского правления.

Только в январе 1764 года Ползунову разрешено было приступить к постройке своей машины, которая получила название «машины большого корпуса». Эта машина несколько отличалась от первоначального проекта, она предназначалась для обслуживания не одной-двух печей, как первая, а должна была подавать воздух одновременно для десяти плавильных печей. Вместе с тем, повидимому под влиянием отзыва Шлаттера, были внесены некоторые изменения в первоначально предполагавшуюся конструкцию двигателя. Свое главное изобретение — сдвоенные цилиндры — Ползунов сохранил, но вместо качающихся шкивов применил уже известные нам коромысла, по одному для каждого цилиндра. Соответственно с этим и с новым назначением машины были внесены и другие изменения в устройство частей и их размеры, что, разумеется, потребовало от изобретателя нового напряжения сил. В течение месяца он почти заново переработал свой проект, который в конце концов и был окончательно утвержден в марте 1764 года. Теперь начались новые трудности, которые неизбежно сопровождают практическую реализацию всякого нового изобретения.

В своей работе Ползунов был совершенно одинок. Ему были отпущены материалы и разрешено подобрать необходимых рабочих, но опытных мастеров, знакомых с постройкой диковинной «огненной» машины, взять было негде. Самому изобретателю постоянно приходилось изготовлять модели, чтобы предварительно проверить действие тех или иных частей механизма. Большие трудности представляло также для местных заводов изготовление всех необходимых «членов» машины: котла, цилиндров, многочисленных цепей, баков, трубок, клапанов и все прочее «превеликое множество частей, требующих субтильного (тонкого) дела».

Для заводских мастерских это была совершенно новая работа; отсутствовали, да и негде было их взять, необходимые инструменты и опытные мастера. С большим трудом справились с отливкой огромных медных цилиндров, а когда понадобилось заменить опытный котел настоящим, то пришлось обращаться с заказом в екатеринбургские заводы за неимением в Барнауле «искусственных медяков и литейщиков».

Так как «Ползунов в практике ни единого члена той, из многих частей составляющейся, машины... ее силы и действия не видал», а от него требовалось «избежать многих переделок и великих казне убытков», то приходилось форму и взаимодействие всех частей проверять на опытных моделях. Ползунову нужно было поспевать везде и за всем наблюдать: проверять работу кузнецов и плотников, смотреть за правильной отливкой медных частей машины, давать указания столярам, руководить постройкой машинного здания. Все это требовало непосильного труда и крайнего напряжения физических сил и внимания, а канцелярия заводов не могла, конечно, обойтись без волокиты и требовала, кроме того, «учредить тетради и все при-

нимаемые вещи, не обходя ни малейшей, в оные записывать с ценою и чтоб все сходно было с записками тех мест, откуда что отпущено».

Много крови испортило Ползунову и само начальство. Затея шихтмейстера доставляла новые заботы и беспокойства, она нарушила мирное, привычное течение заводской жизни. Но имелся указ императрицы. Против него не пойдешь. И скрепя сердце, приходилось терпеть непоседу-механикуса, требовавшего то новых материалов, то новых рабочих. А тут еще из Петербурга то и дело запрашивают — скоро ли будет готова машина.

Приходилось отчитываться, сочинять донесения — почему затягивается дело и когда можно будет окончить постройку машины. А дело подвигалось вперед не особенно быстро.

Хотя в приказе и было сказано, чтобы ученики и прикомандированные к Ползунову рабочие «прилежно не стыдясь и не гнушаясь черною работою... ежели хотят добрыми людьми быть, трудиться с крайним прилежанием», тем не менее этот строгий приказ не мог дать необходимые знания в таком новом деле, как постройка «огненной» машины, и Ползунову приходилось постоянно учить и переучивать своих помощников.

Машина «большого корпуса» имела внушительные размеры. С трудом помещалось детище Ползунова в огромном деревянном здании. Круглый котел из «битой» (кованой) меди имел больше двух метров в поперечнике, цилиндры же были в высоту каждый почти 3 метра, а в диаметре целый метр. Такие большие размеры нужны были, чтобы заставить атмосферное давление дать больше работы. Дело в том, что на каждую единицу поверхности атмосфера давит с силой около килограмма на 1 кв. сантиметр; легко сообразить, что с увеличением поршня общее давление на его поверхность также увеличится. Если мы кроме того удлиним и самый цилиндр, то атмосферное давление будет передвигать поршень на большое расстояние, и работа увеличится еще больше, подобно тому, как нужно затратить вдвое большее усилие, чтобы поднять какой-либо груз не на один, а на два метра от земли.

Ползунов не щадил ни себя, ни своих подчиненных и буквально горел на работе. Недоедая, недосыпая, не обращая внимания на наступившую осеннюю погоду, он спешил окончить свою машину. Но работа двигалась медленно: самому приходилось устанавливать и пригонять «члены» машины и нередко требовалось отдельные части заново переделывать. А тут еще стал донимать сухой кашель и окончательно пошатнулось здоровье. Давали себя знать полуголодное детство, тяжелые трудовые дни ученичества, работа на заводе и долгие ночи, проведенные над книгами и чертежами. Не прошли бесследно и волнения, которые пришлось пережить из-за своего проекта. Вдобавок ко всему и дома едва удавалось сводить концы с концами, а начальство и не думало выплачивать назначенных Ползунову денег.

Наконец, машина была вчерне собрана и в декабре 1765 года решили приступить к пробе. Под котлом с раннего утра развели огонь и стали «воду варить», вместо мехов подвесили тяжелые бревна. Еще раз осмотрел Ползунов всю машину и, смело повернув кран, пустил ее в ход. С шумом задвигались поршни один вверх, другой вниз. С грохотом и лязгом закачались коромысла и начали двигаться бревна, изображавшие собой меха. Начальство было поражено. Еще больше дивились на медное чудовище сбежавшиеся толпой жители Барнаула и заводский люд. Теперь уж не было сомнения, что шихтмейстер колдун. А тут как на зло машина закапризничала и остановилась. Ползунов подошел, устранил незаметно неисправность, похлопал рукой по одному из цилиндров и сказал с лаской в голосе: «Ну что, глупая, устала. Пошла, пошла», и к всеобщему ужасу, «нечистая сила», спрятанная в машине, снова без труда задвигала тяжелые бревна, поднять которые было не под силу и нескольким дюжим мужикам.

Еще в первом своем проекте Ползунов указывал, что в таком новом деле «удача может получиться не сразу», что после пробы могут понадобиться некоторые переделки. Действительно, при пробном пуске обнаружилось, что котел дает течь, и его необходимо исправить, кроме того установка мехов и окончательная сборка оттягивали пуск машины. Пришлось писать о задержках и неполадках в Петербург и донести, что машина будет пущена в ход весной будущего года. Но Ползунову не суждено было дожить до окончательного осуществления проекта, которому он отдал

все свои силы. Надломленное работой и волнениями здоровье окончательно ему изменило, и он слег.

Чувствуя себя больше не в силах продолжать работу и крайне нуждаясь в деньгах, Ползунов решается просить об увольнении его от дальнейшей работы по постройке машины и напомнить о выдаче назначенных ему 400 рублей, «а ежели»,— говорит он в своем прошении, — «я от имеющейся ныне на мне болезни помру, то выдать их оставшейся жене моей на пропитание...»

Предчувствие его не обмануло — 16 мая 1766 года тридцатишестилетний изобретатель умер от открывшейся у него горловой чахотки.

Трагический конец Ползунова нельзя было скрыть от Петербурга. Пришлось срочно доносить, что шихтмейстер «помер волей божею», а в доказательство того, что бездушное и нечуткое отношение начальства здесь непричем, приложили формуляр барнаульского лекаря о предшествующей болезни Ползунова. Пришлось оправдываться и в несвоевременной выдаче награды, назначенной царицей, которая о «нечаянно и преждевременной смерти механика Ползунова с особливым сожалением услышать изволила» и выразила неудовольствие, что канцелярия горного начальства ему «пожалованных для одобрения его, как человека столь отличных дарований, четыреста рублей... сполна выдать за благо не рассудила». Долго еще шла канцелярская переписка, но делу помочь было нельзя, решено было поручить окончание машины ученикам Ползунова — Левзину и Черницыну. Машина была почти готова еще при Ползунове, и через несколько дней начальству доложили, что можно приступить к ее пуску.

Начальник заводов Порошин отдал приказ «под котлом огонь разводить, воду варить и машину в действие приводить». 23 мая, всего через неделю после смерти Ползунова, его машина была пущена в ход. Собравшееся высшее и низшее начальство нашло, что «движение мехи имели нарочитое (т. е. желательное), из укрепленных к меховым трубам ларей во все двенадцать трубочек воздух идет довольный и примечено, что того воздуху на 10 или все 12 печей будет».

На этот раз обнаружилась плохая работа насосов, снабжавших машину водой. Исправить этот недостаток было поручено сослуживцу Ползунова — Фролову.

Тем временем вблизи машины была построена «плавильная фабрика» с тремя печами, и 4 августа было приступлено к рудной плавке. За время своей работы машина выплавила на 18 тысяч рублей золота и серебра. Всего на постройку машины, плавильной фабрики с печами, на расплавку и очистку руд было израсходовано 8 тысяч рублей. Таким образом новый двигатель окупил все расходы и воочию доказал свою выгодность.

Но в России не наступило еще время для введения великих технических усовершенствований, начавших применяться в Англии и других передовых странах Европы. Там этого требовало быстрое развитие молодого капиталистического хозяйства, рост промышленности и торговли. В крепостной же России с рабочим даровым трудом, со слабо развитой промышленностью и торговлей таких условий еще не было. Тем более не было их на казенных заводах в далекой сибирской глуши. Никто не был заинтересован в том сбережении человеческого труда, которое давала машина: ведь труд был почти даровым, а этот диковинный двигатель требовал столько хлопот и возни. Да и не осталось здесь после смерти Ползунова никого, кто умел бы обращаться с ней. А машина нуждалась еще в исправлениях и, главное, в опытном уходе, без которого не может работать ни один сложный механизм. Сперва обнаружилось неплотное прилегание обшитых кожей поршней к стенкам цилиндра. Успех машины пробудил дух изобретательства и в голове начальника заводов. Порошин сам предложил заменить кожу пробкой. Но где достать такое громадное количество этого редкого и дорогого материала?

Во всем Барнауле с трудом раздобыли у местного аптекаря 5 фунтов пробки, но этого оказалось мало и пришлось за ней посылать в Тобольск и Екатеринбург.

Тем временем один из мастеров предложил вместо пробки бересту, но от «сильного жару береста весьма ожесточалась» и пропускала пар и воду, наливавшуюся поверх поршней для большей плотности.

Наконец 10 ноября 1766 года «пополудни в 6-м часу во время весьма порядочного и беспрерывного действия оказалась за разгорением под котлом кирпичных сводов из оного котла немалая водяная течь, так что имеющийся под котлом огонь за-

гаскою». Очевидно, мысль о пробке истощила всю изобретательскую инициативу начальства. Машину остановили и бросили на произвол судьбы, донеся на всякий случай в Петербург, что в ней «никакой нужды не имеется». Понемногу разломали обветшалое машинное здание и растащили по частям машину. Место, где она стояла, рабочие метко окрестили «Ползуновским пепелищем», и долго еще к удовольствию заводских ребятишек валялись здесь огромные медные цилиндры. Затем и они куда-то исчезли.

Так закончилась смелая попытка человека, слишком далеко опередившего в своем изобретении условия, среди которых ему пришлось жить и работать. Старое одержало победу над новым. В этом была трагедия изобретателя. Но личность барнаульского шихтмейстера Ползунова остается близкой и понятной молодому советскому читателю той настойчивостью, с которой он взялся за исполнение своей цели, и тем упорством, с которым он стремился пополнять знания, необходимые ему как в повседневной работе, так и для осуществления своего замечательного изобретения.

П. Ершов

Желание

Чу! вихорь пронесся по чистому полю!
Чу! крикнул орел в громовых облаках!
О, дайте мне крылья! о, дайте мне волю!
Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах!

Расти ли нагорному кедру в теплице,
И красного солнца и бурь не видать;
Дышать ли пигаргу свободно в темнице,
И вихря не всять и тучи не рвать?

Ни чувству простора, ни сердцу свободы!
Ни вольного лёту могучим крылам!
Всё мрачно! всё пусто! и юные годы
Как цепи влачу я по чуждым полям.

И утро заблещет, и вечер затлеет,
Но горесть могилой на сердце лежит.
А жатва на ниве душевной не зреет,
И пламень небесный бесцветно горит.

О, долго ль стонать мне под тягостным гнетом?
Когда полечу я на светлый восток?
О, дайте мне волю! орлиным полётом
Я солнца б коснулся и пламя возжег.

Я б реял в зефире, я мчался б с грозою
И крылья разливом зари позлатил;
Я жадно б упился небесной росою
И ниву богатую жатвой покрыл.

Но если бесплодно страдальца моленье,
Но если им чуждо желанье души, —
Мой гений-хранитель, подай мне терпенье,
Иль пламень небесный во мне потуши!

Анна Караваева

Золотой клюв

Если поглядеть с высоты на Куроспепову гору, то увидишь глыбищу каменную, оголданную с краев, изгрызанную изнутри острыми мотыгами и лопатами человечьей жадности.

Полукругом обошла глыбищу болотная топь, где летом тучами кружится, наседает на тело ядучая мелкая мошкара, а болото цветет ослепляюще-ярким зеленым ковром, устлано бархатами мхов там, где топь непроходима и засосет в хлюпкую, бездонную глубину всякого, кого потянет вступить на ласковые зеленя болот.

Зато через широкую долину, в сторону Змеиногорья, возвышаются гордо-ровные, цветущие горные склоны. Взбираться весной по их извилистым тропкам — задохнешься сразу, с непривычки, в пахучем воздухе, теплом, будто пронзением ароматами горных цветов. А окинешь взглядом горные цепи — будто застыли в беге волшебно-пестрые волны чудной каменной реки, и сторожат их покой высокие, тонкие, как девушка, раскидистые алтайские сосны и кедры. А-ах, хорош, хорош Алтай весной!..

Белым цветет дикое вишенье, яблочки и боярышник. Кивает из травы рыжерозовый кизильник, желтый куроспеп. Большие красноватые чаши Марьина коренья жадно пьют свет и тепло. Будто туманясь и темнея от скрытой тоски, наклонила свои сизо-розовые цветы пьянишник боровой, печальник горный.

Одуряюще-сладко пахнет мелкоцветный синий змееполовник, пряно и нежно доносит можжевелью, что к концу лета покроется густо черно-синими бусами сладковатых ягод.

А вверху небо — тоже будто огромная голубая чаша, с белыми прижилками облаков — драгоценный камень, горячий и благостный. Как начнет поворачивать время к лету, реже идут дожди. Так легонько, будто ленясь, призакроет солнце тучка, почти прозрачная, тонкая, как раздерганная кудель, брызнет, целуя землю, краткий теплый дождичек — и снова небо сияет голубой опрокинутой чашей, пронзенной жаром... А-ах, хорош, хорош Алтай весной!..

Зато, как взглянешь на Куроспепов рудник, будто глыбища горы вовсе и не родня Алтаю, и вся земля, и все люди и жилища их чужды и страшны пахучему горному воздуху, цветущим высотам.

Изголодана лопатами гора. Копают зеленую, желтую, красную охру, медь, свинец. Всего же упорнее ищут золото и серебро. Золото, золото... Тонкими, блестящими, желтыми жилками, иногда чутешными вовсе, как тохонький дождевой червячок, лежит золото, прячется глубже в тысячелетних камнях. А люди ищут, ищут...

Растревожили стуком, скрипами, охами зеленые дали Алтая, и стоны летят до самых снеговых шапок, девственных белков. Стонали же тысячи серых рваных, всегда грязных людей, с лопатами, заступами, мотыгами в руках. Они как будто срослись с ними. Летом корежились жалкие человечьи тела от холеры, малярии и поносов (так как вода для питья была плохая, а квас жидкий и мутный, иногда не был доварен), катались по земле ночами от злого колтуна в волосах, а в сырую осень мучились ногами — и искали, искали золото, пуще всего искали золото. Над ними висела с ранней зари загребистая, громовая матерщина маркшейдера Фаддея Гуляева, полуседого уже, но крепкого, словно матерой чурбан из сосны.

Где оказалось золото, оттуда люди в зеленых прусских мундирах и треуголках пушками, пожарами, кнутами согнали алтайцев с насиженных становий, не внимая даже краем уха отчаянной мольбе горных жителей, неуклюже падающих на колени в старых своих малахаях...

Не знало пощады золото...

Темные, шершавые от застарелых мозолей руки рудокопов отдавали золото в пухлые ладони рудничных начальников, а от них шло оно, окруженное пушками и свирепой казачьей стражей, в главную контору Колывано-Воскресенских заводов. Там оседала часть золота, чтобы начальникам барнаульским пропивать сотни целковеньких в бостон, носить тонкое заграничное сукно, женам их ходить в шелках и кружевах и чесать сытые языки острой сплетней заводского «света». Назначение же золота окончательное: Северная Пальмира — Петербург, сверкающий, как многогранный алмаз, величаво раздувшийся наук с научатами на теле огромной крестьянской

страны. Петербург — город балов, наук и искусств, что холят для избалованного глаза Европы, город парадов, победно-трескучих маршей, непобедимо-грозной, непобедимо-тупой военной муштры, что и на далекой сибирской окраине порождала людей-кукол в прусских мундирах, бездушный механизм военной славы государства Российского.

Все это ждало, требовало, пило, жрало золотые потоки. И Алтай из шершавых рук рудокопов слал свою долю золота в далекий северный гранитный город.

И потому, как верный раб гранитного города, горластый, с тяжелыми, как медными кулаками, маркшейдер Фаддей Гуляев, жил на пригорочке, в чистеньком белом домике с красной железной крышей, теплом зимой и светлом, как фонарь, летом. При домике садик с сиренями и беседкой. В светлых оконцах за крахмальными занавесочками, в нарядных клетках пели, щебетали щеглы и канарейки, любимцы крупитчатой, румяной и очень моложавой жены Гуляева.

Рядом с домиком — павильон в три комнатки, для приезжающего начальства. И павильон и домик обведены высокой решеткой, и всегда тут стража. Боялась рудокопов маркшейдерова жена: «Разве же люди сие? Злыдни грязные».

Домик с павильоном на пригорочке, как холеная курочка, что брезгливо отряхивается среди грязного двора.

Кругом же на руднике грязь, вонь, сырость. Если с цветущих предгорий посмотреть на полуразвалившиеся бараки с обомшелой гнилой крышей, то походили они на больших раскорячившихся пятнистых серых жаб, что замерли на земле от удара сапогом.

Стояли бараки в глинистой котловине, где никогда не просыхала вонючая, липкая грязь. На крутой площадке, утоптанной шлаковой галькой, стояли колья для костров, где рудокопы грелись сырыми вечерами и варили себе еду. В бараках пол был земляной, скользкий от больных плевков, табачной жвачки и глины, что приносили на себе босые ноги рудокопов.

Куроспелов рудник почти весь был из «ссыльнорабочих», приписанных в нем было немного.

«Ссыльнорабочие» были со всех концов государства Российского: владимирцы, рязанцы, туляки, орловцы, московские, уральские с необозримых Шуваловских и Демидовских земель, украинцы, татары, крымчаки — разноречивый, разнобытный народ, что в жесткую, глумливую охапку схватила жизнь и бросила в глухое это горное гнездо, где ищут золото.

За что попали сюда? Почти все несговорный, беспокойный народ. Много было их с дворянских мануфактур, «бунтовщиков» и «богопротивников». Не выдерживала спина метких палок надсмотрщиков, плетей на конюшне, и за взмет отчаянный кулака, за дерзкие, правдивые о злой доле слова, за поджоги, за битье, а то и убийство — попадали люди сюда, в еще горшую муку с вечным клеймом «ссыльнорабочий». Было тут много и беглых солдат, «начальству грубиянов», битых плетьми у столба за «перебежку к Емельке». Были крестьяне из приуральских и уральских деревень, что повинны были в «хлебе-соли Емельке», были башкиры из Оренбургских степей. Башкиры особливо были страшны: всесильные екатерининские генералы, «Емелькины победители», редкого башкира оставили без уродства: у кого повырваны ноздри, у кого ухо отрезано, у кого край носа, чтоб помнил башкир до смерти и каялся.

Но «каялись» плохо. Рваные, грязные, полуголодные, всегда чем-нибудь больные, с полосами рубцов от плетей на рано сгорбленных спинах, с вечными таврами каленым железом, с изуродованными лицами, забитые жизнью и законом каторжники-вечнаки, они ничего не забывали из того дня и часа, что привело их сюда на рудники Куроспеловой горы. Они жили с неумолкающим проклятьем в мыслях и на языке.

Летом, когда на Алтайских горах не воздух, а мед под золотым солнцем, увеличивали число солдат рудничной стражи — ведь нельзя было зашить глаза «ссыльнорабочему», чтобы не видел он дальних просторов гор; не натолкаешь ему в уши камней, чтоб не слышал он птичьего гама с нетронутых еще лопатами цветущих склонов. День и ночь на руднике солдаты сторожили порядок и «работ преуспеяние», а говоря проще, смотрели за рудокопами, чтобы не бегали. Но рудокопы бегали в горы и на Бухтарму, обманывая даже свирепое бдение стражи. В погоне частенько участвовал и сам маркшейдер Фаддей Гуляев и называл это «охотой на человечину». И очень часто бывало, что беглеца ворочали вспять, в ужасные, постылые ме-

ста казацкие раз'езды с форпостов, или сам беглец плутал, не зная извилистых горных дорог, где-нибудь вокруг да около ненавистного рудника, и погоня тогда «охотилась» недолго, чтобы притащить беглеца связанного, дрожащего в неистовом озлобе, с торжеством и гоготом назад. После поимки — плети и не в зачет трость разъяренного маркшейдера. После плетей далеко не у всякого еще долгой будет жизнь — но горюе приволье, легкая жизнь на Бухтарме манили неодолимо, притупляя страх.

Недаром рассыпчатая, дебелая, всегда в аккуратно накрахмаленном роброне жена маркшейдера боялась рудокопов — беспокойный, безверный, матерный, даже и до бога, шумливый, унылый, грозный, непонятный никому народ.

Ныне с весны особенно были недовольны они и ворчливы, ссорились с солдатами:

— Пошто, ядрена палка, эко место вас сюда нагнали?

На что солдатня с форпостов на матюки способна, когда начальства не видно, и то отплевывалась стража, когда выбрасывали навстречу злобно оскаленные рты рудокопов непристойную, обнаженно-грязную ругань.

Из-за этого не допускал маркшейдер рудокопов близко подходить к решетке его садика: «супругу токмо пугаете».

Ныне много всяких новых строгостей ввели на руднике с весны, так как вернулся маркшейдер из Барнаула сердитый и испуганный приказами и инструкциями главной конторы о том, чтобы «беглых не водилось, ибо бегство работных людей размеры грозного урона год от году принимает».

День в руднике начинался в одно время с рокотом и пересвистом птиц, навстречу встающему солнцу. Птица встряхивалась на дереве и пела во всю ширину пернатой груди.

Возле бараков ходили мордастые надсмотрщики и, оглушительно стуча палкой в стены, орали:

— Вставай, вставай! Котлы кипяти, кашу вари, за работу примайся!.. Не разлежайся!

Когда небо из радужно-туманного становилось уже розово-золотым, все бросали уже на траву облизанные деревянные ложки, угрюмо отрыгивались после подгорелой недоварившейся каши — и скучливой, сгорбленной развалкой разбредались по руднику. Работали с передыхом на обед — кашу, уху чебачью, изредка говяжьи щи, работали до тех пор, пока маркшейдер, поглядев на тускнеющее бурое небо, не крикнет лениво:

— Ну, варнаки, кончай, што ли!

Праздники были редки и отзывались потом полынной горечью. Рудокопы сваливали жалкие, отсыревшие ночью в карманах штанов полушки и семишники и заказывали в ближайшей деревушке пьяной браги, что хорошо варят многие алтайские бабы. Пили брагу, глядя на пылающие на поляне костры, орали дико песни. Появлялись рудничные «гулены», трясогрудые горластые девки, которые потом дочиста обшарят тощие рудокопские карманы и трепашные кисетишки за поясом. Девок всегда недоставало, потому с первого же хмеля поднимались ссоры и драки из-за девок. В одну из таких ночей убили случайно в ссоре девку-гулену. Звали девку Федосьей, Феней. Девка была еще свежая, вся тугая, румяная. Подрались из-за нее несколько рудокопов, да и угодили ей камнем в голову. Она упала замертво. Кто-то потрезвее похоронил девку в логу. И не раз потом среди гульбы и диких унылых песен многим приходила на ум красивая, чернобровая гулена, что так незадачливо сгибла на лысой поляне рудника. Жарче шла гульба, забывалась не только неудачливая гулена, но и весь мир.

Зато маркшейдер спал совершенно спокойно в белом своем домике. Он знал, какими разбитыми будут на утро рудокопы, в синяках, кровоподтеках от ночной драки из-за девок, и как они будут ему благодарны за похмелье.

Стояла душная, парная августовская жара, когда зажужжал, загремел голосами бешено и натужно Курослепов рудник.

В руднике началась холера, и уже умерло около сорока человек. Началась сразу, необычно. Все заболели в один день. Тогда же и узнали рудокопы, что шла холера из старой штольни. Перед этим, несколько дней тому назад, один боковой про-

ход в штольне затопило водой — прорвалась кишка водяной машины. Воду же в штольне всегда выкачивали — в горе били подземные ключи, и работали часто по колена в воде.

Поминали не раз башкиры про одного ихнего, накануне на живот жаловался, об'елся натощак ягодами, куда-то делся парень. Потом забыли — свою бы жизнь тошную иногда не замечать, где уж о чужой думать... Так и исчез башкир.

Из бокового затопленного входа, как проходишь, понесло как-то тухлым. Думали — сырость. Маркшейдер велел, наконец, поправить кишку и выкачать воду из боковой малой штольни. Когда откачка подходила уже к концу, все вдруг охнули, дико тараща глаза: в углу, с мотыгой в полуразвалившейся руке, лежал человек, весь размокший, об'еденный крысами, захлестанный кусками тинной плесени, жалкая и отвратительная куча черно-багровых кусков рваных мускулов и обнаженных костей. Пальцы его разложившихся рук скрюченно впились в землю, а зубы остыли в страшном оскале. По старой пестрой тюбитейке, прилипшей к голове, узнали в нем пропавшего башкира. Видно, его схватила тут холера и он умер один.

На утро сорок человек скорчила, била холера. Спасти было нечем. Их сожгли, полив смолой.

Когда маркшейдер велел итти буравить сквозь этот боковой вход, толпа отшатнулась от штольни. Маркшейдер приказал нарядчикам гнать рудокопов в штольню.

На руднике поднялся вой, ропот, гроза отчаяния. Никто не хотел потерять последнее — жизнь. Всем она вдруг стала мила. Никто не хотел итти в штольню.

Маркшейдер, с пистолетом за поясом, свирепый, с трясущимися щеками, вышел на поляну, где гомонила возбужденная, орущая, вдруг цепко возлюбившая жизнь рудничная толпа. Маркшейдер топотал ногами и поставил дуло пистолета навстречу оскаленным ртам, горящим глазам, хриплому дыханию сотен людей:

— Отче в штольню не идете? А? Упокойника испугались?.. Вас даром кормить надобно? А? Штоб я не слыхивал больше сего... Итти в штольню и ништо боле!

Загремело в ответ:

— Сам-то спустись туды, кикимора!

— Тамо зараза!

— Покеда ядуча штольня, не пойдем!

— Подыхать до сроку кому охота...

— Сам то спустись туды, кикимора!

— Кобель барской...

— Поттираха купецкая...

Маркшейдер поперхнулся, закусил губу и большими шагами пошел к дому, трусливо поеживая спину, куда попало несколько мелких камней.

Еле успел маркшейдер шепнуть начальнику солдатского отряда, чтобы тот зашел к нему домой. Там, суетливо угощая щекастого малого в тутом мундире, придумывал маркшейдер, как «взять варнаков под ноготь». Малый в мундире сказал уверенно, пыхтя над своей кружкой медовухи:

— Пущая поорут. Кашу пойдут варить, дык мы их из ружей так пальнем — не порипаются боле.

Фаддей Гуляев на этом и успокоился, засев в домике под охраной части отряда, а в калитке, по сержантскому совету, велел выставить маленькую старую пушку... которая не стреляла, но про это рудокопам не было известно. Отсиживался Фаддей Гуляев в чистеньких комнатках, топал и пикал на глупых щеглов, что пересвистывали на все лады, как на зло ему, озабоченному, разволнованному до нельзя, верному заводскому слуге.

Неизвестно, в который раз подходил к горке с серебром и вынимал из шкатулочки драгоценное послание его высокоблагородия, обергмейстера Николая де-ла-Кройэра,* что был с ним, Фаддеем Гуляевым, обходителен весьма и весьма, заботы его ценил и всегда лично отписывал, когда приедет с ревизией на рудник. Ныне назначил числа, когда должен приехать, они уже кончались, а де-ла-Кройэр не ехал. За де-ла-Кройэром чувствовал себя Фаддей Гуляев, как за каменной стеной: вокруг де-ла-Кройэра был до зубов вооруженный конвой, неограниченный за-

---

1 Один из деятельнейших помощников Гавриила Качки; потомок обруселого француза.

пас пороха, а потому и самое полное спокойствие в мясистой волосатой маркшейдерской груди.

Послания же де-ла-Кройэра хранил Гуляев благоговейно, все равно, что крещенскую воду.

Ходил Фаддей Гуляев по коврику и тоскливо тянул:

— Что ж этта его высокоблагородие ехать-то не изволит? Ну, вдруг сдогадаются варнаки, что пушка-то и горошиной не выстрелит, не токмо что ядром... Что же этта не едет-то, а?

Ходил, покачиваясь из стороны в сторону, как медведь в клетке, кудлатил густо смазанные маслом редеющие, грязно-светлые волосы, крестился на «нерукотворный» в углу, шипуче вздыхал, а за обедом почти не тронул любимой хайрузовой ухи с красным перцем.

В. М. Михеев

Через мрак к свету

I.

Спускался в шахту я. В руке моей несмелой,
Дымясь, свеча кругом сгущала тень.
И под ногой оцепенелой
Скользила лестниц мокрая ступень.
Все меньше свет казался надо мною,
Отверстье шахты уже было все, —
И, окружен землистою стеною,
Я согнутой томительно спиною
Задеть боялся за нее.
Система лестниц мрачной паутиной
Все ниже шла, и робко я скользил
То под широкою тесиной,
То под подобием перил:
То были все площадки и подпоры...
Ступени, связи путались, как сеть...
При взгляде вниз старались взоры
Хотя огни во мраке рассмотреть...
В холодном воздухе, сыром и полном влаги,
Мерцали те огни, блуждая там и здесь;
И мой огонь мерцал при каждом шаге,
И треск свечи шипел:
— В терпеньи и отваге
Все ниже лезь, все ниже лезь!
Мерцаю я и, может быть, погасну,
Но для тебя один исход:
Ежеминутно, ежечасно
Все ниже в тьму, все в тьму вперед!

II.

Спустился я. И чувствовал, что люди
Вокруг меня в заботах и труде,
Что тяжело дышать усталой груди,
Что гнутся все, что места нет нигде
Свободного от согнутого члена, —
От ног и рук, голов поникших, спин...
За заступы мои цеплялися колена,
И чувствовал я здесь, что я в толпе один;
Всех давит труд, терпение иль злоба;
Все дышат воздухом одним,
И этим воздухом до гроба
Пришлось бы жить, быть может, им;
Но их лишит он силы прежде
И не вернет сюда опять,
Чтоб дать им, чуждым счастью и надежде,
На солнце жалко умирать...
А я? Я видел: змеи-коридоры
Ползли в утробу матери-земли,
И гнулися под ней тяжелые подпоры
И устрашали, и гнели;
Кайла взлетала в тягостном размахе,
И сыпалась земля, и с нею тот металл,
Что этот люд в почтении и страхе
И ныне держит, и держал.
И видел я, что я пришел лишь видеть,
Что я пришел лишь «наблюдать»
Туда, где надобно терпеть иль ненавидеть,
Туда, где мало сострадать...
И все моя свеча мерцала
И треск ее опять шипел:
— Увы, увы! здесь свету мало,
Чтоб ясно все ты разглядел:
Рабочих тягостным дыханьем
Дыши ты здесь, дыши ты здесь!
Им надышись и с новым колебаньем
Ты к свету лезь, ты к свету лезь!
Погасишь сам меня, приблизясь к свету,
Но тот же будет твой исход:
Все глубже в тьму, в трущобу эту, —
Все выше в свет, все в свет вперед!

III.

Из шахты вышел я. Теплом и лаской нежной
Лучи роняло солнце мне на грудь:

Животворя всю землю властно и
небрежно,
Оно свершало свой обычный путь;
Белели травы искристой росою,
И волны рек ласкали берега,
И, полной сил, зеленой полосою
В сиянье дня раскинулись луга.
Душа моя вся таяла глубоко
И, как река в весенний ледоход,
Живым волненьем смело и широко
Ломала иго скорби и забот...
Стоял у шахты я... И был смущен
нежданно:
Рабочему в нее я путь загородил.
Он ждал покорно. Холодно и странно
В его устах не смех бродил,
Не судорога тяжкого укора,
А утомленья тайного порыв.
Не отводя от шахты взора,
Как будто тягостно застыв,
Он на кайле задумчиво покоил
Мозолистой руки холодную ладонь.
Он точно говорил:
«Чего бы я ни стоил,
Ты лень мою упреками не тронь:
Ленив ли я, устал ли я, — не знаю,
Но видишь: я под землю ухожу;
Ищу чего-то, что-то добываю,
Кому-то что-то нахожу...
Ввалилась грудь моя, в морщинах облик
темный,
Все тело — кость, а кожа — лишь
мозоль;
Вся жизнь — в работе непод'емной,
В привычку выросшая боль...»
Стоял рабочий. Ярко и жестоко
К его фигуре солнца луч приник,
И рисовал спокойно, без упрека:
И равнодушный этот лик,
И опустившиеся руки,
И эту вдавленную грудь...
Свечу я погасил. Иные звуки, —
Не треск светильни, слышимый
чуть-чуть, —
Казалось мне, гремели не смолкая:
То солнце речь суровую вело,
Всего меня сияньем проникая:
— Тебе светло, тебе тепло,
Но в этом свете всемогущем,
Куда б ни двинулись вы все,
Предстанем вам виденьем гнетущим
В незабываемой красе.
То, что ты видишь: в тьме невольно
Вас что-то мучит, как кошмар,
И непонятно вам, и больно,
И чей-то страшен вам удар...
Вы рветесь к свету... вы достигли,
Вас озарил небесный свет,
Вы непонятное постигли,
Но вам отрады нет и нет:
Вопрос великий тягостного века
Пред вами озарен и ясен весь...
И слышит нравственный калека:
«Все ниже лезь, все ниже лезь;
Будь верен грозному завету,
Цени скорбей своих исход:
Все глубже в тьму, все выше к свету,
Все неизбежнее вперед!»

И. А. Кущевский

Не столь отдаленные места Сибири

БАРНАУЛ

Под'езжая к каждому сибирскому городу, почти всегда надобно переплывать большую реку на пароме и испытывать при этом много суеты, возни, а часто и неприятностей: всякому хочется перебраться за реку раньше; паромов очень мало, и оттого тому, кто победнее да посмирнее, приходится иногда с полсуток, а то и дольше, жить на берегу в ожидании переправы. Около всякого перевоза есть кабак или харчевня, в которых обыкновенно коротаются скучные часы в ожидании парома, рассказывая друг другу всякие истории и неизбежно ругая «россейских чиновников».

Барнаул стоит на горе и издали очень хорошо виден. Дорога к нему идет черная, как чернила. Это — от угля. На завод едут целые обозы коробов, похожих на громадные черные гробы в сажень вышиною, — с углем. Во дворе барнаульского завода насыпаны целые горные хребты этого угля, вышиною в четырехэтажный дом и длиною иногда в полверсты. И все возят новый уголь... старый, навезенный лет сто тому назад, лежащий внизу, надо думать, уже негоден... Благодаря этим горам угля, едва ли нужного в таком огромном размере для завода, леса около Барнаула жестоко истребляются. Строевые деревья безжалостно рубятся и сжигаются в больших ямах на уголь; сучья и верхи бросаются. Кроме этого, огромный сосновый лес около Барнаула на несколько сот верст выгорел, благодаря, вероятно, именно неосторожному обраще-

нию с огнем при выжигании угля. Страннее всего то, что на Алтае давно уже открыты громадные залежи каменного угля, которые находят невыгодным эксплоатировать по той причине, что мелкое начальство от древесного угля издавна привыкло скапливать и класть в карман по нескольку десятков тысяч рублей в год: на такие доходы от каменного угля не надеются. Один инженер, человек, вероятно, довольно честный, написал проект о разработке каменного угля: но ему пришлось испытать столько придирок и неприятностей от местного начальства и даже женщин, которые не хотели, например, танцовать «с прожектером», что он, опустив руки, начал пить горькую и кончил тем, что застрелился, видя полную невозможность прати против рожна. Так и до сих пор жгут леса и возят на барнаульский завод древесный уголь... От него идет черная пыль; дороги черные, и даже придорожные березы запрятнены им до того, что сделались темносерыми... В Барнауле все улицы черные. Это уже не от угля, а от заводского шлака, который вывозят с завода на улицы; он выглядит кусочками черного стекла. Многие наибогатейшие дома выкрашены в Барнауле черной краской; они, говорят, построены на манер английских коттэджей, так что верхний и нижний этаж составляют одно жилье, в котором есть и баня, и биллиардная, и библиотека. Внутри этих домов я был после, но снаружи они мне показались истинно роскошными и прелестно уютными. Посреди черной краски как-то особенно тепло глядели большие окна с чистыми стеклами. Маленький городок был очень роскошен; я не воображал себе таким даже голландского города негоциантов, Брука, где на улицах есть паркет и где никто не ездит в экипажах. Засмотревшись, я не хотел слушать острот Ивана Михайловича над преобладанием в Барнауле черного цвета.

— Это — цвет горнозаводских дел!.. Полюбите черненькими, а беленькими всякий полюбит... и проч., и проч.

Я никогда в жизни не видал такого маленького роскошного города. Не только избушек, но даже деревянных устарелых домов было решительно не видно: все глядело новым, с иголочки. Блестящие стекла, блестящая медь на оконных рамах и дверных ручках и эта блестящая черная краска на стенах домов делали улицы решительно парадными.

— Миллионами ворочают, еще бы, — говорил Иван Михайлович.

Золотое дело.

Мы остановились с ним вместе. Утром, когда нам подали чай и шипящие блины и пряженники на сковородках, Иван Михайлович попросил меня запечатать конверты. Все конверты были с деньгами, без всяких писем. Где запечатывались две сторублевки, где — одна, где — пятидесятирублевка, где — три двадцатипятирублевки, где — одна, где — красненькая, а где и синенькая. Вышла целая гора пакетов, и я очень жалею, что не сосчитал тогда общую сумму...

— Кому это три рубля? — спросил я, запечатывая последний пакет.

— Кочегару. Тут все от мала до велика берут...

— Да за что же давать кочегару?

— Не дайте! Он устроит такой бенефис, что при сплавке горшок лопнет... ну, и собирайте золото!

— Это уж слишком!..

— Не слишком, а без малого... Ешьте блины-то!.. хорошие, жирные; макайте в масло... Это — дело простое. О благополучии рабочих заботятся до того, что они совсем голы остаются... И жаль их, да что поделаешь? — Если бы представили так, что зубами, али лопатой рой, в машине, али во рту промывай, — мне все равно; представляй только золото и получай за него деньги— тогда бы рабочему не в пример лучше было... А то на этих наблюдателей, чтоб он счастлив был, — все его добро идет... Оттого приисковый рабочий и зовется несчастненьким, что уж очень много заботятся о его счастии. Этим и возмущаться нечего!.. Дело простое!.. Кушайте пряженники: хорошие, жирные!.. «Теперь мы сдаем золото... что его стоит сдать благополучно? Тысячи? Теперь его повезут — опять тысячи!.. Золотопромышленник, вот хоть бы наш Федор Степанович, вышил в лето на приисках с разными чиновниками три тысячи бутылок шампанского![1] Это надо покрыть... А с ко-

[1] Это — факт. Великому множеству выпиваемого шампанского в Сибири уже давно удивлялись по цифрам; в прекратившейся газете «Весть» было высчитано, что если гр. Воронцов, производитель вин из крымского винограда, пустит в

то покрыть? — с рабочего! Цена золоту в казне стоит одна: три с полтиной... Двадцать лет назад, когда чиновнику можно было дать синенькую, пуд говядины купить за гривну, а целого быка за три рубля, когда лошади по три рубля продавались, золото стоило три рубля с полтиной. И теперь три рубля с полтиной, когда чиновнику нельзя дать меньше сотенной, когда он не стал пить водки, а требует шампанского, когда пуд говядины стоит сорок копеек, а бык десять рублей, рабочему мало остается и, когда цены на чиновников да быков еще поднимутся, он совсем будет нагишом ходить!.. Золотопромышленник своего не упустит. Он прежде триста тысяч в год получал — давай ему их и теперь: теперь и для него все стало дороже. Он своего не упустит! А золото все по-старому принимают по три с полтиной... Чтобы дать что-нибудь, надо прижать рабочего. Управляющий, который затратил сто тысяч, да не нашел золота на четыреста тысяч — худой управляющий. Поневоле жмешь сок из людей и лошадей... Я очень люблю лошадей... Они все сдыхают на приске в лето; людям не лучше. Если они не издыхают на самом приске, издыхают, воротившись домой. Всякий уж непременно выносит цынгу. Хорошо, что из России присылают сюда каждый год несколько тысяч народа, а то, из-за приисков, здесь все бы давно вымерли: голая бы земля осталась... Крестьян у помещиков отняли. Чтобы у золотопромышленников приски отнять, сделать свободную золотопромышленность! а то ведь теперь рабочий в тайге хуже крепостного: его заставляют работать восемнадцать часов в сутки и работать такую работу, перед которой паханье земли кажется шуткой: он стоит по пояс в воде и вынимает со дна ежеминутно по пуду песку на своей лопате. Он в тысячу раз хуже каторжного. Его нанимают с целью, чтобы он сдох на работе. У помещиков отняли крестьян. Кто владел справедливее: помещик ли крестьянами или золотопромышленник?.. Вотчины и поместья давались за заслуги, хотя бы в танцах. Он танцовал и вытанцовал пятьсот душ. Он умел танцовать. Я уважаю это искусство, потому что никак не мог выучиться танцовать... За что же получил свой приск хоть наш Федор Степанович? Трудился он, был хоть он раз в Сибири? Танцовал? Нет! Ему все обделал Мошаров.[2] Это был собака, а не человек: он чутьем узнавал, где золото, и, как всякая охотничья собака, предоставлял плоды своих открытий охотникам; ничем не пользовался сам. Хуже. Когда собака затравливает зайца, ей бросает охотник ножки. Ему и этого не бросили: с голоду умер... А Федор Степанович? Что он сделал? Послал из Петербурга управляющего, дал ему кредит... Тот нанял рабочих, начал работать... и вот миллионы расти начали; на приисках по три тысячи бутылок шампанского стали вымывать... И легко им, и хорошо. А если рабочие ругаются, — так они поругаются, да и перестанут... Дай мне силу да власть, так я бы сейчас по боку всех этих золотопромышленников, и все эти горные заводы, и всех этих инженеров: пусть идут, коли они что-нибудь понимают в горном деле, и сами, по воле, а то и по найму, работают... разве только сумасшедший наймет их, впрочем... Ну, коли никуда негодны — пусть, не в убыток государству, по миру ходят! Впрочем, не пойдут: вдосталь наворовано. Дальше... я бы сделал свободную торговлю золотом, без боязни, что оно уйдет за границу: и теперь оно уходит... Дальше! без боязни, я уничтожил бы все казенные заводы, а сплав сделал бы в Петербурге... Так что, если правительству угодно покупать золото, оно бы покупало его в шлихе, в казначействах, по весам с удельным весом... покупало бы на свободной конкуренции, а не по сто лет назад навсегда установленной плате... Мы бы

Сибирь весь столетний запас своего производства, то эту громаду сибирские золотопромышленники выпьют в один год; поэтому (доказывалось в статье) нам никогда не обойтись без заграничных вин, и как бы ни была успешна выделка крымских вин, их нехватит даже на одну Сибирь. (Прим. авт.).

[2] Лицо историческое. Все богатейшие приски в Сибири открыты им. Он умер в крайней бедности, будучи разбит параличем и бесприютен, даже без необходимой одежды: одни говорят, что он умер буквально с голоду; другие уверяют, что он просто замерз в своей одинокой лачуге, которую нечем и некому было топить, так как разбитый параличем, не могший уже открыть ни одного приска человек, не был никому нужен, и его все оставили. Мошаров открыл приски, которые даже теперь, уже в истощенном виде, могут быть оценены только сотнями миллионов рублей. Кто писал о золотопромышленности, тот непременно писал о Мошарове. О нем даже есть упоминание в «Записках золотопромышленника», где автор не жалеет розовых красок для золотопромышленников, но и он не мог удержаться, чтобы не сделать им легкого упрека за Мошарова. (Прим. авт.).

тогда вздохнули... Мы бы не стали ездить в Барнаул, да развозить эти пакеты. Мы бы продали все одному какому-нибудь комиссионеру: он бы один, накупив пудов двести, свез его в Петербург... И больше было бы золота... не уходило бы оно... за границу, по дешевой цене.

— А разве уходит? — в виде реплики сказал я разгоряченному и разораторствовавшемуся Ивану Михайловичу.

— А спиртоносы, что скупают золото на приисках от рабочих?

— Какие спиртоносы?

— Люди ездят. Станут около прииска на горе со своим спиртом... револьверы у них, и казаки с ними ничего поделать не могут. Рабочий с прииска тащит к ним золото, а от них спирт берет. А куда это золото девается — господь его знает!

Сдача золота и сплав.

Сплав долог. В золотом отделении по ночам занимаются канцелярские (конечно, за плату от золотопромышленников: все эти канцелярские, стоящие около золота, получают такое мизерное жалование, что курам насмех, и живут только на счет подачек от золотопромышленников), но не успевают. Каждому доверенному хочется поскорее разделаться с Барнаулом, получить деньги и уехать.

Сплав происходит с некоторого рода церемонией, в присутствии горных чиновников, инженеров и посторонних зрителей. В плавильной очень жарко, так что, если бы я знал это, ни за что бы не пошел, тем более, что неприятность от жара вовсе не выкупается красотой зрелища: огненная струйка расплавленного золота скатывается по жолобу в форму очень быстро, так что и смотреть тут собственно нечего. Иван Михайлович предупредил меня об этом, но все-таки свез на завод. Если говорить правду, так это — какое-то безобразие, а не завод. Он занимает огромную площадь, на которой легко могут поместиться две больших деревни. Тут есть много каменных зданий, стоящих друг от друга на полверсты; тут есть горы угля; есть для чего-то плотина, есть горы шлаку («соковины», как здесь называют); есть горы руды, которые лежат уже не одно столетие. В какой каменный дом вы ни взойдете, везде увидите мастеров.

— Что здесь?

— Столярня... Инженерам мебель делают...

— Что здесь?

— Портные... Инженерам шьем...

— Что это? кузница?

— Экипажы инженерам делаем...

— Что это? кирпичный завод?

— Инженерам кирпич делаем...

— Что это?

— Стеклянный завод. Стекла для инженеров льем: они литые стекла любят...

— Где же золото плавят?

— А вон!

И вам указывают на какую-то конурку... А все эти мастера: слесаря, столяры, кузнецы, портные, стекольщики, все они числятся золотоплавильщиками. Мало! Когда мы осматривали завод, мы зашли в большой дом, где стояли коровы в числе сорока или пятидесяти голов.

— Что такое?

— Сыроварня...

— И варится сыр?

— Нет покуда... Управляющий велел... Кишку телячью спускаем, а ничего не выходит. Выбрасываем. Хотел в Туркестан свой сыр отправлять. А вот не выходит! Сыр варить — это не щи варить!..

Горные инженеры — аристократы, сколько я их не видал, мне очень не понравились. Они слишком уж похожи на ворон в павьих перьях: вышедши из посельщиков, трудно корчить родовитых дворян, в особенности не имея общего образования. Они как-то низко заносчивы: иной фамилии своей подписать без ошибки не может, а туда же — говорит «бонжур», когда ему откроешь портсигар... Инженера я не могу представить себе иначе, как человеком с мокротой на красных ноздрях большого мягкого носа, с отвислыми слюнявыми губами, с холодными пот-

ными руками, на пальцах которых всегда обкушены ногти, и с ногами, с большущими ногами, от которых на полверсты пахнет вонючим потом... Тут следует заметить, что этот человек в вечно мокрых перчатках и мокрых и вонючих от пота сапогах считает себя образцом галантности и галантерейности. Награбившись в Сибири, он приезжает в Петербург, и даже с привезенными миллионами играет там очень жалкую роль: я не говорю о бывших барнаульских инженерах, которые все-таки вышли в люди... Я говорю о прочих... Это — род... Сын инженера — инженер, его сын — инженер... Инженеры между собой непременно родня, и все они очень похожи друг на друга как по наружности, так и по нравственным инстинктам.

Я не могу забыть того инженера, которому представлял меня Иван Михайлович: ободы глаз его розовы и мокры, ноздри его носа были розовы и мокры, губы его были розовы и мокры, руки его были розовы, мокры и холодны как лед.

— Политический? — ухмыляясь, спросил он и тотчас же об'явил, что отправит меня с караваном в Петербург. — Только караван пойдет не скоро, месяца через полтора.

Я был очень благодарен.

Иван Михайлович, выйдя за мной, напротив, разразился плевками и ругательствами.

— Тридцать рублей взял!

— За что?

Чтобы вас в Петербург доставить...

Я смутился и тотчас же предложил Ивану Михайловичу деньги.

— Ох, подите вы к чорту! Тут о деньгах я, что ли?.. Я не то!.. Я чувствительно ему расписал ваше положение. А он, российский прохвост, разве может понять? «Это, говорит, будет стоить пятьдесят рублей». Я и пошел... «Ну, говорит, сорок». Я иду. «Ну, говорит, тридцать». Ешь, собака!.. За вас отдано... Не сумлевайтесь...

— Так вы возьмите деньги...

— Подите к чорту!

Караван.

Караваны с золотом отправляются из Барнаула в Петербург раз пять в год. К этому надо было уже, кажется, привыкнуть. Несмотря на то, перед каждой отправкой каравана волнуется почти весь город. Кого назначат с караваном? В качестве сопровождателей едут множество чиновников. Золото — металл драгоценный, и, сверх множества чиновников, его сопровождают еще до дюжины солдат. Поездка с караваном в Петербург, в столицу, о которой рассказываются всякие чудеса в этом далеком крае, в столицу, где есть каменный мост в три четверти версты, где есть дома в четыре и пять этажей, где есть окна с такими большими стеклами, которые по одному вставляются в окна, без рам, где есть такие театры, в которых пляшут открыто полунагие женщины, в столицу, где есть множество всяких невиданных редкостей и неиспытанных удовольствий, — поездка в эту столицу, а в особенности на казенный счет, не может быть не заманчивой, даже помимо корысти. Так всякий петербуржец с радостью проехался бы на казенный счет в Париж. Но удовольствие барнаульского чиновника, отправляющегося с караваном — больше. Приехавши в столицу на казенный счет, даром, он получает всегда из казны еще столько денег, что обыкновенно украшает все пальцы своих рук бриллиантовыми перстнями, вешает на грудь золотую цепочку, заказывает у Альванга три или четыре чемодана платья, не считая того, что он может сорить деньгами в Петербурге до полного пресыщения: бросать десятки рублей с большей легкостью, чем плевать или сморкаться. Отправиться с караваном — большое счастье, и волнение перед отправкой всякого каравана очень естественно. Чиновники хлопочут, интригуют, просятся, надоедают, дают друг другу отступного!..

— Ныне дивиденты (доходы от сопровождения каравана) стали меньше...

— Теперь, говорят, какая-то Шнейдериха там, в Петербурге...

— Ох, кабы мне с караваном!

— Ох, кабы мне с караваном!

Доходы от каравана, действительно, стали меньше. В России устроились железные дороги, по пустынным прежде сибирским рекам начали ходить пароходы.

Долгое время горное начальство не обращало на эти нововведения никакого внимания: золото, для выгод караванных начальств, возилось на лошадях вплоть до Петербурга, причем оси, в отчетах, ломались на каждой версте, и за каждую ось, по отчету, крестьянам платилось по девяти — двенадцати рублей. Выгодно прежде было возить караван... Когда в Петербурге выдумали, что золото можно возить по железным дорогам, в Барнауле очень возмутились.

— А вдруг золото, вместе с поездом, под мост провалится?

— Вдруг паровоз разобьет!

— Вдруг поезд с рельсов сойдет!

— Ныне поезда часто с рельсов сходят! Что тогда, если золото разнесут? Золото — драгоценный металл!

Но уж это было давно. С железными дорогами примирились, тем более, что до Нижнего (ближайшая железная дорога) оставалось весьма достаточное от Барнаула пространство, на котором можно было изломать такое количество осей, чтобы вышло не в убыток себе... Тут, к великому огорчению инженеров, выдумал кто-то в Петербурге, что золото, хотя и драгоценный металл, но его можно возить не только по железным дорогам, но и на пароходах. Этим возмущен был весь Барнаул.

— А вдруг золото потонет!

— Вдруг пароход разобьется...

— Вдруг паровик лопнет...

Тем не менее, золото стали отправлять на пароходах, снабдив каждый ящик поплавком... но стали отправлять этим способом только золото с частных золотых промыслов. Казенным золотом не решились рисковать. Надобно было, чтобы хотя для немногих избранных ломались оси... эти оси пахли тысячами! Так и до сих пор казенное золото возят на лошадях...

Когда я вспоминаю теперь об этих караванах, о множестве чиновников и солдат, наряженных караулить и беречь драгоценный металл, мне становится смешно. Мне мерещится вопрос: что если бы эти чиновники и солдаты потеряли все золото? Что бы с них взыскали?... Всякий рассудит, что выгоднее для правительства было бы иметь ответственным лицом подрядчика с залогом, который мог бы, хотя отчасти, гарантировать целость золота, которая теперь гарантируется только личностью чиновника, а этого слишком мало, если сообразить, что Сибирь — страна разбойницкая... Это счастье, что никому из бродяг до сих пор не приходило в голову ограбить караван, от которого шайка из нескольких человек может поживиться несколькими миллионами рублей. Но, если бы какие-нибудь негодяи вздумали захватить весь караван — пудов 100 золота, то чиновники, конечно, сами бы руками отдали его. Они безответственны. Если их предадут суду, то все-таки есть шансы, что их оправдают: это гораздо легче, чем подставлять грудь под нож или пулю разбойника, защищая чужое золото. Они его отдадут. В этом я не сомневаюсь. Для чего же они едут? Очевидно для того, чтобы наживаться, для того, чтобы побывать в Петербурге, повидать балет, поплясать у Марцинкевича или в другом более или менее гнусном вертепе, накупить себе глупых колец на все десять пальцев рук, так что их нельзя сжать в кулак для того, чтобы ударить в шею ямщика, обходить всех знакомых сибиряков, в особенности генералов, и затем воротиться домой со славою

Н. И. Наумов

Еж

На следующий день, во флигеле, примыкавшем к главному зданию приска и квартире управляющего, с вывеской на дверях «Контора», с утра густою массою теснились рабочие. Комната, занимаемая конторою, была обширна. В одном углу ее, огороженном плотною решеткою, сидел главный конторщик, молодой человек с длинными белокурыми волосами. Двое помощников и человека три конюхов окружали его. Несмотря на бессонную ночь, проведенную за сведением расчетов, и конторщик, и помощники его были в веселом расположении духа: для них, как и для рабочих, окончание утомительного приискового сезона и выезд на зиму в города — самое веселое время. В среде рабочих шел оживленный говор и смех. Несмотря на то, что дверь была раскрыта настежь, и осеннее утро, наступившее после ненастной ночи,

было морозно, в комнате царствовала невыносимая духота. У небольшой дверцы, около решетки, стоял конюх, отворяя ее для пропуска за решетку вызываемых в алфавитном порядке рабочих. Расчет их не представляет продолжительной процедуры. Рабочий получает на руки билет, хранящийся в конторе, и при нем счет, в котором выписывается все забранное им, с цифрой стоимости каждой вещи или продукта. Во избежание тесноты, рассчитанного рабочего выпускали из конторы в противоположную дверь, также охраняемую конюхом. В то время, как в задних рядах рабочих слышался смех и говор, в передних, жавшихся у решетки, наблюдалось молчание. Каждый из рабочих зорко следил за всеми действиями конторщика и особенно за одним из помощников его, сидевшим по правую сторону стола, около высоких стопок ассигнаций и медных и серебряных монет.

— Николая Митрича с зимним деньком, что с горячим блинком! — произнес вдруг протеснившийся к решетке молодой парень, с бойким, выразительным лицом, вытянувшись во фрунт перед решеткой.

Выходка эта была встречена общим, прокатившимся в толпе смехом; конторщик поднял голову и улыбнулся.

— Ты все с шуточками, не унялся еще!

— Мяли, Николай Митрич, да отстали; из неспорой глины, сказывают, горшка не обожжешь! Не томите душ-то в отпущении грехов! — заключил он, кивнув головой на рабочих.

— Абрамов! Егор Абрамов!.. — произнес конторщик, глядя на толпу.

К решетке протеснился молодой, неуклюжий на вид парень.

— Иди, растопыривай карманы-то!—сострил конюх, затворяя за ним решетку.

— Тридцать два рубля 83 копейки! — подавая ему билет, счет и деньги, произнес конторщик.

Молча приняв деньги, Абрамов медленно пересчитал их и, немного подумавши, с расстановкой повторил: «Так энто тридцать-то два рубля всего? Ловко!»

Гул смеха был ответом ему.

— Ловко... ай, ай! — снова повторил он, повидимому не придя еще в себя от поразившей его цифры. — Энто за какие ж бы провины обшарпали-то?

— Тебе дан счет и читай! — ответил тот, не глядя на него.

— Считай! Ты мне словом скажи. Я вот еще неграмотный!

— Акимов!.. — вместо ответа выкликнул конторщик.

Толпа снова заколыхалась, давая дорогу хромоногому старику, с худым морщинистым лицом, обросшим клочками волос вместо бороды. Войдя за решетку, он перекрестился два раза в передний угол и поклонился конторщику.

— Шестьдесят восемь рублей! — подавая деньги, также вместе с билетом и счетом, сказал конторщик.

— Что ж, ответь мне что ни на есть! — снова обратился к нему Абрамов.

— Что ж тебе ответить-то?..

— За что обшарпали-то меня! По моему-то счету, боле ста рублев надоть на руки бы!

— Сосчитал же! — с усмешкой обратился к конторщику сидевший около него помощник.

— А ты думал, что мужик, так и счету не знаю, — прервал его Абрамов, весь вспыхнув и встряхнув волосами; — нет, я, брат, еще тебя научу!

В это время и старик, пересчитав деньги, замялся и робко произнес: «маловато бы и мне-то, ровно!»

— Чего ты ждешь еще?—нахмурив брови, спросил конторщик, обращаясь к Абрамову. — Тебя рассчитали!

— Нет!

— Как нет, ведь ты деньги получил?

— Допячи жду! Мне следует сто рублев, а кинул, што собаке кость, и рассчитал! Нет, нюне у нас у самих головы-то не в обручах, ты вот и языком шевельнуть не хошь, за што обшарпал, даешь и спрашиваешь: чего мне надоть! Я знаю, чего мне надоть, мне мои деньги подай!

— Да ты пьян верно? — с удивлением произнес конторщик.

— Студеной воды два ковша выпил, точно! А ты, почтенный, не напоивши, не кормя! Пьян! С обману-то вашего охмелеешь!

— Ты забылся? Где ты стоишь?

— Места не продавлю, не бойся!

— Выведите его! — весь покраснев, обратился конторщик к конюхам.

— Энто вместо расчета-то! Нет, я еще не пойду, ты мне, наперво, подай мое кровное, да тогда уж гони! Слышь, братцы, выводить хотят, — обратился Абрамов к толпе, среди которой царило глубокое молчание.

— Егорка! Подь лучше без греха! — вступился один из конюхов, неохотно придвигаясь к нему.

— Мне мое подай, тогда и сам уйду, а ты не подходи!.. и, ей-богу, не подходи, коли скула цела!

Но не прошло и минуты, как с криком: «братцы, что ж это, ограбили, да и гонят!» он вылетел за дверь конторы и, присев на земляную завалину, заплакал, уткнув голову в руки, забыв и о шапке, выпавшей из рук его при борьбе с конюхом и выброшенной далеко от двери в грязь.

Что-то неясное пробежало в толпе, и вслед затем снова наступила тишина.

— А ты чего ждешь? — спросил конторщик не то усталым, не то взволнованным голосом рассчитанного старика, — ведь деньги получил?

— Получил, получил, дай тебе бог! Только, говорю, маловато бы, ровно... ну, да уж коли что... так чего говорить... гоняете!.. А-а-ах! — и, сжав счет и деньги в руках, он направился к той двери, откуда был выпровожен Абрамов.

Вызванный вслед за ним, по порядку, высокий, сутоловатый рабочий молча всунул полученный билет за пазуху, пересчитал деньги и, размотав веревку, прикреплявшую к ноге голенище бродня, заложил за него деньги и упрямо спросил конторщика: «все?»

— Все!.. — ответил тот, вопросительно посмотрев на него.

— Видать, густо месили, да хлебать нечего! — задумчиво произнес он. — Неуж и все тут? — снова спросил он. В эфтакой-то препорции обсчитывать нашего брата, на мой мужицкий ум — грабеж.

— Выражайся полегче, любезный! — предостерег его конторщик, весь покраснев; — в другом месте можешь говорить что угодно, а здесь будь вежлив!

— Слово-то не обух, не бьет! И у березки слезки текут, когда с нее лыко дерут — не токма наше дело! Заговоришь, как в три-то скребка отребают! А-а-ах, правда! без пути пустырями по свету бродишь, только к людям не загляцываешь! Дай вам господи чужие крохи есть, не давиться; людской слезой, что соленой водой не напиться. Экая совесть-то у людей, братцы! — обратился он к толпе, — почесть, третьей доли не дали того, что доводится, а-а!..

— Выведите его! — обратился к конюхам, начинавший выходить из терпения, конторщик.

— Доколь же это, братцы, глумиться-то над нами будут?

— Иди, иди, Вавило, нечего! — произнес один из конюхов, беря его под руку.

Толпа заколыхалась, и к решетке выступил Еж.

— Иди, Вавило! — произнес он среди невозмутимого молчания. А ты, ваше почтение, кликни к нам управляющего! — обратился он к конторщику. — Мы с ним поговорить хотим!

— О чем это? — спросил его смутившийся конторщик. — Если что нужно, говорите, я передам.

— В чужую кашу, ваше почтение, свою ложку не суй... Мы ее и сами расхлебаем!..

— Ты кто такой, чей прозываешься?..

— Карпов, а завсе-то Ежом зовусь...

Конторщик молча переглянулся с своими помощниками, лица которых, как и его собственное, выражали полное недоумение. Переглянулись между собой и конюха, поняв, что затевается что-то недоброе, и что роль их чуть ли не окончена. Подумав немного и снова посмотрев на толпу, в среде которых хранилось мертвое молчание, — признак твердо принятого решения, конторщик встал и, собрав документы и деньги, сложил их в стол, запер его и вышел из конторы.

При редком расчете приисковых рабочих не возникает между ними неудовольствия на неправильную оценку труда, на высокие цифры, проставляемые за забранные ими товары и продукты. Подобные натяжки при расчетах с рабочим встречают-

ся не только у тех золотопромышленников, дела которых идут плохо и с году на год грозят падением, но и при хорошей организации хозяйства, при благодарном вознаграждении произведенных затрат. Гнет этот всегда идет через руки управляющих приисками, которым вверяется распоряжение работами и вся административная деятельность на правах самостоятельных лиц. Чем более управляющий соблюдает интересы своего хозяина, тем более гарантирует прочность своего положения, всегда завидного, благодаря хорошему содержанию и полному материальному обеспечению.

Василий Никитич Кудряшев, управляющий Г... приском, находившимся в ведении конкурса, учрежденного над делами одной из золотопромышленных компаний, не пользовался хорошей репутацией не только между рабочими, но и у других служащих. Человек он был пожилой, с значительной проседью в коротко остриженных волосах и окладистой бородке, пользовавшийся завидным здоровьем, благодаря постоянной физической деятельности. Подобострастный и хитро вкрадчивый с высшими, он не знал границ произволу с людьми, зависящими от него.

Как все коренастые, полнокровные люди, он был вспыльчив до исступления, причем хриплый голос его сипел, глаза наливались кровью, и горе было не только рабочим, но конторщикам и надсмотрщикам, подвергавшимся в эти минуты припадкам его гнева. Он рассыпал удары направо и налево, не разбирая ни правых, ни виновных, и считал не только ненужным, но неприличным для своего звания извиняться перед невинно пострадавшими, когда выяснялось дело. Рабочие, окрестив его названием «крутолобый», боялись его. За Василием Никитичем было много дел, которые другому бы не прошли безнаказанно, но, находясь более чем в интимных отношениях с председателем конкурса и имея репутацию хорошего управляющего, он пользовался неограниченным доверием и заступничеством в случае возникающих жалоб.

Одна неопытность или необходимость отработать забранное гнала рабочих на Г...ий прииск. Василий Никитич никогда не присутствовал при расчетах, предоставляя выносить ропот неудовольствия и нареканий конторщику. Сидя теперь в комфортабельно убранной комнате, стены которой вместо обоев были увешаны коврами, он сверял приисковые шнуровые книги и черновой отчет о приходе и расходе сумм за летний сезон. Переданное ему желание рабочих видеть его и говорить с ним неприятно подействовало на него. Откинувшись на высокую спинку кресла, он побагровел; глаза его сузились, и большой палец правой руки быстро завертелся около рта. Василий Никитич понял, зачем рабочие желают видеть его и о чем будут говорить с ним. Не сказав ни слова конторщику, он встал, надел, вместо халата, бешмет, опушенный беличьим мехом и, опустив в карман небольшой шестизарядный револьвер, постоянно заряженный и всегда лежавший у его постели, вышел в сопровождении конторщика.

При входе в контору он зачерпнул из ушата, стоявшего у двери, воды в небольшой жестяной ковш и, выпив несколько глотков, отер рот и усы рукавом бешмета и взялся за дверную скобу. Но прежде чем отворил дверь, пасмурное лицо его, способное повиноваться воле своего хозяина, приняло совершенно иное выражение. Морщины на лбу разгладились, сжатый рот раздвинулся в улыбку; только глаза совершенно скрылись, чуть прорезываясь из сдвинувшихся век, да яркий румянец выдавал еще следы недавнего волнения. Василий Никитич, как и все недаром прожившие на свете люди, умел владеть собой и подавлять свой гнев, прикрывая его улыбкой там, где требовали того обстоятельства.

— Здравствуйте, голуби, здравствуйте! — улыбаясь и потирая руки, приветствовал он молчавшую толпу. И, смутившись, не получая ответа от нее, быстро заговорил: — ну, вот, слава богу, и работы покончили, по домам теперь, на покой к бабам... то-то с голодухи-то, поди, а-а... ха-ха! — сострил он, подходя к решетке.— Ну, что, голуби, обо мне соскучились, а? Спасибо за память!..

— Мы, ваше почтение, все помним! — ответил ему Еж, глаза которого заискрились и лицо приняло свойственное ему одушевленное выражение. — Только вы-то нас забыли!

— Как же это, чем же я-то забыл вас? Ба-ба-ба... да ты никак знаком еще мне! — вместо улыбки неприятно скривив рот, спросил он, пристально всматриваясь в него.

— Видались за лето-то!

— Помню, помню, как бишь тебя?..

— Еж, ваше почтение! — подсказал он смело, в упор глядя на него.

— Да, да, да!.. Кто ж это тебя окрестил-то так, а?.. Еж... этакого имени и в святцах нет... ха, ха, ха!.. Не поп ведь, поди, а?..

— Никак нет-с... а уж так, по шерсти и кличку мир дает!

— О-о! Да ты говорок!

— Таежные дорожки всякую шину вглядь оботрут, ваше почтение!

— Говоро-ок!.. — протянул Василий Никитич, чувствуя свое неловкое положение и не зная с чего начать свое щекотливое об'яснение с рабочими. — Так что, бишь... зачем вам меня-то, а?... — спросил вдруг он, обратившись к толпе.

— Обкроили уж больно, Василий Никитич, покромки-то у вашего суконца широки, нельзя ли поуже, сле-езно мир просит! — ответил ему Еж.

— То есть, что же это? Я не понимаю!

— Расчеты-то ваши-с на вид-то гладки-с, — да наощупь шершавы, пожалуй и карманы протрут!

— А-а... да, да! Понимаю! Значит, по вашим покромкам расчеты-то пригнать? — шутливо спросил он.

— Обоюдное бы дело! Мы для вас радели, а вы об нас!..

— Сколько кто хочет, столько и дать, а? Так, что ли? — снова спросил он.

— Обрадовали бы...

— Знаю, знаю!.. И сам знаю, молодцы, — обратился он к толпе, — что обрадовал бы вас, да не моя воля... Не я хозяин, вы наших дел не знаете! Я ведь и сам понимаю, что если ты... ну, как, бишь, тебя, Еж, что ли?

— Еж... так точно-с!

— Ну, ты, например, взял бродни из цейхгауза... они стоят рубль...

— По ихним качествам, Василий Никитич, вся им цена — тьфу!

— А знаешь ли, что, по справедливости-то, я должен бы ставить их в счет три рубля. Мне так и конкурс приказывает, а я ставлю их в два, — на свой счет рубль принимаю, чтоб только вас не обидеть! Так сколько же этаких-то рублей у меня из кармана выходит?

— Не наше дело хозяйский расчет вести! — послышалось из толпы.

— У хозяев и карман-то, Василий Никитич, толще вековой сосны: есть из чего и к нашему брату снизойти!.. — серьезно произнес Еж.

— У них тыщи, — снова заговорили в толпе, — а у нас крохи: у них лишнюю тыщу попрясти — горе берет, а у нас последнюю кроху отбирают!

— Сказано, что к ихней совести правда, что к сухой лопате песок, не пристанет! Вот ты бы, Василь Никитич, сам поробил, так проведал бы, каково оно! И ты бы заговорил, как у тебя стали бы твое-то добро обкраивать!

— Это кто там говорит? покажись-ка сюда!.. — произнес, побагровев, Кудряшев.

— Кто бы ни говорил там, а ты знай слушай, да мотай на ус!

Нижняя губа Василия Никитича дрогнула, рука, сжавшаяся в кулак, уперлась в решетку, как бы ища опоры.

— Оно точно, Василь Никитич, — снова вступился Еж, — по вашим словам хозяевам расход большой, только, на мой бы ум, за плевые вещи им бы и убыгчиться не след, и мужиков бы не зорить. Лонского году торгующий завез было сюда товары, так ваша же милость приказали его выпроводить, а он не в пример дешевле брал! Тогда бы, значит, и нам бы льгота, и хозяину без разоренья! — с иронией заключил он, смотря на смущенное неожиданным аргументом его лицо Василия Никитича. — Вот он, зипунчик-то, за лето-то, изволите видеть, окромя как на невод, никуда непригож, а тоже 15 рубликов поставили, а ему и вся-то цена, с лихвой бы — пять!

— Зачем же брал, если он дурен и дорог? Ведь не навязывали силой!

— Оно точно! Да ведь хоша народ мы и теплый, а все своя-то овчина не греет... Холодно, и плачешь, да берешь.

— А сгорелся, так и хозяйский зипун показался дорог и худ?

— Да от него сгореву-то немного видали, Василь Никитич. Только слава, што на плечах зипун, а все более из своей же каменки пару в кулаки подавали. Так уж будьте по-божески, не обидьте сирот, спустите ценки-то! Лишняя сотенка хозяйского кармана не натрудит, а бедному человеку помога. Ноне же на золотце-то урожай бог послал, а хозяевам-то заручка через наши же ручки плывет!.. У пут-

ного хозяина, Василь Никитич, сказывают, и скотина хворает, так уход видит; а ведь мы тоже божье творенье, уж снизойдите, не вычитайте хворых-то дней из платы! Навек ведь мы богомольцы за вас!

— Прежде чем говорить-то бы все это, ребята, да бунт-то затевать, — спросили бы, могу ли я еще спустить цены-то? Разве мое добро, разве я хозяин ему? Кого спросят, какое я имел право самовольно распорядиться чужим добром, вас или меня, а?..

— Известно вас, это точно-с!

— А-а-а!.. А что же я должен буду ответить на это?..

— Не мне бы вашу милость учить, да уж коли приказываете, поперек воли начальства не пойдем! Ответьте, ваше почтение, что я, мол, не скарпотский Ирод, и у меня, мол, душа есть! Э-э-эх, ваше почтение, Василь Никитич! привел бы вам бог на наших-то кормах денечек побыть, так поосунулись бы, румянчик-то с личика — что девичья притирка — к ночи бы пообблез! От одного битья-то вашего не одна спинка погодку чует. Много православных за нонешнее лето вынесло на них зарубочек на память о вашем радении и добродетели к нам! Вот, Иван-то Малый совсем без ног, неси его теперь, как молоденца малого, в дом-то! Придет, что к пустому срубу, ни поесть, ни попреться! А вы и тут вычли все дни! Господи, да неуж к человеку у вас и жалости-то нету! Что ж, значит, и последний час кого настигнет и тут иди, робь! За мужика, ваше почтение, некому стоять; у него нет защитников, всякой только и норовит из его же овчинки шубу сшить, — так уж вы, ваше почтение, в свою-то речь хозяев не путайте. Мы тоже люди бывалые. Родились-то хоша и дураками, а знаем, что вы тут хозяин, в вашей воле все! Так уж рассчитайте вы нас по-божески, а без антого мы ноне и миром положили обратной дорожки в лесу не прокладывать!

— А-ай, Е-еж, ва-ажно! И ей-богу правда!.. — проносилось в колыхавшейся толпе все время, когда говорил он.

Положение Кудряшева было более чем жалко: он то бледнел, то краснел, но все-таки настолько владел собой, что сохранил веселое выражение в лице.

— Молодец, Еж! Молодец!.. Теперь вижу, что недаром тебя окрестили так, — шутливо ответил он, наконец, фамильярно потрепав Ежа по плечу через разделяющую их решетку.

— Он у нас парень, голой рукой не хватай, ваше почтение! — со смехом откликнулись в толпе.

— А задали вы мне, ребята, задачу! как и быть-то с вами! — задумчиво произнес Кудряшев. — Ну, я спущу цену, облегчу вас, — а что же хозяева на это скажут? Да у меня еще, молодцы, и денег-то нехватит!

— Неуж обнищали, ваше почтение?..

— В обрез, милые! Ведь нам хозяева-то присылают — не разгуляешься, а дай бог у нитки с ниткой концы сшесть!

— Свои потревожьте; хозяева вашу милость не обочтут! — с иронией ответил Еж.

— Свои!.. А ты считал в моем-то кармане?

— Мы, ваше почтение, и в своих-то отвыкли высчитывать, так уж нам ли чужой мерить, глубок аль мелок?

— И спроси прежде, еще есть ли свое-то?

— Полагать бы надоть...

— Почему ж... ну-ко?

— По приметам бы...

— Каким? Что на лбу написаны?

— По нашей, по мужичьей примете мы судим. На нашу сметку, ваше почтение, коли у человека денег нет, так он и ростом ровно пониже выглядит, и с лица будто темней! А человек с деньгой, не во гнев вашей милости, и белей, и румяней... и усмешка на алых устах, и живот, как у вашей же милости!

— Ну, так вот что, молодцы, слушайте, — обратился к толпе управляющий.

Толпа стихла и сдвинулась к решетке, надавив на передние ряды.

— Так и быть, исполню вашу просьбу: спущу вам по рублю... довольны ли?..

— Обрадовал, ха-ха-ха... ну-у! — прокатилось в толпе. — На помин по душе хватит!

— Ну, поскольку же, наконец?

— Самонастоящую хозяйску ценку прикиньте, будьте милостивы!.. а рублик-то мы уж на расходы жертвуем, будто как хозяйские убытки прикрыть...

— Не мелко же ты забрел, любезный!

— В глыбком месте более простору, ваше почтение, по крайности, есть где поплавать, ручки, ножки расправить.

— Не могу! — решительно ответил управляющий.

— Ва-аше почтение!

— И не просите, не могу! Что можно сделать, то сделаю по совести. А больше не просите!

— Ах, ваше почтение, на все бы власть ваша, да уж коли вы не можете, — что ж, и мы свое слово колышками подопрем!..

— Слово... какое слово?

— Обратной дорожки в лесу не протаптывать!..

— Силой хотите принудить, что ли?

— Силой-то и детеныш у матки молока не выпросит, а все более лаской, ваше почтение! Мы с доброго слова просим!

— Вы одумайтесь, чего вы просите!.. — прервал его взволнованным голосом Василий Никитич.

— Одумайся-ко ты, ваше почтение! — выдвинувшись к решетке, произнес Фрол Иванович. — Наша-то дума надумана!

По лицу Василия Никитича внезапно пробежало веселое настроение. Он широко улыбнулся, раскрыл глаза, в которых просвечивалась лукавая насмешка.

— Ну, что ж... ребята, как же, а? Хозяйские цены взять, что ли, а?.. — весело спросил вдруг он, — а?.. обрадовать...

— Истинно, ваша милость! То-вось, ах, как обрадуете!

— А надброс-то ваш брать, а? — заигрывающим голосом продолжал он.

— Рублик-то-с?

— Ха... ха... ну, ну, что делать! — обратился он к конторщику. — Уважим им, Николай Дмитрич! На будущий год, может быть, и они нам за это горы разгребут! Так, молодцы, что ль?

— Озолотим!.. — почти в голос ответила толпа.

Более прозорливому наблюдателю невольно бы бросились в глаза и внезапная беспричинная веселость, неподдельно выразившаяся в лице Василия Никитича, и уступчивость этого человека, за минуту еще упорно стоявшего на своем. Все это неминуемо породило бы сомнение в справедливости его слов. Но не таков был стоявший перед ним простодушный, доверчивый народ, принимавший всякое слово за чистую монету. Только конторщик догадался, что Василь Никитич задумал что-то, да в уме Ежа мелькнуло недоверие.

— Значит, ваше почтение, по хозяйским ценам рассчитываете нас? — спросил он.

— Ведь я сказал! Чего ж еще?

— И у больных не вычтете? — тем же тоном спросил он, пытливо и недоверчиво смотря в глаза его.

— Я, братец, не привык обманывать! Понимаешь?

— Пошли вам господи!.. Простите, что пообидели...

— Вот это дело! Наговорить-то, ребята, вы много наговорили мне. Особливо вот ты, братец, напел! — обратился он к Ежу; — не злопамятен я, всегда готов для человека добро сделать!..

— Простите, коли лишнее что сгрубил, ваше почтение!..

— Я добрый, ребята!

— Ужо уж при получке похвалим, ваше почтение!..

— Ну, получку-то, молодцы, вам все-таки подождать нужно. Ведь вас 150 человек, перецелать-то все расчеты не легко; дня три-четыре нужно. А теперь, за то, что поладили делом — так и быть, уж распорядись, Николай Дмитрич, выдать им по чарке водки!

И заликовал приписк после поднесенной чарки водки, зашумел в бараках говор, полились и веселые песни, и не было счета благословениям и похвалам из простодушных уст добродетельному Василию Никитичу, который, через час после этой сцены, послал донесение о бунте рабочих с надежным верховым конюхом горному исправнику, резиденция которого находилась в 80 верстах от этого приписка.

Через двое суток на прииск прискакал исправник, в сопровождении конвоя казаков. Следствие о беспорядках было непродолжительно. Главные зачинщики: Еж, Фрол Иваныч и Памфил Карпыч были отправлены в Т... острог, остальные, под конвоем, препровождены обычным порядком.

Не прошло и полугода, как Фрол Иваныч и Памфил Карпыч, оставленные по приговору судебного места в подозрении, были выпущены из острога без всяких последствий. Старик Фрол не покинул Ежа до самого решения дела. Пропитываясь милостыней, он оделял его деньгами и утешал теплым словом. Ежедневно, во всякую погоду, можно было встретить его идущим в острог или со связкой крендельков в руках, или с булкой и с туяском молока. С искренними слезами горя на глазах он проводил его по широкой дорожке, проторенной не колесом, не копытом, а людским горем...

Н. И. Наумов

Деревенский торгаш

(Предпраздничные сцены)

Накануне первого августа, Спасова дня, называемого у пчеловодов медовым Спасом, с раннего утра в нижнем этаже высокого деревянного дома, покосившегося от времени на сторону, раскрылось широкое окно со спускным ставнем, заменяющим прилавок в небольших лавочках, устраиваемых в домах. Лавочка, в которую хлынули теплые лучи солнца, была необширна и, как все деревенские лавочки, не отличалась ни обилием товара, ни щегольством обстановки. На шесте, прикрепленном к потолку, развешаны были полушелковые ленты, бумажные опояски, женские платки, кожаные рукавицы, бродни, чарки, шапки и поярковые и войлочные шляпы. На полках, вколоченных в стены, в деревянных ящиках с надписью «карамель» виднелись изюм, каленые кедровые орехи и различных форм пряники, до того высохшие от времени, что и зубы простолюдина, не знающие порчи, с трудом разжевывали их. Вдоль стен гирляндами висели связки подобного же достоинства баранок и кренделков рядом с нанизанными на веревочках медными бляхами, кольцами и разною мелочью, начиная от увесистого замка и кончая ружейной отверткой и пучками щетины для дратвы. Против окна, на самом видном месте, для соблазна девиц и молодых женщин, были выставлены в ящике под стеклом бронзовые серьги с стеклянными подвесками, выдаваемыми при продаже за самоцветные камни, посеребренные массивные перстни и кольца с надписями внутри их: «Я твая фартуна», «Самной надеш любовь па гроп», «Ни таскуй ни гарюй пака я с табой» и т. п., какими обильно снабжает обширную Русь — вместе с самоварами, кремневыми винтовками и дробовиками — промышленная Тула. В этом же ящике лежали истертые в порошок свинцовые белила, тонкие плиточки разноцветных мыл и банки с помадой фабрики г. Мусатова, утратившей за давностью всякий букет, кроме сального. Вот и все, что привлекало внимание при взгляде во внутренность лавочки.

Но всего рельефнее бросилась бы в глаза любопытному выдающаяся из окна ее, как из рамы, наружность владельца лавочки — человека пожилых лет, с пухлою белою физиономией, какими преимущественно отличаются люди, торгующие по купеческим свидетельствам. Узенькие заплывшие глаза его ярко светились из-за густых русых бровей, всегда судорожно сжимавшихся у переносья, когда на толстых губах мелькала улыбка; в каждой черте этого лица, обрамленного красивой окладистой бородой, проглядывали самоуверенная ирония и то мелочное и, если можно так выразиться, трошевое лукавство, составляющее особую типичную черту торгашей и барышников.

Прохор Игнатьич Белкин, по-уличному называемый «Петлей», лет за шесть или за семь до описываемого мною времени выселился из г. Кузнецка в село Локти и открыл в нем лавочку, с которой мы только что познакомились. Как человек сметливый, имевший некогда лабаз в городе, он скоро освоился с характером сельского населения и с чувствительными местами окружающих его экономических условий и в короткое время не только для Локтей, где купил дом и завелся прочным оседлым хозяйством, но и для окрестных сел и деревень сумел сделаться самою насущною не-

обходимостью. Он скупал у крестьян, пользуясь постоянною нуждою их в деньгах, по мелочам мед, воск, хлеб и другие продукты, какими богат Кузнецкий округ; брал и скот, задавал деньги инородцам под зимний улов зверя и ежегодно по первому зимнему пути отправлял купленный по мелочам и за бесценок товар значительными обозами в Томск, где продавал с тройной выгодой. Давал он и деньги в ссуду застигнутым какою-нибудь крайностью крестьянам: приезжали ли, например, волостные чины за сбором податей — угрожаемые розгами в случае неуплаты денег неимущие шли к нему; падал ли у кого скот — он не отказывал просителю в деньгах на покупку нового, но только облагодетельствованные мужички долго потом не могли оправиться от его обязательной ссуды и не мало дивились, почесывая затылки, нарастающим процентам, хотя предусмотрительный Прохор Игнатьич всегда умалчивал о них при ссуде.

И в несколько лет небольшой вывезенный им капиталец, благодаря подобному ведению дел, возрос до значительного, а с расширением оптовых операций Прохор Игнатьич и не сидел уже в лавочке, предоставляя мелочную торговлю супруге своей. Но накануне Спаса, храмового с'езжего праздника в Локтях, он, усердно перекрестившись на все четыре стороны, сам открыл окно или прилавок и сидел в ожидании не покупателей, а более продавцов своего товара из нужды в деньгах ради праздника; а что они будут, он знал по опыту предшествовавших лет.

. . . . . .

Не напрасно сидел Прохор Игнатьич: к его прилавку, едва открылся он, подходили один за другим и покупатели и продавцы; с неизменной улыбочкой он выхвалял одним свой товар и принимал от других под залог или вместо денег приносимую ими живность и вещи. С каждым он находил о чем поговорить, а если пришедший был проще других, то не отказывал себе в удовольствии и подшутить над простотою его.

— Отдавай мед-то по три за пуд, а? — уговаривал он пожилого крестьянина в ситцевой, густо пропотевшей на спине рубахе, стоявшего у прилавка.

— Божий ты человек, ведь мед-то восемь рублев пуд, суди-ко, — ответил он болезненно-ноющим голосом. — Проезжающий ноне сказывал: береги, говорит, в цене мед-то!..

— Ну, коли в цене, то мне не надоть!..

— Прохор Игнатьич... и ей-богу... мне бы всего три рублика, сделл... милость, по гроб-бо!..

— Отдавай мед — ссужу.

— Убытошно, родимый, положь хошь по шести-то?

— Убытошно-то, убытошно — это чего говорить, да и деньги-то ноне на полу не валяются! — ответил Прохор Игнатьич тоном, в котором звучно задребезжала нота: «убыточно, а все-таки от нужды отдашь!»

Понял эту ноту и мужичок и молча почесал затылок.

— А-ах, убыток! — произнес он после минутного раздумья. — Положь хошь по пяти-то с полтиной, а? — робко спросил он, глядя на него заискивающим расположения взглядом, какой невольно свойствен бедняку, поставленному в безвыходную зависимость от богатого и сильного человека.

— Есь ли шляпы-то? — спросил в это время, подходя к прилавку и здороваясь с Прохором Игнатьичем, крестьянин средних лет, с добродушно-наивным выражением в плоском лице, обрамленном рыжею бородою. — Купил нонись в городе, да прорвалась, братец, а праздник!..

Прохор Игнатьич молча сдернул с полки и подал ему три поярковых шляпы.

— Отдаешь, што ли? — обратился он к первому, пока вновь пришедший примеривал шляпы, осматривая и тульи, и поля их к свету.

— Убыток!..

— А ты бы подороже хотел, ась? При нуже-то, брат, с лихвой не продашь: куды хошь поди!

— А што, к примеру, за эфтакую снасть? — улыбаясь и потряхивая на голове надетой шляпой, спросил покупатель.

— С другого бы полтину, а с тебя семь гривен! — ответил он, не глядя на него.

— Ох, ешь те мухи!.. За какие провины?

— На то шляпа! Таперича, коли ты в эфтакой шляпе, то, знаешь, все девки засмотрятся...

— Оно бы... и-и... на руку, да баба-то у меня...

— С полымя рвет?

— Ржа... Ну, полтину-то, кругля счет, а? — спросил он, снимая ее и снова осматривая к свету.

— Не по пути ездишь — ободья сотрешь... Меньше семи таперича эфтакой шляны и в городе не купишь, потому, видишь, и фабрикант, если тебе растолковать... первеющий, одно слово, сорт-шляпа: гляди!.. — говорил он, указывая ему на приклеенный внутри шляпы ярлычок.

— Полтина-то с пятаком за глаза бы, а?..

— С тобой на полтину-то одного разговору израсходуешь!..

— Прохор Игнатч! сделл... милость... не держи; и, ей-богу, нужа! — ноющим голосом прервал его первый.

— Нешто ты привязан? Отдавай мед, и деньги в руки: чего ныть-то?

— Бог с тобой!..

— Вестимо, без бога куда бы? — тварь и та его славословит. А гумашка-то так и просится к тебе: а-а-а-а!.. погляди-ко!.. — проговорил он, помахивая перед глазами трехрублевой ассигнацией, незаметно вынутой им из ящика.

Вскользь посмотрев на нее, мужик отвел глаза в сторону.

— Новенькая, а-ах! Куй ее, Ваня... хруст-то один дороже денег... да ты погляди, небось... не укусит ведь!.. — смеясь, уговаривал он мужичка, из груди которого вырвался вместо ответа глубокий вздох.

— Народ-то ноне, а?.. И от денег в отпор!.. — заметил, тряхнув головой, покупатель шляпы.

— Народ ноне за-а-носа: спеси, што грибов весной!..

— Так сколько, бишь, тебе за шляпу-то, ась?..

— Сказано, семь!..

— Во-о!.. и шесть-то по суседству — харч добрый!.. — загибая полу армяка и доставая кожаный кисет с медными кольцами на длинных ремнях, спросил он.

— С которого ты боку сусед-то мне?

— Э!.. Нешто не в одной поскотине-то?...

— Ну, экого пригульного-то живота, как ты, в суседи-то много найдется, только распахни карман!.. — ответил он, пересчитывая поданные тем деньги; — а гривна-то где?..

— Какая?.. — с удивлением спросил тот.

— Ты шесть только дал...

— Неуж... а-а?.. обчелся...

— Знаем мы, как вы обсчитываетесь! Давай... давай!

— Будет, поди, шести-то, а?

— Ну, ну, нечего... молод фигуры-то подводить... допрежь у попадьи научись... как с чужих горшков сметану снимать... вываливай-ко!..

— Я бы того... ей-богу, слышь, донесу опосля...

— О-о... штоб тебе... купит на грош, да на рубь наломается... подавай шляпу... рылом ишшо не вышел носить их.

— И жадный же... у-ух!.. — произнес мужик, снова доставая кисет и отсчитывая ему недоданную гривну.

— Вот и учись оболванивать-то!.. — начал Прохор Игнатьич, опуская деньги в ящик: — шляна-то всего сорок копеек стоит, а ты семь гривен дал: э-эх, наземный дворянин!..

— Соро-ок?.. — удивленно спросил мужик.

— И ей-богу, ха-ха-ха!..

— Врешь? — с выражением мучительного беспокойства снова спросил тот.

Но Прохор Игнатьич залился уже звонким дребезжащим хохотом; даже на унылом лице крестьянина, продававшего мед, мелькнуло что-то вроде улыбки.

— Дру-у-г, неуж взаболь?.. — снова обратился он к Прохору Игнатьичу, когда взрыв хохота его стих и только по временам вылетали оторванные, однозвучные всхлипывания.

— Тут так и друг, а-а... спужался... — снова ответил он, отирая с глаз слезы, вызванные смехом.

— Спужался, и ей-богу!.. наживная копейка-то, и то Федору Силичу корову запродал. Оно шутка, што ль, ни за што отдать? три гривны... накла-адно!.. хе...

де-еньги!.. — говорил он, отходя от прилавка с надетой на голове шляпой и, видимо, повеселев.

— Будь ты по-божески, Прохор Игнатч! — приступил по уходе его мужичок, продававший мед. — Дай хошь по пяти-то с полтиной... не зори для праздника.

— Не струна, болезный!.. — с жалостью в голосе ответил ему Прохор Игнатьич и пристально посмотрел на пожилого крестьянина, подошедшего к прилавку и молча облокотившегося на него.

— Неуж ты по четыре пуд хошь?

— Нужа, так и по три отдашь!..

— Сдел... милость... надбавь хошь рублик-то... для робяток-то малых...

— Не фартуна, товарищ!..

— А-ах, бог с тобой!.. — ответил тот надорванным голосом, всплеснув руками по бедрам, и через мгновение, как будто машинально приняв из рук Прохора Игнатьича новенькую трехрублевку, соблазнительно мелькнувшую перед его глазами, долго и пристально всматривался в нее, как бы вникая в смысл скрытой в ней силы.

— Так и думал, што ты с деньгами придешь: левая ладонь иззудилась... што, мол, за грех? никак Митрофан придет!.. — прищурившись, обратился Прохор Игнатьич-ко вновь пришедшему, пока продавший мед мужичок, завернув в тряпицу бумажку, положил ее за пазуху и, не поклонившись своему благодетелю, отошел от прилавка.

— Нету, друг!.. — ответил Митрофан.

— А ты, помнится, к Спасу сулил отдать, а?..

— Прогорел... не сбился с деньгами-то... обожди: ужо я тебе первому; сам, тонись, без рубахи буду, а тебе отдам! Не купишь ли нетель?

— Большая?

— Полуторник!..

— Што ж... коли ценой выйдет, можно!

— От хорошей коровы-то: другому бы и не продал; и баба-то на племя хотела оставить, да нужа, нужа, друг, совсем заела; рубля два дашь?

— Веди!..

— Добрая нетель-то!

— Веди, веди: пощупаем...

Митрофан еще что-то хотел сказать, но только тряхнул головой и побежал вдоль улицы. По уходе его Прохор Игнатьич достал из простеночного шкафа толстую книгу в кожаном, истрепавшемся от времени переплете, исписанную гвоздеобразными буквами и цифрами, выраставшими для крестьян в неоплатные долги. Надев круглые очки в медной оправе, он медленно перелистывал ее. К прилавку подошла девушка в простой холщевой рубахе и юбке, с красным платком, повязанным на голове, концы которого, падая на полную грудь, прикрывали ее.

— А-а, Марьюшка,.. не путем ли дорожкой? — встретил он, протягивая ей руку.

Она стыдливо потупилась.

— Спеси-ива... ну, ну, не стыдись... Я ведь расхожий мужик-то... — и он щипнул ее около одного из концов платка.

Закрасневшись еще сильнее, девушка отодвинулась от прилавка, прикрыв грудь руками.

— Хе-хе-хе!.. — слезящиеся глаза Прохора Игнатьича впились в нее. — Перстенек, што ль? — спросил он.

— Чайку бабушка просила!.. — тихо ответила она.

— Золотничок, небось... да сахару на приглядку, а? А перстенек-то... глянь-ко... а-ах, распори его вилами, ж-жа-ар!.. — вынув один из перстней и повертев им перед глазами, говорил он, — купи!

— На какие деньги-то? — тихо спросила она.

— Эфтакой крале можно и в долг поверить: не пропадет... — и он подмигнул ей, — подарить, а?

— Не надоть!.. — искоса взглянув на него, прошептала она.

— Того бы, а? А перстенек-то, а-ах!.. Да ты не бойсь: поквитались бы!.. што стар-то... да ты не брезгуй... бородой-то не колет... иной старый-то лучше молодого... а?.. — и он залился сиплым, грязным хохотом.

Окончательно сконфуженная девушка закрыла лицо концами платка.

— И как ни взглянешь на Прохора, все-то он с девками!.. — шутливо произнес подошедший крестьянин с новой сыромятной сбруей на плече, украшенной кольцами и бляхами.

— Не с тобой же язык точить? — желчно отозвался он, пряча перстень в ящик и снимая весы, подвешенные к потолку за одну из цепей.

— Копейка-то в недоимку пойдет, а? — спросил он у Марьи, принимая положенный ею на прилавок медный пятак.

— Я скажу ужо бабушке!..

— Скажи, штоб она напредки глаза-то гущей протирала... не в первой берет, знает цену-то! А ты куды это со сбруей-то? — спросил он крестьянина, когда, подобрав сверток с чаем, девушка ушла.

— К тебе... авось, думаю, рублик дашь!..

— Што мало? — спросил он, пристально осмотрев сбрую.

— Будет!..

— Проси боле, не робей!.. В Москве не бывал?

— Нет!

— С'езди!..

— Зачем?

— Науку произойдешь... там, слыхать, толсто куют, да тонко носится; тогды уж и приходи в долг под сбрую просить, оболванишь!..

— Ты ремни-то огляди: кто тебя оболванит? Неуж не стоит рубля-то? — вытягивая перед ним длинные, упругие ремни ее, говорил он, — одной меди-то на рубь будет: чего боишься? отдам!..

— Я вашу-то отдачу давно уж на воде мылом записываю; ноне у меня другие порядки...

— О-о!..

— Так точно!..

— Никак к меду приговариваешься!..

— Неси: отведаем!..

— Меда у меня, то-ись... язык проглотишь...

— Небойсь... он у нас крепко привязан!..

— Так не берешь сбруи-то, а?

— К зиме приноси; две гривны дам!...

— За экую-то сбрую две гривны, а?.. Фю-ю-ю!.. видать тоже, московский-то трахт топтал, — говорил он, отходя от прилавка, но, дойдя до середины улицы, остановился. Крестьяне, выметавшие улицы, криками и хохотом встретили в это время Митрофана, который вел телку; конец веревки был обвязан узлом на шее. Упиравшаяся телка, с ревом прыгая в стороны, мотала головой, стараясь высвободить голову и увлекая за собой своего вожатого. Едва он подтащил ее к воротам, Прохор Игнатьич спустил ставень и вышел во двор.

— Ну, и божья скотинка, упарила!.. — снимая теплую шапку и отирая крупный пот со лба полой рубахи, говорил он, не выпуская все-таки из рук конца веревки, между тем как Прохор Игнатьич, подойдя к телке, осматривал ее, щупая у нее конец хвоста и выпуклости на лбу.

— Веди в стайку!.. — сказал он, видимо оставшись доволен осмотром ее, и, войдя в лавку, спустил прилавок, около которого стоял уже закладчик сбруи.

— Почем ты меда-то берешь? — спросил он, едва Прохор Игнатьич укрепил на крючья спущенный прилавок.

— Ню меду и цена, милый друг... разговор один... — с улыбкой ответил он.

— Сле-зница мед-то!..

— И слеза-то, друг, разная бывает: ино дело девичьи, ино — мужичьи; каков на скус?.. Скажи-ко...

— Отменный!.. Верь... для тебя только за восемь рублев пуд отдам!..

— А-а!.. видать, што сладкой!.. — с иронией произнес Прохор Игнатьич, пристально смотря на него.

— Сластена! Говорю, язык проглотишь...

— Не носи, коли так...

— О-о!... што ж?..

— Боюсь за язык... и в самом деле, этак с'ешь его и не услышишь, а наше де-

ло — торговое: куды пойдешь без языка?.. Уж подожду какого ни на есть подешевле... этак рублика в три!..

— В три-и?.. Да где ты эвого возьмешь?.. — с удивлением спросил мужик.

— Деревня-то велика и праздник-то завтра не малый: кто ни на есть и наверпется; а ты сбегай-ка к Захарке, спроси, за какую цену он мне мед-то продал, а его меда лучше твоих и мужик-то он на вид показистей тебя... — прищурившись, с насмешкой в голосе говорил Прохор Игнатьич.

— Это Захарка-то?.. — обидчиво спросил тот.

— Захарка!... У него одного ума в беремя не обхватишь!..

— У Захарки-то?...

— У Захарки. С ним таперича и дела вольготно вести: не ломается, все порядки знает; таперича супротив Захаркиных медов во всем околотке не найдешь!..

— А-а!.. — с обидчивой в свою очередь иронией протянул тот.

— Верное слово... и то он по три рубля пуд отдал, а твои-то меда я знаю!..

— Худые нешто? — с сарказмом спросил он.

— Окромя тьфу... и речи не найдешь!.. одного сору не оберешься!..

— О-о!.. Гляди ж!..

— Так точно... твой мед супротив Захаркина што деготь супротив божьей росы, а тоже восемь рублев за пуд ломишь, хе-хе-хе... Смешной ты человек, с которого боку ни посмотри на тебя!..

— Это я-то?.. — конфузливо взглянув на него, спросил мужик.

— Окромя тебя кому ж за хвасню в побасенку войти!..

— А ты знаешь, што мой мед таперича настоящий липовый, а Захаркин со всякой травы, а?.. — вдруг весь вспыхнув и от внутреннего волнения вскинув шапку на затылок, спросил он, задетый за живую струну своего самолюбия. — Штобы это таперича мой мед да хуже Захаркина!.. — с расстановкой повторил он. — Сто-о-ой!.. Хошь об заклад? Я те такого меду пуд принесу, што твоему Захарке от завиди лопнуть, а? — решительно спросил мужик, протягивая ему руку.

— Неси, отведаем!..

— Пропадай и цена, коли на то пошло .. штобы таперича мои меда да хуже Захаркиных, а? Да ты с мово меду-то пальцы оближешь: вот што-о!.. — говорил он, возвышая голос от экстаза, в который постепенно входил.

— Неси, неси: посмотрим — оближем аль нет!.. — насмешливо подстрекал его Прохор Игнатьич.

— Не-ет... Я те за три-то рубля меду дам — язык проглотишь... Захарка... хе... наше-о-ол!.. Мой-то пасек исконный, а его — без году неделя, да штобы его меда лучше моих.. погоди-и-и!

— Ты неси наперво, а потом уж кудахтай... што яичко снес... Слышь?..

— Принесе-о-ом!.. Штобы Захарка... Сто-о-й!..

Но Прохор Игнатьич вместо ответа залился своим дребезжащим хохотом, которого, впрочем, оскорбленный пчеловод, повидимому, не слыхал. Весь поглощенный мыслью об унизительном сравнении, он, бессознательно поправив шапку на голове, отошел от прилавка, бормоча: — подожди-и... я ужо!..

— Видал дураков?.. — произнес вслед ему Прохор Игнатьич, обратившись к Митрофану, который давно стоял поодаль от окна, терпеливо прижавшись к стене.

— На миру-то чего не увидишь! — уклончиво ответил он, подходя к прилавку.

— Принесет!.. даром отдаст, только похвали... за-адорный!.. — и Прохор Игнатьич снова заколыхался от смеха. — О-ох, горе с этими деньгами: только творение бессловесное не стяжает!.. — со вздохом произнес он вдруг после непродолжительной паузы, облокотившись всем корпусом на прилавок; но в глазах его сверкнула совершенно противоположная его философскому настроению мысль. — И ты, поди, вот денег ждешь, а по моему счету никак с тебя доводится, а?..

— Прохор Игнатьич!.. — испуганно проговорил Митрофан, — обожди, сердешный!..

— Но докедова ждать-то, милый! Денежка, што корова, уход любит: раз не подой ее во-время, да другой, да в третий, так и с молоком простись, — доставая знакомую уж нам книгу в кожаном переплете, повторил он. — Ты к святой пять рублев брал — сулил к лету отдать, да в июле два рубля на подать с посулой к спасу принести?..

— Не справился... верь!..

— Об этом разговор опосля пойдет!.. — прервал его Прохор Игнатьич, проложив с книги на больших счетах цифру семь рублей.

Митрофан молча с любопытством следил за ним.

— Ржи-то восемь пудов принес да льну два, почем кладешь пуд-то?..

— Рожь-то о ту пору с лишним три гривны была!..

— А лен?..

— Восемь гривенок положь за пуд-то, и то уж по знакомству будто, а то все бы с рублик надоть.

Прохор Игнатьич, быстро сделав расчет на счетах, сбросил с цифры семь два рубля.

— С рубь-то останется ли за мной? — спросил Митрофан.

— Поболе, друг.

— Откедова это так? — с изумлением спросил он.

— На то счет... Складывай по пальцам. Брал ты у меня семь рублей.

— Семь!..

— По пятнадцати копеек пуд ржи — сколь!.. Рубь двадцать?

— По пятнадцати-и-и... Што ты, што ты кладешь это? — с удивлением произнес он.

— Ну, сбросим, коль много!..

— И тридцать-то в убыток... Андели с тобой!

— Убыток, а-а!..

— Слезный... и ей-богу... ведь и тридцать-то уж я по знакомству тебе отдаю!..

— Значит, ты свою линию соблюдаешь?.. Подавай деньги начисто... и весь расчет в эфтом!..

— Прохор Игнатьич... што ж это?.. А-ах, ты, господи!... По пятнадцати копеек пудовка ржи... есть ли бог-то у тебя?.. Слыхали ли, добрые люди?... — всплеснув руками, обратился он к улице; но улица была совершенно пуста и из добрых людей, знакомых с порядками Прохора Игнатьича, никого не было на ней.

Прохор Игнатьич тем временем спокойно закрыл книгу и, нетерпеливо положив ее в шкаф, возвратился к прилавку...

— Не напасть ли это?.. Уважь хоть для праздника-то, родимый!..

— Сущее безобразие! Таперича, возьми нечисть — свинью, и у той есть амбиция... тьфу-у... — и он желчно плюнул, — што ты жалобишься-то, а?.. Где болит?

— Как не болеть?.. За што ты зоришь?.. — и в надорванном голосе Митрофана послышались слезы.

— Кто кланялся... когда деньги брал — ты, аль я? Возьми-де: карманы трут, а?..

— Нужа — так не токма поклонишься, слезами всплакнешь!..

— Э!.. А как ты таперича касательно, то-ись, своего ума... твои это деньги, аль чьи?..

— Твои, кто говорит!.. так я... тово...

— Мои-и-и!... а-а?... значит, ты мне их в карман не клал?..

— Из каких достатков-то по чужим карманам свое добро совать? И своих бы дыр... досыта... добра-то нет, а прорех-то много!..

— Послушать, какую ты мне отповедь скажешь, к примеру, на эфтакую причту: взял бы я, значит, у тебя семь рублев да опосля бы того и заны-ыл: Митрофан Василич, так и так, мол... сердешный друг мой о пяти копытах, есть промеж нас счет, сиречь недоимочка: сем-ко, принесу я те восемь пудов ржи да два пуда ленку, да комолую телку без хвоста в придачу...

— К примеру, што ж?.. — прервал тот.

— К примеру-то мы причту гоним: распахни уши-то... на то и вырастил с капустный лист, и трахтую бы: рожь-то, мол, ты бери по три гривны, потому, значит, мне такая линия, лен-то бы по знакомству без мало рубь, а уж телку-то, хошь и красная цена ей восемь гривен, ну да для тебя будто за два рубля отдаю, а остальное, значит, в отвиляе месяце, што в одном году с Касьяном живет, счет сведем, а на том свете расплатимся. Нутко-сь, размахни умом-то, разумом!... а?

— Што ж? По душе, значит!..

— Чего?..

— К примеру, чего говорил-то!..

— А што я говорил-то, оповести?..

— Ну, значит, што ж? пошто не подождать к примеру, если бы и того... неровен час, все под богом!... — с расстановкой отвечал он.

— Фатюй ты, фатюй, вся, то-ись, и цена-то тебе вытертый грош!.. Не обида ли таперича с вами, дураками, дело вести, а?.. Ну, какое у вас есть понятие касательно уважения за добро, а?.. И ума в обиду бог дал, а все норовите под свой ноготь!.. И вот тебе мое последнее слово: или подавай деньги, или подь с богом и не знай меня, слышал?.. — резко-визгливым тоном произнес в заключение Прохор Игнатьич.

— Грабь, грабь, твоя воля!.. — со вздохом ответил Митрофан.

— Што-о?..

— Грабь, говорю, хватай на гроб, авось с грабежу-то горой раздует!.. Петля — так петля и есть: дави мир-то на свою душу, грабитель!..

— А-а!.. сто-ой... — и Прохор Игнатьич, весь позеленев, быстро спустил ставень и, выскочив из лавки, побежал к воротам; но когда он отворил калитку, Митрофан, сорвавший свое горе бранью, поспешно шагал уже в конце улицы. «А-а... вор, приде-е-ешь!..» — процедил он сквозь зубы вслед ему и, почесавши около пояса, с сердцем захлопнул калитку.

Прохору Игнатьичу не в первый раз приводилось слышать подобную оценку своей деятельности от бедняков, попавших в зависимость к нему. Но, сознавая свое превосходство над этим людом, стоявшим, по его понятиям, ниже всякой нечисти, он снисходительно относился и к брани их, зная, что нужда приведет оскорбителя с повинной к нему и даст ему случай в возмездие за оскорбление нажить лишний рубль. Прохор Игнатьич был человек практический, с своеобразно выработанными принципами и взглядами на социальные отношения.

— Таперича этот самый Митрошка, — говорил он спустя несколько времени после описанной нами сцены стоявшему у прилавка тщедушному и подслеповатому старику, выплакавшему у него рубль под будущий умолот хлеба, — придет и накланяется, и ей-богу, в ноги накланяется!..

— Накланяется!.. — прожевал в ответ старик.

— Ну, куда он пойдет таперича, коли за податью приедут, а?..

— Накланяется!.. — снова повторил старик.

— Крут я сердцем, дядя Василий, да одно горе — жалостлив; увижу, человек убивается — изнимет меня этакая самая жалость, и прощу...

— Как не взять жалости, особливо когда дерут...

— Это точно!

— Беда энто, как станут драть: вчуже сердце изноет!.. Прости же; дай бог тебе; я ужо, то-ись, беспременно.

— Не хвались до время: на посуле-то вы все — как на стуле!..

— То-ись, как смолочу, верное тебе слово. Я на отдачу легкой... но-очей не сплю, убиваюсь.

— Ну, ну, когды принесешь, тогды уж похвалим, а то неровен час... изурочим тебя, — с иронией ответил он кланявшемуся старику.

Всем приходящим Прохор Игнатьич рассказывал, только с различными вариациями, о неблагодарном поступке с ним Митрофана, назидательно добавляя в конце каждому просителю: «вот и делай добро вашему брату!» Только когда мужичок, приносивший сбрую, принес обещанный им мед в небольшой бадейке, Прохор Игнатьич почему-то умолчал перед ним о сцене с Митрофаном.

— И взаболь с медом, а-а!.. Грешный человек... думал, ты только хвасней мою душу тешил!.. — весело встретил его Прохор Игнатьич, — ну-ко, ну-ко: пожуем, каков он у тебя?..

— Отведай-ко!.. — ответил тот тоном человека, который чувствует, что и в нем имеют нужду, поставив на прилавок бадью и снимая с нее крышку. — Давай-ко ложку!..

— И пальцами живет..

— Давай; уж я знаю на што!..

— Ну-ну, возьми, побалуй: куда тебя девать-то!.. — и, взяв из большой чашки одну из новых деревянных ложек, он подал ему.

Зачерпнув из бадьи меду на ложку, тот поднял ее к свету высоко над бадьей, и чистый, прозрачный, как янтарь, мед свис с ложки в виде сталактита.

— Што-о-о?.. — горделиво спросил он, любуясь им; — сорный, ась?.. У Захарки, скажешь, такой же?..

— У всякого свой сорт, братец!..

— Такой же, што ль, ну-ко?..

— Энтот почище... чего говорить? И тебя похвалить надоть!..

— А-а!.. а ну-ко, поешь!..

— Закусим... ужо хлебца бы!

— Ешь, не разорвет; мед — слеза!..

— Сжога живет у меня со сластены-то!

— Е-ешь!.. не ломайся!.. — и, зачерпнув меду на ложку, он подал ему.

— Ин быть по-твоему!.. — и, перекрестившись, Прохор Игнатьич слизнул мед с ложки и медленно засмаковал его.

— Што-о? Не липа, а?..

— Скус... того... точно!.. — медленно и видимо с наслаждением глотая его, ответил Прохор Игнатьич.

— У Захарки, небось, энтакой же, ну-ко?..

— Што ты Захаркой-то мне в нос тычешь... энто, братец, значит, по сорту, таперича хоша бы всякий товар возьми; оно, выходит, и доброты одной, и цены одной, а потому только сорт!..

— Твоему Захарке... знаешь што, а?.. вот штоб мне лопнуть, с места вот штоб мне не сойти... экого меду в жизть не видать. Захарка, хе-е!.. Мой мед таперича в Бейске аль в Томске, да куды хошь поди, на том стою!.. За-ахарка!.. У меня заведенье-то, слава те, господи, отцовское; наша-то пчела таперича, если тебе сказать, какая она...

— А какая?.. — с иронией прервал Прохор Игнатьич, все время молча слушавший его.

— Какая?... то... то... наша-то пчела, знашь таперича, што...

— Пчела, как пчела!.. Известно, творение у всех одной масти...

— Одной!.. Нет, видать, не одно-ой... Наша-то пчела таперича, к примеру сказать, самая... апалитурная!.. А то у Захарки!.. Захарке-то до энтаких медов ишшо расти и расти надоть!..

— Э-эх ты-ы... Мартын малоперый! — качая головой, прервал его Прохор Игнатьич; — слушаю это я твой разговор и в толк не пойму единственно по неразумению!.. Мед, как мед, пчела, как пчела — и весь разговор; и никакой, тоись, особенности нет, окромя, значит, той, что у всех избы в шапках, а на твоей зимой и летом плешь!..

— Изба!.. ты на завод гляди!..

— Любопытно, где он?.. то-ись, в каком у тебя царстве... покажешь?.. из-под ручки гляну!..

— А пасек-то!.. нешто не завод?..

— Богатей!.. чего!.. трем-то бабам унести яи в подолах завод-то энтот, а?..

— Смейся-я-я! — обидчиво ответил он, весь покраснев.

— Слушать-то тошно!.. смерть это моя... как ваш брат ломаться начнет... тоись... вот, тьфу!.. и весь ты тут, а тоже; я-ста да мы-ста!.. Говори-ка лучше, што за пуд-то хошь... сулил по три отдать!.. За ценой не гнаться!

— Ка-а-ак?.. За экой-то мед такая цена?..

— Бери его с глаз!..

— О-о... што круто больно!..

— Бери, бери и глаз моих без пути не мозоль, ступай и с ним вместе... только мух нагнал... Товар опакостят!.. — желчно произнес он.

— Ты говори!..

— Даром-то зубы языком обивать ста-а-ану?.. Жди!.. Берешь три — и деньги возьми; нет — отваливай... разговор короткий!..

— Все ж поговорить надоть...

— Хвасно твою на уши мотать, што ль?..

— Как же оно так-то?.. Этак-то ты настоящую цену клади!..

— Говорил я тебе, аль нет?..

— Говорил... да эк-то, брат, накла-а-а-адно!..

— И поди с богом. Иного разговору не будет?

— Поторгуемся... не так же с ветру... зря, значит...

— Разговаривай... послушаем...

— Накла-а-а-адно... эк-то!.. и ей-богу!..

— Мы уж слышали это, а ты вот новое слово выдумай... попотей!..

— Какое ишшо слово?..

— Бери-ко бадью-то!.. Кишь вы... о-о. штоб вас, тьфу-у! В самый рот... а-а-а, нечисть!.. тьфу!.. — говорил он, отплевываясь от залетевшей в рот мухи и отмахивая их от усов, на которых налип мед. — Ну, што стоишь?.. Где зудится?.. — насмешливо спросил он.

— Нет, брат, эк-то станешь продавать свое добро, так век из дерюжной обуви не вылезешь, — с раздумьем произнес он, отводя свои глаза от насмешливого выражения Прохора Игнатьевича в сторону.

— Иного и сукна не наткано ишшо на кафтаны вашему брату... по той вере, што поколь свет стоит, мужику шелков не потребуется... так точно!.. А вот бери-ко бадейку-то, да и наше с кисточкой... никто за ворот не держит...

— Што ты гонишь-то? Дай одуматься!

— А чего тебе торчать-то без пути... Ведь хмелю у меня не растет, тычин не требуется, а на мой бы ум, коли цену дают, так и брал бы да брал, и меня бы в сердце не вводил, а то ведь... ой!.. смо-отри!.. и того не дам!.. — и он, прищурив глаза, с злою улыбкой посмотрел на него.

— Куды деться-то?.. — как бы про себя промолвил мужик, с раздумьем посмотрев в сторону и медленно почесывая в затылке.

— Про то и говорю: приде-ешь!..

— О-о-а-ах!.. горе одно!.. Ты подумай, каково оно!.. Ведь этот бы таперича мед в городе... сколь бы я выбрал, если б по фунтам, а? Да и пудом меньше десяти ни в жизть!..

— Кто ж те держит — и вези!.. Это от своей бы прибыли... да я б душу заклал!..

— Вези... хе-е!.. Когды уедешь, да когды приедешь, а што есть-то станешь?..

— Меду — целый завод, а чего есть, говорит. Сме-ешной ты человек... на диво! и ей-богу...

— Смейся-я!..

— И ей-богу, смешно... еда самая, то-ись... царю лучше не требуется, а ты неуж хлеба хошь?..

— А чего ж?..

— Хе!.. Забавный ты человек!.. хлеба захотел, так и отдавай — будешь с хлебом, а не хошь — медком пробавляйся!.. На-ко, на-а... ведь тебе не покажи царского-то обличья — год на одной половице протопчешься!.. — шутливо произнес он, вынув и помахивая перед ним, как и перед Захаром, трехрублевой ассигнацией.

— Ты с гривной говорил?.. — как-то вскользь заметил тот.

— Ах... чкни... тебя!.. А я думал, ты забыл про нее... ну, ну, так и быть, возьми и гривну!..

— А-а... Прохор Игнатыч, и горько, брат... да... и-ну... его!.. — со вздохом махнув рукой, произнес мужик, принимая деньги.

— Што?..

— Ничаво... ешь на здоровье!.. Бе-еда это наша жизть — робишь, робишь за лето-то; на руках мозоли нарастут, не разогнешь; три шкуры с рыла-то слезет, и ей-богу!.. А все без пути... так уж от бога што ль оно!..

— Верно!.. Потому предел... и не моги помышлением!.. — назидательно ответил Прохор Игнатьич.

— И все на чужой карман только и робишь, а сам, и ей-богу... хоть умри, а робишь, а-ах!.. Слезы говорить-то!.. — с жестами пояснил он, пряча бумажку в карман.

В это время раздался звон колокола ко всенощной и звучно прокатился по окрестности... Прохор Игнатьич молча набожно перекрестился три раза и спешно стал прибирать разбросанные гирьки, весы, счеты и мелкий товар, готовясь закрыть лавочку.

Продавец меда тоже перекрестился при звуке колокола.

— День-то не видаючи прошел!.. — заметил суетившийся Прохор Игнатьич, тон которого из дерзко насмешливого обратился в мягкий и благодушный, точно звон колокола имел смягчающее влияние на его натуру.

— Ноне день-то... покороче... — отозвался тот.

— Особливо в разговорах-то!.. Кому чего, а языку все работа!.. Струмент-то неломкий, а то бы за день-то, брат, на моем месте... сколь бы на починку вышло...

— Ты и языком робишь, да прибыльно!..

— Ну прибыль-то как бог даст, болезный: ноне торговля-то со всячинкой... того и гляди, подкуют... Около вашего-то брата ходи да оглядывайся!.. — ответил он, запирая ящик с выручкой, и опустил ключ в карман.

Не прошло и получаса, как Прохор Игнатьич, одетый в зипун тонкого черного сукна, опоясанный алым шелковым кушаком, степенно шел в церковь, вежливо отвечая на поклоны встречавшихся с ним крестьян. Дневные хлопоты в селе давно уже стихли; одетый по-праздничному люд семьями выходил из домов и спешил в церковь; каждый нес в руке свечу, отлитую из свежего воска. Изредка только из какой-нибудь избы еще доносился скрип косаря о сосновые половицы или в низеньком, раскрытом настежь от духоты окошке мелькала стройная, с роскошными упругими формами фигура девушки, только что вышедшей из бани и спешно переодевавшей чистую сорочку или заплетавшей длинную русую косу, которой бы от души позавидовали тщедушные обитательницы салонов.

Церковная паперть пестрела яркими костюмами теснившихся на ней богомольцев; из раскрытых окон церкви неслся ладон, далеко распространяя в свежем вечернем воздухе, напитанном ароматами скошенного на лугах сена, свой характерный запах, и среди общего безмолвия стройное церковное пение звонких детских голосов помимо воли порождало при этой обстановке какое-то теплое безыскусственное чувство. Только горькая сиротливая бедность, как бы стыдясь своих заплатанных азямов и шушунов, стояла поодаль у церковной ограды, и тихо мелькали тонкие зажженные свечи в руках их.

С закатом солнца кончилась всенощная и стихло село, чтобы проснуться до зари в светлый праздник. Но далеко за полночь виднелся свет в одном из окон дома Прохора Игнатьича, сводившего счеты дневной прибыли. По веселому лицу его и по руке, бойко бегавшей по косточкам счет, можно было догадаться, что день не обманул его ожиданий.

Вяч. Шишков

Отец Макарий

(Предпраздничные сцены)

1

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно, возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуме, — лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит.

Здесь тепло, здесь и в декабре лето; всюду цветут розы, дозревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.

Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, кутыхаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах фелюга. А мне чудится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.

Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях, — зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туго приходится ему, и он спешит к жилищу.

И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.

2

Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вихлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми ще-

ками лицо, монашеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и горба. Одет человек в рванье, в тлен.

Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза.

Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилым дымком.

Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшейся, онемевшей на холоде рукой.

— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавила.

— Стра... странник я, — выдохнул пришелец намерзшие слова. — Так точно, милостивец... Странник.

Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:

— Ночуй.

За ужином жаловался Вавила человеку:

— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, привечный покой его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А тепереча к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда, помахаешь кадилом да поорешь, что в башку взбредет, — ну, и ладно. Все думаем: вот ужо новый поп об'явится, все освятит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой бабушке, попы!.. Да... А я в церковных старостах хожу... Эх, стрель тя в пятку!.. Грехи!..

Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятерней длинные лохмы, елейно, назидательно сказал:

— Что же, православные... Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий перей, хотя и плохенький, а поп. И, к примеру, изгнан быть на поселение по ошибке. Но, по благости божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюся домой, питаясь подаянием.

Восемь ложек дружно опустились, и все семейство старого Вавилы уставилось изумленным взглядом бродяге в бородатый рот.

— Я, известное дело, не навязываюсь. А послужить мог бы в сане перейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом, ежели не понравится — дальше двинусь.

На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу.

— Мужики, на сход! Поп об'явился! Батюшка...

Сход не долго думал: оглядел священника, обнюхал, постановил:

— Взять на пробу.

Только поперечник — парень Тимоха — сказал с насмешливой ухмылкой:

— А пускай-ка взрявкает многолетье попромчей, чтоб оглушительно!

Но Вавила сразу парня оборвал:

— Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаки лезет... Дуроплеп!.. — И, обратясь к священнику, спросил: — Дозвольте узнать, батюшка, как святое имечко ваше будет? Отец Макарий? Так-с. Очень даже подходяще.

Мужики сдернули с голов шапки и — под благословение. Священник залился краской, благословляющая длань его дрожала.

В воскресенье — проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к богу благолепно, со слезами, старухи плакали, бабы сморкались, мужики сопели, отирая пот. Многолетие батя дернул с треском — за всех православных христиан, за приютившее его село Сугробное, за всечестного старосту, благочестивого Вавилу Карнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей поддевке, как снеговой вьюнок. Служба кончилась быстро, весело, не как у прежних попишек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного водворять на жительство в обширный церковный дом.

— А есть-ли у тя матка-то, кормилец? — участливо спрашивали бабы.

— Увы! — И отец Макарий с великим сокрушением возвел очи к небесам. — Увы, дошел до меня слушок, попадья изменила мне, обретя вздыхателя.

— Ах, ах, ах, — закрутили носами бабы. — Мыслимое ли дело — попу без матки жить!

Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий хотя и выпивал, но в меру.

— Мы тебе, батя, солдатку пока что командируем, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная. Мужа ейнова убили на войне. Бабочка подходящая, ничего.

Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело:

— Собственно, мне по сану надлежит в супруги целомудренницу брать...

— Каку таку целомудренницу? Девку, что ли? Навряд которая пожелает. Да у нас этих самых... как их?.. целомудренниц-то, пожалуй, что нескоро и найдешь,— подмигивая друг другу, смеялись мужики.

Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство превосходно. Мужики вразумляли ее:

— Смотри, не подгадь, Анисьюшка! Ублажай попа всячески... Золотой нам достался священник! Прямо — клад.

И потекла попова жизнь в довольстве, в холе.

Так прокатился длинный год, опять легла зима. Отец Макарий отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взглядом. У Анисьи Иннокентьевны от сладкой, сытной пищи тоже округлилось чрево, и бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней с полным уважением, начали без ухмылки величать Анисью «матушкой».

Священник проводил дни в больших трудах, достатки его незримо множились.

Как-то матушка расхвасталась бабам про попа:

— Он шибко набожный, он даже чудо может сделать. Чирий у меня, родные мои, повыше коленки был; поп благословил, дунул, плюнул — и прошло.

Бабы сразу же поверили, и отец Макарий, действительно, с тех пор начал помаленьку чудеса творить: у кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихоманку снимет, из трех же кликуш, трех толстобоких теток: Дарьи, Марьи да Лукерьи, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков.

И все больше укреплялась вера в отца Макария, все туже становился кошелек его, а матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усиленно полнеть. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет, он рыщет на земле, «иский, кого поглотити» вместе с сапогами.

И вот на рождестве, после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом:

— Стой!..

Священник вздрогнул и остановился. От мрачной, сырой стены отделилась огненного цвета борода, широкие плечи, два жадных, с волчьим блеском глаза, и все это вплотную придвинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел перед собой.

— А, батя! Здравствуй, с праздничком...

Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол, и паперть от его дыхания гудела.

Бел предрассветный час. В мглистом небе звезда стояла. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак.

Рыжий верзила, страшный, оборванный, сутулый, емко шагал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной.

Оба заперлись в комнату. О чем там говорили — неизвестно. Анисья Иннокентьевна слышала лишь сиплый озлобленный кашель бродяги.

Три дня, три ночи прожил верзила в доме священника. Он сидел под замком, в каморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен.

В третьей ночи, когда Анисья Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал. Утром верзила скрылся.

— Кто это был? — спросила Анисья Иннокентьевна.

— А это... это брат наш во Христе... Нищий, к примеру.

Отец Макарий повеселел, но не надолго: ровно через две недели верзила ночью постучал в окно.

— Не рад гостю? — прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы.

— Нет, отчего же... рад, — по-злому сказал священник, и желчь заклубилась в нем.

И опять шептались тайно. Жил верзила целую неделю, теперь уже на свободе, в светлой комнате. Священник же свою с супругой спальню крепко запирал и в головы клак остро отточенный топор.

За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре.

Однажды ночью... Впрочем, и на этот раз все обошлось мирно: бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплече сугорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.

3

А время подвигалось. Подули теплые ветры. Тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевый полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенним ревом сохатого, дробным стуком дятла, посвистом печальной иволги.

На страстной, в четверг, после стояния, в поповский дом вновь припожаловал бродяга. Лицо его горело пьяным огнем, нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник, вломился он в дверь, крикнул: «Деньги, сволочь!» и, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисья Иннокентьевна с визгом — на улицу, к соседям.

Священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул длинный нож. Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, верзила скрежетал:

— Убью!.. Деньги!!..

— Нету денег, кровопивец!.. Все отдал тебе, мучитель мой!..

Верзила с рычаньем прыгнул на врага. Священник увернулся. Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг — и злодей опрокинулся плашмя на пол: его глотку намертво стиснули костистые поповы пальцы, бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел.

Вдруг:

— Вставай, злодей! Идут!..

За окном густые, угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисьей Иннокентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку: по штанам, по сапогу бежала кровь.

— Вяжи его, варнака! — заорал старик Вавила, потрясая ременными вожжами. — Айда в каталагу!

Народ двинулся к столу. Но отец Макарий, бледный, желтый, еле переводя дух, сказал:

— Остановитесь, православные... Это так... Это он выпивши, мало-мало пошумел. Он мой гость... Христос велел принимать странников... Идите с миром по домам...

Крестьяне, удивленно открыв рты, мигали, и у всех радостная мысль: «Ну, и батя наш!.. святой!» Однако раздались сверкающие гневом голоса:

— В случае чего дай нам весточку. В землю втопчем варнака!

Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на верзилу:

— Слыхал? Пока цел, убирайся вон!

Верзила встал, подошел вплотную к быстро поднявшемуся священнику, покачался, понюхтел, густо плюнул в попову бороду и, ругаясь, вышел.

Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары: боялся, что варнак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз отпирал сундук, оглядывал опустошенный кошелек и, перхая, плакал...

4

Пасхальную заутреню совершал поп благолепно и по-своему: прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы: Марья, Дарья и Лукерья и с ними дедка Нил — молились впереди. Лица их сияли. Сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота.

Весь в огненных парчах отец Макарий третий раз поднялся на амвон с курящимся кадилом.

А верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха.

— Христос воскрес! — торжествующе возопил священник, кадя и осеняя всех крестом.

— Воистину воскрес, Ванька Конокрад!

Как из-под земли вырос, развернулся, ударил верзила попа в висок. Поп позалился на пол.

— Дурачье! — хрипел верзила, жег взглядом ошалевшую толпу. — Какой это Макар! Это Ванька каторжник, со мной на Соколином острову сидел, варнак, убивец!..

Народ оцепенел; каждый думал, — это сон. Вдруг, опомнившись, с гвалтом хлынули вперед, смяли кричавшего урядника, настигли обнаглевшего верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал:

— За правду погибаю... А поп ваш два семейства в Рассеи вырезал...

Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Крест и кадило валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес: катались клубком, выли, лаяли, кукарекали, у двух теток живот схватило, у деда сразу пересекло в поясах.

Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисья Иннокентьевна горько плакала: из почтенной «матушки» она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклинали прощелыгу, искали убить его, но не нашли.

5

Спустя месяц, староста Вавила ездил в город. Там составили бумагу и отправили в синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник, под видом священника Макария, свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил, — да как же, освящено все это, или проклято?

Из синода пришел ответ: «Освящено — по вере вашей».

Мужики на радостях устроили всем селом русскую широкую гульбу.

А растерзанный верзила (урядничку взятку дали) был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой сделал на кресте надпись. Солдат очень старался: пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила:

«Святы боже, святы крепки, святы бессмертны, спи, новопреставленный неизвестный, проходящи, за веру, царя и отечество живот свой положивши, а паршивый Макарка, приблудный поп, будь он трижды, анафема, проклят! Аминь!»

В. М. Михеев

Новоселы

Навстречу мне идет обоз кибиток.
Старухи в них, на рухляди пожиток,
С туным терпеньем молча улеглись.
Скрипел холщевый кузов над телегой;
Из-под него, с какой-то грустной негой,
Детей головки свешивались вниз
И на затылок ливень принимали.
И, опустив усы свои на грудь,
С бичом в руках «хозяева» шагали.
А девушки, спеша перешагнуть
Промоины и лужи, подбирали
Края одежды, — ноги обнажа,
От сырости и ежась и дрожа.
Изморены, измучены дорогой,
Едва шагали лошади. Убого
И слабо упряжь терлась на боках;
Нередко на шлее была заплата.
Уныло шли за маткой жеребята,
И пес — едва в пути он не зачах —
Язык повесив, с робкою мольбою
Глядел в глаза хозяевам своим.
Кой-где подростки двигались гурьбою,
И шел, отстав, ребенок-нелюдим.
Иные волочили за собою
Сухую ель — находку на дрова...
Ложилась следом мокрая трава.
В зубах мужчин их трубки угасали.
Иные трубку молча все сосали,
А в ней табак от сырости потух.
И, выжимая мокрые рубахи,
Молчали все в унынии и страхе,
Что перевесть не даст им ливень дух.
На лицах темных, резко исхудалых,
Одно сознанье было лишь: идти —
Везти детей, старух,—больных и малых,—
Идти-везти по всякому пути, —
И, не щадя ни слабых, ни усталых,
Достичь того, что мило так вдали:

Не паханой, не меряной земли.
Земли, земли! Казалось, это слово
В черте любой, задумчиво-суровой
Всех этих лиц стояло, как мечта.
Земли, земли! мужчин, казалось, губы
Молить готовы сумрачно и грубо;
Земли! — казалось, детские уста
Так жалобно-печально лепетали.
А эти мускулы суровых рук,
Как будто мощно вылитых из стали,
Казалось, молча вытянутся вдруг,
Моля ладонью поднятой у дали —
Сокрытого в желанной той дали
Клочка земли, непаханной земли!
Я ехал все — и шли все новоселы.
И ливень шел. Тянулся путь тяжелый
Из ямы в ров, из рытвин на откос;
И, словно в море бурном парусами,
Белел, колеблясь мокрыми холстами
Покрышек жалких, вымокший обоз.

Г. И. Успенский

Не знаешь, где найдешь

(Рассказ крестьянина-сибиряка о „российском")

1

На большом западно-сибирском «тракту», в глубине обширного двора, принадлежащего коренному сибиряку из «дружков», приютилась переселенческая семья, отставшая от партии и поджидавшая другую, чтобы не быть в дороге одинокой. Там, в углу двора, виднеется маленькая ветхая повозка на маленьких полусгнивших колесах; около повозки толкается, отмахиваясь жидким хвостом от оводов, тощая и также, соответственно повозке, микроскопическая лошаденка. Около повозки и лошади копошатся какие-то сероватого цвета люди; кто мужик, кто баба, — не разберешь: тощи они, серы, малы; мальчик или девочка бегает тут же около повозки и лошади, — также разобрать довольно трудно. Двор обширен, а «российский» переселенец дожил в своих местах до таких микроскопических размеров во всех отношениях, что издали, от ворот или с крыльца, не сразу разберешь, что там такое копошится в углу? Видно, что есть там что-то живое и движущееся, а разобрать сразу, что именно там есть — не разберешь.

Однако, скоро оказалось, что переселенец запрягал свою микроскопическую лошаденку в микроскопическую повозку и собирался уезжать. Скоро повозка его выбралась из-под палящих лучей солнца, стала видна ясно и приблизилась к крыльцу настолько близко, что я мог довольно хорошо разглядеть ее в подробностях. В повозке сидели ребятишки, — мальчик и девочка, — в таких же серых от грязи рубашонках, какие были на тощей матери и на тощем отце. Забота или равнодушие выражались на лицах крестьянина и его жены, хорошенько нельзя было понять, но кажется, что то и другое одинаково отражалось на этих простых, добрых, усталых лицах. Не знаю почему, мое внимание привлекла та дерюга, которою была покрыта кибитка, кой-как устроенная из древесных ветвей; вся эта покрышка состояла буквально из заплат, тщательно, всякими швами и всякого сорта нитками пришитыми одна к другой, и я, всматриваясь в эту дерюгу, неожиданно ощутил какое-то впечатление безмерного страха, но не успел выяснить себе его (это сделалось впоследствии), потому что на крыльце появились хозяин с хозяйкой и вступили с переселенцем в разговор. Переселенец кланялся, держа в руках шапку, кланялась и его баба; оба они благодарили за приют. Жаловались, что нечем благодарить, и что трогаться надо, потому что, с час времени назад, «по тракту» проехали три повозки с переселенцами, и переселенцу хотелось догнать их на ночлеге, чтобы потом уже и ехать дальше вместе.

Кибитка, дрожавшая и колебавшаяся, прошла мимо моего тарантаса и исчезла. Скрипнули отворявшиеся ворота и скоро захлопнулись, затворяясь. Переселенцы уехали, а сибиряк-хозяин с своей женой-сибирячкой, люди молодые, румяные и оба, так сказать, просторного телосложения, уселись неподалеку от меня на крыльце. Они только что покончили «с прикусками» и большим самоваром и ожидая, пока вскипит другой и пока поспеют новые «прикуски», вздумали посидеть на крылечке, на солнышке.

— И что это за народ за такой, эти «российские»! — с смешливым недоумением проговорил, как бы рассуждая с самим собой, хозяин-сибиряк. — Как россий-

ский встретился, — нет с ним никакого разговору, окроме как «земля, земля, земля» да «душа, душа, душа». Только и всего, и никаких слов у него нету больше!

— Да еще — «бог!» — прибавила сибирячка, огласив двор звонким фальцетом, доказывавшим, что она принимала в уничтожении «прикусок» немалое участие.

— Вот и это еще! Это верно! Бог также во всяком случае; что ни слово, то «бог, бог, бог», а промежду того опять же «земля, земля, земля» да «душа, душа, душа». О чем ты с ним ни заговори, уж никаким родом он не минует, чтобы не обернуть разговору округ земли да округ души; да бога, между прочим, завсегда во всякое слово примешает, — хоть ты что хошь!

Сибирячка на этот раз ответила на соображения своего мужа только повторением фальцета, более звонким, чем прежде, и ничего не прибавила лично от себя к наблюдениям своего мужа.

— Оборачивается винтом в этих самых словах, и никаким родом его оттуда не вывинтить! И все ведет к одному — «отдай!». Тоже это ихнее, любимое... «Кабы бог дал, так бы и туда отдал и сюда отдал... Бог-то не дал, а там говорят: «отдай!». Там отдай, здесь отдай. Отдай да отдай! «Кабы две души», «да земли», «да бог бы дал», так бы и отдал. А то чем отдашь? Коли бог... земля, душа!». И пош-шел и пош-шел оборотом, оборотом винтить, винтить, хоть ты помирай! И чего живет, никаким родом не сообразить!

Последняя фраза, сказанная с самым искренним недоумением, доказывала, что она есть результат весьма продолжительных наблюдений сибиряка над «россейскими». Мне вздумалось потолковать с ним подробней (ведь сибиряк-крестьянин не знал ни бурмистра, ни Карла Карловича), и так как в это время самовар был готов и сибирячка уносила его с крыльца в дом, приглашая туда же и мужа, то и меня взяла охота пойти туда же и побеседовать за чаем.

2

Скоро я был в большой чистой избе, с потолком, полатями, лавочками и полом, выкрашенными масляною краской желтого цвета, сидел за таким же выкрашенным столом, пил чай и разговаривал. Разговор шел на ту же тему, которая была предметом размышлений сибиряка, когда он сидел на крыльце, и я передавать его не буду. Но кое-что он и пояснил в своем определении.

— И ведь какой народ! Ни одет, ни обут, и есть ни ему, ни ребятам почитай-что нечего, а толкует только о земле да о душе. Иной раз глядишь-глядишь на них (много мы их перевидали), да и сам, признаться, о боге-то подумаешь! Должно быть, что действительно премудрость какая-нибудь мыкает их по свету. По нашему этого не сообразить. С одним каким-то переселенцем российским такой на наших глазах оборот вышел, что и нехристь, а и тот в бога уверует.

— Это ты про Андрея рассказываешь? — припомнив что-то, спросила сибирячка.

— Да нешто мало их, таких-то Андреев? Что ни российский, то и Андрей.

— Нет, уж с Андреем вышло совсем особенное!

— Со всяким то же самое! — сурово опровергал муж, опоражнивая чашку за чашкой.

Судьба этого Андрея так заинтересовала меня, что я постарался вызвать сибиряка на подробный рассказ о нем.

— Года с два никак Андрей-то этот в наших местах показался. Пришел он с прочими, со своими же «курскими», и всем им как раз надобно было в наших местах оставаться; земля им отведена тут, около нашего села, в тридцати верстах. Приехали они, выправили в волости бумаги и ушли на новые места, а Андрей не поехал, остался. Тут же вот у нас, на дворе, примостился, амбар пустой выпросил. — «Чего же ты, говорю, не едешь с своими-то?» — «Да боязно мне, говорит, ехать-то. Пообгодить надо... Горе, говорит, со мной случилось...» — «Что же такое?» — «Да сын, говорит, двенадцати годов на дороге у меня помер». Сказал про сына-то, и сейчас что-то, как вон у них всегда бывает, — «земля, земля, земля», «душа, душа, душа». Тогда я не вникал в это, не понимал, и дивлюсь, что он про сына-то не говорит? Спасибо баба — в повозке она больная лежала — подняла голову, завыла на весь двор и рассказала: — «Хворать начал еще в Тюмени... Выехали оттуда, жар его стал палить. Пить просит, знобит его... А остановка в поле, ночи холодные, так и скончался!» Ревет баба, горько убивается; и у мужика слеза

было показалась, только он ее рукавом утер и сейчас же опять за свое. «Бумага-то, говорит, у меня дадена на две души... Это ведь тридцать десятин по здешнему. Коли бы ежели сын-то был жив, я бы тридцать десятин взял... половину бы отдал на с'ем. Есть, говорит, из наших и с деньжонками люди, возьмут в аренду... Все бы я справился кое-как, деньжонок бы получил, да и сам бы поработал, было бы с чего взяться... А как господь-то меня покарал, сына-то взял, ведь по бумаге-то мне на две души не дадут. Да и баба-то уж больно убивается, скучит по родному детищу. Ослабла совсем, какая она теперь работница!.. А мне одному тоже трудно взяться. Вот и не знаю — как быть? Обгодить надо». И опять повернул на землю да на душу. Даже спросишь о бабе, — поправляется ли, мол? — «Мается», говорит, и в ту же минуту опять и про бумагу и про землю. Так уж мысли у него такие все скучные были. Потолковал я с ним так и раз, и два, и три, — все то же самое... Скучит все про землю да про душу, да бога поминает... Ну, думаю, живи как знаешь, — оставил его, перестал с ними разговоры разговаривать.

— Они тогда у нас недели с две прожили! — прибавила сибирячка.

— Не упомню хорошенько, две ли, три ли недели, — только я этого Андрея не касался. Попросит хлеба — дашь... Поработает. И все молчит, все, я вижу, одно и то же думает, а баба все лежит в повозке. Молчит, молчит, да как взвоет на весь двор, да как начнет причитать, — душа разрывается. А потом опять молчит. Спросишь иной раз Андрея: — «Что это баба-то твоя убивается?» А он отвечает: — «Как же не убиваться?... Тоже нарождение наше, — какой парень-то был! Да опять, — как ежели бы жив был...» Ну, и все как обыкновенно. Не дослушаешь и уйдешь. Так и шло время. «Чего он дожидается?» — думаю; однако не расспрашивал, не касался. Только однажды — гляжу, и сам он идет ко мне. — «Так и так, говорит, баба-то моя ведь тяжелая... То и гляди, родить ей придется... Уступи мне, сделай милость, амбарчик на это время». Тут я понял, чего он дожидается. И амбарушку ему дал, а баба моя и повитуху ему указала. Узнал я это, и так мне стало его, признаться, жалко. Как ему быть с больной бабой в чужой стороне? Ничего, почитай, у него нет, и самим-то есть нечего, чем и ребенка-то кормить? Баба хворая, тощая; мучается она, что сын у нее помер, покою не знает, плачет. Такие прискорбные они мне показались, не видывал я такого бедствия. Пропадают люди прямо на глазах. «Эх, Андрей, Андрей, — говорю ему как-то однова: — плохо твое дело! Как-то ты справишься? И что делать-то будешь?» Пропадет, думаю, как трава от морозу. А между тем, вижу, не то: смотрит на меня Андрей, и лицо у него не скучное! Как бы уж тут-то не заскучать? Ведь беда идет неминучая, дело видимое, а он, наоборот тому, даже как бы и повеселел. «Авось, говорит, бог и поможет?» — «Что же, говорю, все бог да бог. Ты сам видишь, какие твои дела». А он ту ж минуту выхватил из-за пазухи свою «бумагу» да и отрапортовал мне: — «Ведь баба-то родит либо сегодня, либо завтра. А ну, как господь даст, опять мальчика? Ведь тогда прямо тридцать десятин по бумаге должны выдать. А ежели мне тридцать-то десятин, так ведь я в аренду половину-то!» И пошел, пошел колесить и винтом-винтом оборачивать — и бог, и земля, и душа! То-есть плюнул и ушел прочь! И не подходил! А только от людей слышу: идет в амбаре — страсть господняя! Слышу: «родила девочку». Думаю: «ну! пропал мужик!» И точно, рассказывают, свалился, говорят, Андрей с ног. «Руки,—говорит,—на себя наложу. Пропал я,—кричит,—пропал, пропал, пропал!» Плачет даже!.. Потом, слышу: «померла девочка». Весь двор, все наши бабы в один голос говорят: «Слава богу!» Вижу, и Андрей очнулся, ходит по двору, а что теперь будет делать, на что надеется, — не спрашиваю. Говорю бабе моей: — «Оставим его в работниках, вместе с его бабой?» Жалко ведь, истинно жалостно смотреть. И порешили было так, но Андрей не остался. Напал на него и на жену необыкновенный страх, обуял их испуг какой-то. Баба его первая испугалась: и сына-то у них нет, и еще ребенок умер, и зачем это они в этой чужой стороне? «Домой, домой, домой! — взмолилась баба: — опять в свои места». И мужик-то тоже совсем обезумел... Так мы и не видали, как они второпях со двора с'ехали. Спрашивали мы потом у новых переселенцев, не встречали ли таких-то и таких-то «курских». И сказывали нам также ихние «россейские», что видели их, «едут», а потом говорили, что видели их уж без повозки, без лошади под Пермью. А наконец и совсем слух о них прекратился... Так они и канули. Мы так и почитали, что дойдут они до места и сгинуть где-нибудь в чистом поле. И что ж, однако, вышло?

Вероятно, то, что вышло, было до того необыкновенно, что и сам хозяин-рассказ-

чик и его жена, не раз вздыхавшие во время рассказа, вдруг развеселились, и лица их засияли самым радостным выражением.

3

— То-есть такое вышло удивительное дело, — кажется, и в сказках такого не рассказывается! Проходит года два, мы и думать-то забыли об Андрее. Раз как-то, уж нынешним летом, слышу, какая-то баба, которая при родах Андреевой жены была, говорит: — «Арестанты, говорит, прошли сегодня, в пересыльную, и, кажись, будто Андрей с женою там...» А у нас тут за селом, — сами, чай, видели, — большая пересыльная тюрьма. — «Не обозналась ли, мол?» — «Нет, говорит, как будто они самые». Что ж, может, и грех от бедности попутал. И еще прошел месяц, — ни слуху, ни духу не было. Однова я вышел на крыльцо, утром, — смотрю: Андрей и жена, и новая повозка с лошадью! И такие они превеселые, здоровые — удивление! — «Как так? — спрашиваю их. — Откуда? Каким манером? Сказывали про вас, что в арестантской партии вас заприметили?» — «Точно, говорит, точно так! Привел бог поетапом! Накормило, пригрело, приютило! В жизнь свою мы такого удовольствия не видали, как в поетапе!» И уж как рады-то! то-есть, ежели и двести тысяч выиграть, и то этак-то не обрадуешься!.. Стали расспрашивать, и рассказали они нам: — «Добрались мы, говорят, до своих мест, в лютую зиму, пешком... еле живы... Как уж добирались, об этом и вспомнить страшно... Добрались до своего села, приютились в работниках. Потребовали нас в волость и спросили бумаги. А бумаги-то у нас уж сибирские; мы уж оказались не курские, а ваши, сибирские, к вашему обществу приписанные... Как поглядел писарь в бумагу-то, осердился и говорит: — «Вас, говорит, надо поетапу, обратно!..» Как он сказал «поетапу», так баба-то и упала без чувств, думала — «в каторжную работу». А очнулась, взвыла, как малый ребенок. Еле-еле ее на телегу полумертвую положили... А потом, как повезли нас, смотрим мы и дивуемся: ничего худого нету, все хорошо. И одежу дадут, и ночлег, и три раза в день кормят, и каждую неделю баня... «Что такое,—думаем, — чего мы боялись? Дай бог всякому, как в поетапе, пожить!» И что дальше, то лучше: ни копейки не спрашивают, а все дают; кончили тракт, помчали по машине, а потом пароходом, а потом пешим ходом, с роздыхами, с остановками... От'елись, отдышались мы с бабой, как этого и в жизнь не бывало. Порумянела даже, мол, моя старуха, погляди-ка-сь! Ей-богу!» И точно, и мужик окреп, повеселел, а баба и совсем стала похожа на человека. Точно совсем другие люди пришли! Рассказали они потом, как их довезли до города, где была переселенческая станция. Там их выпустили на волю, указав им, где живет начальник; начальник им помог, дал денег заимообразно на лошадь и повозку да пять рублей на харчи; помогли и другие добрые люди, заглядывавшие на станцию посмотреть переселенцев, и вот они уже здоровые и не скучные, а совсем даже веселые, опять к нам приехали... И такую они пустили славу про «поетап», что теперь и на поселке и в партиях только и слышно, что про этот самый этап. — «Отчего нас по этапу не везут? Это богатые пускай едут на свои деньги, а нас, бедных, обязательно ублаготворить по этапу! Ишь, Андрюшка-то с своей бабой раз'елся как!».

— Ну, а сам-то Андрей как теперь? — спросил я: — какие у него теперь мысли в голове?..

— Да какие? Какие были, такие и остались... Как-то встретился я с ним на базаре, заговорил с ним, спросил: «хорошо ли, мол, теперь?» — «Земли, говорит, нарезали на одну душу, да бог даст, баба родит мальчика, потому она опять тяжела, так тогда как раз по бумаге выйдет... Я, говорит, думаю, беспременно мальчика, потому не было скучных мыслей. Коль бог даст, так тридцать-то десятин...» Н-ну, окончательно, опять тот самый оборот винтом и округ того же самого... «Ну, говорю, ладно!» Так и разошлись, и с тех пор не видал его, да и пущай его. Надоедно даже!

— Так вот... незнамо, как живут! — умозаключила сибирячка и, ввиду присутствия постороннего лица, постаралась скрыть еще один фальцет.

4

На этом окончился разговор, собственно, о «россейском». Не знаю, удовлетворит ли он читателя и даст ли ему ответ на вопрос: «И чего живут?» Не в видах уяснения этого вопроса, а только для того, чтобы читатель сам мог сосредоточить на нем

внимание, мне остается передать еще только о том впечатлении, которое произвела на меня дерюга, покрывавшая переселенческую кибитку.

Рассматривая ее (потому что повозка довольно долго была перед моими глазами), я понял, что она — почти вековая летопись неустанного крестьянского труда. Вся она состояла из заплат, сшитых одна с другой и нашитых одна на другую; несомненно, что здесь были труды пра-прабабушек, переданные в виде обносков прабабушкам; эти передали остатки обносков, с придачей и своей работы, бабушкам, а бабушки, перештопав, перешив все эти заплатки предшествовавших поколений, передали их внучкам, и вся эта летопись неустанного, непрерывного труда едет теперь, защищая от дождя и солнца, куда-то в неведомую даль, не суля ничего, кроме опять-таки продолжения того же самого неустанного труда. Об этом неустанном труде, из века в век, из поколения в поколение, говорила каждая нитка дерюги. Рисовались трудные работы с посевом льна, с его обработкой и превращением в нитку, в холст, в рубаху, и наконец в эту заплатку. Бессонные ночи пряденья, тканья, шитья, — все это из поколения в поколение делалось единственно только для того, чтобы прикрыть наготу человека, опять-таки неустанно трудящегося для кого-то и для чего-то, так как в конце этих вековых трудов не получилось ничего иного, кроме неразрешимого вопроса:

— «И чего живут?»

Да, даже и дерюга, эта не печатная, а безгласная летопись векового труда, как видим, не способствует выяснению этого вопроса, а так как она была, кроме мнения сибиряка, единственным моим воспоминанием о положении «россійского», то приходится и очерк этот окончить все-таки на том же нерешенном вопросе...

Н. М. Ядринцев

На обетованных землях

(Из путешествия по Алтаю)

Там, где кончаются бесконечные леса и поднимаются высоко-высоко скалистые горы, где бурно шумят горные реки и потоки, с белой пеной прыгая по камням, где простерлась неведомая никому пустыня, где-то там, за китайской границей, в непроходимых дебрях, лежит загадочная земля, называемая «Беловодье». Не знает этого места никто, не заезжает сюда заседатель, а между тем как-то зашли сюда русские люди и живут привольно, много земли у них и угодьев, и нет здесь тягостей и тяжкого крестьянского горя. Есть здесь храмы, и звон колоколов будит звуками окружающую пустыню. Никто не знает Беловодья, знает его только раскольник и русский крестьянин, прокравшийся в него. Этот миф о Беловодье, распространенный в южной Сибири, двинул русскую колонизацию к китайским границам.

Мы видели деревни и скромных крестьян у подножия снежных Альп, где крестьянство часто надевает на себя ткани китайского шелка, выменяваемые на границе. Кругом дикая, оригинальная природа, киргизы, китайцы и тут-же русская деревня, русский говор, русская песня, русский хоровод. Но не ограничились этой гранью русские селения. Нет-нет, да и начнется попытка отыскать заветное Беловодье. Попадали русские крестьяне бухтарминцы в китайские города и были оттуда возвращаемы, бывали на оз. Куку-норе, все отыскивали свое Беловодье. А есть ли такое Беловодье, — бог весть. Тихо и медленно тянутся до последнего времени обозы переселенцв или новоселов, таинственно, скромно пробираются они мимо больших дорог в глубь Алтая, где встречает их и приковывает этот миф о каких-то заповедных землях, о какой-то мифической стране, и они плетутся все в даль да в даль...

А, кажись, везде мест довольно, и какие места!

Когда мы в'ехали в северные предгорья Алтая, в долины рек Песчаной, Каменки и Ануя, мы поражены были красотою мест, обилием лугов и роскошью растительности. Пред началом предгорий раскинулись, точно малороссийские, степи, покрытые душистыми травами, цветами, с выступавшими по местам перелесками. Когда мы любовались этой степью перед закатом солнца, мы видели вдали горы, подергивающиеся как бы легким туманом, как бы голубою дымкою самой нежной вуали; над ними алеет легкая розоватость неба. Бесконечно зеленая равнина, клумбы березовых рощ с душистыми пасеками (пчельниками), бесчисленные стада, как точки, усеяли эту степь. Скрывавшееся солнце с золотым бордюром облаков дополняло картину.

Трудно передать то обаяние, какое производит эта даль, этот воздух. Когда спустилась ночь, горы как бы уходили вдаль. Равнина наполнилась ароматом нежных трав, а наверху зажигались серебряные звезды, яркие и большие, благодаря чистоте и прозрачности горного воздуха. Когда в горах нас заставала ночь, грозные профили гор с лиственницами смотрели на нас угрюмо и таинственно. Лиственницы выступали гигантами, цеплявшимися за нас руками. Иногда на небе сгущались тучи и только кое-где мелькали просветы, небо составляло контраст с темной долиной, в которую мы спускались. Вот тучи охватили небо, стало еще темнее, мы погрузились совершенно в темную бездну. Совсем беспросветная тьма окружила нас. Лошади плелись уныло, звякая колокольчиками. Один ямщик направлялся куда-то. Вдруг среди этой томящей тьмы зажглась искра. Вот она растет, вот и веселый костер около деревни. Это деревня Туманова, поставленная лет 10 назад переселенцами пермяками. Чрез четверть часа мы были в теплой избе этих обстроившихся колонистов.

Убаюканные поэзией ночи, мы просыпались каждое утро под ослепительным блеском солнца.

Чем дальше мы ехали и совершали перевалы из гор в долины, картина открывалась шире. Местами среди зелени обнаруживались каменистые утесы, перевитые зеленью; иногда эти утесы представляли разрушенные замки и церкви. Около них били ключи и весело журчали речушки, пробиваясь между камнями. Зелень здесь была еще живописнее. Она вырастала иногда на камнях. С гор спускались лиственницы, травы были в вышину человека. Горы выступали резче и, наконец, показались «белки», горы с пятнами снега на вершине. Странно, во всех этих местах, проезжая по глухим долинам Алтая, повсюду мы встречали странников, плетущихся все вперед и вперед. Мы проехали весь Алтай, вот скоро уже снежные горы, вот поднялся неприступный хребет. «Куда вы?» — спрашивали мы странников и получали один ответ: «Местов искать». Иногда мы встречали пионеров-пытовщиков: они шли по постоянным под'емам и спускам, где дорога столь утомительна, что приходилось на средине станции переменять лошадей. Часто измученные, в поту, в одних белых рубахах, с котомками спускались они с гор, с посохами в руках. Это были скорее какие-то подвижники, чем искатели счастья. Но на них смотрели сплошь и рядом совсем иначе.

— И тащутся куда-то, сами не зная куда, — говорили старожилы, недовольные тем, что новоселы не сторговались с ними, а шли далее. — Чорт их знает, куда лезут! — говорило начальство.

— За Чергой [1], сказывали, места хороши, — говорили странники и все забирались дальше и дальше. Иногда на вопрос они торопились вытащить паспорты, робко озираясь и говоря: «Мы по паспортам, ваше высокоблагородие!» — намекая этим, что они — не бродяги. Чем дальше странники-колонисты достигали этих мест, чем более осваивались они с привольем, тем более, кажись, они становились разборчивыми, «а дальше еще лучше», — думали они, — «за Чергой, сказывают, хорошо». Остановиться сразу не хотелось, ибо выбор мест был большой.

Чем более они осваивались с этими местами, чем более всматривались в это приволье, тем менее им хотелось расставаться с ним. Иногда мы видели, как, пораженные этим привольем, этой тучной почвой, они подолгу стояли, опершись на посохи, устремив жадные взоры на этот девственный чернозем. Они облюбовывали эти места и в то же время робко осматривались. Их охватывала тайная робость и страх, что вот их погонят отсюда и не дадут высмотреть то, чего они жаждут. Эта робость и боязнь, как мы заметили, не оставляла даже поселившихся и обстроившихся.

Раз в своем исследовательском усердии, равном разве усердию цивилизованного ищейки, я наткнулся на обстоятельство, заставившее меня серьезно задуматься. Оканчивая об'езд, приходилось уже расставаться с горами; при выезде из одной деревни я заметил, однако, за несколько верст от нее небольшую горную речку в долине, где стояли одинокие лачужки шагов 50 друг от друга. Это были знакомые характерные постройки переселенцев. Мне ужасно захотелось с'ездить к этому начинающему строиться поселку. Приказав ямщику с повозкой ехать по дороге, я имел глупость взять у него пристяжную с крестьянским седлом и поехал верхом к переселенцам новоселам один. Поселок стоял в стороне от дороги, окаймленный горами. Когда я на крестьянской лошаденке приехал в него, тут только я понял всю странность и

[1] Река Чарга. (Прим. авт.).

неожиданность моего появления в деревеньке. Из изб высыпали робкие и пугливые переселенцы. Они смотрели на меня очень боязливо, как дикари. Я слез с лошади, попросил напиться и начал любопытствовать. Ответы были односложные, сухие. Взгляды были все подозрительные. Скоро все начали расходиться, и я остался только с одним переселенцем. В самом деле, что такое был в их глазах человек, прибывший к ним внезапно, с видом чиновника, на худой крестьянской лошади и пытающий их? Я об'яснил свой приезд тем, что я любопытствую узнать, как живут новоселы. Но это еще больше насторожило их: «Разве любопытствует кто без дела?» Ведь крестьянин не подозревает, что есть такие несчастные люди на русской земле, которые в самом деле только любопытствуют крестьянское житье, не имея возможности принести ни капли ему облегчения. Видя пугливость этих несчастных странников, выбравших себе эти места, я не принял во внимание, что большинство их начинает обстраиваться, когда они еще не приписаны, заселение их не утверждено, юридическое положение непрочно, и что они переживают в эту минуту самое мучительное состояние духа. На лицах можно было прочесть чуть не страдальческое выражение при ответах. Видя холодность приема и какое-то недоверие, я начал прощаться и подошел к лошади, проклиная неудачу поездки. Вдруг позади себя я услышал глухой грудной голос. — «Ваше благородие, зачем ты сюда приехал?» — «Просто посмотреть, как живете и давно ли здесь: не говорите, так и бог с вами», — сказал я сухо. — «Ваше благородие, ты недаром приехал?» — послышался тот же голос. Это говорил оставшийся со мною новосел. Черные глаза его упорно, вызывающе, смотрели на меня, а на лице было какое-то судорожное, болезненное выражение, в котором сосредоточивалось мучительное переселенческое беспокойство. — «Ничего мне от вас не надо, добрый человек», — сказал я мягче: — «успокойся!» Но, конечно, я не мог рассеять подозрение и тронул лошадь. — «Ты землемер!» — как бы почувствовав смелость, выкрикнул новосел и побледнел от собственной дерзости, вызванной чувством опасности, как и произнесением страшного для крестьянина имени. — «Ты землемер, мы знаем» — повторил он грустно, и вдруг в глазах его заблестела такая мольба, какой я в жизни не забуду. — «Не губи! не гони нас с местов...» Он не упал в ноги, но стоял бледный, как подкошенный, как осужденный.

Видя впечатление моего приезда, я сошел с лошади и начал успокаивать бедных новоселов. Уверившись, что я ничего против них не имею, они рассказали мне свою горькую исповедь. Как и все, они выбрали места на этой речке и поселились самовольно, не приписавшись к обществу, ибо с них требовали по 30 р. за приемный приговор. Они развязали мошны, послали ходоков хлопотать об отводе земель: выйдет ли что — бог ведает, а пока томились в ожидании. Соседние крестьяне им беспрестанно угрожают и обещают донести на них, что они строятся самовольно. Вот с чем совпал мой приезд. Я старался дать совет, обещал никому не говорить об их поселке, ободрил их и расстался дружественно; я был глубоко потрясен их судьбою.

Вспоминаю и еще одну встречу. Мы ехали в веселое и чудное утро по Алтайской долине. Горные речки сверкали серебром, направо и налево выступали горы с клубящимися по ним облаками. Местами вырастали причудливые утесы, обвитые зеленью. С одной стороны спускались с гор хвойные леса, гребни гор золотились лучами солнца, луга сверкали цветами, трава была роскошная. Вот выбежал ручей; по берегам его были видны сплошные кустарники жимолости, малины и смородины, усеянные гроздьями ягод; белый жасмин, колокольчики, лилии и желтые розы, — все это напоминало бухтарминскую флору сибирской Италии. Цветы становились роскошнее. Я увидел целые поля, покрытые мальвами. Это был настоящий лес цветов; они были лиловые и белые в рост мой. Я выскочил из повозки, набрал целый пук этих цветов, образовав чудовищный букет, уселся с ними и смотрел в синеющую даль гор. Солнце сияло так ослепительно, все было такое праздничное. Никогда, моя родина, я тебя не видал более красивою. Я увидел тебя здесь весенней красавицей, украшенной мальвами, дикими розами, пионами и лилиями; я видел тебя с красотою твоих утопающих вдали гор, с богатством цветущих долин. Здесь ли, кажись, не воспользоваться твоими благами, девственная земля, здесь ли не создать счастья? И вот в такой-то долине, в минуту моих восторгов, я был остановлен и притвожден неожиданной встречей. Как бы в контраст этой красивой, полной жизни природе, я увидел жалкую повозчонку, затянутую рваной парусиной, в ней сидела худая женщина, а жалкую, исхудалую лошадь вел в поводу пожилой крестьянин с повязанной головой платком. Но надо было видеть, что это была за лошадь и что это были за люди.

И лошадь, и хозяева, кажись, одинаково были изнурены. У лошади спина представляла сплошную язву, как будто ее расклевали вороны. Тучи оводов и мух садились и бередили спину несчастного животного. Я взглянул на упряжь: она вся состояла из худых связанных веревок и мочал.

— Старина, что это ты на такой лошади едешь? она падет у тебя! — сказал я.

— Батюшко, — отвечал он тихим голосом, каким говорят только нищие, — одна и есть лошаденка, да вот и та заболела в дороге; бабу везу больную, ходить не может, ноги распухли...

— А у тебя что голова подвязана?

— От жары, батюшко, разломило.

— Что же вы не остановитесь нигде?

— Где, батюшко, остановиться-то... Надсадились. Из Рассеи шли. Пришли, кормиться нечем, все больные, так вот и побираемся мало-мало по деревням. Авось, до страды промаемся, а там и наймемся работать!

Это были новоселы, истощившие свои силы, надсадившиеся. Дойти до обетованной земли и среди этих привольных благословенных мест остаться нищими! Какая насмешка судьбы!

Но случается и еще печальнее конец. Бредет-бредет новосел за новыми местами, или ходит-ходит, мается, ищет случая приписаться, борется со старожилами, которые с него запрашивают, ходатайствует перед горными властями, землемерами, словом, ведет эту процедуру года, хлопочет, да вдруг и сгинет в этих поисках. Так и пропадет из списков, — ни там, ни здесь. Может быть, он открыл, нашел таинственную землю, где можно поселиться без приписки, без паспорта, без землемера. Может быть, он дошел в это мифическое «Беловодье», где нет податей, а староверу и раскольнику веры не заказано. Недаром об этом «Беловодье» более сотни лет слагаются мифы. Но где же оно? Вот за Чаргою идет ряд хребтов, вот ущелье Чуи, Чуйские Алпы, вот вершины Катуни с вечными снегами. Дойдет переселенец до них, до этих белых вод, окрашенных песком морен, увидит эти водопады, эти неприступные скалы и ущелья, посмотрит на горных орлов. Но это ли желанные белые воды? Постоит он и повернет назад. А там, в горной долине, глядишь, шел капризный скиталец да вдруг заночевал. Давно полдень, солнце залило долину, печет, а он все спит; вечер наступил, прохладой повеяло, аромат трав несется, золотятся пурпуром вершины чудных гор незнакомого края, а он все спит, не просыпается. Что-то ему грезится среди этих волшебных мест. Не родную ли деревню он видит и зовет из нее родню на новые места, ставит дом, — земля-то какая, место-то какое, вот где отдохнуть, вот где заживешься в довольстве! Проехали мимо него промышленники, отправляясь на промысел, и, усмехнувшись, сказали: «Спит новосел!» Проскакала повозка чья-то. — «Это что за человек?» — крикнул проезжий. — «Новосел спит», — сказал ямщик. А новосел так крепко и сладко уснул, что ему больше не нужно и просыпаться.

Смотря, как мыкается этот человек в поисках за новыми местами, смотря на это вечное скитанье и отыскивание чего-то, словом, озирая всю эту бродячую колонизацию, я часто задумывался и невольно спрашивал себя: «где же лучше?» С этим вопросом я стоял у берегов обширных и прекрасных озер на привольной степной Барабе, смотря в туманную даль плавающих в зелени островов; с этим вопросом стоял я средь цветущих боров на берегу Оби, на благословенных местах Карасука; его же я задавал и там, где серебрятся вершины Алтая, любуясь с высот бесконечно волнующимися горами и широкими долинами. Его я задаю и теперь: «Где же таится крестьянское счастье, под каким кустом залегло оно, под каким камнем оно запало, скрылось, притаилось?!!»

Н. Д. Телешов

Нужда

Как после весеннего разлива рек остаются на просыхающих лугах новые бугры песку и ила, нанесенные половодьем, так и здесь, на широком сибирском поле, после летнего движения переселенцев осталось за лесом много новых могил; как после схлынувшей воды, которая неслась по лугам и дорогам, остаются в песке и траве мелкие рыбы, запоздавшие убраться вместе с водой и обреченные биться и задыхаться в пыли

под знойными лучами солнца, так и здесь, после схлынувшего многотысячного народного потока, осталось несколько детей, обреченных на вечное сиротство или на смерть. Родители их либо умерли в пути, либо, забитые нуждой, ушли в неизвестный край, покинув больного ребенка на произвол судьбы.

Таким сиротой и остался Николка, худенький пятилетний мальчик, про которого даже отец сказал, махнувши рукой:

— Все одно, помрет.

Мать долго молилась и плакала, но тоже наконец сказала:

— Помрет, родименький... Не встанет... помрет.

Дожидаться его смерти было, однако, нельзя. Баржа стояла уже у пристани, и наутро был назначен от'езд. Не уедешь завтра — прождешь очереди еще целый месяц, а Матвей и без того уже прожился, дожидаясь то тут, то там, где неделю, где две, а здесь простоял чуть не пол-лета, валяясь, как собака, на грязной земле под тряпичным шатром. Да и не все ли равно, днем раньше или днем позже расставаться с ребенком? Николки уже не воротишь, а всякий день между тем стоит денег, и дожидаться Матвею было не по карману: и без того прохарчился, хоть с рукой выходи!

Подойдет Матвей, поглядит на сына и разведет руками.

«Родное дитя али нет? — со слезами вопрошает он самого себя и, ударив по груди кулаком, опять подумает: — Звери мы али нет?!»

А Николка лежит ни жив, ни мертв, только хрипит.

«Помирать бы, так помирал, что ли! — с отчаянием думал Матвей про сына. — По крайности, развязка!»

Жаль ему было Николку, очень жаль, и оставлять его при смерти было совестно. Но что же поделаешь иначе? С собой не возьмешь, потому что начальство не пропустит больного на баржу, на поправку его тоже надежды не было — еле дышит, а просидеть из-за него еще целый месяц на одном месте значило разориться и погибнуть. Завтра не уедешь, а Николка, глядишь, завтра же и помрет, — только задержит. Так на него и смотрели все, как на пропащего. А у Матвея кроме Николки было в семье восемь душ, о которых нельзя было не подумать. Либо всем погибать и Николкиной смерти дожидаться, либо уходить подобру-поздорову дальше, а Николка, бог с ним, пускай умирает один.

— Арина! А, Арина! — в раздумьи проговорил Матвей, подходя к шалашу.

На его окрик из шалаша высунулось худощавое бабье лицо и молча, с надеждой во взгляде, ожидало вопроса.

— Что ж делать-то, а? — нерешительно прибавил Матвей. — Собираться ай нет?.. Али уж терпеть будем?

Оба они поглядели друг другу в глаза, оба помолчали, а затем Арина, не ответив, заплакала, а Матвей побрел молча по полю, думая все о том же.

Долго бродил он по полю с понурою головой, не зная, на что решиться. То вздохнет, то крякнет со зла, то опять вздохнет. Кажется, бросил бы все да побежал бы скорей без оглядки домой, на родину. Но вернуться было уже нельзя: на родине все продано, а что продано, то прожито в дороге, проедено, истрачено, и хорошо, если хватит последних грошей добраться до «новой земли». Ни вернуться, ни уехать дальше, ни оставаться — все было нельзя, и как ни вертись, как ни думай, — ни направо, ни налево — нигде не было выхода. «Не уедешь завтра — то пропадать! — с тоской думал Матвей. — Оборвешься!..» Главное, его смущала мысль, что Николка завтра же и помрет, как только все уедут.

«Тогда — пропадать».

И опять вопрос становился ребром: либо всей семье разориться, либо спасаться тому, кто еще жив и цел.

Поле, по которому он бродил, было все покрыто палатками и шалашами. Всюду торчали скрещенные шесты, пестрели на них одеяла, обноски и тряпки; возле палаток, на помятой траве лежали и сидели люди, то вместе, то порознь; кто курил трубку, кто разводил костер, от которого стелился голубой прозрачный дымок, кто чинил рубаху; тут же молодая мать кормила грудью ребенка, а рядом бились в засаленные карты безбородые парни, резвились и плакали дети, охала старуха. Изнутри палаток слышался детский кашель, материнская тихая песенка, или доносилось злое, нехорошее слово, либо старческий глубокий вздох с причитанием молитвы. И куда ни поди, куда ни взгляни, всюду люди, да люди, да шалаши, и так по всему полю, до самого берега.

«Вот тут и жди череда! — думал Матвей, оглядывая со злобой эту двадцатитысячную голодную толпу. — Нешто всех переждешь!»

И опять он побрел к своему шалашу и опять вызвал Арину.

— Ни! Николке не жить!.. — произнес он глухим голосом, точно стыдясь признаться в своем решении, и добавил со вздохом: — Что ж теперь делать!

Однако, сказав это, он зажмурил глаза и долго молчал.

— Ничего не поделаешь, — успокаивал он жену. — Будем живы, другой Николка родится, а этому... все одно!..

2

Стояла тихая, звездная ночь.

Раскинувшийся по всему огромному полю переселенческий лагерь спал в своих шалашах и в траве. Спал и Матвей со своим семейством, то бредя во сне, то храпя. Не спала только Арина.

Это была простая деревенская женщина с широкой спиной и впалою грудью, сидевшая попросту на земле, сгорбившись и вытянув вперед ноги; сощуренные глаза ее были обращены к горизонту, бледному и ясному, рот опустился углами вниз, а по широкому плоскому лицу расплылись слезы. Изредка она брала подол юбки и молча утирала им нос, или глаза, или щеки, и опять глядела на ту далекую полосу, где сходилось небо с землей и где на самом краю, над лесом, блестели две ясные звездочки, одна возле другой; обе весело мелькали, переливаясь и точно играя, как маленькие дети.

Зачем она глядела на них, Арина не думала, но глядела долго и пристально, а слезы все плыли по щекам, и материнское сердце ныло и болело. Забитая подневольная жизнь, терпеливая и трудная, только и чувствовалась Ариной в минуту горя; набежит беда, глянет ей прямо в глаза — вот она и чувствует, что ей больно и тяжело, а все остальное — дело обыкновенное.

Беременность среди работы и хлопот по хозяйству, роды, кормление грудью, порой пьяные ласки подгулявшего мужа — все выносила она как должное. Случалось тащить из кабака озверевшего Матвея, терпеть его брань и побои да скрывать свои слезы от добрых людей, а поутру топить избу, кормить ребятишек, шить им одежду, питаться впроголодь, да когда придет пост, сокрушаться о прехах и быть в постоянном страхе за свою душу, за ее вечное мучение на том свете. В труде, лишениях и думах о завтрашнем дне протекала Аринина жизнь, точно река по определенному судьбою руслу, но Арине казалось, что она счастлива; только жить было трудно.

Весело светились перед нею две звездочки, и, глядя на них, она думала про Николку. Ей хотелось самой положить его в гробик, закрыть ему глаза, самой отнести на погост, под березки, повыть и поплакать над ним, а потом уж и ехать дальше, куда глаза глядят.

3

Еще с раннего утра, почти с рассвета, над полем стоял гул и говор, а к полудню весь берег был усеян народом. Мелькали в толпе загорелые лица украинцев, бараньи шапки, мужицкие бороды, виднелись картузы и русские лица, пестрели рубахи, бабьи платки, сермяги, заплаты, узлы, котомки. Все колыхалось, двигалось и гудело. Все глаза устремились к реке, где стоял пароход с двумя огромными баржами на привязи; все глядели на высокие мачты, на которых развевались и надрывались от ветра и весело трепетали разноцветные флаги.

На жиденьком помосте, соединявшем берег с баржей, стоял чиновник, по народному прозвищу «переселенный», стоял студент в полинявшей тужурке и два матроса в белых куртках, — один с тетрадью, другой со счетами. Все глядели на толпу, а толпа глядела на них. Пустые баржи тихо покачивались на зыби, из трубы парохода валил черный дым, и было что-то жуткое в этом недолгом затишьи.

Наконец чиновник сказал матросу:

— Начинай по порядку.

И матрос закричал тонким тягучим голосом:

— Вороньковцы! Вороньковская волость!

Толпа вдруг заревела и пошатнулась. Расталкивая народ, с ответным криком выбивались к берегу вороньковцы, таща детей и волоча мешки.

— Выбрали старосту?

Толпа расступилась.

Вышел старик и поклонился чиновнику.

— Я за старосту, — сказал он. — Вороньковской волости.

Прием начался.

Каждую семью опрашивали и отсчитывали; когда же пропускали детей, то студент раскрывал остроганной щепкой каждому рот и глядел в горло. Сначала он делал это внимательно, потом все быстрей и быстрей, потом вперемежку с осмотром начал вытирать себе вспотевший лоб, потом, опуская уставшую руку, качал ею вдоль бедра и снова напрягал внимание, и опять уставал, и опять махал рукой.

Миновав «начальство», вороньковцы с шумом и говором проходили на дальнюю баржу и спускались в «каюту», прозванную переселенцами ямой, потому что внутри баржи нет ни дверей, ни окон.

Солнце пекло, над толпой, казалось, стоял пар. Чиновник обмахивался фуражкой, студент, расстегнув тужурку, одной рукой утирал лицо, другою работал.

— Овчаровская волость! — снова прокричал матрос тонким тягучим голосом, когда кончились вороньковцы. — Овчаровская волость! Вперед!

Снова загудела и заколыхалась толпа, и из нее с криком и бранью начали выбиваться овчаровцы и проходить к помосту. Народом овладело тревожное, нетерпеливое чувство. Все глядели, все толпились, точно боясь чего-то не дослышать. Многие роптали, что вот отправляют ближних, а их, дальних путников, амурских, заставляют ждать. Одни кричали, что здесь они прожились и проелись, другие негодовали на то, что смерть и болезни ополовинили их семейства, третьи радовались, что сейчас уезжают... И бранились и орали, созывая своих. И вся толпа гудела, кричала и волновалась.

— Назад! У девочки дифтерит! — заявил вдруг студент, ломая и бросая щепку, которой только что прижимал ребенку язык.

— Ваше благородие! — взмолился мужик, озадаченный и сразу потерявшийся.— Явите божескую милость... Три недели... Проелись все...

— Назад!

— Ваше благородие! Не губите...

— Назад! Назад! — подхватили матросы. — Не разговаривай!

— Ваше благ...

Голос мужика осекся. Произошло замешательство. Вся семья, уже пропущенная к барже, должна была вернуться на берег. Поднялся крик и плач. Отец больной девочки стоял со стиснутыми зубами и поднятым кулаком; казалось, он убьет ее с отчаяния, но он, ухватив себя за волосы, начал ныть тонким, почти бабьим голосом, оплакивая свою долгую новую задержку, оплакивая свое разорение и несчастье, а матрос между тем уже вызывал:

— Жилинская волость! Жилинцы, вперед!

Толпа опять загудела, заколыхалась, и мужик с его семьей, с его горем и больным ребенком, на минуту привлекший общее внимание, был мгновенно забыт.

Всякому было только до себя.

Чем дальше, тем сильнее овладевало народом нетерпеливое чувство. На глазах у всех происходили страшные сцены, когда из-за больного оставалась целая семья, а товарищи их уходили на баржу; слышались стоны, вопли, ругательства, но никто на них не обращал внимания, никто не отзывался.

Об'ятая ужасом, стояла перед чиновником женщина, бледная, с трясущимися губами, а матрос вынув из ее мешка ребенка, которого она тайком хотела пронести на баржу, показывал студенту. Ребенок был в оспе.

Эта же мысль — пронести Николку в мешке — мелькала в голове Матвея, но пойманная баба смутила его. Проститься заживо — больше ничего не оставалось делась с Николкой. Как ни думал Матвей, как ни считал свои капиталы, нужда толкала его ближе к помосту, как ни надрывалась Арина, но баржа наполнялась народом, и очередь приближалась, и никакие думы, никакие слезы не помогали.

— Будь что будет! — решил в сотый раз Матвей, с тоской и почти со злобой оглядывая и считая семью. — Не пропадать же всем, коли так... А Николка не жилец на свете... Аминь.

Народ волновался все более, все сильнее; оживление, спешка и суетня все крепче охватывали настрадавшиеся сердца; боялись, как бы не вышло ошибки, как бы не об'явили, что баржа полна, что сажать больше некуда, — и каждый вызов, каждый

окрик матроса так и шатали эту толпу, так и тянули ближе к берегу, ближе к баржам.

— Сосновская волость! — раздался вдруг голос. — Сосновцы, вперед!

Словно земля дрогнула под Матвеем. Он быстро взглянул на жену, на свою поклажу и вместе с другими крикнул:

— Мы!

А вокруг него ревела уже толпа, точно буря; его теснили, толкали, напирали на него со всех сторон. Общее стихийное чувство тревоги и поспешности охватило внезапно и его самого; в нем пробудился затравленный зверь, настала пора спасать свою шкуру; уже не было дела до бабьих слез и рыданий, раздававшихся сзади него; с устремленными вперед глазами, нахмуренный, со струящимся по лицу холодным потом, оскалив зубы, Матвей проталкивался сквозь народ, расчищая путь для семьи к баржевому помосту.

К вечеру, когда загудел пароход, когда натянулись крепкие канаты и обе баржи, переполненные людьми, грузно и тяжело тронулись, Матвей сидел на дне баржи, с'ежившись и ничего не видя перед собою: ни берега, ни реки, ни оставшегося на берегу народа. Он только ощутил, что баржа тронулась и что все кончено.

«Не встать Николке... Все одно — помрет...»

Так он думал час и два, и весь день, и неделю, и месяц; так, вероятно, будет думать и всю жизнь...

К глубокой осени опустело поле. Народ разбрелся в разные стороны, затихли и опустели бараки, застыла река. Остались только за лесом новые могилы, в поле сор и грязь, да в маленьком домике у сторожа несколько детей, осиротелых или забытых, либо брошенных родителями на произвол судьбы. Они дичились друг друга, плакали в одиночку, звали тятьку да мамку, и никто не знал, чьи они дети, откуда и где находятся теперь их семьи. Среди этих «ничьих» детей остался и Николка, исхудавший и побледневший после болезни.

— Кто твой отец? — спрашивали его. — Откуда он? Как его звать?

— Тятька, — со слезами отвечал мальчик.

— А мать как зовут?

— Мамка.

И больше ничего от него нельзя было узнать.

В. М. Бахметьев

На земле

1

В ту пору весь Заволок, хотя и слыл он на Алтае за деревню, в горсть собрать можно было. Заседатель, заглядывая сюда, так и говорил заволокцам: «Да я вас, таких-сяких, в кулак всех и — по ветру!» Не ядреное было селение, но за себя постоять могло. Даже перед начальством. По другим местам начальники только и знают, что от вражеского ока книги старого обряда прячут, а в Заволоке все на виду.

Заседатель примчится, пошумит для порядка, пугнет миссионером и — прочь. Знали заволокинские, как гнев капитана в ласку обращать: покой-то дороже золота.

Мужики тутошние считали хозяевами себя. «Наши предки, — повествовали они, — еще при Катерине земли эти заняли. Жители мы что ни на есть коренные!»

Самым почетным человеком в Заволоке был старец-начетчик Анисим Бирюков. Двор Бирюкова — хоромы, а в хоромах тех, в молельне — все богатства староверья: крест осьмиконечный, литого серебра; чаша в золоте; четьи-минеи времен незапамятных; апостолов послания, киноварью расписанные.

Старший сын у старца — богатырь. Павлу под пятьдесят, а он дедову соху — парой кони еле тянут — так и пошвыривает на пашне. С медведем такому повстречаться не страшно.

Годов двадцать тому будет, — поднялись на Заволок алтайцы. Горько стало инородцам: затеснили их мужики, с самых жирных пастбищ прогнали, к матери-Катуни на локоть не подпускали. «Наших отцов кости тут покоятся, — жаловались алтай-

цы начальству. — Русский пришел, все брал... Кадран русской!..» Заседатель и в ус не дул. Собрались тогда с духом алтайцы, вооружились батожками, да и нагрянули на Заволок. Тут вот и отличился Павел, сын Анисима. Первым к косоглазым вышел.

— Пошто пришли, н-но?!

Так взревел, что и заседателю завидно стало бы.

Смутились алтайцы.

— Гости пришли, гости! — закричали передние.

— В гости? — ухмыльнулся Павел. — А для чо же, басурмане, оружие с вами?..

Выскочил из толпы один, тощегрудый, старенький. Не выдержал. Плачет, косичкой крутит, кричит Павлу на-голос:

— Жюлики ваша, жюлики!.. Землю грабил, Катунь брал, к шишам гнал!.. Жюлики!..

Дрогнули алтайцы, ощетинились, и быть бы тут побоищу, да нашелся водночась Павел.

— Господи Исусе! — перекрестился, крякнул и со всей силы ударил старика.

— А, Кудайым! — вырвалось у толпы, а Павел, сбоченившись, как есть один, не оглянувшись даже, пошел на врагов. Двинулась за ним и вся громада заволокская.

— Что же? Разбежались алтайцы — кто куда, без крика. Утащили с собой и старика полумертвого.

Говорили с той поры о Павле:

— Орел у нас Павел... Как войнишка с Алтаем была, первым за мир постоял!..

Павел долговяз, нескладен. Длиннорук он, буен волосом, тяжел и угрюм в слове. Глаза отцовские: сини, молоды. Все в них по-ребячьи открыто. Кажется, загляни хорошенько — донышко увидишь... А не так это! Пустые у Павла глаза: гляди круглые сутки, ничего не поймешь.

Только однажды потемнели, колючим огнем налились глаза Павла.

Было дело на зимнего Николу. Приехал из Бийска Прокоп Кучурла за пушниной. Раз в год гостевал он, и народу стекалось к Бирюковым пропасть: охота послушать, что на белом свете деется. Собрались и тут. Долго о всяких пустяках молол гость, а на закуску, прищурившись, выпалил:

— Ну, братцы, теперь держитесь за грядушку!

Притихли мужики.

— Чего еще, рассказывай, — молвил Анисим.

— А и расскажу, за мной не станет... Только худое слово у меня!..

Отпил кваску, обсосал неспеша усы и бухнул:

— Так что гости с Алтая из-за Каменного Пояса пожаловали, на земли садятся, деревни свои заколачивают.

Загудели вокруг:

— Каки-таки люди?.. Где садятся? По чьему приказу?..

Торговый человек руки трет.

— Эх вы, глухари! Сидите, как ведмеди в берлоге, а у Сросток две заимки построились, да и повыше, бают, селение налаживается... Люди идут дошлые, начальство их не обижает.

— Веры какой, не слышал ли? — спросил, затаившись, Анисим.

— Веры христианской, а только не вашей... Из Бийска попа просят.

Помолчали.

— Что ж, пускай их себе! — спокойно сказал старый начетчик.

У Кучурлы брови вверх.

— Как это... пускай?.. — крикнул он. — Да ты, Анисим Гервасич, в уме?.. Нешто не мекаешь, чем тут пахнет?..

— А чем?

— Да вить их тыщи прет!.. Да вить они всю Катунь полонят!..

— Но! — поднялся в углу Павел.

— Скрозь все погрызут!..

Глянули мужики на Павла. Увидели: потемнели ясные глаза, колючим огнем брызнули.

— Чего зря болтать... Не бывать этому сроду!..

Громыхнул, как камень повернул.
Замолчал торговый человек Прокоп Кучурла.

2

Прошло с того разговора лет пять. Стоял май на дворе. С пахотой этот год управились рано: вольготничали заволокцы. У Аввакумовых дочку сводом свели с Яковом Устиновым из Бухтармы.

Аниким Бирюков обряд совершал, был в ударе, книги все перечитал, — разомлели сватья вовсе.

Праздновали свадьбу три дня. Пили годовалую травянуху, скакали по долу на рысаках, пели до ночи хором об Исусе Христе, ходящем по земле в белых ризах.

Мутило у Павла после гулянки всю ночь под ложечкой. Встал наутро поздно — солнце к Синь-Погромых вздрало, — вышел босой за ворота. Стоял, позевывал, выбирал из лохматой бороды дудочки соломы.

В раскрытых оконцах солнце плескалось. Рдел воздух от зноя. Высунув язык, томилась под лестницей Зимуха.

Огляделся Павел, вобрал в синюю заводь глаз всю улицу, сказал:

— Эн, как парит!.. Быть к полудням грозе...

Вспомнил: до света молодая чета Аввакумовых выехала в Бухтарму.

— Неисходно, ливень на перевале прихватит... Задаст Наталье с Яковом!..

И улыбнулся в бороду.

— Кажет молодухе господь плодородье...

Повернул ко двору, да заметил вдали человека, приложил руку к глазам:

— Новый человек, не здешний...

У заплота, заросшего суреницей, шел спрохвала старичок. Был он в лапотках, в холщевой, по колена, рубахе, с котомкой за плечами.

Яро кинулась на странника Зимуха.

Павел рукой не пошевелил. Сразу, без речи, без единого слова, не по душе показался ему чужак этот.

— Здорово живешь, мил человек, не знаю, как тебе по имени-отцу величать...— запел гость, снимая шапчонку; жемчугом блестели на лысине капельки пота.

— Измаялся я, хозяюшко, затрудился... Разреши ты мне после пути долгова вздохнуть малость...

Теплилось древнее испитое лицо улыбкой. По особому, по-стариковски, путался в оттопыренных усах печеричный нос.

— Проходи! — сказал угрюмо хозяин.

— А и спасибо ж тебе, золотая душа! — ожил старик. — Сам Христос повелел странного принять...

Холстина, темная от горючего пота, прихлестнулась к острым лопаткам странника. Шел он, рассыпая легкие слова, и все поддергивал на ходу набивчатые штаны.

— Прийми, что ли!.. — кинул Павел жене, пропуская гостя в избу.

Усадили бабы странника на краешек стола. Пошушукались, достали запасную миску, стали угощать.

— Скусное печенье-варенье ваше, — хвалил захожий человек. — Не ел бы, да с'ешь!..

Кончив с пятой шаньгой, вытер пальцы о седые сосульки на затылке, отрыгнул в сторону и повеселевшим голосом сказал:

— Эх-ма! Теперича чайку бы...

Улыбнулась Викторна, жена Павла, переглянулась с младшей снохой.

— Ох, божий человек, не потребляем мы этого зелья!..

— За грех считаем, — вставил Павел. — И тебе не усоветуем, как звать-величать, не знаю...

— Так, так... — протянул гость. — Епифаном зовусь!..

Он полез было рукой за пазуху, да заколебался:

— Может статься, и табачок у вас в отлучении...

— Кто табаку курит, тот духа святого турит, — уже сурово сказал Павел.

— Так, так... Ну, спаси вас, богородица! Накормили, насытили...

3

В полдень, и впрямь, понадвинулась с запада туча. Грозовая. Сила в ней огненными стрелами так и брызгала. Припахмурились ближние сопки. Седой лудою блеснула в просветах Катунь. Потемнела заволокская долина.

Избы стали коричневыми, совсем похожими на кельи отшельников.

Только на задворках, как всегда мирно и уютно бульках Уй-су.

И вот, будто весь мир онемел, полоснуло по туче жарким мечом, прохнуло и покатилось за горные хребты тугим гулом.

— Свят, свят, свят, господь бог саваоф! — кинулась молодуха Василья к раскрытым оконцам.

Дождевая капля обожгла ей руку. Она вздрогнула, хихикнула в нос.

— Хмыкай там, спаси те господь! — крикнул на жену Василий. — Свят, свят...

Снова, ослепив все синим полымем, тарарахнуло в небе.

Распушив хвост под ветром, с визгом пробежала по двору Зимуха.

Сидели с минуту молча люди, отененные близкой тучей. Столы, гора подушек на кованом сундуке, темные, старого письма, иконы в углу, казалось, ожили и притаились до поры, выжидая, что будет.

— Ты, Епифан, божий гнев с собою принес, — сказал Павел, не глядя на старика.

— Божье дело, милай, божье...

Вошел промокший Анисим. Мерный, тягучий шум дождя ворвался за ним. Повеяло знойной, отдувающейся под ливнем, землей.

— О-т-так дожжок! — обронил, встряхиваясь, хозяин.

Жилистый и долгий, белый с ног до головы, похожий обликом на апостола, стал он от двери креститься, истово вытянув пальцы. Потом, чуть-чуть сощурив светлые, свежие глаза, оглядел всех и нежданно твердым, молодым голосом молвил невестке:

— Анна! Забыла?..

— Чо, батюшка! — метнулась к нему молодуха.

— Чо, чо... Свечу затепли! Вон чего на дворе-те...

— Головушка горькая... Запамятовала!..

Епифан поднялся навстречу.

— О! Никак, гость?.. — сказал Анисим.

— Гость, родимый, гость!.. — запел старик. — Сынок-то твой, дай ему боже, принял...

— Отдыхай, коли во имя господне...

Как был в мокрой рубахе, сел Анисим у стола, помолчал, спросил:

— Откуда, брат, будешь?

— Я-то? — вскинулся Епифан. — Издалечка, родненький, издалечка... Брожу, вот, белый свет гляжу... Ох-хи-хо!..

— Странствуешь?..

— И странствую, и дело есть...

— Дело?.. Свят-свят-свят...

В грохоте удара не было слышно Епифана. Только бороденка шевелилась. Бледный язычок свечи у икон дрогнул, распух, закраснелся.

Ливень повернул вместе с ветром и теперь хлестал в самые стекла, размазывая по ним глину.

— Пойдем, нето, в горницу, — позвал Анисим гостя. — Посидим.

— Строго вы тутo живете, — сказал Епифан, опускаясь на табурет и оглядывая горенку. — Строгость во всем. Даже китайской травкой не балуетесь...

— Вера наша... как те?..

— Епифан, родной...

— Вера, Епифаний, така наша! — подбираясь, произнес хозяин. — Вера наша старая...

— Вера — оно, конешно... — Епифан опустил глаза. — А только, правду сказать, и веру не всякому блюсти дадено...

— Вера всем человекам закон!..

— Закон-то закон, да вить и закон в меру сил исполняем. Ох-хо-хо! Иной бы и рад в рай, а средствов нехватает...

— Ой, не годится так!..

Хозяин не спеша разгладил бороду.

— Я вот что скажу тебе... Охота послушать, Епифаний?..

— Дык, как сказать... — нерешительно отозвался гость и поднялся на ноги. — Полежал бы я с дороги, побаловал бы старые кости...

— И то ладно... С пути отдохнуть баско!.. — согласился Анисим. — Ступай, брат, ужо сын тебя в бане устроит...

Оставшись один в предбаннике, Епифан разостлал зипунишко, скрутил цыгарку и лег.

— Сталоверы, значит, — сказал он вслух, затягиваясь горьким дымком. — Ничего... Нам это все едино!..

Ощерил в улыбке жухлые зубы.

— При таком добре всякая вера хороша!

Уснул Епифан скоро и сразу поднял храп на весь бирюковский двор.

И пока спал, весть о том, что пришел в Заволок неведомый человек, разнеслась по всем избам.

Кто он, этот пришелец? Уже не из Ползуновой ли?

4

Еще только надувало золотом небесный парус, а со двора подымались уже голоса хозяек, совсем как клекот наседок.

Напряг Павел, потягиваясь, широкую грудь, ровно кедровище погнул. По тому, как весело чивиликали у застрехи воробьи, сразу почуял: утро разгорается погожее.

Непочатые силы хмелем наполняли голову. Дыбились, табунились мысли: о заимке, заново слаженной, о новом приплоде в отаре, о Сеньке-стригунке... Такой будет конь — под князя впору!

И вдруг зачадило на душе у Павла.

— Странник энтот... Епифан!..

Вспомнил, повел желваками скул.

— Каков-таков человек, зачем, чего ему надо?..

Пришел незванный, непрошенный, и хоть бы слово — зачем пришел. Уже не из Ползуновой ли?..

Ох, это Ползуново... Жили издавна беспоповцы там, семьи степенные, стародавние. Павел и жену себе оттуда взял. Добротно жили люди. И вот пришли-явились навозники, лапотники, вшивцы. Налетели, как саранча, уселись, вцепились и ну — сосать!.. В пять лет все к рукам прибрали... Раздобрели, власть у земли забрали, старосту из своих поставили. Поплевывают на старожилов, насмехаются: и пахота не так, и избы не по-ихнему!.. Начали стародавние семьи, — кто куда, в разные стороны расползаться... Одни — на Катанду, другие — в Бухтарму: подальше от дьявольского семени, от водки, от табаку, от попов-выжиг... Пропал куток!..

Вышел Павел, шлепая босыми ногами, на крылечко. Покричал засыревшим голосом:

— Ванятша!..

Сынишка тут как тут, — бурундук остроглазый.

— Где энтот... старик... странник вчерашний?..

Свистнул Ванятша:

— Вона!.. До свету к полям убрел...

Заспешил Павел:

— Обряди-ка, сынок, буланку!..

Встал Епифан рано, поплескал в лицо студеной водой из боченка, покрестился на прохладный восток и пошел к полям.

Острым взором провожали мужики нового человека. Шел тот налегке, без опояски, засучив штанины: в росе не мочило бы. Встретилась девонька с полными ведрами, крепкая да статная, как сохатый зверь. «Вот бы Герасиму моему в жены, — подумал Епифан. — Нарожала бы внуков целый косяк, а земли туто на всех хватит...»

Долго шел подолом горным, по тропинке, и все зарился на стороны: впервой белый свет увидел!

— Травушка-то, травушка...

Попалась одинокая лиственница, прямая, ядреная, камень — не дерево.

— Кедра ливанская, древа перемытная!..

Глянул налево, в горную щеку, синюю от леса... Покрутил, ощерившись, головой.

— Сила, сила какая!..

Направо, налево и прямо, по долу, зеленели, синели, дымились горы. Прыгали у ног кузнечики, били стекло о стекло пичуги, крутил тугим кругом беркут в набухшем за ночь небе.

— Чаша алмазная, кладовка несметная! — бормотал, умиляясь, старик. — Богатства-те, богатства-а!..

Вдруг ударил руками по кострецам, сказал громко, распевно:

— Епифан, Епифан! Ужели доведется людей обрадовать?!

Поднялись на памяти пыльные земли, люди на привязи, с рабьими ликами. Закатилось сердце, ударило в нос, как квасом, слезами:

— Обрадуешь!.. Обрадуешь, старая бродяжн...

Солнце двинулось над горным клином, дохнуло жаром на землю, омытую грозовым ливнем. Закурилась земля горячей испариной. Вся — как коврига хлеба, — только что из печи.

Издалека увидел гостя Павел. Ходил старик у зеленой пашни, наклонялся, приглядывался.

— Эн как охаживает, язва! — выругался Павел, смахнул с коня и — твердою поступью к Епифану.

Присев на корточки, разминал тот на дрожащей ладони кусок земли. И улыбался про себя пьяно.

— Раненько поднялся!.. — сказал Павел. — Пошто этак-то?..

Старик разогнул спину.

— Эх, милый! Время — золото...

— Да у те кака-така спешка-то?.. — Голос Павла басовито напрягся. — Ровно бы ты отмерщик какой... Ходишь тут!

— Хожу, белый свет гляжу! — увернулся Епифан. — Кому от того худо?

— Надо знать, где ходить! — харкнул Павел.

— По земле хожу, по божьей... — улыбнулся старик. — Ходи всякий, всякому места хватит...

И, по-другому, уступчиво спросил:

— Пшеничка, гляжу, засеяна... Ржицу-то, ярицу, тоже, чай, сеете?..

— Сеем!.. Да ты кто таков, но?!.

Стояли лицом к лицу. Один — большой, косматый, тяжелорукий, другой — сухонький, легкий, похожий на озадаченного зайца.

— Нам, милый, скрывать нечего... Крестьяне мы... А пришли из России... От обчества... А што?..

Заглянул пытливо в глаза Павла, ничего не понял, смутился. Продолжал дрогнувшим голосом:

— Ходоком я... от мира... Из голодных, сказать, мест... Из самых пропадащих...

Молчал Павел, посапывал. И вдруг — глухо:

— Так ты не из Ползунова ли?.. Ползуново тут, в низах реки...

— Был, милай, был... — ожил Епифан. — Наших там, курских, содом!.. Танбовские тоже... Танбовских, гляди, больше... Ну, доложу, нар-р-род!.. Трое ден охаживал так и этак: по приговору просился... Хоть бы тебе што!.. В ус, анафемы, не дуют...

Молча повернул Павел к коню. Старик за ним.

— Ты, говорят, беззаконное, землячок, просишь. Ты то должен унять: земли здешни кабинецкие!.. Слыхал? Ка-а-абинецкие!.. Да што ж, кричу я, не стерпел — кричу: што же вы, сукины вы сыны, этакое мне гуторите?.. Вы-то на какой земле уселились? Нар-р-род!.. Слопать готовы, ей-ей! А земляки... Ихняя, понимаешь, губерния к нашей — рукой подать... Плюнул, ушел я!.. Свой один, курской направил... Ты, говорит, выше иди, по реке... Там, говорит, пустопорожних земель... ай-яй-яй!..

Молча отвязал Павел чумбур, пнул коня в бок, вскочил в седло.

— Куда ж ты, родной? — пришел Епифан в себя.

— Во кудыкино поле!..

Глянул Павел сверху, точно пристукнул старика. Закричал хлипким, буровым криком:

— Ты што, язви твою бабушку! Проследчик мой?..

Опешил старик.

— Ишь, ты какой, право...

Хряснул Павел буланую, обдал старика пылью.

— Ар-р-ря!

Заглянул Епифан в небо: висело линючее.

5

Ругались за банею. Хлестал ветер по телу, плыла под небом муть, горы — в туманах.

Кричал Василий:

— Ты не ори!.. Твово тут ничего нет!.. Сказали тебе старики — баста!.. Ково-о?.. А мне што?.. Иди на все стороны!..

Захлебывался другой визгливый голос:

— Куда, куда-а-а я пойду?.. Я все земли... выходил!..

«Ага, наколося, запел!..» — думал Павел, подвигаясь на крики.

Старик Епифан наступал на Василия. Прыгал на месте, хватал себя за живот. Трепалась под ветром бороденка, тускло поблескивал череп, голый, с седыми сосульками на затылке. Увидел Павла, метнулся к нему:

— Слухай! Куда я пойду?.. С чем?!. Чем людей обрадую?.. «Наше... Все наше!..» Умирать будете!.. В яму всего не возьмете!.. Яме не нужно!..

Полоснул крик этот Павла по сердцу. Молчал он, опустив руки. Жалеть — не жалел: еще твердо стоял на земле Павел.

Другое тут было. Чуял: кричал кто-то, кому нет выхода, и нельзя крику тому помешать.

— Сели вы тут, завладели всем!.. Много ль прошу?.. Погибать нам?.. Люди вы, нет?..

Немота Павла, пустота его глаз подхлестывали Епифана:

— Как собаки!.. Сами не жрете и другим не даете!.. Ли это праведно?.. Ли это по-человечьи?.. Павел! Тебя вопрашиваю?..

Молчал Павел. Ухватил его Епифан за полу:

— Ой, ошибетесь!.. Ошибетесь вы!.. Слухай: не будет по-вашему!.. Придем!.. Все одно, придем!..

Сломалась Павлова бровь. Бросил негромко:

— Придешь, дак на том и уйдешь!..

— Не уйдем!..

— Уйдешь!..

Вспыхнул заревом Павел. Взглянул, отшатнулся Епифан.

— Василий! — крикнул он, пятясь.

Но сдержал себя Павел. Скрипнул челюстями и руку опустил.

6

Каждое утро собирался Епифан в путь, да все откладывал: ждал чего-то, надеялся.

Уж не звали его ни к полудням, ни к ужину. Выходила молодайка, Васильева жена, на крылечко, кричала ребятам — шли бы к трапезе, а старика как бы вовсе и не замечала.

Туча-тучей ходил Павел. Только Аниcим посылал с мальчонкой с'едоби гостю. Но однажды Ванятша заартачился.

— Не! — покрутил он головой. — Неси сам...

И не принял для Епифана хлеба.

Соседи окликали Павла на улице:

— Ну, чо? Сидит... этот?..

— Сидит!..

— Ха! Да он пошто так-то?..

Павел молчал.

— Уж не поджидат ли, старый, кого?.. Дать бы ему по маковке!..

— Дай!.. Кто тебя держит? Дай!..

И уходил, не слушая соседа.

Волшебным колобком катились догадки со двора на двор, из избы на улицу, с улицы по тропам в горы.

Не был Епифан страшен. Страшны были те, неведомые, которых гнал голод из-за Каменного Пояса. Вот уйдет старик, разнесет по свету весть о заволокских землях, и тогда прости-прощай вольная жизнь.

7

Заволокло небо мокрой овчиной. Подул с севера ярый ветер. Насупились, как верблюды без жвачки, горы. Казалось, этого-то и ждал Епифан.

— Да ты чо, бог с тобой, в этаку-то погоду? — сказал Анисим, увидя старика по-дорожному. — Куда спешишь?.. Дольше сидел...

— Нет уже, пойду! — мотнул головой Епифан. — Сон я дурной в эту ночь видел...

— Сон, брат, от дум дурных... Пережди!..

— Пойду, не держи!..

Поклонился старик хозяину в пояс:

— За хлеб, за соль!..

Сморгнул Анисим:

— Прости, коли что... Куда теперь?..

Промолчал старик. Обернулся ко всем сразу:

— Прощайте, хозяюшки!.. Хлебца бы мне на дорожку...

Кинулась Викторна за караваем:

— И, что ты, какой!.. На ночь глядя...

— Чего уж!.. — махнул Епифан рукою. — За Катунь переберусь, по займкам пойду...

Сунул каравай в суму, поклонился еще и вышел.

И впрямь вечер недобрый! Шумел и шумел тальник. Волновалось сизое небо.

Услышал старик за околицей:

— Эй, погоди!..

Испугался вдруг:

— Пал Анисимыч?..

Тяжело дышал Павел. В сумерках голова у него как болотная кочка. Руки ниже колен — сучья у кедра. Бухлым завалил словом:

— Зря ты к парому... Кто те паром об эту пору даст?.. Голова!..

— Ой ли?.. — растерялся старик. — Не подумал я!..

— Ладно, иди... Подсоблю!..

— Ты?..

Дрогнул у Епифана голос:

— Зря беспокойство тебе... Заночую, не то!..

— Айда, идем! — шагнул вперед Павел. — Челнок у нас свой...

Лежал путь лугами, серыми под заглохшим небом. Ветер метался раненой лосью. Едва поспевал Епифан за Павлом.

— Потише бы ты!..

Не тлядел назад Павел. Бормотал старик ему в спину:

— Эка ветрята... Дух перенимает... Батюшка, Павел!..

— Еще чего?..

— Не серчай ты на меня... Не по воле пошел... Главное, баре... И к царю — не ходи... Ложись, помирай!..

Не слушал Павел. Рвал, метал стариковы слова ветер.

— Сынок у меня: ступай да ступай!..

Гудел кедрач. Катунь — как бубен шаманский: стонут, звенят, грохают волны. Черен тот берег, в медвежьей весь шубе. Огонь — по волнам зеленый.

Вдруг ткнулся к Павлу старик:

— Папа!.. Эвон что по реке-то...

— Уплывем!.. — оттолкнул его Павел. — Верхом идет...

— Ой, милай... Не вышло б беды!

— Жидок ты, язви... Лезь!..

Рванул душегубку на булыжник. Епифан присел вдруг на корточки, завернулся полой зипуна, затих.

— Ты... чо?..

Молчал старик.

— Ты чо, лешак те дави?!

Отряхнул Епифан полы. В зубах — цыгарка прыгала, рассыпала по ветру искры.

— Сичас я, сичас!.. Курну разок...

Совал дрожащей рукой ко рту цыгарку, тянул и сплевывал.

— Лезь! — зыкнул Павел. — Изгиляешься надо мной?..

— Иду я, иду...

Споткнулся Епифан о весло, грузно осел на дно челнока.

— Весла бери...

— А ты? — вскрикнул старик.

— Управлять буду.

Навалился Павел на нос душегубки, наддал с берега, двинул в волны.

— Што ты дела-а-а...

Вцепился старик в борты. Изо рта — острый заячий крик:

— А-а-а!..

Крутнул челнок и понесся. Гудел кедрач, дыбились волны медведицами, скакали волчьим скоком.

Выбирали в Заволоке по осени старосту. В одну душу все: Павла Бирюкова.

Отказывался Павел от мирской чести:

— Не способен я, старики... Куда мне!..

Слышать не хотели заволокцы:

— Да ты у нас, Павел Анисимыч, щит!.. Иного такого нету и не было...

— Не достоин я! — вздыхал Павел. — Нет на мне божьего благословения...

— Бог те, Павел, благословит!.. — гудели мужики. — Кто на миру грешит, не его то грех... Становись, правь!..

Поклонился Павел старикам в ноги, головой стукнул о земь, — принял посошок вожака.

Праздновали. Годовалую пили травяную, скакали парни в долине на рысаках. Вечером, в час поздний, пели хором об Иисусе Христе, ходящем по земле в белых ризах.

И песни эти слышали с той стороны Катуни чужие мужики. Было их трое. Все как на подбор: долговязы, тощи и злы. На плечах черных, из'явленных — тысячеверстный груз. Спросил один у паромщика:

— Об чем поют?..

Глянул паромщик, прихмурился:

— А вы откуда?..

— Рязанские...

— Эх-ха! А пошто сюда?..

Старший, в онучах, — посошок в руке, — отвечал не спеша:

— Блох ваших отведать охота...

М. Горький

На дне

Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да! (За красной стеной тихо звучит гармоника и песня). Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел... Я-те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место глухое... а зима была и — один я, на даче-то... Славно — хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Наташа. Воры?

Лука. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу — двое...

открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас — стрелю!.. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу. Они — на коленки пали: дескать, — пусти! Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь! Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь, говорю: ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один — ложись, а другой — пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку. А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлебца христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот-те и воры, милая (смеется)... вот-те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они — надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не дает... обидно!.. Так они у меня всю зиму и жили. Один, — Степаном звать, — возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой, — Яков был, — все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Наташа. Они беглые? Каторжане?

Лука. Действительно — так, — беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их — они бы, может, убили меня... али еще что. А потом — суд да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит... а человек — научит... да! Человек — может добру научить... очень просто!

(Пауза).

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит). Какая правда? Где — правда? (Треплет руками лохмотья на себе). Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она, правда!..

Бубнов. Вот так... забрало!..

Лука. Господи Исусе... слышь-ка, милый! Ты...

Клещ (дрожит от возбуждения). Говорите тут — пра-авда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она — проклята! (Бежит за угол, оглядываясь).

Лука. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Наташа. Все равно как рехнулся...

Бубнов. Здорово пущено! Как в театр разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

Пепел (медленно выходит из-за угла). Мир честной компании! Что, Лука, старец лукавый, все истории рассказываешь?

Лука. Видел бы ты... как тут человек кричал!

Пепел. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит, как ошпаренный...

Лука. Побежишь, если так... к сердцу подступит...

Пепел (садится). Не люблю его... больно он зол, да горд. (Передразнивая Клеща). «Я — рабочий человек». И — все его ниже, будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит! Наташа! Твои дома?

Наташа. На кладбище ушли... потом ко всенощной хотели...

Пепел. То-то, я гляжу, свободна ты... редкость!

Лука (задумчиво, к Бубнову). Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то, не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Бубнов. Вот что-о?

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — за всяко-просто — помогают... и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался итти... праведную землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись, да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал:

ничего! потерплю! Еще несколько подожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю... Одна у него радость была — земля эта...

Пепел. Ну? Пошел?

Бубнов. Куда? Хо-хо!

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... С книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога? Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет!..

Пепел (негромко). Ну? Нету? (Бубнов хохочет).

Наташа. Погоди ты... ну, дедушка?

Лука. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый... да в ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав). А после того пошел домой и — удавился!.. (Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу).

Пепел (негромко). Ч-чорт-те возьми... история — не веселая...

Наташа. Не стерпел обмана...

Бубнов (угрюмо). Все — сказки...

Пепел. Н-да... вот-те и праведная земля... не оказалось, значит...

Наташа. Жалко... человека-то...

Бубнов. Все — выдумки... тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо! (Исчезает из окна).

Лука (кивая головой на окно Бубнова). Смеется! Эхе-хе... (Пауза). Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас...

Пепел. Куда теперь?

Лука. В хохлы... Слыхал я — открыли там новую веру... поглядеть надо... да!.. Все ищут люди, все хотят — как лучше... дай им, господи, терпенья!

Пепел. Как думаешь... найдут?

Лука. Люди-то? Они — найдут! Кто ищет — найдет... Кто крепко хочет — найдет!

Наташа. Кабы нашли что-нибудь... придумали бы получше что...

Лука. Они — придумают! Помогать только надо им, девонька... уважать надо...

Н. И. Наумов

Горная идиллия

. . . . . .

— Много, сударь, было дел меж ними, если перетряхнуть старину... Бывало и так: навезут крестьяне Ивану Миронычу хлеба, да пошлет он еще закупить его от своего имени по уезду, ну, и накупят. А ведь у инородцев хлебопашества нет, оруселые только занимаются им, да и то спустя рукава, а черневые инородцы в редкость, которые сеют ячмень, да и то в недавнее время только стали заниматься этим. Зима для них всегда голодное время. Вот, бывало, Иван Мироныч и сделает распоряжение, чтобы крестьяне не смели инородцам задавать хлеба в долг, потому, де, пользуясь их нуждой, они только разоряют их этим путем. Кто же посмеет пойти против его воли!.. Ну, крестьяне и не дают инородцам хлеба. Пользуясь этим, Иван Мироныч скупленный-то хлеб через Назара Степаныча и раздает инородцам в долги, да впятеро дороже, чем бы крестьяне роздали... а потом и выбирает с них долг шкурками да скотом. Шкурки-то как накопятся, он и отправит с Назаром Степанычем в Ирбит на ярмарку или в Нижний. Затратит он на покупку хлеба много тысячу, две, а вернет пять... да десять... Оно и оборот!.. И вином торговал он таким же порядком; да не буду греха таить: на много тысяч, сударь, и фальшивых ассигнаций переведено им через руки Назара Степаныча в тайгу к инородцам. А скот-то, скуп-

ленный у инородцев на фальшивые деньги, перепродавали на десятки тысяч крестьянам да купцам...

— Неужели все это правда, Никита Васильевич?

— О-ох, сударь... много похоронено темных дел в наших горах! — с грустью в голосе ответил он. — На вид-то только они красивы: любоваться да любоваться ими надо, а как поживешь в них, приемотришься к тому, чего творится в них... так бежал бы из них за тридевять земель... Поневоле махнешь только на все рукой, да и скажешь: на то здесь и Сибирь, на то и глухая она сторона, чтобы всякая правда в ней за сказку другим казалась... Далеко в старину не буду, сударь, заглядывать, — вздохнув, начал он: — уж в ближнее время, в бытность мою здесь в 186... году, у инородцев был голод, какого и старики не запомнят... Перемерло их от голода страсть сколько... По тропам в горах находили целые семьи мертвыми; как, значит, тащился муж с женой да детьми из гор, силясь добраться до какой-нибудь деревни, так и падали на дороге... в одной версте, глядишь, один ребенок брошен, а там другой, а подальше и мать на корточки присела да богу душу отдала, а где-нибудь в горе и отец свалился... уж, значит, не было сил подняться в гору, — так и застыл. Многие трупы детей изглоданными находили, это уж, стало быть, мясом своих детищ питались. В иной юрте в лоск всю семью мертвой находили с изглоданными руками и ногами... У другого инородца еще хватало сил добраться до улуса обруселых инородцев или до деревни... да тут, у околицы ее, он и богу душу отдавал... Ужас, ужас только рассказывать, чего творилось!.. Одни мрут, а другие, пользуясь этим, наживаются около них. Разбой стоял несосветимый; за пудовку ячменя с них, несчастных, брали, чего только глаз видел. Купцы эти и торговые крестьяне христианами нишутся, а в эту пору хуже зверей уподобились. Сотнями бежали из гор инородцы, всяким богом умаливали выдать им в ссуду хлеба. Начальство вникло в бедственное положение их, да заместо того, чтоб сейчас же, не теряя часу, оказать помощь, возбудило вопрос: можно ли инородцам выдать в ссуду хлеб из запасных крестьянских магазинов, так как хлеб этот составляет неприкосновенный крестьянский капитал? И пошел этот вопрос гулять да погуливать: иная бумажка эта где-нибудь неделю-две под сукном полежит, а народ-то мрет да мрет!.. Ну, к весне и вопрос разрешился: «можно выдать!» Только уж многие из ходатаев-то не нуждались больше ни в какой ссуде, кроме поминанья за упокой!.. Хорошо-с! Во избежание каких-либо корыстных притеснений со стороны русских волостных начальников, при выдаче инородцам хлеба в ссуду из магазинов, командировали чиновники производить эту выдачу господина О-на. Вот этот-то господин чиновник, сударь, и натворил чудес... Инородцы издыхают от голода, вопят: давай хлеба!.. А он говорит: коли поднесете мне вот столько-то, так сейчас выдам, а не поднесете, так я еще буду производить удостоверение; настолько ли вы благонадежные люди, что, взявши хлебную ссуду, будете в состоянии возвратить ее. Что было делать им, сударь? И полезли они в кабалу к крестьянам, штоб дали им денег — подарить чиновнику, штоб не дал им помереть бы с голоду и выдал хлеб. Да ведь в какую кабалу залезли!.. Иные вот уж несколько лет работают на крестьян за этот долг... и все-таки не могут отработать!.. И нажился таким путем господин О-н... Вернулся в город да домик купил... лошадками обзавелся... Теперь, сказывают, и пасека есть... и женушка щеголяет в шелках; а прежде, сказывали, и ситцевое платьице было в редкость...

— Неужели эти подвиги его остались в секрете?..

— Здесь, сударь, ничего в секрете не остается! Все это знают да еще его же похваливают: молодец, говорят, нашелся около хлебного дельца... и сам с кормом стал!.. — с иронией закончил Никита Васильевич. — Такими-то путями, сударь, и обнищали здешние инородцы. Теперь уж в редкость где встретишь зажиточного инородца, да и тот, кто теперь считается богатым, в прежнюю пору казался бы бедняком. Вот как времена-то переменились... Што, сударь, сказать вам; уж коли чиновники обирают, так суди их бог... Иного он оберет, иному и поможет в чем... Куда ни шло... А то, ведь, мелюзга-то, глядя на них, чего проделывает... так смех и горе!..

— Какая же мелюзга?..

— К примеру, скажу вам: есть здесь окружной фельдшер Т-в. Давно уж он тут служит... почитай, лет двадцать теперь; тоже человек с состояньицем...

— И тоже около инородцев нажил?

— Одна здесь коровушка-то, сударь, которую все доят, только никто не кормит, — с иронией ответил он.

— Этот-то каким путем наживается от них?..

— Распотешным. Посказать, так смех разберет! Он обязан, сударь, через год об'езжать всю тайгу, все аилы и прививать там оспу детям, потому от оспы этой инородцы тоже сотнями вымирают! Вот он и ездит... да ведь какие фокусы-то выкидывает! Приедет, к примеру, в аил и велит башлыку собрать всех матерей с ребятами. Ну, в аиле, конечно, сейчас поднимается суета, беготня... Соберет башлык баб с малолетними детьми... и приведет к нему. Вот он и начнет вынимать при них из ящика все свои инструменты нарочно для того, чтобы напугать: нож, которым трупы разрезывает... пилу, которой черепа спиливает... долото, ножницы, шилья, иглы... да при них же еще и начнет на брусе нож натачивать... Посудите, сударь, сами: видя эти приготовления для привития оспы, инородки, какие бы они ни были дикарки, но ведь все-таки матери, любят своих детей так же, как всякая другая мать; поневоле обольется у всякой из них сердце кровью от ужаса за детей своих... Ну, и поднимается плач... стоны... в ноги к нему повалятся... Батюшка, возьми чего хочь, только не режь ребят. А ему этого только и нужно; ну, и начинает торг... «Не резать, говорит, нельзя... Лекарь узнает, что я не резал — сам приедет, так и не таким еще ножом, говорит, зарежет... А коли, говорит, каждая из вас даст мне по два, по три соболька, так я маленьким ножичком, тихонько порежу ваших ребят, так, что они и не услышат!» и покажет при этом на ланцет. «А коли, говорит, не дадите, так я вот... за этот... за настоящий нож возьмусь... каким начальство велит резать!» И принесут, сударь, ему подарков; ведь матери отдадут все, что только есть у них, — только не губи детей!.. Недаром же привитие оспы инородцы и называют «чортовой тамгой»[1]. Ну, а как только он привьет оспу, они украдкой и смоют ее холодной водой... застудят... а дети и мрут от этого. Вот, сударь, как действуют на них, при наших-то порядках, предохранительные меры, клонящиеся... к спасению их... Теперь уже инородки стали умней... Как только заслышут они, что урус Т-в едет к ним с оспой, сейчас заберут детей да и бегут с ними в горы, да там и скрываются... в ущельях да лощинах, покамест он не уедет, чтоб избегнуть... чортовой тамги на детях, а, главное, — поборов...

— А что же окружной врач смотрит?.. Неужели он не знает ничего об этом?

— Не могу, сударь, судить... Да что ж... не Т-в, так другой кто, не другой — так третий... не одним манером, так другим, каким поновей, а все будут обирать. Порядок-то все один ведь...

. . . . . .

— А сами инородцы разве не жалуются на подобные действия?

— И-и, избави господи!.. Они от чиновников-то, как от огня бегают, сударь! Они и уголовные-то преступления, какие совершаются между ними в горах, скрывают от правосудия... Чиновник, говорит, наедет, бе-е-еда будет: и виноватых, и правых оберет!.. Да вот, сударь, для примера... расскажу вам недавний случай. До заседателя С-го в Б-м округе дошло известие, что один купец купил у инородца на несколько тысяч скота... и расплатился за него фальшивыми ассигнациями... С-ий, чтоб раскрыть это преступление по горячим следам, тотчас же поскакал в аил... застал там обманутого инородца и говорит ему: так, так-де, купец этот обманул тебя, отдал фальшивые деньги, разорил тебя... Давай эти деньги мне: мы, говорит, дело заведем, будем судить его, а тебе, говорит, возвратим весь твой скот или прикажем отдать настоящие деньги за него. «Не дам, — говорит инородец: — худая ли деньга, хорошая ли деньга, а все-таки она при мне будет, у сердца, а отдай коли тебе, так и хорошую деньгу худой назовешь, да в свой карман положишь и разоришь меня!» Так и не отдал. Побился-побился около него заседатель, да с тем и уехал... Обруселые инородцы, которые живут в крестьянских деревнях или, как наш улус, поблизости около деревень, — ну, те уж иной статьи люди, — с иронией произнес он, — обнатурились... во многом уж и крестьян перегнали.

— В чем же, например?

— К слову сказать, в разорении тех же черневых татар, своих родичей! Далеко за примером и ходить нечего, сударь... Первый теперича Назар Степаныч: ведь это истинная пагуба инородцев, сударь. У него все черневые инородцы в неоплатном

---

[1] Тамгой называется у инородцев печать, какую прикладывают к бумагам вместо подписи. (Прим. авт.).

долгу. Он им задает хлеб, порох, свинец для охоты на зверя, денег для уплаты ясака, и инородцы ни у кого другого не смеют брать хлеб, как только у него. Боже сохрани, если Назар Степаныч узнает, что какой-нибудь черневой инородец взял у крестьян хлеб по более дешевой цене, чем он ставит им в счет. Назар Степаныч сейчас же поедет в тайгу, сударь, и отберет все, что только есть у инородца, за долги, а там он хоть умирай с семьей с голода, — ему и дела нет. Боятся его инородцы, как огня: только заслышат они, что Назар Степаныч в тайгу едет, так дорогу для него правят, как для владыки какого... в землю кланяются ему при встрече! Чего только Назар увидит у инородца в юрте, чего ему понравилось, — сейчас тот и дарит ему вещь, а то беда, если не почтишь его... Ведь все инородцы, от малого и до большого, убеждены, что Назар Степаныч — всемогущий человек, что Назара Степаныча сам белый царь знает. Потеха, сударь, если посказать, какая комедия тут была, когда Назару Степанычу золотую медаль на шею за построенную им церковь прислали. Он сейчас дал знать по всем аилам в Чернь, чтобы инородцы ехали к нему глядеть на царский облик... и целовать его.

— Что ж, и с'ехались? — прервал я.

— С'ехались, и ради этой оказии не с пустыми руками, а с подарками. И устроил Назар такую церемонию: взял из церкви аналой, перенес к себе в дом и положил на него медаль, и каждый инородец, прежде чем посмотреть на царский облик и приложиться к нему, подходил к аналою и кланялся в землю, а Назар в шелковом халате стоит у аналоя, важный такой, и спрашивает: «Видите теперь, как царь чтит меня, а-а?»

— Видим, говорят, бачка ты наш, Назар Степаныч, видим.

— То-то же, говорит, знайте!.. Там царь, а здесь я заместо него. Чтите и вы меня, а то ху-у-удо будет вам... Меня и чиновники, говорит, все чтят и боятся... Я все могу сделать... Мне только, говорит, письмо царю отписать, и все будет по-моему... И чтят его, сударь, инородцы... А пользуясь этим, он и обирает их. И никто ничем инородцев не убедит, что все это вранье Назарки, что он их обманывает; а особенно теперь, когда они увидели, что царь прислал ему портрет свой весь из золота... Поверите ли, сударь, Назар плетями сечет провинившихся перед ним инородцев, и те молчат... Ведь, если какая тяжба случится между инородцами, они идут с просьбой разобрать их не к чиновникам, а к Назару Степанычу; он и судит их... и чего уже скажет им, так то и делается. Случится какое-нибудь уголовное преступление в тайге, которое нельзя скрыть, то виновники сейчас идут к Назару Степанычу просить защиты его, и, конечно, дарят ему за заступничество, чего он только запросит с них. А он уже едет к чиновникам ходатайствовать за них. О чем бы ни попросил Назар чиновников, особенно, бывало, при прежнем исправнике Канаеве, так уж для него все сделают, а это еще более поддерживало и поддерживает в инородцах убеждение о могуществе Назара Степаныча. Ведь он, сударь, если раскрыть теперича перед вами всю правду, и церковь-то построил на деньги, собранные с инородцев, а перед начальством выдал, что построил ее на свое иждивение.

— Как же это так?.. — спросил я, заинтересованный этим неожиданным открытием, так как ранее, бывши в городе К-е, слышал похвальные отзывы об усердном желании Назара Степаныча распространять среди инородцев православие.

— Очень просто! — с иронией ответил Никита Васильевич. — На инородцах с давних еще времен накопилась недоимка ясака, что-то на весьма значительную сумму, и они давно хлопочут о прощении им этой недоимки. Назар Степаныч, не будь промах — смекни это дело, да и подведи им штуку: давай с них собирать деньги на постройку православного храма (это с язычников-то!) для того-де, что как царь узнает, что они хоть и другой веры, а чтят его бога, он и простит им эту недоимку. А ведь инородцы, как я и доложил вам, — настоящие дети, простодушные, доверчивые, — и поверили ему. Да и как не поверить Назару Степанычу? Собрали они деньги: другой из них, может быть, занял да последний грош отдал ему. Построил Назар храм, получил за него медаль и теперь все уверяет инородцев, что уж начальство обещало ему просить царя о прощении им недоимки, ввиду их почтения к русскому богу!

В. Г. Тан (В. Г. Богораз)

На мертвом стойбище

Уже третий месяц грозный дух заразы кочует по большой тундре, собирая с оленных людей человеческие головы в ясак. Никто не видел его лицом к лицу, но говорят, что ночью, когда последняя сноха, суетившаяся у костра, влезет внутрь полога, он проезжает мимо стойбищ на своих длинноногих красношерстых оленях, ведя бесконечный обоз, нагруженный рухлядью; полозья его саней из красной меди; женщины едут вместе с ним, следя за упряжными оленями; захваченные пастухи гонят сзади бесчисленные красные стада с рогами, похожими на светлое пламя; он похищает молодых девушек, чтобы они выколачивали снег из его пологов, он уводит крепких молодых мужчин, чтобы сделать их своими рабами, он подкрадывается ночью неслышно, как песец, и шатры жителей оставляет на ночлеге пустыми и вечно лишенными движения, а беспризорное стадо уводит вместе со своими стадами.

Никто не видел его лица, но люди называют его Хозяином страны. Все говорят, что он пришел с запада. Еще с прошлого года Олений бог послал своим детям дурные предвещания. Олени, убитые на жертву, падали раной вниз; на жженой лопатке из-под нижнего края выходила зловещая черта, указывая путь ж е л а ю щ е г о п о х и т и т ь: по ночам кто-то с шумом пролетал над верхушками шатров, убивая душу огня, тлевшую под пеплом очага; подошвы шатровых столбов примерзали к земле, и их приходилось вырубать топором. Но чары похитителя ослепили ум оленных жителей, и они не понимали предвещаний. На этой новой земле, которую заняли их отцы, перейдя великую реку навстречу ветру, дующему со стороны вечера, жилось так привольно [1]. Нетронутые моховища представляли довольно простора для самых многочисленных стад, олени множились, как комары в сырое лето. Пусть тунгусские соседи брали по двухлетку за каждый пожик, пусть русские убивали по молодой важенке за четверть кирпича, по два выборных быка за бутылку спирта, стада все-таки «простирались по полям, как грязь», как будто из каждой линялой шерстинки вырастало по оленю. Всего было много на тундре. Озера кишели рыбой, берега речных заводей чернели от помета линных гусей, песцы приходили на стойбище собирать крохи, как собаки. Комары и оводы боялись прохладной тундры, в вечно влажной тине копыта оленей не знали гниения. Кочующие сани не перебирались через хребты по узким просекам, прорубленным тяжелыми топорами; тундра была ровна, как стол, и открыта, как океан, приносивший к ее окраине сплавной лес на топливо жителям.

Теперь нужно было отдать плату за всю эту щедрость. Недаром самые старые из тех, кто первый пришел на эту землю, хмурились, глядя на котлы, не вмещавшие мяса, шатры, наполненные детьми: недаром удивлялись они, что Хозяин пустынь так радушно принимает гостей. Его просто не было дома, он гостил целых двадцать лет на дальнем западе, в царской земле, а теперь вернулся назад, чтобы собрать выкуп. Б л ю с т и т е л ь н и ц ы о ч а г о в совершали ему возлияние жертвенной похлебкой, х р а н и т е л и с т а д убивали черных телят и белых важенок без одной отметины, но он презирал мясо оленя, он питался душами маленьких детей, похищенными во время сна, он упивался слезами осиротевших старух, он забирал стоявших на месте и догонял убегавших, стремясь превратить эту землю в пустыню. Уже десятки шатров стояли, лишенные людей, а он не чувствовал сытости. Шаманы бросали на его дорогу мясо, срезанное с трупов, чтобы заставить его перебраться к соседям, но ничто не помогало. Он кружился по тундре, как волк среди разметанного стада, возвращался назад, посещал каждое глухое озеро и везде собирал добычу.

На берегу озера, в одном из малолюдных уголков тундры, лежало стойбище, пораженное заразой. Оно состояло из четырех шатров, вытянувшихся в линию, и с первого взгляда не представляло ничего примечательного. Сани, нагруженные рухлядью, стояли кругом шатров в обычном беспорядке; груды оленьих шкур лежали на земле; два оленя бродили между санями, раскапывая копытами слежавшийся снег. Однако, вглядевшись поближе, можно было различить следы бедствия, посетившего стойбище. Рухлядь на санях и шкуры были покрыты толстым слоем инея, перед дверьми шатра нигде не горел огонь, из отверстий вверху не выходило дыма, свидетельствующего

1 Чукчи перебрались на западную тундру не более как лет шестьдесят тому назад, в 60-х годах XIX в. (Прим. авт.).

о деятельности женщин, варящих пищу. Людей нигде не было видно, они были внутри под завернутыми меховыми полами, столь же неподвижные и холодные, как мерзлый кусок сырого дерева, валявшийся поперек дороги.

Это было стойбище старого Рультувии, и только три недели тому назад, на берегу реки Алазеи, имелось более тридцати обитателей, вместе с женщинами и детьми. Оно состояло тогда из восьми шатров, но половина была растеряна на скорбном пути от Алазеи до Лебединого озера.

Рультувия был один из самых богатых владетелей стад, он имел двух жен, четырех сыновей и столько же зятьев. Его старшей жене внучки помогали мять кожу, а младшая первый раз понесла жизнь в утробе.

На голове его не было ни одного седого волоса, он брал призы на скачках и останавливал на аркане четырехлетнего быка, гоняющегося за важенками. Стада его истощали силу его пастухов и от зари до зари об'едали моховище и уходили дальше.

Злой дух настиг Рультувию ночью и взял у него старшего внука. Тогда Рультувия покочевал на восток, намеревясь укрыться на тот берег Колымы. Восемь раз кочевал он от Алазеи и восемь голов оставил по дороге. Дети его, заболевая с вечера, умирали к утру; он покидал их вместе с шатрами и уходил далее. Другие мучились по нескольку дней, и он увозил их на санях, под шкурами, которые покрывались инеем от дыхания больных, промерзали от пота и примерзали к перекладинам саней.

В отчаянии он свернул в сторону и покочевал наудачу, но через три дня должен был остановиться на берегу этого озера, так как большая часть его домочадцев уже не могла стоять на ногах. Два младших зятя сбежали вместе с женами. Остальные разделили общую судьбу. Старая Рультына в ту ночь, когда умер ее последний сын, повесилась над собственным очагом, чтобы осквернить его. Рультувия наутро только выглянул из полога, потом влез обратно, лег к стене и не вставал больше. Теперь шатры были наполнены трупами, стадо разбрелось бог знает куда, только несколько самых ручных оленей держались еще у стойбища. Огни потухли, в жилищах не было жизни, а в сумах пищи, так как в последние дни ни у кого не было сил, чтобы поймать и заколоть оленя.

Еще одна живая душа оставалась на стойбище. Из-под полы заднего шатра выползла женщина и поползла на четвереньках по направлению к оленям; то была Илинеут, младшая жена Рультувии, которой было всего восемнадцать лет и которая ходила в последнем месяце беременности. Она была взята стариком из бедной семьи подчиненных «соседей по стойбищу» для того, чтобы служить рабыней старой Рультыне, и вся ее жизнь протекала в непрерывной работе, нередко отнимавшей даже сон ночью. После того как она забеременела, жизнь ее стала легче, и в последний месяц ее уже не заставляли перетаскивать тяжелые меховые шатры и нагруженные сани. Но на Лебедином озере, когда одна женщина за другой выбывали из числа живых, ей снова пришлось надеть прежнюю лямку. В последние три дня она до того измучилась, что после смерти Рультувии заползла в задний шатер и легла на шкурах, слишком слабая для того, чтобы думать о бегстве. Дух заразы, пролетев мимо нее, повидимому, все-таки задел ее мимоходом. Три дня она пролежала в шатре, подавленная сном, и за все это время пробуждалась только дважды, чтобы утолить жажду осколками льда, сохранившимися в ледовом мешке. Несколько крох сушеного мяса, сохранившихся в одной из сум, служили ей пищей.

Сегодня она проснулась с утра, чувствуя себя немного лучше. Первая ее мысль была о бегстве. Оставаться в этом царстве мертвых было слишком страшно; кроме того, она чувствовала, что время родов близко и что если она не доберется к людям, то неминуемо погибнет вместе с ребенком.

Подняться на ноги она не имела силы и ползла, как зашибленная собака, опираясь руками в землю и то и дело увязая в снегу. Она со страхом думала, удастся ли ей поймать хоть одного оленя. Если бы они оказались пугливыми, она была лишена средств покинуть стойбище. К счастью, ближайший олень не только не обнаружил пугливости, но даже остановился, разглядывая молодую женщину. Илинеут облегченно вздохнула. Это был ее собственный «приданный» бык, старый и смирный, как русская корова. Он был в недоуздке и размотавшийся повод волочился по земле. Илинеут ухватилась за конец повода и подтянулась к оленю. Тем не менее прошло около получаса, пока она успела наложить на оленя немудреную чукотскую упряжь; по временам она останавливалась и плакала от слабости и расстройства.

Наконец молодая женщина уселась на нарту и слабым голосом понукнула оленя: олень побежал крупной рысью по плотно утоптанной дороге, которая, повидимому, должна была вести на чье-нибудь стойбище. В это зловещее время соседи чуждались соседей, и люди на стойбище Рультувии не имели никакого понятия о том, кто живет вблизи.

Через час олень вытянул голову и стал втягивать воздух. На него нанесло дымом от костра. Отдаленный лай собак, которым они обыкновенно приветствуют приближение чужих оленей, возвестил о стойбище. Илинеут передернула вожжами, желая заставить оленя бежать быстрее.

— Стой!

На повороте дороги стоял человек с ружьем в руках. Он выставил вперед дуло и целился прямо в подъезжавшую женщину.

Илинеут онемела от изумления и страха и не имела силы натянуть вожжи. Олень продолжал бежать попрежнему.

— Стой, или я убью тебя!

Женщина все еще не поднимала рук с надетыми на них петлями вожжей, но старый бык, видя направленное на него дуло, остановился сам.

— Кто ты? — закричал издали человек с ружьем.

— Илинеут, жена Рультувии.

— Что у вас?

— Смерть!

— А ты как живешь? — спросил человек.

— Живу!.. — ответила Илинеут просто. Она сама изумилась теперь тому, что она еще живет.

— Зачем ты лезешь к живым, ты, неубитая? — закричал человек. — Иди назад! Уйди к своим мертвецам, беглая тварь! Удавись, заколись! Не показывай своего лица живущим! Уйди, будь ты проклята!

Он кричал, как в исступлении. На его стойбище еще не было ни одного случая смерти, и в этой уединенной глуши, куда люди совсем перестали заглядывать, он рассчитывал отсидеться, как в крепости; эта зачумленная гостья выводила его из себя, и он несколько раз чувствовал искушение покончить переговоры, спустив курок. Ветер, на счастье, тянул от стойбища и не приносил к нему зараженного дыхания.

— Будь ты проклята, уйди! — крикнул он еще раз, видя, что Илинеут не двигается, и угрожающе вскинул ружье.

— Я беременна, — сказала женщина.

Человек остановился, как будто колеблясь. Забота о маленьких детях вошла в плоть и кровь жителей тундры.

— Не надо, — сказал он наконец. — Да будет выкупом за моих птенчиков!.. Уезжай!

Илинеут дернула левой вожжей и повернула оленя. Ей не оставалось ничего более, как ехать назад к мертвецам. Страх ее прошел. Живые люди рассматривали ее, как добычу заразы, как беглую жертву духа болезни, и она сама стала рассматривать себя как отрешенную от жизни. Голова ее кружилась от голода и слабости. Временами она теряла сознание действительности, и ей казалось, что она едет по вечно туманной пустыне, окружающей загробное царство мертвых. Тундра, подернутая серой дымкой, ничем не нарушала этого впечатления. Верхушки шатров Рультувии вынырнули из-под земли, как корабельные мачты среди моря, но ведь там было настоящее царство смерти.

Через час олень остановился у ближайшего шатра. Илинеут спустила ноги с нарты и сделала попытку подняться, но тотчас же со стоном повалилась на землю. Острая боль возвратила ее к действительности. Время ее пришло. Она была одна среди мертвецов, без пищи, без дров, чтобы натаять воды, окруженная заразой, лицом к лицу с новою мучительною болью, возвещавшей о наступлении события, в котором она не имела никакой опытности и после которого должна была сделаться беспомощной, как новорожденный младенец.

СССР—НКТП

Через минуту боль утихла. Мысль о младенце, который имел родиться, принесла ей бодрости. Нужно было что-нибудь сделать, и как можно скорее. Она поднялась на колени и посмотрела кругом. Олень, смирно стоявший у входа в шатер, бросился ей в глаза. В нем заключалась пища и питье одновременно. Она подобрала вожжи, ле-

жавшие на земле, и привязала их к завязкам шатра, потом повернулась к саням и вынула большой нож из чехла, подвязанного к их спинке. Ходить все-таки она не могла и поползла попрежнему на коленях, добираясь кругом нарты к левому боку оленя, который с дружелюбным храпом повернул голову к ней навстречу. Придерживаясь за его шерсть, она, наконец, поднялась на ноги и схватилась за его холку, чтобы не упасть; потом, продолжая придерживаться левой рукой, правой поставила нож на обычное место против сердца. На минуту в ее душе шевельнулось сожаление: этого оленя она выкормила теленком, и он прибегал на ее зов и пил из руки.

Но через минуту она изо всей силы нажала нож и навалилась на него тяжестью своего тела. Олень судорожно вздрогнул и дернулся всеми четырьмя ногами, как будто собираясь бежать, потом как-то опустился книзу. Глаза его выкатились и приобрели дикое выражение, ноги его дрожали мелкой дрожью, раздвигаясь врозь. Через минуту он рухнулся на снег раной кверху и забился в агонии. Илинеут немного подождала, потом с усилием прорезала оленю брюхо и вырезала кусок брюшины, достаточно широкий, чтобы прошла рука. Откинув меховой рукав, она просунула руку в отверстие и припала лицом к краям. Сделав два или три глотка, она остановилась, опасаясь пить дальше, так как чукчи говорили, что человек, напившись теплой крови вволю, может умереть. Она опять просунула руку внутрь оленя и, вырвав одну за другой обе почки вместе с жиром, спрятала их за пазуху, потом оттянула нижнюю челюсть книзу и вырезала часть языка.

Свежевать оленя она не имела силы и запаслась, по крайней мере, пищей на день или два после родов. Кроме пищи, ей нужна была также лампа, а топленое сало оставалось только в пологе, где лежал Рультувия. Она оставила оленя и поползла ко входу в шатер. Шатер бы полон грустного уныния, холодный пепел на очаге был покрыт снегом, нападавшим сверху. Опрокинутый котел лежал на боку, с замерзшими остатками зеленой моховой каши. Слева от очага лежали два женских трупа с страшными открытыми лицами, покрытыми пятнами застывшего гноя. Впрочем, Илинеут не стала на них смотреть и пролезла в полог. В пологе было темно, и, обшаривая лампу, она несколько раз наткнулась на голову старика, холодную и твердую, как камень. Отыскав, наконец, сало, она выбралась из шатра тем же порядком и поползла к заднему шатру, где она недавно пролежала три дня. В этом шатре мертвецов не было на виду, но у левой стены лежала груда, похожая на сложенные вместе туши, покрытые шкурами. Илинеут, отворачивая голову от этой груды, пробралась в полог, где мертвецов не было.

В пологе было страшно холодно, но он был так мал, что даже дыхание одного человека могло несколько согреть его мерзлые стены.

Подняв наружную полу, чтобы пропустить немного света, она высекла огня и зажгла моховую светильню в каменной чаше, потом закрыла вход, тщательно подоткнула все стенки и, сняв с себя обыкновенное платье, надела широкий балахон и поверх него завернулась в толстое меховое одеяло. Зубы ее стучали от холода. Надежды на спасение и жизнь не было никакой, тем не менее, по примеру чукотских рожениц, она стала молиться богу благосклонного бытия.

— Ты, взирающий с высоты на каждый шаг оленного племени, — выговаривала она вслух среди одинокого полога, — ты видишь мою беду и мой страх! Если ты жалостлив, пожалей малое, еще не рожденное, внушающее жалость зверям и людям. Дай ему выйти из моей утробы благополучно, отведи духов болезни и смерти, сделай лежащего сидящим, сидящего ходящим, ходящего бегающим, быстроногим, охранителем стад ночью!..

Схватки возобновились еще до конца молитвы. Но, верная завету своей матери и бабушки, она не желала навлечь на себя бесчестия криками[1] и только грызла зубами мохнатый край одеяла, чтобы заглушить боль. Она разметалась на шкурах, сбила в сторону одеяло, тело ее извивалось, как тело пришибленной ящерицы. Наконец слабый крик возвестил, что на стойбище смерти прибавился новый живой человек. Необычайным усилием Илинеут приподнялась с места и принялась убирать ребенка. Она перевязала пуповину прядью своих волос, заранее выдернутых из головы, и, завернув ребенка в свою одежду, переползла в другую сторону полога. После этого наступило забытье, длившееся несколько долгих часов.

---

1 Чукотские женщины считают постыдным кричать во время родов. (Прим. авт.).

Наконец Илинеут очнулась. Голова ее была так тяжела, что она едва могла отделить ее от мешка с рухлядью, лежавшего в изголовье. Ей хотелось пить, но за неимением воды она достала из котелка, стоящего перед лампой, несколько кусочков льду и принялась их сосать. Почки, взятые в запас, выкатились на постель; одна из них лежала как раз под рукой, она подняла ее ко рту и принялась сосать полузастывший жир. Однако, все это мало ее удовлетворяло; у чукч родильницу через несколько часов после родов поят крепким мясным бульоном, для того, чтобы он превратился в молоко грудей, а здесь не было глотка талой воды, чтобы утолить жажду. Ребенок молчал, он, вероятно, спал, она хотела повернуться, чтобы придвинуть его к себе, и почувствовала, что вся нижняя часть ей не повинуется. Тело ее от пояса было приковано к ложу. Ноги казались совсем чужими и она не ощущала их положения на постели.

Полное отчаяние овладело ее душой. Бог милосердного бытия, очевидно, был глух к ее мольбам. Ребенок пискнул. Она уперлась ладонями в шкуру и стала, напрягаясь, переворачивать свое тяжелое тело на бок. Ноги ей мешали, заплетаясь одна за другую, но наконец ей удалось принять желанное положение. Раскутав ребенка, она приложила его к груди, но в ее тощей груди не было ни капли молока. Она положила ребенка на шкуры и перекинулась обратно на спину, потом отчаянным движением локтей выпрямила свой окостенелый стан и села, опираясь на стену полога; глаза ее горели, губы запеклись от сухости. К горлу подкатывалось что-то большое, колючее, как клуб мышиной шерсти, отрыгнутый отравленной лисицей.

— Злой дух, — заговорила она хриплым шопотом, — ты, подползающий сзади, как трусливая росомаха, зачем не убиваешь сразу? Приди и возьми меня и ребенка, всех людей, всех оленей, чтобы никто не мог хвастаться безнаказанностью...

Ребенок, которому было холодно, кричал, не умолкая.

— Плачь громче! — сказала Илинеут. — Моего голоса не слышит, мое тело — плохая добыча... Любит свежее, мягкое зубам, скользкое горлу.

Ребенок как будто послушал и заплакал громче. На дворе вдруг раздался скрип чьих-то шагов по снегу.

— Олень! — сказала себе Илинеут, чувствуя, что весь пыл ее внезапно проходит. Но шаги приблизились к шатру. Чья-то рука осторожно отодвинула входную полу шатра.

Илинеут почувствовала, что ее волосы подымаются дыбом на голове. «Идет!» — подумала она и замерла, сдерживая дыхание и стараясь не шевелить ни одним пальцем. Но ребенок кричал попрежнему.

— Кто живой? — спросил снаружи голос, показавшийся ей грозным, как вой ветра.

Илинеут молчала.

— Кто живой? — повторил голос.

Илинеут решилась ответить, но из горла ее вырвался хриплый стон. Ребенок надрывался от плача. Кто-то снаружи стал на колени и потянул к себе стенку полога. Больше несчастная родильница ничего не слышала и не чувствовала.

Когда она снова открыла глаза, они были ослеплены ярким светом лампы, горевшей полным пламенем. На краю каменной чаши лежали белые пласты свежевытопленного жира. В пологе было тепло, даже жарко. Перед лампой стояли рядом чайник с горячим чаем, выпускавший белые клубы пара, и котел с дымящимся варевом. Ребенок лежал у лампы, покрытый мягкой телячьей шкурой, и крепко спал. Какой-то человек возился у котла, выкладывая мясо на чисто выскобленное деревянное корыто.

Илинеут с недоумением смотрела на незнакомца; она не могла решить, на том или на этом свете она находится.

— Кто ты? — наконец спросила она шопотом.

Незнакомец вместо ответа зачерпнул чашку горячего бульона и, бросив туда комок снега из ковша, стоявшего сбоку корыта, подал ей. Она припала с жадностью к краю чашки и выпила ее всю небольшими, но частыми глотками; за первой чашкой последовала другая.

— Что за мясо? — вдруг спросила Илинеут, со страхом поглядывая на корыто. Ей пришло в голову, что мясо может быть человечьим.

— Твой олень, — сказал незнакомец, делая жест по направлению к выходу. — Оленя освежевал, дрова принес, огонь развел, мясо сварил, чай вскипятил, ребенка вытер, полог убрал, — перечислял он не без самодовольства, но внезапно лицо его

омрачилось. — И тех вытащил вон, — сказал он морщась, указывая вновь на дверь и подразумевая, конечно, мертвецов, недавно лежавших в шатре, под шкурами.

Увидев на его лице выражение страха, Илинеут, напротив, ободрилась. Очевидно, это был не дух, если он боялся мертвецов. Она стала пристально всматриваться в лицо незнакомца. Он был высок и плечист, но совсем молодой. Щеки его горели румянцем, и даже на лбу и на подбородке были здоровые загорело-румяные блики. Несмотря на ужасную обстановку, глаза его смотрели довольно бойко, и чуть заметные брови были забавно подняты кверху, как будто в знак постоянного удивления.

— Кто ты? — спросила Илинеут более твердым тоном. Бульон теплой струей разливался по ее жилам, она ощущала давно неведомое чувство благосостояния и покоя. Ей пришло в голову, что бог милосердного бытия послал-таки ей спасение.

— Я — Кытлеп, — начал незнакомец, — сын Канена из стойбища на реке Новой. Ни отца, ни матери не зная, жил сиротою на чужом стойбище.

Здесь он остановился, как бы для того, чтобы перевести дух.

— Дух забрался на стойбище, истребил людей. Бр! — замотал он головой. — Никого не осталось! Я лежал шесть ночей, как гнилая колода, рядом с мертвецами: потом уполз оттуда, как подбитая куропатка.

Илинеут молча слушала. Судьба Кытлепа имела большое сходство с ее собственной судьбой. Впрочем, в это время и гибель и спасение выливались в одинаковую форму на всех концах тундры.

— Как твое имя? — спросил Кытлеп в свою очередь.

Женщина ответила.

— Ты тоже одна?

Илинеут молча показала рукой на ребенка.

— Знаю! — кивнул головой Кытлеп. — Это хорошо.

Он вдруг улыбнулся, как будто припомнив что-то забавное.

— Слышишь! — сказал он. — Пришел к Лалену, а он выходит с ружьем, как будто на дикого оленя. «Удались, — говорит, — или заколись!». Что я за дурак, чтобы колоться, если сам дух смерти не мог меня заколоть?..

Илинеут смотрела на него с удивлением: он мог говорить с улыбкой о подобных вещах.

— Ты знаешь? — заговорил снова Кытлеп. — Старики говорят, что дух болезни никогда не нападает дважды. Как рысь: если промахнется, уходит в сторону.

Слова его прозвучали для Илинеут как пение детей Рультеннина[1]; они несли с собою новую надежду на жизнь и на освобождение от ужасного кошмара, простертого вокруг.

— Где ваши олени? — спросил Кытлеп деловым тоном.

Илинеут покачала головой.

— А много? — спросил Кытлеп не без любопытства.

— Много, — повторила женщина. — Выше счета!..

— Пойду искать? — сказал Кытлеп полувопросительно.

— Не ходи! — поспешно заговорила Илинеут. — Боюсь одна...

— А чьи будут олени? — спросил Кытлеп с прежним любопытством.

— Этого, — указала Илинеут на ребенка. — Дай его сюда! Посмотрю, мальчик или девочка.

— Мальчик! — сказал Кытлеп, отдавая ей ребенка. — Здоровый.

Илинеут сделала усилие, чтобы повернуться на бок.

— Постой! — поспешно сказал Кытлеп. — Я помогу!

И своими огромными руками он повернул ее так ловко и легко, как будто бы весь свой век провел в ухаживании за роженицами.

— Вот! — прибавил он, подкладывая к ее груди голенького ребенка. Теперь в груди Илинеут было немного больше молока, и ребенок принялся сосать, причиняя ей сильную боль, но она была счастлива и не обращала на это внимания.

Через несколько минут кормление было окончено, и Илинеут опять повернулась на спину, не выпуская ребенка из рук.

---

1 Рультеннин — созвездие Орион. Он представляется небесным стрелком и имеет жен между земными вдохновенными женами (шаманками). Его потомки на земле считаются обладателями сладкозвучных обрядовых напевов. (Прим. авт.).

Но через минуту она подняла его вверх и протянула Кытлепу.

— Возьми его, — сказала она с заминкой; потом прибавила с внезапным порывом: — Будь ему отцом, будь мне мужем, будь хозяином дому и стаду, если бог вселенной послал тебя для нашего спасения.

— Хорошо! — просто сказал Кытлеп. — А теперь я буду есть, ибо я голоден...

Через три дня на стойбище мертвых двое недобитков духа смерти справили вместе кровопомазание брака и родов. Кытлеп трижды обвез молодую мать вместе с ребенком вокруг шатра в закрытой кибитке, запряженной жертвенным быком.

Паралич Илинеут прошел уже на другой день, но в течение двух недель она не могла ходить, и эти две недели новоявленная семья провела среди шатров, наполненных мертвецами, правду сказать, мало обращая на них внимания и занимаясь своей собственной жизнью. Наконец Илинеут поднялась на ноги, и они покинули стойбище мертвых.

А. П. Щапов

Из бурсацкого быта

(Давно минувших времен)

Если б дети бедных сельских дьячков и пономарей рассказали историю своего воспитания в духовных училищах, они бы открыли образованному свету чудеса физиологии и педагогики в истории воспитания и просвещения молодых поколений в России... Кто-то из знающих хорошо весь удушливый, убивающий процесс бурсацкого воспитания пробежал раз мысленно по духовным училищам-бурсам и воскликнул: «Боже мой! и как еще живы-то, сердечные, остаются!» Да, действительно, это — вопросительный физиологический факт.

Представьте каменную бурсу, построенную еще во второй половине прошлого столетия. Темные, удушающие зловоньем карцеры — комнаты с палеозоическим слоем грязи на полу, со щелями, в которые не только крысы, но и кошки могут влезть. Кругом тесно сплоченные деревянные кровати с грязными, вшивыми, загаженными войлоками и подушками, без одеял. Чем тут не пахнет? Чего не вдыхают легкие детей лет с 8-ми, с 9-ти и т. д.? Вот дети эти утром, по звонку, встают с этих кроваток, чешутся, царапаются от коростъ, от грязи и толстейшего слоя вшей, наденут на себя нищенские, заплатчатые разнокалиберные халаты — не халаты, шинели — не шинели, ни то ни се. Потому что вот, например, дитя 9 лет: из деревни он приехал в сотканной матерью или сестрой самодельной крестьянской шинелишке, из толстого овечьего сукна; а теперь, бог знает, до чего она доносилась. Земляк, тоже в заплатанной шинелишке, из жалости взял да пришил оторвавшийся было совсем и таскавшийся по полу лоскут бывшей правой полы, взял да и пришил его к уцелевшей еще трудной части шинели, и вышла одна пола до полу, а другая — едва до колен хватала... Ну, ничего! Оделись дети так-сяк. Надо перед классами поесть, тем более, что в 8—10 лет растительные запросы молодых организмов слишком требовательны на пищу. Вот идет служитель, несет в ящике хлеб, разрезанный на пайки. Ученики расставляются в круговую шеренгу. Чуть дерзнет ученик, обделенный пайком, заикнуться о своем насущном лишении, как служитель пнет его ногой... Тот и дух едва отведет. И довольствуются дети, выкусывают тоненький, иной раз, как блин, паек, с чрезвычайно наивною экономичностью, в самые разнообразные фигурки и терпят до голодного обеда... Чу, звонок в классы! Многие не выучили урока, потому что не по чему выучить — книг нет. Иной заложит или отдаст вовсе товарищу за книгу свою ложку и насидится голодом, отдаст порцию полуржаной булки, какая выдавалась по воскресеньям, чтобы только достать книгу и выучить урок... А какая жажда учиться, читать, что бы ни попало. Ученик десяти лет собирает на улице печатные листки всякого шрифта, всякого содержания, покупает листки у товарищей за ту же булку воскресную, да за ложку, сшивает всю галиматью в одну книжку, носит за пазухой у сердца и вторит несколько раз наизусть... Что же дальше делать?.. Одни бегут, летают по лесам, — ночуют под бойницами, где видятся им неразглядываемые видения. Другие... терпят, только терпят, терпят все... и коросты на всем теле, и голод без ложек, и наготу без нижнего белья, в шинелишке вшивой сверху, и жажду учения без книг, и дикие, зверские побои старших, и проч. и проч. Хорошо еще,

если в том же корпусе — богословы! Хоть с голоду пойдут дети наверх, постучат со страхом и трепетом в дверь и попросят хлеба, попросят книжку... Вот в классе все сидят тихо, смирно. Авдиторы выслушали всех учеников и отметили в каталоге: N, S, N и т. д. Все, кто не знал урока, у кого записан в «классическом» каталоге NS — как оглашенные, уж заранее, наперед, до прихода учителя, должны стоять у двери на коленках, прямо в вытяжку. Приходит учитель, начинается прежде всего секуция, кого в одну лозу, кого в две и проч. Была особая, привилегированная артель секуторов... А учители-то, что за учители! И методы ученья какие дивные! Вот, например, в первом классе учитель похаживает по классу, а ученики, словно обезьяны в лесах Америки рано утром или поздно вечером, все в один голос тянут громкую голосянку: один напевает аз, аз, бб, другой: покой-он-по, поп; слово-он со, со, люди-добро-аз, лда, ъ-солдат; червоно-енче-че-люди-он-ло-ло, веди-вивe како-он-ко-ко — человеко — буки-азби-и-цы азце—убийца, и т. д. А там третьи плаксиво голосят из псалтыря: «Раны моя согнившася», и проч., или: «Мал бех в братии моей в дому отца моего, пасох овцы отца моего, и проч. Терпя, потерпех и проч. и проч».

Или вот в III классе сидит учитель, уже удовлетворившийся предварительным высечением оглашенных nescintium; с латинской грамматикой, яко лев рыкая, слушает он ученика об исключениях имен существительных. Ученик робко, полуслезливо, уныло, вперя глазки в звериные очи учителя, машинально мелет что-то. Чуть заикнется — сейчас щипанье волос, самое утонченное, пощечины или плюхи, — «не знает урока, повалить его, сечь его!». И в этом слушанья и сеченьи проходит весь класс. Только и бывало отрады младшим ученикам низшего отделения, когда учитель поворотится и отойдет к старшим или средним ученикам — переводить, да даст младшим на конкуренцию урок выучить тут же в классе... И тут-то, бывало, откуда берутся быстро восприимчивые способности у самых неисправных учеников, которых вечно секут с самого начала класса, и которые сидят там у печки последними учениками. Бывало, учитель, вдруг, неожиданно оборотится от старших к младшим: «Ну, кто выучил задачку, вставай!» Раз у печки сидели два братишка-погодки, страшные оборванцы: их вечно секли за незнание латинского урока, и книг-то у них не было. На этот раз подле них сидел у печки попович, на столе лежала у него латинская грамматика, а сам он под столом что-то делал со своими коньками, на которых катался по льду... Вот два братишки-пономаревичи и воспользовались этим, живо выучили урывками урок из праздной поповичевой грамматики, да вызубрили или вытвердили, что называется на зубок. «Ну, кто выучил задачу, вставай!» — кричит учитель. Никто не встает. Как вскочат только два братишки на ноги — оба вдруг — и наперерыв, с неуловимой скороговоркой, прозвонили урок. Учитель глаза выпучил, вытаращил, и первым ученикам — диво. У учителя даже слезки из глаз полились. В следующий класс он принес двум оборвышам по шейному платку... К рождественскому экзамену два братишки очутились в списке, из последних учеников вторым да третьим.

И пошли в ход: уж в третьем классе сочиняли, сверх казенных оккупаций, свои собственные размышления, с переводом на греческий или латинский язык. сочиняли, бывало, с голоду и фатерным ученикам оккупации за ядичку, т.-е. кусок булки, разыгрывали в играх роль профессоров, читали детские лекции и пр. А один, старший брат, записывая в «классический» журнал учеников, не писал, кто не ходил в классы «по нахождению в бегах», а по субботам даже сам носил им хлеба в лес, к озерам, где артель беглых пробавлялась рыболовством... Смотритель на тот раз был хоть, как змея, лютый, злой, но слабый. Все смотрел исподлобья, говорил вяло, гнусливо, в науках был зело скуден. По слабости характера, его можно было оплести, и вот тайли от него секрет так называемого «нахождения в бегах».

Из классов выйдут. Нужно итти по звонку обедать через двор, зимой — по снегу... У кого ложки нет, потому что ложки должны быть свои. И заведет бедняк кое-как ложку деревянную, толстую, чтобы дольше служила, так бывало, украдут. Бедняги, впрочем, ухитрялись: зимой прячут ложки в снег, летом в траву, либо в поленницу, а не то на веревочке на шее носили.

Горе бывало, как нечаянно ночью бедняк раздавит свою ложку... Опять месяца 2-3 без ложки, перехлебывается с кем-нибудь. У кого сапогов нет, перебежит в

трескучий мороз по снегу в столовую... Ну, добегут так-сяк, перехлебаются. И будто ладно. А за ужином, бойкие иногда даже и к утру, ловко, воровски нальют щей-об'едков в горшок, и с страшною опасностью побоев от служителей, протащут в свою комнату, чтобы утром поранее разогреть в комнатной печке и артелью поесть. Тоже оригинально, как в кухне воровски макали хлеб в котле, в котором варились щи... Ну, дальше... Настанет вечернее занятие и опять учиться не по чему. Хорошо еще, если способный, быстро воспримчивый мальчик выучит, выловит, выудит урок воровски, урывками, заглядывая в чужую книжку сзади... А то и этого иногда не удается. Злой старшой то пошлет через двор босиком по снегу просить табаку у богословов. А еще хуже: ночью, в зимний мороз, пошлет старший ученик через двор в кухню за огнем. В кухне не достучишься, а если и достучишься, так служитель, хоть и даст огня, зато считает долгом пнуть ногой... А каково было положение тех несчастных учеников, которые, при злом самодуре старшем, из-за одного непреодолимого рабского страха и трепета от его глаз, должны были бедные, запуганные, целый праздничный день сидеть в темной, душной запечке, в поларшина ширины, и ни пикнуть, или за завалившийся где-нибудь у самого же старшего перочинный ножик «быть задержанными без обеда» на полнедели волей того же старшего? Да просто тяжело и рассказывать далее.

И то, что питало, грело детское сердце, что вливало тогда единственную отраду и выражало позыванье к чему-то, и то теперь как-то грустно, тяжело вспоминается. Бывало, в воскресенье или в праздник, гонят малюток и взрослых бурсаков, как стадо овец, в собор, ставят в шеренгу, по шнурочку ровняют детей — «оловянных солдатиков строем»... в стороннем приделе, впотьмах, чтобы и в церкви-то не было общения с миром, с народом, или чтобы прикрыть оборванышей казенных от взоров народных... Стоит впотьмах словесное стадо детей. Кто дремлет, спит стоя, кто думает о домашних, кто об уроке... А вот, дитя 8 или 9 лет, с юных ногтей серьезное, задумчивое... о чем молится, так пламенно молится впотьмах этот малютка, что стоит у стены, невидимый начальством?.. Со слезами, сердяга, молится в землю... Ужели это жесточайший, окаянный грешник, -человекоубийца, подлец, лицемер, ханжа 8 или 9 лет? Ужели совесть его грызет за что? Или что ему нужно? Чего он просит? Дара-ли ученья, знания? Или тоску безотчетную, грусть-тоску страдальческого детства изливает в слезах и молитве?.. Или, быть может, это слезы и безотчетные порыванья неопределившегося, неразвивающегося, необразуемого детского мозга и сердца?.. Да, это тяжелый, нераскупоренный, неопределенный, смутный, но полновесный груз, быть может, богатого мозга давит, теснит детский организм, инстинктивно рвется к развитию, раскрытию, проявлению и, нигде не находя его, изливается, облегчается слезами и порываниями детски-пламенной, но безотчетной молитвы. И странно: этот слезно и пламенно молящийся малютка, после, лет в 25 или в 30, после страшной внутренней борьбы, после тяжелого процесса анализа, сомнения и скептицизма, иногда делается непреодолимым атеистом, материалистом... Да, пусть педагоги об'яснят этот физиологический процесс перемены в мозгу, переработки пламенно молящегося малютки 9-ти лет в 30-летнего неверующего... Какой, значит, напряженно-самодеятельный, какой тяжелый процесс превращения, переработки, саморазвития совершался в лаборатории мозга с 9 до 25 лет! Но возвратимся в бурсу...

Вот настало лето. Ученики немножко поживее. А многие и «бягуяшася». Зато опять больница полна хромыми, слепыми. Скорбутных инвалидов целая дружина; с костылями, с стянутыми, согнутыми ногами, еле-еле бродят по ограде бурсы... Изредка их, как овец, свалят в одну телегу, да и провезут по городу — протрясти немного, по докторскому благоутробию. А слепых-то, слепых-то! Это — другая дружина. Как закатится солнышко летом, так и являются эти несчастные наследники «куриной слепоты», несчастнее нетопыря ночного, наслаждающегося свежестью и прохладой ясного летнего вечера... А покойников, покойников-то в иное лето! Бывало, начнет свирепствовать скарлатина: валит повалом бурсаков. Покойника три или четыре зараз лежит во втором или третьем классе. Ученики-товарищи по очереди ходят читать всю ночь...

Вот, слава богу пришла, наконец, вакация. С грехом пополам сданы экзамены. Все, у кого есть отцы и матери близко, хлопотливо и живо собираются домой, отыскивают попутчиков или отправляются артельками пешком. Несчастные сердяги, бедняки, только те, у кого и отца-матери нет, или они так бедны и так далеко, что

и помышлять нечего о свидании до окончания курса, или уже совсем «до скончания века» чьего-нибудь из них.

Вот наезжают и батьки за сынками. Каких сцен тут не бывало! Вот приезжает раз из-за Лены за сыновьями пономарь, старик лет 60; у него было два сына во втором классе училища. Как только отец увидел своих детей, — слезы, слезы полились у него из глаз. Чтобы никто не видел этих слез, он взял детей да и увел на задний двор бурсы, за поленницу, взял щетку и стал на солнышке соскребать толстый слой вшей с шинелей и с голов своих детей, слезами поливая их. Квартиры в городе нанять было не на что, так он решился остановиться с лошадью на Ушаковке, на поляне, где нередко останавливались приезжие издалека буряты и крестьяне. Туда пономарь увез своих деток, снял с них шинельки и рубашки. Дети купались, пономарь плакал да соскребал вшей с шинелек на бочке, да мыл рубахи...

А вот приехал с Лены патриарх каникулярных странствований — бирюльский пономарь Филипп, на паре своих кляч... у него у самого деток было обилие, — чуть не во всех классах училища и семинарии. Да он набирал с собою чуть ли не всех ленских бурсаков, в том числе часто брал и двух сыновей вышеупомянутого пономаря, который был с ним одного благочиния и сосед по приходу. Вот, бывало, Филипп наберет бурсаков, насадит их, как горшки, на телегу и отправится тихим шагом в путь-дороженьку... То-то красиво! Кто без шапки и без сапогов, кто в одной рубашке без шинели, голыш на голыше. Зато как веселы все! Лишь только выберутся за город — побегут прыгать по дороге, по сторонам, с горки на горку... А Филипп наш, заикаясь немного, покрикивает: «Хлопчик, брызынтуй, брызынтуй, ребята!» Ни дождь, ни буря — ничто не берет, даром что полунагие. От Иркутска до Лены всего 250 верст. И это пространство обоз бурсаков, под командою Филиппа, тянется, бывало, дней семь. Бурсаки больше пешком идут, чем едут, только когда под гору спускаться, так присядут все. Остановки для корма лошадей бывают частые. Вот где-нибудь у воды в неоглядной долине, у горы, обоз остановится — кормить лошадей. Бойкие мальчуганы живо распрягут лошадей. На выстойке спутают им ноги и пустят на густую питательную траву; немного погодя, напоят и опять пустят.

Между тем, Филипп сварит в котле щи с мясом и всех накормит, хоть у чужих детей должен быть свой харч... Поевши, Филипп ляжет под телегу уснуть... Потом, в большом медном чайнике сварит чаю кирпичного, и также отечески напоит всех. Сам он чаю любил пить много и долго... С усердием воспивая чай, он то и дело поругивается, покрикивает то на своих детей, то на пассажиров своих и все что-то ворчит... Постоявши часа два или три, опять пускались в путь словно древние израильтяне по пустыне Аравийской.

И после бурсацкой замкнутости, мертвящей удушливости, звоночной монотонности, — какой простор степей, полей открывается, какая роскошная, величественная, грандиозная раскидистость гор и долин! Вот тихо, устало тянется экипаж бурсацкий темным лесом, то поднимаясь на крутую гору, то спускаясь в долину. С вершины гор вдруг раскрывается далекая широкая долина, а за ней — опять синеются леса да хребты и по сторонам тоже лес да горы крутые. У подошвы гор журчит, струится ключ или река. По долине пасутся огромные стада белых овец, тучных коров, справных лошадей бурятских. По долине раздается разнообразный гул бяуканья, мычанья, ржанья и гоготанья бурятских пастухов... Вот едва тащится, переваливаясь с боку на бок здоровый бык в одноколке с огромными колесами. На быке бурят везет турсуки с тарасуном и тянет заунывную, пустынную песню, внушающую много дум о судьбе инородцев всероссийской империи... А вон там издали мчится, несется на лихих конях, во весь опор, во всю прыть, стремглав, дружина подгулявших, верно на свадьбе, бурят: пыль столбом сзади их!.. А жизнь-то, жизнь этой дикой, но могучей природы! Трава густая, как море колышется по долинам; птицы севера так и вьются по горам, по лесам и по траве, поют, кричат, каркают... Насекомые — кобылки, веретена, осы, шмели — жужжат, пищат, трещат... Дикий диссонанс звуков, полный гармонии жизни, простора, свободы! Экипаж бурсацкий тащится, и забытые бурсаки, резвясь, шаля и бегая, оживают. Недостаток воспитания школьного, педагогического восполняется хоть живительным воспитанием природы... Захочет Филипп — экипаж поворотит к юрте знакомого гостеприимного бурята. Там радушно человечно-умный дикарь-бурят угостит старика пономаря тарасуном, а смышленая, добрая дикарка-бурятка сварит деткам-бурсакам вкусный саламат... И

опять бурсацкий экипаж весело, бодро потянется в гору с тяжелой ношей горя и нищеты, как и большая часть из этих бедных, необразованных, неотесанных бурсаков, будут потом подниматься на жизненном поприще в гору, трудно-доступную, пролагая лбом себе дорогу иную, чистую, быть может народопросветительную, народообразовательную...

Так день за днем и ночь за ночью тянется филиппов бурсацкий экипаж с обычными остановками и прохлаждениями. Вот, наконец, приближается наш экипаж к Лене... «Есть ли брод через Лену?» — спрашивает Филипп встречных мужиков. — «Есть, есть», — отвечают те. Надо заметить, что Лена ближе к истоку своему, в самых верховьях, до Исети или до впадения в нее реки Манзурки не везде глубока, особенно в сухое лето. Местами бывают броды через нее, только не прямые, а зигзагами, криволинейные, так что чрезвычайно трудно и опасно перевозиться через нее бродом.

Но вот, наконец, обоз Филиппа у Лены и его отечества — Бирюльки. Тотчас из телег вынимается все горно бурсацкое, болты крепко привязываются к осям, чеки или спички заколачиваются крепче в оконечности дырки осей, чтобы не снесло колес. На телегу поперек накладываются палки. На палки эти складывается весь багаж бурсацкий, — и сами бурсаки устанавливаются стоя в телеге, придерживая накладенное на палки имущество и сами придерживаясь друг за друга. Сам пономарь Филипп восседет на козлах и, перекрестясь, пускает лошадей в Лену... Гик, там, остановки, понукание!

Страшно смотреть в воду; чуть в сторону или не туда, не по фарватеру переброднему, не по зигзагам, — и вниз по матушке по Лене... и Филипп, и весь его бурсацкий синклит!.. Нет, Филипп уже искусился чуть не тридцатилетними опытами. И вот, экипаж наш водошествует то прямо через Лену, то вверх по Лене, то вниз по Лене. И, наконец, колесница Филиппа с возом бурсаков добирается до берегу, и тут воспевается песня коням и всаднику «Славно бо прославися»... И вот, по сию сторону Лены стоит, красуется слобода Бирюлька — отечество Филиппа; раскинулась она, помнится, в полуверсте от Лены; меж гор и черного густого ельника, опушающего берега Лены, виднеется крутая, громадная, бурокаменная скала, чудно, фантастически построенная игривой и вместе грандиозной архитектонической силой природы. Скала как-то страшно нависла над Леной своими громадными каменными выпуклостями; смотришь и думаешь: вот, вот оторвутся эти груды и с шумом рухнут в воду, и заплещется Лена; а Лена, меж тем, так тихо, плавно, лениво течет подле скалы... На вершине скалы грандиозно кристаллизовался массивный, небрежно сколоченный высокий каменный свод, словно возвышенная арка или триумфальные ворота. В середине отверстия этих каменных, скалистых ворот скульптура природы причудливо сгруппировала, выделила фигуру на подобие человека, словно богатыря, какого-нибудь Святогора... На юго-восток, по правой стороне Лены, тоже скала краснополосая тянется вниз по Лене далеко... На самой вершине скалы с Лены виднеется лес. То начинается хребет, простирающийся далеко на восток... По этому хребту лежит гористая, каменистая дорога в родную деревню тех двух бурсаков пономаревичей, которым отец соскребал вшей щеткой с шинели и голов. В Бирюльке нашли свою обетованную землю дети самого Филиппа пономаря, дети дьячка Александра, да дети попа... Прочие бурсаки слезли раньше, еще по ту сторону Лены, потому что у них ближе были дома на Манзурке, а другим нужно было дальше пешком уж дойти, прямо по столбовой Якутской дороге... А двух пономаревичей везет по хребту в село родное к отцу, пономарю из крестьян, и к матери, пономарице-крестьянке, добрый дядя мужичок бирюльский!..

В другой раз, на досуге, буде местечко будет в нашем журнале, расскажу и про сцены встречи детей с матерями и сестрами, и про житье-бытье бурсаков на вакации, и про сельские полевые работы их, и про знакомство с крестьянами, парнями, и про любовь к крестьянским девушкам, про родственные связи с крестьянами и тощения у них, и про вакационные занятия в свободные от работы дни, и про гонения пономарских детей от разных личностей и проч. и проч., а также и про грустные проводы и путешествие обратно в бурсу и продолжение бурсацкого житья впредь.

Николай Негорев

Я поступил в гимназию во время крымской войны, когда в народе ходили какие-то неясные слухи о том, что три великана: француз, турок и англичанин колотят четвертого — русского, но большинству до этого было мало очень дела. Образованное меньшинство знало, что

...в таинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом...

но очень немногие выписывали «Художественный Листок» Тимма с портретами русских генералов и щипали корпию, сдавая ее в канцелярию губернатора, где она и шла на набивку подушек, вытирание перьев, растопку печей и другие местные потребности. Самые образованные стоняли охотников в ополчение и хвалили мужество и патриотизм русского мужика. Ополченцам устраивали пиршества и, провожая их, угощали водкой, пирогами и патриотическими стихотворениями местных поэтов, вдохновленных надеждой на прибавку жалованья. Ополченцы, давясь пирогами, кричали «ура!»; зрители, ковыряя пальцами в носу, отвечали им тем же, и в газетах появлялась корреспонденция с красноречивым описанием восторгов. Вообще, войной интересовались очень мало, а я только мельком слышал о ней от отца.

В это-то время я поступил в гимназию.

Кому случалось когда-нибудь осматривать большой, только что отделанный дом, тот, вероятно, путаясь по свежевыбеленным, незнакомым пустым комнатам, чувствовал в себе какую-то пустоту и недостаток уверенности. Когда я вошел в пансион и почуял запах известки, я точно вошел в пустой незнакомый дом, и мне стало неловко. С тех пор запах известки всегда напоминает мне день моего поступления в гимназию. Едва ли в жизни я чувствовал когда-нибудь себя столь беспомощным и слабым, как тогда.

Прежде всего мучения мои начались тем, что меня обступила шумная толпа незнакомых бойких мальчиков, которые закидали меня вопросами о том, откуда я, сколько мне лет, кто мой отец и проч.

— А ты видал Москву? — дерзко спросил меня парень лет шестнадцати, размашисто подходя ко мне.

— Покажи ему, Сколков, Москву!

— Видал Москву?

— Нет, не видал, — смущенно отвечал я.

— Ну, так я тебе покажу.

Он зашел сзади меня, схватил за волосы на висках и дернул кверху так сильно, что мне показалось, будто кожа отдирается от черепа. Я хотел было закричать, но в это время все вокруг меня засуетились.

— Яков Степаныч идет! Яков Степаныч! — зашумели вокруг меня с радостью сильно проголодавшихся людей, извещающих друг друга: «обед несут! обед несут!»

— Это самый лучший учитель, — отрекомендовал мне кто-то налету.

Все бросились к скамейкам и уселись за парты. Я не поспел за другими и очутился на первой скамье с краю.

Вошел учитель довольно высокого роста, в синем фраке, с волосами, прилизанными вперед к глазам, точно заслонки у пугливой лошади. Все радостно вскочили на ноги при его появлении; он поклонился, медленно понюхал табаку, крякнул, сказал: «ну-с» и подошел к первой парте.

— Яков Степаныч, у нас есть новичок, — сказал кто-то.

— Где? Молодец! — ласково сказал Яков Степаныч, погладив меня по голове своей широкой ладонью. — Homo novus — новый человек, собственно. Садись. Так называли в Риме выскочек. Вот, например, Марий. Он был простой плебей; был необыкновенно ловок: Тибр переплывал в семьдесят лет. Тибр! А лорд Байрон Геллеспонт переплывал. Англичанин хитер — обезьяну выдумал...

— Го-го-го! — раздалось по всему классу. Учитель уперся в бока и тоже захохотал.

— Но Байрон был молод, а ведь Марий старик, старик семидесяти лет! Впрочем, пословица говорит: молод, да простух, стар, да петух...

Весь класс опять захохотал громким, неестественным смехом. Дело в том, что Яков Степаныч считал себя большим юмористом, и ученики нарочно поощряли его своим хохотом к рассказыванию анекдотов для того, чтобы отвлечь от спрашивания уроков.

— Знаете басню Крылова: «Старик и трое молодых»? — продолжал Яков Степаныч на тему о старости.

— Вот, Яков Степаныч, — выскочил кто-то, подавая учителю книгу.

— Да, вот она!

Началось чтение басни. Яков Степаныч читал очень недурно, и ему приходилось несколько раз останавливаться, чтобы успокоить бестолковый смех, расточавшийся с нашей стороны уж чересчур щедро, ввиду того, чтобы отвлечь внимание Якова Степаныча от задних скамеек, где, под шумок, составлялась партия в носки, в чет и нечет или орлянку. Вслед за первой басней Яков Степаныч прочел вторую, в которой старик, неся вязанку дров, призывал смерть, а когда она пришла, пригласил ее помочь донести вязанку. В этом месте класс хохотал минуты две. Воздух дрожал, и, казалось, грохот смеха никогда не прекратится.

— Да, остроумный ответ, — сказал Яков Степаныч, когда все немного поуспокоились. — Вот тоже мне очень нравится остроумный ответ Суворову. Суворов терпеть не мог немогузнаек...

И «остроумные ответы» полились в три ручья. От Суворова Яков Степаныч перешел к значению шуток вообще и, сказав несколько слов об аттической соли, заговорил о значении шутов в разные времена, откуда уже перешел к остроумным мистификациям. Звонок прервал его на самом интересном месте какой-то повести, где два любовника, преследуемые ревнивым мужем, решились умереть и приняли вместо яда слабительное.

— К следующему разу приготовьте следующий параграф, — проговорил Яков Степаныч, выходя из класса среди всеобщего шума. Он всегда так преподавал немецкий язык в младших классах, а в старших классах — словесность, и ученики не могли им нахвалиться.

Во время шума, гама и пыли, всегда наполняющих маленький промежуток времени между уходом одного учителя и приходом другого, — ко мне подошел тот, довольно взрослый, неуклюжий парень, который показывал мне Москву.

— Ты ел кокосы? — спросил он, схватив меня за плечо.

— Нет, и не хочу, — решительно отвечал я.

— Нет, ты попробуй. Вот сейчас придет учитель — Федор Митрич — он добрый; постоянно с собой кокосы носит, ты у него попроси.

— Нет, я не хочу, — повторил я.

— Шш!

Все бросились на свои места. В класс вошел, слегка прихрамывая на левую ногу, высокий черноволосый учитель, со ртом, искосившимся на бок от паралича. В костюме его было заметно большое неряшество; волосы не причесаны, сапоги не чищены, рубашка грязная. Это был Федор Митрич, учитель географии. Он доковылял до стула, тяжело сел на него и, подперши голову локтями, начал смотреть в окно. В классе царствовала грозная тишина.

— Федор Митрич, вот новенький есть, — почтительно доложил Сколков, показывавший мне Москву.

— А-а!

— Он хочет попробовать кокосов.

— Новичок? где он? Поди-ко сюда, — проговорил Федор Митрич тем коварным тоном, каким произносит актер: «а подать сюда Тяпкина-Ляпкина».

Я встал и подошел к учительскому столу. Федор Митрич, молча, внимательно начал осматривать меня.

— Повернись! Экой птичий хвост! — вскричал он, изо всей силы дернув меня сзади за фалду фрачка, так что я невольно всем корпусом подался назад. — Дворянчик! На конфетах воспитан! — Что ж ты, щенок? — повертывайся! — вдруг яростно крикнул Федор Митрич, точно я наступил ему на мозоль.

Я повернулся к нему лицом.

— Ел кокосы?

— Нет.

— Хочешь попробовать?

— Нет, покорно вас благодарю, — со слезами на глазах, проговорил я.

— Нет ты попробуй. Повернись.

Слезы у меня потекли по щекам. Я повернулся.

— Раз.

Федор Митрич ударил меня казанками кулака по голове, в темя. Слезы поплыли по моим щекам еще ниже.

— Господи! За что бьет меня этот человек! Некому за меня заступиться, — жалобно подсказало мне мое сознание.

— Два.

Раздался второй, третий удар, и я заплакал уже навзрыд, совершенно забывши, где я нахожусь.

— Это что еще за нежности! — крикнул Федор Митрич. — Вот я тебя попробую прежде, голубчика, что ты такое знаешь. Чему тебя учили там, в твоих родовых поместьях-то?

— Я учился... — начал было я, но слезы душили меня.

— Какой главный город в Персии?

Я начал отвечать. Оказалось, что я знал даже больше, чем требовалось для моего класса.

— Так, так! — сердито подтверждал мои ответы Федор Митрич. — Выдрессировали! Ай-да батюшкин сынок! Садись на место.

После этого началось спрашивание уроков; Федор Митрич с молчаливой угрюмостью слушал ответы и ставил в журнале нули.

После него к нам явился какой-то обрюзгший толстяк, одетый еще неприличнее Федора Митрича. Одна нога, обернутая грязной онучей, болталась у него в каком-то нето галоше, нето опорке. Он грузно хромал, почти подпрыгивая на каждом шагу.

— Ну, читай ты, Малинин, — гнусаво проговорил он.

Малинин начал монотонно читать басни Крылова. Толстяк (учитель русского языка Иван Капитоныч) сел к столу, прилег головой на руки и сладко задремал вплоть до звонка. На задней скамейке Сколков выиграл у кого-то шестьсот носов и спокойно получал свой выигрыш, громко отбивая носы к великой потехе всего класса.

На последнем уроке не было учителя, и за порядком наблюдал старший ученик Малинин. Он вышел к классной доске, написал на ней: «шалили», поставил двоеточие и остановился среди класса с мелом в руках, отыскивая глазами нарушителя тишины и порядка, которого бы можно было занести в первую голову под рубрику «шалили». В классе поднялся шум, в Малинина начали бросать жеваной бумагой, корками хлеба и кусочками штукатурки, а с заднего стола вылетела даже немецкая грамматика. Но отважный мальчик был так тверд при исполнении своих обязанностей, что его нисколько не поколебала и немецкая грамматика: он, под градом хлебных корок и бумажных шариков, неусыпно заносил на доску одну за другой фамилии шалунов, делая это с таким спокойствием, как будто говорил сам себе: «ладно, ладно! кидайте покуда, сколько хотите; через четверть часа вас всех перевесят».

Ко мне столько приставали перед обедом с разными глупостями, в роде уверений, что новичок должен, выходя из-за стола, целовать руку у надзирателя, или из скромности ничего не есть за обедом, — и так надоели, что я очень обрадовался, получив возможность уйти в сад и уединиться хоть на несколько минут. Я сел на траву и с горечью начал думать о своем положении. Мне казалось, что сегодняшние мучения будут повторяться каждый день, и я скоро разжалобился до совершенной безутешности. Мне припомнилась деревенская свобода и покой; я начал плакать и дразнить себя жалкими картинами, чтобы вылить со слезами как можно больше своей печали.

. . . . . .

Надо заметить, что в пансионе жило очень немного платящих воспитанников, таких, как я; прочие состояли на иждивении казны. Все это были, конечно, бедняки, и инспектор считал очень деликатным напоминать им при всяком удобном случае, что они даром едят казенный хлеб. Между своекоштными, приходящими учениками, казеннокоштные запросто назывались «казной пузатой», и к числу этой «казны пузатой» относили и пансионеров, платящих деньги, так как по наружности они

ничем не отличались от казеннокоштных, а справляться в канцелярии о том, кто платит и кто не платит, никто, конечно, не желал. Вообще с живущих в пансионе инспектор взыскивал гораздо строже, и «казна пузатая» пользовалась в гимназии дурной репутацией. По этой, вероятно, причине над ней было значительно больше начальников, чем над своекоштными. Кроме учителей, инспектора и директора, поровших розгами в классах, в самом пансионе было еще много начальства, заботящегося о нашем благе до того, что вздохнуть было нельзя. Наш пансион, как все заведения того времени, подчиняясь военной субординации, был разделен на две половины — на старших и младших. Старшие жили в особой старшей спальне, из которой они почти никогда не выходили, тогда как младших в течение дня вовсе не пускали в свой дортуар. Старшим дозволялось напиваться пьяными, играть в карты, курить табак и проч. Во время обедов и ужинов они садились по краям столов и разливали кушанье, снимая в свои тарелки жир со щей, отбирая себе лучшие куски говядины, пирогов и проч. Старший имел право оставлять младших без обеда, рвать за уши, ставить на колени; младший должен был повиноваться, утешая себя мыслью сделаться впоследствии старшим и, в свою очередь, оставлять других без обеда, рвать уши, ставить на колени. Товарищество в старшей спальне было развито до последней степени — старшие крепко стояли друг за друга, и даже сам инспектор их не шутя побаивался. О подвигах старших ходили самые невероятные легенды. Один из них разбил когда-то полицейский раз'езд, другой украл ризу с образа, третий поджег гимназию и проч. Всем этим чудесам верить, впрочем, было нетрудно. Между старшими находились малые лет тридцати и больше. При мне учился в шестом классе некто Чабаксаров, тридцати трех лет. В прежнее время очень редко исключали казенных воспитанников, и потому неудивительно, что, сидя в одном классе по три и четыре года, многие оставались в гимназии почти до сорокалетнего возраста. Младшие находились в рабском повиновении воле старших, и даже Сколков, которому было лет под двадцать, непрекословно становился на колени по первому приказу какого-нибудь мальчишки-старшего, упавшего бы замертво от одного сколковского щелчка. Каждый младший считал за великую честь, если старший удостоивал его своим вниманием, с'едая его булку, или занимая у него деньги, само собой разумеется, без отдачи. Зато, как только младший переходил из четвертого в пятый класс, он начинал пользоваться этими же правами и мог с лихвой получить то, что давал. Он делался настоящим извергом, сладострастно моря на коленях по нескольку часов мальчиков, всего несколько месяцев назад бывших его товарищами, а, может быть, и друзьями. Какова бы ни была дружба, она прекращалась, если один из друзей оставался в четвертом классе, а другой переходил в пятый и получал право заморить своего друга на коленях. Старших мы боялись больше, чем надзирателей, хотя последние могли, в случае крайней надобности, сечь розгами строптивых и непокорных.

У нас было два надзирателя, которые дежурили поочереди. Один из них был добрый старик, вечно читавший романы, лежа в спальне, на своей кровати (надзиратели жили в младшей спальне), ни во что не мешавшийся и ни разу, сколько я помню, не воспользовавшийся своим правом наказывать розгами. Другой надзиратель — высокий, худой, чахоточный, напротив, не имел часу спокойного; все ходил и наблюдал за порядками.

— Куда ты бежишь? — кричал он в одном месте, заметив ученика, очень скоро идущего по коридору.

— Зачем ты грызешь ногти?

— Умой руки — у тебя все руки в чернилах.

— Ты никогда не чешешь волос — тебе нужно обстричься.

— Зачем ты болтаешь ногами под скамейкой? — бдительно барабанил во всех углах Адам Ильич. Но если случалась какая-нибудь жалоба со стороны одного ученика на другого, Адам Ильич положительно торжествовал. Он, как опытный юрист, рассматривал дело с сих и этих сторон и, торопясь, после должного и всестороннего обсуждения, постановлял решение.

— Ты говоришь, что он затрогивал тебя. Положим, что он затрогивал тебя. Как он тебя затрогивал? — спрашивал Адам Ильич.

— Он тыкал меня стальным пером.

— Хорошо-с. Положим, и тыкал, но из этого вовсе не следует, чтобы ты должен был набрать в брызгалку чернил и брызнуть ему прямо в лице. Ты брызнул в него? да?

— Он сам хотел в меня брызнуть.

— Зачем же ты не сказал об этом мне, а сам распорядился брызнуть?

— Я его вовсе не трогал. Он подошел к моему столу и брызнул в меня из брызгалки чернилами, — говорит истец.

— Он лжет, Адам Ильич: — и брызгалка не моя, а его.

— Положим... — начинал опять Адам Ильич.

Разбирательство продолжалось, и только после часовых прений Адам Ильич, наконец, постановлял решение: того, кто обрызган чернилами, ввиду того, что он тыкал товарища стальными перьями, оставить без булки, а обрызгавшего, за самоуправство, оставить без обеда.

Очень понятно, что Адама Ильича не очень-то уважали воспитанники. За свою плавную методическую походку, с головой, поднятой кверху на длинной жилистой шее, — он получил прозвание Гуся. Всякая неприличная шутка, всякая пакость против Гуся заслуживала полное одобрение, и имя одного ученика, успевшего пришить сонного Гуся к простыне, с большим уважением передавалось потомству, хотя доблестный шалун уже давно служил солдатом в каком-то гарнизонном батальоне. Если Адам Ильич, по оплошности, оставлял свою шляпу на конторке, можно было с уверенностью сказать, что она в его отсутствие будет измята; если он уходил из столовой, не заперев в ящик какой-нибудь свой рисунок (Адам Ильич занимался «вольным художеством», как об'яснял сам), — по возвращении всегда находил среди какого-нибудь начатого эскиза борзо напечатанную фигуру Гуся. В карманы его пальто клали всякую дрянь, прибивали его калоши гвоздями, выливали под одеяло на простыню по нескольку чернильниц, выбрасывали за окошко его цветные карандаши и проч. и проч. Все его ненавидели. Говоря «все», я здесь разумею учеников младших классов. Со старшими Адам Ильич, вообще очень подхалюзистый, хорошо умел ладить, глядя сквозь пальцы на попойки и другие ночные проказы своих взрослых питомцев.

Терпя преследования старших и надзирателей, мы не меньше своекоштных подвергались всем ужасам капризов пьяных учителей и в этом случае являли собой подобие волов, с которых сдирали по нескольку шкур. Собственно, учителей у нас не было, а были унтер-офицеры, наблюдавшие за порядком обучения, которым льстили слишком много, называя их учителями. Лекция обыкновенно состояла из спрашивания уроков, и только во время звонка учитель поспешно говорил: «до 29 параграфа!» или: «до слов: «Регул возвратился в Карфаген и принял мучительную смерть». Большая часть учителей требовала вытверживания уроков слово в слово: «Лучше книги не скажешь. Востоков — академик, а ты кто такой?».

При малейшем неудовольствии, учителя секли иногда через человека весь класс. Сверх учителей был еще инспектор, который имел какую-то роковую страсть драть людей розгами.

— Пойдем, голубчик, пойдем, миленький, — говорил он, таща ученика в сторожку.

— Поди, голубчик, в спальню, полно плакать — отдохни. Это ничего, ничего,— ласково успокаивал он ученика, который со слезами на глазах застегивал пуговицы курточки.

Наказывая розгами по двадцати человек в день, инспектор был все-таки либералом и наивно сообщал нам такие вещи, за которые мог бы дорого поплатиться. Иногда он приходил в какой-то пафос.

— Сколков, ты — дурак, — вдохновенно говорил он. — Как ты позволяешь мне говорит «ты»? Ведь ты мог бы меня избить за это «ты»!

Сверх инспектора, который порол, так сказать, для собственного удовольствия, порол еще директор, и порол, как кажется, с государственной целью: по крайней мере, задравши до полусмерти мальчика, он сохранял спокойный вид человека, исполнившего свою обязанность. Он наказывал редко, но жестоко; месячных отметок все боялись до последней степени. Обыкновенно, в первых числах каждого месяца, директор совершал по всем классам парадное шествие с месячными отметками и производил большую экзекуцию. Это было чистое нашествие Атиллы, бича божьего, и производило панический страх. В ожидании первого числа все начинали ластиться к Жичинскому — сторожу и палачу, стараясь укротить его свирепость посильными приношениями на косушку или даже на целый полуштоф. Эти подкупы и этот страх были вполне естественны, так как мальчикам моих лет давали по сто и по двести ро-

зог, нередко унося несчастных после экзекуции на простынях, в совершенно бесчувственном состоянии. Но все грозы этих жестоких экзекуций не заставляли лентяев быть прилежными; напротив, не учиться было молодечеством, и многие гордились своим невежеством, купив его ценой нескольких тысяч розог. Каждый новичок, с мало-мальским упрямым характером, увлекался общей ненавистью к начальству и переставал учиться и кричать под розгами, чтобы вызвать похвалу и удивление товарищей.

В. В. Иванов

Похождение факира

На скатерти — круглые прозрачные блюдечки для варенья. А сколько их, этих варений! Малиновое, яблочное, земляничное... Протяжной струей непрестанно текут они в тарелку к тетке. Мне положили клубничное, оно самое дешевое: неисчислимы поля дикой клубники в степи. После варенья тетка подвинула к себе торт, ела она жадно, торопливо. Ее громадные, круглые телеса колыхались. Дядя, рыженький, плотненький, постоянно вскакивал, убегал куда-то, возвращался, открывал окошко и ругал каменщиков. Прихлебывая из стакана чай, он стучал кулаком по столу.

— Надо строить кирпичный завод! Выгоднее иметь свой.

Он обернулся ко мне и пощупал мои бицепсы.

— Учиться хочешь?

— Хочу, — ответил я, глядя на тетку.

Я завидовал и радовался удовольствию, с которым тетка Фиоза пила чай. Она жмурилась, вздыхала, в животе ее что-то благостно хлюпало.

— Учиться полезно. Поедем сейчас. Коней уже закладывают.

Дядя усадил меня править иноходцем. Мы проехали мимо мрачного здания сельскохозяйственной школы за город.

— Дорога отличная! Плоды отличные!

Дядя остановился и сорвал несколько арбузов. Подошедшему сторожу он дал пятак. Миновали много бахчей, полей. Поднялись на много пригорков. Я разомлел. Дядя просыпался на поворотах и указывал, куда мне свернуть.

Мы ехали часа четыре, пока не увидали желтых деревянных ворот. Меня удивило, что от ворот не идет ограда. На воротах надпись: «Опытная ферма Павлодарской сельскохозяйственной школы». «Наплевать, — подумал я, — буду и здесь учиться». Ворота мне понравились. За воротами виднелось несколько саманных длинных домов, скирды сена и обмолоченной пшеницы, сараи, а в стороне, возле громадного огорода и озерка, беленький домик. Мы под'ехали к домику.

Нас встретил заведующий школой. У него была странная фамилия — Сваз, а имя самое простое — Иван Иванович. Он необычайно обрадовался дяде. Он радовался каждой встрече, толстоногий Сваз! Он прослезился. Он жал дяде руку, гладил по плечу, по животу.

— Василий Ефимович, солнышко, откуда это тебя? Я ведь вас и не надеялся никогда увидать. Я на тебя сердился.

И он на самом деле изобразил на лице сердитость.

— Третьего дня видались у городского головы.

— Так разве это виденье? Виденье — это чтобы посидеть. Или ты не желаешь со мной знаться? — Он вспылил, впрочем тотчас же отошел, увидав меня. — Сынто у вас, Василий Ефимович, какой вымахал. Небось, лет шестнадцать! В гимназии? Или посредством домашних учителей обучаете?

Он плясал, прыгал вокруг Василия Ефимовича. А тот прицеливался, как бы тут чего построить. Дядя болтал мало, он преимущественно действовал. Подумать можно, что они — приятели сотню лет! Оказалось, он и в гостях у Сваза впервые и даже ничего не строил Сазу.

Узнав, что Василий Ефимович привез меня учиться, Сваз и этому обстоятельству несказанно обрадовался. Не знаю почему, но ему не понравились мои штаны, хотя это были самые обыкновенные серенькие штанишки из бумажной материи, вправленные в низкие сапоги с голенищами. Заведующий хозяйством увел меня. Дядя остался пить чай. Я еще не успел дойти до склада, как увидел, что дядя уже садится на

таратайку, видимо, вспомнив какое-то спешное дело. Обо мне он уже забыл.

Сваз тоже обо мне скоро забыл, хотя, увидав меня, он всегда делал крайне радостное лицо и вспоминал о самом удивительнейшем и деятельном подрядчике Василии Ефимовиче.

Нас, учеников, было сорок два человека. Мы все жили вместе в длинном саманном сарае. Спали мы на железных кроватях, соломенных тюфяках, которые сами набивали каждые две недели. Одеты мы все были в одинаковые черные штаны и рубахи из «чортовой кожи» с белыми пуговицами по вороту, а зимой, когда мы переехали в город, нам выдали черные шинели с зелеными кантиками. Вставали мы рано, до рассвета. Мучительное вставанье! Вставая, я думал, что никогда мне больше не встретить такой тяжкой работы.

Я пахал, боронил, сидел на косилке, гонял волов в город за лесом, спал под солнцем на лесинах. Вокруг пустынная степь. Нос и рот забивала теплая пыль, глаза слипались, все время мучительно хотелось спать. Многое б было приятно, кабы не просыпаться так рано. Приятно с высоких сидений лобогреек перекликаться друг с другом. Кони бежали, махая хвостами. Оводы впивались в наши загривки.

— Подбавля-яй!.. — начинал с одного конца поля молодой и звонкий голос.

— Подбавляй! — кричал другой.

Мы ничего не подбавляли. Мы хлопали бичами, хотя кони не могли бежать быстрее: поломалась бы машина. Но нам было приятно — мы, как большие. Сами косим и жнем. Возвращаясь с поля, мы останавливались возле бахчей и срывали по арбузу или по подсолнуху. Мы щелкали семячки и врали друг перед другом, идя в туче теплой пыли. Отличная жизнь, кабы не вставать рано!

Отличная жизнь, кабы не кухня. Трое из нас каждый день дежурили на кухне. Один оставался убирать столовую, мыть посуду, выхлопывать постели, протирать окна. Двое помогали стряпухе. Надо чистить картошку, таскать дрова в печку, чистить капусту, лук, нарезать хлеб для завтрака и обеда, разливать чай по чашкам и добавлять молока. Все кричали. Один — налили слишком густой чай, другие — слишком мало молока.

Обед. Мы, дежурные, вносим щи.

Середину стола занимают старшие ученики: плечистые, крепкие, расчетливые. Все, что они собираются сделать, они обсуждают долго и тщательно. Как покрепче зашить штаны? Сколько чашек чая можно выпить, чтобы не повредить учению? Как развеселить Сваза? Они осторожно работают, осторожно хвалят или бранят... Да нет, они до брани не доходят, куда им! Они боятся всего нового, неиспытанного. Нельзя, например, переставить им кровати. Они не выходят из школы без спроса. Они в большинстве из крестьян.

По краям пристроились «вьюны». Приютские подкидыши, дети нищих, бродяг, обедневших мещан, они постоянно ругались и дрались и, казалось, не размышляли.

Но все они, весь стол, — и средина и края, — постоянно пребывают в крайнем напряжении. Чем больше я живу в школе, тем сильнее я понимаю ее. Особенно напряжение усиливается зимой, когда мы приезжаем с фермы в город. Мне кажется, что течение мыслей у «средины» встретило высокое препятствие. «Вьюны» ломаются, дурачатся, форсят, но у них мысли опережают друг друга, словно воздвигнут фасад, а дома-то нет. Даже сам Иван Иванович Сваз потускнел. Сваз должен преподавать нам физику, геометрию и животноводство. «Какие глупые, пустые науки, — думал я, — если даже Сваз способен их узнать!» Уныло он раскрывает книгу, уныло читает название главы и затем откладывает книгу в сторону.

— Огласи, Иванов.

Он чувствует, что здесь учить невозможно и радоваться ему не на кого. Он смотрит на эти тупые лица, которые ждут только еды, думают только об еде, и ни с того ни с сего он говорит:

— Чайки еще не летают и, по-моему, их вообще нет на Иртыше, как предвестниц весны и хода рыбы.

Он чертит карандашом по столу и дремлет. Звонок.

— Что и требовалось доказать, — говорит он и уходит из класса, сияя радостью, надеясь встретить менее напряженных людей.

Каждые две недели нас водили в баню. Мы шли через город, черными парами. Мальчишки кричали нам: «Козлы!» Улицы мы проходили молча. Многие из нас гордились поверным званием вонючих козлов, но я страдал. Когда мы проходили мимо

прогимназии, сестра моя Марья, которая постоянно торчала у окна, отходила прочь. Еще бы! Город после нашего «прохода» делался напряженнее и злей. Сколько их проходит здесь, несчастных уродов, подкидышей, эпилептиков, золотушных, будущих убийц, воров, грабителей. Город смотрит на нас со злобой и омерзением, на эти наши черные шинели с зелеными кантиками...

Глупая моя форма!

И я подумал: «А что, если Марье не нравятся мои штаны, вправленные в сапоги? Если ей нравятся штаны «городских» учеников, которые в своих шинельках похожи на синиц?»

В следующее воскресенье я выпустил штаны поверх сапог. Никто у тетки Филицаты не заметил моих прекрасных штанов. Я остался ночевать.

Тетка погасила керосиновую лампу. Мы с Марьей лежали рядом на полу, головами под стол. Я протянул Марье руку. Она спит. Как быстро она заснула. Будем верить, что она заснула оттого, что ей хочется спать, а не оттого, чтобы скорее забыть воющего козла.

Мы мало работали зимой. Истопишь печи, заправишь лампы, подметешь классы. Работы было особенно много в субботу, когда мыли всю школу.

В свободные часы я ходил на застекленную террасу первого этажа. Здесь предполагали устроить столярную мастерскую, но кто-то украл инструменты и лес. Ученики избегали террасы, — слишком светло и холодно. Здесь я прочитал «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», «Ледяной сфинкс», «Восемьдесят тысяч лье под водой», «Архипелаг в огне», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось повторять: «Бедный Пим! Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!» Мне нравилась терраса, холодное солнце, большой свет. Терраса похожа на пароход, особенно два деревянных столба, — они совсем как мачты. Стекла голубовато-прозрачные, высокие, если всмотреться, то сквозь них снега, заполняющие площадь громадными валами (сюда мещане свозили навоз), очень похожи на Ледовитый океан и даже на полюс. Смотришь и думаешь — сейчас кончатся снега, попадешь в теплое течение, и корабль понесется к запашистым островам. Дневник мне вести не хотелось. Я написал письмо. Я писал: «Вот здесь сидел мальчик Всеволод Иванов, читал и думал о том, что когда-нибудь он будет капитаном и поплывет в море. А пройдет много лет, это письмо найдет другой мальчик, прочтет и тоже будет мечтать о капитанстве». Долго я думал, куда же мне спрятать мое письмо. Я бросил его в щель столба, подпиравшего террасу. Столб был обшит досками. Три года спустя это письмо нашел Петька Захаров...

К весне школьников кормят хуже. Они голодают. Мы едим гнилую солонину, гнилую капусту, тухлую и вязкую. Чай нам подают без молока. Правда, пища теперь похожа на ту, которую едят люди, потерпевшие крушение, но мне не нравится такое крушение.

В большом актовом зале висит портрет Николая второго. Лицо у него такое же, как и там, в воинском присутствии, где отец мой записывался добровольцем. Но портрет вырос, а я такой же маленький. И все окружающее попрежнему враждебно мне и внушает страх.

Вечером мы заправляем и развешиваем по классам керосиновые лампы. Нальешь керосин, идешь осторожненько с лампой, держа под ней тряпку, чтобы не обкапать пола. Классы пусты. Повесишь лампу в проволочную цепалку, зажжешь и слегка качнешь. Все поплывет вокруг, качаясь и наполняя желтым светом. В углу стоит громадная черная доска чистоты необыкновенной. Подойдешь и напишешь крупным мелом: «2×2=4. Индия! Балеарские острова».

Два раза в день — рано утром и вечером — мы должны обтирать пыль с портрета и золоченой рамы. Зачем он такой громадный? Почему на него ложится так много пыли? Почему и у него напряженное лицо? Мы переименовали портрет, как переименовывали все, что надоедало нам. Мы назвали его «шадрà-бардà», что значит — ямки на лице от оспы. И нам нравилось говорить друг другу:

— Твоя очередь сегодня шадру-бардý обтирать.

А главное — окаянная эта лесенка, на которой нужно было стоять, чтобы достать до верха портрета. Лестница качается, скрипит. Иногда с нее дежурный падал, и тогда весь класс целый вечер «поддувал» — смеялся над упавшим. После падения надо вернуться веселым, иначе «поддувальщики» будут кричать «перекачало»!

Перед исповедью, великим постом, накануне экзаменов, нас послали перебрать

картошку в погреб к управляющему школой И. И. Свазу. Многое предполагали мы увидеть в этой «харчевой», но не такое. Толстые окорока встали нам навстречу, качались сушения, блестели маринады, улыбались пузатые банки с красными помидорами, поодаль несколько сорокаведерных бочек с арбузами, мешки сухарей. Десять морских судов можно было б кормить десять лет в этой «харчевой».

Нам сразу надоело заправлять лампы. Мы поняли наше напряжение. Мы поняли наш голод.

Мы думали три дня.

Проели мои экзамены!

Не скажет теперь поп того, что он говорит каждому после удачного экзамена, поглаживая бороду в седых крапинках:

— Будешь сельскохозяйственным техником. Пора. У меня в прошлом году саранча пожрала пшицу и пшеницу.

Я отказался помогать в подкопе, не столько потому, что считал поступок этот опрометчивым накануне экзаменов, сколько потому, что не понимал жадности к еде. Голодать — так голодать. Вот сладкое — это дело другое. И «вьюны» и «средина» свалят вину на меня. Они сразу возненавидели меня за отказ. Чем я гордился? Я подошел вместе с ними к складу. Лица у них стали еще напряженнее. «Средние» вползали в черную дыру подкопа, которая начиналась в притоне. «Вьюны» отталкивали «средину», кусались, визжали. Я должен был влезть последним. Я слышал возгласы из подкопа:

— Кормись!

— Расходуйся!

— Траться!

Экзаменаторы, когда обнаружится, что вся закуска съедена неизвестными ворами, сурово будут смотреть в наши глаза, сурово осматривать стены, и увидят они портрет Николая второго. И это преступление с глазами Николая второго тоже свалят на меня.

Дежурным надоело стирать пыль с этого напряженного лица, и они гвоздем выкололи ему глаза. Лицо утеряло свою напряженность, поглупело. «Козлы» осмелели. «Козлы» хохотали. Тогда-то «козлы» и придумали подкоп.

Выколоть глаза царю — это не то, что скушать помидоры. Мне и хотелось быть «политическим», но я боялся, что меня сошлют на каторгу. Мне вспомнились цепи деда Семена, его синее лицо. Страшно. Там, наверное, на каторге, еще более напряженные лица, чем здесь в школе. В голове клубилось, а в сердце как бы клевало. Да, вот и земля, да, вот и приближающаяся весна. Ох, надоела мне земля! Наскоро окончить экзамены, потому что Свазу надо посеять больше для себя. Надо вставать с рассветом. Сапоги и без того тяжелые, а выйдешь на двор — прилипнет земля, и еще станут тяжелей. Хочется спать. Ветер холодный, дождь. По краям неба сафьяновые весенние облака...

Я сказал Свазу:

— Пустите меня.

— Завтра экзамены, — сказал Свaз.

— Пустите меня совсем, — сказал я торопливо, — у меня отец помер.

Свaз перекрестился.

— Вечная память, — сказал он тихо, — прекрасный был человек.

Он никогда не видал моего отца.

— Хоронить поедешь?

— Хоронить.

— Ну, поезжай, а мы тебя проэкзаменуем отдельно, когда вернешься.

— Пустите меня совсем.

— Экий дурак, — сказал уныло Свaз, — разве у нас разрешены отдельные экзамены? Пора бы научиться высокому смыслу аккуратного разговора.

Кирпичный красный фундамент школы тоже какой-то напряженный, как и серые деревянные коридоры, как и все окружающее, которое, кажется, вот-вот готово расплакаться. Но не успел я пройти мимо фундамента, не успел шагнуть на пухлую великопостную дорогу, как напряжение окончилось. Я с наслаждением шагал по лужам, посвистывал, размахивал узелком. Я шел к дяде Василию Петрову.

Круглый самовар. Суетливый дядя Петров ругается в окно. Попрежнему пред теткой Фиозой бесчисленные варенья. Мать моя, всхлипывая, печет на кухне оладьи! Не вышло из Всеволода сельскохозяйственного техника!

Тетка Фиоза еще величественнее, еще румянее, еще белее. Я обмер, как никогда не обмирал. Какое счастье жить с нею рядом, видеть ее каждый день! Взял бы меня дядя хоть в кучера.

— В повара его разве? — вяло говорит тетка. — Там горячими ложками бьют по лбу, если плохо учится. Пища...

Она смотрит, как я неумело и жадно тянусь к варенью. Она думает — «нет, из него повара не выйдет. Повар должен относиться к пище бесстрастно».

Василий Ефимович, обжигаясь, торопливо допил стакан, покрутил усы, поддернул штаны. Ему хочется угодить жене.

— Ушел, значит?

— Ушел.

— Вобче... Жениться тебе, Всеволод, рано... — Он растерянно взглянул на жену. — Куда б мне его направить?

— Направить его вниз.

— И верно, направлю я тебя, племянничек, в приказчики.

СИБИРСКИЕ ПОМПАДУРЫ

А. И. Герцен

Былое и думы

Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится respublica [1]. Самая власть царская, которая бьет, как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано — и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм.

Сперанский пробовал облегчить участь сибирского народа. Он ввел всюду коллегиальное начало; как будто, дело зависело от того, как кто крадет: поодиночке или шайками. Он сотнями отрешал старых плутов и сотнями принимал новых. Сначала он нагнал такой ужас на земскую полицию, что мужики брали деньги с чиновников, чтобы не ходить с челобитьем. Года через три чиновники наживались по новым формам не хуже, как по старым.

Нашелся другой чудак, генерал Вельяминов. Года два он побился в Тобольске, желая уничтожить злоупотребления, но, видя безуспешность, бросил все и совсем перестал заниматься делами.

Другие, благоразумнее его, не делали опыта, а наживались и давали наживаться.

— Я искореню взятки, — сказал московский губернатор Сенявин седому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Старик улыбнулся.

— Что же ты смеешься? — спросил Сенявин.

— Да, батюшка, — отвечал мужик, — ты прости; на ум пришел мне один молодец наш: похвалялся царь-пушку поднять и, точно, пробовал, да только пушку-то не поднял!

Сенявин, который сам рассказывал этот анекдот, принадлежал к тому числу непрактических людей в русской службе, которые думают, что риторическими выходками о честности и деспотическим преследованием двух-трех плутов, которые подвернутся, можно помочь такой всеобщей болезни, как русское взяточничество, свободно растущее под тенью цензурного древа.

Против него два средства: гласность и совершенно другая организация всей машины, введение снова народных начал третейского суда, изустного процесса, целовальников и всего того, что так ненавидит петербургское правительство.

Генерал-губернатор Западной Сибири Пестель, отец знаменитого Пестеля, казненного Николаем, был настоящий римский проконсул[2] да еще из самых яростных. Он завел открытый систематический грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от России. Ни одно письмо не переходило границы не распечатанное, и горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь об его управлении. Он купцов

---

[1] Делом общим.

[2] Выборная должность в Московской Руси до смутного времени для исполнения обязанностей судебных, финансовых и полицейских

первой гильдии держал по году в тюрьме, в цепях, он их пытал; чиновников посылал на границу Восточной Сибири и оставлял там года на два, на три[1].

После Пестеля явился в Тобольск Капцевич, из школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиран по натуре, тиран потому, что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель, он приводил все во фронт и строй, об'являл максимум на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках разбойников. В 1824 году государь хотел посетить Тобольск. По Пермской губернии идет превосходная широкая дорога, давно наезженная, и которой, вероятно, способствовала почва. Капцевич сделал такую же до Тобольска в несколько месяцев. Весной, в распутицу и стужу, он заставил тысячи работников делать дорогу; их сгоняли по раскладке из ближних и дальних поселений; открылись болезни, половина рабочих перемерла, но «усердие все превозмогает» — дорога была сделана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это уж так далеко, что и вести едва доходят до Петербурга. В Иркутске генерал-губернатор Броневский любил палить в городе из пушек, когда «гулял». А другой служил пьяный у себя в доме обедню в полном облачении и в присутствии архиерея. По крайней мере, шум одного и набожность другого не были так вредны, как осадное положение Пестеля и неусыпная деятельность Капцевича.

Жаль, что Сибирь так скверно управляется. Выбор генерал-губернаторов особенно несчастен. Не знаю, каков Муравьев, — он известен умом и способностями, — остальные были никуда не годны. Сибирь имеет большую будущность; на нее смотрят только, как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно.

Мертвящее русское правительство, делающее все насилием, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед. Увидим, что будет, когда устья Амура откроются для судоходства, и Америка встретится с Сибирью возле Китая.

Я давно говорил, что Тихий океан — Средиземное море будущего[2]. В этом будущем роль Сибири, — страны между океаном, южной Азией и Россией, — чрезвычайно важна. Разумеется, Сибирь должна спуститься к китайской границе. Не в самом же деле мерзнуть и дрожать в Березове и Якутске, когда есть Красноярск, Минусинск и пр.

Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем начала, намекающие на иное развитие. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети посельщиков, сибиряки, вовсе не знают помещичьей власти. Дворянства в Сибири нет, а с тем вместе нет и аристократии в городах; чиновник и офицер, представители власти, скорее похожи на неприятельский гарнизон, поставленный победителем, чем на аристократию. Огромные расстояния спасают крестьян от частого сношения с ними; деньги спасают купцов, которые в Сибири презирают чиновников и, наружно уступая им, принимают их за то, что они есть: за своих приказчиков по гражданским делам.

Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместна; привычка к опасностям, к расторопности сделали сибирского крестьянина более воинственным, находчивым, готовым на отпор, чем великорусского. Даль церквей оставила его ум свободнее, чем в России, он холоден к религии, большею частью раскольник. Есть дальние деревеньки, куда поп ездит раза три в год и гуртом накрещивает, хоронит, женит и исповедует за все время.

---

[1] В издании 1858 г. был приведен следующий рассказ, выпавший в изд. 1861 г.: «Когда сын его был приговорен к смерти, отец приехал проститься с ним. Говорят, что он в присутствии шпионов и жандармов осыпал сына бранью и упреками, желая выказать свое необузданное верноподданничество. Отеческое увещание он заключил вопросом:

— И чего ты хотел?

— Это долго рассказывать, — отвечал глубоко оскорбленный сын, — я хотел, между прочим, чтобы и возможности не было таких генерал-губернаторов, каким вы были в Сибири».

[2] С большой радостью видел я, что нью-йоркские журналы несколько раз повторили это. (Прим. авт.).

В местах не столь отдаленных

Василий Андреевич Ржевский-Пряник или, как коротко называли его сибирские обыватели, «генерал», занимавший в старые времена, соответствующие нашему рассказу, видное место в отдаленной Жигановской губернии, в 9 часов июньского утра был, по обыкновению, на своем посту — за письменным столом в небольшом, щегольски убранном кабинете.

Вполне готовый начать многотрудное деловое утро и уже получивший за чаем обычную порцию внушений от своей супруги, дамы, как узнает читатель, весьма характерной, Василий Андреевич был рад, что долг службы призывал его в кабинет (супруга сегодня была не в духе), и первым делом занялся пересмотром только что полученной петербургской почты.

Это был кругленький, гладкий, невысокого роста, бодрый и живой старичок, с манерами человека, бывавшего в свете, из породы мышиных жеребчиков. Свежий, чистенький, румяный, сохранившийся, несмотря на свои шестьдесят лет, с реденькими, тщательно приглаженными, седенькими волосами на височках и оголенным черепом, с расплывшимися чертами когда-то красивого лица, Василий Андреевич не глядел козырем: во всей его фигуре не было ни импонирующего юпитерского величия, ни специфической чиновничьей выправки, и если б не изящно сшитый форменный сюртук, обличавший его административную профессию, Василия Андреевича едва ли приняли бы за «генерала».

И кабинет, в котором Василий Андреевич нес, как он выражался, «тяготу своего положения», то-есть суетился и волновался, рассказывал анекдоты и слушал их, писал резолюции и временами набрасывался петушком на подчиненных, совсем не имел той внушительной, деловой, солидной обстановки, которой обыкновенно щеголяют петербургские администраторы. Напротив, у Василия Андреевича все было как-то по-домски, уютно и весело, и обстановка кабинета напоминала обстановку старого вивера, проведшего молодость не без приятных воспоминаний. И мебель, и масса безделок и сувениров, украшавших стол, все говорило, что хозяин имеет вкус не к одним только скучным делам, а обладает и эстетической жилкой. Среди фотографий, развешанных по стенам, было немало женских портретов, преимущественно известных актрис и певиц, и все с собственноручными надписями.

Василий Андреевич прочел уже несколько бумаг, сделал соответствующие отметки, и лицо его сохранило попрежнему добродушное выражение — из Петербурга ни одного запроса, ни одного замечания. Вслед затем он стал просматривать петербургские газеты, как вдруг лицо его побагровело, нижняя губа оттопырилась, и он швырнул одну злополучную газету от себя.

В те отдаленные времена, о которых идет речь, в газетах еще появлялись корреспонденции, приводившие в волнение не одних только господ заседателей, и корреспонденция из Жиганска была хоть и не особенно пикантной, но все-таки взволновала Василия Андреевича.

Он был донельзя чувствителен ко всяким газетным сообщениям, и если в них не восхищались его деятельностью, то Василий Андреевич забывал и о любви к литературе и о знакомстве с известными писателями, портреты которых красовались у него в кабинете, и готов был бы запретить все газеты.

Еще бы! Он, вечный житель столицы, привыкший к удовольствиям и суетоложе столичной жизни, не пропускавший ни одного первого представления, пожертвовал всем этим и приехал в эту трущобу, одушевленный самыми благими намерениями — просветить диких сибиряков, и вдруг деятельностью его не восхищаются, напротив...

— Опять! — прошептал он. — Опять эти негодяи пишут...

Он снова взял в руки газету и вновь перечел, что пишут «эти негодяи», под собирательным именем которых Василий Андреевич разумел несколько лиц, особенно им нелюбимых, которых он подозревал в сочинении корреспонденций.

«Негодяи», однако, ничего ужасного не писали. В злополучной корреспонденции, сообщавшей обычные, всем известные факты из сибирской жизни, между прочим, выражалось сожаление, что на Василия Андреевича имеют нехорошее влияние люди весьма сомнительные...

Это была не первая корреспонденция, и старика волновали не столько факты, сообщаемые в них, сколько предположение, что на него могут иметь влияние... «Он все сам... На него никто не может иметь влияния!»

— Я разыщу негодяя, который сообщает этому мерзавцу редактору пасквили... Я его... Я в двадцать четыре часа...

Василий Андреевич был в самом воинственном настроении и уже собрался было, по обыкновению, послать верхового за подозреваемым корреспондентом, как вдруг двери кабинета растворились, и в комнату вошла высокая, довольно полная барыня, лет сорока, сохранившая еще, благодаря косметикам, некоторую пикантность своей отцветающей красоты.

Хотя Василий Андреевич добродушно веровал в личное свое мужество и, вспоминая старые времена, когда он был военным и служил ад'ютантом, любил рассказывать, как благодаря его находчивости, не было проиграно окончательно какое-то сражение в крымскую кампанию, тем не менее, при виде строгого, недовольного лица с знакомой ему складочкой между густыми подведенными бровями, воинственный пыл Василия Андреевича как-то внезапно погас. Он забыл о корреспонденте, забыл о «мерзавце» петербургском редакторе и, присмиревший, смотрел на свою дебелую супругу, в изящном утреннем капоте, плотно облегавшем формы внушительных размеров, далеко не с тем бравым видом, который бы напоминал храброго, мужественного ад'ютанта, когда-то спасшего честь русской армии.

— Полюбуйся, что мне пишет Катрин! — заговорила ее превосходительство резким контральтовым голосом, держа в своих выхоленных белых пальцах маленький исписанный листок почтовой бумаги.

— Разве что-нибудь неприятное? — слукавил Василий Андреевич.

— А ты думал — приятное? Она пишет, что в Петербурге недовольны... что на тебя имеют влияние какие-то авантюристы... Я тебе говорила... Что тебе за охота связываться с этим Сикорским?

При этом имени Василий Андреевич вспыхнул.

— Катрин пишет вздор! — заговорил он своим тоненьким тенорком, представлявшим резкую противоположность с мужественным голосом его супруги. — Какие авантюристы?.. Это все сплетни... Я никому не позволю водить себя за нос! Я, кажется...

— «Ты, кажется!» — передразнила Марья Петровна: «ты, кажется»... Ты простофиля и больше ничего!.. — проговорила Марья Петровна тоном, не допускающим никакого возражения. — И это всем кажется, кроме тебя!.. Я больше терпеть не намерена... слышишь? Завез меня в какую-то трущобу, где ни общества, ни людей, где я должна принимать каких-то чумазых чиновниц. Благодарю... Мне это надоело... Пяти лет довольно... Пиши и просись на другое место, пока тебя не отозвали помимо твоего желания.

Василий Андреевич слушал и только беспомощно пожимал плечами. Пиши! Легко как рассуждают эти женщины! Точно он не писал и не просился отсюда. Точно ему весело жить в этой дыре, где еще его не ценят, как следует.

И интереснее всего, что Марья Петровна корит его за трущобу... А кто, как не она, заставила его ехать сюда? Если б не честолюбивый червяк, не дававший покоя Марье Петровне, жил бы теперь Василий Андреевич в Петербурге, занимал бы несколько мест в благотворительных учреждениях, рыскал бы с утра до вечера, что-то устраивая и о чем-то хлопоча, и жизнь текла бы весело... Утра с благотворительными дамами, вечера в театре, — хорошо было... Все его любили, особенно женщины. Кокотки даже звали не иначе как «cher Basile». Эта жизнь была как раз по вкусу Василия Андреевича, но Марье Петровне хотелось выдвинуть Базиля. Она хлопотала и наконец добилась, что его назначили, и теперь она же винит его...

Все это пролетело в голове Василия Андреевича, но сказать этого он не решился. Обиженный, он только рискнул заметить:

— Ты, кажется, сама советовала ехать сюда.

— Советовала! Разумеется, советовала. Я думала, что ты сумеешь воспользоваться положением... Зарекомендуешь себя, тебя переведут... ты выдвинешься, а вместо этого... ты даже и не умеешь держать себя как следует... Пойми, у нас дети, и наконец я еще не старуха... чтобы закопать себя здесь...

— Но, мой друг...

— Ах, молчи, пожалуйста! — гневно перебила Марья Петровна. — Какова моя жизнь?.. Что ты мне даешь?..

Василий Андреевич хорошо знал, что когда супруга касается этого щекотливого вопроса, то лучше всего молчать, подавая лишь по временам реплики, тем более, что он ничего и не мог теперь давать ей, кроме платонической любви и безграничного подчинения, что Марье Петровне, повидимому, казалось недостаточно. И он храбро молчал, умоляя только по временам говорить потише, пока разгневанная петербургским письмом Марья Петровна не излила на лысую голову Василия Андреевича всю накопившуюся желчь скучающей барыни.

«Ну, теперь, кажется, кончено!» — подумал Василий Андреевич, но, на беду его, Марья Петровна увидала скомканный нумер газеты... Увидала, прочла и с насмешливой иронией проговорила:

— Доволен?.. Очень хорошо... Отлично... Теперь ты узнай, кто писал, пригласи к себе и либеральничай с ним... Убеждай, что ты добродетельный чиновник...

Это было уж слишком! Василий Андреевич не выдержал и отважно проговорил:

— Я его призову и... Ты увидишь, что я с ним сделаю!

— Ты-то... Старый дурак?..

И, проговорив эти слова с нескрываемым презрением и уверенностью, что в справедливости их не может быть ни малейшего сомнения, Марья Петровна величественно удалилась, шелестя треном a la Сара Бернар.

Василий Андреевич несколько времени отдувался, пока не почувствовал вновь воинственного настроения.

— Гм... Простофиля... Старый дурак!.. Она всегда увлечется. Я покажу, какой я простофиля! Со мной шутки коротки! — проговорил Василий Андреевич и резко позвонил.

Через минуту вошел курьер.

— Ты чего же копаешься, а? У меня — смотри! — вдруг крикнул Василий Андреевич, принимая начальнический вид.

Курьер вытянулся в струнку, а вид этого замершего курьера, вперившего глаза, в которых, казалось, сверкало рвение перервать горло кому потребуется, несколько смягчил старика.

— Сию минуту послать верхового за Подушкиным! Знаешь?

— Никак нет-с.

— Дурак! Узнай. Спроси там, в канцелярии, где живет Подушкин. Чтобы сейчас господин Подушкин явился ко мне. Немедленно!.. По экстренному делу... Понял?

— Понял. Только, осмелюсь доложить, верховой услан.

— Куда?

— Изволили послать в город...

— Так немедленно послать, когда вернется. Никого там нет ко мне?

— Есть-с. Трущебинский заседатель Прощалыжников дожидается.

— Прощалыжников? Зачем? Пусть явится в приемный день.

— Изволили приказать явиться сегодня.

— Ах, да... Прощалыжников! — вдруг вспомнил Василий Андреевич. — Прощалыжников? — повторил он суровым тоном. — Зови его. В приемную зови.

Бедный господин Прощалыжников! Зачем судьба его кинула сюда, в эту злополучную минуту, как раз после бурной супружеской сцены и прочитанной корреспонденции!

Явись он часом-двумя позже, кто знает, — может быть, день этот, яркий июньский день, глядящий так весело в высокие окна приемной комнаты, не имел бы для господина Прощалыжникова такого рокового значения.

Быстрыми, мелкими шажками приближался Василий Андреевич к скромной фигурке, стоявшей у дверей, близ входа, и по мере приближения более и более закипал гневом. Когда он приблизился наконец и увидел маленького, коренастого замухрышку, обросшего щетиной рыжих волос, среди которых сиял, во всем своем великолепии, красно-сизый большой нос и замирали в почтительно трепещущем взгляде серые, заплывшие, лукавые глазки, — Василий Андреевич уже окончательно олицетворял собою бога гнева... Он весь побагровел, обыкновенно оловянные глаза метали нечто вроде молний. В эту минуту в голове Василия Андреевича как-то смешались — и этот невзрачный Прощалыжников со всеми его грехами, вольными и невольными, и «эти негодяи», писавшие корреспонденцию, и «простофиля» Марья

Петровны... И негодование на Прощалыжникова за все его служебные беззакония охватило вдруг с большей силой Василия Андреевича.

— Вы трущебинский заседатель... Прощалыжников? — выкрикнул, подлетая как-то бочком, Василий Андреевич.

— Точно так-с...

— Молчать! — вдруг взвизгнул своим тенорком Василий Андреевич. — Вы позорите мундир... Слышите ли? мундир, который вы носите... Взятки, вымогательства, трабеж... Мерзость... Мне все известно...

— Позвольте доложить... — пролепетал заседатель.

— Молчать! Под суд... Разбойник... Для вас серой куртки мало... В остроге сгною!.. — продолжал Василий Андреевич, не помня уже себя от гнева, и продолжал выкрикивать слова в упор, то отступая, то снова наскакивая, словно бы собираясь заклевать заседателя.

Господин Прощалыжников трепетал. Он трепетал отчасти искренно, отчасти и с некоторой, не лишенной виртуозности, искусственностью, понимая, что в подобных случаях лишний трепет, как лишняя ложка масла в каше, дела не испортит.

И когда Василий Андреевич уже истощил весь свой заряд гнева и остановился, тяжко дыша и не зная, что ему теперь еще сделать с господином Прощалыжниковым, господин Прощалыжников все еще продолжал трепетать и всей фигурой и замирающим взглядом своих серых глаз.

Эта покорность несколько смутила Василия Андреевича.

— Что можете сказать в свое оправдание? Но помните... мне все известно! — отрывисто прибавил он.

— Осмелюсь доложить... Клевета... Интриги... Это все корреспондент...

— Что? Какой корреспондент?

Подучен другим человеком, желающим на мое место... Извольте приказать собрать сведения... Все обыватели меня одобряют...

— Что вы говорите... Какой корреспондент?.. Корреспондент! — вдруг озлился Василий Андреевич. — На вас жалобы со всех сторон.

— Ваше превосходительство... Не погубите!

— Немедленно подавайте в отставку... Вы более не заседатель... Ступайте!

Прощалыжников ушел, понурив голову, а Василий Андреевич еще постоял секунду в зале и, заметив в полурастворенной двери гостиной жену, привлеченную шумом, не без гордости взглянул на нее, как бы приглашая ее убедиться: простофиля ли он или нет, — и прошел к себе в кабинет с видом победителя.

«Я покажу, как шутки шутить! — повторял расхорохорившийся старик, присаживаясь к столу. — Я их подтяну!.. Ужасно трудно с этими мерзавцами иначе вести дело...»

«Ах, тяжела ты, шапка Мономаха!» — вздохнул Василий Андреевич и, случайно взглянув на портрет какой-то хорошенькой женщины, вспомнил о Петербурге и еще раз пожалел, что судьба забросила его в этот отвратительный Жиганск.

— Господин Сикорский! — доложил ему вошедший курьер.

— Проси сюда! — проговорил Василий Андреевич и, уткнувшись в бумаги, лежащие перед ним, принял сосредоточенный, строгий вид погруженного в занятия человека.

Худой, как спичка, низенький и тщедушный на вид господин, лет под пятьдесят, с умным и серьезным лицом, бесшумно, словно крадучись, вошел в кабинет.

Он на секунду остановился, бросил быстрый взгляд на склонившуюся над бумагами и все еще рдевшую лысину его превосходительства и, едва улыбнувшись своими тонкими бескровными губами, вместо того, чтобы итти к столу, тихими шагами отошел к окну.

Несмотря на скромно-почтительную позу, в какой он стоял, выжидая, когда Василий Андреевич окончит свою невинную игру в занятия и обратит на него внимание, — этого скромного господина никак нельзя было признать за одного из тех чиновников, которые искренно замирают в присутствии начальства. В его несколько аффектированной скромности не было ни раболепия, ни страха. В ней просто-напросто сказывался житейский такт хорошо дисциплинированного человека, понимающего людей и умеющего отойти, когда нужно, в сторону.

Все в нем — и холодный взгляд темных глаз, глубоко засевших в темных впадинах, с резко очерченными седыми бровями, и что-то угрюмое, озлобленное и в то

же время приниженное в выражении худого и бледно-желтого лица, напоминавшего физиономию отца-иезуита, и глубокие морщины — свидетели бурь и невзгод — на гладко выбритых плоских щеках и на лбу, и саркастически подобранные губы, точно смеющиеся над человеческою несправедливостью, — все, кончая мягкими, кошачьими манерами, поношенным, но хорошо сидящим костюмом и свежим бельем, показывало в нем человека, знавшего лучшие времена и если и стоявшего в сдержанно-почтительной позе, как теперь, то не в кабинете жиганского чиновника, а в приемной гораздо более важных лиц и не в таком скромном костюме. Все намекало, что перед вами человек, потерпевший серьезное крушение в жизни и вынесший оттуда, кроме хороших манер, немало и озлобления.

Это был Михаил Яковлевич Сикорский, когда-то заметный деятель в Петербурге, обретший после громкого и скандального процесса тихую пристань в Жиганске. На счастие его, Василий Андреевич, знавший Сикорского еще во время его блестящей карьеры, обласкал и пригрел «пострадавшего за свое доверие к людям человека» (так, по крайней мере, об'яснял Сикорский свое появление в Жиганске), устроил ему место, и скоро Сикорский сумел сделаться необходимым человеком у его превосходительства. Умевший работать хорошо и толково, он был и домашним секретарем, помогавшим Василию Андреевичу в затруднительных случаях, и интимным человеком, которому Василий Андреевич поверял свои служебные скорби и с которым вспоминал петербургскую жизнь и прежних общих знакомых.

Стоустая молва утверждала, будто господин Сикорский имеет на его превосходительство влияние, и влияние будто бы не особенно хорошее. Трудно сказать, каким образом возникла эта молва. Сам Сикорский не подавал к этому ни малейшего повода. Он не только не афишировал своих отношений к Василию Андреевичу, но, напротив, скрывал их и старался быть в тени, всегда понимая, что для человека в его положении скромность есть действительно необходимая добродетель.

И однако все жигановцы были уверены, что Сикорский играет роль злого гения при добром, но бесхарактерном Василии Андреевиче, и все нехорошее в его деятельности приписывали влиянию этого Мефистофеля.

Самолюбивый старик раздражался этими слухами и, пока они не шли дальше Жиганска, не придавал им особенного значения. Но письмо из Петербурга, сообщенное Марьей Петровной, произвело на старика сильное впечатление.

Вот почему он, обыкновенно ласково и радушно встречавший являвшегося каждое утро Сикорского, сегодня нарочно не замечал его несколько минут и даже испытывал к нему неприязненное чувство.

Наконец он поднял голову и, будто удивленный, проговорил:

— А, вы уж здесь? Я и не заметил...

Сикорский почтительно поклонился.

— Я принес бумагу, о которой вы изволили говорить вчера, — произнес Сикорский официальным тоном, подходя к столу и пожимая протянутую ему руку.

— Дайте-ка.

Сикорский подал, и Василий Андреевич начал ее читать.

На этот раз бумага показалась ему написанною не так, как следует, и карандаш Василия Андреевича разгуливал по ней. Сикорский посматривал и только по временам чуть-чуть улыбался.

— Эту бумагу надо совсем исправить. Здесь не то, совсем не то, о чем я просил вас! — заметил брюзгливым тоном его превосходительство.

— Я переделаю, — скромно ответил Сикорский.

— Нет, уж лучше я сам напишу... Надеюсь, я еще писать не разучился, а то, пожалуй, скажут, что без вас я и бумаги не могу составить! — усмехнулся Василий Андреевич.

Сикорский, отлично изучивший Ржевского-Пряника и уже успевший прочесть корреспонденцию, хорошо знал, «откуда идет сие», и, в ответ на его замечание, только изумленно взглянул на него, не проронив ни слова. Попрежнему невозмутимо-серьезный, он стал откланиваться.

— Куда вы? — остановил его Василий Андреевич.

— Я боюсь помешать вам...

— Все равно, дела не переделаешь... Его по-горло. Присядьте, Михаил Яковлевич, да закуривайте сигару... Сигарки недурны. Кстати, мне нужно поговорить с вами... Читали вы эту мерзость? — указал старик на скомканный нумер газеты...

— Читал...

— Узнаете автора?

Сикорский скромно заметил, что не знает...

— Об этом мы после поговорим... Эти пасквили все еще бы ничего. Ну, клевещи на порядочных людей, пиши кляузы, — сибиряки ведь недаром кляузники. Но вот что худо: эти нелепые слухи повторяются в Петербурге. Сегодня я получил два конфиденциальных письма! — прилгнул старик для большей убедительности. — И знаете ли, кого называют моим негласным советником?..

— Это любопытно... Кого?

— Вас!

— Меня?!

Сикорский воскликнул это «меня?!» с таким натуральным изумлением и затем так искренно рассмеялся своим тихим смехом, что у Василия Андреевича отлегло от сердца. Он и сам почувствовал нелепость такого предположения и засмеялся в свою очередь.

— Знают же они вас! — прибавил Сикорский, с сокрушением пожимая плечами.

— То-то и есть, а между тем запрашивают: правда ли? Все эти мерзости идут, разумеется, отсюда. Вы ведь знаете, как здешние чиновники не любят меня?.. Не ко двору я им... Не даю воли...

— Патриотизм сибирский! — насмешливо вставил Сикорский. — Им всем хочется, чтобы плясали по их дудке...

— Именно... именно... патриотизм сибирский... — повторил Василий Андреевич. — В думе вот тоже... Вот они и кляузничают с этим Шайтановым во главе... Доберусь я до этого Шайтанова... Это все он... Да... Их тут целая шайка...

— И, надо отдать справедливость, хорошо сплоченная... с газетой к их услугам...

— Нечего выдумывать, так давай пустим слух о влиянии... Прежний знакомый бывает у меня, и... поднимается целая история....

— А в Петербурге, конечно, не знают всей этой подкладки! — снова вставил Сикорский.

— Узнают! Я напишу... Мне уже надоело... Пусть поймут, каково бороться здесь порядочному человеку... Но пока, знаете ли Михаил Яковлевич, надо быть осторожным...

Старик остановился несколько смущенный. Но Сикорский с своим обычным тактом пришел к нему на помощь.

«Он давно замечал, что многие недовольны за то, что Василий Андреевич удостаивает его, несчастного страдальца, своим знакомством... Он глубоко ценит доброту Василия Андреевича и никогда в жизни не забудет, чем он ему обязан...»

У Сикорского дрогнул голос, и слеза повисла на реснице.

— Но если из-за меня, — продолжал он, — являются неприятности, то я не должен пользоваться вашей добротой... Увольте меня от обязанностей вашего секретаря, отнимите и место, которое дает мне кусок хлеба... Он, видно, стоит другим поперек горла... Быть может, они тогда перестанут клеветать на вас!

Произошла довольно трогательная сцена. Василий Андреевич, тронутый такой бескорыстною преданностью, прослезился и горячо обнял Михаила Яковлевича.

«Бедный страдалец!» — шептал добрый старик, легко приходивший в умиление, и смахнул слезу.

Разумеется, он не согласится на такие жертвы. И ради кого? Ради каких-то интриганов, подкапывавшихся под него! Он, слава богу, не боится никого. Ему нужны хорошие работники; здесь, между сибиряками, их не найдешь, и он требует, чтобы Михаил Яковлевич занимал прежнее место. И место домашнего секретаря пусть остается за ним, и прекращать посещений не следует. Он согласен только на одно: чтобы Михаил Яковлевич ходил к нему не каждый день, а раза два в неделю.

— Ради этих мерзавцев я не намерен лишать себя полезного сотрудника и приятного общества! — прибавил старик.

Он повеселел и несколько раз повторил, что напишет в Петербург всю правду об этих сибиряках. А с корреспондентом он разделается...

— Вероятно, писал Подушкин, но главная язва, это — Шайтанов. Не кто как он мутит. Я ведь все знаю... Знаете ли, составьте-ка записку... То, что я говорил...

Именно об этом сибирском патриотизме... Вот вся подкладка... Им хочется, чтобы я плясал по их дудке!.. — повторял старик только что сказанные слова Сикорского. — Отсюда и систематическое обличение. Непременно набросайте записку и, если возможно, поскорей!.. — вдруг заволновался Василий Андреевич.

Сикорский обещал написать.

Вслед затем совсем уже повеселевший Василий Андреевич, жалуясь, что забот у него по-горло, что в первом часу надо на заседание, стал, по обыкновению, болтать. Он рассказал, как вчера начальник отделения Феомнестов напутал, подсмеялся над своим ближайшим помощником, передразнил одного начальника особой части и почему-то припомнил анекдот о каком-то князе Петре Николаевиче Троекурове.

— Знаете... Этот тот самый Петька Троекуров, который с'ел огромное состояние, получил другое и женился на Феньке-цыганке... Помните, какая красавица-то была? И старик даже крякнул и поцеловал кончики пальцев.

— А голос... голос-то... из-за нее ведь граф Борис Забиякин стрелялся с Петькой... Я у него секундантом был...

Василий Андреевич, питавший особенную слабость к воспоминаниям о титулованных лицах и знавший родословные чуть ли не всех княжеских и графских фамилий, припомнил и второго брата, Василия Троекурова, служившего в дипломатах, но забыл, как звали третьего, и досадовал, что не мог припомнить.

— Еще на актрисе провинциальной женился... помните?

— Так это Федор Троекуров! — вспомнил Михаил Яковлевич.

— Ну да... Федор... Тоже добрый парень был... Только ретроград... Он у себя в губернии...

Дверь отворилась, и вошел курьер.

— Господин Подушкин!

— Проси в приемную... Так он у себя в губернии всех в страхе держал... И ведь любили! Да... Вот бы какого сюда! — рассмеялся старик. — Да, кстати, пароход пришел?

— Кажется, пришел час тому назад...

— Так вот что... С партией должен прибыть один молодой человек, Невежин... Помните, еще в газетах было о нем... стрелял в жену... О нем мне писала его мать... славная женщина, урожденная княжна Холмская, из бедных Холмских... Просила оставить здесь, принять в нем участие... У меня тут и деньги для него лежат... Так будьте так добры, поезжайте к полицмейстеру и попросите, чтобы Невежина тотчас бы освободили и прислали ко мне... Вот опять, пожалуй, скажут, что пригреваю ссыльного...

Сикорский встал, чтобы итти.

— Так смотрите же, Михаил Яковлевич, насчет записки... Сибирский патриотизм и все их штуки... Я наконец потерял терпение... Да вот еще что... Не в службу, а в дружбу. Купите конфет для жены и пришлите. Она сегодня не в духе... Эти дурацкие письма взволновали и ее...

Сикорский уехал не совсем довольный известием об этом Невежине, а Василий Андреевич приказал курьеру позвать к себе в кабинет господина Подушкина.

— Я ему покажу, как писать корреспонденции! — подбадривал себя старик, чувствуя, к сожалению, что весь гнев его уже выдохся, и Подушкин, пожалуй, может напакостить.

Вместо того, чтобы встретить вошедшего грозным напоминанием о «двадцати четырех часах» и нагнать на него страху, Василий Андреевич, напротив, принял господина Подушкина очень приветливо, с любезной, несколько фамильярной простотой, с какой добродушный и светский старик обыкновенно принимал всех, когда находился в хорошем расположении духа.

На этот раз, впрочем, и другие соображения играли роль. Василий Андреевич хотел позондировать господина Подушкина, а если сразу наброситься на человека, то, пожалуй, и запугаешь. Старик любил иногда притвориться необыкновенно тонким дипломатом.

Правда, он обещал своей воинственной супруге «по-своему» расправиться с корреспондентом, но ведь не будет же Марья Петровна знать, о чем они говорят! Кто же помешает ему потом изобразить сцену свидания в том свете, который бы свидетельствовал о непреклонности его превосходительства? Она слышала, как он пушил Прощалыжникова, и, следовательно, не усомнится...

Гарантировав себя таким образом на случай запросов жены, Василий Андреевич извинился, что побеспокоил «молодого человека», и, пригласив его присесть, таинственно и серьезно проговорил, приподнимая очки, спустившиеся на нос:

— Будьте осторожны, молодой человек!

Смуглый «молодой человек» с круглым, добродушным, румяным лицом, окаймленным черными, как смоль, вьющимися волосами, скромный и смирный банковский чиновник, не знавший за собой никаких провинностей, которые бы напоминали ему об особой осторожности, остановил на его превосходительстве свои изумленные большие черные глаза.

— Я дружески хотел вас предупредить... Будьте осторожны, молодой человек!— еще таинственнее и серьезнее, понижая голос, прибавил Василий Андреевич.

— В чем?... Я, кажется... — промолвил господин Подушкин, невольно испытывая смущение от этого таинственного начала.

Василий Андреевич, заметив смущение на лице молодого человека, был очень доволен своим дипломатическим подходом и продолжал:

— То-то «кажется», а мне все известно... И не хочу знать, а знаю...

— Но что же именно, ваше превосходительство?

— Вы в переписке с редактором «Курьера»? — не то вопросительно, не то утвердительно заметил Василий Андреевич.

— Как же, он мой знакомый! — простодушно отвечал господин Подушкин.

— Ну, вот видите! — с живостью подхватил старик. — Видите, что мне все известно. Так слушайте внимательно, что я вам скажу, молодой человек... Из Петербурга мне пишут, что этот господин не на хорошем счету... Понимаете? Из-за какого-нибудь простого письма долго ли до беды... Я вам по-дружески все это, чтобы осталось между нами... Как бы за корреспонденции того... не досталось вам... Конечно, я ничего не имею против них, хотя вы меня и не гладите по головке, но там они производят нехорошее впечатление. Так я дружески пригласил вас и снова повторяю: будьте осторожны, молодой человек!

Старик, внезапно сочинивший всю эту историю, не без торжествующего вида посмотрел на молодого человека, но был крайне удивлен, не заметив на его лице ни смущения, ни раскаяния. Его лицо улыбалось добродушнейшим образом, и он проговорил:

— Какие корреспонденции? Я никаких корреспонденций не писал, ваше превосходительство!

Василий Андреевич подмигнул глазом, будто говоря: «Ладно, рассказывай, — меня, брат, не проведешь!»

— Ей-богу же, не писал, ваше превосходительство!

— Да что вы все меня титулуете... Мы здесь с вами частные люди, сидим вот и беседуем. Напрасно вы скрываете. Мне отлично известно, что вы писали... Ну, и скажите прямо: писал... В этом ничего нет предосудительного. Пишите с богом... Я, если хотите, дам вам отличный материал...

— Даю вам честное слово, что не я, — проговорил, весь вспыхивая, Подушкин.

Василий Андреевич опешил.

— Не вы?

— Не я.

— Так кто же?

— Ну, уж это не мое дело! — обидчиво возразил господин Подушкин.

— Да вы не сердитесь, голубчик... Ну, не вы... Я верю... Меня ввели в заблуждение, но, быть может, вы частным образом писали редактору что-нибудь, а он составил корреспонденцию... Ведь я не против... Пусть пишет, но пусть пишет правду... я первый поклонюсь ему за это в ноги, но писать наскивили... говорить, что будто на меня имеют влияние разные проходимцы...

— Ничего подобного я не писал.

— Верю... верю; и в доказательство попрошу вас об услуге... Сообщите редактору, что его самого вводят в заблуждение...

И Василий Андреевич стал рассказывать, кто и почему им здесь недоволен, пустился в откровенности, об'яснил, как ему здесь трудно, и в конце концов заметил:

— Вот говорят, будто Сикорский имеет на меня влияние... Ведь говорят?

Господин Подушкин дипломатически молчал.

— Ну, скажите правду... ведь говорят?

— Говорят...

— Так я вам скажу, молодой человек, что все это вздор! — горячо начал старик. — Вздор-с. Пошлые сплетни и больше ничего... Я знал Сикорского раньше, ну, и все... Ну, дал там ему местечко... Жаль человека... Хоть и замаран хвост у него, а все-таки жаль... Но он у меня в струне ходит... Понимаете-с, — в струне! — строго заметил старик. — Всяк сверчок знай свой шесток... Я не позволю, чтобы там хоть и несчастный, но проворовавшийся барин смел даже и подумать о влиянии... И я уполномочиваю вас, если хотите, написать обо всем этом редактору... Для меня правда дороже всего...

Василий Андреевич долго еще говорил на эту тему и, признаться-таки, с довольно легким сердцем поругивал господина Сикорского. В заключение беседы он выразил удовольствие, что имел случай ближе познакомиться с господином Подушкиным, просил заходить к нему запросто и обещал ему дать много любопытного материала, если бы он захотел писать корреспонденции.

Господин Подушкин, несколько тронутый такой откровенностью, уклонялся однако от корреспонденций, но Василий Андреевич, прощаясь с ним, снова повторил:

— Непременно напишите... Доброе дело сделаете... Писать правду всегда можно, даже должно... И меня не щадите, если я того заслуживаю!.. — прибавил его превосходительство: — но только чтобы была правда, и только одна правда... Ну, до свидания. Да смотрите, чтобы этот разговор был между нами...

«Кто же однако писал эту корреспонденцию?» — недоумевал Василий Андреевич и, взглянув на часы, заметил, что уже 12 часов и пора завтракать.

Бойкой походкой вошел он в столовую и, садясь за стол, проговорил:

— Ух... устал... Столько работы, столько работы... А этого Подушкина я распушил... будет помнить! — вдруг прибавил он, обращаясь к Марье Петровне, угрюмо сидевшей за самоваром. — Впрочем, оказывается, что это не он писал... Он только знаком с редактором.

— Так за что же ты распек Подушкина, если это не он писал? — спросила придирчивая Марья Петровна.

— За что... за что? — смешался старик. — Вообще... Их необходимо подтянуть.

Марья Петровна пожала плечами и тяжело вздохнула, словно бы этим вздохом хотела пожаловаться, что у нее такой муж.

А Василий Андреевич занялся завтраком, шутил с детьми, бросал по временам тревожные взгляды на жену и, убедившись, что она сегодня окончательно не в духе, торопливо допил стакан чаю и пошел в кабинет досиживать свое многотрудное служебное утро, проговорив на ходу:

— Ужасно много дел... ужасно много...

— Не забудь написать, о чем я просила! — подчеркнула Марья Петровна.

— Напишу... напишу... А знаешь, Невежин приехал...

— Ну так что ж?

— Ничего. Я велел ему придти... Послать его к тебе?.. Ты ведь знавала его мать...

— Я и его знавала... Пожалуй, пришли! — кинула небрежно Марья Петровна. — Бедный молодой человек! — тихо прибавила она и снова вздохнула.

Г. А. Мачтет

Сон одного заседателя

(Сибирская сказка)

Давно это было, — так давно, что и сказать трудно, — еще в то приснопамятное время, когда на свете не было «строгих ревизий», когда все кругом шло иначе и сами заседатели были иные, на нынешних совсем непохожие.

С'ехались раз заседатель, доктор и стряпчий, как водится, на следствие по делу о «мертвом теле» и начали, как в таких случаях было положено, с карт и «очищенной»; последняя, как известно, появилась на свет чуть ли не вслед за

«прехождением». Пьют это они и играют, играют и пьют, — друг дружке ремизы ставят, взятки дают, — ан дело и к ночи пошло, спать захотелось... Хоть они и «весьма усердными» начальством своим почитались, а все ж, поди, и им отдых-то полагался... Как-никак, а вместо жестоких романсов, которые распевал стрянчий с таким чувством, стал он выделывать носом рулады, несомненно свидетельствовавшие, что человек далеко не бодрствует... Послушал доктор, послушал, да и сам захрапел с полуштофом в руке... Один заседатель никак заснуть не мог. Ворочался это он на постели, ворочался, с боку на бок переваливался, и глаза закрывал, и уши затыкал, — нет сна, да и только! В избе было душно и жарко, храп заснувших раздражал и беспокоил, голова трещала, в висках, точно кузнецы наспех работали, — и ощупью, не слыша под собой земли, еле держась на ногах и шатаясь, выполз заседатель из душной избы на воздух.

— Тут-то, даст бог, засну! — подумал он и лег под старым, угрюмым кедром.

На дворе стояла глубокая летняя ночь.

Свежий, теплый воздух ласкал как-то особенно мягко — точно бархат прикасался к лицу. Зеленые верхи старых, угрюмых кедров, качаясь, о чем-то шептали друг другу, и их нежный шопот усыплял и баюкал, как нянина сказка. Яркие божьи звезды горели, переливаясь радугой, в темном, почти синем эфире. Во всем и везде царила какая-то чудная нега, сладкая истома летней сибирской ночи, насквозь проникавшая заседательское тело. Он лежал неподвижно, всматриваясь в какую-то далекую звездочку, пока глаза его сами собой не стали слипаться, в голове не спуталось, не подернулось все туманом.

Долго ли, коротко ли лежал так заседатель, — бог его знает! — только вдруг видит: перед ним матерой волк стоит, — стоит, хвостом машет, глазищами поводит, да прямо ему в лицо зубами щелкает. Вот-вот кинется... Обомлел заседатель: хочет бежать, — сил нету; крикнуть хочет «караул», — голосу нет.

— Что скажешь? — начал было он свой стереотипный вопрос, каким всегда встречал просителей, и насилу договорил от страха, да и то в конце поперхнулся.

А волк все стоит над ним в самой наглой позе, стоит да зубами щелкает и глазищами водит. Щелкал-щелкал, водил-водил, да наконец и ответил дерзко:

— А с'есть тебя, заседатель, хочу, вот что! — и так защелкал зубами, так засверкал глазищами, что бедного заседателя вперемежку три раза морозом прошибло и три же раза в пот бросало.

— Как-никак, а с жизнью — куда не весело расставаться, особенно заседателю. Ужас, — страшный, неописуемый ужас, — охватил несчастного, сковал ему члены и сдавил горло... Но острое чувство самосохранения взяло-таки свое, и он взмолился:

— Волк, а волк, голубчик... не ешь, не губи меня, помилуй!

— Не могу, брат, не прогневайся, — спокойно ответил волк: — с какой стати мне от добычи моей отказываться, что я за дурак такой? Разве ты, заседатель, кого миловал, от добычи отказывался, а? — вспомни-ка!

Так-то оно было так, а все-таки крепко не хотелось заседателю самому добычей явиться.

— Я тебе душу свою запишу! — пошел он торговаться.

Волк только хвостом махнул и как-то особенно презрительно.

— Что мне в твоей душе истрепанной? — сказал он насмешливо. — Да и какая у тебя, у заседателя, душа-то!

Но заседатель продолжал молить так жалобно, что в конце концов разжалобил волка. Тот призадумался.

— Вот что, — сказал он, наконец, надумавшись: — душа твоя пусть останется при тебе, а ты мне свое заседательство подай, на том тебя и помилую.

Как ни хотелось жить заседателю, однако, такое необычное предложение смутило-таки его.

— Как это заседательство? А я-то с чем останусь, как буду? — нерешительно выговорил он.

— А себе как хочешь, так и живи, — мне-то что? Говорю: подай заседательство, — и подавай, а не то аминь! Я буду заседателем, а ты — чем себе хочешь... Коли надоест по свету валандаться, приходи на это самое место, да и кликни меня — я сейчас прибегу и отдам тебе твое... Но тогда уж слопаю!

Призадумался бедняга. Крепко не хотелось ему с заседательством расставаться, да жизнь все-таки милее показалась. Согласился.

— Бери! — сказал он, наконец, вздохнув, и махнул рукой.

— То-то, давно бы так! — сказал волк и стащил с заседателя все, что на нем было, даже усы и бакенбарды снял. Перевернулся раз, другой через голову, — и стал капля в каплю настоящим молодцом-заседателем. Дунул затем на заседателя, и тот совсем преобразился: на любого из людей похож стал, только не на себя. Ахнул несчастный, глядя на такое превращение, а волк-самозванец крякнул, подбоченился, выругался и сказал:

— Только чур, слушай, — уговор лучше денег!.. Я обязуюсь ни в чем твоих порядков не изменять: как ты заседательствовал, так и я буду во всем до последней мелочи, — а ты не проговаривайся, не то быть беде!..

— Ладно! — вздохнул заседатель.

Свистнул волк и, откуда ни возьмись, появилась тройка «земских» с малиновым колокольцом. Вскочил волк, хлопнул ямщика, по-заведенному, раза два в зубы, — для памяти, — и был таков.

А заседатель лежит, как мать родила, под старым кедром, лежит и думу думает. И холодно ему, и голод мучить начинает, а пуще всего страх донимает. Что он теперь делать станет, как жить будет? Кто его пригреет, кто приласкает, куда он голову свою приклонит?.. Жил он до сих пор заседателем, а теперь бобылем беспаспортным оказался; всем сам командовал, а теперь самому под команду итти придется... Да еще волк обещался ни в чем порядки им заведеные не менять, а знал он эти порядки, — ох, знал хорошо! — за что его «лютым» прозывали... Мороз подирает по коже заседателя, — он почти и жизни не рад стал. «Господи, — думает он, — вот кабы нанесло на меня мою заседательшу... Положим, она меня не признает, — теперь волка проклятого за меня принимает, — да все же у нее сердце доброе, мягкое, — пожалела бы меня нагого, прикрыться дала бы чем, а то и подвезла бы!..»

Глядь, а заседателева молитва и услышана... Прямо по дороге плетется тарантас на земских, а в нем пухлая заседательша покачивается, — с крестин едет.

— То-то, чай, от волостных писарей подарков везет! — забывшись, чуть не облизнулся заседатель, да вспомнил, что все это не про него уже, и вздохнул тяжко.

— Матушка, — взмолился он, — смилуйся, дай что-нибудь... Ограбили меня, прохожего, злые люди...

— А ты жалуйся! — резонно отвечала заседательша, когда тарантас остановился на его крики.

— Да ты дай, кормилица, чем наготу прикрыть...

— Всякому не напасешься, прости господи, — ответила заседательша. — Нет у меня ничего про тебя, — не припасено!..

— Да ведь сердце-то у тебя доброе! — молил заседатель.

— Доброе-то доброе, да опять не про тебя... Трогай, чего зазевался! — крикнула заседательша на кучера.

Тарантас тронулся, а бедный заседатель слезами залился. Вспомнил, что сам же он выучил заседательшу свою не жалеть никого, вымуштровал на свой лад. А сердце-то у нее, как у всякой женщины, было сначала действительно мягкое и доброе, к людям жалостливое, да сам же он ненавидел и преследовал в ней эту жалостливость. Еще за час всего он бы только похвалил ее, а теперь? — И проклял заседатель самого себя.

Лежит он, все лежит и думает, кто бы такой выручил его, помог ему... Перебирал имена знакомых, перебирал, да вдруг и вспомнил... — Дерунов! Кто как не он! Добрейший купчина, — вместе дела делывали, да еще и какие! Вот на прошлой неделе усмирял он, заседатель, рабочих его, когда те, канальи, верного расчета потребовали!.. Господи, — взмолился заседатель, — нашли на меня Дерунова!

Глядь — и эта молитва его услышана. Только-что успел он ее вымолвить, а по дороге громадный тарантас «на своих» плетется, и в нем толстый-претолстый купчина похрапывает. Храпит и сквозь сон барыши высчитывает.

— Батюшка, отец родной, помоги! — закричал во всю мочь заседатель.

Тарантас остановился. Купец протер глаза, оглянулся пугливо кругом и выхватил из кобуры револьвер, но, убедившись, что пока нет никакой опасности для кармана, опять его спрятал.

— Чего тебе? Кто такой будешь? — спросил он сурово, подозрительно оглядывая заседателя.

— Видишь, голый, — молил тот. — Прохожий я человек, да ограбили меня злые люди... Выручи... Озябь!.. Дай чем срам-то свой прикрыть.

— Ишь ты... Стану я всякому прощалыге подавать! — с насмешкой отозвался купец. — Нет, брат, не таковский я, не на того напал... Сам для себя всяк припасай — вот мой закон!

— Довези хоть до жилья! — плакал заседатель.

— И лошадей для тебя морить не стану... Трогай!

Уехал купец Дерунов, а бедный заседатель слезами заливается... Точь в точь так и сам бы поступил раньше, а Дерунову бы похвалу высказал за то, что нищенства-де не поощряет... А теперь?.. И вновь проклял себя, бедняга. Ах, если бы он все это раньше предвидел, если бы только знал! Отчаяние, жгучее отчаяние овладело несчастным, и он уже собрался было звать волка, да заслышал грохот телеги.

— Ну, слава богу, — подумал он, — может господь кого и пошлет, доброго.

В телеге ехал дюжий мужик Пахом, славный работник, хорошо известный всему крещеному люду округа. Но как только завидел его заседатель, так и схватился за волосы. Еще вчера сорвал он с него, Пахома, ни за что, ни про что, четвертную, а неделю тому назад задаром проморил его в каталажке, пока тот не откупился коровой. Ну, как же теперь просить у него помощи?.. — Господи, — воскликнул только заседатель, — за что такое на меня испытание! Эх, кабы я знал раньше, да разве бы я...

Но, к его крайнему удивлению, даже страху, Пахом и без его мольбы остановил лошадей, как только его завидел. Долго всматривался он в сконфуженного заседателя, старавшегося, по какому-то непонятному побуждению, не глядеть ему в глаза, и наконец спросил:

— Что за притча, сердешный... Видать, ограбили?

— Ограбили, братан! — еле вымолвил заседатель.

Пахом покачал головой и оглянулся кругом.

— Все это от заседателя нашего пошло. Такие порядки развел лютый, что кругом одно грабительство идет, прости господи! Совсем закон забыл! — сказал Пахом.

Знал заседатель, — ох, знал — сколько правды в словах Пахомовых, и впервые застыдился. Молчит только, глазами хлопает.

А Пахом стал шарить в телеге и вытащил грубый, но теплый зипун.

— На, — сказал он, подавая его заседателю, — озябь; холодно, чай... Да садись, подвезу... обогреешься у меня!

С восторгом, просто себе не веря, схватил заседатель теплый зипун и вскочил в телегу. Слезы, какие-то благодатные слезы, еще неведомые, неизведанные, давили его, и он чуть не обнял Пахома. Ему даже как-то захотелось покаяться, признаться во всем Пахому, да вспомнил угрозу волка: «быть беде» — и только вздохнул. Эх, если бы он раньше все это знал, кабы предвидел только!..

А Пахом погнал лошадей и, когда они отъехали немного, повернулся к нему и спросил:

— Не здешний, чай?

— Не здешний, братан, — чужой... Работы ищу! — ответил ему заседатель.

— И работа найдется... Тут купец Подлевский на завод намеднись людей спрашивал — кули таскать... Вот и иди!

Пахом замолчал и, только подъезжая к избе, опять повернулся к заседателю.

— Ты, братан, слышь, жаловаться-то не вздумай! — сказал он ему.

— А что? — спросил заседатель.

Да напасть одна с твоей жалобой-то выйдет... Лютый он у нас, заседатель... Без денег он ничего тебе, — еще виноватым сделает. Меня вон вчерась задаром пощипал... Брось, не ходи!

И вновь облилось заседателево сердце жгучим стыдом, — чувствовал он, что Пахом говорит правду.

Обогрелся бедняга-заседатель на Пахомовых полатях, подкрепился чем бог послал, — Пахом, правду сказать, не скупился для нежданного, богом посланного гостя, — даже повеселел немного. — Ну, что ж, — думал он, — как-никак, а

пробьюсь; может, еще и в люди вылезу, — все же лучше, чем у волка на зубах хрустеть! — усмехнулся он и пошел искать работы.

На завод его приняли. Сметливый заводчик сразу смекнул, что дело выгодно,— парень голодный, холодный, да еще и беспаспортный. Таким всегда половинная цена, а работа двойная. Принял заседателя кули таскать по гривне ассигнациями, да фунт хлеба в сутки, — работать без отдыха. Воды не жалел, воды сколько хочешь!

Только вздохнул заседатель, да делать было нечего, — голод не тетка. К тому же, раньше-то, сам он такую методу на заводах поддерживал; чуть лишь заупрямится рабочий, — пожалуется хозяин, он сейчас в каталажку тащит, без разговору. А каталажку-то завел он у себя особенную: с морозцем да с дымком, — одним словом, лютую!

Таскает он кули, таскает бедняга, — пот градом льет, спина ноет, из глаз слезы сами собой брызжут. Проклинает несчастный трудовое рабочее житье и крепко жалеет, что не завел раньше в округе таких порядков, чтобы не истязали рабочих через силу неимоверной работой, как и закон требует. Легче бы тогда было ему кули-то таскать! Ну, да что теперь поделаешь?.. Еле дышит бедняга.

Глядит на него заводчик, глядит да и думает: как бы с него еще чего-нибудь да повыжать. Беспаспортный ведь, с ним что хочешь, то и делай, — все равно, что не человек. Остановил он его, надумал:

— Эй, братец, что-то, погляжу, ноша у тебя легкая будет по силе-то. Куля, видать, тебе одного мало, — тащи зараз два! — кричит.

Обомлел заседатель.

— Батюшка, — завопил он, — куда мне два куля-то, я и под одним света не вижу!..

— И не надо, братец, тебе его видеть, — зачем тебе... Твое дело только кули таскать, и тащи!

— Батюшка, отец родной, помилуй! — вопит заседатель.

— Не бог я и не царь, — отвечает хозяин, — что же мне тебя миловать... Не мое это дело!.. Коли хочешь таскать — работай; не хочешь — убирайся!

Зло разобрало заседателя. Какая-то непонятная обида, — точно за поруганное человеческое достоинство, — охватила его, защемила в груди. Глаза его загорелись, губы задрожали.

— Христианской души в тебе нет, — не лошадь я, — резко, весь дрожа, выпалил он ему сквозь стиснутые зубы.

— Души не-е-е-т! Нии-е л-о-о-шадь! Вот погоди же, лентяй, — покажу я тебе душу. Стой! — И дюжею рукой вцепился ему хозяин в загривок.

В первый раз пришлось подобное поругание на долю несчастного заседателя, и он не выдержал... Вскипел, взревел, да как толкнет купчину «под микитки», так тот и отскочил на сажень, как мяч.

Ну, тут-то и пошла беда. На крик хозяина выбежали все приказчики — кто с метлой, кто с дубинкой, — и накинулись на беднягу заседателя. Хорошо еще, что насмерть не убили, но все же еле живого потащили к заседателю-волку.

А проклятый волк встретил его точь в точь, как и он встречал приводимых. Так и накинулся:

— А-а, бунтовать, мерзавец, такой сякой сын!? — даже слова выговорить не дает.

— Ваше скородие! — взмолился заседатель, низко кланяясь, как и ему раньше кланялись, — помилуйте, не виноват я; видит бог, не виноват! Но два куля тащить заставляет сразу, а после еще драться полез!

— Так тебе и надо, рракалья! — кричит волк, топая ногами. — В каталажку его!

Точь в точь, как и он когда-то.

— Да погляди, ваше скородие... Я весь избит, как есть в кровь! — молит слезно заседатель.

— Так и следует, разбойник! В каталажку!

— Отец-милостивец, да ведь закон бить не позволяет!

В первый раз вспомнил бедняга, что есть на свете закон, — вспомнил только теперь. Да солоно же ему досталось.

— Закон, а... закон, говоришь? Погоди же, покажу я тебе закон!.. Вот тебе закон, вот тебе закон! — ревел волк, тузя избитого заседателя.

Вспомнил бедняга, что он сам также «закон» показывал, и, зарыдав навзрыд, опять себя проклял.

Потащили его в каталажку с морозцем да с дымком, которую он сам и выстроил... Ох, знал он ее, — хорошо знал, — да только не думал бедняга, не знал одного, что на себя же ее и выстроил... Знай только, — да он бы ее дворцом сделал. Ну да что теперь поделаешь! Плачет он, плачет, себя клянет, а на волка не ропщет. За что? — сам виноват.

И сидит он день, сидит другой, в холоде да голоде... Ни маковой росинки во рту за два дня не бывало... Посадили его в «секретную», так что другие арестанты, им еще посаженные, и делиться с ним не могли. Завыл бедняга с голоду, да и вспомнил, что арестантам кормовые полагаются. Вспомнил, обрадовался, побежал сейчас к дверям и зовет сторожа Кондрата.

— Так и так, — говорит ему, — кормовые мне; потому — по закону полагаются!

Тридцать лет служил Кондрат при каталажке, а не помнил ни разу, чтобы арестанту деньги выдавались. Пошел к волку.

Прибежал волк с пеной у рта, даже дрожит весь, слова выговорить не может. Только и кричит одно: Кор... кор... кор... — да задыхается, наконец-таки выговорил:

— Задай-ка ему, Кондрат, кормовых, да хороших!

И стал задавать ему Кондрат кормовых, да со всего маху, как и при нем это заведено было. На всю неделю, кажись, должен бы сытым остаться!.. Даже слова не выговорил бедняга, только рукой махнул.

Сидит он дольше, все сидит, и хотел было уже волка звать, да не может... По условию, в лес выйти надлежало, — на то самое место, где уговор был. Отощал бедняга, живот подвело, кости выперло, а глаза под лоб ввалились. Так и помер бы, не сиди он теперь в «общей», где им же посаженные арестанты с ним хлебом делились, что родные носили. Только этот хлеб опять-таки ему в горло не шел: больно уж арестанты заседателя бранили, на его голову всякие беды звали, лютым прозывали. Чувствовал заседатель, что они правы, и не тянулась его рука за их хлебом. — Вот где отозвались ему людские слезы!

И стал он со слезами Кондрата просить, чтобы тот его выпустил. Помнил, что Кондрат при нем всецело этим заведывал, значит, по условию с волком, и теперь так должно быть. Позвал Кондрата, — тот не перечил, только денег запросил.

— Да ничего нет у меня, милостивец! — взмолился несчастный заседатель.

— А нет ничего, так и сиди!

Точь в точь, как при нем. И еще раз проклял себя заседатель.

Надоела ему жизнь хуже горькой редьки. Сделал он петлю, да и давай вешаться. Но Кондрат не допустил.

— Не смей, — говорит, — это не полагается! — и зуботычину еще дал: — ишь, что выдумал.

Однако сжалился над ним.

— Неужто, — спрашивает, — у тебя родни-то никакой нету, чтобы выкупить тебя могли?

— Нет, ни душеньки нет! — ответил заседатель.

— Правда, беспаспортный... С тебя, видно, не выжмешь много... Давай все, что ни есть на тебе, да иди себе с богом... Милостив я к тебе!

— Да в чем же я пойду? — удивился заседатель. А Пахом дал ему платье все новое, хорошее.

— Есть у меня старая шестрядь, — дам тебе... Все же прикроешься! — ответил Кондрат.

Вздохнул заседатель, а ни слова не сказал, потому — узнал свои порядки. Скинул зипун, рубаху, сапоги, порты — все новехонькое, что Пахом подарил, — надел рваную шестрядь и пошел.

Шел он, шел и набрел на приписк, а там как раз рабочих нанимали. Стал наниматься и он, и задатка, как водится, потребовал. Приняли с охотой, да, как беспаспортному, сейчас полцены и сбавили. Дали бутылку воды пополам с водкой, зипун, рубаху, сапоги и приказали за это в получении ста рублей расписаться.

— Как, сто рублей?! — всплеснул заседатель руками, — за все это вместе самая красная цена 10 рублей будет.

— Твоя воля, — отвечают ему: — не хочешь, не бери; ступай себе с богом, откуда пришел!

Что было делать, — не помирать же с голоду! Расписался заседатель и снова клясть себя стал, что заводил и поддерживал такие порядки на приисках вопреки закону.

Живет он день на прииске, живет другой, — еле дышит. Работа, как есть, каторжная, а кормят всякой падалью, да и то впроголодь. Не вмоготу стало бедному и, как на грех, вспомнил он в третий раз про «закон». До сих пор он никаких законов знать не хотел, а тут вспомнил. Вспомнил, что закон запрещает кормить падалью и изнурять работой, да и стал это вслух высказывать. — «Так и так, мол, братцы, есть такой закон, наверное знаю»...

Слушают ребята, что такой закон есть, и радуются. Слава тебе, господи! — кричат. Только, слышь, наверное ли знаешь? — допрашивают. Богом клянется заседатель, а вокруг него куча все растет, да растет. Такой гам пошел, что и сказать трудно; только и слышно было: «закон!», «закон!», «закон!».

Услыхал это страшное слово управитель приска, побледнел от страха, задрожал весь, да шасть за волком, а волк тут, как тут.

— Что у вас здесь такое, — спрашивает, — бунтовщики?

— Закона хотим! — кричит ему толпа, — закон подавай!

Даже затрясся волк.

— А-а каннальи... лентяи... пьяницы анафемские... закона захотели! Кто вам про закон наговорил?

Выдвинула толпа бедного заседателя. Как увидел его волк, так даже зубами заскрежетал.

— Зачинщик! Бунтовщик! Кандаллы!

Заковали бедного заседателя и повели в острог под конвоем. Не плакал он, не убивался теперь и не клял себя, а только каялся. Каждому встречному низко кланялся и прощения просил. — Великий я, — говорил он всем, — грешник! Простите, православные!

И народ его прощал.

Долго ли, коротко ли сидел он в остроге, но все-таки в конце концов вышел, бог его знает как. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Постарел беднята, осунулся, а все еще жить ему хочется. Опять выручил его Пахом: накормил, одел и дал ему в долг лошадь.

— Разживайся, — сказал, — с нею... С лошадью-то скорее, легче... Разживешься, отдашь!

Ходит заседатель с лошадью в извоз, — возит, что все рабочие люди возят. И сам сыт, и лошадь его сыта, да и Пахому долг выплатил. Ожил он, повеселел, на мир божий стал глядеть любовно. Людям радовался, свету божьему. Что-то новое, теплое, мягкое, человеческое стало просыпаться в его холодной груди, какой-то луч живого света проник в его сердце. Ни корысть, ни жадность, ни злоба не мучили, не терзали его. Вставал он с солнцем, с солнцем ложился и свято блюл святую заповедь: трудиться и в поте лица добывать хлеб свой. И люди его любили, и он их любил.

Только и стрясись над ним новая беда! В одну злую ночь, бог весть как, угнали у него лошадь.

Обезумел беднята и побежал к волку.

— Так и так, — докладывает, — ночью у меня, ваше скородие, лошадь угнали.

— А мне, — говорит волк, — какое дело, что у тебя лошадь угнали? У меня своих делов, братец, много и без твоей лошади.

— Да ведь она у меня единственная, ваше скородие.

— А хоть бы и вторая, — отвечает нахально волк, — мне-то что? Ступай, ищи себе воров.

Вышел беднята, — краше в гроб кладут. Только догоняет его Кондрат.

— Эй, ты, слышь! — кричит, — найдется лошадь-то, только не скупись! У нас, — говорит, — все воры наперечет.

Знал это заседатель, — ох, твердо помнил!

— Нету у меня, голубчик, ничего; ни алтына! — ответил он, плача и напрасно шаря в карманах.

— Нет, так и лошади нет, — ответил Кондрат и пошел прочь.

Зарыдал заседатель... Последняя надежда, единственная опора отнята! Хватил он себя руками по бокам и грохнулся наземь... Лежит, лежит бедняга, и от горя совсем обезумел. Поднял голову, осмотрелся вокруг, ничего не видя, сел и вздохнул... Вспомнил вдруг, что воров по кабакам ищут, да и шасть в кабак... Сел там, смотрит, а добрый сосед и поднеси! Выпил заседатель, — как будто полегчало... Заложил зипун, выпил еще, — точно еще легче стало. Еще и еще, да так и пошло с тех пор...

Пропил все, а там и стал пьяницей. Только протрезвится, сейчас первая дума: где денег на водку взять? Так и не выходит из кабака ни днем, ни ночью, все туда носил, что ни найдет, ни заработает. Сам ходил босой, хмурый, немытый, и всяк, кто ни встретит его, кричит ему одно: пьяница! Станет он людям горе свое выкладывать, как он хлеб зарабатывал, как жил, трудясь, да с беды только, с горя-несчастья в кабак забрел и запил, а люди ему в ответ только одно: пьяница! пьяница! пьяница!

И вот раз, среди такого беспробудного пьянства, пришла ему в голову странная мысль: зачем он живет на свете? — пришла как-то невзначай, и он даже улыбнулся себе на вопрос: «зачем»? Что в ней, в такой жизни? Беда, горе лютое, один позор и больше ничего! Ни людям, ни себе! Хотел он жить человеком, не вышло! — Нет, баста! — решил заседатель: довольно, пойду к волку. И пошел.

Стояла теплая летняя ночь. Звезды горели ярко в темном, почти синем эфире. Высокие кедры качались и навевали сон. Все спало, все говорило о безмятежном, тихом покое. Захотелось такого мира и покоя заседателю, и стал он кликать волка.

— Волк, волк, волк!

Прибежал серый волк, засверкал глазами, защелкал зубами, но заседатель уже его не пугался.

— На, бери ее, эту жизнь! — сказал он спокойно волку.

— Что, аль невмоготу? — ехидно спросил волк.

— Невмоготу.

— Солоно, чай... Смерть лучше?

— Лучше, — ответил заседатель.

Волк открыл свою страшную пасть...

Но тут заседатель проснулся под старым кедром, как заснул с вечера. Стряпчий и доктор еще храпели. С невыразимым изумлением осмотрелся он вокруг, ощупал себя и вдруг рассмеялся.

— Так это сон! — заливался он в восторге.

Говорят, что с тех пор он стал гнать волков и помогать людям. Впрочем, иные утверждают совсем наоборот.

Д. Н. Мамин-Сибиряк

Сибирские орлы

На одном из промежуточных вокзалов только-что открытой Тюменской дороги собралось много публики. Ждали проезда известного сибирского магната Мансветова-Гирей. Многие приехали на станцию с специальной целью, чтобы только взглянуть на великое светило. В числе собравшейся публики особенное внимание обращал на себя седой, высокий старик в потертой и выцветшей шинели с гимназическим ранцем за плечами. Старая военная косточка сказывалась во всем — и в костюме, и в выправке, и в манере себя держать. Заплатанные ботфорты были вычищены ваксой, как на смотр; кэпи упраздненного французского покроя было надето набекрень, что уже совсем не гармонировало с серебряными сединами почтенного старца. Меня поражала в этом суб'екте удивительная бодрость и розовый цвет лица. Ему, по крайней мере, было лет семьдесят. Только военная николаевская выправка создавала таких богатырей.

Мне приходилось ждать поезда, и от нечего делать я наблюдал железнодорожную публику. Какая неизмеримая разница с прежним сибирским трактом, когда гужом

ехали все такие основательные люди: купцы, сибирские администраторы и просто деловые люди. Железная дорога привела с собой много такого люда, общественное положение которого нельзя определить никаким химическим анализом. Куда идут эти неведомые люди, зачем они так торопятся и откуда они взялись?.. На каждом лице деловая тревога, глаза так и бегают, а общее выражение такое, как будто человека ожидают вот сейчас и известь какие важные дела. Таинственные незнакомцы хлынули в Сибирь из неведомых глубин коренной России и везде понесли с собой московскую расторопность, изворотливость и просто сшитое на живую нитку плутовство. Их присутствие на этой станции для меня являлось нераз'яснимой загадкой. Но они были тут и суетились больше всех. Другое дело — служащие Мансветова, которые являлись встретить патрона по обязанности. Они так и держали себя, как гости, приехавшие на именины.

— Monsieur, несколько крейцеров... — проговорил над моим ухом хриплый, неприятный голос. — Извините, но мои седины позволяют быть настолько неделикатным, что...

Это был старик с ранцем. Я только теперь заметил его большие, темные глаза, глядевшие насквозь с таким странным блеском. Он не протягивал руки, не корчил жалобной рожи, а требовал, как должного. Получив какую-то мелочь, он спокойно проговорил:

— А как вы полагаете, сколько мне лет?

— Лет семьдесят...

— Извините-с: ровно восемьдесят. Да-с... Георгию Самсоновичу восемьдесят и мне восемьдесят: по годам мы с ним равны. Евангельский богач и убогий Лазарь, а годы равны-с... Не правда ли, какое странное совпадение-с?.. Даже и не Лазарь, а сам Иов в дни его несчастия... Вы слыхали про заболотского полицмейстера Неупокойникова? Нет? Жаль... Он к вашим услугам.

Эта манера называть Мансветова по имени и отчеству: Георгий Самсонович — выдавала старого проходимца с головой. Выгнанный со службы сибирский чин сказался в двух словах. Дескать, и мы в свое время были с Георгием Самсоновичем за панибрата, когда еще он и т. д. Это обычный прием столичных трактирных жуликов и сибирских чиновников не у дел. Мне лично такой оборот разговора очень не понравился, гораздо хуже того, что человек позаимствует у вас несколько крейцеров. Русский человек уж так устроен, что настоящему бедняку не подаст, а вот такому суб'екту посовестится отказать, и мне было обидно за себя, что я не отказал полицмейстеру Неупокойникову. К довершению всего, старик отправился без стеснения прямо к буфету третьего класса и развязно потребовал рюмку водки. Оставалось ждать, как он заявится опять, дохнет прогорелым вином и фамильярно подсядет. Явилось даже малодушное желание куда-нибудь спрятаться, но это было невозможно: вокзал был невелик, а до поезда оставалось еще полчаса.

— Я тут у знакомого попа гостил, а теперь пробираюсь в Питер... — заговорил возвратившийся старик, действительно подсаживаясь ко мне на дубовый диванчик. — Скиталось из страны в страну... взыскующий града... да...

Я очутился в довольно глупом положении, но потом подумал: что же, ведь он меня не с'ест в эти полчаса. Пусть его поговорит, если хочется...

— Вы долго служили в Заболотье? — спросил я.

— Да порядочно-таки... И в Восточной Сибири служил и в Западной, а кончил Заболотьем. Очень любил я хороших лошадей... Сам выезжал. Да... Интересно, узнает меня Георгий Самсонович или не удостоит. Когда он венчался, в коляске у него была заложена моя пара... Только выехали из церкви молодые, я еду впереди, как полицмейстер, а кучер-ворона и распусти вожжи... ну, лошади понесли коляску, а я выскочил из своего экипажа и остановил. Тройку на полном ходу останавливал... Мы, казаки, около лошадей с детства, так оно привычное дело.

— Вы из каких казаков?

— А из Сибирского казачьего войска. Как же, казак с ног до головы. И землю свою имею, но только земля-то спорная. Еду хлопотать... Да. Так Георгий Самсонович тогда меня на свадьбе из щеки в щеку расцеловал... Мы с ним давно знакомы были, когда я еще тюремным смотрителем на Чернореченском заводе служил. Это рукой подать от Заболотья, и в Чернореченском заводе была каторга. Да... Упразднена в 1863 году.

— Какой же это завод был?

— Винокуренный, казенный-с... Это еще при откупах было. Несколько таких заводов было в Сибири, и казна сдавала их в аренду. Георгий-то Самсонович и арендовал тогда Чернореченский завод. Можно сказать, что там были их первые шаги... Потом уж они развернулись до необ'ятности. Еще и теперь в Чернореченском заводе на берегу три березки стоят, а под ними Георгий Самсонович любили вечерком посидеть и помечтать-с... Да-с... Под этими березками, может быть, какие мысли-то обдумывались?.. Я вам скажу прямо: Георгий Самсонович гений... я их боготворю. Вчуже сердце радуется, и точно сам молодеешь... Вот какие прежде-то люди были: орлы. Да-с... И взгляд орлиный имели, прямо сказать. Когда Георгий-то Самсонович арендовали Чернореченский завод, так рабочие были все каторжные. Другие в канцалах у заторных чанов стояли... О чем я хотел сказать, позвольте...

— О Мансветове.

— Да, да... Извините, захлестывает у меня иногда, потому что и стар, и дряхл, и обременен летами... Дней же моего странствия в сей юдоли плача восемьдесят лет... Говорил уж я, кажется? Да, так о Георгии Самсоновиче речь идет. Был такой случай у меня. Я смотрителем каторги был, так раз ночью и докладывают, что в общей камере произошло убийство. Конечно, сейчас следствие, розыски, но ничего обнаружить невозможно. Известно, каторжные... На следующий день вызываю к допросу всю камеру. Следствия у нас производились тут-же, в конторе. Ну, выстроили в шеренгу человек двадцать таких подлецов, что картина. — «Знать не знаем, ведать не ведаем»... По старым судам это много помотало. Бьемся день, бьемся другой, а толку все нет. На третий день в каторжную контору к нам и заверни Георгий Самсонович... «Не нашли виноватого?» — Никак нет-с! — «Эх, плохо вы следствие производите... Ну-ка, я не буду ли счастливее!» Вышел это к арестантам, обошел шеренгу, посмотрел на всех издали, а потом прямо к одному подходит и прямо его по уху: — «Твоих рук дело, подлец!» Могучий был человек, и никто не устаивал на ногах... Ну, арестант, известно, свалился и сейчас на колени: «Виноват, ваше благородие...» Вот какой взгляд был у человека!

— Да, действительно... взгляд.

— И другой случай был... Это уж в Заболотье. У одного чиновника в доме появились вдруг духи. Все бьют, все ломают, по ночам стук и треск — житья не стало. Хорошо-с... А чиновник-то не маленький, и, как семейный человек, конечно, ему неприятно. Узнал про духов Георгий Самсонович и говорит чиновнику: «Хорошо, я как-нибудь заеду познакомиться с твоими духами...» А сам смеется. Признаться сказать, он тогда еще вольтерьянцем был и, как говорится, ни в бога, ни в чорта не верил. Действительно, спустя некоторое время приезжает он к этому чиновнику. Осмотрел расположение комнат, разбитые зеркала, печи, а потом и говорит: «Действительно, духи у вас очень уж расшалились». Чиновница тут же стоит и слушает в оба уха, а Георгий Самсонович попросил ее выйти на минуточку и прислать няньку-старуху да горничную. Те приходят, а Георгий Самсонович к ним и прямо: рраз! рраз! Ха-ха... Ну, конечно, сейчас же повинились бабенки. Крепостные были и хотели барыне досадить. Так я и говорю: вот какой взгляд был у прежних людей. А нынче куда... даже, знаете, смешно говорить-с...

— Маленькие нынче люди...

— Нет, вы послушайте, что дальше-то было... Эта самая горничная, которая духов изображала, — из-за нее я вот в настоящем виде и очутился, — после того, как пришла в себя, от всего отперлась, ну, попала ко мне в лапы на предварительное дознание... хорошо-с...

Свисток подходившего поезда прервал рассказ сибирского орла на самом интересном месте.

Поезд подходил, медленно и тяжко сдерживая свое движение. Слышно было, как дрогнула земля. Публика из вокзала вышла на платформу. Нужно было видеть, каким молодцом вытянулся жандарм, как засуетился начальник станции, а публика замерла, впившись глазами в вагон первого класса, где в отдельном купэ ехал он. У публики есть инстинкт угадывать присутствие своего любимца: было два вагона первого класса, но все обратили внимание именно на второй. Он должен быть здесь... Сибирский полицмейстер, конечно, был впереди всех и, когда подходил поезд, вытянулся во фронт и даже сделал под козырек.

— Господа, не напирайте...

Большинство толпилось на платформе из любопытства, загораживая дорогу тем, кому нужно было явиться к Мансветову.

— Поезд стоит тридцать минут!.. — надтреснутым тенорком выкрикивал кондуктор, пробегая мимо линии вагонов какой-то особенной дробной походкой, как ходят только половые в московских трактирах да вымуштрованная железнодорожная прислуга.

Мансветов так и не показался из вагона. «Нужные люди» по очереди отправлялись к нему на исповедь и быстро возвращались — магнат никого не задерживал. Сопровождавшая его свита подкрепилась в буфете и весело галдела на разных языках. Кого тут только не было... У Мансветова было золотое уменье распознавать людей, и раз попавший к нему на службу мог считать свою карьеру обеспеченной. Магнат не давал преимущества ни одной национальности.

— Конца же я-то, господа? — растерянно спрашивал Неупокойников, напрасно стараясь попасть в очередь.

— Послушайте, господин, да вам зачем?

Старику пришлось ждать долго, но он-таки добился своего. Я видел, как он вышел назад, точно ошпаренный, и шел по платформе, машинально повертывая свое кэпи в руках. Как мне показалось, у него на глазах были слезы.

— Не узнал... нет, не узнал... — бормотал он. — Конечно, где же узнать...

В вагоне третьего класса публики ехало не особенно много, так что на каждого нашлась свободная лавочка. Я поместился у окна и смотрел на летевшую мимо ленту полей, перелесков, оврагов и насыпей. Поезд мчался с особенной быстротой — машинист понимал, что везет цезаря и его счастье. На одной из маленьких станций Неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке. В течение какого-нибудь часа он точно постарел на несколько лет — сгорбился, съежился и даже как будто сделался ниже. Водкой от него пахло попрежнему, но старческой молодцеватости не осталось и следа.

— Не узнали-с... — заявил он с грустной ноткой в голосе и махнул рукой. — Да я где же узнать, помилуйте!.. Хуже...

— А что?

Старик оглянулся и хриплым шопотом добавил:

— Захожу-с... Георгий Самсонович полулежит на кушетке... я их сразу узнал: один взгляд чего стоит. Конечно, года... ну, орел, одним словом. На лице этакая усталость и некоторая задумчивость. Я остановился в дверях и только хотел отрекомендоваться, а они... Нет, совестно даже выговорить! Георгий Самсонович этак искользь взглянули на меня и трехрублевый билет подают... Господи, что же это такое?.. У меня даже горло сдавило, слова не могу сказать... Так и ушел, и деньги бросил: не могу. От чужого возьму и даже сам обращусь, а тут свой брат... помилуйте, хлеб-соль прежде водили...

— Он, просто, не узнал вас.

Старик опять оглянулся кругом, точно боялся засады, и уже на ухо мне прошептал:

— Это я себя обманывало, что не узнали... Помилуйте, Георгий Самсонович — да не узнает! Этакий-то орел... Сразу узнали, а мне совестно стало... за них, что они притворились. Ей-богу... У них — все, у меня — ничего, и мне же совестно. И вдруг: трешницу... А я, признаться сказать, недели две проживался по здешним местам, чтобы встретить их — последняя надежда, можно сказать... Теперь уже все кончено: если Георгий Самсонович отвернулись, то чего же ждать? Finita la comedia!..[1]

У старика опять выступили на глазах слезы, и он напрасно мигал красными опухшими веками, чтобы скрыть их. Если женские слезы возбуждают сожаление, то мужские производят неприятное и жуткое чувство — нет, значит, выхода... Наступила пауза.

— Вы за что же собственно пострадали? — спросил я.

— А... что?... — точно проснулся Неупокойников. — За что пострадал?.. Да очень просто, за эту горничную с духами... Действительно: я шутить не любил, допросил ее собственноручно, а она и умри... кто же бы мог подозревать, что у простой девки и вдруг — порок сердца?.. Тут уж на меня, имя рек, и налетели злые коршуны и давай щипать, и вот что произвели: наг, сир, гладен и хладен... Ну,

[1] Кончена комедия.

стними все, возьми, но не дай вконец погибнуть... да-с. А то как уволили с волчьим паспортом, по третьему пункту, — и пропал. Находил и место и занятия, все ничего, а как дойдет дело до паспорта и увидит человек мой третий пункт — даже замычит. Да я сам не принял бы самого себя никуда с этакой рекомендацией.

— Кажется, подобные истории в Сибири довольно обыкновенны, и пугаться третьего пункта довольно странно.

— Да ведь Неупокойников по третьему пункту уволен, а Неупокойникова вся Сибирь знает, скажу не хвастаясь... Вернее: знала. Ведь нужно сказать вам, как я жил: князь... принц... Только в сказках можно прочитать. В Заболотье-то золотопромышленники и сивушные короли тогда развернулись... Господи, что было, что только было!.. Какие люди, какое время... А горные инженеры? Представьте вы себе, что в ничтожнейшем и жалком городишке вдруг скопились десятки миллионов совершенно диких денег... Великие были люди: Аника Терентьевич, Тит Поликарпыч... да мало ли их, всех не перечтешь. И мы с Георгием Самсоновичем перебрались: он свою линию повел, а я свою... Даже страшно выговорить: полицмейстер в Заболотье. Силища... Я и на службу поступил по приглашению от золотопромышленников: знали меня еще на каторге-то. Молод, красив, удал... Еще подходишь к дамочке, а она уж не знает, куда ей деваться: сама не своя. Тройку на всем скаку останавливал... Нарочно за мной в Чернореченский завод из Заболотья посылали, потому что был еще у меня один талант: русские песни никто лучше меня не умел петь. Развеселится компания и за мной: спой, голубчик... Слушают и плачут, — вот какой голос бог дает человеку. Да где же вы найдете другого такого полицмейстера?.. Ну, и попал сыр в масло: квартира первая в городе, в конюшне двадцать лошадей, вин целый погреб — и хлебосол и угодник. И вкус имел: ни одной хорошенькой вещички мимо не пропущу, вообще артист. И английский хрусталь, и китайская бронза, и японские лаки, и бухарский шелк, и картины — все было. Дом — полная чаша. Каждая горничная — пиши картину, а главный кучер — морское чудовище, ей-богу. Голосина у него, у подлеца: как рявкнет на улице — человек и оторопеет. А больше-то всего любили меня, если говорить правду, за удаль... Ведь сторона дикая, народ — варнак, ходи да оглядывайся, а у меня в городе ни гу-гу. Каждую ночь переоденусь в полушубок, подвяжу бороду и везде побываю. Только скажешь, бывало: — Неупокойникова знаешь? — «Виноват, вашескородие». Был такой случай. По тракту разбойничал татарин Карагуз. Мужчина пудов двенадцати весом. Один обоз останавливал... А взять его не могли... Не в моем он участке разбойничал. Ну, меня и подразнили: «Неупокойников, возьми-ка Карагуза, ежели смел». — Я? Голыми руками возьму... Признаться сказать, захвалился я: в поле Никола бог, и татарин силищи непомерной. Хорошо-с... Сказал слово, надо его держать. Нарядился купцом, посадил кучером мальчишку и марш в дорогу прямо на Карагуза, где он пошаливал... Едем. Ночь волчья, снежок падает. Лес по сторонам... Только обгоняет меня кошевая и поперек дороги, — известная разбойничья замашка, — «Стой!..» Выскочил я и прямо к нему: он, Карагуз. Ну, я бормочу по-купечески: — Возьми все, отпусти душу на покаяние... Понял, собака, с кем дело имеет — как размахнется железной укрючиной, да как свиснет... А я увернулся по-казачьи, а укрючиной-то полу полушубка, как ножом, отрезало. Я ему, идолу, под ноги брошусь, тоже наша казачья ухватка, он через меня, как дерево дубовое, а я на него... Выхватил укрючину-то и укомплектовал. Сам привез еле живого, а Карагуз на второй день и душу своему аллаху отдал. Купцы тогда по подписке серебряный сервиз мне поднесли, а Георгий Самсонович публично расцеловали. Все у меня было и ничего больше не желал, а и тогда я преклонялся перед Георгием Самсоновичем, которого почитал за гения... И вдруг из-за этой самой горничной все прахом. Пошли суды да следствия, и я точно растаял... Даже удивительно, как всего общипали эти железные носы, всего, по перышку. Ничего не осталось, кроме третьего пункта...

Рассказчик даже глаза закрыл, прислушиваясь к звуку собственных слов.

— А давно все это было? — спросил я.

— Да уж порядочно... Теперь уж лет тридцать, как я на волчьем положении... Сегодня вот привел господь принять последнее поношение... обидно... Что стоило Георгию-то Самсоновичу воскресить человека? Ведь всего одно слово — возродился бы из праха.

Угрюм-река

В селе Разбой шум, тарарам, гульба. Сегодня и завтра в селе редкий праздник: полтысячи разгульных приискателей оставят здесь много тысяч денег, пудика два самородного золота и, конечно же, несколько загубленных ни за понюх табаку дешевых жизней.

Этот праздник круглый год все село кормит. Недаром так веселы, так суматошны хозяева лачуг, домов, домищ; они готовы расшибиться всмятку, они предупредительно ловят каждое желание дорогих гостей, ублажают их, терпят ругань, заушения, лишь бы, рабски унизив себя до положения последнего холуя, ловчей вывернуть карманы ближнего, а если надо, то и пристукнуть этого ограбленного брата своего топором по черепу.

Многие лачуги, домишки и дома разукрашены трехцветными флагами, зеленью, елками. Возле окон посыпано свеженьким песком, горницы прибраны, полы вымыты, перины взбиты, собаки на цепи, и морды им накрепко закручены, чтобы не смели взгамкать на почетных проезжающих.

Вечер. Вливаются в село все новые и новые толпы промовских рабочих. По улицам с гармошками, с песнями гурьбами слоняется охмелевший люд. Приплыли урядник и два стражника.

Зажигались огни. Кучи народа стояли за околицей, возле ворот в поле. Поджидали запоздавших приезжих. Вот под'ехала телега со Шкворнем во главе.

— Ах, дорогие! Ах, желанные!.. — закричали встречающие бабы и девицы. — К нам! Ко мне!.. Нет, у меня спокойней, ко мне, соколики мои... — оттирая одна другую локтями, наперебой зазывали они рабочих.

Филька Шкворень соскочил с телеги, взял свой мешок и с независимым видом пошел вперед, в село. Одет он в рвань и ликом страшен, за ним никто не увязался, никто не желал иметь его своим гостем: — «голодранец, пропоица — шиш возьмешь с него».

Однако, догнала страшного бродягу маленькая, по девятому годку девчоночка Акулька. Загребая косолапыми ножонками пыль, оправляя на голове голубенький платочек, она забежала Фильке навстречу и, пятясь пред ним, квилила тонким, как нитка, голосом:

— Ой, дяденька, ой миленький!.. Пойдем, ради бога, к нам... Мы тебе оладьев испечем, мы тебе пельменев сделаем. У нас тыща штук наделана. Мы тебя в баньку...

— Прочь, девчонка!.. Затопчу.

Акулька отскочила вбок и, быстро помахивая тонкой левой ручкой, побежала рядом с бородатым дяденькой.

— Ты не серчай, дяденька... Мы хорошие... Мы не воры, как другие прочие. Мы тебя побережем, дяденька миленький. Целехонек будешь... Мамка все вши у тебя в головушке выищет, лопотину зашьет, бельишко выстирает...

Акулька расшвыряла все слова, все мысли и не знала теперь, чем ульстить страшненького дяденьку. Фильке Шкворню стало жаль девчонку, остановился, спросил ее в упор:

— А девки у вас есть?

— Есть, дяденька!.. Есть, миленький! — с задором прозвенела она.

— Кто же?

— Я да мамка!

Воспаленные, с вывернутыми веками, глаза бродяги засмеялись. Он сунул девчонке пять рублей, крикнул:

— На! Марш домой, мышонок!

Сердце девчонки обомлело и сразу упало в радость. Цепко держа в руке золотую денежку, она засверкала пятками домой.

— Эй! Народы! — зашумел бродяга. — Тройку вороных! И чтобы вся изубанчена лентами была... Филька Шкворень вам говорит, знатнецкий богач! Кто желает на тройке с бубенцами в свой дом катить? Шевелись!.. Вот они, денежки. Во!.. Смотри, народы!.. — он тряс пачушей бумажных денег и, как чорт в лесу, посвистывал.

— Сейчас, дружок, сейчас. — И самые прыткие со всех ног бросились к домам закладывать коней.

— Ну, кто скорей!..

А там, на берегу реки, возле пристани, где пыхтел пароход и темнела неповоротливая громада баржи, встречали подплывший плот с народом. Посреди плота из кирпичах — костер. Густой хвост дыма, подкрашенный у репицы розоватым светом пламени, кивером загибал к фарватеру реки, сливаясь с сумеречной далью.

— Эй, сторонись! — гнусил безносый, круглый, как шар, дядя, карабкаясь с плота по откосу вверх. — Не видишь, кто прибыл?.. Я прибыл! Тузик...

Он был колоритен своим большим широкоплечим, с изрядным брюхом, туловищем и потешно короткими, толстыми ногами, обутыми в бархатные бродни со стеклянными крупными пуговицами. Синяя поддевка, как сюртук старовера-купца, хватала ему до пят и похожа была на юбку. Толстощекое, медно-красное, все искле-ванное оспой лицо его безбородо и безусо, как у скопца, и голос, как у скопца же, тонкий. Вместо носа — тестообразный, лишенный костей, кусок мяса с остреньким заклевом, повернут влево и крепко прирос к щеке, а справа торчала уродливо вывороченная черная ноздря. Он очень падок до баб, и бабы любили его: богат и хорошо платит.

— Эй, жонки! Принимайте Тузика...

К нему бросились высокий, с льняной бородой мужик и краснощекая, в крупных сережках обручами, ядреная вдовуха Степка.

— Тузик!.. Исай Ермилыч... Здорово, дружок!..

Притворно сияя величайшим счастьем, которым их будто наградила судьба, оба схватили безносого в охапку и стали, не брезгуя, целовать его, как самого родного человека.

Подбежала другая, такая же ядреная баба Секлетинья и тоже норовила влепить безносому поцелуйчик в широкий толстогубый рот.

— Исай Ермилыч! — орала она, как глухонемому. — Неужто не вспомянешь Секлетинью-то свою, неужто не удостоишь посещеньем?

— Удостою. Всех удостою! — гнусил Тузик. — Эй, народы! Сукно есть, красное?

— Нету, Исай Ермилыч...

— Бархат есть?

— Нету и бархату, Исай Ермилыч! Есть, да нехватит... Извиняемся вторично.

— В таком разе, вот тебе деньги... Живо тащи три кипы кумачу. Не желаю по вашей грязной земле чистыми ножками ступать.

Мужик с первой, похожей на разжиревшую цыганку бабой помчался бегом в лавку, а к Фильке Шкворню тем временем подкатили три тройки с бубенцами, в лентах.

— Вези по всем улицам и мимо парохода, — скомандовал Филька и залез в первую тройку. — А остальные кони за мной, порожняком...

Развалившись, как вельможный пан, бродяга героем-победителем посматривал на шатавшихся по селу гуляк и, под лязг бубенцов, подпрыгивая на ухабах, кричал громоносным голосом:

— Не сворачивай! Топчи народ!!

— Эй, ожгу! — драл мчавшуюся тройку простоволосый ямщик — парень. — Берегись! Пузом глаз выткну!..

Все шарахались от тройки, как от смерти. Хохот, ругань, свист. Пыль столбом, звяк копыт, встряс на ухабах, ветер.

— Топчи народ!.. — пучил глаза Филька. — Сто рублей за человека...

Ямщик закусил губу и, не взвидя света, огрел подвернувшуюся старуху кнутом, а валявшегося пьяного мужика переехал поперек.

— Топчи народ!

— Топчу!..

А когда на крутом повороте ямщик оглянулся, Фильки Шкворня в экипаже не было.

...Принесенные три кипы кумачу расстилали перед Тузиком красненькой дорожкой, ровняли эту дорожку сотни рук. Дорожка добежала до угла и сразу призадумалась: куда свернуть. Три семьи пламенели алчностью залучить Тузика к себе: одни тащили дорожку прямо, другие старались загнуть ее влево, третьи, вырывая

кумач из рук, гнали дорожку вправо. Зачалась ссора, а за ссорой мордобой. Сбежался народ.

— Тузик прибыл, Тузик!

Меж тем, шарообразный, упоенный почетом Тузик, приветствуемый орущей «ура» толпой, потешно-величаво плыл по красненькой дорожке, милостиво раскланиваясь с народом, как царь в кремле с красного крыльца, и горстями швырял народу серебряную мелочь. Синяя поддевка, как шлейф юбки, заметала за ним след, и голубая дамская шляпа с павлиньим пером лезла на затылок. Доплыв до угла, где крака, Тузик приостановился, захихикал на драчунов, как жеребчик, и, махнув правой рукой, все пальцы которой унизаны дюжиной драгоценных перстеньков, тонким голосочком прогнусил:

— Перво-наперво веди дорожку к Дарье Здобненькой.

... Фильку Шкворня, валявшегося на дороге, попробовала было подхватить к себе другая тройка. Но бродяга, держась за ушибленную голову, испуганно кричал:

— Боюсь! Не надо... Изувечить хотите, сволочи!.. Неси на руках вон к той избе.

Из новой, чисто струганной избы, куда торжественно понесли, как богдыхана, Фильку, выскочили навстречу дорогому гостю старик хозяин и два его сына с молодухой.

— Милости просим, гостенек!.. Не побрезгуйте, — кланялись хозяева. — Варвара, выбрасывай половики, стели ковры, чтоб ножки не заляпал гостенек... Шире двери отворяй..

— Что, в дверь?! — гаркнул Филька, как филин с дерева, держась за плеи двух высоких, дюжих мужиков: они переплели в замок свои руки, бродяга важно сидел на их руках, как на высоком кресле, а сзади хмельная с фонарем под глазом, баба усерднейше подпирала ладонями вываленную в грязи спину Фильки:

— Не упади, родной.

— Неужто ты, старый баран, думаешь, я полезу в твою дверь поганую? Не видишь, кого принимаешь, сволочь?! Руби новую!.. Руби окно!

Старик хозяин в ответ на ругань со всей готовностью заулыбался, шепнул одному сыну, шепнул другому, посоветовался глазами со снохой и, низко кланяясь Фильке, молвил:

— Дороговато будет стоить, гостенечек желанный нам. Изба новая, хорошая.

— За все плачу наличными! — и Филька, по очереди зажимая ноздри, браво сморкнулся через плечи державших его на воздухе великанов-мужиков.

— Которое прикажете окошко-то? — подхалимно спросил старик хозяин.

— Среднее.

— Петруха! Степка!.. — взмахнув локтями, засуетился старик, словно живой воды хлебнул. — Орудуй!.. Момент в момент чтобы... Варвара, лом!

Петруха вскочил в избу, двумя ударами кулака вышиб раму. Степка прибежал с пилой. Мелькая в проворных руках Степки и Петрухи, пила завизжала высоким визгом, плевалась на сажень опилками. В пять минут новая дверь была проделана. Ступенчатая лестница подставлена, раскинут цветистый половик.

— Милости просим, гостенек дорогой...

. . . . . .

Осенняя ночь наступала темная, лютая, страшная.

Пьяные улицы выли волчьим воем, перекликались одна с другой и с заречным лесом, рявканьем гармошек, разгульной песней, предсмертным хрипом убиваемых, жутким воплем: «караул, спасите!».

Полиции нет, полиция спряталась. Буйству, блуду, поножовщине — свобода. Кто ценит свою жизнь, те по домам, как мыши. Кто ценит золото, увечье, смерть, те рыщут среди тьмы. В больших домах лупоглазо блестят огни. В избушках мутнеет слабый свет, как волчьи бельма.

Набухшая скандальчиками сутемень колышется из края в край. Все в движении: избы пляшут, в избах пляшут, плюется искрами во тьму пролетающая ведьма на метле. Прохрюкал боров. Прокуралесила вся в пьяной ругани паскудная старуха. Бесенята ли, мальчишки ли черным роем носятся со свистом. Заливаются плеи запертые в кутухах барбосы. По темным переулкам подвывают в дудки черти.

Хмельная ватага громовских бородачей-приискателей, обнявши друг друга за плеи и загребая угарными ногами пыль, прет напролом стеною поперек дороги.

— Эй, жители! Где кабак! Кажи кабак!

— Гуляй, летучка! Вышибай дно, кобылка востропятая!

— Ганьша, запевай!.. Мишка, громыхни в гармонь!

Взрявкнула, ярко оскалилась на тьму всеми переборами ревучая гармонь, оскалились, дыхнули хмелем свирепо разинутые пасти, и похабная частушка закувыркалась в воздухе, как ошалелый заяц с гор.

— Стой! Стопчешь... Кто прет?

— Мы прем... Свои... А ты что?

— Отдыхаю, — ответил с земли Филька Шкворень. Он лежал на брюхе, прижав к груди вооруженную ножом руку. «Ага, — подумал бродяга, — пьян, да умен... Золотишко цело». И тяжело поднялся. — Куда, братцы, ваш путь принадлежит?

— Кабак ищем с девчонками.

— Знаю... Айда к Силе Митричу! Поддерживай меня за жабры, а то хлопнусь.

Фильку Шкворня включили в цепь и с бесшабашными криками, с буйством двинулись вперед. Филька на ходу все еще подремывал, икал, клевал носом.

— Стой, не падай! — подбадривали его. — Переставляй ноги-то поочереди. Хорошо погулял?

— Приятно... Всех, братцы, споил, которые честь мне оказывали... С колокольцами на тройках. Все тройки разубанчены. И сам упился — не надо лучше. Да тихо-смирно шмыг от них... Я, братцы, хитрённый... Дай, думаю, отдохну в прохладном месте, в канаве где ни то... Да посередь дороги и упал.

— Ха-ха!.. Конем стоптать могли.

— Кажись, разок переехали... Шибко в поясах можжит... Кха-кха!

Домище Силы Митрича, кабатчика, на самом урезе, при воде. Узкая боковая стена дома, как мостовой бык, уходит прямо в черные волны реки Большой Поток. Над уровнем воды в стене неширокая, глухая дверь. Эта дверь разбойная: возле двери — омут в две сажени глубины.

Семья хозяина живет вверху. Там тьма и тишина. Зато в нижнем этаже, где кабак, — огни, веселье. Просторный, низкий, с темными бревенчатыми стенами зал. Три лампы-молнии. Кабацкая стойка. За стойкой — брюхо в выручку — заплывший салом целовальник, Сила Митрич. В жилетке, в голубой рубахе; через брюхо — цепь. Волосы напомажены и благочестиво расчесаны на прямой пробор. Большая борода и красное щекастое лицо тоже дышат благочестием. Глазки узкие, с прищуром. Голосок елейный, тоненький с язвительной хрипотцой. Конца надо, эти сладостные глазки могут больно уколоть, а голосок зазвучит жестоко и жестко.

Пятеро музыкантов: два скрипача, гармонист, трубач и барабанщик — усталые, пьяные, потные толкут бешеными звуками гнусный, пропахший кабацким ядом воздух. Пьяные, потные, усталые парни, бабы, девки, мужики и лысоголовые старикашки топчутся в блудливом плясе.

— Давай веселей... Наяривай! — переступает ногами в переплет богатый спиртонос, безносый Тузик. Он давно сбросил свою поддевку, лицо пышет, пот градом, ладони мокры, четверо часов по карманам атласной желтой жилетки, цепи, перстни, кольца дразнят жадные глаза гуляк. Мясистое брюхо отвисло до колен, из под брюха мелькают короткие бархатные ножки. — Эх, малина ягода... Бабы, девки! Ширé круг!.. Не видите, кто пляшет? Я пляшу!

Свист, гам. Гоп-гоп, гоп-гоп! И в кабак ввалилась Филькина ватага.

— Целовальник! Сила Митрич... Вина!

— Капусты! Квасу!

— Шаньпань-ска-ва-а-а!!

Возле буфетной стойки не вповорот толпа. Звякают о стойку рубли, полтины, золотые пятирублевки, шуршат выбрасываемые с форсом бумажные деньги. Целовальник широкой рукой-лопатой то и дело, как сор, сгребает деньги в выручку. Сдачи не дает, да сдачи никто и не просит. Хлещут водку, коньяк, вино жадно, с прихлюпкой в горле, как угоревшие от жажды.

Филька с ватагой, работая локтями, едва протискался к кабатчику:

— Сила Митрич!.. Боченок водки... На всю братию. Да оторвись моя башка с плеч! Во! Становь прямо на пол посредь избы... Гей, людишки! Налетай — подешевело!..

Ватага Фильки уселась на пол вкруг бочёнка и заорала песни.

Голова ль ты моя-а у-да-а-ла-ая.
Долго ль буду носить я тебя-а-а... —

заунывно горлапила ватага Фильки Шкворня проголосную, старинную. Сам Филька, скосоротившись и захватив бороду рукой, поводил широкими плечами, тоже подпевая шершавым басом, тряс башкой и плакал.

По углам, развалившись на полу, обнимались очумевшие от водки мужики и бабы. Ловкие воровские руки баб успевали среди услады до порошинки очищать карманы золотоискателей.

В лампах выгорал керосин. Темнело. В дверь просунулась с улицы усатая морда урядника, обнюхала воздух, посверлила глазами вспотевшего, измученного целовальника, сбившихся с ног половых и пропала.

Чарки ходили по ватаге. Боченок усыхал.

Аль могила-а, землица-а-а сыра-я-а-а...
Приналкроет бродягу, меня-а-а... —

надрывно пела ватага, хватая за ноги пробегавших баб и девок. Филька плакал, бормотал:

— Людишки-комаришки... Миленькие вы мои... Люблю людишек!

— Деньги!.. Караул, деньги... Обчистили!.. — то здесь, то там всплескивались бредовые стоны.

— Господа гости! — закричал целовальник и, тяжело водрузившись на стойке, зазвонил в звонок. — Третий час ночи!.. Велено закрывать... Полиция была... Дозвольте расходиться. Ну, живо, живо, живо!!

Пятеро здоровенных половых, специально нанятых целовальником на дни гулянки, выталкивали, вышвыривали в дверь, за ноги волочили спящих по захарканному, улитому вином и кровью полу. Вышвырнут был и Филька Шкворень. Помещение очистилось. Убитых, слава богу, не было. Целовальник обернулся лицом к образу, покивал благочестивой головой, трижды набожно перекрестился. Дал половым по пятерке и по бутылке пива.

— Завтра с утра, ребята, — сказал он им.

Половые — местные парни в белых фартуках, — побрякивая полными серебра карманами, ушли. Двое услужающих мальчишек и старая кривая судомойка мели пол, убирали побитую посуду и бутылки, все стаскивая в кухню.

Из чулана слышался визгучий хохот пьяной Стеши и грубая гугня безносого. Наконец все стихло. Только за стенами кабака ревела в сотни глоток страшная пьяная ночь.

Д. П. Давыдов

Думы беглеца на Байкале

Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка.
Ну, Баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи носил;
Худо мне было в горах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил, —
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь;
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня;
Близ городов я поглядывал зорко;
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне
Вплавь чрез глубокие реки пускался;
Мелкие речки встречалися мне —
Вброд через них пробирался.

У моря струсил немного беглец;
Берег обширен, а нет ни корыта;
Шел я каргой, — и пришел, наконец,
К бочке, дресвою залитой.

Нечего думать, — бог счастья послал:
В этой посудине бык не утонет;
Труса достанет и на судне вал —
Смелого — в бочке не тронет.

Тесно в ней было бы жить омулям;
Рыбки, утешьтесь моими словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам —
В бочку полезли бы сами!

Четверо суток верчусь на волне;
Парусом служит армяк дыроватый;
Добрая лодка попалася мне, —
Лишь на ходу мешковата.

Близко виднеются горы и лес,
Буду спокойно скрываться под тенью,
Можно и тут погулять бы, да бес
Тянет к родному селенью.

Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка...
Ну, Баргузин, пошевеливай вал...
Плыть молодцу недалечко! —

Ф. М. Достоевский

Записки из мертвого дома

Летние работы действительно оказались гораздо труднее зимних. Работы шли все больше по инженерным постройкам. Арестанты строили, копали землю, клали кирпичи; другие из них занимались слесарною, столярною или малярною частию при ремонтных исправлениях казенных домов. Третьи ходили в завод делать кирпичи. Эта последняя работа считалась у нас самою тяжелою. Кирпичный завод находился от крепости верстах в трех или в четырех. Каждый день в продолжение лета, утром часов в шесть, отправлялась целая партия арестантов, человек в пятьдесят, для деланья кирпичей. На эту работу выбирали чернорабочих, то есть не мастеровых и не принадлежащих к какому-нибудь мастерству. Они брали с собою хлеба, потому что за дальностию места невыгодно было приходить домой обедать и таким образом делать верст восемь лишних, и обедали уже вечером, возвратясь в острог. Урок же

задавался на весь день и такой, что разве в целый рабочий день арестант мог с ним справиться. Во-первых, надо было накопать и вывезти глину, наносить самому воду, самому вытоптать глину в глиномятной яме и, наконец-то, сделать из нее что-то очень много кирпичей, кажется, сотни две, чуть ли даже не две с половиною. Я всего только два раза ходил в завод. Возвращались заводские уже вечером, усталые, измученные, и постоянно целое лето попрекали других тем, что они делают самую трудную работу. Это было, кажется, их утешением. Несмотря на то, иные ходили туда даже с некоторою охотою: во-первых, дело было за городом, место было открытое, привольное, на берегу Иртыша. Все-таки поглядеть кругом отраднее,—не крепостная казенщина! Можно было и покурить свободно, и даже полежать с полчаса с большим удовольствием. Я же или попрежнему ходил в мастерскую, или на алебастр, или, наконец, употреблялся в качестве подносчика кирпичей при постройках. В последнем случае пришлось однажды перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме сажень на семьдесят расстояния, через крепостной вал, и работа эта продолжалась месяца два сряду. Мне она даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне видимо развивалась сила. Сначала я мог таскать только по восьми кирпичей, а в каждом кирпиче было до двенадцати фунтов. Но потом я дошел до двенадцати и до пятнадцати кирпичей, и это меня очень радовало. Физическая сила в каторге нужна не менее нравственной для перенесения всех материальных неудобств этой проклятой жизни.

А я еще хотел жить и после острога...

Я, впрочем, любил таскать кирпичи не за то только, что от этой работы укрепляется тело, а за то еще, что работа производилась на берегу Иртыша. Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные вольные степи, производившие на меня странное впечатление своею пустынностью. На берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать ее. Все прочие места наших работ были в крепости или подле нее. С самых первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. Дом нашего плац-майора казался мне каким-то проклятым, отвратительным местом, и я каждый раз с ненавистью глядел на него, когда проходил мимо. На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необ'ятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь, наконец, какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь бэйгуша; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет с своими двумя баранами. Все это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в сильем прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполохнулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой... Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весной в расселине каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпимая и действовала на меня раздражительно, горько. В этот первый год, от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, людей способных и мыслить, и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось без всяких видов, а нередко прямо из души, может быть, более меня пострадавшей и вынесшей. Но к чему распространяться об этом? Я чрезвычайно был рад, если приходилось сильно устать, воротившись домой: авось, засну! Потому что спать было у нас летом мученье, чуть ли еще не хуже, чем зимой. Вечера, правда, были иногда очень хороши. Солнце, целый день не сходившее с острожного двора, наконец, закатывалось. Наступала прохлада, а за ней почти холодная (говоря сравнительно) степная ночь. Арестанты, в ожидании как запрут их, толпами ходят, бывало, по двору. Главная масса толпится, правда, более на кухне. Там всегда подымается какой-нибудь насущный острожный вопрос, толкуется о том, о сем, разбирается иногда какой-нибудь слух, часто нелепый, но возбуждающий необыкновенное внимание этих отрешенных от мира людей; то, например, пришло известие, что нашего плац-майора сгоняют долой. Арестанты легковерны как дети; сами знают, что

известие — вздор, что принес его известный болтун и «нелепый» человек, — арестант Квасов, которому уже давно положили не верить и который что ни слово, то врет, — а между тем все схватываются за известие, судят, рядят, сами себя тешат, а кончится тем, что сами на себя рассердятся, самим за себя стыдно станет, что поверили Квасову.

— Да кто же его сгонит! — кричит один: — небось, шея толста, сдюжит!

— Да ведь и над ним, чай, старшие есть! — возражает другой, горячий и неглупый малый, видавший виды, но спорщик, каких свет не производил.

— Ворон ворону глаз не выклюет! — угрюмо, словно про себя замечает третий, уже седой человек, одиноко доедающий в углу свои щи.

— А старшие-то, небось, тебя придут спрашиваться—сменить его али нет?— прибавляет равнодушно четвертый, слегка тренькая на балалайке.

— А почему-ж не меня? — с яростью возражает второй: — значит, вся бедность просит, все тогда заявляйте, коли начнут спрашивать. А то у нас, небось, кричат, а к делу дойдет, так и на попятный!

— А ты думал как? — говорит балалаечник. — На то каторга.

— А намеднись, — продолжает, не слушая и в горячке, спорщик, — муки оставалось. Поскребки собрали, самые что ни есть слезы, значит; послали продать. Нет, узнал; артельщик донес; отобрали; экономия, значит. Справедливо, аль нет?

— Да ты кому хочешь жаловаться?

— Кому? Да самому левизору, что едет.

— Какому такому левизору?

— Это правда, братцы, что едет левизор, — говорит молодой, разбитной парень, грамотный, из писарей и читавший «Герцогиню Лавальер», или что-то в этом роде. Он вечно веселый и потешник, но за некоторое знание дел и потертость его уважают. Не обращая внимания на возбужденное всеобщее любопытство о будущем ревизоре, он прямо идет к стряпке, то есть к повару, и спрашивает у него печенки. Наши стряпки часто чем-нибудь торговали в этом роде. Купят, например, на свои деньги большой кусок печенки, зажарят и продают по мелочи арестантам.

— На грош, али на два? — спрашивает стряпка.

— Режь на два: пускай люди завидуют! — отвечает арестант. — Генерал, братцы, генерал такой из Петербурга едет, всю Сибирь осматривать будет. Это верно. У комендантских сказывали.

Известие производит необыкновенное волнение. С четверть часа идут расспросы: кто именно, какой генерал, какого чину, и старше ли здешних генералов? О чинах, начальниках, кто из них старше, кто кого может согнуть и кто сам из них согнется, ужасно любят разговаривать арестанты, даже спорят и ругаются за генералов, чуть не до драки. Казалось бы, что тут за выгода? Но подробным знанием генералов и вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего, до-острожного, значения человека в обществе.

Вообще, разговор о высшем начальстве считается самым изящным и важным разговором в остроге.

— Значит, и взаправду выходит, братцы, что майора-то сменять едут, — замечает Квасов, маленький, красненький человечек, горячий и крайне бестолковый. Он-то первый и принес известие о майоре.

— Задарит! — отрывисто возражает угрюмый седой арестант, уже управившийся со щами.

— А и то задарит, — говорит другой. — Мало он денег-то натрабил! До нас еще батальонным был. А намеднись на протопоповской дочери жениться хотел.

— Да ведь не женился: дверь указали; беден, значит. Какой он жених! Встал со стула — и все с ним. О святой все на картах продул. Федька сказывал.

— Да, мальчик не мот, а деньгам перевод.

— Эх, брат, вот и я женат был. Плохо жениться бедному: женись, а и ночь коротка! — замечает Скуратов, подвернувшийся тут же к разговору.

— Как же! Об тебе тут и речь, — замечает развязный парень из писарей. — А ты, Квасов, скажу я тебе, большой дурак. Неужели ж ты думаешь, что такого генерала майор задарит, и что такой генерал будет нарочно из Петербурга ехать, чтобы майора ревизовать? Глуп же ты, парень, вот что скажу.

— А что ж? Уж коли он генерал, так и не возьмет, что ли? — скептически заметил кто-то из толпы.

— Знамо дело не возьмет, а возьмет, так уж толсто возьмет.

— Вестимо толсто; по чину.

— Генерал всегда возьмет, — решительно замечает Квасов.

— Ты, что ли, давал ему? — с презрением говорит вдруг вошедший Баклушин. — Да ты и генерала-то вряд ли когда видал?

— Ан видал!

— Врешь.

— Сам соври.

— Ребята, коли он видал, пусть сейчас при всех говорит, какого он знает генерала? Ну, говори, потому я всех генералов знаю.

— Я генерала Зиберта видел, — как-то нерешительно отвечает Квасов.

— Зиберта? Такого и генерала нет. Знать, в спину он тебе заглянул. Зиберт-то, когда, может, еще только подполковником был, а тебе со страху и показалось, что генерал.

— Нет, вы меня послушайте, — кричит Скуратов, — потому я женатый человек. Генерал такой действительно был на Москве, Зиберт, из немцев, а русской. У русского попа кажинный год исповедывался о госпожинках, и все, братцы, он воду пил, словно утка. Кажинный день сорок стаканов москворецкой воды вышивал. Это, сказывали, он от какой-то болезни водой лечился; мне сам его камардин сказывал.

— В брюхе-то с воды-то, небось, караси завелись? — замечает арестант с балалайкой.

— Ну, полно вам! Тут о деле идет, а они... Какой же это ревизор, братцы? — заботливо замечает один суетливый арестант, Мартынов, старик из военных, бывший гусар.

— Ведь вот врет народ! — замечает один из скептиков. — И откуда что берут и во что кладут? А и все-то вздор!

— Нет, не вздор! — догматически замечает Куликов, до сих пор величаво молчавший. Это парень с весом, лет под пятьдесят, чрезвычайно благообразного лица и с какой-то презрительно-величавой манерой. Он сознает это и этим гордится. Он отчасти цыган, ветеринар, добывает по городу деньги за лечение лошадей, а у нас в остроге торгует вином. Малый он умный и много видывал. Слова роняет как будто рублем дарит.

— Это взаправду, братцы, — спокойно продолжает он: — я еще на прошлой неделе слышал; едет генерал, из очень важных, будет всю Сибирь ревизовать. Дело знамое, задарят и его, да только не наш восьмиглазый: он и сунуться к нему не посмеет. Генерал генералу рознь, братцы. Всякие бывают. Только я вам говорю, наш маиор при всяком случае на теперешнем месте останется. Это верно. Мы народ без языка, а из начальства свои на своего же доносить не станут. Ревизор поглядит в острог, да с тем и уедет, и донесет, что все хорошо нашел...

— То-то, братцы, а маиор-то струсил: ведь с утра пьян.

— А вечером другую фуру везет. Федька сказывал.

— Черного кобеля не отмоешь до бела. Впервой что ль он пьян?

— Нет, это уж что же, если и генерал ничего не сделает! Нет, уж полно ихним дурачествам подражать! — волнуясь, говорят промеж себя арестанты.

Весть о ревизоре мигом разносится по острогу. По двору бродят люди и нетерпеливо передают друг другу известие. Другие нарочно молчат, сохраняя свое хладнокровие и тем видимо стараются придать себе больше важности. Третьи остаются равнодушными.

На казарменных крылечках рассаживаются арестанты с балалайками. Иные продолжают болтать. Другие затягивают песни, но вообще все в этот вечер в чрезвычайно возбужденном состоянии.

Часу в десятом нас всех сосчитывали, загоняли по казармам и запирали на ночь. Ночи были короткие; будили в пятом часу утра, засыпали же все никак не раньше одиннадцати. До тех пор всегда, бывало, идет еще суетня, разговоры, а иногда, как и зимой, бывают и майданы. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Хоть и обдает ночным холодком из окна с поднятой рамой, но арестанты мечутся на своих нарах всю ночь, словно в бреду. Блохи кишат мириадами. Они водятся у нас и зимою, и в весьма достаточном количестве, но начиная с весны, разводятся в таких размерах, о которых я хоть и слыхивал прежде, но, не испытав на деле, не

хотел верить. И чем дальше к лету, тем злее и злее они становятся. Правда, к блохам можно привыкнуть, я сам испытал это; но все-таки тяжело достается. До того, бывало, измучают, что лежишь, наконец, словно в лихорадочном жару и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь. Наконец, когда перед самым утром утомятся, наконец, и блохи, словно замрут, и когда под утренним холодком как будто действительно сладко заснешь, — раздается вдруг безжалостный треск барабана у острожных ворот и начинается зоря. С проклятием слушаешь, закутываясь в полушубок, громкие, отчетливые звуки, словно считаешь их, а между тем сквозь сон лезет в голову нестерпимая мысль, что так будет и завтра, и послезавтра, и несколько лет сряду, вплоть до самой свободы. Да когда ж это, думаешь, эта свобода и где она? А между тем, надо просыпаться; начинается обыденная ходьба, толкотня... Люди одеваются, спешат на работу. Правда, можно было заснуть с час еще в полдень.

О ревизоре сказали правду. Слухи с каждым днем подтверждались все более и более и, наконец, все узнали уже наверно, что едет из Петербурга один важный генерал ревизовать всю Сибирь, что он уж приехал, что он уж в Тобольске. Каждый день новые слухи приходили в острог. Приходили вести и из города: слышно было, что все трусят, хлопочат, хотят товар лицом показать. Толковали, что у высшего начальства готовят приемы, балы, праздники. Арестантов высылали целыми кучами ровнять улицы в крепости, срывать кочки, подкрашивать заборы и столбики, пошпиктуривать, подмазывать, одним словом, хотели в один миг все исправить, что надо было лицом показать. Наши понимали очень хорошо это дело и все горячей и задорнее толковали между собою. Фантазия их доходила до колоссальных размеров. Собирались даже показать претензию, когда генерал станет спрашивать о довольстве. А между тем, спорили и бранились между собою. Плац-майор был в волнении. Чаще наезжал в острог, чаще кричал, чаще кидался на людей, чаще забирал народ в кордегардию и усиленно смотрел за чистотой и благообразием. В это время, как нарочно, случилась в остроге одна маленькая историйка, которая, впрочем, вовсе не взволновала майора, как бы можно было ожидать, а, напротив, даже доставила ему удовольствие. Один арестант в драке пырнул другого шилом в грудь почти под самое сердце.

Арестант, совершивший преступление, назывался Ломов; получившего рану звали у нас Гаврилкой; он был из закоренелых бродяг. Не помню, было ли у него другое прозвание; звали его у нас всегда Гаврилкой.

Ломов был из зажиточных т—х крестьян, к—ского уезда. Все Ломовы жили семьею: старик отец, три сына и дядя их, Ломов. Мужики они были богатые. Говорили по всей губернии, что у них было до трехсот тысяч ассигнациями капиталу. Они пахали, выцеливали кожи, торговали, но более занимались ростовщичеством, укрывательством бродяг и краденого имущества и прочими художествами. Крестьяне на пол-уезда были у них в долгах, находились у них в кабале. Мужиками они слыли умными и хитрыми, но, наконец, зачванились, особенно когда одно очень важное лицо в тамошнем крае стало у них останавливаться по дороге, познакомился с стариком лично и полюбил его за сметливость и оборотливость. Они вдруг вздумали, что на них уж более нет управы и стали все сильнее и сильнее рисковать в разных беззаконных предприятиях. Все фрондали на них; все желали им провалиться сквозь землю; но они задирали нос все выше и выше. Исправники, заседатели стали им уже нипочем. У них был верстах в десяти от деревни большой хутор, по-сибирски заимка. Там однажды проживало у них под осень человек шесть работников киргизов, закабаленных с давнего времени. В одну ночь все эти киргизы работники были перерезаны. Началось дело. Оно продолжалось долго. При деле раскрылось много других нехороших вещей. Ломовы были обвинены в умерщвлении своих работников. Сами они так рассказывали и весь острог это знал; их заподозрили в том, что они слишком много задолжали работникам, а так как, несмотря на свое большое состояние, были скупы и жадны, то и перерезали киргизов, чтобы не платить им долгу. Во время следствия и суда все состояние их пошло прахом. Старик умер. Дети были разосланы. Один из сыновей и его дядя попали в нашу каторгу на пятнадцать лет.

Ломовых у нас не любили, не знаю за что. Один из них, племянник, был молодец, умный малый и уживчивого характера; но дядя его, пырнувший Гаврилку шилом, был глупый и задорный мужик. Он со многими еще допреж того ссорился и его

порядочно бивали. Гаврилку все любили за веселый и складной характер. Хоть Ломовы и знали, что он преступник и они за его дело пришли, но с ним не ссорились; никогда, впрочем, и не сходились; да и он не обращал на них никакого внимания. И вдруг вышла ссора у него с дядей Ломовым за одну противнейшую девку. Гаврилка стал хвалиться ее благосклонностью; мужик стал ревновать, и в один прекрасный полдень нырнул его шилом.

Ломовы хоть и разорились под судом, но жили в остроге богачами. У них видимо были деньги. Они держали самовар, пили чай. Наш майор знал об этом и ненавидел обоих Ломовых до последней крайности. Он видимо для всех придирался к ним и вообще добирался до них. Ломовы об'ясняли это майорским желанием взять с них взятку. Но взятки они не давали.

Конечно, если б Ломов хоть немного дальше просунул шило, он убил бы Гаврилку. Но дело кончилось репетительно только одной царапиной. Доложили майору. Я помню, как он прискакал запыхавшись и видимо довольный. Он удивительно ласково, точно с родным сыном, обошелся с Гаврилкой.

— Что, дружок, можешь в госпиталь так дойти, али нет? Нет, уж лучше ему лошадь запречь. Запречь сейчас лошадь! — закричал он впопыхах унтер-офицеру.

— Да я, ваше высокоблагородие, ничего не чувствую. Он только слегка поколол, ваше высокоблагородие.

— Ты не знаешь, ты не знаешь, мой милый; вот увидишь... Место опасное; все от места зависит; под самое сердце угодил, разбойник! А тебя, тебя, — заревел он, обращаясь к Ломову, — ну, теперь я до тебя доберусь!... В кордегардию!

И действительно добрался. Ломова судили, и хоть рана оказалась самым легким уколом, но намерение было очевидное. Преступнику набавили рабочего сроку и провели сквозь тысячу. Майор был совершенно доволен.

Наконец, прибыл и ревизор.

На второй же день по прибытии в город, он приехал и к нам в острог. Дело было в праздник. Еще за несколько дней у нас было все вымыто, выглажено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на них было белое, чистое. Летом все ходили, по положению, в полотняных белых куртках и панталонах. На спине у каждого был вшит черный круг, вершка два в диаметре. Целый час учили арестантов как отвечать, если на случай высокое лицо поздоровается. Производились репетиции. Майор суетился как угорелый. За час до появления генерала все стояли по своим местам, как истуканы, и держали руки по швам. Наконец, в час пополудни, генерал приехал. Это был важный генерал, такой важный, что, кажется, все начальственные сердца должны были дрогнуть по всей Западной Сибири с его прибытием. Он вошел сурово и величаво; за ним ввалилась большая свита сопровождавшего его местного начальства; несколько генералов, полковников. Был один штатский, высокий и красивый господин во фраке и башмаках, приехавший тоже из Петербурга и державший себя чрезвычайно непринужденно и независимо. Генерал часто обращался к нему и весьма вежливо. Это необыкновенно заинтриговало арестантов: штатский, а такой почет, и еще от такого генерала! Впоследствии узнали его фамилию и кто он такой, но толков было множество. Наш майор, затянутый, с оранжевым воротником, с налитыми кровью глазами, с багровым, угреватым лицом, кажется, не произвел на генерала особенно приятного впечатления. Из особенного уважения к высокому посетителю, он был без очков. Он стоял поодаль, вытянутый в струнку, и всем существом своим лихорадочно выжидал мгновения на что-нибудь понадобиться, чтоб лететь исполнять желания его превосходительства. Но он ни на что не понадобился. Молча обошел генерал казармы, заглянул и на кухню, кажется, попробовал щей. Ему указали меня: так и так, дескать, из дворян.

— А! — отвечал генерал. — А как он теперь ведет себя?

— Покамест удовлетворительно, ваше превосходительство, — отвечали ему.

Генерал кивнул головою и минуты через две вышел из острога. Арестанты, конечно, были ослеплены и озадачены, но все-таки остались в некотором недоумении. Ни о какой претензии на майора, разумеется, не могло быть и речи. Да и майор был совершенно в этом уверен еще заранее.

Воскресение

Мрачный дом острога с часовым и фонарем под воротами, несмотря на чистую, белую пелену, покрывавшую теперь все — и под'езд, и крышу, и стены, производил еще более, чем утром, мрачное впечатление своими по всему фасаду освещенными окнами.

Величественный смотритель вышел к воротам и, прочтя у фонаря пропуск, данный Нехлюдову и англичанину, недоумевающе пожал могучими плечам, но, исполняя приказание, пригласил посетителей следовать за собой. Он провел их сначала во двор и потом в дверь направо и на лестницу в контору. Предложив им садиться, он спросил, чем может служить им, и, узнав о желании Нехлюдова видеть теперь же Маслову, послал за нею надзирателя и приготовился отвечать на вопросы, которые англичанин тотчас же начал через Нехлюдова делать ему.

— На сколько человек построен замок? — спрашивал англичанин. — Сколько заключенных? Сколько мужчин, сколько женщин, детей? Сколько каторжных, ссыльных, добровольно следующих? Сколько больных?

Нехлюдов переводил слова англичанина и смотрителя, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущенный предстоящим свиданием. Когда среди фразы, переводимой им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, дверь конторы отворилась, и, как это было много раз, вошел надзиратель и за ним повязанная платком, в арестантской кофте Катюша, он, увидав ее, испытал тяжелое чувство.

«Я жить хочу, хочу семью, детей, хочу человеческой жизни», мелькнуло у него в голове в то время, как она быстрыми шагами, не поднимая глаз, входила в комнату.

Он встал и ступил несколько шагов ей навстречу, и лицо ее показалось ему сурово и неприятно. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела, пальцы ее судорожно крутили края кофты, и то взглядывала на него, то опускала глаза.

— Вы знаете, что вышло помилование? — сказал Нехлюдов.

— Да, надзиратель говорил.

— Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться где хотите. Мы подумаем...

Она поспешно перебила его:

— Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним.

Несмотря на все свое волнение, она, подняв глаза на Нехлюдова, проговорила это быстро, отчетливо, как будто вперед приготовив все то, что она скажет.

— Вот как! — сказал Нехлюдов.

— Что ж, Дмитрий Иванович, коли он хочет, чтобы я с ним жила, — она испуганно остановилась и поправилась, — чтобы я при нем была. Мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне?..

«Одно из двух: или она полюбила Симонсона и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня и для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсоном», подумал Нехлюдов, и ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет.

— Если вы любите его... — сказал он.

— Что любить, не любить? Я уж это оставила, и Владимир Иванович ведь совсем особенный.

— Да, разумеется, — начал Нехлюдов. — Он прекрасный человек, и я думаю...

Она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что она не скажет всего.

— Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите, — сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным взглядом.— Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо.

Она сказала ему то самое, что он только что говорил себе, но теперь уже он этого не думал, а думал и чувствовал совсем другое. Ему не только было стыдно, но было жалко всего того, что он терял с нею.

— Я не ожидал этого, — сказал он.

— Что же вам тут жить и мучиться. Довольно вы помучились, — сказала она и странно улыбнулась.

— Я не мучился, а мне хорошо было, и я желал бы еще служить вам, если бы мог.

— Нам, — она сказала: «нам» и взглянула на Нехлюдова, — ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы...—она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал.

— Меня-то уж вам нельзя благодарить, — сказал Нехлюдов.

— Что считаться? Наши счеты бог сведет, — проговорила она, и черные глаза ее заблестели от выступивших на них слез.

— Какая вы хорошая женщина! — сказал он.

— Я-то хорошая? — сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо.

— Are you ready?[1] — спросил между тем англичанин.

— Directly,[2] — ответил Нехлюдов и спросил ее о Крыльцове.

Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что знала: Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Марья Павловна очень беспокоилась, просилась в больницу в няньки, но ее не пускали.

— Так мне итти? — сказала она, заметив, что англичанин дожидается.

— Я не прощаюсь; я еще увижусь с вами, — сказал Нехлюдов.

— Простите, — сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что из двух предположений о причине ее решения верным было второе: она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а, уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним.

Она пожала его руку, быстро повернулась и вышла.

Нехлюдов оглянулся на англичанина, готовый итти с ним, но англичанин что-то записывал в свою записную книжку. Нехлюдов, не отрывая его, сел на деревянный диванчик, стоявший у стены, и вдруг почувствовал страшную усталость. Он устал не от бессонной ночи, не от путешествия, не от волнения, а он чувствовал, что страшно устал от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном.

— Что же, угодно теперь пройти по камерам? — спросил смотритель.

Нехлюдов очнулся и увидел тому, где он. Англичанин кончил свои записи и желал осмотреть камеры. Нехлюдов, усталый и безучастный, пошел за ним.

***

Пройдя сени и до тошноты вонючий коридор, в котором, к удивлению своему, они застали двух прямо на пол мочащихся арестантов, смотритель, англичанин и Нехлюдов, провожаемые надзирателем, вошли в первую камеру каторжных. В камере, с нарами в середине, все арестанты уже лежали. Их было человек 70. Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все, гремя цепями, вскочили и стали у нар, блестя своими свеже-бритыми полуголовами. Остались лежать двое. Один был молодой человек, красный, очевидно в жару, другой — старик, не переставая охавший.

Англичанин спросил, давно ли заболел молодой арестант. Смотритель сказал, что с утра, старик уже давно хворал животом, но поместить его было некуда, так как лазарет давно переполнен. Англичанин неодобрительно покачал головой и сказал, что он желал бы сказать этим людям несколько слов, и попросил Нехлюдова перевести то, что будет говорить. Оказалось, что англичанин, кроме одной цели своего путешествия — описания ссылки и мест заключения в Сибири, имел еще другую цель — проповедывание спасения верою и искуплением.

— Скажите им, что Христос жалел их и любил, — сказал он, — и умер за них. Если они будут верить в это, они спасутся. — Пока он говорил, все арестанты молча стояли перед нарами, вытянув руки по швам. — В этой книге, скажите им, — закончил он, — все это сказано. Есть умеющие читать?

---

[1] Вы готовы?

[2] Сейчас.

Оказалось, что грамотных было больше 20 человек. Англичанин вынул из ручного мешка несколько переплетенных новых заветов, и мускулистые руки с крепкими черными ногтями из-за посконных рукавов потянулись к нему, отталкивая друг друга. Он раздал в этой камере два евангелия и пошел в следующую.

В следующей камере было то же самое. Такая же была духота, вонь; точно также впереди, между окнами, висел образ, а налево от двери стояла парашка, и также все тесно лежали бок с боком, и также все вскочили и вытянулись, и точно также не встало три человека. Два поднялись и сели, а один продолжал лежать и даже не посмотрел на вошедших; это были больные. Англичанин точно также сказал ту же речь и также дал два евангелия.

В третьей камере слышались крики и возня. Смотритель застучал и закричал: «смирно»! Когда дверь отворилась, опять все вытянулись у нар, кроме нескольких больных и двоих дерущихся, которые с изуродованными злобой лицами вцепились друг в друга, один за волосы, другой за бороду. Они только тогда пустили друг друга, когда надзиратель подбежал к ним. У одного был в кровь разбит нос, и текли сопли, слюни и кровь, которые он утирал рукавом кафтана; другой обирал вырванные из бороды волосы.

— Староста! — строго крикнул смотритель.

Выступил красивый, сильный человек.

— Никак-с невозможно унять, ваше высокоблагородие, — сказал староста, весело улыбаясь глазами.

— Вот я уйму, — сказал, хмурясь, смотритель.

— What did they fight for?[1] — спросил англичанин.

Нехлюдов спросил у старосты, за что была драка.

— За подвертку, вклепался в чужие, — сказал староста, продолжая улыбаться. — Этот толкнул, тот сдачи дал.

Нехлюдов сказал англичанину.

— Я бы желал сказать им несколько слов, — сказал англичанин, обращаясь к смотрителю.

Нехлюдов перевел. Смотритель сказал: «можете». Тогда англичанин достал свое евангелие в кожаном переплете.

— Пожалуйста, переведите это, — сказал он Нехлюдову. — Вы поссорились и подрались, а Христос, который умер за нас, дал нам другое средство разрешать наши ссоры. Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас.

Нехлюдов перевел слова и вопрос англичанина.

— Начальству пожалиться, оно разберет? — вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя.

— Вздуть его, вот он и не будет обижать, — сказал другой.

Послышалось несколько одобрительных смешков. Нехлюдов перевел англичанину их ответы.

— Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, — сказал англичанин, жестом как-будто подставляя свою щеку.

Нехлюдов перевел.

— Он бы сам попробовал, — сказал чей-то голос.

— А когда он по другой залепит, какую же еще подставлять? — сказал один из лежавших больных.

— Этак он тебя всего измочалит.

— Ну-ка, попробуй, — сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот охватил всю камеру; даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные.

Англичанин не смутился и просил передать им, что то, что кажется невозможным, делается возможным и легким для верующих.

— А спросите, пьют ли они?

— Так точно, — послышался один голос и вместе с тем опять фырканье и хохот.

В этой камере больных было четверо. На вопрос англичанина, почему больных

[1] За что они дрались?

не соединяют в одну камеру, смотритель отвечал, что они сами не желают. Больные же эти не заразные, и фельдшер наблюдает за ними и оказывает пособие.

— Вторую неделю глаз не казал, — сказал голос.

Смотритель не отвечал и повел в следующую камеру. Опять отперли двери, и опять все встали и затихли, и опять англичанин раздавал евангелия, то же было и в пятой, и в шестой, и направо, и налево, и по обе стороны.

От каторжных перешли к пересыльным, от пересыльных к общественникам и к добровольно следующим. Везде было то же самое: везде те же холодные, голодные, праздные, зараженные болезнями, опозоренные, запертые люди показывались, как дикие звери.

Англичанин, раздав положенное число евангелий, уже больше не раздавал и даже не говорил речей. Тяжелое зрелище и, главное, удушливый воздух, очевидно, подавили и его энергию, и он шел по камерам, только приговаривая „all right“[1] на донесения смотрителя, какие были арестанты в каждой камере. Нехлюдов шел как во сне, не имея силы отказаться и уйти, испытывая все ту же усталость и безнадежность.

. . . . . .

Было раннее ненастное сентябрьское утро. Шел то снег, то дождь с порывами холодного ветра. Все арестанты партии, 400 человек мужчин и около 50 женщин, уже были на дворе этапа и частью толпились около конвойного — старшого, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток, частью закупали с'естное у впущенных на двор этапа торговок. Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию, и визгливый говор торговок.

Катюша с Марьей Павловной, обе в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа и направились к торговкам, которые, сидя за ветром у северной стены палей, одна перед другой предлагали свои товары: свежий ситный, пирог, рыбу, лапшу, кашу, печенку, говядину, яйца, молоко; у одной был даже жареный поросенок.

Симонсон, в гуттаперчевой куртке и резиновых калошах, укрепленных сверх шерстяных чулок бечевками (он был вегетарианец и не употреблял шкур убитых животных), был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль. Мысль заключалась в следующем:

«Если бы, — писал он, — бактерия наблюдала и исследовала ноготь человека, она признала бы его неорганическим существом. Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кору, существом неорганическим. Это неверно».

Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала все это в мешок, а Марья Павловна рассчитывалась с торговками, когда среди арестантов произошло движение. Все замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения.

Все шло как обыкновенно: пересчитывали, осматривали целость кандалов и соединяли пары, шедшие в наручнях. Но вдруг послышался начальственно гневный крик офицера, удары по телу и плач ребенка. Все затихло на мгновение, а потом по всей толпе пробежал глухой ропот. Маслова и Марья Павловна подвинулись к месту шума.

. . . . . .

...Подойдя к месту шума, Марья Павловна и Катюша увидали следующее: офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левою рукой ладонь правой, которую он зашиб о лицо арестанта, и не переставая произносил неприличные, грубые ругательства. Перед ним, отирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой держа обмотанную платком пронзительно визжавшую девчонку, стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный, худой арестант с бритой половиной головы.

— Я тебя (неприличное ругательство) научу рассуждать (опять ругательство); бабам отдашь, — кричал офицер. — Надевай.

Офицер требовал, чтобы были надеты наручни на общественника, шедшего в ссылку и во всю дорогу несшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женою. Отговорки арестанта, что ему нельзя в наручнях нести ре-

[1] Правильно.

бенка, раздражили бывшего не в духе офицера, и он избил непокорившегося сразу арестанта.[1]

Против избитого стояли конвойный солдат и чернобородый арестант с надетой на одну руку наручней и мрачно смотревший исподлобья то на офицера, то на избитого арестанта с девочкой. Офицер повторил конвойному приказание взять девочку. Среди арестантов все слышнее и слышнее становилось гоготание.

— От Томска шли, не надевали, — послышался хриплый голос из задних рядов.

— Не щенок, а ребенок.

— Куда ж ему девчонку деть?

— Не закон это, — сказал еще кто-то.

— Это кто? — как ужаленный, закричал офицер, бросаясь в толпу. — Я тебе покажу закон. Кто сказал? Ты? Ты?

— Все говорят. Потому... — сказал широколицый приземистый арестант.

Он не успел договорить. Офицер обеими руками стал бить его по лицу.

— Вы бунтовать! Я вам покажу, как бунтовать. Перестреляю, как собак. Начальство только спасибо скажет. Бери девчонку!

Толпа затихла. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвойный, другой стал надевать наручни покорно подставившему свою руку арестанту.

— Снеси бабам, — крикнул офицер конвойному, оправляя на себе портупею шашки.

Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, с налитым кровью лицом не переставая визжала. Из толпы выступила Марья Павловна и подошла к конвойному.

— Господин офицер, позвольте я понесу девочку.

Конвойный солдат с девочкой остановился.

— Ты кто? — спросил офицер.

— Я политическая.

Очевидно, красивое лицо Марьи Павловны с ее прекрасными выпуклыми глазами (он уже видел ее при приемке) подействовало на офицера. Он молча посмотрел на нее, как будто что-то взвешивая.

— Мне все равно, несите, коли хотите. Вам хорошо жалеть их, а убежит, кто отвечать будет?

— Как же он с девочкой убежит? — сказала Марья Павловна.

— Мне некогда с вами разговаривать. Берите, коли хотите.

— Прикажете отдать? — спросил конвойный.

— Отдай.

— Иди ко мне, — говорила Марья Павловна, стараясь приманить к себе девочку.

Но тянувшаяся к отцу с рук конвойного девочка продолжала визжать и не хотела итти к Марье Павловне.

— Постойте, Марья Павловна, она ко мне пойдет, — сказала Маслова, доставая бублик из мешка.

Девчонка знала Маслову и, увидав ее лицо и бублик, пошла к ней.

Все затихло. Ворота отворили, партия выступила наружу, построилась; конвойные опять пересчитали; уложили, увязали мешки, усадили слабых. Маслова с девочкой на руках стала к женщинам рядом с Федосьей. Симонсон, все время следивший за тем, что происходило, большим решительным шагом подошел к офицеру, окончившему все распоряжения и садившемуся уже в свой тарантас.

— Вы дурно поступили, господин офицер, — сказал Симонсон.

— Убирайтесь на свое место, не ваше дело.

— Мое дело сказать вам, и я сказал, что вы дурно поступили, — сказал Симонсон, глядя пристально в лицо офицера из-под своих густых бровей.

— Готово? Партия, марш, — крикнул офицер, не обращая внимания на Симонсона, и, взявшись за плечо солдата кучера, влез в тарантас.

Партия тронулась и, растянувшись, вышла на грязную, окопанную с двух сторон канавами раз'езженную дорогу, шедшую среди сплошного леса.

---

[1] Факт, описанный в книге Д. А. Линева: „По этапу".

П. В. Шумахер

Песня каторжного

Ой ты, горечь, злая мачеха, Сибирь!
Снежной степью разметалась вдоль и вширь;
Неприветна, непривольна, нелюдна,
Неприглядна, неприютна, холодна!
Не грызи ты злобой-местию своей
Беззаступных горемык, честных людей,
Что томятся в чужедальной стороне
С лиходеями-ворами наравне...
Знал и я иную долюшку,
Знал и я свободу-волюшку
На родимой на сторонушке,
При любимой пташке-женушке;
Да она, моя красавица,
Сатана, змея, лукавица,
И людей не постыдилася —
С целовальником спобилася!..
На совет позвал я хмелюшку
И друзьям постлал постелюшку;
Услужил любезным чадушкам,
Уложил на месте рядушком...
Не томи ты, дума черная!
Не греми ты, цепь зазорная,
Что брячишь на степь пустынную
Про вину мою безвинную!
Ой, ты горечь, злая мачеха, Сибирь!
Снежной степью разметалась вдоль и вширь,
Неприветна, непривольна, нелюдна,
Неприглядна, неприютна, холодна!

Алексей Толстой

Колодники

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, —
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.

Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело,
Угрюмые сдвинули брови, —
На сердце раздумье легло.

Идут с ними длинные тени,
Две клячи телегу везут,
Лениво сгибая колени,
Конвойные с ними идут.

«Что, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду!
Уж, видно, такая невзгода
Написана нам на роду!»

И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни;

Поют про свободные степи,
Про дикую волю поют,
День меркнет все боле, — а цепи
Дорогу метут да метут...

А. П. Чехов

В ссылке

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили

у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

— Оно, конечно, тут не рай, — говорил Толковый. — Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет и утром нынче снег был.

— Худо! Худо! — сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная, холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

— Худо! Худо! — повторил он.

— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеялся. — Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слова богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

— У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

— А на что тебе мать и жена? — спросил Толковый. — Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему на зло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

— Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырпю, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семей, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса, — он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще, и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, го-

ворю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенчик — девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай, каждую неделю, стал он в Гырино наведываться; не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был и собачка лохматенькая на диване, — чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец — не та честь. Года через три, помню ночью, под самый успеньев день, кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу — барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели — и поминай, как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергеич скачет на паре. «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю, — аж ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от полюбовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошения посылал и подавал, чтобы его помиловали и назад домой вернули, и, сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не налышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж по-моему лучше пропить эти деньги... Все равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

— Хорошо, хорошо, — пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

— Что хорошо? — спросил Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила с ним три года — это ему бог подарил. Ничего — худо, а три года — хорошо. Как не понимай?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и запинаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной, ржавой земле, что если бы жена приехала к

нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

— Что ей за радость с отцом-то? — проговорил он, немного погодя. — Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся. — Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

— Если нет чего-чего кушать, то как живи? — спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развесть...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая, — неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светло; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурой соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий, глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни — быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, — думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако, какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

— Подава-ай! — кричал кто-то на той стороне. — Карба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, повидимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни; Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить — все равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только потому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она

не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами. Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную, унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплет, и все оно сыплет! — бормотал Семен, вытирая с лица снег. — И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик, в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

— Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

— И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, повидимому, доставлял ему большое удовольствие.

— Грязно теперь ехать, Василий Сергеич, — сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. — Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а все без толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

— Вот, за доктором поскакал! — сказал Семен, пожимаясь от холода. — Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, язви твою душу! Экие чудаки, господи, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

— Он хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень — и бог тебя не любит, а барина любит!

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

— Холодно! — прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь, отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

— А мне хорошо! — проговорил Семен, засыпая. — Дай бог всякому такой жизни.

— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой.

— Что это? Кто это там?

— Это татарин плачет.

— Ишь ты... Чудак!

— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась незатворенной.

С. Я. Елпатьевский

Отлетает мой соколик

(Из каторжных песен)

Быль

Раз, — дело было глухою зимой в одном из дальних углов Восточной Сибири, — мне пришлось вместе с исправником отправиться в округ по делам службы. Ехали мы в самый дальний угол округа, около девятисот верст в один конец. Дорога была очень скучная. Окутанная толстым слоем снега, пяти-семиверстная пелена реки, по которой почти все время приходилось нам ехать, да по бокам две гряды каменных утесов, тоскливых и диких в своем зимнем уборе, вот и все, что приходилось видеть. Население здесь — полу-русские, полу-тунгусы; деревни редкие и словно вымершие. Мужиков вовсе не видно: кто ушел в тайгу белковать и соболевать, кто уехал в извоз на прииски. Баба надевает бляху и в качестве десятского является встречать начальство; бабы перепрягают лошадей; две бабы вместо форейторов взбираются верхом на лошадей (мы ехали шестеркой, гусем), третья, какая-нибудь лихая девка, одетая по-ямщицки, залезает на облучок нашего возка и с гиканьем, длинным кнутом подхлестывает лошадей, а иногда своих приятельниц, болтающих ногами на передних гусевиках.

У меня, впрочем, был интересный собеседник. Старик огромного роста, с коротко остриженными волосами, солидных размеров красным носом и седою клочковатою бородой, он имел очень суровый вид, хотя в действительности был добродушнейшим человеком. Жил он бобылем, один-одинешенек, был большой хлебосол, взятки брал с кого следует и за что следует, чем и заслужил всеобщую приязнь и уважение. Он имел три слабости: медведей бить, песни петь и говорить про Сибирь. В последней он особенно повинен был. Как большинство туземцев-чиновников, это был страстный патриот и, когда говорил о Сибири и красоте ее, впадал даже в поэзию. О России же, наоборот, был весьма прискорбного мнения. По его понятию, хотя он за Уралом никогда не бывал, Россия — страна, где живет смесь жуликов с проходимцами и где люди занимаются только тасканием носовых платков и кошельков друг у друга. Из российских людей он любил только каторжников и бродяг, поселенцев же и русских чиновников терпеть не мог.

Я дразнил его, что Сибирь только русские зады повторяет, что она даже ни одной своей песни не выдумала и что родителем и учителем Сибири — этап. Мой собеседник неистовствовал в возке, особенно по поводу обвинения в отсутствии песен, и в опровержение клеветы очень недурно, хриплым старческим баском, спел несколько старинных русских песен, искренно убеждая меня, что это ихние, собственные, сибирские. Наконец и это скучно стало. Пробовали разговаривать с лихой девицей, сидевшей на облучке, но она только скалила свои белые зубы да смеялась узенькими тунгусскими глазками.

Помню, выдался особенно скучный станок. За ночь дорогу завалило снегом, и, хотя вперед ехало двое саней, чтобы протоптать дорогу исправнику, тем не менее тяжелый возок глубоко уходил в снег и подвигался почти шагом. Пробовал исправник ругаться, но девица-ямщик так обезоруживающе-весело смотрела на него, что он и ругаться перестал. Закусили в возке, соснули и, проснувшись, увидели опять занесенную дорогу и те же двое саней, плетущихся впереди нас.

— А знаете, — вдруг заговорил исправник: я вам расскажу одну историю, истинное происшествие, вот вы и узнаете, какие песни поют у нас. Хоть в каторге, а все-таки в Сибири, — добавил он.

Мы уселись поудобнее, и я приготовился слушать.

Постараюсь передать рассказ исправника в точности, в том виде, как он удержался у меня в памяти:

«... Это было еще в молодых годах моих. Службу я начал на родине, в Забайкалье. Был я в то время заседателем недалеко от Кары и частенько туда заглядывал. Комендант — человек добрый был, товарищ хороший, и выпить не дурак, и повеселиться. К тому же две дочки у него были, барышни в возрасте, — ну, сами понимаете, нередко гащивал. Можно сказать, почти каждого арестанта в лицо тогда знал, и история эта чуть не при мне случилась.

«Был на Каре каторжник один, из серьезных, — на вечную осужден был. За какие дела, доподлинно не умею вам сказать, только уж, конечно, не за пустяки. Помню я его. Русый из себя, чуточку сединой по бороде прошло, высокий да тонкий, глаза большущие, неласковые такие; ходил сгорбившись и все словно думает что про себя. Строгий был такой, особняком жил, словно хоронился от кого. Ни в какие истории ни с начальством, ни с арестантами не путался; да и его не задирали, — побаивались-таки. Шесть лет уже на Каре жил, по положению скоро бы ему в испытуемые перейти следовало. Дивились многие потом, что не бежал столько лет. И теперь дело это не очень мудреное, а в те времена только ленивый не бегал, да кому неохота, кто на маленькие сроки прислан. Ну, конечно, за ним мало смотрели, — уверились.

«Был у него голос. Мало-ли я голосов в жизни своей слышал, да и сам смолоду ладно певал, — ну, а у этого голос не как у других. Тоже и на Каре всегда голоса хорошие подбираются, любят там петь и певунов любят; а как запоет Василий Семеныч — все его так звали, и арестанты, и солдаты, — так все и бросятся слушать. Майдан, у них, знаете, картишки — это первое удовольствие, — и одежду арестантскую и паек проигрывают, — ну, и водчонку по грешности потягивают. Так тут и майдан бросят, и карты, и водку, и всякие игры. Муха не пролетит, особенно если запоет «Отлетает мой соколик», — такая была у него любимая песня. А в дверях солдаты набьются, надзиратели, — потому Василий Семеныч поет... Пел он редко и то когда сам захочет. Потом это мне солдаты рассказывали: бывало, бродяги обступят, страсть они любят слушать песни про каторжное да бродяжное житье, — просят, просят: ни за что! Иной раз месяц, и два, и больше не поет, а уж распоется, — весь вечер петь будет, пока не охрипнет, и уж тут никто с места не тронется.

«Помню, в первый раз привелось мне его слушать. Был я раз у коменданта и пошли мы с ним прогуляться вечером. Погода была распроклятая, октябрь месяц, — не то дождик, не то снег с неба сыплется. Уж смеркалось. Идем мы мимо казармы, а он запел. Как-то я сразу остановился, — необыкновенное что-то было у него в голосе. Пел он тюремную песню, протяжную да грустную. Не могу вот вам и сказать теперь, какой у него голос был: как будто и баритон огромный, и тенор высоты и чистоты необыкновенной. Но не в том дело. Покорил он меня. Словно вот схватил и держит, а ты стоишь и не дышишь. Да я вам прямо скажу: исходи я всю землю, а такого голоса уж не услышу. И, странное дело, помню вот как сейчас: поет ровно, плавно, просто так кажется, по-обыкновенному, а у тебя словно по сердцу ножом водят. Потом вдруг загремит голосом, и страх тебя, ужас возьмет, с'ежишься весь, словно к земле кто давит, а волоса на голове, чувствуешь, поднимаются, поднимаются... И потом словно устанет, запоет так тихо, ласково, душевно, и ты оживешь, как будто вздохнешь, поднимешься... Словно в нем разные люди сидят и разные души имеют. Да нет, сколько бы я ни рассказывал вам, все равно ничего не выйдет!.. Только тут я, как дурак битый, час простоял, пока он не оборвал песни.

«Кончил он, очнулся и я, смотрю — лицо мокрое, и не от дождя, — слезы бегут. И комендант, вижу, стоит, голову опустил, — тоже, видно, и ему не по себе. Взглянул я вверх, — фонарь тут наискосок стоял, — смотрю, заплел он руки и ноги в решетку и половину лица просунул. Может, от фонаря лицо белое-белое, как воск, а глаза большущие, черные, недобрые на меня смотрят. Не весело смотрел Василий Семеныч.

«Вот и пел он так, и пел все один, — подголоска найти не мог. Были и хорошие голоса, да как-то не подходили, спеться с ним не могли.

«Привели однажды из партии каторжанина, — так, плюгавый мужичонка, грош цена, хилый да слабенький, словно ребенок-подросток. Жену что-ли убил, или любовника ее, — что-то в этом роде сделал. Тоже любопытный человек был, потешный. Все смеется, бывало, шутки да фокусы разные арестантам показывает, только бороденка трясется, — вроде шута был или юродивого какого. А все-таки арестанты любили его, — больно уж добрый был, безобидный да безответный. Ну, и за то и любили, что песен много знал, а знал он их, кажется, столько, сколько вся Кара не знала. Голос у него не из важных был, слабенький, да и дрожал как-то, только грустный очень, нежный, сердечный такой.

«Василий Семеныч сразу облюбовал его в подголоски, и скоро спелись они. Тот премит, а этот подпевает, голосом водит, словно плачет кто потихоньку, а слышно. Один замолчит, другой тянет; тот опять подхватит, — еще лучше выходило.

«Ну-с, так вот какая оказия случилась.

. . . . . .

«Была весна и такое же утро, как я вам рассказывал, теплое да светлое, настоящее весеннее. Снег еще не совсем сошел, а на проталинах трава уж показалась. Вывели раненько каторжников на работу. Ну, как всегда, старшой тут и солдаты с ружьями цепью окружили.

«Вот Василий Семеныч и запел свою любимую «Отлетает мой соколик». Запел да скоро и оборвал. А уж все уши распустили, — слушать приготовились.

«К нему: «Спой!» да «спой!» Старшой сам подошел.

— «Спой, — говорит, — ради христа, Василий Семеныч, эту песню, а то раздразнил только.

«Тот отнекивался, отнекивался, а потом и говорит старшому-то:

«— Вот что, — говорит, — Федор Васильич, ты меня лучше не проси. Ежели я теперь эту песню запою — сбегу!

«Тот смеется. Да как и не смеяться: человек шесть лет в каторге выжил, сто раз имел случай бежать, не убег, а тут вслух наперед говорит при солдатах. За шутку принял. Смеется.

«— Ну, — говорит, — ладно, беги, только сначала спой».

«А тот опять за свое:

«— Я, — говорит, — не шутки шучу, а прямо тебе сказываю — сбегу. Полоса такая. Спеть я тебе спою, только уговор держи: пулей бери, а штыком не касайся, чтобы без увечья...

«Старшой все смеется.

«— Ладно, — говорит, — пулей-то и нам сходнее. Она тебя живой рукой догонит, ничем штык!

«Пока они тут разговаривали, разрез уж недалеко. Это, изволите видеть, вроде коридора в земле ведут, вот как золото добывают, — может, видали? Длинный разрез был да глубокий, и подходил он к утесу. А на утес взойти — тут сейчас и тайга пойдет.

«Ну-с, так вот, подозвал этот Василий Семеныч подголоска своего, и уж что тут между ними было, — неизвестно. Сговорились что ли они, или так, без уговору вышло, не умею вам сказать. Запели. Идут и поют. И арестанты идут, солдаты идут, и все слушают.

«Всегда хорошо он пел, а в этот раз, говорят, как никогда не певал.

«Подошли к разрезу, спустились каторжники — остановились, наземь сели; по краям разреза солдаты цепью встали, — ружья в руках, штыки привинчены, все как следует. Смотрят в разрез, слушают. А те двое идут себе по разрезу тихонько, идут и поют.

«Василий Семеныч залетит, занесется голосом неизвестно куда, а подголосок ведет свою ноту. Один замолчит, а другой ведет; другой замолчит, этот подхватит. И так они спелись, что иной раз и незаметно, где один, где другой, словно один поет. Подошли к концу разреза, стали подниматься, и песня с ними поднимается. Подголосок в один угол, а Василий Семеныч в другой. Подголосок поднимается потихоньку, скоро и вовсе сел, а тот все шибче да шибче... Вот уж и петь перестал, вот побежал, наконец, — так-таки прямо на виду у всех бежит по утесу вверх... Вбежал, наконец, на самую вершину, а кандалы-то уж в руках у него очутились. Взмахнул он как-то руками над головой, бросил кандалы вниз и закричал не своим голосом: «Отле-тел!»

«Тут только, как кандалы загремели по камням, да как крикнул он, и очнулись все. Конечно, бросились, стрелять начали. Да где уж тут, — ищи ветра в поле»!

— Вот-с какие истории бывают! — промолвил исправник и замолчал.

— Как же это солдаты-то? — заговорил было я.

— Вот это-то и удивительно! — тотчас же прервал он меня.

— Я приехал на другой же день, как раз комендант старшого допрашивал:

«— Да ведь вы же все видели, осина ты этакая!

«— Так точно, ваше благородие.

«— Ну, и ведь бежал же он? Прямо уж видно было, что бежит?

«— Так точно, ваше благородие.

«— Так вы-то что же?

«— Не могу знать, ваше благородие! Обошел он нас, затмение напустил.

«— Тьфу, дурак!»

«Комендант красный весь был, в поту, — видно, долго уж маялся. Рассказал он мне всю эту историю.

«— Вот неудобно ли полюбоваться? Все так. Второй день бьюсь, только и слов, что «обошел», «затмение». Песню, изволите ли видеть, спел, а они нюни распустили».

«Старшой был бравый молодец и не дурак, — я его знал, — а тут действительно стоит дурак-дураком, глаза на коменданта вылупил. Комендант нарочно при мне призывал остальных солдат, и все они говорили одно и то же.

«Вот, батюшка, какие голоса на Каре бывают!» — закончил свой рассказ исправник.

Ф. А. Березовский

Праведник

(Рассказ политссыльного)

Я сидел в зале 1 класса, читал газету и прислушивался к отдаленному шуму, доносившемуся откуда-то с улицы.

Вошел буфетчик, он же владелец книжно-газетного киоска.

— Хотите посмотреть, как бьют праведника? — обратился ко мне буфетчик.

— Какого праведника?

— Вы не знаете праведника? В таком случае пойдемте... Да пойдемте же!.. Ведь это — интереснейший суб'ект...

Буфетчик схватил меня за руку и увлек на крыльцо.

На площадке, перед станционным под'ездом, человек десять извозчиков, сгрудившись в кучу, с шумом и руганью били большого чернобородого мужика в кумачевой рубахе и плисовых шароварах; на земле, в пыли, валялись картузы и кнутовища; один из извозчиков бил по морде вороную лошадь, тоже, повидимому, извозчичью, а другой — тянул назад тележку, в которую запряжена была эта лошадь. Избиваемый, будучи выше всех ростом на целую голову, в долгу не оставался и бросал в разные стороны то одного, то другого из своих врагов; они отлетали от него, как мячики.

— Ребята! Перестаньте! Что вы делаете?! — закричал буфетчик.

Но на него никто не обращал внимания.

— Да перестаньте же! — заревел буфетчик. — Я иду за жандармом! Он вас всех переарестует.

Наконец, извозчики бросили свою жертву и толпой кинулись к нам, крича наперебой:

— Нет... вы постойте!

— Вы разберите!

— Ему мало всыпали!

— Он за правду стоит!

— А сам по правде делает?

— Праведник!!!

— В чем дело? — крикнул буфетчик. — За что вы его бьете?

— Ваше бла-а-ародие! Милые люди, — вопил потерпевший, поднимая картуз и протискиваясь сквозь толпу. — Разберите!.. Позовите жандара... Тут человека убили!

— Чорт тебя убьет!

— Мало били!

— Дай ему, Сенька, ишшо!

— Праведник!!!

Извозчики кричали, размахивали руками, ругались и готовы были снова кинуться на бородатого мужика.

А он протискался вплоть к крыльцу и, не обращая внимания на угрожающий рев врагов, возбужденно об'яснял:

— Я же первый под'ехал... ехали с Сенькой вместе... а под'ехал я первый!..

— Врет! Врет!

— Врет, бродяга!

— Сами жулики! Варнаки! — заревел великан-бородач, повертываясь к толпе. — Я первый под'ехал... значит, и очередь моя... не уступлю!.. В каторгу пойду, умру... а не уступлю!..

— Иди! чорт тебя неси!

— Не привыкать, поди!..

— Помрешь... видать тебя, борова!

Извозчики захохотали.

Мы воспользовались изменившимся настроением и попросили об'яснить, в чем дело.

Оказалось, что бородач-великан в красной рубахе — тоже извозчик. Ехал он на вокзал вместе с другим извозчиком — Семеном, но кто из них под'ехал первый, и чья очередь первому подавать, точно установить было невозможно, так как около вокзала в то время никого, кроме них, не было. А когда вышел со станции пассажир и попросил подать лошадь, — подал бородач. Семен запротестовал, другие его поддержали, и началась свалка.

Немолодое, благообразное лицо бородача, с умными карими глазами, его возмущение несправедливостью товарищей как-то сразу подкупили меня, и я велел ему подать лошадь для меня.

Он одернул свою кумачевую рубаху, быстро вскочил на козлы и, приготовившись вытянуть кнутом коня, с видом торжествующего победителя крикнул:

— Што, варнаки, выкусили?!

Толпа с угрожающим ревом снова ринулась к нашей тележке, но лошадь так быстро понеслась, что до нас долетел только отдаленный, неясный крик.

**
*

До села было верст пять. Дорога шла небольшим сосновым лесом, который тянулся от густой тайги и все больше и больше мельчал и редел в сторону леса, раскинувшегося по берегу реки.

Некоторое время ехали молча.

Я смотрел на огромную спину возницы в красной рубахе, на посеребренные кольца его черных волос, вьющихся вокруг выцветшего и помятого картуза, на его широкие плечи и начинал склоняться к мысли, что, пожалуй, не его били извозчики, а он бил их.

Изредка извозчик повертывал ко мне в полоборота свое круглое и здоровое лицо, с бронзовым загаром, в широком окладе черной и вьющейся бороды; пытливо скользил по мне умными карими глазами и быстро отворачивался к коню.

По внешнему виду ему можно было безошибочно дать шестьдесят лет. Но от всей его огромной фигуры веяло необыкновенной крепостью и силой.

Рассматривая его, я думал:

«Это один из тех стариков, с которым время долго еще не справится, и который проживет за сотню лет»...

А он, после долгого молчания, повернулся ко мне лицом и, с видимым желанием поговорить, спросил:

— Должно, недавно здесь?

— Да... не особенно давно...

— Из ссыльных будете?

— Да.

— Из политиков?

— Почему вы так думаете? — спросил я, смеясь и глядя в упор в его пытливые карие глаза, в которых светился какой-то игривый огонек. — Разве на мне это написано?

Бородач отвел в сторону взгляд и с чуть заметной улыбкой ронял слова:

— Так... привышны мы к людям... По костюму и по обличью различаем... Видать ведь человека-то... сразу!.. Из каких... и к какой жизни придел имеет...

— А вы? — спросил я. — Из старожилов здешних будете?

— Мы? — точно удивляясь, переспросил он, снова повертывая ко мне бородатое и загорелое лицо. Пристально посмотрев на меня, он снова отвернулся и небрежно кинул в сторону:

— Мы... как все...

— Значит, из каторжан?

— Так точно! — засмеялся бородач, усаживаясь поудобнее на козлах, чтобы как следует поговорить. — Може, слыхали: Левонтий Сапшенков... праведником зовут!.. Вот... я самый и есть.

Он помолчал и, покрутив головой, смеясь проговорил:

— Не любят они меня... извозчики-то!

— Почему же так?

— Самостоятельно живу. Не даю на мозоль наступить! Здесь ведь што... варначья сторона!.. Здеся смирного человека заклюют! А я за правду сам глотку перерву.

— Давно в этих краях живете?

— Четыре года в работах отбыл... десятый год по-вольному живу.

— А за что сюда пришли?

— А вот так и пришел... так вот и судили, как седни били! Суд-то у нас какой? Сами знаете...

— Значит, вследствие судебной ошибки?

— Как сказать, — в глазах бородача мелькнул лукавый огонек и быстро потух. — По правде сказать... нашего брата, двистительно, больше по ошибке... А мое дело особливо... Вот слушайте-ка, што они со мной устряпали...

Он предоставил коню везти нас по своему усмотрению и стал рассказывать историю своей ссылки.

— Жил я в Томской губернии. Спервоначалу в селе, а потом в самом Томском городе. Жену имел, собственный дом и постоялый двор содержал. Словом сказать, полное обзаведение жизни имел... На беду поселился у меня квартирант, — хто такой и откуль — и посейчас не знаю!.. Прожил он у меня полгода и засыпался с фальшивыми деньгами. Мало того, и меня прицепил. А я, как на грех, перед тем получил от его за квартиру двадцатипятирублевку... Конешно, обыск с понятыми и прочее...

— Хотя, окромя этой гумажки, ничего у меня не нашли, а каторжны работы дали!.. Чо поделашь?.. иха воля!.. Пришлось итти, дом и хозяйство было у меня на жену. Спервоначалу-то я думал так, што, дескать, останется она не надолго и хлопотать будет. А вышло так, што осталась насовсем. Словом сказать, потерял я все удовольствие жизни. Взял я евтот камень на душу и решил: они со мной по варначьи поступили!.. Буду и я им всю жизнь глаза колоть. Как пришел в работы, так и начал каждый год прошения зажаривать; из работ вышел — три раза подавал. Конешно, ответ один: оставить без последствиев. Ну, только я не из таковских! Касательно правды и скрозь все канцелярии пройду... а докажу!.. В прошлом году в тако место написал, што будет управа и на них...

Мы под'ехали к селу.

— Вот так и страждим! — закончил свою повесть Леонтий.

Он повернулся к коню, натянул вожжи и умолк.

А я перебирал в уме подробности его рассказа и не мог решить — врет он, или все, рассказанное им, правда. Я знал, что большинство уголовных каторжан считает себя невинно-пострадавшим, но от повести Леонтия веяло такой безыскусственной простотой, и он так искренне возмущался учиненной над ним несправедливостью, с которой он, не переставая, боролся пятнадцать лет, что невольно хотелось ему верить.

**
*

Из массы бывших каторжан, населявших большое село, Леонтий многим выделялся. Он жил одиноко, но имел хороший пятистенный домик и держал в качестве

стряпухи молодую и красивую бабу, бросившую мужа; жил он, повидимому, безбедно, а извозным промыслом занимался как-будто от нечего делать; один день выедет на станцию, да два-три дня дома без дела околачивается; зато аккуратно каждое воскресенье — в базарный день — ездил в село Мальву.

— Люблю в базарный день промежду народу потолкаться! — говорил он мне.— Миру там всякова... видимо-невидимо!.. Опять же продашь чево ни на есть... провьянту для себя закупишь на неделю... овсинку для коня...

Никаких товаров для продажи я у него никогда не видал. Меня он никогда с собой в Мальву не приглашал.

И еще бросалась в глаза одна странность: при встречах с нашим сельским становым приставом Леонтий, как-то по-особому, небрежно и фамильярно здоровался; скользнет своими карими глазами по фигуре пристава, отвернется и крикнет в сторону:

— Здравствуй, ваше бла-родье!

Когда он так приветствовал пристава, в манере и в голосе его чувствовалось что-то вроде: «Эй, ты! Знаю, мол, я тебя».

И пристав не обижался, а также фамильярно, но ласково и торопливо кидал:

— Здорово, здорово, праведник!..

А мне про пристава Леонтий говорил:

— Варнак и грабитель... первейший по губернии!.. Беспременно до кандалов достукается...

— Но умный, должно быть? — спросил я.

Леонтий покрутил черной головой и громко промычал:

— У-у-у!.. Умища в его башке... несусветная! Самого губернатора проведет!..

А потом повернул ко мне благодушное бородатое лицо и, улыбаясь, добавил:

— Ну, только должон я тебе сказать... против политиков его ум не может соображать...

— То-есть, как это?

— А вот так... ево ум пошел по варначьей линии... а у политиков ум идет совсем насупротив... вроде как за правду!..

Карие и умные глаза Леонтия вдруг загорелись. Он наклонился к моему лицу и тихо сказал:

— Думаешь, не понимам?.. Все понимам!.. Ты чо думаешь... Зря я к тебе прилип?.. Нет, Иван Миколаич... не зря!.. Люблю политиков... и тебя люблю... душу очищаю около тебя!..

Как бы спохватившись, Леонтий торопливо добавил:

— Потрешься около тебя... поговоришь... как будто легче станет жить... в нашей-то, в варначьей стороне...

В голове у меня мелькнуло какое-то неясное подозрение, и я насмешливо спросил:

— А что... разве очень грязная у тебя душа?

В глазах Леонтия опять мелькнул лукавый огонек. Он отвернулся и пробормотал:

— Нет... поштo же... не более других грешен!.. Так это я... к слову!.. Какая мне корысь от тебя... хороший ты человек... только и всево...

**
*

Местная интеллигенция — становой пристав, врач, инженер, начальник станции, попадья и буфетчик — решила приступить к устройству в селе спектаклей и чтений «для народа».

Буфетчика избрали распорядителем.

Однажды после прохода пассажирского поезда буфетчик собрался ехать в соседнее село, к бывшим фабрикантам Б. за декорациями.

Заметив меня около книжного киоска, буфетчик, выходивший из зала 1 класса, крикнул:

— Иван Николаич! Поедемте со мной в Тельмянку!

— Зачем?

— Да так... прокатиться!.. Кстати: поможете мне декорации отобрать... и бывшую фабрику посмотрите.

Я давно уже собирался посмотреть это гнездо гремевших когда-то на всю Сибирь миллионеров и, конечно, быстро принял приглашение буфетчика.

Повез нас Леонтий.

Тельмянка находилась в пятнадцати верстах от станции, и ехать туда пришлось по знаменитому Московскому тракту, на который с двух сторон надвинулась мрачная тайга.

Хотя день был один из тех жарких дней, которые бывают в конце лета, но здесь, в узком таежном коридоре, солнце не сильно припекало.

Всю дорогу мы говорили о фабрике и о бывшем ее владельце.

Незаметно прошло больше двух часов, и неожиданно из тайги выглянула Тельмянка.

Фабрика и село стояли у подножья небольшой горы. Выше села, по откосу горы, обращенному к нам на запад, разбросаны были серые покосившиеся хозяйственные постройки и полуразрушенные бараки, несколько выбеленных крестьянских изб, заброшенный двухэтажный барский дом, в котором жил когда-то отец современных владельцев фабрики, и дальше, около небольшого соснового леса, стояла белая церковь с голубыми куполами.

За церковью расстилался, поднимаясь вверх, ковер тайги, сливающийся вдалеке с синевой неба.

Фабрика, когда-то обслуживаемая каторжанами, вырабатывала солдатское и арестантское сукно на всю Сибирь и принадлежала фабриканту Б., наживавшему на ней миллионы. Сам Б. давно уже умер, а дети его сразу так повели дело, что через десять лет после смерти отца вынуждены были закрыть фабрику, несмотря на то, что за рабочую силу каторжан платили в казну гроши. При фабрике был большой винокуренный завод, но наследники Б. переделали его на маленький пивоваренный завод и раз'ехались в разные стороны, жили теперь на прибыль от завода, которую делил и высылал им старый управляющий.

Перед в'ездом в село с правой стороны, около большого запущенного пруда, сиротливо торчали белые облупившиеся корпуса с черными дырами вместо окон и казались нам могильными памятниками былой жизни.

Кругом, куда касался глаз, лежала печать запустения и разрушения. Деревянные постройки растаскивались по бревну крестьянами и заводской дворней, а кирпичные разваливались от времени и непогоды.

Около пивоваренного завода нас встретил управляющий и, узнав, зачем мы приехали, сразу повел в пустующий хозяйский особняк.

И здесь все было разрушено и загажено.

Но по сохранившимся обломкам можно было заключить, что старый владелец каторжной фабрики был культурный человек и умел пожить «со вкусом».

В первом и втором этажах во всех комнатах валялась поломанная старинностильная мебель с позолотой: столы, стулья, диваны, этажерки; болтались на стенах разбитые зеркала, порванные картины и пустые золоченые рамы; в большом зале первого этажа каким-то чудом уцелел аквариум на черном полированном подставе; тут же торчали в кадках два высохших ствола огромных тропических пальм. Все это было покрыто грязью и пылью. Окна в доме наполовину были повыбиты. По углам и по ажурным карнизам гнездились галки, ласточки и воробьи, наполнявшие звонким гомоном пустой дом.

Во втором этаже такой же большой зал приспособлен был под домашний театр, но театральные декорации валялись по всему дому.

Показывая дом, бравый старик-управляющий, с седеющей бородой лопатой, гордо говорил про бывшего владельца:

— Культурный человек был покойник!.. Умел жить по-человечески... не хуже российских дворян!.. Как видите: даже домашний театр имел!.. Оркестр духовой содержал... домашний хор был... и все из каторжан... На балы к нему с'езжались все сибирские золотопромышленники-миллионеры!.. Неделями пировали!.. И за границей живал... Больше всего Париж предпочитал...

— Скажите, — спросил я управляющего, — много работало на фабрике каторжан?

— Да человек пятьсот-шестьсот работало.

— Где же они жили?

Управляющий показал в выбитое окно на серые деревянные бараки:

— А вон там... в бараках!.. Тут они и срок кончали... а долгосрочные здесь и умирали...

— Сколько платил владелец фабрики каторжанам?

— Платили тогда недорого... десять-пятнадцать копеек в день... смотря по квалификации... Мы ведь платили не каторжанам... а казне.

— А каторжанам что-нибудь выдавалось из этих денег?

— Как же, как же! — заторопился управляющий. — Казна не обижала каторжан!.. Шесть копеек шло на харчи и на одежду каторжанина, от двух до восьми копеек шло в казну и одна-две копейки зачислялись на счет каторжанина с тем, чтобы по выходе на поселение он мог получить все эти копейки сполна.

— Значит, до окончания срока каторги на руки им ничего не выдавалось?

Управляющий улыбнулся и удивленно пожал плечами.

— А зачем же им были деньги?.. Ведь они жили на всем готовом!

— А рабочий день каторжан был велик?

Тут старик-управляющий густо покраснел и, опустив глаза и запинаясь, пробормотал:

— Да... в те времена... работали изрядно... Это ведь не вольный завод... На то она и каторга... наказание!.. Работали по шестнадцати часов в сутки.

Буфетчик оборвал наш разговор:

— Ну, господа... пора заняться делом.

В сопровождении управляющего мы долго ходили по коридорам и комнатам, выбирали декорации, а мысли невольно уносились к тому еще не совсем давнему прошлому, когда в тельмянских фабричных корпусах и в бараках выжимался кровавый пот из тысяч каторжан, вереницами шагавших сюда в кандалах из России; этот пот превращался сначала в грубое солдатское сукно, потом в блестящее золото и пропивался частью вот в этом самом доме, а частью на заграничных курортах и в кафешантанах Парижа.

***

Перед закатом солнца выехали обратно. Версты полторы-две ехали молча. Каждый был занят размышлениями о фабрике, о ее владельцах — прожигателях жизни — и о рабочих-каторжанах.

Тихий, теплый и яркий день кончался. С боков на нас смотрела заколдованная и молчаливо-мрачная тайга, хранящая в себе тысячи страшных сказок варначьей страны.

Леонтий опустил вожжи и смотрел вперед, через коня, куда-то вдаль. В тележке монотонно звенел где-то отвинтившийся болт и своим металлическим звоном нагонял тоску и мрачные думы.

Перед моими глазами в таежной тишине мелькали на шоссированном тракте, по которому мы ехали, толпы людей в серых арестантских халатах с бубновым тузом на спине, окруженные вооруженным конвоем; у каторжан обритые наполовину головы, изможденные и клейменые лица с выцветшими глазами; усталый шаг согнутых ног. Слышался бесконечный, пронзительно-противный звон кандалов. И все они, толпа за толпой, из года в год шагали сюда, за тысячи верст, в Тельмянку, чтобы изойти здесь кровавым потом в огромных фабричных корпусах или затеряться в таежном краю по выходе из каторги навсегда.

Тысячи их идут в этот край и сейчас, только сворачивают с тракта уже не сюда, а в знаменитый централ.

«Когда же этому будет конец?» — подумал я.

Мне почудилось, что кто-то толкнул меня и сказал:

— Не скоро еще...

Колесо тележки прыгнуло через какой-то камень и сразу вышибло из головы тяжелые думы.

Леонтий, натянув вожжи, хлюпой спускал коня с горы по тракту.

Через несколько минут мы в'ехали в полосу тени.

Солнце склонялось уже за лес.

Я оглянулся назад и невольно вскрикнул от восторга.

Деревня с белыми фабричными корпусами, разбросанными по косогору, белый барский дом, белая церковь, такие же белые крестьянские избы, вкрапленные между серыми хозяйственными постройками, и необозримый ковер темно-синей тайги на горе, где-то далеко сливающийся с горизонтом, точно в зареве огромного пожара, — все это купалось в кроваво-красных лучах уходящего солнца, а окна села и церкви горели алмазами.

Вместе со мной обернулись буфетчик и Леонтий и также вскрикнули:

— Д-д-а-а-а!

Несколько минут молча любовались величавой картиной.

Лошадь пошла шагом.

Леонтий опустил вожжи, повернул к нам лицо и с грустью произнес:

— Вот таки красивы деревни с белыми хатками у нас, на Украине.

— Как у нас, на Украине? — вскричали мы с буфетчиком.

Обветренное бородатое лицо Леонтия покрылось густым румянцем.

— Ну... так... очень просто, — бормотал он, отвертываясь к лошади.

— Да разве ты из Украины?

— Ну... да...

— Ты же говорил, что из Томска?

— Эх, Иван Миколаич! — со вздохом вырвалось у Леонтия. — Был из Украины... был и из Томска...

— Да как же это... что же это такое?.. Об'ясни, пожалуйста!..

Буфетчик еле сдерживал хохот.

Леонтий окинул нас плутоватым взглядом.

— Уж коли взболтнул... чо поделаешь... надо рассказывать.

Он уселся к нам в полоборота и начал:

— Да, Иван Миколаич... я — украинец, а по-здешнему — хохол... До двадцати пяти годов жил в Украине... с детства видел много горя и потому много думал о правде... В нашей губернии было много сектантов, слыхали, може?.. Ну вот... начальство их утесняло, а меня к им тянуло!.. А когда с ими сошелся, то увидел, што неправды и промеж их хучь отбавляй... Ну, только были и таки, которы жили по-правде и нову веру искали! Стал я об этом думать. А тут и человек такой подвернулся. Пришел он откуль-то издалека и стал говорить, што, дескать, знат такую землю, в которой есь правильна вера. Конешно, в те поры я был молодой, глупый... готов хучь в огонь, хучь в воду... А он и говорит: дескать, для того, штобы до правильной-то земли дойти, надо деньги иметь... Думали мы, думали с им и додумались. Нашелся у ево в каком-то заграничном городу приятель, который ног отэлева по дешовке русски деньги доставлять... И не то, штобы какие-нибуль... а в казначействе, и то меняли. Спервоначалу-то я слушать не хотел. А как в казначейство с им сходил — согласился. Дело пошло, как по маслу. В особливости, ежели на ярманке, в базарный день... Ну только через месяц приятель мой скрылся. А меня за ево, варнака, в город отвезли, значит, на казенные харчи... А потом в железны бруслеты обрядили, в Томскую губернию доставили...

— Ха-ха-ха! — разразился буфетчик. — Ха-ха-ха!

Леонтий устремил на него недружелюбно-вопросительный взгляд.

— Чо хохочешь?

— Да как же... ха-ха-ха! Значит, и тут безвинно! Ха-ха-ха! Из-за варнака! Ха-ха-ха!..

Леонтий сердито задергал коня и крикнул в сторону буфетчика.

— Чо ты глотку-то дерешь?

— Нет... ха-ха-ха! Как вам нравится... ха-ха-ха! — покатывался буфетчик. — Сначала безвинно из Украины в Томскую губернию, а потом из Томска безвинно в каторжные работы! И все за фальшивые деньги! Ха-ха-ха!

— Эх ты! — с презрением заговорил Леонтий. — Ты мне вот сюда загляни!— он указал рукой на грудь, — тогда и смейся! Я тебе душу открыл, а ты ржешь, как жеребец.

Буфетчик притих.

— Что ты, Леонтий... я ведь шутя...

— Шутя!.. Челдон ты бесчувственный!..

Наступило неловкое молчание.

— Сколько лет ты прожил здесь? — спросил я Леонтия. — Теперь тебя не отличишь от природного сибиряка... И украинского в тебе, пожалуй, ничего не осталось...

— Да, Иван Миколаич... Был и я порядошным человеком!.. И звали даже меня не так... Был я Левко, а тут стал Левонтий... И фамилия была не така... Там я писался Шевченко, а здесь спервоначалу звали Савченко, потом Сапшенко, а потом — просто Сапшенков...

Он плюнул и выругался:

— Тьфу, язви их... челдоны желторотые! Все исковеркали...

— Да, переделали остроумно! — сказал буфетчик.

Леонтий ворчал:

— Куда лучче! Только челдоны-варнаки и могут так испакостить человека!

— Ха-ха-ха! — снова залился буфетчик. — Ну, Леонтий! Ну, праведник, попорченный Сибирью! Ха-ха-ха!

Я ожидал, что Леонтий снова разразится гневной руганью, но вместо того он кинул в сторону буфетчика плутоватый взгляд и умолк.

**
*

Через неделю после нашей поездки все наше село было взволновано чрезвычайным происшествием.

В одну из темных ночей неизвестные люди возили к реке на пяти телегах какие-то машины и ящики; все это они грузили на лодки, увозили куда-то на острова и там топили. Один из участников таинственной экспедиции по росту и фигуре очень смахивал на Леонтия, но был, как говорят, без бороды и без усов. А вечером в тот же день в село нагрянули жандармы для розыска фабрики фальшивых бумажных денег, во множестве появившихся в губернии и расходившихся, как после рассказывали, по сельским базарам и ярмаркам. Но фабрика, повидимому, покоилась уже на дне одного из многочисленных рукавов реки. Неизвестные же владельцы ее, заблаговременно кем-то предупрежденные, бесследно исчезли.

Вместе с ними из села скрылись становой пристав и Леонтий-праведник.

М. Жижка

„Путешествие" от Петербурга до Илимского острога

«Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет».

Лесков.

Восемнадцатого сентября 1790 года «Русского Мирабо»[1], закованного в кандалы и одетого в «гнусный наглый тулуп, взятый у тюремного сторожа», отправили в Сибирь. Позади оставались родные, друзья и четверо детей — все любимое и дорогое; впереди — длинный и мучительный путь на перекладных, в соседстве с фельдъегерем; лишение, нужда и неизвестная будущность. За литературное путешествие «из Петербурга в Москву» Радищев проделал действительное и вынужденное путешествие от Петербурга до Илимского острога.

. . . . . .

Что представляет собой Илимск в экономическом и культурно-бытовом отношении?

Во времена воевод это был город-острог, обнесенный высокими стенами, с башнями и бойницами, куда прятались и откуда защищались царские власти от часто восстававших тунгусов. Ко времени пребывания там Радищева от всего острога осталось лишь несколько полуразрушенных башен. Расположенный в районе вечной мерзлоты, Илимск имеет суровый климат и природу бедную деревьями и не имеет удобных для хлебопашества равнин. Находясь в центре сообщающихся рек — Ангары и Лены, он является удобным пристанищем для торговых караванов, следующих из Якутска в Иркутск.

«Во всем Илимске 45 дворов, в котором я живу является 46. Вместе с церковью и правлением эти дома составляют средину поселка. Кроме этих 45 домов еще находится приблизительно 15 пустых и необитаемых 3 на противоположном берегу реки.

Население состоит из мещан, казаков и крестьян и не превосходит 250 душ обоего пола. Мещане имеют во главе ратушу, которая состоит из бургомистра. Казаки имеют сотника. Кроме того, здесь есть купец, который является служащим финансовой камеры для водки, здесь годичный имеется склад приблизительно в 1000 ведер, которые продаются вдоль Илимска; на расстоянии приблизительно от 400 до 500 верст население более 4000 душ обоего пола»[2].

---

[1] На манускрипте «Путешествия», который в знак дружеской благодарности Радищев преподнес Державину, последний написал такой стих:

Езда твоя в Москву со истиною сходна;
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна:
Я слышу на коней ямщик кричит вирь, вирь!
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.

[2] Из письма (на французском языке) от 3 июня 1795 г.

«Здесь мало ремесленников... нет ни сапожника, ни портного, ни свечника, ни слесаря». В этом же письме Радищев жалеет, что в смысле ремесел он невежда, «но, — продолжает он, — если ваше превосходительство захочет помочь несколькими книгами этого рода, то мое дело будет в шляпе»[1].

Главное занятие немногочисленного населения — это охота на белку, после окончания которой все находятся в бездействии, «прерываемом обильным возлиянием Бахусу».

Итак, пять-шесть чиновников да местный поп — вот и все «культурное» общество, с которым у Радищева не только не было положительно никаких общих интересов, но, пользуясь его положением ссыльного, они его всячески притесняли.

Мрачные предчувствия, переживаемые при от'езде из Иркутска, не обманули Радищева. Местное начальство все время домогалось от него подарков, угощения и взяток; эти «отбросы общества» полагали, что он сослан за взятки, считали его обладателем 40 000 рублей и говорили ему, «чтобы он открывал кубышку».

Когда домогательства становились невмоготу, Радищев снаряжал свою жену в Иркутск и просил покровительства иркутского генерал-губернатора.

По его распоряжению, в Илимске Радищеву выстроили новый дом, в котором были все необходимые удобства. Здесь он сам сделал печь для плавки руды и перегонный куб для химических опытов, у него гнали водку, спирт и купоросное масло. Кроме того, он занимался деланием и обжиганием горшков.

Для облегчения своего существования он обзавелся необходимыми для содержания семьи животными. Опыты по садоводству и огородничеству не удавались. Суровый климат был тому причиною, но для содержания скота и показания примера в земледелии окружающему населению Радищев собирался выкорчевать участок леса.

Чем же занимался этот неугомонный и деятельный «Подвизатель Французской революции в России» в Илимском остроге? Когда идеологи английской и французской буржуазии за свои литературные выступления попадали в Тоуэр или Бастилию, то они меньше всего были склонны заниматься религиозно-философскими вопросами. Интересы политической борьбы толкали их ум и фантазию на воинственное боевое творчество, где каждая строчка была проникнута революционным духом восходящего класса и звала возбужденные массы на борьбу со старым порядком.

Самые острые и ядовитые политические памфлеты Лильберна, Мильтона, Д. Дефо, Вольтера и Дидро были написаны ими в политических тюрьмах; правительственные запрещения и поповские заклинания были не в силах подавить идеи, ставшие «достоянием широких масс».

Совсем не то было в России.

Бодрые призывные памфлеты было писать не к кому. Сложившаяся обстановка больше располагала к религиозно-философским и научным занятиям.

В Илимском остроге Радищев развивает большую научно-исследовательскую и литературную деятельность. Здесь он написал философский трактат «О человеке, его смерти и бессмертии», экономическую работу «Письмо о китайском торге», «Очерк о приобретении Сибири» и все время вел переписку с графом Воронцовым.

В Илимском остроге Радищев занят литературными работами, чтением, научными прогулками, геологическими раскопками, собиранием трав, изучением климата, врачеванием и ремеслами. Он внимательно следит за жизнью России; дает отзывы о прочитанных книгах и журналах, следит за событиями Великой французской революции, с похвалой отзывается о Кондорсэ, пишет философский трактат, в котором разбирает сложнейшие философские проблемы, вместе с тем крепко стоит на земле и жадными глазами всматривается в окружающую его действительность.

Всматриваясь пристально в разнообразные окружающие его богатства, он высказывает необычайно талантливую и неосуществимую для того времени идею экономического районирования Сибири: «Перед глазами моими, — пишет он Воронцову, — прибита генеральная карта России, в коей Сибирь занимает почти три четверти. Хорошо, конечно, знать политическое разделение государства, но научней было бы сделать новое географическое разделение России, следуя в том чертам природою между народами назначенными. Если бы Сибирь была разделена на округи, естественностью обозначенные, то тогда бы из двух губерний вышла бы иногда

[1] Из письма (на франц. языке) от 6 февраля 1792 г.

одна, а из одной пять или шесть... «но будучи убежден, что не только осуществление этого плана не под силу самодержавию, но даже составление карты, — добавляет он иронически, — не исправников искусство, нужны головы и глаза Палласа, Георги, Лепехина, да без очков»...[1]

По заданию председателя коммерц-коллегии и титулованного промышленника Воронцова, Радищев проделывает длинные экскурсии в окрестности Илимска, путешествует на реку Тунгуску; разыскивает руду и плавит в собственной печи. «Ваше превосходительство, — пишет он, — право, когда говорит, что наша страна должна быть обильна копями... Я уже имел честь писать Вашему превосходительству, что относительно этого (т. е. наличия медных копей) может быть жители, которые живут близко от них и которые их знают, сохраняют глубокое молчание и мои поиски остались безрезультатными. Я надеюсь возобновить попытку и как только достану несколько кусков из копи, то произведу опыты с помощью моей печи. В ожидании, что я смогу делать кое-что лучшее, я произвожу опыты над слюдой и глиной»[2].

Радищев усиленно и настойчиво ищет железную и серебряную руду; между тем, хитрые сибиряки упорно скрывают от него место нахождения копей.

Всматриваясь пристальней в повседневную жизнь жителей Сибири, он метко характеризует рутинность, косность, «идиотизм деревенской жизни».

«Во-первых, житель этой страны любит хитрость и обманывает насколько возможно даже тогда, когда его хорошо понятый интерес должен был бы заставить его любить правду... Во-вторых, что он удаляет от себя всякую новость, всякое соседство. Первое ему кажется тягостным, другое неудобным; счастливый в своей берлоге, он не любит вторжения общества... ведя изолированный образ жизни, он показывается среди ему подобных только для того, чтобы оглушить себя винными парами... Неограниченный хозяин своего скота и своих детей... он желал бы жить и умереть неизвестным...»[3].

Но отрицательные стороны характера сибирских крестьян, скотоводов и звероловов не затмевают в глазах Радищева их угнетенного и нищенского состояния, причиной которого является эксплоатация крестьян скупщиками. В «Письме о китайском торге» он говорит, что «все сибирские крестьяне, за исключением барабинских посельщиков, живут лучше и изобильнее помещичьих крестьян (центральной России), едят мясо, а в пост рыбу. Но из этого не следует, чтобы они жили в изобилии. Один из 100 или 200 живет не в долг, другие все наемники и работают на давших им задатки. Всю свою добычу запродают заранее, а корыстолюбивые и немилосердные торговцы пользуются трудами и ими обогащаются».

Совершенно очевидно, что симпатии Радищева попрежнему на стороне угнетенных, а не угнетателей.

В напряженном и разнообразном труде Радищев находил временное успокоение и «приближался, — как он говорит, — к духовному и физическому равновесию».

По своему любознательному характеру, настойчивости в выполнении намеченной цели и редкой смелости, Радищев является прирожденным и бесстрашным путешественником, но, согласно царского указа, он должен был сидеть на одном месте, а за его поведением следили два унтер-офицера. В своих письмах он просит Воронцова добиться для него разрешения отлучаться от места ссылки для изучения Сибири и пишет ему: «с самых ранних лет я чувствовал сильную страсть делать далекие путешествия и давно уже имел охоту знать Сибирь — мое желание исполнилось, хотя можно сказать, очень жестоко. Чтение описаний великих явлений природы меня восхищало всегда. Читая отчеты путешественников о Неаполе и Сицилии, я взбирался вместе с ними на Везувий и Этну. Мое сердце сжималось при рассказе о несчастьях Калабрии, но втайне я желал чувствовать себя на движущейся почве... Но если бы в другое время — я бы весело расстался с родными, детьми и знакомыми, чтобы странствовать с риском для жизни по далекой стране и видеть извержение вулкана, то в настоящее время я предпочел бы провести часок в обществе, которое для меня дорого, оставив всевозможные вулканы, не удостоив их даже взглядом»[4].

---

[1] Из письма (на франц. яз.) от 17 февраля 1792 г.
[2] Из письма (на франц. яз.) от 9 июня 1796 г.
[3] Из письма (на франц. яз.) от 13 июля 1793 г.
[4] Из письма (на франц. яз.) от июня 1794 г.

Но все же бывают моменты, когда тоска по родине, детям и друзьям, незаслуженные обиды, повседневная нужда, придирки местного начальства и неопределенное состояние в будущем — выводят Радищева из терпения. Тогда он бросает химические опыты... берет перо и начинает изливать слезы «досады, боли и бешенства... Ах, сколько мотивов для этого!» — восклицает он. В ответ на его жалобы сиятельный граф просит его не «печалиться», «набраться терпения и покаяться». «Побуждая меня к терпению и покорности, Ваше превосходительство в последнем из ваших писем увещевает меня раскаяться в том, что я сделал, прибавляя при этом, что искренне и хорошо заметное раскаяние могло бы способствовать смягчению моего настоящего положения... Ах, — говорит он с досадой, — нужны ли еще унижения! Эти оковы, если они не затронули еще души, не запятнали сердца, разве они не достаточны (убедительны) для толпы... Нужны ли поручения, что я не впаду вновь в ту же ошибку?»[1].

...Пятилетнее пребывание Радищева в Сибири не изменило его политических убеждений, а только загнало их во внутрь; при первом удобном случае они опять всплывут на поверхность общественной жизни. Вот почему он не мог дать Воронцову никаких гарантий в том, что он «вновь не впадет в ту же ошибку». Свои убеждения он не считал ошибкой и не намерен был от них отказываться.

Не находя достойного практического применения своим богатым духовным силам, Радищев погружался в литературную работу и не терял надежды на освобождение.

Большой запас знаний и житейская практика, порядочная библиотека давали ему возможность работать над экономическими и философскими вопросами.

Омулевский (И. В. Федоров)

*
**

Если ты странствуешь, путник,
С целью благой и высокой,
То посети между прочим
Край мой далекий...

Там, сквозь снега и морозы,
Носятся мощные звуки;
Встретишь людей там, что терпят
Муки за муки...

Нет там пустых истуканов,
Вздохов изнеженной груди...
Там только люди да цепи,
Цепи да люди!

*
**

На дальней родине моей
Обычный звук был звук цепей,
Он рано в душу мне проник
И с детства в ней будить привык
Тоску по участи людей.

Не помню я такого дня,
Чтоб не звучал он для меня;
Не знал ночей таких, чтоб мне
Он не пригрезился во сне,
Все также явственно звеня.

Я ощущаю и поднесь
В ушах болезненную резь,
Когда доходит звук такой
До них, хоть издали, порой,
И часто вздрагиваю весь.

И я молю, чтоб этот звук,
Глухой, как в крышку гроба стук,
Бесследно замер поскорей
Для бедной родины моей —
Страны изгнания и мук...

---

[1] Из письма (на франц. яз.) от 6 февраля 1792 г.

А. С. Пушкин

В Сибирь

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

А. И. Одоевский

А. С. Пушкину

В ответ на его послание в Сибирь

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард, — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет, —
Из искры возгорится пламя, —
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы:
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы.

Ю. Тынянов

Кюхля

I

Из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, из Шлиссельбурга в Динабург, из Динабурга в Ревельскую цитадель, из Ревельской в Свеаборгскую.

Узник седеет, горбится, зрение его слабеет, здоровье начинает изменять.

И все-таки он молод; время для него остановилось. Он читает старые журналы, он пишет статьи, в которых сражается с литераторами, давно позабытыми, и хвалит начинающего поэта, который уже давно кончил. Время для него остановилось. Он может умереть от болезни, может ослепнуть, но умрет молодым. Все те же друзья перед ним, молодые, сильные. Все тот же Дельвиг в его глазах, ленивый и лукавый, все тот же быстро смеющийся Пушкин и та же веселая, легкая и чистая, как морской воздух, Дуня.

Он не знает, что Дельвиг постарел и обрюзг, запирается по неделям в своем кабинете, сидит там нечесаный и небритый и улыбается бессмысленно; что в тот миг, когда узник вспоминает беспечного поэта, — поэт этот встает, кряхтя, с кресла, идет к шкапчику, достает оттуда вино и трясущимися руками наливает стаканчик, говоря при этом старое свое словцо:

«Забавно».

И только когда приходит краткая весть, что умер Дельвиг, узник плачет и начинает понимать, что время за стенами крепости бежит и что молодости больше нет. Но в мыслях своих он хоронит молодого Дельвига, а не того обрюзгшего и бледного поэта, который на самом деле умер.

И узник попрежнему хочет свободы, но он вовсе не боится того, что за стенами крепости время бежит безостановочно и что, как только он переступит крепостной порог, все изменится.

Наступает, наконец, этот день, и узник получает свободу — жить в Сибири.

Начинаются последние странствования Кюхли: Баргузин, Акша, Курган, Тобольск.

**
*

Он приезжает в Баргузин. В глазах у него еще стены, глазок, плацформа, по которой он гулял, какие-то обрывки человеческих лиц и голосов. Он с усилием всматривается в бревенчатые домишки баргузинские. Идет, поскрипывая по снегу и качаясь под тяжестью коромысла, румяная баба — к речке, колотить белье. Стоит пузатый лавочник на крыльце, смотрит вслед Вильгельму, заслонясь от солнца рукой. Какой-то чиновник, по форме почтмейстер, кажется, едет в розвальнях, а встречный мужик низко ему кланяется. Удивительный город, маленький, разбросанный, приземистый, будто не дома, а серые игрушки.

Вильгельм рад. Нет стен, это самое главное. Ноги слабы от тюрьмы и от дороги. Это пройдет. Запахнувшись в шубу, он ждет с нетерпением, когда уж ямщик с зачинцевелой бородой подвезет его к избе брата. Миша живет в Баргузине, на поселении. Ссыльным селиться в городе не позволяется, они живут за городом.

Ямщик остановился у небольшой избы. Из трубы идет вверх столбом дым — к морозу.

У избы стоит высокий, сухой человек в нагольном тулупе и сгребает снег. Лицо у него изможденное и суровое. Борода с проседью. Он смотрит недоброжелательно на Вильгельма из-за металлических очков, потом вдруг роняет лопату и говорит растерянно:

— Вильгельм? — Высокий человек — Миша.

— Эх, борода у тебя седая, — говорит Миша, и в холодных глазах стоят слезы. Миша ведет брата в избу.

— Садись, чай пить будем. Слава богу, что приехал, сейчас жена придет.

Миша ни о чем брата не расспрашивает и только смотрит долго. Входит в избу женщина в темном платье, повязанная платком. Лицо у нее простое, русское, некрасивое; глаза добрые.

— Жена, — говорит Миша, — брат приехал.

Мишина жена неловко кланяется Вильгельму, Вильгельм обнимает ее, тоже неловко.

— А дочка где? — спрашивает Миша.

— У соседей, Михаил Карлович, — говорит жена певучим голосом, хватает с полки самовар и уносит в сени.

— Добрая баба, — говорит Миша просто и прибавляет: — в нашем положении жениться глупо. Дочки у меня хорошие.

У Вильгельма странное чувство. Брат чужой. Строгий, деловой, неразговорчивый. Встреча выходит не такой, о которой мечтал Вильгельм.

— Ты у меня отдохнешь, — говорит Миша, нежно глядя на брата. — Поживем вместе. После осмотришься, избенку тебе сложим, я уже и место присмотрел.

Входит в дверь какой-то поселенец.

— Ваше благородие, Михаил Карлыч, — говорит он и мнет в руках картуз, — уважаю вас очень, зашел к вам постырить.

— Какое дело? — спрашивает Миша, не приглашая поселенца садиться.

— Недужаю очень.

— Так ты в больницу иди, — говорит Миша сухо, — приду, тогда потолкуем.

Поселенец мнется.

— Да и финаг, ваша милость, хотел у вас занять.

— Нету, — говорит Миша спокойно. — Ни копейки нету.

Вильгельм достает кошелек и подает поселенцу ассигнацию.

Тот удивленно хватает ее, благодарит, бормочет что-то и убегает.

Миша укоряет брата:

— Что же ты приучаешь их, начнут к тебе каждый день бегать.

***

Весной Вильгельм начинает складывать из бревен избу. И что-то странное начинает твориться с ним. Он думал, что увидит брата и Пущина и к нему приедет Дуня. Это представлялось самым главным в будущей жизни. А в этой жизни оказывается самым главным другое: мелочная лавка, которая перестает отпускать в долг, танцовальные вечера у почтмейстера, картеж по небольшой и вонькие омули. Он больше не думает о Дуне. С ужасом он убеждается, что здесь какой-то провал, и не может об'яснить, в чем дело. В крепости образ Дуни был отчетлив и ясен, в Сибири он тает. Почему? Вильгельм не понимает и теряется.

Жизнь идет, — баргузинская, дешевая. На вечерах у почтмейстера Артенова бывают важные люди: лавочник Малых, купец Лишкин, лекарь. С женами. Весело с седыми волосами прыгать польку под разбитый звук клавесина прошлого столетия, неизвестно как попавшего в Баргузин. Весело вертеться с дочкой почтмейстера, толстенькой Дронюшкой. У нее калмыцкий профиль, она пищит, веселая и румяная. Вильгельму с ней смешно.

Письмо Дуни

«Дорогой мой друг.

Поговорим спокойно и, простите меня, немного грустно обо всем, что нам с вами сейчас важно. Ваши последние письма меня чем-то поразили, милый, бедный Вилли. Вы меня простите от души, — я в них не вижу вас. Ваши крепостные письма были совсем другие. Я догадываюсь: не нужно скрывать от себя, вы отвыкли от меня, от мысли обо мне. Что делать, молодость прошла, ваша теперешняя жизнь и мелочные заботы, верно, не легче для вас, дорогой друг, чем жизнь в крепости. Я не сетую на вас. Решаюсь сказать вам откровенно, мой милый и бедный, — я решилась не ехать к вам. Сердце стареет. Целую ваши старые письма, люблю память о вас и ваш портрет, где вы молоды и улыбаетесь. Нам, ведь, уже сорок стукнуло. Я целую вас последний раз, дорогой друг, долго, долго. Я больше не буду писать к вам — к чему?».

Вильгельм становится странно рассеян, забывчив, легко увлекается.

И в январе 1837 года у почтмейстера Артенова веселье, бал, кавалеры, потные и красные, вполпьяна, танцуют, гремят каблуками, сам почтмейстер надел новый мундир и нафабрил усы. Дронюшка нашла себе жениха, выходит замуж за Вильгельма Карловича Кюхельбекера.

Вильгельм весел, пьян. Его поздравляют, а два канцеляриста пытаются качать. В углу поблескивает металлическими очками Миша.

Вильгельм подходит к брату и с минуту молча на него смотрит.

— Ну, что, Миша, брат?

Миша говорит просто:

— Ничего, как-нибудь проживем.

Через месяц после свадьбы Вильгельм узнает, что какой-то гвардеец убил на дуэли Пушкина.

Нет друзей. В могиле Рылеев, в могиле Грибоедов, в могиле Дельвиг, Пушкин.

Время, которое радостно шагало по Петровской площади и стояло в крепости, бежит маленькими шажками.

***

Вильгельм заметался.

Та самая тоска, которая гнала Грибоедова в Персию, а его кружила по Европе и Кавказу, завертела теперь его по Сибири.

Он стал просить о переводе в Акшу. Акша — маленькая крепостца на границе Китая. Живут там китайцы, русские промышленники, живут бедно, в фанзах, домишках. Климат там суровый; Нерчинский край.

У Вильгельма была уже семья, крикливая, шумная, чужая. Жена ходила в затрапезе, дети росли.

В Акше не долго прожили.

Раз Дросида Ивановна, смотря со злобой на бледное лицо Вильгельма, сказала:

— Ни полушки нет. Хоть бы удавиться, господи. С китайцами жить, в обносках ходить. Проси, чтобы перевели куда. Нет здесь житья.

И Вильгельм запросил перевода в Курган, Тобольской губернии. В самый Курган его жить не пустили, а разрешили поселиться в Смоленской слободе, за городом. Проезжая Ялуторовск, заехал он к Пущину. У Jeannot были висячие усы, мохнатые нависшие брови. При встрече они поплакали и посмеялись, но через день заметили, что отвыкли друг от друга. Пробыл он у Пущина три дня. После его отъезда Пущин писал Егору Антоновичу Энгельгарду, дряхлому старику, переживавшему одного за другим всех своих питомцев:

«21-го марта. Три дня прогостил у меня Вильгельм. Проехал на житье в Курган со своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, только с проседью на голове. Зачитал меня стихами до-нельзя; по правилу гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, это новая задача провидения — устроить счастье существ, соединившихся без всякой данной на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дроюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы показывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаза лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже нервические припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества, а между тем баба беснуется на просторе; он же говорит: «ты видишь, как она раздражительна». Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем. Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко мне; но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противное. Если бы вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день об'явления сентенции, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря, что он тогда был на сцене довольно трагической и довольно важной. Может быть, некоторые анекдоты до вас дошли стороной. Он хотел к вам писать с нового места жительства. Прочел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило; он, бедный, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепостях и в Сибири. Не знаю, каково будет теперь в Кургане».

**
*

Годы в Кургане.

Ну, что ж? Наступал конец.

Правый глаз его наполовину покрылся бельмом, он видел смутно, издали различал только цвета; левое веко все тяжелело и опускалось. Вильгельм, когда хотел пристально всмотреться во что-нибудь, должен был пальцем приподымать веко. Из Петербурга никто не писал. Мать умерла. Его забыли.

Дело было ясное, — жизнь кончилась. Он уже только для приличия перед самим собой ходил на огород, который стоил ему столько трудов, — и, правда, ему все труднее стало нагибаться, — болела спина, и плечи гнули к земле. Потом он махнул рукой на огород. Дросида Ивановна возилась, покрикивала на ребятишек, судачила с соседками. Он и на это махнул рукой. Все было ясно: ни к чему была женитьба, ни к чему эта чужая женщина, которая ходит в калошах, зевает под вечер и крестит рот рукой; ни к чему земля, огород, с которым он не мог справиться. Оставались его стихи, его драма, которая могла бы честь составить и европейскому театру, его переводы из Шекспира и Гете, которого он первым четверть века назад ввел в литературу русскую. Что же, — читать их дьячкову сыну, робкому юноше, который благоговел перед Вильгельмом, но кажется мало понимал? — играть по маленькой с Щепиным-Ростовским, тем самым, что когда-то вел московцев на Петровскую площадь, а теперь обрюзг, опустился и попивает?

Нет, довольно.

А однажды Вильгельм, приподнимая левое веко, перечитывал, вернее, вглядывался и наизусть читал рукописи из своего сундука, — он сотый раз читал драму, которая ставила его в ряд с писателями европейскими, — Байроном и Гете. И вдруг что-то новое кольнуло его: драма ему показалась неуклюжей, стих вялым до край-

ности, сравнения были натянуты. Он вскочил в ужасе. Последнее рушилось. Или он впрямь был Тредьяковским нового времени и недаром смеялись над ним допрежде все литературные наездники?

С этого дня начались настоящие мучения Вильгельма. Крадучись, подходил он с утра к сундуку, рылся, разбирая тетради, листы и вглядывался, читал. Кончал он свое чтение, когда перед глазами плыла вместо листов рябь с крапинками. Потом он сидел подолгу, ни о чем не думая. Дросида Ивановна к нему приставала:

— Что это ты, батюшка, извести себя захотел?

Она заботилась о нем, но голос у нее был крикливый и Вильгельм отмахивался рукой.

— Ты ручкой-то не махай, — тянула Дросида Ивановна, нето обиженно, нето угрожая.

Тогда Вильгельм молча уходил, — к Щепину или, может быть, просто за околицу.

Дросида Ивановна отступилась.

А потом он как-то сразу бросил свои рукописи. Закрыл сундук и больше не глядел на него.

Раз Вильгельм засиделся у Щепина. Они вспоминали молодость. Щепин говорил о Саше, об Александре и Мише Бестужевых, Вильгельм вспоминал Пушкина. Они говорили долго, бессвязно, пили вино в память товарищей, обнимались. Когда Вильгельм возвращался домой, его прохватило свежим ветром. Тотчас он почувствовал, как ноги его заныли, а сердце застучало.

— Дедушко, — окликнул его мальчик, который проезжал мимо на телеге.

Вильгельм посмотрел на него и ничего не ответил.

— Садись, дедушко, — сказал мальчик, — довезу тебя до дому. Я панфиловский.

Панфилов был крестьянин-сосед. Вильгельм сел. Он закрыл глаза. Его трясла лихорадка. «Дедушко», — подумал он и улыбнулся. Мальчик подвез его до дому. И дома Вильгельм почувствовал, что приходит конец. Высокий, сгорбленный, с острой седой бородой, он шагал по своей комнате, как зверь по логову. Что-то еще нужно было решить, с чем-то расчесться, — может быть, устроить детей? Он сам хорошенько не знал. Надо было кончить какие-то счеты. Он соображал и делал жесты руками. Потом он остановился и прислонился к железной печке. Ноги его не держали. Ах, да, письма. Нужно написать письма, сейчас же. Он сел писать письмо Устиньке: с трудом, припадая головой, разбрызгивая чернила и скрипя пером, он написал ей, что благословляет ее. Больше не хотелось. Он подписался. Потом почувствовал, что писем ему писать вовсе не хочется, и с удивлением отметил, что не к кому.

Назавтра он хотел подняться с постели и не смог. Дросида Ивановна встревоженно на него посмотрела и побежала к Щепину.

Щепин пришел, красный, обрюзгший, накричал на Вильгельма, что тот не хлопочет о переводе в Тобольск, сказал, что на-днях приедет в Курган губернатор, и сел писать прошение. Вильгельм равнодушно его подписал.

И, правда, дня через два губернатор приехал. Докладную записку о поселенце Кюхельбекере губернатор представил генерал-губернатору. Генерал-губернатор написал, что не встречает со своей стороны никаких препятствий о переводе больного в Тобольск, и представил записку графу Орлову. Граф Орлов не нашел возможным без предварительного освидетельствования разрешить поселенцу пребывание в Тобольске, а потому просил генерал-губернатора, по медицинском освидетельствовании больного, уведомить его о своем заключении.

Вильгельм относился к ходу прошения довольно равнодушно. Он лежал в постели, беседовал с друзьями. Часто он звал к себе детей, разговаривал с ними, гладил их по головам. Он заметно слабел.

13 марта 1846 года он получил разрешение ехать в Тобольск, а на следующий день приехал в Курган Пущин. Увидев Вильгельма, он сморщился, нахмурил брови, быстро моргнул глазом и сурово сказал прыгающими губами:

— Старина, старина, что с тобой, братец?

Вильгельм приподнял пальцем левое веко, вгляделся с минуту, что-то уловил в лице Пущина и улыбнулся:

— Ты постарел, Jeannot. Вечером ко мне приходи. Поговорить надо.

Вечером Вильгельм выслал Дросиду Ивановну из комнаты, услал детей и попросил Пущина запереть дверь. Он продиктовал свое завещание. Он диктовал спокойно, ровным голосом. Потом сказал Пущину:

— Подойди.

Старик наклонился над другим стариком.

— Детей не оставь, — сказал Вильгельм сурово.

— Что ты, брат, — сказал Пущин, хмурясь, — в Тобольске живо вылечишься.

Вильгельм спросил спокойно:

— Поклон передать?

— Кому? — удивился Пущин.

Вильгельм не отвечал.

«Ослабел от диктовки», — подумал Пущин, — «как в Тобольск его такого везти?»

Но Вильгельм сказал через две минуты твердо:

— Рылееву, Дельвигу, Саше.

***

Дорогу Вильгельм перенес бодро. Он как будто даже поздоровел. Когда встречались нищие, упрямо останавливал повозку, развязывал кисет и, к ужасу Дросиды Ивановны, давал им несколько медяков. У самого Тобольска попалась им толпа нищих. Впереди всех кубарем вертелся какой-то пьяный оборванный человек. Он выделывал ногами выкрутасы и кричал хриплым голосом:

— Шурьян камрад, сам прокурат, трах-тарарах-тарарах.

Завидев повозку, он подбежал, стащил скомканный картуз с головы и прохрипел:

— Подайте на пропитание мещанину князю Сергею Оболенскому. Пострадал за истину от холуев и тиранов.

Вильгельм дал ему медяк. Потом, от'ехав верст пять, он задумался. Он вспомнил розовое лицо, гусарские усики и растревожился.

— Поворачивай назад, — сказал он ямщику.

Дросида Ивановна с изумлением на него поглядела.

— Да что ты, батюшка, рехнулся? Поезжай, поезжай, — торопливо крикнула она ямщику, — чего там.

И в первый раз за время болезни Вильгельм заплакал.

В Тобольске он оправился. Стало легче груди, даже зрение как будто начало возвращаться. Вскоре он получил от Устиньки радостное письмо: Устинька хлопотала о разрешении приехать к Вильгельму. Осенью надеялась она выехать.

Вильгельм не поправился. Летом ему стало хуже.

***

Раз пошел он пройтись и вернулся домой усталый, неживой. Он лег на лавку и закрыл глаза. Слабость и тайное довольство охватило его. Делать было больше нечего, все, повидимому, уже было сделано. Оставалось лежать. Лежать было хорошо. Мешало только сердце, которое все куда-то падало вниз. Дросида Ивановна храпела в соседней боковушке.

Потом ему приснился сон.

Грибоедов сидел в зеленом архалуке, накинутом на тонкое белье, и в упор, исподлобья смотрел на Вильгельма пронзительным взглядом. Грибоедов сказал ему что-то такое, кажется, незначащее. Потом слезы брызнули у него из-под очков, и он, стесняясь, повернув голову в бок, стал снимать очки и вытирать платком слезы.

— Ну, что ты, брат, — сказал ему покровительственно Вильгельм и почувствовал радость. — Зачем, Александр, милый?

Потом ему стало больно, он проснулся, тело было пустое, сердце жала холодная рука и медленно, палец за пальцем, его высвобождала. Отсюда шла боль. Он застонал, но как-то неуверенно. Дросида Ивановна спала крепко и не слыхала его.

...Русый, курчавый извозчик вывалил его у самого моста в снег. Надо было посмотреть, не набился ли снег в пистолет, но рука почему-то не двигалась, снег набился в рот и дышать трудно... — Разговаривать вслух запрещается, — сказал полковник с висячими усами, — и плакать тоже нельзя. — Ну? — покорно удивился Вильгельм, — значит, плакать тоже нельзя? Ну что же, и не буду.

И он впал в забытье.

Так он пролежал ночь и утро до полудня. Уже давно хлопотал около него доктор, за которым помчалась с утра Дросида Ивановна, и давно сидел у постели, кусая усы, Пущин. Вильгельм открыл глаза. Он посмотрел плохим взглядом на Пущина, доктора и спросил:

— Какое сегодня число?

— Одиннадцатое, — быстро сказала Дросида Ивановна. — Полегчало, батюшка, немного?

Она была заплаканная, в новом платье.

Вильгельм пошевелил губами и снова закрыл глаза. Доктор влил ему в рот камфору, и секунду Вильгельм чувствовал неприятное чувство во рту, но сразу же опять погружался в забытье. Потом он раз проснулся от ощущения холода: положили на лоб холодный компресс. Наконец, он очнулся. Осмотрелся кругом. Окно было медное от заката. Он посмотрел на свою руку. Над самой ладонью горел тонкий синий огонек.

Он выронил огонек и понял: свечка.

В ногах стояли дети и смотрели на него с любопытством, широко раскрытыми глазами. Вильгельм их не видел. Дросида Ивановна торопливо сморкнулась, отерла глаза и наклонилась к нему:

— Дронюшка, — сказал Вильгельм с трудом и понял, что нужно скорее говорить, него не успеет, — поезжай в Петербург; — он пошевелил губами, показал пальцем на угол, где стоял сундук с рукописями и беззвучно досказал: — это продашь — там помогут — детей определить надо.

Дросида Ивановна торопливо качала головой. Вильгельм пальцем подозвал детей и положил огромную руку им на головы.

Больше он ничего не говорил.

Он слушал какой-то звук, — соловья, или, может быть, ручей. Звук тек, как вода. Он лежал у самого ручья, под веткою. Прямо над ним была курчавая голова. Она смеялась, скалила зубы и, шутя, щекотала рыжеватыми кудрями его глаза. Кудри были тонкие, холодные.

— Надо торопиться, — сказал Пушкин быстро.

— Я стараюсь, — ответил Вильгельм виновато, — видишь. Пора. Я собираюсь. Все некогда.

Сквозь разговор он услышал как бы женский плач.

— Кто это? да, — вспомнил он, — Дуня.

Пушкин поцеловал его в губы. Легкий запах камфоры почудился ему.

— Брат, — сказал он Пушкину с радостью, — брат, я стараюсь.

Кругом стояли сосели, Пущин, Дросида Ивановна с детьми.

Вильгельм выпрямился, его лицо безобразно пожелтело, голова откинулась.

Он лежал прямой, с вздернутой седой бородой, острым носом, поднятым кверху, и закатившимися глазами.

В. К. Кюхельбекер

19 октября 1836 г.

Шумит поток времен. Их темный вал
Вновь выплеснул на берег жизни нашей
Священный день, который полной чашей
В кругу друзей и я торжествовал...
Давно... Европы страх — седой Урал,
И Енисей, и степи, и Байкал
Теперь меж нами. На крылах печали
Любовью к вам несусь из темной дали —
Поминки нашей юности — и я
Их праздновать хочу. Воспоминанья!
В лучах дрожащих тихого мерцанья
Воскресните! Предстаньте мне, друзья!

Пусть созерцает вас душа моя,
Всех вас, лицея нашего семья!
Я с вами был когда-то счастлив, молод —
Вы с сердца свеете туман и холод.
Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут... Пушкин, Пушкин! это ты!
Твой образ — свет мне в мраке темноты.
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Как пил и ты, уединен, кручину.

Тогда и ты, как некогда Назон,
К родному граду простирал об'ятья;
И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон.
С седого Пейпуса, волшебный, он
Раздался, прилетел и прервал сон,
Дремоту наших мелких попечений —
И понрузил нас в волны вдохновений.
О, брат мой! много с той поры прошло,
Твой день прояснел, мой — покрылся тьмой;
Я стал знаком с торкватовой судьбой.
И что ж? опять передо мной светло:
Как сон тяжелый, горе протекло;
Мое светило из-за туч чело
Вновь подняло — гляжу в лицо природы:
Мне отданы долины, горы, воды.
О, друг! хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело.
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоел.
Что ждет меня? Обманы наш удел,
Но в эту грудь вонзилось много стрел;
Терпел я много, обливался кровью:
Что, если в осень дней столкнусь с любовью?

Аргунь

Еще одну я к тем рекам причислил,
Которых берег я, скиталец, посетил —
И там, с утратою своих сердечных сил,
Терзался и молчал, но чувствовал, но мыслил,
Разлуку верную предвидел, но любил.
Да, вот и эти дни, как призрак, пролетели!
До гроба ли ты будешь молодым,
Мучитель-сердце? Ты скажи: ужели
Всегда блуждать, стремясь к недостижимой цели,
Твоим желаниям, несытым и слепым?
Любить и мыслить... Почему ж не может
Ни мыслить, ни любить душа моя?
Какой ее злой дух без устали тревожит
И хочет, и велит, чтоб вечно тратил я?
Увы! С последним другом расставанье
Но крайней мере без пятна!
Хоть это сбережет воспоминанье
И дум и чувств моих скупая глубина.
Шуми же, о, Аргунь, мое благословенье!
Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон:
И там мне было разлученье;
Но перед тем меня прельщал безумный сон,
И чуть не умертвило пробужденье.

Н. А. Некрасов

Декабристки

Княгиня М. Н. Волконская

Морозно. Дорога бела и гладка,
Ни тучи на всем небосклоне...
Обмерзли усы, борода ямщика;
Дрожит он в своем балахоне.
Спина его, плечи и шапка в снегу,
Хрипит он, коней понукая,
И кашляют кони его на бегу,
Глубоко и трудно вздыхая...

Обычные виды: былая краса
Пустынного русского края,
Угрюмо шумят строевые леса,
Гигантские тени бросая;
Равнины покрыты алмазным ковром,
Деревни в снегу потонули,
Мелькнул на пригорке помещичий дом,
Церковные главы блеснули...

Обычные встречи: обоз без конца,
Толпа богомолок старушек,
Почтовая тройка, фигура купца
На груде перин и подушек;
Казенная фура! с десяток подвод:
Навалены ружья и ранцы.
Солдатики! Жидкой, безусый народ,
Должно быть, еще новобранцы;
Сынков провожают отцы-мужики,
Да матери, сестры и жены:
«Уводят, уводят сердечных в полки!»
Доносятся горькие стоны...

Подняв кулаки над спиной ямщика,
Неистово мчится фельдъегерь.
На самой дороге догнав русака,
Усатый помещичий егерь
Махнул через ров на проворном коне,
Добычу у псов отбивает.
Со всей своей свитой стоит в стороне
Помещик — борзых подзывает...

Обычные сцены: на станциях ад —
Ругаются, спорят, толкутся.
«Ну, трогай!» Из окон ребята глядят,
Попы у харчевни дерутся;

У кузницы бьется лошадка в станке,
Выходит весь сажей покрытый
Кузнец с раскаленной подковой в руке:
«Эй, парень, держи ей копыты!..»

В Казани я сделала первый привал,
На жестком диване уснула;
Из окон гостиницы видела бал
И, каюсь, глубоко вздохнула!
Я вспомнила: час или два с небольшим
Осталось до нового года:
«Счастливые люди! как весело им!
У них и покой, и свобода,
Танцуют, смеются!.. а мне не знавать
Веселья... я еду на муки!..»
Не надо бы мыслей таких допускать,
Да молодость, молодость, внуки!

Здесь снова пугали меня Трубецкой,
Что будто ее воротили:
«Но я не боюсь — позволенье со мной!»
Часы уже десять пробили,
Пора! я оделась. — Готов ли ямщик?
«Княгиня, вам лучше дождаться
Рассвета», — заметил смотритель старик:
«Мятель начала подыматься!»
«Ах! то ли придется еще испытать!
Поеду. Скорей, ради бога!..»

Звенит колокольчик, ни зги не видать,
Что дальше, то хуже дорога,
Поталкивать начало сильно в бока,
Какими-то едем грядами,
Не вижу я даже спины ямщика:
Бугор намело между нами.
Чуть-чуть не упала кибитка моя,
Шарахнулась тройка и стала.
Ямщик мой заохал: «Докладывал я:
Пождать бы! дорога пропала!..»

Послала дорогу искать ямщика,
Кибитку рогожей закрыла,
Подумала: верно уж полночь близка,
Пружинку часов подавила:
Двенадцать ударило! Кончился год,
И новый успел народиться!
Откинув цыновку, гляжу я вперед —
Попрежнему вьюга крутится.
Какое ей дело до наших скорбей,
До нашего нового года?
И я равнодушна к тревоге твоей
И к стонам твоим, непогода!
Своя у меня роковая тоска
И с ней я борюсь одиноко...

Поздравила я моего ямщика.
«Зимовка тут есть недалеко», —
Сказал он: «рассвета дождемся мы в ней!»
Под'ехали мы, разбудили
Каких-то убогих лесных сторожей,
Их дымную печь затопили.
Рассказывал ужасы житель лесной,
Да я его сказки забыла...
Согрелись мы чаем. Пора на покой!
Мятель все ужаснее выла.
Лесник покрестился, почник погасил
И с помощью пасынка Феди
Огромных два камня к дверям привалил.
— Зачем? «Одолели медведи!»

Потом он улегся на голом полу,
Все скоро уснуло в сторожке,
Я думала, думала... лежа в углу
На мерзлой и жесткой рогожке...
Сначала веселые были мечты:
Я вспомнила праздники наши,
Огнями горящую залу, цветы,
Подарки, заздравные чаши,
И шумные речи, и ласки... кругом
Все милое, все дорогое —
Но где же Сергей?.. И подумав о нем,
Забыла я все остальное!

Я живо вскочила, как только ямщик
Продрогший в окно постучался.
Чуть свет на дорогу нас вывел лесник,
Но деньги принять отказался.
«Не надо, родная! Бог вас защити,
Дороги-то дальше опасны!»
Крепчали морозы, по мере пути,
И сделались скоро ужасны.
Совсем я закрыла кибитку мою.
И темно, и страшная скука.
Что делать? Стихи вспоминаю, пою, —
Когда-нибудь кончится мука!
Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет,
И путь мой заносят мятели,
А все-таки я подвигаюсь вперед!
Так ехала я три недели...

Однажды, заслышав какой-то содом,
Цыновку мою я открыла,
Взглянула: мы едем обширным селом,
Мне сразу глаза ослепило:
Пылали костры по дороге моей...
Тут были крестьяне, крестьянки,
Солдаты и целый табун лошадей...
«Здесь станция: ждут серебрянки»[1].
Сказал мой ямщик: «мы увидим ее,
Она, чай, идет недалече»...

Сибирь высылала богатство свое,
Я рада была этой встрече:
«Дождусь серебрянки! Авось что-нибудь
О муже, о наших узнаю.
При ней офицер, из Нерчинска их путь»...
В харчевне сижу, поджидаю...
Вошел молодой офицер; он курил,

[1] Обоз с серебром. (Прим. авт.).

Он мне не кивнул головою,
Он как-то надменно глядел и ходил,
И вот я сказала с тоскою:
«Вы видели верно... известны ли вам
Те... жертвы декабрьского дела...
Здоровы они? Каково-то им там?
О муже я знать бы хотела...»
Нахально ко мне повернул он лицо, —
Черты были злы и суровы, —
И, выпустив изо рта дыму кольцо,
Сказал: «несомненно здоровы,
Но я их не знаю, и знать не хочу,
Я мало ли каторжных видел!..»
Как больно мне было, родные! Молчу...
Несчастный! меня же обидел!..
Я бросила только презрительный взгляд,
С достоинством юноша вышел...
У печки тут грелся какой-то солдат,
Проклятье мое он услышал,
И доброе слово — не варварский смех —
Нашел в своем сердце солдатском:
«Здоровы!»—сказал он:—«я видел их всех,
Живут в руднике Благодатском!..»
Но тут возвратился надменный герой,
Поспешно ушла я в кибитку.
Спасибо, солдатик! спасибо, родной!
Не даром я вынесла пытку!

. . . . . .

В Иркутске проделали то же со мной,
Чем там Трубецкую терзали...
Байкал. Переправа — и холод такой,
Что слезы в глазах замерзали.
Потом я рассталась с кибиткой моей
(Пропала санная дорога).
Мне жаль ее было: я плакала в ней
И думала, думала много!
Дорога без снегу — в телеге! Сперва
Телега меня занимала,
Но вскоре потом, ни жива, ни мертва,
Я прелесть телеги узнала.
Узнала и голод на этом пути, —
К несчастию мне не сказали,
Что тут ничего невозможно найти, —
Тут почту бурята держали.
Говядину вялят на солнце они
Да греются чаем кирпичным,
И тот еще с салом! Господь сохрани
Попробовать нам, непривычным!
Зато под Нерчинском мне задали бал:
Какой-то купец тароватый
В Иркутске заметил меня, обогнал
И в честь мою праздник богатый
Устроил... Спасибо! я рада была
И вкусным пельменям, и бане...
А праздник, как мертвая, весь проспала
В гостиной его на диване...

Не знала я, что впереди меня ждет!
Я утром в Нерчинск прискакала,
Не верю глазам, — Трубецкая идет!
«Догнала тебя я, догнала!»
— Они в Благодатске! — Я бросилась к ней,
Счастливые слезы роняя...
В двенадцати только верстах мой Сергей
И Катя со мной Трубецкая!

**
*

Кто знал одиночество в дальнем пути,
Чьи спутники — горе да вьюга,
Кому провиденьем дано обрести
В пустыне негаданно друга,
Тот нашу взаимную радость поймет...
— Устала, устала я, Маша!
«Не плачь, моя бедная Катя! Спасет
Нас дружба и молодость наша!
Нас жребий один неразрывно связал,
Судьба нас равно обманула,
И тот же поток твое счастье умчал,
В котором мое потонуло.
Пойдем же мы об-руку трудным путем,
Как шли зеленеющим лугом,
И обе достойно свой крест понесем
И будем мы сильны друг другом.
Что мы потеряли? подумай, сестра!
Игрушки тщеславья... Немного!
Теперь перед нами дорога добра,
Дорога избранников бога!
Найдем мы униженных, скорбных мужей,
Но будем мы им утешеньем,
Мы кротостью нашей смягчим палачей,
Страданье осилим терпеньем.
Опорою гибнущим, слабым, больным
Мы будем в тюрьме ненавистной,
И рук не положим, пока не свершим
Обета любви бескорыстной!..
Чиста наша жертва, — мы все отдаем
Избранникам нашим и богу.
И верю я: мы невредимо пройдем
Всю трудную нашу дорогу»...

Природа устала с собой воевать —
День ясной, морозной и тихой.
Снега под Нерчинском явились опять,
В санях покатили мы лихо...
О ссыльных рассказывал русский ямщик
(Он знал их фамилии даже):
«На этих конях я возил их в рудник,
Да только в другом экипаже.
Должно быть, дорога легка им была:
Шутили, смешили друг дружку;
На завтрак ватрушку мне мать испекла,
Так я подарил им ватрушку,
Двугривенный дали — я брать не хотел:
— Возьми, паренек, пригодится»...
Болтая, он живо в село прилетел,
«Ну, барыни! где становиться?»
— Вези нас к начальнику прямо в острог.

«Эй, други, не дайте в обиду!»

Начальник был тучен и, кажется, строг;
Спросил: — по какому мы виду?
«В Иркутске читали инструкцию нам
И выслать в Нерчинск обещали...»
— Застряла, застряла, голубушка, там!
«Вот копия, нам ее дали...»
— Что копия? с ней попадешься
впросак!
«Вот царское вам позволенье!»
Не знал по-французски упрямый чудак,
Не верил нам, — смех и мученье!
— Вы видите подпись царя: Николай?
До подписи нет ему дела,
Ему из Нерчинска бумагу подай!
Поехать за ней я хотела,
Но он об'явил, что отправится сам
И к утру бумагу добудет.
— Да точно ли?.. «Честное слово! А вам
Полезнее выспаться будет!..»

И мы добрались до какой-то избы,
О завтрашнем утре мечтая;
С оконцем из слюды, низка, без трубы,
Была наша хата такая,
Что я головою касалась стены,
А в дверь упиралась ногами,
Но мелочи эти нам были смешны,
Не то уж случалося с нами.
Мы вместе! теперь бы легко я снесла
И самые трудные муки...

Проснулась я рано, а Катя спала;
Пошла по деревне от скуки:
Избушки такие ж, как наша, числом
До сотни, в овраге торчали,
А вот и кирпичный с решетками дом!
При нем часовые стояли.
— Не здесь ли преступники? «Здесь,
да ушли».
Куда? — «На работу вестимо!»
Какие-то дети меня повели...
Бежали мы все — нестерпимо
Хотелось мне мужа увидеть скорей;
Он близко! Он шел тут недавно!
— Вы видите их? — я спросила детей. —
«Да, видим! Поют они славно!
Вон дверца... гляди же! Пойдем мы теперь,
Прощай!..» Убежали ребята...

И словно под землю ведущую дверь
Увидела я — и солдата.
Сурово смотрел часовой, — наголо
В руке его сабля сверкала.
Не золото, внуки, и здесь помогло,
Хоть золото я предлагала!
Быть может, вам хочется дальше читать,
Да просится слово из груди!
Помедлим немного. Хочу я сказать

Спасибо вам, русские люди!
В дороге, в изгнанье, где я ни была,
Все трудное каторги время,
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебе пало на часть,
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали!..
Ты любишь несчастного, русский народ!
Страдания нас породнили...
«Вас в каторге самый закон не спасет!»—
На родине мне говорили;
Но добрых людей я встречала и там,
На крайней ступени паденья,
Умели по-своему выразить нам
Преступники дань уваженья;
Меня с неразлучною Катей моей
Довольной улыбкой встречали:
«Вы — ангелы наши!» За наших мужей
Уроки они исполняли.
Не раз мне украдкой давал из полы
Картофель колодник клейменый:
«Покушай! горячий, сейчас из золы!»
Хорош был картофель печеный,
Но грудь и теперь занывает с тоски,
Когда я о нем вспоминаю...
Примите мой низкий поклон, бедняки!
Спасибо вам всем посылаю!
Спасибо!.. Считали свой труд ни во что
Для нас эти люди простые,
Но горечи в чашу не подлил никто,
Никто из народа, родные!..

Рыданьям моим часовой уступил,
Как бога его я просила! —
Светильник (род факела) он засветил,
В какой-то подвал я вступила,
И долго спускалась все ниже; потом
Пошла я глухим коридором,
Уступами шел он; темно было в нем
И душно; где плесень узором
Лежала; где тихо струилась вода
И лужами книзу стекала.
Я слышала шорох: земля иногда
Комками со стен упадала;
Я видела страшные ямы в стенах;
Казалось, такие ж дороги
От них начинались. Забыла я страх,
Проворно несли меня ноги!
И вдруг я услышала крики: «Куда,
Куда вы? Убиться хотите?
Ходить не позволено дамам туда!
Вернитесь скорей! Погодите!»
Беда моя! видно, дежурный пришел.
(Его часовой так боялся),
Кричал он так грозно, так голос был зол,
Шум скорых шагов приближался...
Что делать? Я факел задула. Вперед
Впотьмах наугад побежала...

Господь, коли хочет, везде проведет!
Не знаю, как я не упала,
Как голову я не оставила там!
Судьба берегла меня. Мимо
Ужасных расселин, провалов и ям
Бог вывел меня невредимо:
Я скоро увидела свет впереди,
Там звездочка словно светилась...
И вылетел радостный крик из груди:
«Огонь!» Я крестом осенилась...
Я сбросила шубу... Бегу на огонь,
Как бог уберег во мне душу!
Попавший в трясину испуганный конь
Так рвется, завидевши сушу...

И стало, родные, светлей и светлей!
Увидела я возвышенье:
Какая-то площадь... и тени на ней...
Чу... молот! работа, движенье...
Там люди! Увидят ли только они?
Фигуры отчетливей стали...
Вот ближе, сильней замелькали огни.
Должно быть, меня увидали...
И кто-то стоявший на самом краю
Воскликнул: «Не ангел ли божий?
Смотрите, смотрите!» — Ведь мы не в раю:
Проклятая шахта похожей
На ад! — говорили другие, смеясь,
И быстро на край выбегали;
И я приближалась поспешно. Дивясь,
Недвижно они ожидали.

—Волконская!—вдруг закричал Трубецкой
(Узнала я голос). Спустили
Мне лестницу; я поднялася стрелой!
Все люди знакомые были:
Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев,
Борисовы, князь Оболенской...
Потоком сердечных, восторженных слов,
Похвал моей дерзости женской
Была я осыпана; слезы текли
По лицам их, полным участья...
Но где же Сергей мой? «За ним уж пошли,
Не умер бы только от счастья!
Кончает урок: по три пуда руды
Мы в день достаем для России,
Как видите, нас не убили труды!»
Веселые были такие,
Шутили, но я под веселостью их
Печальную повесть читала
(Мне новостью были оковы на них,
Что их закуют — я не знала)...
Известьем о Кате, о милой жене
Утешила я Трубецкого;
Все письма по счастию были при мне,
С приветом из края родного
Спешила я их передать. Между тем
Внизу офицер горячился:
«Кто лестницу принял? Куда и зачем
Смотритель работ отлучился?
Сударыня! Вспомните слово мое,
Убьетесь!.. Эй, лестницу, черти!
Живей!»... (Но никто не подставил ее)...
«Убьетесь, убьетесь до смерти!
Извольте спуститься! да что ж вы?..»
Но мы
Все вглубь уходили... Отвсюду
Бежали к нам мрачные дети тюрьмы,
Дивясь небывалому чуду.
Они пролагали мне путь впереди,
Носилки свои предлагали...
Орудья подземных работ на пути,
Провалы, бугры мы встречали.
Работа кипела под звуки оков,
Под песни — работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный.
Там с ношею узник шагал по бревну,
Невольно кричала я: «тише!»
Там новую мину вели в глубину,
Там люди карабкались выше
По шатким подпоркам... Какие труды!
Какая отвага!.. Сверкали
Местами добытые глыбы руды
И щедрую дань обещали...

Вдруг кто-то воскликнул: идет он! идет!
Окинув пространство глазами,
Я чуть не упала, рванувшись вперед —
Канава была перед нами.
«Потише, потише! Ужели затем
Вы тысячи верст пролетели, —
Сказал Трубецкой, — чтоб на горе нам всем
В канаве погибнуть — у цели?»
И за руку крепко меня он держал:
«Что б было, когда б вы упали?»
Сергей торопился, но тихо шагал.
Оковы уныло звучали.
Пред ним расступались, молчанье храня,
Рабочие люди и стража...
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И стал, обессиленный словно, вдали...
Два ссыльных его поддержали.
По бледным щекам его слезы текли,
Простертые руки дрожали...

Душе моей милого голоса звук
Мгновенно послал обновленье,
Отраду, надежду, забвение мук,
Отцовской угрозы забвенье!
И с криком: «иду!» я бежала бегом,
Рванув неожиданно руку,
По узкой доске над зияющим рвом
Навстречу призывному звуку...
«Иду!..» Посылало мне ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбежала... И душу мою

Наполнило чувство святое.
Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки.
Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О, мстительный трус и мучитель!).
Но кроток он был, как избравший его
Орудьем своим искупитель.
Он много страдал и умел он страдать!..
Невольно пред ним я склонила
Колени, — и прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

И тихого ангела бог ниспослал
В подземные копи, — в мгновенье
И говор, и грохот работ замолчал
И замерло словно движенье;
Чужие, свои — со слезами в глазах,
Взволнованы, бледны, суровы
Стояли кругом. На недвижных ногах
Не издали звука оковы,
И в воздухе поднятый молот застыл...
Все тихо — ни песен, ни речи...
Казалось, что каждый здесь с нами делил
И горечь, и счастие встречи!
Святая, святая была тишина!
Какой-то высокой печали,
Какой-то торжественной думы полна.

«Да где же вы все запропали?»
Вдруг снизу донесся неистовый крик.
Смотритель работ появился.
«Уйдите!» сказал со слезами старик:
«Нарочно я, барыня, скрылся,
Теперь уходите. Пора! Забранят!
Начальники люди крутые...»
И словно из рая спустилась я в ад...
И только... и только, родные!
По-русски меня офицер обругал,
Внизу ожидавший в тревоге,
А сверху мне муж по-французски сказал:
«Увидимся, Маша — в остроге!..»

В. Г. Короленко

Воспоминания о Чернышевском

В 1881 году судьба закинула меня в далекую Сибирь, в ту самую Якутскую область, где в это время уже находился Чернышевский. Когда я был в Иркутске, меня опять встретили здесь постоянно ходившие слухи: говорили, что Чернышевский умер и что за несколько лет до смерти он уже был сумасшедшим. Об'ясняли даже причину: могучий ум, истомленный бездеятельностью, не находил исхода. Чернышевский будто бы постоянно писал с утра до ночи, но, боясь, что рукописи (как бывало прежде) будут отобраны, сжигал их в камине. Это будто бы и стало исходной точкой помешательства еще до перевода в Якутскую область.

По приезде на место, — в слободе Амге, в 200-х верстах от Якутска, — я узнал, что слух о смерти положительно неверен, а слух о помешательстве опровергался за все время пребывания его в Забайкалье. Оказалось, что частью в слободе, где я жил, частью не в дальних расстояниях от нее находились товарищи Чернышевского по заключению. Это были «каракозовцы» (ныне все уже возвращены в Россию) или ссыльные по делу о воскресных школах, делу еще более раннему, о котором теперь почти уже исчезли самые воспоминания, как о первых наивных еще проблесках начинавшегося движения, впоследствии в семидесятые и восьмидесятые годы наводнившего Сибирь целыми отрядами политических ссыльных.

От них я узнал, что все тревожные слухи о болезни Чернышевского не имели ни малейшего основания. Будучи выслан сначала в Кадаю (на монгольской границе), а потом в Нерчинские рудники, Чернышевский жил одно время вместе с партией поляков. Двор, обнесенный деревянным частоколом с заостренными концами, внутри — деревянные домики казенной, упрощенной донельзя архитектуры, кордегардия с конвойными солдатами, полосатая будка у ворот, и из-за частокола кругом вдалеке туманные высокие горы Забайкалья, — такова обычная обстановка этих казематов. Поляки были по большей части люди простого звания, которые каждый день уходили на работы в разрез. Тогда во дворе, обнесенном частоколом, и в серых домах с решетками становилось пусто и тихо, и только в одной каморке сидел над своими книгами Чернышевский. Я встретил впоследствии одного из этих поляков. Он рассказывал мне, что все они очень уважали и любили Чернышевского. Его добродушие, постоянная серьезность и умение при случае говорить просто с простыми людьми приобрели ему общую симпатию, и они привыкли обращаться к нему за разрешением своих споров и недоразумений, которые так часты в этих тесных норах,

где люди от тоски готовы нередко с'есть друг друга, как мыши, попавшие в стеклянную банку, откуда нет выхода. И Чернышевский всегда, с необычайным терпением входил во все мелочи подобных разбирательств. До него, говорил мне этот поляк, дело доходило до того, что однажды, по общему приговору, поляки высекли одного из своих товарищей. При нем не повторялось ничего подобного.

К этому времени относится один рассказ, слышанный мною тоже от очевидца.

«Вообще, — говорил мне один интеллигентный поляк[1], тоже живший вместе с Чернышевским, — мы никогда не видели его унывающим или печальным. О причинах своей ссылки он говорить не любил. «Вероятно, они там знают, за что сослали, а я не знаю», — и затем отделывался каким-нибудь анекдотом или шуткой. Только один раз мы видели, как он заплакал. Мы сидели с ним на дворе, когда принесли письма и журналы. Чернышевский надел очки, развернул книгу, перелистывал ее, потом книга выскользнула у него из рук, он встал и быстро ушел к себе. Мы заметили у него на глазах слезы». В журнале были напечатаны известные стихи Некрасова Муравьеву (те самые, по поводу которых прислано Некрасову стихотворение: «Не может быть»). Когда я передавал этот эпизод современникам и знакомым Некрасова и Чернышевского, — они выразили основательные сомнения в точности самого рассказа или моей передачи. Помнится, что действительно стихи Некрасова Муравьеву были прочитаны на торжественном обеде, но напечатаны не были, и на вопрос поэта — Муравьев будто бы сам ответил: «Мой совет — не печатать». Я привожу этот рассказ потому, во-первых, что все-таки далеко не уверен, что, хотя бы и по какому-нибудь другому случаю, не было подобного эпизода, а, во-вторых, он до известной степени рисует настроение, которое приходилось переживать Чернышевскому в далеком Забайкалье, когда до него доходили вести о жестокостях с одной, и отступничествах с другой стороны в эти первые годы, последовавшие за его ссылкой...[2]

Не знаю — в Нерчинске, или уже по переводе в Акатуй в тюрьму, где содержался Чернышевский, стали присылать русских политических ссыльных. Таким образом, составилось целое общество, в котором были также интеллигентные поляки и даже два итальянца-гарибальдийца, участвовавшие в польском восстании, вскоре, впрочем, помилованные и высланные на родину.

Вся эта компания жила одним кружком, и только Чернышевский попрежнему держался несколько в стороне. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он удалялся сознательно от товарищей по заключению, — нет, он был знаком со всеми, а с некоторыми даже довольно дружен; но все-таки он стоял по возрасту и по интересам вне кружка, не участвуя в его интимностях, маленьких партиях, ссорах и примирениях.

Порой в общей камере устраивались чтения или рефераты. В кружке были свои поэты, политико-экономы, критики и публицисты. Чернышевский тоже слушал эти чтения, а иногда и участвовал в них очень оригинальным образом. Он приходил с толстой тетрадью, садился, раскрывал ее и читал свои повести, длинные аллегории и т. д. Чтение это продолжалось иногда два-три вечера. Один из слушателей (г. Шаганов) записал впоследствии содержание некоторых из этих произведений.

Я не стану повторять их здесь, тем более, что большая часть деталей, полученных уже мною из вторых рук, исчезли из моей памяти. Скажу только, что один из таких рассказов представлял целую повесть, с очень сложным действием, с массой приключений, отступлений научного свойства, психологическим и даже физиологическим анализом. Читал Чернышевский неторопливо, но спокойно и плавно. Каково же было удивление слушателей, когда один из них, заглянув через плечо лектора, увидел, что он самым серьезным образом смотрит в чистую тетрадь и перевертывает не записанные страницы.

Впоследствии и мой брат, хорошо знавший покойного, а отчасти и я сам, имели случай убедиться в этой удивительной способности к импровизации, которая чрезвычайно походила на чтение хорошо написанного и в совершенстве отделанного литературного рассказа. Здесь выступает также и другая черта покойного, которую

---

[1] Станислав Рыхлинский, умерший в Иркутске в 1904 г. (Прим. автора).

[2] В. Я. Богучарский в «Мире божием» (янв. 1905 г.) высказывает весьма вероятное предположение, что речь идет о другом стихотворении Некрасова, а именно о стихах в честь Комиссарова-Костромского, напечатанных в апрельской книжке «Современника» в 1866 г. (Прим. автора).

я узнал в нем при личном знакомстве: это какое-то особое добродушное лукавство, с которым он порой любил мистифицировать собеседника. Разговаривая с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку. Кроме того, он часто, развивая какую-нибудь сложную мысль, отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая все логические мостики, облегчающие слушателю возможность легко и без труда следовать за ним, и вам приходилось делать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять из виду общей связи. Но зато, если вы понимали его шутку и не теряли нити, в его добродушно-лукавых глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения.[1]

Таким я увидел его в 1889 году, незадолго до кончины, таким же рисует его и приведенный только что рассказ. С этой оговоркой я могу, пожалуй, привести и содержание самой повести, прося помнить, что мы не имеем данных для суждения, насколько мысли, в ней высказанные, следует принимать серьезно или считать простой шуткой, упражнением могучего и несколько юмористически в то время направленного ума среди казематной скуки и казематного безделья. Замечу, что заглавие повести было «Не для всех» (или «Другим нельзя»).

Действующие лица: русская девушка и два ее поклонника. Оба умны, оба хороши собой, оба влюблены в нее... У обоих есть, конечно, свои особенности ума и характера, есть и недостатки; но все это природа распределила между ними так, что черты одного дополняют черты другого. Девушка и любит их обоих. Когда порой она решается отдать предпочтение одному из искателей, то чувствует также, что другой образ ей приходится с болью отрывать от сердца, что те свойства души, которые приходится отвергнуть, тоже привлекают ее, и ей трудно от них отказаться. Тогда два друга-соперника решаются кинуть жребий, и один уступает с пути, исчезая куда-то без вести и навсегда.

Молодая женщина сильно чувствует все-таки потерю: любовь мужа не может дать ей полного успокоения. Она чахнет, и доктора советуют путешествие. На Великом океане их застает шторм. Корабль носится по волнам, без руля, с изорванными парусами, приблизительно так, как это происходит во многих романах с «захватывающей» фабулой, которые с большим юмором пародируются в этой части рассказа. Конец бури застает молодого человека и его жену погибающими в волнах вблизи неведомого острова. В последние мгновения, когда истощены все силы, — кто-то кидается к ним с острова на помощь, и они спасены.

Но тут оказывается, что спасенные от ярости стихий, — они становятся жертвами насмешливой судьбы. Их спаситель — не кто иной, как все тот же, навсегда исчезнувший друг и соперник, и вопрос возникает вновь в форме тем более трагической, что остров совершенно необитаем, и они на нем единственные жители, окруженные со всех сторон насмешливо ревущим океаном. Разыгрывается целый роман со сценами мучений, ревности и безисходного отчаяния. Наконец, когда положение обостряется до последней степени, кому-то (кажется, именно молодой женщине) приходит в голову исход из невыразимо-запутанного положения и притом исход, который если и грешит чем-нибудь, то именно излишней простотой. Зачем все эти мучения, ведущие к ненависти, к возможности убийства, к очевидной гибели всех троих, когда все дело в том, чтобы жить всем троим, то-есть... втроем. Дело так ясно... Пробуют, — и после легкой победы над некоторыми укоренившимися чувствами — все устраивается прекрасно. Наступает мир, согласие, и вместо ада на необитаемом острове водворяется рай.

Далее — опять, как в романах с приключениями, — тоска по родине, печальные взгляды на необозримую даль океана, парус на горизонте, смена надежды, отчаяние, опять надежды... Они на корабле, они в Европе.

И именно в Англии. Они считают ее страной свободы, а скрываться они не желают, так как не признают в своем необычном союзе ничего противообщественного. Оказывается, однако, что именно в Англии, этой стране традиций и семейного романа, где разврат терпится при условии пуританского соблюдения внешности и рутины, но величайшая добродетель не спасает от наказания за нарушение этой внеш-

[1] В письме ко мне, вызванном первым изданием этой книги, Герман Александрович Лопатин говорит, что «об этой привычке Чернышевского мистифицировать собеседника и защищать вначале совсем не свое мнение» ему рассказывал в Сибири А. П. Щапов. (Прим. автора).

ности, — их союз производит соблазн, начинаются соседские сплетни, общественное мнение вынуждает власти к вмешательству, и три наши героя оказываются на скамье подсудимых. Суд, публика, речи прокуроров, защиты, судей и подсудимых — все это описывается чрезвычайно подробно. В последнем слове один из подсудимых (кажется, именно, женщина) произносит блестящую речь, где отстаивает право каждого устраивать свою жизнь по указаниям своей совести. Она рассказывает о своих попытках устроить ее на основании общественного кодекса, о том, к каким результатам чуть не привели они всех троих; как их выход спас от ненависти и убийства. Присяжные их оправдывают, и они уезжают в Америку, где, среди брожения новых форм жизни, и их союз находит терпимость и законное место.

Повторяю, — я не могу сказать, была ли это простая шутка, или тут отразилась обычная черта времен «бури и натиска», когда подвергаются пересмотру все «общепринятые положения»... Во всяком случае, некоторый элемент шутки и лукавого юмора присутствовал в этом эпизоде несомненно[1].

Кроме этой повести, в записках, о которых я говорю, приводилось еще содержание шуточно-аллегорической комедии, написанной Чернышевским и даже разыгранной в каземате. Содержание этой шутки, юмор которой весь испарился уже в первой передаче, я пересказывать не берусь (теперь она уже напечатана).

**
*

Большая часть товарищей Чернышевского были разосланы на поселение ранее его. Он проводил их добрыми пожеланиями и напутствиями, а затем и сам был переведен на север, в Якутскую область, на Вилюй.

В город Вилюйск, расположенный в нескольких сотнях верст на запад от Якутска, на реке того же имени, — не высылали русских политических ссыльных. В шестидесятых годах там была выстроена особая тюрьма для польских «повстанцев». Сначала в ней поместили д-ра Дворжачека, потом поляка Иосафата Огрызко, знаменитого в свое время тем, что, занимая в Петербурге очень важный пост в министерстве финансов, он держал в своих руках вместе с тем многие нити восстания. В передовицах «Московских ведомостей» много раз имя Огрызко употреблялось, как нарицательное, для воплощения «польского коварства». Когда по манифестам, следовавшим поочередно одни за другими, очередь помилования дошла до Огрызко, который получил право свободных переездов по Сибири и занял видное место по приисковому делу, — его тюрьма осталась пустой, и туда перевели Чернышевского.

Об этом периоде его сибирской жизни известно еще менее. «Теперь встревоженная мысль летит к нему туда, на Вилюй, в холодную могилу, где он томится один, в мрачном одиночном заключении», — приблизительно так кончались записки г. Шаганова. Те самые люди, которые опровергли привезенные мной из России слухи насчет помешательства Чернышевского в Забайкалье, — повторяли эти тревожные опасения, перенося их на Вилюй. Жизнь его там, действительно, окружена была тайной, которая так редко возможна в России.

---

1 По поводу передачи этой «повести» я должен сделать существенную оговорку. Записки Шаганова я читал еще в Якутской области в 1884 году. Кроме того, я встречался и лично с Шагановым и с другими бывшими товарищами Чернышевского по каторге (Странден, Юрасов, Загибалов, Николай Васильев, поляк Станислав Рыхлинский и др.), от которых тоже слышал рассказы о совместной с ним жизни. Настоящие мои воспоминания написаны в 1889 году, т. е. спустя 4-5 лет по выезде из Якутской области. В недавнее время вышли самые записки Шаганова в издании Э. Пекарского, а также «Личные воспоминания» Николаева. В обоих изданиях излагаемое мною произведение Чернышевского называется не повестью, а драмой («Другим нельзя») и по внешнему содержанию значительно отличается от моего варианта. В том же виде, т. е. в форме драмы, оно появилось в X томе собр. соч. Ч-го. Таким образом я должен был изменить свое изложение соответственно с этими точными указаниями. Но меня останавливает то обстоятельство, что в моей памяти остались очень ясно не только общая идея, но и некоторые детали «повести». Особенно отчетливо я помню указание на жизнь в Англии, на суд и защитительную речь... Эти подробности не могли очевидно попасть в мое изложение случайно, как простые неточности памяти. Нельзя и допустить, что были два варианта. Чернышевский мог сначала кому-нибудь ч и т а т ь ненаписанную п о в е с т ь, которую затем написал уже в форме д р а м ы. В надежде содействовать раз'яснению этого вопроса и отсылая интересующегося читателя к указанным печатным источникам, я решил все-таки оставить и свой вариант, отмечая связанные с ним сомнения. В. К.

Однажды к нам в слободу приехал новый писарь. Скромный, отягченный многочисленным семейством, и потому вынужденный иногда на некоторые сделки с совестью, он все-таки производил впечатление человека, далеко не погрязшего в тине глухих сибирских углов. Он явился к нам, познакомился и попросил книжек, предлагая, в свою очередь, пользоваться своими.

В числе последних мне попалась одна с надписью: «Такому-то от Чернышевского». Теперь я не помню уже, какая это была книга. Оказалось, что писарь служил ранее в Вилюйске и был хорошо знаком с Чернышевским. Он рассказал мне, что тюрьма Чернышевского может быть названа тюрьмой только наполовину. С ним вместе жила стража: жандармы и казаки; но у него была своя отдельная комната, и он мог выходить из нее, когда угодно. Он был знаком в городе с исправником, кое с кем из чиновников и купцов. Но выходил в гости все-таки редко и не засиживался долго. Его стесняло то обстоятельство, что жандарм должен был издали следить за ним и дожидаться, пока он выйдет, что, при редкой деликатности Чернышевского, совершенно отравляло для него всякое удовольствие этих посещений. «Что его, бедного, заставлять дожидаться... Нет, уж лучше прощайте», — говорил он и уходил в свою комнату-тюрьму.

Раз в месяц небольшой городок, похожий скорее на среднюю нашу деревню, оглашался звоном почтового колокольчика; приходила почта, привозившая Чернышевскому письма, газеты и книги. Он тотчас же разносил книги по городу, приноровляясь ко вкусам читателей. Когда его спрашивали, отчего он так мало оставляет себе, он лукаво улыбался и говорил:

— А вы не поняли: расчет! Ведь я обжора: накинусь, сразу все и поглощу. А так, по партиям, мне и хватит на целый месяц.

Он очень любил, когда у него просили книг, и охотно занимался со своими тюремщиками. Мне пришлось встретиться на Лене с молодым жандармом, который приятно поразил меня некоторыми оборотами речи и начитанностью. Оказалось, что он в течение года был приставлен к Чернышевскому и говорил мне, что охотно принял бы еще на год эту командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни.

Эти сведения вновь рассеяли мои опасения. Было очевидно, что этот человек удивительно владеет собой, держит себя в руках и не дает тяжелому и безжизненному отупению далекого захолустья победить свой могучий ум и здравый смысл, который всегда отличал его и прежде, служа главным орудием его в борьбе с «псевдоучеными авторитетами». Но сколько силы растрачено в этом пустом пространстве, в бесплодной борьбе с мертвым болотом! Я видел людей, которые прожили в сибирской глуши гораздо меньше Чернышевского и не в таких условиях, и на них подчас не оставалось человеческого облика. Однажды, на Оби, к пароходу, который вез новую партию ссыльных и пристал к обрыву берега, чтобы набрать дров, вышли из ближайших остяцких чумов несколько остяков и остячек с детьми. Один из этих дикарей, одетый, как и другие, в звериные шкуры, с лицом, покрытым целым слоем жира и дыма, увидев на барже «политических», заговорил с ними по-русски. Оказалось, что это тоже политический ссыльный, поселенный среди остяков. Одна из остячек, бессмысленно глядевшая на чуждых людей, была его жена, а маленькие дикари, прижимавшиеся к ней — его дети. Со слезами на глазах он прощался с незнакомыми товарищами, когда баржа тихо отчаливала от кручи, чтобы пуститься далее по широкой пустынной Оби, и в его речи слышалось, что он уже разучивается говорить по-русски.

Да, нужно было обладать могучим умом Чернышевского, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, без товарищей и друзей. Он не поддался и, насколько среда была к этому способна, подымал ее до себя. Но и ссылка взяла у него все, что могла. Отняв непосредственное общение с живыми фактами интеллектуальной жизни, она лишила сильный ум его естественной пищи, необходимой для того, чтобы итти наряду с этой жизнью. Могучим усилием он удержался на высоте прежних способностей, но только удержался и именно на той ступени, на какой его застигла ссылка. Он вернулся к нам тем, чем был в шестидесятых годах, а время, — к худу ли, к добру ли, — ушло далеко от этого места. Правда, столкновение опьяняющих надежд и каземата, борьбы за передовые реформы и допотопных порядков Сибири, — это столкновение не могло не отразиться на нем. И оно отразилось оттенком скептического юмора и некоторым недоверием к прежним «путям прогресса». Но и только. В остальном, повторяю, он не изменился.

В 1883 году весной опять пронесся у нас, в Якутской области, слух о смерти Чернышевского, но тотчас же этот слух заменился радостным известием: Чернышевского возвращают, Чернышевский в Якутске.

Действительно, Чернышевского привезли с Вилюя. Провезли с жандармами прямо к губернатору, который его угостил завтраком, и тотчас же, не дав переночевать и отдохнуть, — повезли в Россию, тщательно скрывая имя и не прописывая фамилии на станциях. Чернышевский, сначала принявший завтрак у губернатора, как любезное гостеприимство, вскоре убедился в истинном значении этой губернаторской любезности, когда ему не позволили остаться в городе для отдыха и покупок. Провожатые заехали только на несколько минут, и то, кажется, украдкой, к одному знакомому обывателю, который впоследствии, покачивая головой, говорил мне:

— Отличный, образованный господин, а, кажется, того... не совсем в порядке.

— А что?

— Да как же, помилуйте. Ну, хотел сначала остановиться у меня отдохнуть. Жандармы говорят: «Нельзя, строго наказал губернатор, чтобы отнюдь не останавливаться». Вот стали садиться в повозку, он и говорит жандарму: «Надо бы хоть к губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать». Помилуйте, на что же это похоже! Неужто губернатору его рубль нужен!

Впоследствии, когда я ехал назад, мне рассказывали курьезный эпизод, связанный с этим «секретом полишинеля», каким окружали от'езд Чернышевского из Сибири, о чем в то время известно было всей России из газет.

За несколько часов до выезда Чернышевского, по Лене из Якутска отправилась почта. Почтальон, как и все в городе, конечно, знал, что Чернышевский поедет вслед за ним, и, желая поусердствовать, предупреждал всех смотрителей. Таким образом, под'езжая к станции в лодке, небольшой отряд с важным пересыльным заставал уже на берегу готовыми новую лодку, лошадей для лямки и ямщиков в парадных (по возможности) костюмах. Это, наконец, обратило на себя внимание жандарма Машкова, расторопного служаки, с которым и мне пришлось познакомиться впоследствии, имевшего несколько преувеличенное понятие о своей миссии.

— Что за чорт, — удивился он. — Откуда вы знаете, что мы будем?

— От почтальона такого-то. Проехал с почтой и говорит: готовьтесь, Чернышевского везут.

— А, вот что! Он не обязан даже и знать-то, кого мы везем.

Машков усмотрел в усердии бедняги-почтальона разоблачение государственной тайны. Это, конечно, неудивительно. Гораздо удивительнее то, что усердный почтальон потерял место за сообщение того, что знал весь город, и за то, что он оказал жандармам действительную услугу, так как по всей Лене их ждали на берегу готовые лодки, лошади и ямщики.

. . . . . .

В заключение приведу здесь легенду, которая сложилась о Чернышевском еще при его жизни в далекой Сибири, на Лене.

Чернышевского привезли в Россию летом, а я ехал тем же путем осенью того же года.

Трудно представить себе что-либо более угрюмое, печальное и неприветное, чем приленская природа. Голые скалы, иногда каменная стена на десятки верст и наверху, над вашей головой, только лиственничный лес, да порой кресты якутских могил. И так — почти на три тысячи верст. Русское население Лены — это ямщики, поселенные здесь с давних времен правительством и живущие у государства на жаловании. Это своего рода скэлок старинных «ямов», почтовая служба для государственных целей, среди дикой природы и полудикого местного населения, среди тяжкой нужды. «Мы пеструю столбу караулим, — говорил мне с горькой жалобой один из ямщиков своим испорченным полурусским жаргоном: — пеструю столбу да серый камень, да темную лесу». В этой фразе излилась вся горькая жизнь русского мужика, потерявшего совершенно смысл существования. «Столбы для дому бей в камень, паши камень и камень кушай... и слеза наша на камень этот падет», — говорил другой.

Эти люди, которые, как все люди, все ждут чего-то и на что-то надеются, — везли Чернышевского, когда его отправляли на Вилюй. Они заметили, что этого арестанта провожают с особенным вниманием, и долго в юртах этих мужиков, забыва-

ющих родной язык, но хранящих воспоминание о далекой родине, — толковали о «важном генерале», попавшем в опалу. Затем его провезли обратно и опять с необычными предосторожностями.

В сентябре 1884 года, через несколько месяцев после проезда Чернышевского по Лене в Россию, мне пришлось провести несколько часов на пустом острове Лены, в ожидании, пока пронесется снеговая туча. Мы с ямщиками развели огонь, и они рассказывали о своем житьишке.

— Вот разве от Чернышевского не будет ли нам чего? — сказал один из них, задумчиво поправляя костер.

— Что такое? от какого Чернышевского? — удивился я.

— Ты разве не знаешь Чернышевского, Николай Гавриловича?

И он рассказал мне следующее:

«Чернышевский был у покойного царя (Александра II) важный генерал и самый первейший сенатор. Вот однажды созвал государь всех сенаторов и говорит: «Слышу я — плохо у меня в моем государстве: людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше?»

«Ну, сенаторы... один одно, другой другое... Известно уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот, когда все сказали свое, царь говорит: — «Что же ты молчишь, мой сенатор Чернышевский? Говори и ты». — Все хорошо твои сенаторы говорят, — отвечает Чернышевский, — и хитро, да все, вишь, не то. А дело-то, батюшка государь, просто... Посмотри на нас: сколько на нас золота да серебра навешано, а много ли мы работаем? Да, пожалуй, что меньше всех! А которые у тебя в государстве больше всех работают, — те вовсе, почитай, без рубах. И все так идет навыворот. А надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а работы бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей.

«Вот услышали это сенаторы и осердились. Самый из них старший и говорит: «Это, знать, последние времена настают, что волк волка с'есть хочет». Да один за одним и ушли.

«И сидят за столом — царь да Чернышевский одни.

«Вот царь и говорит: ну, брат Чернышевский, люблю я тебя, а делать нечего, надо тебя в дальние места сослать, потому с тобой с одним мне делами не управиться.

«Заплакал, да и отправил Чернышевского в самое гиблое место, на Вилюй. А в Петербурге осталось у Чернышевского семь сынов и все выросли, обучились и все стали генералы. И вот, пришли они к новому царю и говорят: вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет, — мы все с ним, семь генералов.

«Царь и вернул его в Россию, теперь, чай, будет спрашивать, как в Сибири, в отдаленных местах народ живет... Он и расскажет...

«Привез я его в лодке на станок, да как жандармы-то сошли на берег, — я поклонился в пояс и говорю:

«— Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?

«— Видел, — говорит.

«— Ну, видел, так и слава те, господи».

Так закончил рассказчик в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог лучшего будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень».

Я рассказал эту легенду Чернышевскому. Он с добродушной иронией покачал головой и сказал:

— А-а. Похоже на правду, именно похоже! Умные парни эти ямщики.

М. Л. Михайлов

**
*

Крепко, дружно вас в об'ятья
Всех бы, братья, заключил,
И надежды, и проклятья
С вами, братья, разделил.

Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.

Но и там, на зло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.

В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать
И в душе одно желанье,
Как молитву, повторять:

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас!

***

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

Стонет и тяжко вздыхает
Бедный, забитый народ;
Руки он к нам простирает,
Нас он на помощь зовет.

Час обновленья настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

П. Ф. Якубович

Песня бурильщиков

Там, где холодом облиты,
Сопки высятся кругом, —
Обезличены, обриты,
В кандалах и под штыком,
В полумраке шахты душной,
Не жалея силы рук,
Мы долбим гранит бездушный
Монотонным: тук да тук!

Где высокие порывы,
Сны о правде и добре?
Ранний гроб себе нашли вы
В темной каторжной норе.

Счастья кончены обманы,
Знамя вырвано из рук...
Заглушая сердца раны,
Мы стучим лишь: тук да тук.

С нелюдимого востока,
С плачем снежных непогод,
Этот стук пройдет далеко —
В грудь отчизны западет
И на гибнущее дело
Вышлет сотни свежих рук...
Бейте ж, братья, бейте смело,
Неустанно: тук! тук! тук!

Облако

Сегодня наш рудник весь потонул
в цветах!
Толпа колодников, обритых и в цепях,
Вперив еще раз вдаль тоскующие
взоры,
Вздыхая и кряхтя, в свои вползает
норы...
Безрадостный приют неволи и труда!
С обледенелых стен ручьем бежит вода,
Спускаясь в полутьме, о мокрые
ступени
Скользит нога... Склонись по-рабски
на колени
И в каменную грудь бессмысленно
стучи!

И сердце гордое безропотно молчи!..
На вольный божий свет я вышел
из могилы,
От холода дрожа, озлобленный, унылый,
И ненавистным все нашел опять
вокруг —
Всей этой красоты бездушной ликованье,
Природы наглый блеск перед лицом
страданья,
И ароматный лес, и гор зеленый круг...

Но вдруг — там, в вышине, в лазури
чистой утра, —
Невольно взор маня причудливой игрой,
С каймой из золота обломок перламутра,

От юга облачко промчалось с
быстротой
И в душу брызнул свет поэзии
забытой,
И сердце мертвое мгновенно расцвело!
— О, что тебя в наш край суровый
занесло,
Чудесный гость весны? Порыв ли бурь
сердитый,
Или бродячий нрав? Из Ганга ль
светлых вод,
Из темных ли пучин ты вышло
океана?
Отчизну знойную, где рай земной цветет,
Скажи, успело ль ты забыть в стране
тумана?
Но вот нахмурился твой лучезарный
лик,
Ты дрогнуло и ввысь испуганно
вспорхнуло...
Огонь цветов померк... Еще блаженный
миг —
И утра дивное виденье потонуло.
Не ужаснулось ли ты вида наших мук,
Свирепости людской, безумья и позора?
В мысль не пришло ль тебе, что
от бездушных рук
Не скроешься и ты, любимица простора?..
Прости, краса небес! Минутный гость,
прости!
Спасибо и за то: волшебный сон свободы
Ты пробудил во мне... Счастливого пути
В печальную страну, где краток пир
природы!
Но побывай и там, в краю весны моей,
Где милая моя печально увядает,
Где в зелени садов рокочет соловей
Про счастье и любовь, где синий Днестр
сверкает.
Шепни ей с ветерком, который мчит тебя,
Что прошлое отнять у нас бессильны годы,
Что все я верен ей, что все я жду, любя:
Затворы упадут — и грянет весть
свободы!

В. Г. Короленко

Искушение

(Страничка из прошлого)

I

15-го августа 1881 г. около 6 часов вечера меня «доставили» в Тобольск. Красивый полицмейстер, в папахе сибирского казачьего войска, выехал из своих ворот, когда увидел нашу тройку. Он быстро соскочил со своей пролетки, подошел к нам, поговорил с жандармами, потом подошел ко мне, вгляделся в лицо и сказал:

— Неужели... Г-н N... Ай-ай-ай! А помните, что я вам говорил год назад?

Год назад, в период лорис-меликовской «диктатуры сердца», начиналась, как мы тогда говорили, «весенние на запад». Из большой партии политических ссыльных восемь человек возвращены были с дороги обратно в Россию. Я был в числе этих первых ласточек.

Меня возвратили из Томска под надзор полиции в Европейскую Россию...

Тогда-то я и познакомился с красивым полицмейстером. Сначала у нашей маленькой партии вышла с ним ссора, так как нас хотели рассадить по одиночкам. У нас же были женщины и дети. Одна из них, г-жа М., мать грудного ребенка, сама не могла его кормить (она была очень болезненна), и В. П. Рогачева кормила своего и чужого. Рассадить их по одиночкам значило бы убить одного из этих младенцев.

Полицмейстер, после моих сравнительно спокойных об'яснений, понял это, а сообразив вдобавок, что мы не подследственные и не высылаемые, а, наоборот, «возвращаемые», он и совсем махнул рукой. Женщинам нашли большую камеру, меня с спутником отвели в «Подследственное». Не злой и не глупый по натуре, тобольский полицмейстер был, в сущности, благодарен мне за спокойное раз'яснение положения, которое помешало ему сделать бесполезную и ненужную жестокость. Поэтому, провожая нас, он пожал мне руку и сказал:

— Ну, желаю всего хорошего. Знаете что? Я служу уже не мало лет и не видал еще, чтобы люди, которых везли, как политических в Сибирь, возвращались обратно.

— Бывало, г. полицмейстер.

— Знаю, да я не видал. Но вот чего уж наверное не бывало: чтобы попавшие вторично когда-нибудь опять возвращались. Итак, не говорю «до свиданья». Искренне желаю более вас здесь не видеть.

Я поблагодарил, и мы весело двинулись из Тобольска «на запад» — в Европу!..

После этого прошло около года. Я жил это время в Перми и успел написать очерк, где были описаны ужасные порядки тобольской тюрьмы.

Вслед за тем произошло событие 1 марта. Началось опять «веяние» с запада на восток, которое прихватило меня с собой...

11-го августа мои пермские товарищи и сослуживцы прощались со мною на дебаркадере. Я кланялся из уходящего вагона, сидя между двух жандармов, а мне махали платками...

Поднялся какой-то шум, кого-то оттесняли, кого-то вели для составления протокола... Что-то туманило мне глаза, и суровые виды Урала, ель, сосна и камень неслись мимо быстро улетающего поезда... А 15-го августа, как уже сказано выше, красивый тобольский полицмейстер качал головою и говорил мне укоризненно:

— Ай-ай-ай! Господин N. Ну, теперь уж кончено! Говорил я вам не послушались! Не видать вам теперь России, так и знайте! Женитесь здесь, обзаводитесь хозяйством и считайте себя сибиряком... Кончено.

Бедняга, очевидно, был плохой пророк. Через три года я еще раз ехал «на запад», но тобольский полицмейстер не был уже тобольским полицмейстером. Он был человек веселый с эпикурейскими взглядами на жизнь, и как-то пропрапрофилился столь серьезно, что даже сибирская Фемида, не могла остаться слепой: красивый полицмейстер попал под суд и сам сидел в тобольском «замке»...

Но все это случилось после, а пока продолжаю рассказ.

Погрозив мне в сущности довольно весело, он опять вскочил на свою пролетку и приказал ямщику: за мной! Наша тройка вихрем помчалась за его мохнатой папахой, обращая на себя внимание редких прохожих сибирского города, к губернаторскому дому.

Свидание с его пр-ством было коротко. Губернатором в то время был Лысогорский, прославившийся впоследствии суровостью своего режима по отношению к ссыльным. Меня он почему-то принял любезно, согласился исполнить мои маленькие просьбы относительно писем и телеграмм к родным, потом пошептался о чем-то с полицмейстером, то и дело поглядывая в мою сторону, как мне показалось, многозначительными взглядами... Наконец, он сказал с благодушным видом:

— Ну-с, а теперь в тюремный замок.

И мы опять помчались за казацкой папахой.

В конторе тюрьмы я увидел знакомое лицо «его благородия» тюремного смотрителя, жестокости которого я описал в своем очерке. Он тоже сразу узнал меня, и на его сухом, еще не старом, но несколько мрачном лице с деревянно-неподвижными чертами промелькнуло загадочное выражение. Полицмейстер распорядился, чтобы у меня не отнимали моих вещей и оставили в собственном платье, шепнув еще два-три слова смотрителю, лицо которого при этом оставалось все так же неподвижно, а затем приветливо кивнул мне головой и уехал.

Я с невольной грустью проводил его глазами.

Мне было приятно его красивое, беспечное, незлое лицо среди этой мрачной обстановки... Я вспомнил свое «возвращение» год назад, вспомнил друзей и товарищей, с которыми тогда ехал, и почувствовал еще острее свое одиночество...

— В военно-каторжную, — сказал смотритель надзирателям, окончательно «приняв меня» у жандармов.

— Как, в военно-каторжную? — удивился я. — Ведь я не военный и не каторжный, даже не осужденный. Я только пересылаюсь административным порядком.

Смотритель не ответил ничего, а двое служителей уже взяли мои вещи. Я увидел, что здесь никто не расположен обсуждать со мной этот вопрос, и последовал за надзирателями.

Мы вышли из конторы в ворота, потом прошли небольшой двор и остановились у запертых ворот другого. Мой провожатый приложил лицо к оконцу в воротах и крикнул дежурного. За воротами послышалось звякание связки ключей, потом калитка отворилась и опять захлопнулась за нами. Теперь трое крепко запертых ворот с тремя огромными висячими замками отделяли меня от вольного божьего мира.

Двор, в который мы вошли, был узок. С левой стороны бревенчатый сарай пейхгауза примыкал к высокой тюремной стене, с правой тянулся одноэтажный корпус, с рядом небольших решетчатых окон; прямо — глухая стена тюремной ограды, без окон и дверей. Сзади ворота, в середине будка, у будки часовой с ружьем, над двором туманные сумерки.

В этом тесном пространстве, наверное, гуляли весь день военно-каторжные арестанты, но теперь их угнали, может быть, потому, что уже приближалось время поверки, а, может быть, в честь моего прибытия. Пока я шел в своем черном пальто и шляпе, — столь необычных в этом месте, — на меня из каждого окна смотрело по паре внимательных глаз. Одиночные арестанты изучали нового пришельца, держась руками за решетки и прильнув бритыми головами к отверстиям... Их бледные, тюремные лица выделялись в темноте окон резко и странно. Для военно-каторжного отделения мое появление было целым событием.

Мои провожатые прошли весь дворик. Входная дверь была в конце. Вступая в нее, я ждал увидеть длинный коридор и уже предвкушал интересные минуты первого знакомства с моими будущими соседями. Вот, казалось мне, захлопнется дверь коридора, провожатые уйдут, я подойду к своей двери с круглым глазком и прислушаюсь. И, наверное, услышу какое-нибудь приветствие или вопрос:

— Эй, политический, хочешь цыгарку?

А затем пойдет в ход изумительная по изобретательности и ухищрениям тюремная почта, и не одно, быть может, доброе движение души, не один задушевный рассказ из-за запертой двери вновь скрасят мое пребывание в этой тюрьме, как это бывало не однажды... И еще раз я повторю себе старую истину, что люди — всюду люди, даже и за стенами военно-каторжной тюрьмы.

II

Мне, однако, пришлось горько разочароваться. Пройдя узкий входной коридорчик, мои провожатые повернули не направо, как я ожидал, в общий коридор военно-каторжного корпуса, а налево. Мы очутились в маленькой конурке с кроватью и с сильным жилым запахом, не похожей, однако, на тюремную камеру. Дело об'яснилось, когда ключник отпер еще одну дверь, и меня пригласили войти в открывшуюся «одиночку».

Теперь я понял! Мне, как заключенному, придают особенную важность: я буду отрешен от всего, даже от тюремного мира. Меня запрут здесь, а в первой комнатке всегда будет находиться сторож, чтобы мешать всякому сообщению со мной арестантов. Итак, к трем воротам, отделявшим меня от вольного света, присоединились еще трое дверей, которые должны были отделить меня даже от мира тюремного.

— Ну, пожалуйте, — сказал мне один из тюремщиков, увидя, что я не решаюсь переступить порог камеры. А другой прибавил грубо:

— Ступай, ступай, ничего!

— Ничего, — сказал и дежурный унтер-офицер, начальник нашего караула.

Что-то поднялось во мне неопределенное, но тяжелое. Это было сожаление к себе, точно к кому-то другому, но такое острое и жгучее, соединенное с таким сознанием несправедливости и насилия, что я был готов кричать, ругаться, сопротивляться. Но это было именно только мгновение. Темперамент у меня несколько иронический и спокойный, и, кроме того, во многих подобных случаях меня спасало любопытство. Если я окажу сопротивление караулу, я знал, что буду избит, может быть, изувечен, может быть, умру в тюремной больнице, и мои родные будут извещены, что я умер от тифа. В этом будет, пожалуй, убежден искренно даже и сам его пр-ство г. губернатор Л-ский, и только разве красивый полицмейстер сомнительно покачает головой. А впрочем, ему какое дело... Ну, а если я войду в назначенную для меня камеру, то еще не знаю наверно, что будет дальше.

И я вошел и слышал, как последний замок щелкнул за мной с металлическим, довольно музыкальным звоном, который я до сих пор слышу в памяти, точно это было вчера. Потом еще хлопнула дверь, и я остался один.

Моя камера имела три с половиной шага в ширину и шесть в длину. Потолок у нее был круглый, стены выбелены известкой. Но так как от ветхости с них, очевидно, много раз отваливалась штукатурка, и белили их по образовавшимся неровностям, то все они были как-то пестры и грязны, на неровностях и выступах сидела траурными темными каемками густая пыль. У задней стены стояла круглая печка, у двери в стене было проделано отверстие, закрываемое железной заслонкой. Сюда подавали заключенному пищу и воду (очевидно из этого, подумал я, что ключи от двери хранятся не у моего сторожа, а в конторе). Дрянная «парашка» — старое и ржавое железное ведро с крышей — распространяла острый аммиачный запах, к

которому, я, однако, скоро притерпелся. Деревянная кровать и небольшой столик составляли всю меблировку.

Свету в камере было совсем мало. Правда, начинались сумерки, но все-таки на дворе еще было светло. Я подошел к окну, которое было довольно высоко, и убедился, что пространство против окна, выходившего во дворик и находившегося между крыльцом и глухой стеной швальни, было забрано высокими досками, позволявшими видеть только небольшой клочок неба.

Я скинул с себя пальто и, подойдя к этому окну, облокотился на стол, поднял лицо кверху и стал смотреть на клочок неба, прорезанный четырехугольными силуэтами высоко поднявшихся досок. Больше, правду сказать, мне и делать-то было нечего. А в небольшом клочке неба, светившем и мерцавшем ко мне сверху, тихо продвигались облака, потом появился рог молодого месяца, который медленно проплыл в своей вышине, причем мне казалось, что он осторожно пробирается по ребрам моего досчатого забора. Он напоминал мне о широком и вольном божием свете, о полях и холмах, которые я видел так недавно, о том, что через несколько часов на него так же будут смотреть глаза дорогих и близких мне людей, и, может быть, вспомнят обо мне. Но никто не угадает, что я теперь отделен от всего живого мира в этой странной келье, где даже клочок неба и месяц вижу, пожалуй, лишь по начальственному недосмотру...

Потом месяц стал углом на последнюю из досок, постоял на ней с полминуты и скрылся из своего тесного горизонта, оставив меня в моей конурке с сердцем, преисполненным тоской, разнеженностью от воспоминаний и сожалений о себе... К глазам в этой темноте подступали слезы. Мне хотелось кинуться на свою кровать, уткнуться лицом в подушку и, пожалуй, заплакать, как я плакал когда-то ребенком.

Но я этого себе не позволил. Во все время моих скитаний по тюрьмам я старался строго держать себя в руках и никогда не позволял себе в заключении трех вещей: спать днем, валяться на кровати, когда не спишь, и затем — отдаваться этим порывам разнеженности, когда к ним соблазняло одиночество, тоска и порой расстроенные нервы.

И теперь я не поддался, даже не лег, и стал думать: что же, однако, значит это странное обращение со мной? и зачем меня посадили в эту клетку, явно назначенную для самого строгого, из ряду вон, заключения? Тысяча самых диких мыслей приходили мне в голову. Мне стало казаться, что я никогда уже не выйду отсюда: я вспомнил выражение лица Л-ского и тихое перешептывание с полицмейстером, ласковое сожаление в красивых и беспечных глазах последнего, новый шепот его со смотрителем и каменное лицо «его благородия». Потом вспомнился самый род моего исключительного преступления, которое, как мне сказал добряк-губернатор в Перми, не предусмотрено кодексом обыкновенных наказаний, но и безнаказанным остаться не может. Потом пришло на память обстоятельство, которое вовсе не казалось странным в свое время: что этот добряк уехал из города накануне моей высылки, — и теперь я об'яснил это побуждением Пилата, умывающего руки...

Все это было дико, мрачно, нелепо, но ведь положение мое было тоже и дико, и мрачно... Я посмотрел на крепко запертую дверь, на железную печку, на стены каменного мешка... Здесь можно погибнуть безвестно и навсегда... Потом пришло в голову, что если закрыть эту печку с угаром...

Вообще начинался какой-то странный кошмар...

III

— Барин, возьмите свечку!

Отверстие в стене, вроде печной дверки, открылось; в него мелькнул свет, и протянулась рука с подсвечником. Камера осветилась, но не стала приветливей. Я взял свечу, не торопясь. Мне хотелось заговорить с моим сторожем. Голос, который он сказал эти слова, был грудной и приятный. В нем слышались простые ноты добродушного человека, и я тотчас же вспомнил, что это тот самый, который первый пригласил меня в келью деликатным «пожалуйте».

И, взяв свечу из руки, я сказал, наскоро придумавши предлог для продолжения разговора:

— Послушайте, я голоден.

— Ах, барин, — ответил невидимый сосед. — Нынче вы уж не записаны, вам не полагается.

— В конторе мои деньги, нельзя ли сходить купить чего-нибудь.

— И, барин, невозможно! Здесь строго. Кабы в общей или подследственной, а здесь ведь военно-каторжная.

Он говорил тихо, как будто боялся, что наш разговор кто-нибудь все-таки может услышать. Потом как-то нерешительно протянул руку, взялся за заслонку, чтобы закрыть ее, рука еще задержалась, как бы в нерешительности, и, наконец, он захлопнул дверку.

Тогда я сразу почувствовал, что я действительно очень голоден. С утра я напился только чаю, рассчитывая, что мы приедем еще рано в Тобольск. Я думал, что мы только явимся к полицмейстеру и тотчас же поскачем дальше. Остановка в этом мешке совсем не входила в мои расчеты. Теперь, несмотря на волнения этой неожиданности, голод вступил в свои права. Я поставил свечу на уступ железной печки и разложил свою постель на кровати. Потом опять сел, попробовал было взглянуть в окно, но клочок неба был темен, а доски подошли совсем близко, освещенные желтым огнем из моего окна. Я отвернулся и стал оглядывать стены. Заслонка опять тихо отворилась. Я подошел к ней. Рука протянулась, и сторож просунул деревянную чашку, в которой было немного щей и кусок хлеба.

— Не побрезгуете, может, — сказал он с радушием простого человека.

Я немного колебался.

— Не побрезгуйте, — повторил он.

— А сами вы? — сказал я нерешительно.

— Мне что. Я обедал. А вам с дороги.

Это была правда. Я победил в себе легкий протест против этой подачки тюремщика, в лице которого видел теперь простого, доброго и деликатного человека. Я взял чашку и хлеб... Через четверть часа он заглянул в круглое отверстие двери и сказал:

— Кончили, господин?

— Кончил, спасибо.

— Пожалуйте чашку. А то скоро поверка будет. Смотритель увидит у вас мою чашку. Неловко.

Добрый человек, очевидно, опасался обнаружить перед «его благородием» излишнее по отношению ко мне добросердечие.

Действительно, вскоре в мою конуру проник заглушенный стенами рокот барабана, и через четверть часа в комнате сторожа столпились звуки шагов, голоса, звякание шпор и стук прикладов. Моя дверь быстро отворилась, и все эти звуки хлынули в мою одиночку. Несмотря на привычку, трудно преодолеть некоторое смущение, когда дверь отворяется, и десяток незнакомых людей смотрит на вас лишь затем, чтобы смотреть. Впереди стоял офицер, еще молодой и потому тоже несколько смущенный. Рядом виднелось каменное лицо «его благородия». Последний окинул опять мою конурку, меня и мои вещи загадочным взглядом, в котором я прочитал что-то вроде внутреннего удовлетворения. «Его благородие» находил, повидимому, что все идет совсем хорошо.

— Тридцать четыре! — прочитал офицер по списку.

Фельдфебель ответил: «Есть!» — И дверь опять захлопнулась.

Я чувствовал себя усталым, не спал от самого Екатеринбурга, где в то время кончался железнодорожный путь, или спал только в почтовой телеге. Поэтому я позволил себе лечь раньше обыкновенного.

Эпизод с чашкой и присутствие за стеной добродушного человека разогнали пока мои мрачные мысли. Я лег и заснул вскоре крепким и беззаботным сном.

IV.

На утро, проснувшись довольно рано, я быстро оделся, умылся из кружки над «парашкой» и стал оглядывать свое жилище...

Прежде всего мне бросилось в глаза на стене большое пятно, продолговатое, точно написанная строчка. Подойдя ближе, я увидел, что это была действительно надпись, глубоко врезанная гвоздем в стену и после тщательно сцарапанная скребком. Очевидно, это была фамилия моего предшественника, прежнего жильца этой камеры.

Казалось, разобрать ее было совершенно невозможно. Я подумал, что мне может разрешить этот вопрос мой сторож, и потому, тотчас после поверки, постучал в дверку.

— Послушайте, — сказал я.

— Что тебе? — ответил грубый голос.

Я с грустью убедился, что у меня сменили сторожа. Это был теперь тот из двух моих вчерашних провожатых, который первый назвал меня на «ты» и грубо требовал, чтобы я вошел в камеру.

— Во-первых, незачем «тыкаться», — сказал я, по возможности спокойно.

— Поговори у меня!

Я отошел от двери.

Нет таких иероглифов, которые нельзя было бы разобрать, сидя в одиночке. Я по десяти раз подходил к затертой надписи и простаивал перед ней по получасу. Она интересовала меня тем более, что, кроме нее, нигде на стенах камеры не было написано ни одного словечка, тогда как обыкновенно стены всех камер исписаны кругом. Кусок карандаша, а то уголек, гвоздь или обожженный конец спички служат орудиями этой стенной тюремной литературы. «Здесь еврей N. страдал без вины», — такова была первая надпись этого рода, которую я прочитал во время первого же моего ареста в полицейском участке. Затем утомительный ряд черточек на стене отмечал день за днем бесконечную вереницу этих дней, проведенных страдавшим без вины евреем. Помню, я насчитал их тогда 72, и мне казалось совершенно немыслимым, чтобы меня, именно меня, Владимира Короленко, ни в чем не обвиняемого, могли продержать дольше этого срока. Потом и я начал ставить свои черточки и увы!— если сосчитать все число дней, которое я провел, как и этот неведомый страдалец, в четырех безмолвных стенах, то их оказалось бы во много раз больше!

Обыкновенно к этим начертаниям начальство относится довольно терпимо. В пересыльных тюрьмах Сибири стены сплошь исписаны этими обращениями к будущим жильцам камер. «Скажите, братцы, Дуньке Полтавской, станет ее Никифор поджидать в Ачинске». «Братцы, Иван Семенов из Тюмени — изменник общества». «Прошел в сентябре месяце Павел Гаркушин на каторгу. Кланяюсь землякам». И т. д., и т. д. Порой лирическое излияние, в прозаической или стихотворной форме, разнообразит эти своего рода публикации, вызванные желанием оставить где-нибудь слух о своей горькой жизни или передать деловое сообщение.

В моей камере все эти надписи были тщательно затерты, и по ним еще побелили известкой. Оставалась одна в виде широкого, длинного углубления, врезанная слишком глубоко для того, чтобы можно было ее уничтожить бесследно.

Исследуя ее, я заметил, во-первых, что рытвина разделялась на две части. Вторая часть была короче. Очевидно, фамилия состояла из меньшего числа букв, чем имя. Имя говорило мне мало, фамилия могла быть все-таки известна...

И я тщательно занялся фамилией.

Она, очевидно начиналось с кружка и кружком кончалась. Следы округленных букв остались довольно заметны. Я сосчитал затем число углублений, соответствовавших буквам, и после многих соображений пришел к заключению, что их было шесть. Тогда, принимая, что первая буква могла быть Ѳ, а последняя ъ, внезапно был осенен догадкой, вскоре принявшей форму полной уверенности.

Да, несомненно, я был в камере Фомина.

V.

Почти год назад, с 25-го августа, как уже было сказано выше, я провел несколько дней в той же тобольской тюрьме, только в другом ее отделении. Однажды к моей двери подошел арестант, по фамилии, кажется, Ефремов, и передал мне записку, написанную на обрывке серой бумаги. Из нее я узнал, что в тобольской тюрьме, в военно-каторжном ее отделении, сидит уже третий год в строжайшем одиночном заключении политический осужденный, «именующий себя Фоминым».

История его была еще свежа у всех в памяти. После так называемого большого процесса (1877—78 гг.) осужденных Ковалика и Войнаральского, видных деятелей мирного периода революционой борьбы, перевозили из Петербурга для заключения в Белгородскую харьковскую центральную тюрьму. В это время среди белого дня, на шоссе, на виду у косцов и жниц, работающих в поле, на почтовую тройку, на кото-

рой сидел Войнаральский и два жандарма, напали двое верховых, которые выстрелом из револьвера убили одного из провожатых и долго гнались за убегавшей по шоссе тройкой. Боязнь ранить арестанта мешала нападающим стрелять, а быстрота лошадей — догнать их. Вскоре они отстали, и уцелевший жандарм с убитым товарищем и с арестованным Войнаральским поехали дальше. Они уже были близко от места назначения, когда с проселочной дороги на шоссе выехал еще один всадник и поехал навстречу. Жандарм приготовил револьвер в полном убеждении, что это запоздавший сообщник. Всадник проехал мимо.

Впоследствии в арестованном на вокзале молодом человеке жандарм признал этого последнего всадника, а дальнейшие розыски доказали, что этот молодой человек, «именующий себя Фоминым», — один из деятельных участников революционных кружков, что его самого пытались освободить в Одессе, во время процесса Ковальского и что после этого он все-таки бежал из киевской тюрьмы. Побег был совершен с необыкновенной находчивостью и незаурядною смелостью. Боясь новых попыток освобождения, его после приговора увезли из России с такими предосторожностями, что долго никто не знал, куда его девали. Теперь в своей записке он сообщил мне, что его везли под №, что даже жандармы не знали его фамилии, что его сопровождал целый отряд из пяти жандармов, причем от участка до участка с ними скакали заранее предупрежденные заседатели, а на этапах, где происходили иногда остановки, «сбивали народ» и всю ночь жгли кругом костры.

Вся эта странная история показалась мне сначала несколько подозрительной: в тюрьмах очень много охотников рассказывать подобные вещи проезжающим политическим ссыльным, чтобы выманить деньги. Однако я ответил, и между нами завязалась переписка. Почтальоном служил арестант, подававший Фомину пищу.

Как ни строго было заключение, долгая практика всегда укажет известные бреши, — и порой арестант мог перемолвиться с Фоминым словом или передать записочку. Это меня не удивило.

В одной из записок Фомин сообщал, что он сидит в своей конурке третий год безвыходно. Его не пускают гулять, даже не водят в баню. Раз в месяц вносят в камеру большую ванну, и он моется в присутствии сторожа и смотрителя. При этом у «его благородия» хватало смелости насмехаться над заключенным, который — «ишь ты, моется в ванне, как барин».

Единственным развлечением Фомина было приготовление фигурок и игрушек из мятого хлеба, искусство, которое на моей памяти процветало среди заключенных за восстание поляков. Мой родной город, Житомир, был тогда переполнен этими изделиями, так как покупка их была легальной формой помощи арестантам.

Фомин изловчился сделать глобус и подарил его ребенку смотрителя. Тогда смотритель позволил ему продолжать ремесло, и Фомин сделал уже весь планетарий, для чего пользовался проволокой из оконной решетки. Смотритель и на это посмотрел благосклонно, так как он стал продавать эти изделия на сторону, платя Фомину по рублю. Сколько он сам получал — оставалось неизвестным.

Понемногу я переслал Фомину бумаги, конвертов, десять рублей, тщательно заделанных в конец копченой колбасы, и, наконец, несколько стальных перьев, кисть и кусок туши, которая всегда бывала со мной.

Особенные сомнения внушали мне деньги, так как арестант-посредник едва ли бы удержался от искушения. В тот же день, когда я послал их, к нашей двери явился высокий, молодой арестант, назвавший себя тюремным старостой. Это был человек располагающей наружности и державший себя вполне независимо.

Он спросил у меня, не пересылал ли я Фомину денег, и предупредил, что Ефремов человек ненадежный. «Общество» ему не доверяет, и староста боится, что он украдет деньги, назначенные Фомину. Я, конечно, не имел тогда оснований особенно доверять и этому своему собеседнику, который легко мог быть подослан не «обществом», охранявшим интересы одиночного узника, а смотрителем. Поэтому я холодно ответил, что это дело мое, и мы расстались не особенно дружелюбно.

На следующий день я получил через Ефремова записку, написанную, как и предыдущие, очень простым шифром. Деньги и все остальное дошли по назначению. Тем не менее, забегая вперед описываемых событий, я должен сказать, что теперь я с чувством уважения и благодарности вспоминаю о старосте и о честном предостережении со стороны тюремного общества.

В сентябре того же года, которым начинается настоящий рассказ, т.-е. через год с небольшим после моей переписки с Фоминым, я был в Томске. Там меня посадили в общую камеру, в так называемой «Содержащей» (тюрьма, назначенная для приговоренных на сроки к тюремному заключению). Оказалось, что Ефремов был в это время там; он уже кончил свой срок и пересылался на поселение, но его держали особо от пересылочных, так как над ним тяготела гроза тюремного общества. Оказалось, что Фомин написал письмо и дал Ефремову денег на подкуп сторожей, которые бросили письмо в почтовый ящик. В письме Фомин извещал товарищей о своем заключении и просил помощи. А так как на его имя всякие сношения были абсолютно невозможны, то для высылки денег он дал адрес Ефремова, который около этого времени оканчивал срок. Действительно, вскоре Ефремов получил 70 рублей от имени будто бы своих родных. «Общество» знало, кому назначены деньги, и потребовало, чтобы Ефремов честно передал их Фомину. Ефремов отлынивал и, наконец, вышел из тюрьмы для отправки на поселение. В это-то время я встретил его в коридоре томской тюрьмы и не узнал, так как не видал его около года. Однако, не мог не обратить внимания на то, что встречный арестант, с лицом, напоминавшим мне что-то, потупился и как-то сжался при встрече, точно виноватая собака. На следующий день в «Содержащую» пришло из пересыльной сообщение о том, что Ефремов есть «изменник общества», и об его поступке с Фоминым... Его жестоко избили.

Целый день несчастный прятался под нарами в пустых камерах, а во время поверки кинулся в ноги смотрителю, прося, чтобы его перевели в секретную. Я стал просить арестантов, со своей стороны, чтобы они пощадили несчастного негодяя. Мне ответили, что в этой тюрьме жизни его не грозит опасность. Сидящие на сроки не решатся сделать «крышку», но бить его будут все время, как собаку, походя и при всяком случае. Если же тут были бы каторжане, то никакая секретная не спасла бы изменника, так как Фомина, заключенного с такой строгостью в каторжной тюрьме, они, не зная лично, считали все-таки своим.

VI.

С тех пор, как я посылал деньги и перья Фомину, прошел год. И вот сам я сижу почти в том же положении и, судя по всем признакам, в той же камере. Он писал мне, между прочим, что ему стоит величайших усилий хранить недозволенные предметы, так как еженедельно у него производят тщательные обыски.

Теперь я стал разыскивать его тайники. Я осмотрел стены, рамы у окна, всякую черточку на железной печке, но ничего не находил подозрительного. Наконец, я стал осматривать кровать. Она была деревянная, грубо окрашена темною краской. Исследуя каждый квадратный вершок, я заметил, что одно место спинки было слепка неровно и как будто немного чернее. Я попробовал мокрым пальцем: палец оказался черным, между тем как в остальных местах краска не отставала. Тогда я стал скоблить это место. Оказалось, что оно закрашено тушью, поверх тонкого слоя мяткого хлеба. Я сорвал тоненькую пленочку и увидел, что под нею, с искусством, которое присуще или самому ловкому столяру, или одиночному арестанту, в кровати вырезано углубление не больше трех квадратных дюймов шириной и около ½ дюйма в глубину, закрываемое тоненькой задвижной дощечкой. Чтобы нельзя было заметить щелочек, искусная рука прикрывала дощечку слоем хлеба, который после окраски тушью давал полную иллюзию цвета и неровной густоты масляной краски. С волнением человека, находящего признаки ближнего в пустыне, я открыл эту заслонку. В углублении лежала свернутая бумажка, два стальных пера и кусок туши.

Прежде всего я жадно развернул бумажку. Это было мое собственное письмо Фомину.

Год назад я был доволен и счастлив. Неожиданная и благоприятная перемена в моей судьбе, возвращение «на запад», милое общество случайно, но очень удачно собранных судьбою людей, в том числе несколько хороших женщин, — все это настраивало радостно. Помню, что я писал тогда в настроении счастливого человека, которому хочется передать частицу своего счастия другому. Я сообщал о нашем возвращении, о признаках новых веяний, толки о конституции, которыми ознаменованы были первые месяцы царствования Александра III... Помню, что ответ Фомина был полон горечи и сомнений.

И вот я теперь читал свое радостное письмо в той же камере...

Того, кому я писал, может быть, не было в живых. Я один, еду опять теми же местами неизвестно куда. А что, если здесь-то и есть конец моего пути? — внезапная и горькая, опять мелькнула во мне эта мысль. Что, если через некоторое время у меня отнимут мое платье, мои вещи, мою постель, все, что напоминает мне о воле, — и принесут сюда арестантский халат, может быть, снятый с плеч моего умершего предшественника, и дни бесконечной вереницей потянутся надо мной, не трогая меня, ни в чем не меняя моего положения, как идут они над могилой, как шли над Фоминым? И мне раз в месяц станут вносить ванну, и те же неуклюжие шутки, которые слышал Фомин, «его благородие» станет отпускать теперь по моему адресу... Ведь, в самом деле, род моего преступления не предвиден законом...

Эта мысль привела меня в такое состояние, что я в первый еще раз кинулся на свою постель, уткнувшись лицом в подушку. Подушка оказалась жестка и колюча. Перестилая постель, чтобы посмотреть, нет ли надписей на досках, я вывернул наверх лежащую на ней лепешку, набитую соломой, превратившейся отчасти в труху. Может быть, эта тюремная подушка лежала здесь с того времени, как Фомин выплакал на ней свои последние слезы. Я не отбросил ее. Эта мысль доставила мне теперь своего рода горькую отраду. Пусть... так лучше!.. Так я полнее отдавался теперь мрачному чувству, поднявшемуся из глубины сердца.

Среди этих ощущений спустились сумерки. Я не вставал, изредка только подымал голову от подушки. В камере стояла полутьма. Прежде я любил смотреть, закинув голову, на клочок вечернего неба, которое заглядывало ко мне светлым пятном. Теперь оно меня раздражало. Мне хотелось как можно полнее прислушаться к тишине моей сумрачной камеры, и, подымая голову, я нарочно отворачивался к двери, черневшей прямым четырехугольником. Около него и в углах было совсем темно. Черта разобранной надписи чуть-чуть виднелась на стене... И мне казалось, что здесь невидимо присутствует прежний жилец этой камеры. Когда я лежал лицом к его подушке, мне казалось, что он стоит надо мной и иронически качает головой с бледным лицом и воспаленными мрачными глазами. И мне слышался беззвучный шопот погибшего террориста...

— Мечтатели, слабые души, слепые... Что значат ваши средства перед силой, которая не считается ни с чем и последовательна в своих проявлениях? Нет, надо было принять десять присяг и, произнося слова клятвы, обдумывать средства мести за нас, погибших, и для освобождения живых...

Моя голова становилась тесна для этих жгучих мыслей, как тесна была эта камера для всяких планов борьбы и мести. Я вскочил, присел на своей постели, охватил голову руками и пытался призвать к себе обычное самообладание.

В это время загремели опять запоры, опять сторожка наполнилась звоном сабель, шпор и ружей, опять распахнулась моя дверь. Мне показалось, что это решается моя судьба, что меня сейчас или уведут отсюда, или отнимут мои вещи и оставят здесь навсегда. Мне кажется, что в последнем случае я способен был в эту минуту на какое-нибудь безумство. Но я забыл, — это была просто поверка.

— Тридцать четыре!

— Есть!

По какому-то внезапному, инстинктивному побуждению, я вскочил со своей постели.

— Г-н смотритель, — сказал я.

— Что еще?

— Я желаю видеть полицмейстера и прокурора.

— Это лишнее.

Офицер сказал что-то смотрителю, а тот опять обернулся.

— Что вам нужно?

— Я хочу принести жалобу. Меня, пересыльного, держат в каторжной одиночке. Вы не выпускаете меня гулять, я не могу написать письмо, я чувствую себя нездоровым.

Смотритель не ответил ничего; поверка ушла.

VII.

Однако, на следующий день меня выпустили гулять.

Целый день по дворику ходили каторжане, порой слышался звон кандалов, порой, когда солнце светило прямо в мои доски перед окном, в щели между ними мож-

но было видеть мелькающие тени. Когда же барабан отбивал свою дробь, и тюрьму закутывали молчаливые сумерки, тюремная жизнь уходила в камеры. Тут до огня бродяги рассказывают о своих похождениях, порой молодой и надтреснутый голос говорит с тоской о своем «несчастии», о судьбе, о преступлении и как оно случилось. Порой циничный и удалой рассказ каторжника-убийцы резко звучит среди молчаливой камеры, редко одобряющей излишние откровенности.

В это время меня выпускали на полчаса. Ворота были тщательно заперты, солдат дремал у будки, поддаваясь тихому веянию сумерок, переполненных тенями, неуловимым шопотом, просачивавшимся будто сквозь стены тюрьмы, и отдаленным рокотанием колес в городе, за тюремной стеной. Я ходил взад и вперед, от глухой стены швальни до ворот, между цейхгаузом и корпусом каторжного отделения. Надо мной было небо, казавшееся мне теперь неизмеримо глубоким, а над воротами, невдалеке, на меня глядели окна с занавесками и цветами. Эти окна меня очень удивили. Потом я сообразил, что это, наверное, частная квартира смотрителя. В один вечер что-то замелькало между цветов. Вглядевшись в неопределенный сумрак, я различил, однако, голову и лицо ребенка. Дитя смотрело, должно быть, на мою одинокую фигуру, невиданную и странную в черном пальто и шляпе, в этом царстве серых халатов и военных мундиров.

Пока я гулял, мои сторожа должны были находиться тут же, во дворике. Таким образом, меня караулили двое. Сторож обыкновенно садился на толстый обрубок, вроде того, на каком мясники разрубают мясо. Этот обрубок стоял недалеко от ворот. Солдат стоял у середины узкого пространства. Таким образом, гуляя от ворот до швальни, я постоянно был у них на виду.

Впрочем, был небольшой уголок, прямо против входной двери в коридор, где я мог быть невидим для обоих. Цейхгауз, пристроенный к тюремной стене, был не во всю стену. Между ним и перпендикулярной стеной швальни оставался четырехугольник, на котором валялись кучи мусора и отбросов. Бревенчатая стена цейхгауза упиралась прямо в каменную ограду. Когда я подходил к этому концу двора, маленький пустырь оставался у меня на левой стороне. На него выходило мое окно, забранное досками (всякий раз, как я глядел на эти доски, мне становилось как-то жутко думать, что за ними мое жилье). Затем наше крылечко с тремя ступеньками. Его дверь была обыкновенно открыта, и в нее виднелся короткий, тупой коридорчик. В нем не было никогда ни души. Наконец, еще одно окно из ряда каторжных одиночек тоже выходило на пустырь. Остальные же находились против стены цейхгауза.

В первый день, когда меня выпустили, дежурил Гаврилов. Я знал уже этот тип тюремных надзирателей. Это люди серьезные, семейные, дорожащие службой и не склонные к подкупу. Я убежден, что Ефремов передавал Фомину его записки не в его дежурство или, по крайней мере, без его ведома. Подкупать легче было другого. Но зато Гаврилов был доступен простым человеческим движениям души, не делал ничего лишнего для отягчения участи заключенного и рад был сделать все, что не ставило его в положение «отчаянного», легкомысленного, рискующего человека. Между прочим, он охотно вступал со мною в непродолжительные, правда, беседы; он интересовался, есть ли у меня жена и дети, прибавил, что у него их трое, что всех надо кормить. Потом спросил, есть ли отец и мать, и покачал при моем ответе головою. Он, видимо, был очень доволен, отворяя мне камеру и выпуская меня на прогулку. Сам он сел на обрубок и просидел на нем, подремывая, все время, пока я ходил, разминаясь, взад и вперед.

В один из этих моих рейсов, от ворот до стены швальни, я заметил, что в последнем окне мелькнуло лицо. Каторжник с обритой наполовину головой делал мне какие-то жесты. Я удивленно остановился, но он тотчас же скрылся за стеной камеры. Я понял: мне не следовало останавливаться, так как сторож или солдат могли заметить это, и потому я прошел мимо тем же размеренным шагом.

Подходя во второй раз к этому окну, я замедлил шаги и посмотрел искоса, не поворачивая головы. Арестант опять стоял у окна и махал руками, как птица.

Это опять продолжалось лишь несколько секунд. Зато почти минута оставалась на обсуждение таинственного сигнала. Что он хочет сказать? Неужто эти птичьи размахи означали намек на свободу, на вольный полет?

С этим вопросом в уме я опять поровнялся с окном. Мой таинственный собеседник сидел на подоконнике на корточках. Пока я миновал его и пока поворачивал назад, он все подымался во весь рост, хватая воздух руками, и всей белой фигурой,

выделявшейся на темном фоне окна, изображал приемы человека, который карабкается кверху. Я опять кинул недоуменный взгляд, но затем пришел к безошибочному заключению, что таинственный собеседник, несомненно, намекает на возможность побега.

Я шел к окну в четвертый раз. Теперь каторжник стоял неподвижно и только протянутой рукой указывал мне прямо на четырехугольник двора, за стеной цейхгауза. Затем он еще присел, поднялся, как будто делая прыжок, и взмахом обеих рук указал, что мне следует потом бежать вдоль тюремной стены направо. Я вспомнил, что тут крутые, поросшие бурьяном пустынные обрывы горы ведут к реке Иртышу или Тоболу, и что внизу раскинута прибрежная часть города, с трактирами и кабаками...

Теперь, пока я шел взад и вперед по двору, мое сердце усиленно билось, в висках стучало; я подошел к окну и тихо прошел мимо. Каторжник глядел вопросительно и ничего уже не показывал. Я уперся почти в стену швальни, плохо сознавая свое положение. Тут, поворачиваясь, я очутился прямо против досок, закрывающих окно моей камеры. Одна щель была расковыряна, и в нее на одно мгновенье мелькнула часть моего окна. В камере мы оставили свет, который теперь освещал пустое пространство между стеной и досками. В этой освещенной пустоте было что-то жуткое.

Я круто повернулся и пошел за стенку цейхгауза.

Бревенчатая стена примыкала к каменной. Она была сложена из толстых лиственниц, а так как лиственница очень щелевата, то в каждом бревне были широкие щели, за которые легко было цепляться концами пальцев. Это была удивительная оплошность тюремной администрации, одна из тех, которые являются невольно в деле, идущем день за днем по заведенной рутине. Впрочем, может быть, администрация знала слабое место этого двора, и потому-то Фомина, известного беглеца, не выпускали вовсе. И только я в эту минуту стоял лицом к лицу с начальственным недосмотром. Крыша цейхгауза не доходила вплоть до верхушки стены, но тут оставалось не более $1\frac{1}{2}$ аршина.

Очутившись вне взглядов моих сторожей, я быстро подошел к углу и стал карабкаться кверху. Помню, что в это время у меня не было определенного плана. Сердце билось, в висках стучало, в воображении рисовалась верхушка крыши и гребень стены, потом заплаканное лицо матери, доброе лицо Гаврилова и его трое детей. Совесть говорила мне ясно, что я не должен пользоваться его доверием, что было бы гораздо лучше, если бы этот случай представился в дежурство Иванова. Но я карабкался кверху, повторяя про себя: все равно, это невозможно... Это я только пробую...

Может быть, все эти разнообразные ощущения были причиной, мешавшей энергии моих усилий, или действительно препятствие было неодолимо, но только ноги скользили, пальцы тоже, под'ем был труден и долог. Я соскочил с пятого бревна и тихонько пошел из-за угла.

Когда я вышел, солдат и Гаврилов смотрели в мою сторону. Арестант тоже смотрел жадным взглядом, вытянув шею.

Весь этот вечер, в своей камере, я думал об этом случае и о своем положении. Помню, что это было во вторник. В среду обыкновенно проходил мимо Тобольска пароход с арестантской баржой. Запирая меня на ночь, Гаврилов тихо сказал мне, что «может завтра вы уедете. Завтра провезут политическую партию».

Я вздохнул с облегчением и как-то радостно посмотрел на доброго человека... В эту ночь я открыл форточку и долго смотрел в ясный клочок неба. Вечером я написал письма, проникнутые бодростью и надеждой...

Утром я спал долго и не слышал поверки. Эта вольность дозволялась мне в моей одиночке, — в общих камерах все должны подниматься и выстраиваться при входе «поверки».

Первый звук, который я услышал, одеваясь, был долгий, гулкий, протяжный свисток, доносившийся с реки в мою открытую на ночь форточку...

В ссылке

В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы выгрузились. Нас провели в избу. В Сибири — в Минусинском округе — крестьяне очень чисто живут, полы устланы пестрыми самотканными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. В избу набились все хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец, вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал, что это Оскар Александрович (ссыльный рабочий питерский) пришел пьяный и все книги у него разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь.

Поправился Ильич, дышал прямо здоровьем.

В Шуше из ссыльных было только двое рабочих — лодзинский социал-демократ, шляпочник, поляк Проминский с женой и шестью ребятами и путиловский рабочий Энгберг, финн по национальности. Оба — очень хорошие товарищи. Проминский был спокойным, уравновешенным, но очень твердым человеком. Он мало читал и немного знал, но обладал замечательно ярко выраженным классовым инстинктом. К своей верующей тогда жене он относился спокойно-насмешливо, страстно любил охоту, по праздникам одевался в праздничную одежду и на лице его появлялась какая-то особенно сияющая улыбка. Он очень хорошо пел польские революционные песни: «Zudu rodoczy, poznai swoie sily», «Pierwszy mai»[1] и целый ряд других. Дети подпевали ему. Присоединялся к хору и Владимир Ильич, очень охотно и много певший в Сибири. Пел Проминский и русские революционные песни, которым учил его Владимир Ильич. Проминский собирался назад в Польшу на работу и погубил несметное количество зайчишек, чтобы заготовить мех на шубки детям. Но добраться до Польши ему так и не удалось. Перебрался с семьей только поближе к Красноярску и служил на железной дороге. Дети выросли. Сам он стал коммунистом, коммунисткой стала пани Проминская, коммунистами стали дети. Один убит на войне. Другой чуть не погиб во время гражданской войны; теперь в Чите. В 1923 только году выбрался Проминский в Польшу, но по дороге умер от сыпного тифа.

Другой рабочий был совсем иного типа. Молодой, он был сослан за забастовку и за буйное поведение во время нее. Он много читал всякой всячины, но о социализме имел самое смутное представление. Раз приходит из волости и рассказывает: «Новый писарь приехал, сошлись мы с ним в убеждениях». — «То-есть?» — спрашиваю. — «Да и он и я против революции». Мы с Владимиром Ильичем так и ахнули. На другой день я засела с ним за «Коммунистический манифест» (приходилось переводить с немецкого), и, одолев его, перешли к чтению «Капитала». Зашел как-то на занятия Проминский, сидит и посасывает трубочку. Я предлагаю какой-то вопрос по поводу прочитанного. Оскар не знает, что сказать, а Проминский спокойно так, улыбаючись, ответил на вопрос. На целую неделю бросил Оскар занятия. Но так парень хороший был. Больше ссыльных в Шушенском не было. Владимир Ильич рассказывал, что он пробовал завести знакомство с учителем, но ничего не вышло. Учитель тянул к местной аристократии: попу, паре лавочников. Дулись они в карты и выпивали. К общественным вопросам интереса у учителя никакого не было. С этим учителем постоянно препирался старший сын Проминского, Леопольд, тогда уже сочувствовавший социалистам.

Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, — Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, Журавлев был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он по природе революционер, протестант. Журавлев смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой несправедливостью. Он все куда-то уезжал и скоро помер от чахотки.

Другой знакомый Ильича был бедняк; с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был самый немудрый мужичонка — Сосипатычем его звали, — очень, впрочем, хорошо относившийся к Владимиру Ильичу и даривший ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.

Через Сосипатыча, через Журавлева Владимир Ильич изучал сибирскую де-

[1] «Рабочий народ», «Первое мая». (Прим. автора).

ревню. Он мне рассказывал как-то об одном своем разговоре с зажиточным мужиком, у которого он жил. У того батрак украл кожу. Мужик накрыл его у ручья и прикончил. Говорил Ильич по этому поводу о беспощадной жестокости мелкого собственника, о беспощадной эксплоатации им батраков. И правда, как каторжные работали сибирские батраки, отсыпаясь только по праздникам.

И еще был у Ильича способ изучать деревню. По воскресеньям он завел у себя юридическую консультацию. Он пользовался большой популярностью как юрист, так как помог одному рабочему, выгнанному с приисков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом выигранном деле быстро разнеслась среди крестьян. Приходили мужики и бабы и излагали свои беды. Владимир Ильич внимательно слушал и вникал во все, потом советовал. Раз пришел крестьянин за двадцать верст посоветоваться, как бы ему засудить зятя за то, что тот не позвал его на свадьбу, где здорово гуляли. «А теперь зять поднесет, если приедете к нему?». — «Теперь-то поднесет». И Владимир Ильич чуть не час убил, пока уговорил мужика с зятем помириться. Иногда совершенно нельзя было разобраться по рассказам, в чем дело, и потому Владимир Ильич всегда просил приносить ему копию с дела. Раз бык какого-то богатея забодал корову маломощной бабы. Волостной суд приговорил владельца быка заплатить бабе десять рублей. Баба протестовала решение и потребовала «копию» с дела. «Что тебе, копию с белой коровы, что ли?» — посмеялся над ней заседатель. Разгневанная баба прибежала жаловаться Владимиру Ильичу. Часто достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Ульянову, чтобы обидчик уступил.

Сибирскую деревню хорошо изучил Владимир Ильич, — он знал раньше деревню приволжскую. Рассказывал Ильич раз: «Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал было, да вижу — нельзя: отношения к мужикам ненормальные становятся».

Собственно говоря, заниматься юридическими делами Владимир Ильич не имел права как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные.

«Заседатель» — местный зажиточный крестьянин — больше заботился о том, чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы «его» ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья, и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не с'ест; как с'ест — покупали на неделю мяса. Работница во дворе, в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона Женьки, которую он выучил и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке. Так как у Зыряновых мужики часто напивались пьяными, да и семейным образом жизнь там была во многих отношениях неудобна, мы перебрались вскоре на другую квартиру — полдома с огородом наняли за четыре рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь хозяйству. И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом привыкла. В огороде выросла у нас всякая всячина — огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроила из двора сад — с'ездили в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство. Я выучила ее грамоте, и она украшала стены маминым директивами: «Никовды, никовды чай не выливай», вела дневник, где отмечала: «Были Оскар Александрович и Проминский. Пели «Пень», я тоже пела».

Появился детский элемент. Во дворе жил поселенец — латыш-катанщик. Было у него 14 детей, но выжил один Минька. Отец был горький пьяница. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное, бледное личико, ясные глазки и серьезный разговор. Стал он бывать у нас каждый день — не успеешь встать, а уже хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в большой шапке, материной теплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: «А вот и я». Знает, что души в нем не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. Забежит Минькина мать: «Миничка, не видал ты рубля?» — «Видел. Ну, посмотрел, валяется на столе, положил в коробку».

Когда мы уехали, захворал с горя Миняй. Теперь нет его уже в живых, а катанщик писал, просил отвести ему земли за Енисеем: «хочется на старости лет сытно пожить».

Наше хозяйственное обрастание все увеличивалось — завели котенка.

С утра мы брались с Владимиром Ильичем за перевод Вебба, который достал мне Струве. После обеда часа два переписывали в две руки «Развитие капитализма». Потом другая всякая работешка была.

Как-то прислал Потресов на две недели книжку Каутского против Бернштейна. Мы побросали все дела и перевели ее в срок — в две недели. Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завел себе штаны из чортовой кожи и в какие только болота ни залезал!

Живучи в Москве, Владимир Ильич тоже охотился иногда последние годы, но охотничий жар у него уж значительно поубыл. Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень заинтересовало Владимира Ильича. «Хитро придумано», — говорил он.

Устроили охотники так, что лиса выбежала прямо на Владимира Ильича, а он схватился за ружье, когда лиса, постояв с минуту и поглядев на него, быстро повернула в лес.

«Что же ты не стрелял?» — «Знаешь, уж очень красива она была».

Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке — каждый камешек, каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусниках и реки промерзают до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, можно было катить версты по две по гнущейся под ногами наледи. Все это страшно любил Владимир Ильич.

По вечерам Владимир Ильич обычно читал или книжки по философии — Гегеля, Канта, французских материалистов, а когда очень устанет — Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко: Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизнь не прочел ни одного романа. Я подивилась. Потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как-то ни разу об этом не заходил у нас разговор, и только в Сибири я узнала, что все это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, «Что делать?» Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу — переиздание в дешевых выпусках классиков. В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского.[1]

Два раза в неделю приходила почта. Переписка была обширная.

Приходили письма и книги из России. Писала подробно обо всем Анна Ильинична, писала из Питера. Писала, между прочим, Нина Александровна Струве мне о своем сынишке: «Уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим: поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу; он забавно так кланяется». Получили письма из далекой ссылки — из Туруханска от Мартова, из Орлова, Вятской губернии, от Потресова.

Но больше всего было писем от товарищей, разбросанных по соседним селам. Из Минусинска (Шушенское было в 50 верстах от него) писали Кржижановские, Старков; в 30 верстах, в Ермаковском, жили Лепешинский, Ванеев, Сильвин, Панин — товарищ Оскара; в 70 верстах, в Теси, жили Ленгник, Шаповалов, Барамзин; на сахарном заводе жил Курнатовский. Переписывались обо всем: о русских вестях, о планах на будущее, о книжках, о новых течениях, о философии. Переписывались и по шахматным делам, особенно с Лепешинским. Играли по переписке. Расставит шахматы Владимир Ильич и соображает. Одно время так увлекался, что вскрикивал даже во сне: «Если он конем сюда, то я турой туда».

И Владимир Ильич и Александр Ильич с детства играли с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира Ильича. «Сначала отец нас обыгрывал, — рассказывает Владимир Ильич, — потом мы с братом достали руководство к шахматной игре

[1] Чернышевского Владимир Ильич особенно любил. На одной из карточек Чернышевского имеется надпись рукой Владимира Ильича: родился тогда-то, умер в 1889 г. (Прим. автора).

и стали отца обыгрывать. Раз — мы наверху жили — встретил отца, идет из нашей комнаты со свечей в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел».

По возвращении в Россию Владимир Ильич бросил игру в шахматы. «Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе». А так как Владимир Ильич ничего не умел делать наполовину, не отдаваясь делу со всей страстью, то и на отдыхе и в эмиграции неохотно уже садился играть в шахматы. Владимир Ильич с ранней молодости умел отбрасывать то, что мешало. «Когда был гимназистом, стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил».

«Одно время, — рассказывал другой раз Владимир Ильич, — я очень увлекался латынью». — «Латынью?» — удивилась я. «Да, только мешать стало другим занятиям, бросил». Недавно только, читая «Леф», где разбирался стиль, строение речи Владимира Ильича, указывалось на сходство конструкции фразы у Владимира Ильича с конструкцией фразы римских ораторов — на сходство ораторских приемов, я поняла, почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей.

С товарищами по ссылке не только переписывались — иногда, хотя не часто, виделись.

Раз мы ездили к Курнатовскому. Был он очень хорошим товарищем, очень образованным марксистом, но тяжко сложилась его жизнь. Суровое детство с извергом отцом, потом ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой. На воле почти не работал, через месяц-другой влетал на долгие годы, жизни не знал. Осталась в памяти одна сценка. Идем мимо сахарного завода, где он служил. Идут две девочки — одна постарше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведро, младшая — со свеклой. «Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую», — сказал старшей девочке Курнатовский. Та только недоуменно посмотрела на него. Ездили мы еще в Тесь. Пришло как-то раз письмо от Кржижановских: «Исправник злится на тесинцев за какой-то протест и никуда не пускает. В Теси есть гора, интересная в геологическом отношении, напишите, что хотите ее исследовать». Владимир Ильич в шутку написал исправнику заявление, прося не только его пустить в Тесь, но в помощь ему и жену. Исправник прислал разрешение нарочным. Наняли двуколку с лошадью за три рубля — баба уверяла, что конь сильный, не «жоркий», овса ему мало надо, и покатили в Тесь. И хоть не «жоркий» конь стал у нас посередь дороги, но все же до Теси мы добрались. Владимир Ильич с Ленгником толковал о Канте, с Барамзиным — о казанских кружках. Ленгник, обладавший прекрасным голосом, пел нам; вообще от этой поездки осталось какое-то особенно хорошее воспоминание. Ездили пару раз в Ермаковское. Раз для принятия резолюции по поводу «кредо», — Ванеев был тяжело болен туберкулезом, умирал. Его кровать вынесли в большую комнату, где собрались все товарищи. Резолюция была принята единогласно. Другой раз ездили туда же, уже хоронить Ванеева.[1]

Из «декабристов» (так в шутку называли товарищей, арестованных в декабре 1895 г.) двое скоро выбыли из строя; сошедший в тюрьме с ума Запорожец и тяжко захворавший там Ванеев погибли, когда только-только еще начинало разгораться пламя рабочего движения.

На новый год ездили в Минусу, куда съехались все ссыльные с.-д. Были в Минусе и ссыльные народовольцы: Кон, Тырков и др., но они держались отдельно. Старики относились к социал-демократической молодежи недоверчиво: не верили в то, что это настоящие революционеры. На этой почве незадолго до моего приезда в село Шушенское в Минусинском уезде разыгралась ссыльная история. Был в Минусе ссыльный с.-д. Райчин, заграничник, связанный с группой «Освобождение труда». Он решил бежать. Достали ему денег на побег, день побега не был назначен. Но Райчин, получив деньги, пришел в очень нервное состояние и, не предупредив никого, бежал. Старики-народовольцы обвиняли с.-д., что те знали о побеге Райчина, но их, стариков, не предупредили, могли быть обыски, а они не «почистились». «История» росла, как снежный ком. Когда я приехала, Владимир Ильич рассказал мне про нее. «Нет хуже этих ссыльных историй, — говорил он, — они страшно затягивают, у стариков нервы больные, ведь чего только они не пережили, каторгу перенесли. Нельзя давать засасывать себя такими историями — вся работа впереди, нельзя себя ра-

[1] Похороны А. А. Ванеева состоялись 22 (10) сент. 1899 г.

страчивать на эти истории». И Владимир Ильич настаивал на разрыве со стариками. Помню собрание, на котором произошел разрыв. Решение о разрыве было принято раньше, надо было провести его по возможности безболезненно. Рвали потому, что надо было порвать, но рвали без злобы, с сожалением. Так потом и жили врозь.

В общем ссылка прошла неплохо. Это были годы серьезной учебы. По мере того как приближался срок окончания ссылки, все больше и больше думал Владимир Ильич о предстоящей работе. Из России вести приходили скупые: там рос и креп экономизм, партии на деле не было, типографии в России не было, попытка наладить издательство через Бунд не удалась. Между тем ограничиваться писанием популярных брошюр и не высказываться по основным вопросам ведения работы было более невозможно. В работе был величайший разброд, постоянные аресты делали невозможной всякую преемственность, люди договорились до «кредо», до идей «Рабочей мысли», помещавшей корреспонденции распропагандированного экономистами рабочего, писавшего: «Не надо нам, рабочим, никаких Марксов и Энгельсов...»

Л. Толстой где-то писал, что едущий первую половину дороги обычно думает о том, что он оставил, а вторую — о том, что ждет его впереди. Так и в ссылке. Первое время больше подводились итоги прошлого. Во второй половине больше думалось о том, что впереди. Владимир Ильич все пристальнее и пристальнее думал о том, что нужно делать, чтобы вывести партию из того состояния, в которое она пришла, что нужно делать, чтобы направить работу по надлежащему руслу, чтобы обеспечить правильное социал-демократическое руководство ею. С чего начать? В последний год ссылки зародился у Владимира Ильича тот организационный план, который он потом развил в «Искре», в брошюре «Что делать?» и в «Письме к товарищу». Начать дело с организации обще-русской газеты, поставить ее надо за границей, как можно теснее связать ее с русской работой, с российскими организациями, как можно лучше наладить транспорт. Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его с Кржижановским, со мной, списывался о нем с Мартовым и Потресовым, сговаривался с ними о поездке за границу. Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу. А тут еще нагрянули с обыском. Перехватили у кого-то квитанцию письма к Владимиру Ильичу. В письме была речь о памятнике Федосееву. Жандармы придрались к случаю, чтобы учинить обыск.[1] Письмо они нашли, оно оказалось очень невинным, пересмотрели переписку — и тоже ничего интересного не нашли. По старой питерской привычке, нелегальщину и нелегальную переписку мы держали особо. Правда, она лежала на нижней полке шкафа. Владимир Ильич подсунул жандармам стул, чтобы они начали обыск с верхних полок, где стояли разные статистические сборники, — и они так умаялись, что нижнюю полку и смотреть не стали, удовлетворившись моим заявлением, что там лишь моя педагогическая библиотека. Обыск сошел благополучно, но боязно было, чтобы не воспользовались предлогом и не накинули еще несколько лет ссылки. Побеги были еще тогда не так обычны, как позднее, — во всяком случае, это бы осложнило дело. Ведь прежде чем ехать за границу, нужно было провести большую организационную работу в России. Дело, однако, обошлось благополучно — срока не набавили.

В феврале 1900 г., когда кончился срок ссылки Владимира Ильича, мы двинулись в Россию. Рекой по ночам разливалась Паша, ставшая за два года настоящей красавицей; Минька суетился, перетаскивая к себе домой оставшуюся бумагу, карандаши, картинки и пр.; приходил Оскар Александрович, садился на кончик стула, видимо волновался, принес мне подарок — самодельную брошку в виде книги с надписью «Карл Маркс», в память моих занятий с ним по «Капиталу»; заглядывали то и дело в комнату хозяйка или соседка, недоумевала наша собака, что весь этот переполох должен означать, и ежеминутно отворяла носом все двери, чтобы удостовериться, все ли на месте; кашляла мама, возясь с укладкой; деловито увязывал книги Владимир Ильич.

Доехали до Минусы, где мы должны были захватить с собой Старкова и Ольгу Александровну Сильвину. Там уже собралась вся наша ссыльная братия. Было то настроение, которое бывает, когда кто-нибудь из ссыльных уезжает в Россию: каж-

[1] Обыск у Вл. И. был произведен 14(2) мая 1899 г. Письмо, о котором упоминает Н. К., было написано Ленину А. М. Ляховским из Верхоянска и получено Лениным в первых числах декабря 1899 г. ст. ст. Квитанция от этого письма была отобрана при обыске у И. М. Зобнина в марте месяце 1899 г.

дый думал, когда-то и куда он сам поедет, как будет работать. Владимир Ильич договорился уже раньше о совместной работе со всеми, кто вскоре тоже ехал в Россию, договорился о переписке с остающимися. Думали о России, а говорили так, о всякой пустяковине.

Барамзин подкармливал бутербродами Женьку, которая оставалась ему в наследство, но она не обращала на него внимания, лежала у маминых ног и не сводила с нее глаз, следя за каждым ее движением.

Наконец, урядившись в валенки, дохи и пр., двинулись в путь. Ехали на лошадях 300 верст по Енисею, день и ночь, благо луна светила во-всю. Владимир Ильич заботливо засупонивал меня и маму на каждой станции, осматривал, не забыли ли чего, шутил с озябшей Ольгой Александровной. Мчались во-всю, и Владимир Ильич — он ехал без дохи, уверял, что ему жарко в дохе, — засунув руки во взятую у мамы муфту, уносился мыслью в Россию, где можно будет поработать вволю.

А. С. Шаповалов

В царских тюрьмах и ссылке

Знакомство с Владимиром Ильичем

Стоял сибирский мороз градусов в сорок. Несмотря на то, что я был одет в овчинную короткую шубу с воротником, татарскую шапку с мехом внутрь, валенки и рукавицы с мехом внутрь, я порядочно промерз, «заколел», как говорят сибиряки, едва успев выехать в степь за Тесь.

Уже надвигались сумерки, когда я прибыл в Минусинск. Распрягши лошадь и поставив ее выстаиваться в сарай, я поднялся в квартиру во втором этаже, где жили Кржижановские и Старковы.

В клубах белого пара, который ворвался вслед за мной в теплую комнату, среди собравшихся товарищей я сразу заметил Владимира Ильича. Хотя видел его в первый раз, я его тотчас узнал по известной фотографии, на которой он снят по выходе из предварилки с Ванеевым, Кржижановским, Старковым и др. и которая в Теси всегда стояла на столе у Кржижановского.

Владимиру Ильичу исполнилось уже двадцать восемь лет. Он был полон сил и жизни. Наружностью он походил на молодого крестьянина. Лицо у него было простое, русское. Но глаза его сразу обличали необыкновенного человека. Они сияли умом. На губах играла характерная для него усмешка. Он сразу производил впечатление человека, любящего не фразы, а дело.

Засмотревшись на него, я совершенно забыл плотно захлопнуть двери, и белый пар и холод наполнили комнату.

— Да закрывайте наконец дверь, Сидорыч! Экий вы мямля, дверей затворить не можете! Батюшки, холоду-то напустили. Да снимайте ваш полушубок, шапку и рукавицы. Знакомьтесь с Владимиром Ильичем и садитесь обедать. Экий вы, право! — кричала на меня Зинаида Павловна, которая представляла полную противоположность своей приятельнице Надежде Константиновне Крупской. В то время, как последняя, бледная и скромная, чаще всего сидела молчаливо или тихо с кем-нибудь беседовала, первая, краснощекая, неугомонная, не могла спокойно усидеть на месте.

И теперь, видя, что окоченелыми руками я очень мешкотно закрываю двери, она, нетерпеливо оттолкнув меня от двери, ловко и быстро захлопнула ее, громко закричала:

— Экий медведь, право, этот Сидорыч! Да идите же к столу. Мы еще не обедали, поджидали вас.

Владимир Ильич сидел в центре за столом и, потирая руки и лукаво щуря глаза, наблюдал эту сцену.

Выслушав рассказ о моем революционном прошлом, узнав, что я принимал участие в работе подпольной народовольческой типографии, Владимир Ильич заинтересовался вопросом об устройстве наиболее идеального типа подпольного типографского станка, который обладал бы максимальной производительностью и в то же время был бы легок для переноски, мал размерами и удобен для прятания.

Владимир Ильич оказался хорошим охотником. В этот свой приезд в Минусинск

он принимал участие в охоте вместе с другими товарищами, к которым присоединилась и Зинаида Павловна, не желавшая отставать от компании. Он проявил также большое искусство в катании на коньках по наледи.[1]

Вообще, за что ни брался Владимир Ильич — шел ли он на охоту, катался ли на коньках, играл ли в шахматы, правил ли лошадьми, — все он делал умело, обстоятельно, и все у него спорилось.

Приезд Владимира Ильича в Тесь

В ссылке, когда особенно сильно начинала чувствоваться оторванность от всего живого мира, у каждого возникало сильное желание получить весточку от того или другого товарища.

Обыкновенно еще накануне, с вечера, я начинал думать, что принесет завтрашняя почта, приходившая дважды в неделю. Обычно ночью мне снился почтарь, погонявший ямщика, с кошовкой, доверху наваленной письмами. Проснувшись рано, я выходил на улицу. Обыкновенно только что начинало светать, тускнели и гасли звезды. Томимый жаждой писем, я с нетерпением ждал приезда почтаря. Заслышав его колокольчик, спешил в волость.

Однажды утром, летом 1899 года, почта запоздала, и я уже вторично прибежал в волость. Почтарь сидел за столом и откладывал казенные пакеты от частных писем с видом человека, которому до тошноты надоело это занятие. На мой вопрос, нет ли нам писем, он устало ответил:

— Да ничаво нет ни для тебя, Ликсандр Сидорыч, ни для твоих товарищев.

Видя, что я повернулся, чтобы уходить, он добавил:

— Да пошто ты, однако, уходишь, пошто так торопишься? Сел бы рядом со мной да покалякал, каки-таки у вас, сицилистов, новости.

Хоть я очень любил беседовать с крестьянами, но сообщение почтаря, что писем нет, так было неприятно, что мне было совсем не до разговора с ним. Попрощавшись, я вышел из волости, прошел мимо каталажки и начал было спускаться по скрипучим ступенькам крыльца волости.

Стояло чудное летнее утро. Избы, волостная площадь, церковь посредине ее — все тонуло в золотистых лучах солнца. Высоко в синем небе в погоне за мошками летали ласточки и стрижи. Над лежащими за селом полями, захлебываясь от радости жизни, пели в воздухе жаворонки. Доносился аромат степных трав. Я невольно задержался на крыльце волости.

Мое внимание вдруг привлекла к себе одноколка, показавшаяся из-за угла улицы. Кто бы это мог быть?

Седоки — мужчина и женщина — не могли быть крестьянами. Оба были одеты в городские костюмы. «Не новые ли это ссыльные?» — явилась у меня мысль, но, всмотревшись внимательнее, я торопливо побежал навстречу одноколке. В седоке я, к своей радости, узнал Владимира Ильича, а в его спутнице — Надежду Константиновну.

Очень часто товарищи своим неумением управлять лошадьми вызывали со стороны крестьян улыбки.

Нечто подобное я ожидал встретить и по отношению к Владимиру Ильичу со стороны крестьян, но при виде того, как он умело правит лошадью, должен был приятно разочароваться.

Первой меня узнала Надежда Константиновна.

— Володя, — услыхал я, — ведь это Александр Сидорович.

У Надежды Константиновны было необыкновенно милое, симпатичное лицо, которое делалось еще привлекательнее, когда она улыбалась.

— Здравствуйте, Александр Сидорович. Как хорошо, что мы вас встретили. Куда это вы?

— Едемте ко мне, — сказал я. — Во-первых, это в двух шагах отсюда, во-вторых, у меня хорошая хозяйка, лошадь не украдут, и, наконец, Фридрих Вильгельмович и Егор Васильевич ушли еще вчера с вечера на охоту и вернутся вечером.

Я жил в это время у крестьянки Ветвиновой, на другом конце площади, где находилась волость.

---

[1] Наледь — вода, выступающая на реке сквозь трещины льда, замерзающая в виде гладкой поверхности. Она часто появляется на Енисее и его притоках.

Переехав наискось площадь, я ввел Владимира Ильича и Надежду Константиновну в свою комнату, указал им воду для умыванья, чистое полотенце, заказал чаю и шаньги, а сам вышел распрягать коня. Привязав его к углу двора выстаиваться и откатив одноколку в сторону, чтобы не мешала на дворе, я сбегал в квартиры товарищей Ленгника и Барамзина и оставил у каждого в комнате по записке с известием о приезде Владимира Ильича и Надежды Константиновны.

Когда я вернулся в свою комнату, хозяйка уже вносила кипящий самовар и большое блюдо с только что испеченными горячими, румяными шаньгами. Владимир Ильич и Надежда Константиновна, умывшись с дороги, сидели перед столом, рассматривая мои книги и тетрадь, в которую я вносил свои заметки, выдержки из прочитанных книг, цитаты, цифровой материал и прочее. В той же тетради было переписано множество революционных гимнов и стихотворений наших русских поэтов.

Заваривая кирпичный чай, настолько твердый, что его приходилось крошить предварительно большим ножом и даже топором, я заметил, что на лице Владимира Ильича показалась обычная улыбка удовольствия, когда он увидел у меня первый том «Капитала» Маркса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, «К развитию монистического взгляда на историю» Бельтова (Плеханова), которые я читал и перечитывал.

Просматривая мою тетрадь и наткнувшись в ней на стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая», он вдруг сказал:

— Как, и это стихотворение у вас записано? — в его голосе слышался оттенок удивления. — А это что? — переспросил он вдруг, указывая на другую тетрадь, где был переписан от руки «Манифест коммунистической партии». — Это вы сами переписали? Откуда достали перевод?

— Нет, не я, — ответил я. — Это перевод Старкова и его жены.

— Вот как. Это интересно, — сказал Владимир Ильич.

— Володя, Володя, — произнесла Надежда Константиновна, — смотри, Александр Сидорович немецким языком занимается, даже « Neue Zeit » читает. Скажите, — обратилась она ко мне, — ведь вы часто в немецко-русский словарь заглядываете?

— Нет, — ответил я, движимый каким-то ложным стыдом, мешавшим мне сознаться, что немецкий язык мне дается с чрезвычайным трудом, и что если я читал «Neue Zeit», то почти не выпуская из рук немецко-русского словаря. И я сказал неправду: — Нет не часто. — При этом мне сделалось так совестно, что краска стыда залила лицо. Я покраснел до ушей.

— А я, — ответил в свою очередь Владимир Ильич просто, но с оттенком грусти, — я так часто прибегаю к помощи словаря.

От этих слов, в которых сказалась свойственная Владимиру Ильичу его необыкновенная скромность, я еще больше смешался и покраснел. Я желал бы провалиться сквозь землю. К счастью для меня, вошла хозяйка и вслед за ней только что вернувшиеся из поездки на озеро Ленгник и Барамзин.

Мы направились к Егору Васильевичу Барамзину, у которого комната была больше и изолированнее от посторонних ушей и вообще удобнее для разговоров. В то время и в ссылке нужно было прилагать все старания, чтобы речь революционера не доходила до ушей жандармов.

Накануне от'езда Владимира Ильича мы все взобрались на Георгиевскую гору. Отсюда, когда смотришь на восток, открывается вид на реку Тубу с ее рукавами и островами, и она кажется сверху светлой извилистой лентой, упавшей между двумя грядами гор, нависшими над тубинской долиной. Когда посмотришь на юг, видишь огромное предгорье Саянского хребта. Горы, как огромные внезапно застывшие волны, становясь чем дальше, тем выше, громоздятся одна за другой и уходят вдаль, где на горизонте видны иногда снеговые вершины самых высоких хребтов. Но это бывает сравнительно редко. «Как кому повезет», — сказал однажды Ефимов, с огромным трудом добравшийся до вершины гор. Но Владимиру Ильичу всегда и во всем, видимо, везло. Повезло и на этот раз. Как будто для него, когда солнце склонялось к закату, горизонт вдруг очистился, и перед нашими изумленными глазами проступили сквозь голубую мглу блестевшие снеговые вершины этих далеких гор. Я лично всегда ловил этот момент, я не отрывал глаз от прекрасной картины, и, слушая, что говорят товарищи, старался представить себе Енисей, ревущий в своих порогах, среди нависших над ними диких, гигантских, громадных скал. Я видел, как по этому

страшно крутому спаду воды, лавируя среди камней и водоворотов, плывут на плотах смелые сибирские крестьяне. Но тверд рулевой, зорко смотрит вперед. «Держись!» — раздается сигнал. Все хватаются за бревна. Плот летит вниз в водяную пропасть. На миг всех покрывает вода, на миг все прощаются с жизнью. Но плот, как пробка, выскакивает из воды, и опять все зорко смотрят вперед, ибо впереди еще пороги, еще скалы, которые при крутых поворотах бешеной реки вдруг нависают над головой и грозят страшной гибелью смельчакам. «И революционеры такие же смельчаки, — думал я, — и их, как этих плотовщиков, каждый день ожидает гибель. Но хорош рулевой у нас — Владимир Ильич. Зорок у него глаз, верна рука, на него можно положиться».

— Ну, товарищи, — услышал я его голос, — завтра я уезжаю.

— Как жаль, — сказал с грустью Ленгник, — как миг пролетели эти три дня.

— Правильна французская поговорка: «столкновение мнений рождает истину»,— вставил Барамзин. — В спорах с вами мы обрели, в особенности я, истину, которой теперь мы будем служить.

На другое утро Владимир Ильич уехал обратно в село Шушенское. После его от'езда я часто вспоминал речи товарищей, что лишь марксизм выведет человечество из тупика, «из царства необходимости в царство свободы», как писал Фридрих Энгельс.

Поездка в село Ермаковское

Вскоре после посещения Владимиром Ильичем Теси все политические ссыльные марксисты с'ехались в селе Ермаковском, Минусинского уезда, где жил больной, в последней стадии туберкулеза, Ванеев, для обсуждения известного «Кредо» Кусковой и выявления своего отношения к нему. Это было летом 1899 года.

Мы, тесинцы (Ленгник, Барамзин и я), выехали сначала в город Минусинск. Здесь, получив от минусинского исправника разрешение навестить больного Ванеева, мы вместе с Кржижановским, Невзоровой и Старковыми направились сначала в село Шушенское, где жил Владимир Ильич.

Владимир Ильич во время нашего приезда снимал у крестьянина Петрова отдельную избу. Кроме Надежды Константиновны, с ними жила мать последней, Елизавета Васильевна Крупская, очень милая старушка. Насколько я помню, почти половину избы занимали огромные полки с книгами. Толстые, тонкие, переплетенные и непереплетенные книги выглядывали с полок, занимая всю стену от низу до потолка и как бы говоря, что здесь они почетные гости у хозяина. Остальная обстановка комнаты была обыкновенная — сибирско-крестьянская.

В селе Шушенском мы заночевали. Я провел ночь у Оскара Энберга, рабочего-финна с Путиловского завода из Питера. Он жил у крестьянина Ермолаева, Ивана Осиповича, сопровождавшего Владимира Ильича на охоту. Дом помещался в проулке, выходившем с улицы, на которой жил Ленин, к протоке реки Енисея, на берегу которого расположено село Шушенское.

Село Шушенское — старое село. Немецкий ученый Паллас, физик-натуралист, исследователь Урала, Каспия, Алтая, познакомился с Минусинским краем еще до Великой французской революции, в 1771—1772 году, и упоминает в своих сочинениях деревню Шушенскую, насчитывавшую при нем тридцать один двор. Селом Шушенское об'явлено указом 1793 года, после сооружения в нем церкви. Характерно для царского режима — начальная школа построена была в нем лишь в 1860 году. Село Шушенское издавна служило местом ссылки. Сюда ссылались декабристы, петрашевцы, поляки за восстания 1830 и 1863 годов. Вслед за поляками начали приходить в ссылку в Минусинский округ народники, народовольцы и, наконец, социал-демократы марксисты во главе с Лениным.

На другой день я побывал у другого, жившего там, рабочего поляка, ткача из Жирардова, товарища Проминского.

Длинный рабочий день на Путиловском заводе и на фабриках Жирардова и общие тяжелые условия жизни рабочего наложили на Энберга и Проминского свой отпечаток. У них не была развита привычка к систематическому чтению. Они ее только приобретали под руководством Владимира Ильича и Надежды Константиновны.

Переночевав в Шушенском, на другой день вместе с Владимиром Ильичем, на нескольких телегах мы двинулись из степного села Шушенского в таежное село Ермаковское, где в то время жили Ванеев с женой, Курнатовский, Сильвин, П. Н. и

О. Б. Лепешинские и Панин. После долгих сборов и обычной в таких случаях суеты мы наконец уселись на телеги и двинулись в путь по пыльным улицам села под любопытными взглядами крестьян.

В селе Ермаковском обедали, пили чай на квартире Лепешинских, делились обычными впечатлениями. Так как их квартира находилась слишком на глазах начальства, в центре села, на церковной площади, то для обсуждения вопроса о «кредо» экономистов решили поискать другую. Лучшей квартирой для собрания оказалась квартира Панина, помещавшаяся не в центре, а на самом краю села, вдали от зоркого ока сельского начальства. Панин жил в доме крестьянина Целикова по Большой улице, ныне улица Карла Маркса, дом № 12. Здесь нам никто не мешал. Хозяева на лето выезжали на свою заимку, оставляя дома полуглухую старуху.

В книге Лепешинского «На повороте» указывается, что это совещание происходило на квартире Ванеева, между тем как в действительности резолюция была принята на квартире у Панина, после чего мы группой зашли к тяжело больному Ванееву и информировали его о принятии резолюции, к которой он присоединился.

Насколько я помню, в этой резолюции было одно место, где указывалось на прямое родство идей «кредо» Кусковой с идеями, развитыми в книге Бернштейна.

Это место Владимир Ильич согласился очень неохотно выкинуть после речи Ленгника. Последний заявил, что, присоединяясь всецело к резолюции Владимира Ильича и разделяя безусловно его точку зрения, он находит, что было бы рискованно выносить суждение о родстве «кредо» экономистов с «теорией» Бернштейна, ссылаясь на книгу Бернштейна, которая тогда только что вышла из печати и в России была известна лишь по отзывам заграничной прессы.

Ленгник тогда не допускал мысли, чтобы такой видный ученик Карла Маркса, знавший его лично, каким являлся Бернштейн, дошел до того опошления теории своего учителя, которое оказалось у Бернштейна в действительности, и, полагая, что здесь могло быть преувеличение, просил Владимира Ильича быть осторожнее в ссылках на Бернштейна.

Владимир Ильич, понявший на основании отзывов заграничной прессы, что Бернштейн зашел уж очень далеко в борьбе с учением Маркса, заявил, что, выкидывая это место по требованию Ленгника, он остается при своем мнении в вопросе о родстве идей Бернштейна с «кредо» Кусковой.

Теперь истекло уже тридцать семь лет со времени принятия этой резолюции ссыльными революционными марксистами Минусинского уезда. Владимир Ильич и тогда оказался во всем прав.

Струве, против которого Владимир Ильич выступал еще до своего ареста в 1895 году, скатился в настоящее время до монархизма, боролся против советской власти в рядах белогвардейцев и ныне находится в их лагере.

Госпожа Кускова, выступавшая со своим «кредо», против которого так резко ополчился Владимир Ильич, в настоящее время работает в контрреволюционной белогвардейской прессе за границей и не перестает клеветать и науськивать буржуазию на Советский Союз.

Резолюцию Владимира Ильича, вошедшую в историю нашей партии под названием «Протест 17-ти», подписали следующие товарищи: В. И. Ленин (Ульянов), Н. К. Крупская, Г. М. Кржижановский, З. П. Невзорова, П. Н. Лепешинский, В. К. Курнатовский, Н. Н. Панин, Оскар Энберг, О. Б. Лепешинская, В. В. Старков, А. А. Ванеев, А. М. Старкова, Е. В. Барамзин, А. С. Шаповалов, М. А. Сильвин, Ф. В. Ленгник, Д. В. Ванеева.

Обыск у Ленина

Однажды у Владимира Ильича в селе Шушенском жандармы произвели обыск.

— Знаете, у нас был обыск, — сказала Надежда Константиновна, когда Курнатовский, Ленгник, Барамзин, Лепешинский и я приехали к Владимиру Ильичу в село Шушенское.

— Что же, нашли что-нибудь? — воскликнул испуганно Ленгник, зная, что у Владимира Ильича водилась запрещенная правительством нелегальная литература.

— Да нет, — радостно ответила Надежда Константиновна, — нас моя мама спасла.

— Как же это все произошло? — спросил Курнатовский. — Расскажите.

— Мы ведь поздно ложимся, — начала Надежда Константиновна. — По обыкновению, Володя много читал и писал. Наконец, часа в два мы погасили свет, вдруг слышим — стучат. «Кто там?» — громко спросил Володя. — «Из волостн пришли. Отворяйте сейчас. Дело спешное, отворяйте!» — «А вдруг обыск?» — сказала я Володе. Мы быстро оделись, осмотрелись. Как будто все спрятано. Так как стук продолжался, мы принуждены были открыть дверь. На пороге показался жандарм с товарищем прокурора. Сразу поняли мы, в чем дело, и в тот же момент я пришла в ужас, вспомнив, что нелегальщина осталась в горшке из-под молока, заткнутом тряпкой и стоящим на этажерке с книгами. Но моя мама нашлась. В то время, когда я стояла, оцепенев от испуга и не двигаясь, пока Володя разглядывал распоряжение жандармского управления об обыске у Владимира Ильича Ульянова, она, подойдя к полкам с книгами, на которых уже начали рыться жандармы, сказала:

— Ах, я старая дура, ах, батюшки, горшок я свой здесь забыла. Наверно, он вам мешает. Дайте-ка мне его.

Обманутый наивностью тона, звучавшей в словах матери Надежды Константиновны, жандарм, не подозревая обмана, отдал ей горшок. Тотчас, придя в кухню и быстро разведя огонь, она сожгла все содержимое горшка.

Таким образом, жандармы, ничего не найдя у Владимира Ильича, уехали не солоно хлебавши. Но если бы не она, и жандармы нашли бы нелегальную литературу, срок ссылки Владимиру Ильичу наверно был бы прибавлен.

В. Швейцер

В Туруханской ссылке

(Из воспоминаний)

У Полярного круга, там, где зима длится восемь-девять месяцев, и ночь тянется круглые сутки, там, где никогда не произрастали хлеба и овощи, где тундра и лес были убежищем для диких зверей, где только олени и лоси находили себе простор — там, где человек при 65-градусном морозе ютился в юрте, а простая теплая избушка являлась уже привилегией более счастливых людей, — там, в глуши Туруханского края, в Курейке, жил в ссылке Иосиф Виссарионович Сталин.

Сейчас, когда советская власть внесла в глушь тундры свою культуру и развернула там колоссальное строительство, нам не узнать этого заброшенного когда-то уголка. Я вспоминаю прошлое и переношусь мыслями в далекие дни старой царской ссылки, чтобы рассказать, в каких трудных условиях там жил и работал товарищ Сталин.

***

В туруханскую ссылку товарищ Сталин приехал в середине 1913 года. В департаменте полиции он числился «бегуном», потому что редко задерживался в ссылках больше двух-трех месяцев. На этот раз, чтобы Сталин не мог убежать, его «запрятали» в Курейку. Условия Туруханского края для побега были неимоверно тяжелы. Три месяца в году там распутица. Все движение и летом и зимой шло только по Енисею, и никаких других дорог не было. Осенью приходилось ждать полтора месяца, пока устанавливался санный путь, по которому, однако, можно было передвигаться только на собаках и оленях в легких нартах. Снегу наваливало почти в рост человека. А весной, когда начинал рыхлеть снег и таять лед Енисея, даже и та легкая снасть в упряжке собак не помогала, — движение прекращалось.

Три месяца в году Курейка была совершенно оторвана от жизни: обрывалась всякая связь. За все лето туда пробирался только один рейс пароходов.

Организация побега была настолько сложна, что она требовала не менее года. На этот раз т. Сталин решил остаться в ссылке. Там он продолжал работу по национальному вопросу, заканчивал вторую часть своей книги. Первая часть ее была одобрена товарищем Лениным.

В туруханскую ссылку, как в самую глухую и дикую местность, обычно направляли только уголовников, но в последнее время стали посылать туда и политических ссыльных: хотели изолировать их подальше от революционного огня, кото-

рым горела вся царская Россия. Не случайно в туруханской ссылке очутилась группа большевиков — членов ЦК: товарищи Сталин, Спандарян, Свердлов. Это были те члены ЦК, которым было поручено работать в России, так называемая «русская группа ЦК РСДРП большевиков». Возглавлял ее товарищ Сталин.

Нужно отметить, что в туруханской ссылке было много видных работников большевистских организаций. Русская группа Центрального комитета продолжала свою работу и в туруханской ссылке, поддерживая связь с Ильичем и с периферией большевистских организаций России. Шла горячая перекличка как с подпольными организациями, так и с отдельными товарищами, работавшими на воле среди рабочих и в армии. Для этого были использованы всевозможные оказии — передавали и получали письма через этапников, через матросов, капитанов пароходов, лодочников, а иногда даже через купцов. Тщательно старались их зашифровывать; каждое такое письмо переходило через целый ряд конспиративных квартир, лиц и адресов, пока не попадало в организацию, где этот документ получал свое распространение. Трудно было работать в условиях ссылки, когда за каждым следили по пятам, когда ссыльные были разбросаны по разным местам туруханской пустыни по станам[1], на расстоянии от пятидесяти до ста пятидесяти километров.

Тов. Сталин часто наезжал в село Монастырское, куда стекались ссыльные. Он пользовался для этого как нелегальными путями, так и всякими легальными предлогами, придумывая каждый раз какой-нибудь повод для поездки, и таким способом он проводил подпольную работу.

**
*

1914 год. Разразилась империалистическая война. Большевики вырабатывали тактику своего отношения к войне. В ссылке шли горячие споры. Товарищ Сталин дал твердую установку против войны. Он клеймил социал-предателей-меньшевиков, захлебывавшихся в «патриотических» чувствах к феодально-буржуазному отечеству угнетателей, и противопоставлял их лозунгу «защита отечества» лозунг «поражение царской монархии». В эти знаменательные исторические дни, когда выковывалась ленинская линия в вопросе о войне, в ссылке некоторые товарищи не сумели дать правильную оценку событиям, колебались в своих отношениях к войне. Но так велик был авторитет товарища Сталина среди большевиков, что первое его письмо к ссыльным положило конец сомнениям и отрезвило колеблющихся.

Особенно волнующим моментом в обстановке ссылки было получение указаний Ленина. На пути в туруханскую ссылку я получила в Красноярске первоначальный текст тезисов Ленина о войне. Мне их принесли с конспиративной квартиры, в адрес которой Надежда Константиновна направляла письма Ильича. Я передала эти тезисы товарищу Сталину, который в это время находился в селе Монастырском и жил у Сурена Спандаряна[2]. Эти семь тезисов Ленина о войне показали, что товарищ Сталин безошибочно стал на правильную ленинскую позицию в оценке сложного исторического момента. Трудно передать, с каким чувством радости, уверенности и торжества т. Сталин читал тезисы Ленина, которые подтверждали его мысли и были залогом победы революции в России. Большевики не раз в трудные моменты подполья шли за Сталиным, зная, что он не ошибется, верили в революционное чутье лучшего ученика Ленина.

**
*

Ссылка долго не имела писем от Ленина.

Тайком от стражников, зимой, мы вместе с Суреном Спандаряном поехали в Курейку к Сталину. Нужно было разрешить ряд вопросов, связанных с происходившим тогда судом над думской фракцией большевиков и с внутрипартийными делами. Это были дни, слитые с ночами в одну бесконечную полярную ночь, пронизанную жестокими морозами. Мы мчались на собаках по Енисею, без остановки, через безлюдное пространство, отделявшее Монастырское от Курейки пролетом в двести километров, мчались под несмолкаемый вой волков.

Приехали в Курейку. Разыскали избушку, в которой жил т. Сталин. Среди пят-

---

[1] Так называлось каждое населенное место Туруханки.

[2] Сурен Спандарян — один из крупных организаторов рабочего движения на Кавказе и близкий товарищ Сталина по подпольной большевистской работе. Умер в ссылке в 1916 г.

надцати домишек Курейки это была самая бедная лачуга: сени, кухня, где ютилась семья хозяина, и комната Сталина — вот и все.

Нашему неожиданному приезду т. Сталин был необычайно рад и проявил большую заботливость о «полярных путешественниках». Чтобы угостить нас получше, он первым делом побежал к Енисею, к проруби, в которой был погружен его «самолов» (веревка с большим крючком для ловли рыбы). Через несколько минут мы увидели т. Сталина с огромным трехпудовым осетром на плече. Под руководством «опытного рыболова» мы быстро расправились с осетром, приготовили икру и сварили уху. И тут же, во время дружной работы, шла наша горячая беседа о партийных делах. В самой обстановке комнаты чувствовалось, как напряженно работали мысли Сталина, нисколько в то же время не отрываясь от реальных условий окружающей жизни. Стол был завален книгами и большими пачками газет, а в углу на веревке висели разные снасти, рыболовные и охотничьи, собственного изделия.

Тов. Сталин проявлял внимание и интерес к жизни местного населения. Часто захаживали к нему остяки: придет такой гость, сядет, не говоря ни слова, задымит трубкой и долго-долго сосет ее, поглядывая искоса с доверием и интересом на «большого» нового человека. Таков прием дружеского общения у северян. Заходили также и крестьяне-сибиряки за советом и помощью. Царская Россия держала их под гнетом хищной эксплоатации скупщиков и купцов, русских и иностранных, и не давала им никаких возможностей вырваться из условий темного, полуголодного существования. Источником этой скудной жизни был тяжелый труд рыбака и зверолова. Всю крупную добычу они сдавали скупщикам, а сами питались мелкой рыбешкой и одевались в меховые лохмотья. Вырученных денег едва хватало на покупку хлеба у тех же купцов.

***

Летом в туруханскую ссылку с первым этапом прибыли осужденные депутаты Государственной думы.

В Монастырское приехал тов. Сталин. Собрались большевики Туруханки. Фактически это было историческое заседание русской группы ЦК РСДРП большевиков в ссылке. Нужно было дать политическую оценку событиям. Ее и дал товарищ Сталин в своем выступлении на этом заседании. Он указал, что процесс над фракцией большевиков, осужденных за открытое выступление против войны с думской трибуны, имел огромное значение для дела революции. Четкая сталинская оценка легла в основу резолюции, принятой на заседании. Эта резолюция была разослана в большевистские организации и стала одним из руководящих документов в то время. Позднее, когда мы получили номер «Социал-демократа» со статьей Ленина «Что доказал суд над РСДР фракцией», мы увидели полное единство взглядов Ленина и Сталина в характеристике положения и задачах партии.

Таковы отдельные штрихи из большевистского прошлого туруханской ссылки.

Н. Ростов

Жизнь Костюшко-Волюжанича

Ссылка в Якутскую область считалась самым тяжелым наказанием. Огромный край, расположенный за Полярным кругом, представлял собой громадную необ'ятную тюрьму без решеток, молчаливо угрюмую, страшную своей нелюдимостью. Суровый климат, неприглядная природа, оторванность от культурного мира — все это делало жизнь ссыльных безнадежно мучительной. Ни один край ссылки не знал такого огромного количества самоубийств, как Якутка. Подавляющее большинство населения края не имело никакого представления о минимальных культурных условиях человеческого существования. Обыкновенная крестьянская изба была в Якутке большой редкостью. Люди жили в юртах, небольших хижинах, имевших вид усеченной пирамиды. Боковые стены юрты делались из досок и снаружи обмазывались толстым слоем глины, смешанной с навозом. Плоская крыша покрывалась дерном. Свет в юрту проникал через маленькое отверстие, которое зимой закрывалось льдиной. Посреди земляного пола устанавливался камелек. В юртах жили не только люди, но и скот,

отчего воздух в них всегда был невыносимо тяжелый. В этих юртах приходилось селиться и ссыльным. Разбросанные на необозримом пространстве небольшими группами, а то и в одиночку, ссыльные встречались друг с другом, преодолевая для этого совершенно невероятные трудности. Отлучки ссыльных из улусов были обыкновенным явлением. Так было до назначения генерал-губернатором края графа Кутайсова. Ревностный сторонник министра внутренних дел фон-Плеве, Кутайсов обрушился на политических ссыльных Восточной Сибири целым градом репрессий, ухудшивших и без того нерадостную жизнь. Ссыльным были запрещены отлучки с места прописки. Этим Кутайсов стремился разобщить ссыльных, лишить их какой бы то ни было общественной жизни. За самовольные отлучки людей стали ссылать в самые гиблые места. Приказы Кутайсова проводились в жизнь со свирепой беспощадностью и не замедлили завершиться трагической развязкой.

Лена сильно разлилась. Антон вместе с Таней сели на паузок, чтобы плыть вниз, к Якутску. После долгих месяцев тюрьмы и этапов Антон мог проводить целые дни с Таней. В тюрьме она исхудала, побледнела. На вольном воздухе, среди огромного водного простора, краска снова появилась на ее щеках и глаза попрежнему засверкали бодростью. Она радовалась предстоящей совместной жизни, хотя со слов Антона знала о всех муках и трудностях ссылки. Часами она любовалась величаво дикой и безлюдной Леной. Ее поражали огромные красные утесы левого берега, свешивавшиеся прямо над водой, и бескрайняя зелень тайги правого берега. Причудливо извивавшайся среди скал Лена медленно несла свои воды к океану. Плыли днем и ночью. В темноте тишина еще более сгущалась. Фантастические очертания берегов рельефно выделялись на светлом небе, густо усеянном ярко горевшими звездами, отражавшимися в черной глуби реки. Все стихало на паузке, тихо было и на Лене, только с берега доносился гул тайги да редкое завывание зверя. Жилых мест в округе было так мало, что люди с тоской мечтали о дальнем огоньке. После двухмесячного плавания партия прибыла в Якутск. Антон с Таней получили назначение в Намский улус. Пробыв там несколько дней, Антон вернулся обратно в город и заявил исправнику, что желает поселиться в Тулугинском выселке, в селе Марха. После некоторых препирательств исправник согласился.

Царское правительство ссылало в Якутскую область также сектантов. Обыкновенно их направляли туда целыми селениями. На новом месте они всегда поселялись общинами, принося весь свой крестьянский уклад. Они строили избы с окнами и печами, обзаводились скотом. Сектантские поселения напоминали собой обыкновенные русские села и поэтому туда не помещали ссыльных. Но с осени 1903 года ссыльных было так много, что волей-неволей пришлось помещать их среди сектантов.

В Мархе жили сектанты. Вместе с Таней Антон поселился в маленьком домике, завел столярный инструмент и целыми днями работал, а Таня хозяйничала. Казалось, в их жизни наступил период покоя.

Осмотревшись на новом месте и ознакомившись с положением ссылки, Антон осенью не раз предлагал организовать массовый протест против политики графа Кутайсова. Но тогда почва для выступления не была готова. За зиму положение вещей резко изменилось к худшему. От угроз администрация перешла к насилиям и издевательствам над ссыльными. О необходимости протеста теперь громко говорила ссылка.

В феврале 1904 года Антон получил приглашение прибыть на совещание в село Маган. Он сразу понял, что речь будет итти о последних событиях в жизни ссыльных. Вечером Антон и Таня надели на себя все, что было теплого, и сели в сани.

Была ясная, тихая ночь. Сильный мороз сковывал тайгу, гремел орудийными раскатами по дальней реке и искрился сверкающим серебром на ветвях лиственниц. На холодном небе горели и переливались звезды. В тайге было тихо, лишь изредка, совсем близко раздавался испуганный лай лисицы, эхо которого долго скиталось потом меж деревьев, пока не замирало в морозной дали. Ехали молча — на якутском холоде не очень-то разговоришься. Маленькая лошадка, страшась мороза, быстро неслась по запорошенной тропе. В Маган прибыли, когда другие улусники уже были в сборе. Все они сидели вокруг стола за самоваром. Оживленная беседа была в разгаре. Недавно прибывший ссыльный рассказывал о последнем погроме в Усть-Куте. Проходившая партия отказалась следовать дальше, пока не разрешат свидание с местными товарищами. Отряд стражников, во главе с приставом, набросился на

ссыльных. Били мужчин, женщин, били кулаками, прикладами, шашками. Избитых связали веревками, в таком виде бросили в сани и везли восемнадцать верст.

Антон внимательно слушал этот рассказ. Глаза его горели гневом и возмущением. Он уже давно обдумывал план выступления ссыльных. Теперь он решил высказаться.

— По-моему, — начал он внешне спокойно, — лучшим ответом на все эти издевательства будет вооруженное восстание и захват власти в Якутске. Дело это совсем уж не такое трудное. Весь Якутский гарнизон состоит из 150 солдат. Из них половина отбывает всякого рода караулы. Вооружившись, напасть на гарнизон врасплох, разоружить посты. В какой-нибудь час-два все будет готово, и власть окажется в наших руках.

Он говорил это с такой уверенностью, что никто не усумнился в его готовности хоть сейчас стать во главе такого восстания.

— Хорошо, захватим власть, а что же будет дальше? — засыпали его вопросами.

— Пригонят из Иркутска войска и нашей республике будет крышка... — возражали другие.

Антон не сдавался.

— Поймите же, что только активностью, наступлением мы можем разбудить других, вызвать их на борьбу. Восстание в Якутске вызовет взрыв энтузиазма в других местах Сибири, а может быть и России. Как знать, не явится ли оно сигналом к другим восстаниям. Но помните, всякий пассивный протест обречен на неудачу.

Большинство иронически улыбалось, слушая Антона. В возможность восстания большинство не верило. Но на мучительный вопрос: как быть дальше — ответ требовался немедленный. Поэтому предлагали всевозможные планы борьбы, пока не остановились на одном, где, казалось, сочеталась активная борьба с пассивным сопротивлением. Решили — с'ехаться возможно большему количеству ссыльных в Якутск, забаррикадироваться в каком-либо доме и сидеть за баррикадами до тех пор, пока не будут отменены циркуляры Кутайсова.

Никто не мог себе представить, чем может кончиться подобное выступление, но все были уверены, что даром для ссылки оно не пройдет.

Антон в конце концов не стал возражать против подобного метода борьбы. Он был уверен, что помимо воли восставших события примут иной характер, выйдут за пределы одного дома.

Когда через два дня Антон приехал в Якутск, он нашел среди тамошних ссыльных такое же настроение, как и в Магане. В городе оказалось много товарищей, бежавших из улусов. Они категорически заявляли, что готовы на все, но в свои ужасные юрты больше не вернутся. На собраниях вопрос о необходимости протеста никем даже не ставился. Речь шла лишь о форме выступления. Антон и здесь пытался отстаивать идею вооруженного восстания, но натолкнулся на те же возражения. Большинство склонялось к плану, принятому в Магане.

По мере приближения грозных событий, началась дифференциация в среде самих ссыльных. В то время как пролетарская часть решительно отстаивала идею массовой борьбы, все толки мелкобуржуазного народничества открыто выступили против подобных предложений. Социалисты-революционеры не ограничились отказом участвовать в протесте. Они повели энергичную кампанию в среде ссыльных против подготовлявшегося выступления. 17 февраля состоялось последнее собрание. Были выработаны план вооруженного протеста и требования ссыльных, изложенные в виде письма к якутскому губернатору. Требования эти были очень скромны. Ссыльные добивались отправки отбывших срок в Европейскую Россию на казенный счет, отмены запрещения отлучек, отмены запрещений свиданий с товарищами, освобождения участников протеста от взысканий.

Как только окончательное решение стало известно, эсеровская группа обратилась к протестантам с письмом, за подписью своих виднейших представителей, прося отказаться от протеста. При этом они заявляли, что снимают с себя всякую ответственность за неизбежные тяжкие последствия для всех ссыльных.

Подобное письменное обращение, сделанное гласно, явилось для протестантов настоящим ударом в спину. Вот почему протестанты отвечали им, не скрывая своего гнева:

— С настоящего момента ни о какой вашей ответственности за наши поступки речи быть не может. Воспользоваться, в какой бы то ни было форме, помощью со стороны кого-либо из вас, было бы ниже нашего достоинства.

Этим закончилась борьба среди ссыльных. Одни продолжали вести агитацию против активной массовой борьбы, другие лихорадочно готовились к баррикадам завтрашнего дня. На широкой Портовской улице стоял большой, в полтора этажа, деревянный дом якута Романова. То был центр политических ссыльных, занимавших верхний этаж. В «Романовке» часто происходили собрания, там же была нелегальная явка, и вновь прибывшие получали конспиративные связи. Этот дом и был избран местом вооруженного протеста.

13 февраля, с утра началась бешеная работа по созданию форта. Одни за другими во двор в'езжали розвальни с хлебом, дровами, льдом, мясом. Десятки людей быстро все это разгружали и переносили наверх. По всем комнатам сновали люди, укладывали вещи, разбирали оружие. Часа в два приготовления были закончены и началось укрепление дома. Входные двери были забаррикадированы, некоторые окна наглухо забиты, у наиболее уязвимых мест устроены бойницы и поставлены вооруженные часовые. Все это было сделано на случай штурма и попытки вооруженной силой захватить здание. Заранее заготовленное и подписанное всеми участниками заявление на имя губернатора было передано по принадлежности.

Около пяти часов губернатор Чаплин и полицмейстер Березкин явились к «Романовке». Но все выходы были забаррикадированы и пройти в дом было нельзя. Переговоры поэтому велись в сенях. Губернатор настойчиво советовал ссыльным разойтись по домам и обратиться со своими требованиями к высшему начальству. Восставшие наотрез отказались, и Чаплин уехал ни с чем. В доме, главным образом под руководством Антона, продолжались энергичные приготовления на случай ночного штурма.

Но, проснувшись утром, «романовцы» увидели, что вокруг форта пустынно. Не было ни солдат, ни даже полицейских. Ясно стало, что Чаплину менее всего улыбалась перспектива ночного вооруженного захвата «Романовки». Вновь прибывшие из улусов ссыльные свободно проникали в форт. За день, таким образом, прибавилось тринадцать человек. Всего же в «Романовке» засело 57 человек. Среди вновь присоединившихся особое внимание обращал на себя поручик Владимир Бодневский, сосланный в Якутку на десять лет за пропаганду в войсках. В Якутск он прибыл с партией 17 февраля и провел на воле один только день. Узнав о выступлении группы ссыльных, Бодневский сразу присоединился к ним. Военный опыт и познания этого боевого офицера были использованы в деле обороны форта.

После присоединения новой группы, Чаплин понял свою ошибку, и на следующий день вокруг форта появилась вооруженная охрана. Никаких агрессивных действий она не предпринимала, ограничившись лишь блокадой.

Первые дни «романовцы» ожидали штурма. Поэтому продолжали энергично укреплять свой форт, внутри которого был создан правильный режим осажденного укрепления. Дом был разделен на два отделения. Начальниками обороны были Антон и Бодневский. Связь с внешним миром поддерживалась с помощью условных световых сигналов, которые принимались ссыльной, жившей напротив по той же улице. Вскоре удалось наладить правильную почту. У жившей в соседнем доме ссыльной была прекрасная собака «Иголкин», большая любительница карасей. Как только «Иголкин» показывался на крыльце, из «Романовки» ему показывали карася. «Иголкин» спокойно переходил улицу, входил во двор блокированного дома, где с него снималась скрывавшаяся под густой шерстью почта и привязывались ответы. Благодаря этой умной собаке, за все время существования форта поддерживались правильные сношения с волей.

Антон принял участие в выступлении только из чувства солидарности, подчиняясь большинству. Будучи избран в качестве одного из руководителей, он с большим рвением выполнял свои обязанности. Но в то же время он не скрывал своих взглядов, не раз высказывался за необходимость более активных действий.

26 февраля над «Романовкой» был поднят красный флаг. Во всей империи это было единственное место, где свободно и гордо реяло знамя революции. Оно видно было всему городу, и со всех концов толпы людей приходили смотреть на это невиданное зрелище. Появление красного флага начальство рассматривало как вызов и усилило блокаду.

Отправляясь на «Романовку», все участники выступления были уверены, что оно продлится несколько дней и завершится вооруженной схваткой. Предположение это не оправдалось. Власти ограничились одной блокадой. Продовольствие тем временем начало истощаться. Пришлось подумать о пополнении. Из форта в город ночью был отправлен разведчик, вернувшийся на следующий день. Из собранных им сведений стало ясно, что начальство готовится к действиям против «Романовки», намереваясь расстрелять дом с дальнего расстояния. Действительно, 24 февраля с дозорных пунктов сообщили о появлении солдат за монастырской стеной. Пришлось немедленно перестроить всю оборонительную систему. Вокруг всех стен были сооружены блиндажи, за которыми предстояло укрыться в случае обстрела. Губернатору было послано письменное заявление, в котором говорилось, что в блокаде протестанты видят намерение власти уморить их голодом. Но пусть знает губернатор, что они предпочтут гибель в бою голодной смерти. Поэтому они требовали снятия блокады. Если это требование не будет выполнено, протестанты сочтут себя вправе прибегнуть к самым крайним мерам, чтобы сделать ее недействительной.

На следующий день к «Романовке» явился полицмейстер Березкин и от имени губернатора предложил всем разойтись, обещая не привлекать никого к ответственности. Предложение было отвергнуто.

Тем временем нужда в хлебе настолько обострилась, что решено было сделать вылазку. Двум товарищам — Бодневскому и Лурье — было предложено во что бы то ни стало прорваться сквозь блокаду и вернуться с продовольствием. 1 марта эти товарищи ночью выбрались из форта, закупили нужное продовольствие и на двух лихих тройках ураганом, на глазах у онемевших солдат, ворвались во двор «Романовки». Эта смелая диверсия вызвала взрыв ликования среди осажденных. Но она же положила конец колебаниям властей. Со следующего дня блокировавшие дом воинские силы были усилены, солдаты стали вести себя явно вызывающе. Вокруг дома стали производиться военные приготовления. Ясно стало, что наступают решающие дни.

Ввиду тревожного положения, 2 марта было созвано общее собрание осажденных. Антон горячо призывал отказаться от обороны, перейти в наступление против войск, разогнав их вооруженной рукой. После шумных споров было решено об'явить губернатору, что если до 5 марта блокада не будет снята и бесчинства солдат не прекратятся, осажденные прибегнут к мерам вооруженной обороны. Но события разыгрались на следующий день.

Уже с вечера 3 марта солдаты начали закрывать ставни верхнего этажа. Около 3 часов 4 марта часовые сообщили, что солдаты закрывают ставни в кухне. Несколько человек бросились туда. Один из них пытался открыть окно, но получил удар по руке. Прибежавший на тревогу с ружьем в руках Курнатовский на ходу крикнул собравшимся:

— Стрелять?!

— Стреляйте! — ответило ему несколько голосов.

Курнатовский прицелился и произвел два выстрела. Два солдата упали.

Через несколько часов по «Романовке» со всех сторон был открыт ожесточенный огонь. Пули пробивали местами стены. В разгар огня выстрелом в лоб был убит стоявший на посту Юрий Матлахов, а другой товарищ ранен.

Как только огонь прекратился, к дому прибыл губернатор. Вести с ним переговоры было поручено Антону и Теплову. Губернатор предложил немедленно сдаться. Теплов указал ему на провокацию солдат, следствием чего явились два выстрела.

— Даю вам полчаса на размышление, — заявил губернатор.

— Достаточно и пяти минут, — возразил Антон. — Наш ответ готов.

Губернатор остался. Через несколько минут от имени осажденных ему было заявлено, что они не разойдутся, пока не будут удовлетворены их требования.

— Имейте в виду, — пригрозил губернатор, — что в случае продолжения сопротивления, последствия будут ужасны.

Сейчас же вслед за первыми залпами к «Романовке» со всех концов сбежались толпы, главным образом, ссыльных. Реявший над домом красный флаг был спущен, к нему прикрепили черные ленты и снова подняли. В толпе послышались рыдания.

Вечером товарищи прощались с Юрием. В полумраке осажденного дома тело павшего на первых баррикадах товарища было поднято на руки и под звуки похоронного марша вынесено в холодный чулан.

В тот же день Чаплин сообщил Кутайсову о случившемся. Из этого сообщения видно, что приказ о стрельбе по дому был дан начальником команды капитаном Кудельским, который считал нужным дать по дому девять залпов, затем ворваться туда и уничтожить политических до последнего, ибо способа ареста их не находил. Кутайсов, увидя, как далеко зашло дело, не решился санкционировать это предложение, а обратился к фон-Плеве. Пока шла переписка, солдаты 5 марта снова обстреляли дом, ранив одного. Небольшие потери ссыльных об'ясняются хорошим устройством блиндажей. Во время обстрела все ложились на пол за прикрытия и в таком положении оставались до прекращения огня.

6 марта произошел наиболее жестокий обстрел дома. В разгар боя Антон на своем посту был тяжело ранен в живот. Пуля прошла снаружи брюшной полости, под ребрами и застряла в спине под кожей. Обливаясь кровью, раненый упал на пол. Таня бросилась к нему, с удивительным самообладанием перевязала рану, клала лед. К вечеру обстрел прекратился, и перед осажденными стал вопрос — что делать дальше. Продовольствие снова истощилось и надежды на помощь ни у кого уже не было. Перед осажденными стала дилемма — либо погибнуть с оружием в руках, без всякой надежды на успех, либо сдаться. Эти два вопроса и были поставлены на голосование. Несмотря на тяжесть своего положения, Антон твердо заявил:

— Дать бой!

Таня полными слез глазами взглянула на мужа и чуть дрогнувшим голосом, но также внятно произнесла:

— Против сдачи.

Тридцать два человека голосовали за сдачу и двадцать два против. Судьба форта была решена. Наступила страшная ночь. До утра в мрачном молчании уничтожали оружие, спрятали лишь несколько браунингов. Дни «Романовки» были закончены.

**
*

Утром 7 марта ссыльные покинули свой форт. Окруженное казаками, шествие двинулось по городу. Впереди на руках несли труп Матлахова, за ним на трех розвальнях следовали раненые. На первых санях лежал Антон, тут же сидела Таня. На ухабах сани подбрасывало, и на лице Антона появлялись страдальческие гримасы. У больницы труп Матлахова и раненые были отделены, остальных отправили в тюрьму. В больнице Антону сделали операцию, извлекли пулю, и через три недели он уже был водворен в тюрьму. Все заключенные, собравшись у ворот, радостно приветствовали его прибытие.

Хотя фон-Плеве еще 6 марта приказал предать всех военному суду, но выполнить это все же не решились. Выступление «романовцев» произвело огромное впечатление не только в Сибири и Европейской России, но и за границей. У правительства нехватило смелости прибегнуть к массовым казням, и дело поступило в обыкновенный окружной суд. Слушание дела началось в Якутске 30 июля и продолжалось девять дней. Несколько подсудимых выступили с обширными речами, в которых изложили весь ужас режима, установленного для ссыльных Плеве и Кутайсовым. В конце концов роли переменились, обвиняемые и их защита превратились в обвинителей.

Во время суда Антон чувствовал себя прекрасно. Сидя рядом с Таней, он радовался ее мужеству, спокойствию и выдержке. В своем последнем слове он заявил:

— Десять дней сижу на скамье подсудимых, но ни одной минуты за это время не чувствовал себя подсудимым, как и своих товарищей. И это не только мое мнение. Недавно я получил письмо от своей старухи-матери. «Как бы вас ни называли, — пишет она, — для нас вы остались честными и хорошими людьми». Такая оценка для меня дорога. Ваш же приговор в этом отношении не может иметь для меня никакого значения.

Таня совсем отказалась от последнего слова. Приговором суда все 55 «романовцев» были присуждены к 12 годам каторги каждый. Без всякого сговора они встретили этот приговор громким смехом. Радовались лишь тому, что всем досталось поровну.

Для того, чтобы в будущей каторге не очутиться в разных тюрьмах, Антон обвенчался с Таней. Свадьба их была отпразднована всеми «романовцами». А на следующий день им всем об'явили о переводе в Александровский централ.

23 августа партия двинулась на юг. Начиная от Якутска и до Александровского, «романовцы» видели, насколько изменилась жизнь ссыльных за последнее время. В Якутске их провожали демонстрацией. Все ссыльные были на улице. По дороге колонии ссыльных встречали и провожали их революционными песнями. Никаких попыток препятствовать этим выступлениям нигде не делалось. То был результат их выступления.

19 сентября партия прибыла в село Хагот. До Александровского оставалось два станка. Почти вольному путешествию приходил конец. Впереди уже маячила высокая ограда каторжной тюрьмы.

Владимир Бодиевский по дороге пытался бежать, но был пойман. Гордая и свободолюбивая натура этого мятежного поэта никак не могла примириться с мыслью о каторге. Еще накануне он писал:

Спета песня моя. Лишь тюрьма впереди....
Прощай, воля и радость свободы!
Успокойся же, сердце, в усталой груди
И замолкни на долгие годы!

Ночью, когда все улеглись, во дворе этапа раздался выстрел. То Бодиевский покончил с собой. Утром сколотили гроб, из еловых веток сплели венок и убрали им голову того, кто предпочел смерть жизни в неволе. Под конвоем 50 солдат печальное шествие двинулось к кладбищу.

Наш враг над тобой не глумился —
Кругом тебя были свои,
Мы сами, товарищ, закрыли
Орлиные очи твои... —

пели потрясенные «романовцы».

23 сентября партия прибыла в Александровское. В централе «романовцев» поместили в отдельном бараке, совершенно изолировав от остальных заключенных.

Ввиду кассации приговора, дело «романовцев» должно было вторично рассматриваться в судебной палате 1 апреля. К этому времени их всех перевели в Иркутск. На этот раз политическая обстановка радикально изменилась. Душителя ссылки — Плеве — уже не было в живых. Под влиянием бурного размаха революционного движения от всей кутайсовщины в ссылке не осталось и следа. Сидя на скамье подсудимых в палате, «романовцы» чувствовали себя победителями, которых окружало всеобщее сочувствие. Их речи дышали еще большим гневом, чем в Якутске. Антон заговорил о преступлениях царизма не только над ссыльными, но и над всей страной. Председатель сразу лишил его слова.

Судебной палате предстояло сохранить престиж окружного суда и дать в то же время удовлетворение общественному возбуждению, вызванному этим делом. Поэтому, утвердив первоначальный приговор о 12 годах каторги, палата постановила возбудить перед Николаем II ходатайство о замене каторги двумя годами крепости. Этот приговор вызвал бурю протестов осужденных. На скамьях подсудимых раздались крики:

— Отказываемся от милости!
— Это не суд, а комедия!
— Мы не хотим царской милости!

А в публике стали кричать:

— Долой царский суд!
— Долой самодержавие!
— Да здравствуют «романовцы»!

Судьи растерялись и поспешили удалиться. Полиция очистила зал, а осужденных под огромным конвоем отвели в тюрьму. 25 апреля должен был быть об'явлен приговор в окончательной форме. Но уже 8 апреля начальник тюрьмы вызвал Антона и об'явил ему, что все «романовцы» завтра будут отправлены обратно в Александровское. Для Антона это было настоящим ударом.

То были дни пятого года. Антон жил одной мыслью, превратившейся в цель его жизни. На волю! Ценой любых мук, но вырваться из тюрьмы и стать в общие ряды бойцов. Сидеть в тюрьме сложа руки, когда на улицах городов лилась кровь восставшего народа, он считал для себя преступлением. Дни и ночи он думал о бег-

стве. Только лишь при мысли о Тане его сердце сжималось от боли. Она скоро должна была стать матерью. Как можно оставить ее одну в таком положении! И он поделился с Таней своими мыслями. Та уверила его, что в новом положении сумеет достойно прожить до лучших дней, а они ведь не за горами.

Антон все же решил бежать лишь после родов жены и деятельно готовился к побегу. Связавшись с иркутским комитетом партии, он получил с воли все необходимое для бегства из тюрьмы. Поэтому возвращение в централ могло похоронить начатую работу. Антон возразил начальнику, что осужденные не могут уехать, не выслушав приговора и не ознакомившись с делом. Начальство стояло на своем, обещая дело и приговор доставить в Александровское. После долгих переговоров согласились на том, что в Иркутске останутся лишь больные, по указанию врача. Таковых оказалось десять человек, в числе их Таня и Антон. Сидя в одиночке, Антон все время работал над «Тактикой уличного боя», в которой давалось множество практических указаний, как сооружать баррикады и защищать их. В августе работа была закончена и отправлена в центральный комитет партии. 28 августа Таня родила мальчика — Алика, а через три дня Антон был на воле.

Задолго до побега Антон подпилил решетку в своей одиночке. После рождения сына он со дня на день ждал лишь удобного момента. 30 августа с вечера небо затянуло тучами. Ночью разразилась буря с грозой. Часовые некоторое время ходили вдоль стен, но жестокий ливень загнал их в будки. Антон зашел в палату к жене. Таня тихонько напевала, укачивая ребенка. Антон обнял жену, простился с ней, посмотрел на засыпавшего сына, не решаясь дотронуться до него, и ушел в свою камеру. Ливень усиливался. На дворе стоял сплошной мрак, озаряемый вспышками молнии. Антон вынул решетку и по веревке спустился вниз. До ограды пришлось ползти по земле, сплошь залитой водой. Забравшись в дальний угол, Антон бросил кошку и перебрался через ограду. На улице было пустынно. Мокрый, вымазанный в грязи, Антон добрался до конспиративной квартиры.

В ожидании, пока утихнет погоня, Антон отсиживался в Иркутске. Его тянуло в Петербург, в центр пролетарской борьбы. Но началась забастовка, на запад пути были закрыты. Пришлось двинуться на восток. По Байкалу Антон добрался до Усть-Баргузина, некоторое время скрывался на приисках, а затем двинулся в Читу. Целый месяц Антон скрывался в глухой тайге Забайкалья. Лишь в конце октября он прибыл в Читу. Товарищи радушно встретили беглеца.

А. Смердов

Товарищ Валерьян

Глава из поэмы

Мы в путь пошли под звуки кандалов,
Но мысль бодра и дух наш не оков

В. Куйбышев

I.

«Опознан и пойман»...
...Прощай, столица!
Приговор быстро состряпали судьи.
И снова — дорога снежком пылится,
Снова — Сибирь. Пустыри. Безлюдье.
Край запустенья да волчьего воя,
Былого величья татарских ханств...
Здесь правда людская прошла под конвоем
К Байкалу седому и в Туруханск.
Здесь Ленина в глушь заточить хотели,
Но ленинский голос звучал везде.
Здесь пламенный Коба под свист метелей,
Шагал, разжигая сердца людей...
И дикие ветры свистят и поют
О проклятых днях и о звонах кандальных..
Идет Валерьян в арестантском строю,
Задумчивым взглядом лаская дали.
Край его юности!.. Здесь он рос.
И детство — глухой городок, зима,
Угрюмая церковь, тюремный погост
И каменной жабой — вдали тюрьма.
Край его юности... Здесь он рос.
И видел, как ссыльных вели в тюрьму.

И было горько до боли, до слез
Кандальные песни слушать ему...

II

И ненависть вспыхнула в сердце рано
И тесен отчего дома уют.
Ушел в Петербург из краев буранных,
Чтоб юность свою прокалить в бою.

А здесь нарастала и доходила
До взрыва рабочего гнева волна.
Нарва дымилась. Гудел «Путилов»,
Вставала кронштадтская сторона.

А в улицах черные сотни, зверея,
Ревели «боже, царя храни».
Лабазники с гиком громили евреев,
Кровью обрызгивая гранит.

О, жизнь петербургская быстро учит!..
К чорту студенческую скамью!
И Валерьян, молодой, кипучий,
Весь в гореньи и весь в бою.

Подполье. Листовки. В глухие ночи,
Сквозь слежку, в знакомые адреса
Наганы и бомбы таскал рабочим,
Слово Ленина нес в сердца.

...Как много друзей обрела в боях ты,
Юность!.. И память их сбереги —
Веселый Курилка. Товарищ Кяхта.
Путиловцы. Финны. Сибиряки.

Курилка!.. Отвагу его и пылкость
Любая беда не могла унять.
В глухих казематах, в далеких ссылках
Он скажет весело: «Жив, Курилка!»
И нет Курилки — сбежал опять!..

Кяхта!.. Товарищ милый Агата,
С нею входил Валерьян в бои.
В партийной семье, как сестру и брата
Суровая дружба спаяла их.

Агата!.. Исакий взорвать хватило бы
Сколько они пронесли вдвоем —
В дружины Выборга и «Путилова»
Патронов, винтовок и бомб тротиловых,
Согрев их у сердца, на теле своем...

III

«Опознан и пойман...»
А был бы далече,
В теплых краях, за кордонной чертой.
Но заграница, Швейцария, встречи —
Все осталось опять мечтой...

На день оставаться было опасно
В столице. Ищейки пронюхали след...
И вот он добыл заграничный паспорт
И на Варшаву купил билет.

И вот последнюю ночь коротает
В чердачном углу. За окошком дождь.
Не спит Валерьян, в полутьме мечтая
О дальних краях, где ЦК, где вождь.

Где встречи с друзьями, где на свободе
Горячей строкой обожжет «Искра»...
...Собраны вещи. Ночь на исходе
И в путь-дорогу пора-пора!.

Но скрипнула дверь и свеча мигает,
Свистнул сквозняк. И в каморку, тенью,
Товарищ, знакомый его, вбегает
Взмокший. Бледный. В глазах смятенье.

Садится, лицо уронив в ладони,
Охранку клянет и сквозь зубы стонет.
— О, сволочи, сволочи!..
В их руках
Жизнь... Товарища... Боевика...

— Спасти б его как-то...
В окне багряном
Билась, сверкала, лилась гроза.
Товарищ не видел, как у Валерьяна
На миг затуманились глаза.

Но в сердце сразу готов ответ.
И гордая радость: товарища спас ты!..
Достал Валерьян из кармана билет
И заграничный паспорт:

— Вот, передай... И без проволочек,
Мигом — на поезд... Счастливый путь!..
А я... В запасе еще полночи —
Успею исчезнуть куда-нибудь...

В ночь. В грозу. В неизвестность боя —
Плечи подняв и расправив грудь.
...Но вскоре — опознан, выслежен, пойман,
И снова — сибирский кандальный путь.

IV

Этап за этапом...
Вагон арестантский.
Узор на окошке. Говор колес...
Десяток затерянных, тихих станций
На тысячи длинных, сибирских верст...

...Край его юности!.. Здесь он рос
В глухом городишке, в старом дому.
И вот они снова — снега, мороз...
И родина каторгой станет ему...

Этап за этапом... На многие мили
Кряжей таежных и целины —
Край неизведанного изобилья,
Неизмеримых богатств земных!

Родина, — каторжный тракт, казематы,
Скоро ль дождешься ты светлого дня —
Когда мы раскроем земные клады,

Рожденная заново встанешь когда ты,
В дыму голубом, в золотых огнях?!

Когда опостылевший рухнет острог,
И новый хозяин раскроет двери —
На север. На запад. На юг. На восток —
Когда здесь начнется открытье Америк?!..

Когда здесь начнется разведка в Завтра,
В новый, никем неизведанный век,
Когда здесь пройдет, как строитель и автор
Могучий, раскованный человек?!..

Край забураненный, край любимый,
Край его юности и мечты...
Казалось — уже потеплели зимы
И под Кузнецком шумят сады...

Этап за этапом... Леса. Сугробы.
День короток, а ночь длинна...
Мечтатель — бледный, высоколобый —
Не отрывается от окна...

Этап за этапом... Новониколаевск —
В снегах до крыш затонул вокзал.
Вьюга свистит, белесая, злая,
И снегом выхлестывает глаза...

И вот из окна вагона
Услышал он,
Сквозь буран
Голос, взлетевший стоном:
— Валя....
Валериан!..

Вгляделся —
раскинув крыльями руки,
Снегом засыпана до бела —
Мать, поседевшая в дни разлуки,
Сгорбясь, к вагону его брела...

Рванулся,
конвойных плечом раздвинув,
Высокий и бледный,
чтоб к сердцу прижать —
Свою родную,
свою любимую,
Свою седую от горя — мать...
И к горлу
из глубины суровой
Шло, как непрошенная слеза,
Такое детское, нежное слово:
— Мама!..
— и не успел сказать...

Шашкой всплеснул над его головою,
Окно заслоняя спиной, казак,
Дюжие руки солдат конвойных,
Схватили и потащили назад...

Он рвался.
Но руки — в прикрут, в излом —
И рык казачий: «Ну-ну, не балуй!..»
Шалью взмахнув,
как подбитым крылом,
Мать закрыла лицо.
И ушла...
К решотке приник Валерьян, арестантской
Шапкой махая...

Взревел паровоз.
И вот — поплыли контуры станций.
Решотка окна. Пустыри. Мороз...

Ем. Ярославский

На волю

Из окна нашей тюремной мастерской виднеются далекие сопки. Сейчас же за тюремной оградой идут строения, где живет наше начальство, — начальник тюрьмы и другие. А дальше за строениями виднеется дорога, извивами уходящая в сопки.

Мы часто стоим у окна, особенно в дни, когда приходят новые партии каторжан, или уходят окончившие срок. И когда смотрим на уходящие в даль серые фигуры, нам становится грустно, мыслью мы уносимся за эти далекие горы, как будто за ними совсем особый мир. Там люди живут свободные, там кипит борьба, а здесь остались лишь маленькие радости и слишком глубокие страдания.

Небо над горами кажется таким голубым, совсем не такое оно, как над тюремным двором. Там какая-то легкость, простор, а здесь маленький клочок неба, и тюремные стены словно упираются в него. Извивается черная, в нерастаявших весенних снегах речка Зерентуйка. Разбросана по горе деревня — Горно-Зерентуйская станица. На высокой сопке, прямо перед тюрьмой, мрачная, словно грозит, потемневшая часовенка. А кругом — сопки, под которыми похоронено столько невынесших неволи. А кругом — сопки, со старыми заброшенными шахтами, о которых рассказывают страшные вещи люди, когда-то работавшие в них.

Мне остается уже недолго. Я доживаю в мастерской последние дни. Нас работает двенадцать человек, и из них несколько человек — «вечники», осужденные на вечную каторгу. Что им передать на волю? Они все пишут письма. Они бодрятся, им

так хочется жить. Они гонят от себя мысль, что еще долгие годы их будут держать тюремные стены. Они строят планы побегов. Я знаю, что в этих планах много фантазии, несбыточного, но больно их огорчать. Да, конечно, я разыщу всех, кого им надо, я расскажу об этих планах, я помогу их выполнить.

Работать не хочется. Зайдешь в мастерскую, где пахнет клеем и свежими стружками, визжат пилы, мягко строгают фуганки под шутки краснощекого толстого Михлина, под сердитое ворчанье рябого, вспыльчивый голос вечно спорящего с кем-то брата, иногда, под треньканье гитары или балалайки, тут же сделанных в мастерской. Все бросают работу и принимаются горячо обсуждать, как я пойду, как меня снарядить, что я буду делать на воле. И чем ближе к концу, тем больше разговоров об этом. Но вот и последний день. Я собираю узелок с вещами, с провизией, прощаюсь сердечно со всеми, и ухожу в пересыльную камеру. И как будто жаль расставаться.

В пересыльной камере большое оживление. Собралась настоящая уголовная кобылка, — люди бывалые. Среди них не мало оканчивающих уже второй или третий срок. Больше всех волнуется больной старик Зинькович. Вот уже который раз его ставят на комиссию к отправке, но каждый раз оставляют как больного. У него высокая температура, ревматизм ломит ноги и плечи, и больше всего он боится фельдшера. Что, если опять оставят? Он старается бодриться и казаться совсем здоровым. А кобылка гогочет: «Куда тебе, Зинькович! Приписывайся лучше к могилевским мещанам. Вон Коваль[1] под горой отведет три аршина земли, тебе и хватит». Но Зинькович вовсе не хочет умирать. Он мечтает о том, как вернется в свою белорусскую деревню, снова заживет своим хозяйством, и даже о мести своим врагам мечтает он. Он изголодался, и с жадностью ест кусок соленой кеты, полученной от меня. Но вот и фельдшер. В последний раз: «нет ли больных?». Зинькович старается спрятаться дальше всех. Но фельдшер давно знает его. «Ты куда прячешься?» И ставит ему термометр. Зинькович смотрит на термометр с таким видом, как будто подмышку ему положили пироксилиновую шашку. Но на этот раз ему везет: температура нормальная.

Через час мы собираемся на тюремном дворе. Нас окружает конвой. Мы еще раз прощаемся с гуляющими по двору арестантами. Перед нами раскрываются тяжелые железные ворота, и мы за тюремной стеной.

Ранняя весна на дворе. По голубому небу бегут легкие облака. Мягкий теплый ветер ласкает. Ноги идут как-то легко, — сами идут. Оглядываемся назад—тюрьма белеет среди сопок и низеньких окружающих строений словно замок, словно дворец. Из окон смотрят на нас десятки глаз, и мы знаем по себе, какие горькие мысли шевелятся у них. И опять, как при прощаньи, словно жаль стало расставаться с тюрьмой. Дорога, кажется, тянет к себе, все дальше, дальше, за эти сопки, за эти горы. Но вот и тюрьма скрылась. Впереди, вдали, зачернел голый лиственничный лес. Какой смолистый, душистый запах несется из этого леса! Всей грудью вдыхаешь этот запах, кажется, целые десятки лет не ощущал его. Хочется петь, бежать по дороге быстро, быстро... Но по сторонам идут конвойные. Хотя и на волю идем, но никуда бежать нельзя. Еще впереди долго будут этапы, команды, тюремные затворы, тюремные оскорбления, быть может, побои.

Конвойные уже не те, что вели нас на каторгу. Тогда они шли суровые, злые, сторожили каждое наше движение, соразмеряли каждый наш шаг. Вот «Солонцы». Несколько месяцев тому назад шли мы этой дорогой, в кандалах. Сбившись нас плотной кучею, шли кругом конвойные и злобно покрикивали: «Не беги, не отставай, не оглядывайся, не разговаривай, не останавливайся». Кругом чернел темный, глубокий лес. Отойдешь на двадцать шагов, — и пропал в лесу. Конвойные знали: человеку, которого ведут на вечную каторгу, может быть, милее смерть от пули, чем от вечных тюремных страданий. И мысль мелькает — «Бежать». И тянет к себе лес, и зовет: «Беги». Вот почему так насторожены конвойные, и чуть отстанешь, оглянешься, в сторону посмотришь, — сзади «чортова пятка», приклад стучит по спине. А теперь те же конвойные идут веселые. Уже не покрикивают на нас, не постукивают «чортовой пяткой». Они знают, что мы идем на волю. Зачем нам бежать теперь, рисковать? И они шутят, поют с нами, часто останавливаются покурить.

Но слышно кандального звона, нет уже страха, каким живет партия каторжан.

---

[1] Начальник Горно-Зерентуйской тюрьмы Ковалев.

Мы поем веселым хором, запевалой у нас Васька Сахалинец, забубенная головушка, молодой еще парень, но уже навсегда, на всю жизнь избравший себе карьеру — разбой. Он немножко хвастает своим прошлым, рассказывает самые зверские вещи, и в то же время сантиментален до последней степени. Поет со слезой чувствительные романсы, и конвойным, нашим сибирским крестьянам, он положительно нравится. Как бы восхищаясь, старший конвойный говорит ему: «настоящий ты варнак, Васька». Васька весьма доволен.

Вот мы и на этапе. Но и здесь не так, как прежде. Я иду с конвойным по деревне, закупать провизию. Он уговаривает меня зайти с ним выпить. В крестьянской избе достает водку. Все угощаются ею. Четырехлетний мальчишка — и тот выпивает четверть чашки. Мать даже как будто гордится: «он у нас как большой все равно, завсегда пьет».

В этапном помещении своя жизнь. Играют в карты, вместе — и арестанты, и конвойные. На дворе костер, варится обед. Конвойный увидел у меня тетрадь с рисунками. Он очень удивлен, что можно от руки карандашом нарисовать человека. «А можешь меня нарисовать?» Тащит лист бумаги и карандаш, садится передо мною. Лицо у него было напряжено до крайности. Он придал ему такое выражение, как будто он на параде, сейчас вот-вот гаркнет: «здравия желаем, ваше-ство». Он чрезвычайно доволен, что на рисунке все видно: и бородавку на лбу, и погоны с тремя лычками. — «Вот пошлю бабе подарок»...

На утро опять в дорогу. Чем дальше от тюрьмы, чем ближе к железной дороге, — а нам надо пройти триста верст, — тем радостнее, веселее. Васька Сахалинец кричит исступленно: «Все наше. Девки мои, кони мои, лес мой, — все наше!».

Зинькович, усталый, бледный, идти уже не может. Мы посадили его на подводу с вещами, накрыли его своими халатами, и он больше всего боится, что его где-нибудь оставят на этапе. На этапе старший конвойный вздумал над ним подшутить, вошел к нам и спрашивает: «А ну, где тут у вас больной старик, вот я ему тернемет поставлю», — и держит в руках деревянный мундштук от папиросы. Зинькович весь всполошился: «Господин фершал, да я совсем здоровый, у меня только наруже жар, а внутри у мине совсем холодно, никакого жару нет». — «Ладно, не разговаривай, ставь тернемет подмышки». И сунул ему под рубаху деревянный мундштук. Ни живой ни мертвый сидит Зинькович. Старший ждет несколько минут, смотря на часы, вытаскивает мундштук, смотрит на него многозначительно и важно провозглашает: «Шешнадцать градусов». — «Господин фершал, да ведь у дохлой лошади больше шашнадцати бывает», говорит возмущенный Зинькович. — «Ладно, молчи, нечего ученого учить, останешься здесь на этапе». Зинькович бросается к старшему, становится перед ним на колени и молит не оставлять. А кобылка гогочет: «Говорили мы тебе, Зинькович, приписывался бы к могилевским мещанам».

Вот и последний этап, — Казаково. Тот же угол приемной с пучками связанных розог и стена, забрызганная кровью. Тот же палач, полковник Ефтин. Теперь он как-то вяло принимает нас, словно ему жаль, что мы уходим, что больше уже не удастся ему исторгнуть крик боли у этих людей.

Железная дорога. Арестанты, как дети, рассаживаются, занимают лавки. Теперь уже скоро. Правда, еще кое-кому придется ожидать весны, весенней навигации. Я знаю, что мне предстоит долгий путь в Якутку. Я знаю, что в Якутке много могил людей, погибших от тоски по настоящей жизни. Но на душе легко и радостно. Я все-таки иду на волю.

На волю!

Зинаида Орджоникидзе

Путь большевика

В октябре 1915 года Серго был выслан по этапу в Восточную Сибирь. До весны 1916 года, пока не открылась навигация на Лене, Серго находился в заточении в Александровском централе (Иркутск). Из Иркутска Серго был направлен в далекий Якутск.

Партия ссыльных шла беспредельными бурятскими степями. Несколько подвод тащилось за ними. Конвойные офицеры грубыми окриками подгоняли отстающих.

Долог, труден этап. Он идет сперва степью, затем тайгой. Дорога вьется по крутым берегам Лены. Вокруг подымаются разрушенные временем дикие скалы. По утрам на водопой спускаются к реке медведи, волки, лани.

Несколько дней ехал Серго в трюме баржи-паузка. Здесь не было даже самых элементарных удобств. В два яруса тянулись сплошные нары, на которых вповалку лежали здоровые и больные. Воздух был душный, смрадный. Двери были наглухо закрыты. Выходить ссыльным на палубу было строго запрещено.

Начались теплые белые ночи. Солнце не скрывалось круглые сутки и только в час-два ночи восток окрашивался в яркокрасные тона.

Местное начальство было недовольно присылкой к ним столь опасного «преступника». В «Статейном списке», составленном С.-петербургской губернской тюремной инспекцией, значилось, что «Григорий Константинович Орджоникидзе — каторжный», осужден уже в третий раз. В графе «следует ли в оковах или без оков» было написано — «в ножных кандалах», а в графе «может ли следовать пешком» стояло лаконическое «может». Далее значилось, что рост Серго «2 аршина и 6 вершков, телосложение хорошее, глаза и волосы черные, цвет и вид кожи лица» — белый».

Самое главное было в конце «Статейного списка»: «Признан виновным в первом побеге с места водворения вне Сибири и проживании по чужому паспорту», а по сему лишен «всех прав состояния». В скобках были перечислены статьи из «Уложения о наказаниях».

Такая характеристика послужила поводом для якутского губернатора сбыть Серго подальше с глаз. В «Деле Якутского областного управления» появилась новая запись: «Прибыл в Якутскую область 14 июня 1916 года и распределен в Нюрьбинское сельское общество Вилюйского округа».

Нюрьба лежит в далекой тундре за семьсот верст от Якутска. Это — ссылка в ссылке.

Якутск того времени был городом купцов-колонизаторов, дворянства и духовенства. Это были «отцы города». Однако немаловажную роль играли в Якутске и ссыльные. Здесь находились Григорий Иванович Петровский, Емельян Ярославский, Андрей Андреев. Всех ссыльных здесь было около четырехсот человек. Ссыльные были объединены в кассу взаимопомощи. В действительности то была подпольная политическая организация.

Часто в доме Ярославского, который жил при городском музее в отдельном домике (товарищ Ярославский был директором якутского музея) собирались якобы на именины или на какой-либо другой праздник ссыльные большевики. Здесь устраивались доклады на различные политические и общеобразовательные темы, зачитывались рефераты, велись долгие беседы о войне, о приближающейся революции.

Ссыльные большевики сыграли немалую роль в отмене решения губернатора об отправке Серго в Нюрьбу.

4 июля 1916 года под нажимом якутской организации ссыльных заведывающий городской больницей обратился к «его превосходительству господину якутскому вице-губернатору»:

«Ввиду недостатка врачей и фельдшеров при Якутской областной больнице прошу ваше превосходительство назначить во вверенную мне больницу только-что пришедшего с партией ссыльнопоселенца, медицинского фельдшера Орджоникидзе, отправляемого на-днях в Вилюйский округ».

Губернатор «милостиво» согласился на просьбу заведывающего больницей. Якутскому исправнику был направлен циркуляр:

«Областное управление сообщает вашему высокоблагородию, что ссыльный поселенец, прибывший с первой ленской партией, Григорий Орджоникидзе, назначенный первоначально в селение Нюрьбинское Вилюйского округа, г. губернатором переназначен в Мархинское сельское общество с разрешением временно проживать в г. Якутске».

Серго сразу же вошел в центр политической жизни якутских ссыльных.

Серго рассказывал большевикам, уже оторванным от столицы и не знавшим партийных новостей, о победе над ликвидаторами, хотевшими уничтожить подполье, об окончательном организационном оформлении большевистской партии.

Им был сделан специальный доклад, посвященный итогам Пражской конференции. Такой доклад делал он четыре года назад в Питере незадолго до своего ареста. Мно-

го тайных собраний провел Серго в Якутске, много раз делал доклады на различные политические темы. Особенно жгучим, волнующим вопросом был вопрос об отношении к войне. Большевики Ярославский, Петровский, Агеев отстаивали пораженческую точку зрения. Серго без малейшего колебания встал на ленинскую позицию и повел жестокую борьбу с оборонцами.

Революционная работа Серго в ссылке не могла пройти незамеченной для местных властей. Осенью 1916 года Серго был переведен из Якутска в село Покровское.

Впервые я встретила Серго в пасмурный сентябрьский день 1916 года. Вместе с подругой мы шли по широкой улице села. Нам повстречался худой и стройный кавказец. Он был одет в поношенное осеннее пальто. Шапки у него не было, и ветер разметал его вьющиеся длинные волосы.

— Кто это? — обратилась я к подруге.

— Новый фельдшер... — Подруга помолчала. — Не то черкес, не то грузин.

Мы прошли мимо.

— Откуда он? — вновь спросила я.

Подруга пожала плечами:

— Не знаю...

Вскоре я познакомилась с новым фельдшером. Моим ученикам нужно было привить оспу, и он пришел к нам.

Меня поразило, с каким вниманием и любовью была проведена Серго эта процедура. Ни один из моих ребят не проявил ни малейшего страха.

Затем я стала встречаться с фельдшером в семье одного местного жителя. У молодой женщины — Кати — было много детей. Однажды у ней заболел десятилетний сын. Пригласили фельдшера. Когда он вошел в комнату, трое детей играли возле стола. Они с испугом взглянули на фельдшера. Его большие черные глаза, усы и откинутые назад волосы внушили им страх.

— Цыган! — закричали они и спрятались под стол. — Это цыган!

Фельдшер прошел вглубь комнаты, где лежал больной мальчик. Он заботливо осмотрел ребенка и прописал лекарство. Ничего страшного с мальчиком не было — обычная инфлуэнца.

Дети настороженно со страхом поглядывали на «цыгана». Он подошел к ним и с шутками стал вытаскивать их из-под стола. Сначала ребятишки отбивались и пищали, но скоро веселая, добрая улыбка фельдшера успокоила и ободрила малышей. Уже через пять минут фельдшер и дети были друзьями. Ребята сидели у него на коленях, он щекотал их своими пушистыми усами и обучал грузинской скороговорке: «ква, ква, кончала; кончала да кончала; гогона да гогона».

— Дядя, а что это значит? — спрашивали у него дети, со смехом повторяя непонятные слова.

— Секрет.

— Ну, дяденька, миленький...

— Нет, не скажу...

Фельдшер очень любил детей, и дети платили ему тем же. Он стал самым дорогим гостем у Кати, и всегда с его приходом в доме начиналось общее оживление.

Часто бывало, что он привозил из далекого якутского улуса больных ребятишек. С каким вниманием, с какой заботой лечил он их! Он сам обмывал их грязные тела, сам делал перевязки, сам кормил...

В доме Кати я узнала, что он — ссыльный и его зовут Григорием Константиновичем Орджоникидзе. Фамилия была настолько трудной, что мы запросто стали называть его «Грузей», а после — Серго.

Люди юга с трудом переносят резкую перемену климата. В условиях суровой Якутии они часто болеют.

Мы беспокоились о Серго. Его наряжали в теплый черный тулуп, а сверху одевали доху. В этом наряде Серго выглядел очень смешно, потому что доха была короткой и из-под нее виднелись длинные полы тулупа.

Однако Серго сравнительно легко переносил суровую якутскую зиму. Часто, не-

смотря на морозы в шестьдесят градусов, он на паре лошадей с бубенцами ездил по окрестным улусам. Это называлось об'ездом участка.

Якуты очень любили Серго. Он был не только хорошим медиком, он вникал в быт своих пациентов, изучал экономические условия их существования.

Поздно вечером мы приехали в Якутск. Это был довольно большой город, почти целиком состоящий из деревянных строений. На главных улицах горело электричество.

Ночь под новый — 1917 — год Серго провел у товарищей. Под видом праздника там происходило подпольное собрание большевиков. Посреди комнаты была устроена елка, на столах — вино, закуски.

Ем. Ярославский сделал доклад о текущем моменте и задачах партии. Ярославский располагал большими, чем другие ссыльные, возможностями для подготовки к этому докладу. Он работал в музее и мог, не навлекая подозрения, целыми днями сидеть над литературой, потому что сама музейная работа была связана с книгами и разными справочниками.

Ем. Ярославский дал анализ современного положения и сделал вывод неизбежности революционного взрыва в стране.

Серго горячо поддержал эту мысль. Он говорил, что разруха в стране и затянувшаяся империалистская война должны неминуемо привести Россию к социальному перевороту.

— Свержение самодержавия! — горячась, кричал он. — Немедленное прекращение войны!..

Серго очень любил маленькую девочку Марианну — дочь Ярославского — и постоянно баловал ее и любил рассказывать, как по возвращении на родину они вместе будут бороться против царя, загнавшего их в ссылку, победят его, и тогда начнется радостная, прекрасная жизнь.

В своих мечтах Серго доходил до экстаза. Он шумел, пел и обучал Марианну близким каждому революционеру лозунгам:

— Долой царя!

— Долой помещиков и фабрикантов!

— Долой войну!

Серго спрашивал Марианну:

— Мы победим? Да?

И в знак того, что победа неминуема, Серго учил девочку бросать на пол стаканы и вместе с ней заразительно смеялся.

Вскоре вместе с Серго я вернулась из Якутска в Покровское. Зима была в полном разгаре. Было так холодно, что якуты прибивали к окнам большие зеленые льдины. Они сохраняли тепло, но зато в юрте наступал полный мрак.

В начале февраля Серго уехал на целую неделю за двести верст от Покровского — в селение Синск.

Неожиданно я получила краткую телеграмму: «Поздравляю». Я ничего не поняла. Вскоре я узнала, что грянула Февральская революция. Самодержавие было низвергнуто. Десятки тысяч верст отделяют Якутск от Петрограда, но, несмотря на это, ссыльные узнали о Февральской революции в день переворота. Это оказалось возможным потому, что у ссыльных большевиков была тесная связь с центром и оттуда пришла условная телеграмма: «Свидание с матерью разрешено».

Серго несказанно обрадовался и тут же помчался в Покровское. В своей кибитке с бубенцами он делал в день по сто верст. На вторые сутки после того, как я получила его поздравительную телеграмму, он появился в Покровском.

Сперва Серго заехал в лавку, которая стояла на краю села. Там всегда толпился народ. Серго шумел, громко говорил. Вскоре он под'ехал к нашему дому и, как был в дохе и тулупе, ворвался к нам в комнату. Лицо у него было возбужденное, радостное.

— Ура! Ура! Революция!.. — кричал он.

Вслед за Серго в комнату вошел военный-якут. Он был одет в теплую шубу, на ногах у него были меховые торбоса — сапоги.

— Пельсер быт, — сказал он, часто моргая своими узкими глазами, — букатын ирянь халбыт, итирик ду: ырета день тоюга быха солу.

По-русски это значило:

— Фельдшер наш совсем помешался или пьян: он всю дорогу кричал и пел.

Я со смехом перевела слова якута Серго. Тот расхохотался:

— А я, действительно, был как сумасшедший. Мне всех хотелось целовать. Я готов был броситься на шею каждому встречному. Пожалуй, якут имел основание подумать, что я сошел с ума.

Серго предложил мне переехать в Якутск. Я не могла этого сделать, потому что наступила весна, а с нею — экзамены. Нужно было закончить занятия в школе.

Мы вышли на улицу. Серго заказал на почтовой станции перекладных лошадей и в тот же вечер уехал в Якутск.

В Якутск Серго приехал в день торжественного заседания организовавшегося здесь «Комитета общественной безопасности». Г. И. Петровский, как бывший член IV Государственной думы, был назначен комиссаром Временного правительства.

Товарищи сообщили Серго, что он избран членом «Комитета общественной безопасности» и членом исполкома Якутского совета.

Ссыльные не могли выехать из Якутска из-за страшного весеннего бездорожья. Нужно было ждать лета. Серго не раз повторял, что оставшееся у большевиков время необходимо использовать для организации местного бедняцкого полупролетарского населения. Эсеры под влиянием ссыльных кулаков-скопцов выдвинули лозунг организации союза сельских хозяев. В противовес им большевики боролись за организацию сельскохозяйственных рабочих, преимущественно якутов.

Серго сыграл крупную роль в борьбе с эсерами и меньшевиками. В это время он был занят организацией медицинских работников. Но он не оставлял без внимания организацию сельскохозяйственных рабочих. Среди ссыльных большевиков и местного населения Серго пользовался огромным авторитетом.

Продолжительную борьбу пришлось выдержать большевикам в селении Мархе. Там у кулаков-скопцов батрачили якуты. Они работали впроголодь от зари до зари. В условиях коротких якутских ночей это значило, что им удавалось соснуть лишь два-три часа в сутки. Скопцы кормили их отвратительно — хлеб, квас да знаменитая ботвинья, от которой пухли животы.

Якуты-батраки были крайне забиты. Они боялись своих хозяев-скопцов, дрожали перед полицейскими. Нужно было иметь большое упорство и настойчивость, чтобы революционные призывы дошли до их сердец. Но Серго в полной степени обладал этим упорством. Он руководил борьбой с эсеровским союзом сельских хозяев.

Одновременно Серго не оставлял своей фельдшерской работы. Городская больница, где он работал, находилась на окраине Якутска, напротив тюрьмы. Жил он тут же, в крошечной, чисто выбеленной комнате. Обстановка была более чем скромная: стол, солдатская койка да табурет.

Серго часто присылал мне из Якутска письма. 17 марта я получила от него следующее письмо:

«...До двенадцати часов дня работаю в больнице, а остальное время посвящаю другой, любимой работе.

Мы — политические ссыльные — думаем зафрахтовать отдельный пароход с баржей и уехать числа 17—20 мая...»

В конце письма была приписка: «Я так утомлен, что еле вожу пером».

Через две недели после этого Серго писал, что в Якутске открылся с'езд, на котором ему необходимо присутствовать. Якутская организация большевиков уже давно наметила созыв с'езда якутской бедноты. Подготовка к этому с'езду заняла очень много времени.

С'езд якутов! Впервые в истории этого народа их созывали на с'езд! Большое затруднение было в том, что доклад нужно было сделать на якутском языке. Поднять якутские массы — означало привлечь на сторону большевиков самую многочисленную народность области.

Большевики раскрепощали якутскую бедноту. Они разрешили очень важный вопрос об аннулировании задолженности бедняков. Снимались с крестьян многолетние налоговые тяготы.

Однако практическое осуществление этого вызвало отчаянное сопротивление тойонов и их защитников — чиновников, эсеров и меньшевиков.

На одном из митингов царские чиновники стали кричать, что большевики подрывают основы государственности и порядка, установленного богом и царем.

Серго произнес на этом митинге пламенную речь против царских чиновников, эсеров и меньшевиков. Он говорил, что чиновники верой и правдой служат эксплоататорским классам и не хотят служить народу.

Он изобличал их в тупости, в самых бесчестных поступках. Взяточничество — эта характерная черта чиновничьего царского аппарата — подверглось со стороны Серго уничтожающей критике.

С мест послышались крики:

— Не давайте ему говорить!

— Долой!

— Вон его!

Серго гневно крикнул:

— Все царские чиновники — взяточники!

Отчаянный шум поднялся в зале. Чиновники, эсеры и меньшевики полезли к трибуне, они стали требовать от председателя лишить Серго слова. Кто-то истерически крикнул:

— Он не умеет вести себя на собрании!

Ему вторил чей-то писклявый голос:

— Таким людям не надо давать свободы!..

В ответ Серго крикнул:

— Среди вас ни одного честного нет!.. Кто не брал взятки — выходи сюда! Я утверждаю, все вы — взяточники.

Чиновники демонстративно вышли из зала: они понимали, что большевистский президиум не будет их поддерживать.

Серго писал мне в одном из писем: «Чиновники нарисуют тебе твоего Серго в не очень-то приятном виде, — я их на одном собрании комитета общественной безопасности обозвал шпиками и взяточниками. Они подняли шум, но ничего не вышло...»

После этого митинга эсеры потребовали, чтобы было собрано заседание особого присутствия, которое находилось при комиссаре Временного правительства. На этом заседании они поставили вопрос о смене комиссара. Большевистская организация пошла на это потому, что центр тяжести всей работы большевики перенесли в совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Все, что было лучшего среди членов совета, все наиболее революционное было об'единено вокруг большевистской фракции.

Перед советом стоял вопрос об устранении от власти губернатора, полицмейстера, исправника и других чиновников, оставшихся здесь и после свержения царизма на своих местах. Большевики предлагали сместить губернатора и одновременно с этим захватить казармы. Эсеры были против этих революционных мер.

Большевики говорили:

— Революция есть революция!

Эсеры в ответ на это заявляли:

— А что, если революция не победит? Нас тогда всех здесь перебьют, перережут, перевешают...

Большевистская организация выпустила листовки с обращением к солдатам. Эти листовки были отпечатаны в типографии. Вскоре в казармах большевики об'явили о свержении власти губернатора и провозгласили власть местного «Комитета общественной безопасности».

Губернатор и полицмейстер при поддержке городского головы и других местных реакционеров пытались снестись по этому вопросу с Иркутском и Временным правительством, просили прислать военные подкрепления против большевиков. Телеграммы стали известны большевикам, потому что на телеграфе работали сочувствующие нам телеграфные служащие. Тогда большевики предложили губернатору сложить свои полномочия. Не добившись ответа из Иркутска, он согласился передать власть в руки «Комитета общественной безопасности».

В клубе приказчиков собрался огромный митинг. Губернатор и полицмейстер явились сюда в полной форме, в орденах и с оружием, и торжественно заявили, что

они приветствуют революцию и свержение самодержавия. В знак этого «добровольно» передают власть и оружие в руки «Комитета общественной безопасности».

Другого им ничего не оставалось делать. Серго принял от губернатора шпагу, а от полицмейстера — шашку. Собрание неистово аплодировало этому вооружению и под звуки оркестра пело «Марсельезу».

Оставив в Якутске крепкую большевистскую организацию, Серго 23 мая вместе с другими бывшими ссыльными выехал на пароходе в Иркутск.

Накануне Серго сделал надпись в альбоме, который назывался «Память о якутской политической ссылке»:

«Прощай, страна изгнания, страна-родина. Да здравствует великая российская революция! Да здравствует всемирная революция! Да здравствует социальная революция!

Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго)».

Вл. М. Бахметьев

Волчий марш

Бежали вшестером. Все шестеро сосланы были сюда из одного города, с одного завода. Самым старшим среди нас был прокатчик Ключанцев, самым младшим — литограф Нахимсон и я, Глотов.

Приятель наш по таежной охоте и старожил здешних мест с вечера оттащил нас в повозке вниз по реке, высадил среди снежных сугробов и распростился с нами.

Дальше мы двинулись пешими.

Уже на второй день пути кожа на щеках у нас от ожогов мороза почернела, а по всему телу разлился нестерпимый зуд, точно пробирались нагими через крапивные заросли. Чтобы хоть сколько-нибудь осилить вяжущую немоту в мышцах, приходилось то и дело плясать на месте, как если бы под ногами у нас были горячие угли. И, всякий раз, когда особенно донимал нас холод, а голод остервенело рвал наши внутренности, вспоминал я вести с родины о работницах, которые ценою собственной жизни пытались преградить воинскому поезду путь к смерти. Об этом, и о заводах, выкинувших боевое знамя стачки, вспоминал всякий раз я, когда начинало казаться мне, что терпение наше иссякает, и тогда — снова сердце билось у меня набатом, а лыжи сами собою шоркали по сугробам.

Охваченные лихорадочными надеждами, гонимые решимостью скорее умереть, чем остановить наше движение вперед, шли мы, стиснув зубы, то по оцепенелому хребту реки, то под сумрачными снежными навесами вековых кедров.

Иногда на таежных тропах преследовали нас волки, но не от них, а от встречных людей шарахались мы в сторону, как стая оленей от охотника. В каждом верховом виделся нам дозорный, на каждом попутном ночлеге ожидали мы нападения, и нам почти не удавалось пользоваться повозками, так как роскошь эта требовала средств и связана была с опасностями.

Там, где не надо было остерегаться западни, радость нашего отдыха угашали ледяным своим молчанием, жутким испытом своих глаз солдатские жены и сестры, старики и старухи. Они принимали нас за дезертиров, за тех, кто покинул их сыновей и братьев на поле крови, под непосильным бременем войны, и мы не могли из-за страха преследования открыть им о себе правду.

Порою женщины, пожилые, бывалые, как бы прозревая нашу тайну, окружали нас на ночлегах заботами, и тогда мы размякали, как ребята под материнскою лаской, но... сурово и жестко озирал нас Кронид Дементьев, литейщик, вожак наш, и каждый спешил обмануть бабьи догадки...

Шли мы дальше, мимо, мимо деревень и заимок, унося с собою в муть, в темноту таежной пустыни наши постижения, а попутные люди, изнемогая в неведении, не подозревали даже, кого в нас, неопознанных, они теряли.

Шли мы, пряча свое богатство под полою, и наши горячие головы были бесполезны здесь людям, как отблески на стенах их жилья от фонарей проезжих, или как далекий огонь, падающий над ними в звездном небе. А между тем, заброшенные эти среди тайги гнезда переполнены были страхом, тревогой, пытливостью.

Мы видели женщин, которые в нескончаемый раз слушали чтение прошлогодних писем с фронта. Встречали мы стариков, ни за что не желавших расстаться с обрывками давних пожолклых газет. Попадались нам бабьи посиделки, где под ночными лучинами древние начетчики изрекали свои предсказания: тут были и грозные трубы архангелов, провозвестников второго пришествия, и чудесные планеты в небе, сулящие народу бедствия и кровь... «дондеже не упьется земля вся».

А мы шли мимо, дальше, и никто из нас не смел задержать на себе взоров, опаленных тоскою искания.

Калеки фронта, немногие счастливцы, которым удавалось вырвать изуродованное тело из-под колес войны, привлекали паломничество за десятки километров. Их слушали днем и ночью, и никак не могли насытиться...

Слово их летело вороном от избы к избе, от заимки к заимке, навевая всюду отчаяние.

Изредка у нас, пятерых, подымался спор: не отдать ли себя здесь, так как изнемогали мы вдвойне — и от невзгод пути и от того, что нехватало сил молчать. Одолевал и тут нас Кронид Дементьев. «Нам нужен город, — говорил он. — Только пролетариат, начав свое дело, сможет вовлечь в него деревню». И мы продолжали путь, не жалуясь ни на что и не заговаривая больше о тех, которых лишили своего слова.

Силы наши таяли с каждым новым переходом, и, по мере того, как все глубже открывала нам свои язвы деревня, в воспаленном моем воображении все чаще и настойчивей вставало видение измученной войною страны.

В шопотах деревенского бреда, в шумах буранов, преследующих нас, помраченному сознанию моему слышались гулы войны, стоны распятого народа, и вот уже вся она, исходя огнем и кровью, неслась передо мною Россия: траурный поезд на бесконечных полях смерти, гулы сирены, дымные ряды капитанских затылков в алчном оскале.

— Остановить, остановить! — кричал я в беспамятстве, вскакивая по ночам из угла нашего пристанища.

Остановить, затормозить полет на путях крови, вмешаться в дело мировых громил, сбросить с паровоза истории человеческое подобие, способное только к убийству и пищеварению, чье пищеварение... стало убийством.

Одиннадцатый день пробирались мы через чащу снегов...

Мы шли, впрягаясь порою в носилки, чтобы двигать вперед, вместе с нами, опухшее, как у давнего утопленника, тело Ключанцева...

Долго крепился старый прокатчик, с терпеливостью вола тащил он по снегам полувековую свою голову, но за день до краха у него появились отеки в ногах, и я слышал, как зловеще тяжко дышали в спину мне его не то перегретые на заводе, у стана, не то морозами выжженные в пути легкие.

Обоз, загруженный звериным шкурьем, облегчил нас на сутки, приняв с наших носилок бедного прокатчика, но, когда люди, похожие в своих дохах на медведей, предложили нам заночевать в попутном волостном селе, даже больной простонал из-под шкур, со своего воза: «нет!»

Впрочем, уже на ближайшей заимке, где, пользуясь глухотою места, расположились мы на отдых, прокатчик распрощался с нами. Мы пошли дальше уже вчетвером, и я долго в этот день повторял про себя последнее слово Ключанцева. Выдавив на прощанье в бороду имя своего сына, старик как бы перепоручил нам с этой минуты дело, ради которого воевал он со снегами, с морозами, с ветром, превосходящим по силе морской норд-ост.

Если бы не выносливость Кронида Дементьева, если бы не удивительная сила казацкого сына Шеповала, возможно, худшие предсказания Аннушки сбылись бы и мы давно угодили бы в пищу волкам, или в каталажку урядника.

Но мы шли дальше, потому что Дементьев, отдав ватный нательник зябкому Нахимсону, продолжал шагать вперед нас с таким видом, точно пробирался он не по дну накаленного морозами океана, а среди своих огнедышащих заводских печей.

Мы шли дальше, потому что Тит Шеповалов устраивал среди тайги привалы, которым позавидовал бы всякий: он подсекал наотмашь молодые ели, приносил на плечах ометы валежника и изо всего этого складывал костер в два человеческих роста.

Предварительно мы разгребали до почвы снег, и тогда земля, гулкая под нашими ударами как железный котел, вбирала в себя огненный дух костра.

— Годи нам журитися — пусть лихо смеется! — покрикивал Шеповалов, укладывая нас у костра на прогретую землю, как малых ребят на мужичью печь.

Вторым свалился Нахимсон. Был я с ним ровесником, вместе нам не было и полувека, но из того малого, что дала до сих пор нам жизнь, большая половина приходилась у литографа на нищету и голод.

Кроме того, знал я, что в отрочестве Ося претерпел потрясения, какие могли сломить даже железный характер.

Он еще продолжал передвигать себя на обледенелых своих лыжах, но, когда невзначай оборачивался я к нему, все в его лице кричало о невыносимом напряжении. Собственно, это было уже не живое лицо, а обугленная морозом маска, в которой мерцанием улыбки дотлевали глаза нашего Нахимсона.

Отстал он загадочно, и до сих пор, через много лет, затрудняюсь сказать, что там было с Осипом Нахимсоном: пал человек под бременем сибирского февраля, или иное что, более страшное, преградило ему путь.

Как-то, с вечера, попали мы на ночлег в семью, куда хозяин недавно вернулся с фронта. Пожилая женщина, мать, на руках вынесла сына к нам, в светелку. Был он не тяжелее подростка, этот огрызок войны, и женщина, мать, держала его на руках, как в годы его детства. «Вот!» — сказала она, усаживая за стол сына и прикрывая шалью то, что осталось у него от ног — алые, в алых рубцах, как в цветах, пенья. И ее сын мысленно (только мысленно, потому что рук у него не было) покрутил пышный, белесый ус и сказал в сторону своей, плакавшей на пороге, жены: «Спросите у дуры моей, пошто слезы льет! Я хоть и без рук-ног по милости царской, а на племя все же гожусь».

И все мы видели, как при этих словах корчи пробежали в лице молодайки, и у Нахимсона перекосило губы, а тот, калека, поймав свое что-то в лице гостя, прокричал высоким, невеселым голосом:

— Царь с помещиками продал народ немцам, а бог это царское заделье благословил... Так что нет теперь у нас ни царя, ни бога.

— Вы карабухи?[1] — спросил он, повременив, затихшим голосом, и Кронид Дементьев твердо за нас всех отвечал:

«Вроде того, хозяин».

Но Нахимсон, не спуская глаз с солдата, покрутил головою.

— Да, хозяин, ты угадал! — повторил еще тверже литейщик.

И Нахимсон опять, отрицая, резко качнул плечами.

Тогда, отвернувшись от нас, солдат с горечью сказал:

— Вижу я, кто вы есть... Не сладка и ваша доля!

И Нахимсон встал и вышел из светелки, а на утро следующего дня, когда торопливо собирались мы в дорогу, он решительно заявил:

— Хватит с меня, остаюсь! Не хочу больше.

— Не хочешь, или не можешь? — сурово прикрикнул Дементьев, и Нахимсон слабо ему улыбнулся.

Чудак литейщик этот. Он не мог, или не хотел понять того, что бывают у человека моменты, когда между его «не хочу» и «не могу» — нет различия, как нет различия между жизнью и вечным сном в сознании грудного ребенка, или слишком измученного работника.

И мы пошли вновь, потому что из глаз Нахимсона, как с плоскости зеркала, глядел на нас собственный наш страх перед возможностью отступления.

. . . . . .

Если бы мы остались — пошел бы, изнемогая, Нахимсон, но мы пошли, и Нахимсон остался.

Когда я, прощаясь, склонился к нему, на меня повеяло удушающим зноем, — это горели легкие Осипа Нахимсона.

Семь звезд у зверя в небе, семь дорог у человека на земле, и одна из них — в жизнь, через ворота матери, единственные ворота, а другая — в смерть... у смерти же всюду ворота.

Голод, холод, болезни сторожили нас на каждом шагу, но мы шли, не отступая,

---

[1] Карабух — черный солдат, дезертир. (Прим. автора).

и эта наша дорога была третьей по счету, о которой старый сказ говорит, что люди здесь в огне не горят и в воде не тонут, а и смерть сама — только бичик им тут.

Трое от пятерых осталось у нас, но, если бы сегодня упал я, а назавтра за мною — Шеповал, — литейщик Кронид продолжал бы итти вперед, так как хотя бы один из нас должен был принести заводам строптивое свое сердце.

Позади лежало на нашем пути так много страданий, что уже ничто, казалось, не в состоянии было вернуть нас к прошлому. Но оно, это прошлое, настойчиво тянулось за нами, пытаясь остановить, свалить, опрокинуть нас.

Мы уже забывали о тех, кто должен был преследовать беглых, когда внезапно, как удар из-за угла, выросла опасность.

На одной из заимок едва не столкнулись мы с урядником, который прибыл сюда по случаю мертвого тела: — пожилая, многодетная женщина, приняв из волости повестку о гибели на фронте мужа, вдруг, как говорили люди, лишилась рассудка и залезла в петлю. Нам ничего не оставалось, как поскорее уйти от встречи с начальством.

. . . . . .

Бег наш продолжался, но теперь, не уговариваясь, жались мы к тайге, и, если нужен был нам хлеб, один лишь из нас заходил в селение.

Солнце, которое раньше радовало нас, усиливало теперь нашу тревогу, а вечерний сумрак принимали мы, как сладостную прохладу на знойном пути.

Тайга в разгар февраля вовсе не гостеприимна, но мы предпочитали таежные тропы перед шляхом, потому что здесь, на одичалых тропах, мы не рисковали свободой, а у зверей был дар, какой не имел человек, — звери умели молчать.

Уже в полсотне километров от Томска, между двумя селениями, на совершенно открытом месте захватила нас пурга.

День этот начался худо. Во-первых, на ночлеге в одинокой землянке рыбака обнаружил я, что у пимов моих вот-вот отвалится заплата на подошвах. Во-вторых, впопыхах забыл я у рыбака то, что особенно приятно было в дороге мне: лишился я шарфа Аннушки, моей подруги, покинутой в тайге.

Только к полудню, ощарив грудь и карманы, вдруг остановился я, и Шеповал едва не упал на меня, с силой толкнув меня в спину. «Что там?» — с тревогой прокричал Дементьев, но я уже овладел собою. «Все в порядке!» — отвечал за меня Шеповал. «Все в порядке», — повторил я, следуя за литейщиком. Но в груди у меня ныло, и когда, спустя немного, Кронид поднял голос: «Быть, товарищи пурге!» — голос этот остался у меня без ответа.

«Пурга, так пурга», — думал я, глотая удары крепнувшего ветра и не имея силы подавить в себе горестного чувства утери.

Раньше я рассмеялся бы над своею озабоченностью по такому поводу, но мало ли, на что был способен я раньше, до этой дороги, более изнурительной, чем каторжный труд. Ветер на просторе разыгрался, все вокруг нас бурлило, как в котле под огнем, а на сердце у меня было сумрачно, неуютно.

Ветер бушевал, улюлюкал, присвистывал у моего уха, и под лыжами у меня колебались, как волны в бурю, сугробы. Порою казалось, что чья-то шалая рука, рука гуляки, издеваясь, рвала с нас овчину, раскидывала полы наших зипунов и наотмашь хлесткой пощечиной била нам в скулы. «Прямо, прямо!» — доносилось то и дело из хаоса от Дементьева, из хаоса, где не было ни верха, ни стен, ни пути под ногами.

«Прямо, прямо!..»

. . . . . .

Какая-то сила сбрасывает с моей ноги лыжу. Я держу лыжу в руках, она мне бесполезна теперь, как челнок утопленнику, но живой, кого нельзя узнать, валит меня в сугроб, возится у моих ног: кто-то хочет, кажется, чтобы вновь нацепил я свои лыжи.

— Погибаем, Кронид!

Это — он.

— Не скули, не скули!

В белесой крутящейся мгле едва различаю фигуру соседа: нечто темное, то и дело ускользающее, все время — в пене, в белых дымчатых перьях, в волокнах. Моментами сосед — темное пятно впереди — исчезает вовсе, и тогда, — куда ни

повернись, всюду призрачная стена, сотканная из снежного чада, голосов, далеких звонов, посвиста... Пораженный страхом кидаюсь я в одну, потом в другую, потом в третью сторону.

«О... о-о! О... о-о!»

Но стена расступается и я вижу опять соседа: спину — без головы, или ноги — без спины... Сосед идет, хилясь по сторонам, втягивая голову в плечи, балансируя, как на льду. Можно также думать, что сосед мой пьян, или чем-то перепуган на смерть, что он вязнет в болоте, или тщетно пытается выбраться из колдовских петель, из чудовищной какой-то сети.

Я и сам еле передвигаю ноги, путаясь в этих петлях, на каждом шагу борясь с хлещущими о мои колена снежными холстами.

Мы держимся за палки, протянутые от одного к другому, и когда один падает — двое подхватывают его. Если остаться одному, пучина расступится и — проглотит... Давно уже ничего не было вокруг, кроме снегов: снега затирали глаза, замазывали нам уши, сжимали обручем наши головы, били в грудь, в позвоночник — снега дыбились над нами, потрясая небо и все, что под ним было.

Прошло не более часа, как мы вышли из хижины рыбака, но тело мое, ни на минуту не отдыхая, вело жесточайшую борьбу всеми своими мышцами, каждым нервным волокном, миллионами кровяных своих шариков, и — этот час показался вне времени: может быть, прошел час, а может быть, и вся ночь.

Дементьев закричал:

— Тайга!

. . . . . .

Загнанные пургою в тайгу, мы отыскали там заброшенную охотниками избенку. Но, имея огонь и тепло, не имели мы хлеба, между тем, пурга продолжала бушевать. Полуобмерзших, голодных, обессиленных до потери сознания, отыскали нас случайно мадьяры, работавшие поблизости в партии военнопленных на лесозаготовках. По какому-то чутью они сохранили в тайне от своих конвоиров наше местопребывание и, отлучаясь под разными предлогами со своего становища, ухаживали за нами, отпаивали и откармливали нас из своих скудных пайков. Одного из наших спасителей звали Ласло Санто.

Когда мы в состоянии были продолжать путь, Ласло Санто, токарь из Дебрецин, ни за что не хотел покидать нас. На все доводы об опасности подпольного мыканья с нами он отвечал фразой на ломаном своем языке:

— Моя умираль камрадом, моя коллективно умираль.

И Санто бежал с нами, так как, покидая неволю, голод, изнурительные работы, приобретал он в нас друзей, которые хотели войны против войны и стояли за международный интернационал пролетариата.

Не смея думать о тракте, об отдыхе в селениях, мы углубились в тайгу и зашли к Томску с юга. Последние километры давались нам особенно трудно, и Ласло Санто, имя которого было переделано нами в товарища Владислава, выказал по отношению к нам такое пылкое внимание, что тут нельзя было говорить об обыкновенных братских чувствах: Владислав окружил нас самоотверженностью, на какую способен был только пролетарий, революционер.

И тут, уже на виду города, который мог поджидать нас тюрьмою, виселицей, впервые услышали мы любимую песенку Санто. Он пел:

Нем бушулок, бушулйон ало!
Эдь кши ланерт бушулны а е...

Перевод песенки удалось состряпать нам общими усилиями, и все утро перед тем, как вступить в город, напевали сообща мы:

Геть скуку, пусть скучает лошадь!
За одной девчонкой нехорошо скучать...

На улицах города, переполненных народом, услышали мы о событиях, которые потрясли нас.

Помню, как в сновидении: на соборной площади, у губернаторского дома, где уже заседал временный революционный комитет и куда толпа доставила нас на руках, впал я в полуобморочное состояние, а придя в себя, увидел большой зеркальный зал и Кронида Дементьева, окруженного товарищами по партии. Всегда суровый, холодный, с наглухо притертыми устами, человек этот сидел в губернаторском крес-

ле, под изуродованным портретом Николая второго, и беззвучно плакал, закрыв лицо черными, набухшими, из'язвленными от мороза руками.

Нас, всех четверых, устроили в одной из лучших палат университетской клиники, и здесь, зализывая недуги перенесенного пути, услышали мы о судьбе оставленных нами товарищей.

Старый прокатчик Ключанцев умер, так и не увидев своего сына Парамошку и тех событий, ради которых бежал с нами из ссылки. Зато Нахимсон, предоставленный самому себе, развернулся подобно спущенной со своего стержня пружине. Вероятно, он и сам не ожидал того, что с ним здесь произошло. Заговорив однажды полным голосом, подхваченный водоворотом событий, Осип Нахимсон уже перестал принадлежать себе.

Изба инвалида-фронтовика, приютившая беглеца, стала вскоре подпольным штабом дезертиров, а когда сюда вызван был отряд конных солдат, мужики бежали вместе с Нахимсоном в тайгу.

Молва шла, что у таежной армии был даже пулемет, отбитый будто бы у солдат, но от Нахимсона, при встрече с ним, мы узнали, что все их вооружение состояло из пары дробовиков.

Люди были сильны более надежным, чем пулемет, оружием: они верили в неизбежность и близость своей победы.

Когда, изнемогая, пробирались мы из ссылки, революция спешила нам навстречу, и никто из нас не догадывался, что подвигаемся среди пороховых залежей, и для сокрушительного взрыва требовалась тут всего лишь искра.

Этою искрою и был литограф Нахимсон, совсем, как нам казалось, неспособный к активному участию в каком-либо массовом бунте. Чудесных преображений такого рода было с людьми не мало впоследствии, и вот почему до сих пор подозреваю я, что герои менее всего обязаны исключительности своей природы, что каждый из тех, которым выпало счастье быть впереди других, есть лишь инструмент в руках массы.

В клиниках мы не залежались, события призывали нас к делу, и вот, уже через несколько дней по прибытии в город, я и мои товарищи с головою окунулись в пожарище времени.

Нам предстоял путь, на котором неистовствовали миллионы. Тайны, когда-то заживо съедавшие меня, юного вальцереза, падали теперь одна за другой, под натиском толп.

Война еще гремела, но пружины, которые двигали ее, теряли свою силу, и вся страна содрогалась, подобно ржавому механизму, в руках монтера.

Мир взят был в ремонт мастером, который один только и мог спасти его.

Человек на моих глазах открыл свою вселенную. Он сметал со своего пути бога моей бабушки, ворох сказок, рожденных страхом, рабством, унынием. Но в практической повседневной жизни господствовали еще силы, населявшие хаосом мастерскую труда.

Когда мы прибыли в Шугаевск, хозяин Фокин не был уже в прежнем дородстве, но, отступив, он владел попрежнему заводом через тьмы видимых и невидимых своих слуг.

И — труд готовился к последним решительным битвам: отныне все, кто не имел иного смысла, кроме как, попирая чужой труд, загаживать вселенную, должны быть сметены с лица нашей страны!..

Старый прокатчик Максим Ключанцев провел на заводе четверть века, и, если измерить сталь, прокатанную им на проволочных его станах, металлической этой нити хватило бы, чтобы опоясать шестую часть света. И он, прокатчик, погиб! Он мог бы, как добрый паук, оплести телеграфной проволокой весь земной шар, но он погиб, потому что поднял однажды голову и увидел свою мастерскую загаженной тунеядцами. Он поднял голову и — только лишь потянулся к своей железной метле: он хотел прибрать и почистить мастерскую, в которой трудился его сын Парамон и будут трудиться сыновья его сына. И вот прокатчика не стало. Его выбросили из жизни, кинули на морозы, под удары буранов, затолкали в снега.

...У меня сжимается сердце при мысли о старом прокатчике. Он мог бы оплести весь свет стальной говорящей проволокой, но был бессмысленно свален в пищу червям, как никому ненужный навоз, как падаль.

Я лишен чувства мстительности, — какие пустяки! — но говорю прямо: мы

будем уничтожать всех, кто попытается мешать нашему делу. Мы будем выметать из нашей мастерской каждого, кто вздумает присаживаться в ее уголках и гадить. Всех, кто бы он ни был: от вождей, нам изменивших, до рядового солдата, дезертировавшего в этой нашей новой и последней борьбе за мастерскую человека.

Волчий марш через тайгу, через океан снегов, через буй гремучих буранов окончен, и вот мы кричим всему свету: б е р е г и т е с ь! м а р ш и р о в а л и м ы н е д а р о м.

Н. Н. Асеев

Владимирский тракт

1.

Были:
каторга, цепи, централы,
бессрочная тьма...
Свод законов
Российской империи
дыбил тома.

В непролазных ночах
не мерещилось света
ни зги,
но сходились в кружки,
и печатались тайно листки.
Проследили,
узнали,
забрали —
пропал без следа.

Лишь по тракту
железом легла
ледяная слюда.
Самодержцев зады
чередой восседали на трон,
бунтовщицкую тень
сторожил запотелый патрон,
И —
одних усмирял он,
другой
от тоски умирал:
не снижаясь числом,
на бушлатах
росли номера.

Заковали,
схватили,
угнали —
пропал без следа,
и уже —
не трудом одиночек
долбилась руда.
Пусть плохая работа
и туп —
обесславленный труд
в глубине
одичалых,
нависших отчаяньем груд.
Не на тройках в унос,
а разлавленной леей потек
политических ссыльных
густой,
пешеходный поток.

Если б глушь была вдвое
и тишь была вдвое —
и та б
всколыхнулась,
устав провожать
за этапом этап.
Тяжко-тяжко темнели
в кандальных руках пятаки,
тускло-тускло звенели,
цепляясь,
конвоя штыки.
Заковали,
схватили,
угнали —
пропал без следа.
Нет!
Следы отпечатались
в сердце страны навсегда.
И:
затерян впотьмах
и зализан в шершавых ветрах
белым шрамом кандальным
протерся Владимирский тракт.

2

Дует ветер сиверко
из-за тех веков,
была-жила Владимирка
до большевиков.
Летели тройки-турманы,
гудели провода,
темнели в небе тюрьмами
глухие города.
Сквозь сумрак азиатский
иные времена —
в шоссе Энтузиастов
разделана она.
Где прежде гнали Сталина
с этапа на этап,
заводских труб расставлены
столбы твои, Октябрь.
Была непроходимой
сейчас же под Москвой,
чернела на Владимир
безвыходной тоской.
Вилась ползучей гадиной
в дыму глухих костров:
а нынче —
в пух укатанной

ведет на Автострой.
И дальше
до Урала,
где ворох света взвит,
дорога потеряла
свой прежний смысл и вид.
Не видеть ей бы блеска
такого на веку
до самого Кузнецка,
на самый на Якутск.
Сиял бы месяц слабо,
берложил бы медведь...
Где старая Челяба?
Таежник, мне ответь.
Где трубецкие тройки?
На этом пути
упорный рокот стройки
во всю Сибирь гудит.
Далекая дорога!
Великий долгий путь —
от царского острога
сюда перемахнуть!
Века перегоняя
с этапа на этап, —
строительства огнями
ведет свой путь Октябрь.

Омулевский (И. В. Федоров)

Шаг за шагом

Прежде, нежели мы приступим к описанию происшествий настоящей главы, нам, для лучшего их уразумения, необходимо сказать несколько об'яснительных слов. Ельцинская фабрика состояла, собственно, из двух казенных заводов — стеклянного, выделывавшего посуду низшего разбора, и суконного, производившего одно только грубое, так называемое, солдатское сукно. Заводы эти управлялись от казны директором, которому уже непосредственно подчинены были смотритель и конторщик, тоже числившиеся в коронной службе. Теперешний директор всего только год тому назад поступил на место прежнего, но и в это короткое время он успел уже возбудить к себе единодушную ненависть фабричного люда. Прежний директор был, так или иначе, человек справедливый и притом довольно мягкого, уживчивого нрава. Управляя фабрикой более девяти лет, этот чиновник применился понемногу к обычаям тамошних рабочих и потому мог, в отношении их, позволять себе иногда даже и крутые выходки; если он и рисковал поплатиться за подобную смелость, то разве только непродолжительным созерцанием нахмуренных, недружелюбных лиц да косых взглядов. Тем более резким должен был показаться для фабрики переход под управление теперешнего директора. Теперешний директор, — переведенный в гражданскую службу полковник, бывший перед тем ушаковским полицмейстером, — представлял собою личность, далеко не похожую на своего предместника. Это был вспыльчивый и вместе с тем бессердечный, грубый человек — смесь военного задора с гражданским взяточничеством. Во время своего полицмейстерства он буквально нагонял ужас на более простодушных жителей города; даже уличные ребятишки, завидев пролетку и белую пару этого господина, с двумя верховыми казаками позади, рассыпались, как горох, во все стороны. Впрочем, для полной характеристики теперешнего директора Ельцинской фабрики достаточно было бы рассказать, что во время производства какого-то следствия о подделке кредитных билетов, он, чтобы добиться сознания от одного татарина, приказывал производить над ним в своем присутствии операцию примерного повешения и продолжал ее до тех пор, пока у несчастного не начинало багроветь лицо. Таков был полковник Оржеховский. В фабрике сей почтенный муж начал свою деятельность с того, что прибавил лишний час работы на заводах, само собой разумеется, в пользу собственного кармана, а отнюдь не в интересах казны, и до крови избил какого-то фабричного, осмелившегося протестовать против такого незаконного распоряжения. Затем, несмотря на данный ему при этом урок тем, что многие фабричные не пошли на другой день на работу, теперешний директор стал от времени до времени наказывать рабочих розгами — сперва за одни крупные вины, а потом и за мелочи иногда. Подобная мера исстари считалась здесь верхом позора для всей фабрики, не говоря уже о том, к кому она применялась: за высеченного обыкновенно даже не шла замуж ни одна порядочная фабричная девушка. К этой мере могли безнаказанно прибегать только «деды», не иначе, как с общего согласия и притом в весьма редких случаях: за последние пять лет перед управлением Оржеховского так наказаны были всего только трое. Уже к концу первого полугодия его директорства вся фабрика стояла к нему в открытой оппозиции; ни одного приветливого лица не встречал он на заводах. Но когда новый директор позволил себе дать десять розог за грубость одному из «де-

дов», оппозиция эта стала до такой степени очевидна, что Оржеховский поздно вечером не решался даже и с казаками показываться на улицах деревни. На него пожаловались в город, однако безуспешно; мало того, двое мирских ходоков по этому делу за свою смелость внезапно были переведены на другой завод.

«Деды», в числе пяти человек, выбирались пожизненно всеми без исключения фабричными из самых умных, честных и стойких стариков деревни, помимо всякого вмешательства местного начальства, — и, в свою очередь, точно таким же образом избирали уже сами себе старосту. Согласно укоренившемуся обычаю, кандидатами на эту последнюю, хлопотливую должность могли быть только молодые или не очень пожилые еще, самые ловкие и сметливые фабричные. Староста тоже избирался пожизненно. Местное начальство, впрочем, и не признавало de jure этих общественных властей, но de facto пользовалось ими на каждом шагу, ясно видя, каким почетным значением пользуются они в глазах своих выборных и какое огромное влияние имеют на них.

Фабрика не могла, разумеется, стерпеть кровного оскорбления, нанесенного ей в лице одного из этих выборных, и решилась сама наказать директора, чтоб худо ли, хорошо ли отделаться от него раз навсегда. Варгунин, приезжавший сюда довольно часто, пользовался здесь неограниченным доверием и общей привязанностью, знал очень хорошо об этом решении; но, любя вообще народ и предвидя дурные последствия, он советовал фабричным не пускаться на такое рискованное дело, а лучше обождать, пока сменят директора, и даже обещал похлопотать об этом частным образом у кого следует. Добрый совет Матвея Николаевича на этот раз, однако же, не был принят; фабричные решительно об'явили ему, что сами проучат директора. Тогда Варгунин ухватился за последнее средство: он уговорил «дедов» и взял с них слово, что они ничего не предпримут до следующего его приезда в фабрику, думая этим выиграть время, пока поулягутся страсти. Действительно, раза два ему удалось, таким образом, оторочить катастрофу, но в предпоследний его приезд «деды» внушительно и напрямик об'явили старику:

— Тоже и нам теперича нельзя супротив мира итти... Уж ты там как хошь, Матвей Миколаич, еще раз мы тебя обождем, сделаем тебе уважение, только чур — на другой день быть переполоху, как ты опеть пожалуешь; да больно-то не мешкай в городе: пожалуй, не утерпят наши робяты, тогда уже не прогневайся...

Варгунин принужден был дать слово приехать как можно скорее. У Матвея Николаевича была одна из тех любящих и стойких натур, которые мало думают о себе, когда дело идет о судьбе их любимцев. Он знал, что «деды» ни в коем случае уже не изменят своего последнего слова, и решился лично участвовать в фабричном движении, надеясь своей опытностью и влиянием на народ отклонить от него какое-нибудь непредвиденное несчастье, а может быть, и преступление. Такова была роль, которую Варгунин добровольно назначил себе в этом деле. Матвей Николаевич сам всю жизнь протестовавший в пустыне, был настолько опытен, что мало мог предвидеть хорошего впереди от подобной попытки, но опять и не в его характере было сомневаться в возможности достигнуть чего-нибудь этим путем. Перед от'ездом из города он сообщил обо всем Светлову, прося его совета и, если можно, помощи, т. е. личного присутствия в фабрике. В чем другом, а в этом Александр Васильич не мог отказать никому, тем более Варгунину.

— Да что же они думают сделать-то? — спросил он у него только, сейчас же согласившись ехать.

— Хотят, батенька, потребовать всей фабрикой от директора, чтоб он немедленно ее оставил, или, в противном случае, все прекратят работы. Пускай, говорят, приезжает городское начальство, так мы уж с ним потолкуем. Вот все, что, по крайней мере, я знаю, батенька.

Варгунин не притворялся: он, действительно, только это и знал.

Во многих фабричных головах бродила еще вчерашняя вечорка, как уже с раннего утра стало обнаруживаться особенное движение на улицах фабрики: то и дело встречались группы рабочих в пять-шесть человек, хотя день был и не праздничный. Одни из них, постарше, остановясь где-нибудь у забора, серьезно и с жаром разговаривали между собою вполголоса; другие, помоложе, взявшись дружно за руки, с вызывающим видом расхаживали взад и вперед, заломив набекрень шапки и напевая, тоже вполголоса, любимые фабричные песни. «Уж как на фабрике у нас» — слыша-

лось часто и в разных концах деревни. Ближайшие соседки беспрестанно обменивались между собой торопливыми визитами, спеша поделиться их результатами с другими. В так называемой «сборной избе» степенно и угрюмо совещались «деды», рассылая с разными поручениями во все концы фабрики любопытных ребятишек, одаренных непобедимым свойством — всегда торчать там, где соберутся взрослые.

Одного из таких гонцов перехватил на улице смотритель. Он шел сегодня ранее обыкновенного на заводы по распоряжению директора, которому еще вчера ночью успели доложить о необыкновенном дерзком поведении старосты: приказано было тщательно переписать на другой день всех, кто не явится на работу в срок, минута в минуту.

— Ты куда бежишь, чертенок? — строго остановил смотритель востроглазого гонца «дедов».

— Тятька послал за рукавицами к Софронихе, — ответил тот смело, не шевельнув ни одной ресницей.

— Своих-то мало ему, что ли? Да ты мне, чертенок, говори правду, а то ведь я тебя и за вихры возьму! — пригрозил смотритель.

— Да я не знаю. Мне тятька сказал: проси у Софронихи рукавицы, которые она мне новые сошила, — я и бегу...

— Пропил, видно, старые-то... — едко заметил убежденный смотритель и пошел дальше.

Он завернул сперва на суконный завод: хоть бы один человек явился! — пустехонько; зашел на стеклянный — та же история; а между тем обычный час работ уже наступил, и даже прошло минут двадцать лишних. Обстоятельство это было особенно поразительно в отношении стеклянного завода: там всегда оставалось на ночь несколько человек дежурных рабочих, поддерживавших огонь плавильной печи, которая на одни сутки гасилась только раза два или три в месяц, перед начатием новой серии работ. Смотритель обыкновенно заглядывал сюда не каждую ночь, а изредка, больше для виду, во всем полагаясь на старосту; вчера он тоже не был здесь и теперь, к величайшему своему изумлению, нашел плавильную печь совершенно остывшей, даже без малейшего намека на ночную работу. Необходимо заметить, что директор держал этого господина в черном теле и на тугих вожжах: за право поживляться иногда малою толикой за счет заводов, он подчинил его себе беспрекословно. Как и всегда бывает в подобных случаях, смотритель, разыгрывая, с одной стороны, роль верного директорского пса, с другой — явился весьма убыточным паразитом в отношении рабочих; поэтому он не на шутку струсил теперь за свою оплошность и со всех ног кинулся к старосте.

Семен Ларионыч преспокойно сидел у себя на завалинке, беззаботно поколачивая в нее сучковатой палкой, всегда так магически созывавшей, бывало, фабричных на обычное заводское дело.

— Что-ж ты не гонишь людей на работу? Али одурел со вчерашней-то вечорки? — крикнул на него впопыхах смотритель, почти прибежавший бегом.

— И сам не пойду, и людей гнать не стану, — ответил староста убийственно-холодным тоном, не допускавшим возражений.

Смотритель растерялся.

— Ведь они, мошенники этакие, плавильную погасили! Ты чего смотришь? — спросил он снова, не дав еще себе отчета в значении ответа старосты.

— Погашена, знаю.

Семен Ларионыч был невозмутим, как и вчера.

— Так ты что же?.. — как-то глухо уже и будто машинально проговорил смотритель.

— Видишь — сижу, палкой балую...

«Жила» растерялся еще больше и, повидимому, не знал, что сказать.

— П-шел за мной к директору! — крикнул он через минуту на всю улицу, выведенный из себя равнодушием старосты.

— Неспопутно; мне и тут ладно.

У смотрителя потемнело в глазах от досады и сознания своего начальнического бессилия.

— Ах вы... сволочь этакая! — проговорил он сквозь зубы.

Староста неторопливо поднялся с завалинки.

— Потляди-ка сюда, ваше благородие, — сказал он бесстрастно: — вишь ты

эту палку, сколько на ней зубцов? Ежели я тепериче этой самой палкой рожу тебе смажу... что будет? Знашь?

И Семен Ларионыч, пристально посмотрев на собеседника, опять также неторопливо присел на завалинку.

Смотритель, как угорелый, кинулся со всех ног к директору.

Оржеховский еще спал. Ему, может быть, снились теперь те новые тысячи, которые отложит он в свой карман на будущий год, в ущерб казне и благосостоянию рабочих. По запертым ставням и наружной тишине в доме смотритель догадался, что начальство почивает, и, не осмеливаясь тревожить его покоя, уселся в ожидании на одной из ступенек высокого крыльца; «жена... семеро детей...» — так и сквозило у него на лице. Этот человек вел жестокую борьбу за свое и их существование: на скольких заводах ни приходилось ему служить, везде он был верной собакой, и везде на его долю перепадали одни только крохи. В Ельцинской фабрике дела смотрителя пошли как будто лучше; правда, что он и здесь играл ту же самую жалкую роль, но зато на этом новом месте его беззастенчивая рука стала ощупывать иногда между крохами и целый лакомый кусок.

«А вот теперь и сменят, пожалуй, директора: опять кусай пальцы...» — безотрадно думалось ему.

Какой-то глухой, все более и более усиливающийся шум вывел смотрителя из глубокого, продолжительного забытия; он испуганно мотнул головой, вскочил на ноги и быстро поднялся до самой верхней ступеньки крыльца. Крыльцо вело со двора прямо во второй этаж и оканчивалось широкой площадкой перед входной дверью; оттуда, сверху, открывался просторный вид на улицу. Теперь, стоя на этой самой площадке и держась дрожащими руками за ее перила, смотритель был поражен необыкновенной, невиданной картиной: огромная толпа фабричных медленно подвигалась вдоль улицы по направлению к директорскому дому; разноцветные головные платки женщин оживляли до некоторой степени однообразный и сплошной серый тон дубленых полушубков; фабричные мальчишки густыми кучками юркали сзади. Всмотревшись в эту исполинскую волну голосов, смотритель, хорошо знавший численность местного населения, не мог не притти к тому ужасному выводу, что тут была поставлена на ноги буквально вся фабрика. Растерянный до отупения, он вдруг, ни с того ни с сего, опрометью кинулся вниз и со всего размаха запер отворенную им при входе калитку, как будто эта убогая дверца могла разыграть роль неприступной скалы в борьбе с надвигавшейся все более народной волной. Едва захлопнулась калитка, как из углового окна верхнего этажа высунулась в форточку черноволосая, курчавая голова директора в вышитой бисером ермолке, и его бледное, с неподвижно-холодными глазами лицо прямо уставилось на смотрителя, оторопело державшегося обеими руками за железный засов.

— Что у вас там опять?.. Что вы тут делаете? — недовольным тоном крикнул ему Оржеховский.

Из чуткого утреннего сна его именно и вывел отчаянный стук, наделанный смотрителем.

— Беда, Григорий Николаич: вся фабрика взбунтовалась! — доложил тот, выбежав на середину двора и подобострастно снимая фуражку.

Присутствие высшего начальства несколько ободрило его.

— Как «взбунтовалась»? Это еще что такое?.. это еще что за новости?! — вспылил директор, хотя и слышавший шум, но не разобравший сначала, откуда он происходит, — и вдруг глаза его упали на громадную толпу, которая величаво подвигалась вперед, теперь в каких-нибудь саженях двадцати от него.

Несмотря на обычную бледность, лицо Оржеховского заметно побледнело еще сильнее.

— Разбудить казаков!.. Всех разбудить! Чтоб лошади были мигом оседланы!.. и мне! Слышите? — скомандовал он смотрителю, и голова его в ту же минуту исчезла из форточки.

Конвой директора состоял из двенадцати конных казаков, живших на том же дворе, в так называемой «конвойной», налево от крыльца; один из них — дежурный—спал постоянно в директорской кухне, в нижнем этаже дома. Смотритель разбудил его и остальную прислугу, немилосердно постучав к ним в дверь, и потом уже кинулся в «конвойную». Минут через пять весь дом был поднят на ноги; прислуга обоего пола, как водится при всякой подобной, внезапной суматохе, бесцельно

шныряла теперь взад и вперед по двору, воображая, что уж и этим она кое-что делает; казаки торопливо седлали лошадей, отрывочно перебраниваясь между собою. Испуганный, должно быть, всей этой кутерьмой, какой-то гусь с криком выбежал, махая крыльями, на середину двора и с недоумением поводил во все стороны вытянутой, как палка, шеей. Неимоверно суетившийся смотритель нечаянно набежал на него, запнулся, сказал: — Тьфу ты, пропастина! — и кинулся наверх к директору.

Директорский дом выходил своим фасадом на небольшую площадь, примыкавшую справа к той самой улице, по которой двигался народ. Теперь эта толпа занимала уже всю площадь, обратясь лицом к фасаду; «деды» и рядом с ними староста стояли впереди, отдельно, недалеко от окон нижнего этажа. Несмотря, однако ж, на близкое присутствие такой огромной толпы, шуму на этот раз не было слышно: она точно застыла в молчаливом, упорном ожидании.

Оржеховский в полковничьем мундире, с густыми серебряными эполетами (которых — скажем в скобках — он не имел уж больше права носить, но которые берег, вероятно, для непредвиденных оказий, вроде сегодняшней), показался на минуту казакам с площадки крыльца.

— Совсем? — спросил он у них, очевидно, только для шику.

— Точно так, васкородие! — ответил ему за всех урядник.

— Сейчас же сесть на коней и... ждать моих приказаний! — распорядился директор и уже переступил было порог двери, как вдруг снова показался на площадке. — Пики, винтовки — все взять!.. зарядить!.. И лошадь мне! Живо! — громко скомандовал он.

Минуты через три казаки сидели уже на конях, вооруженные согласно приказанию; урядник держал за поводья оседланную директорскую лошадь. Еще через минуту Оржеховский, стоя перед дверью балкона, выходившего прямо на площадь, самоуверенно говорил смотрителю, рисуясь перед ним густыми эполетами:

— Я им покажу... бунтовать! Вот посмотрите, как они у меня осядут...

Он принял надменную позу и вышел на балкон.

При его появлении толпа на минуту заволновалась и вдруг снова утихла; густые эполеты только в эту первую минуту произвели на нее некоторое впечатление. Директору не привыкать было бросать смелый и нахальный взгляд в лицо подчиненному люду, но теперь, подавленный его количеством, он чувствовал, что может смотреть свободно только в пространство. Тем не менее, скользнув смущенно глазами по многочисленным головам толпы, Оржеховский заметил между ними Жилинского и Варгунина, одетых в фабричные полушубки. Он распознал бы, вероятно, между женщинами и Христину Казимировну, если бы она не нарядилась так искусно в старенький костюм и не закрыла так сильно платком лица; только стоявшего с ней рядом и тоже одетого в полушубок Светлова не мог ни в коем случае узнать директор, ни разу не видев его до того времени. Как бы то ни было, глава Ельцинской фабрики чувствовал себя в сильном смущении, когда «деды» и староста, выступив немного вперед, отвесили ему степенный поклон, слегка дотронувшись до шапок, между тем как остальная часть толпы недвижно стояла с покрытыми головами.

— Вы-ы... что??. бунтовать вздумали? а? Шапки долой! — крикнул на нее грозно директор.

Толпа хоть бы шевельнулась.

— А-а! вы... пьянствовать! вы... начальству не повиноваться! Да я вас запорю... мерзавцев!! — опять закричал Оржеховский, уже изо всей мочи.

— Ты, господин дилехтор, не лайся без пути, — холодно сказал ему, наконец, старейший из «дедов», выступив вперед еще на один шаг: — а изволь нас выслушать, как подобает. Мы к тебе пришли, слышь, вот зачем...

— Да вы-то сами что за люди? что за птицы? Подстрекатели? коноводы?! Первые у меня в острог пойдете! — не дал ему договорить директор и злобно ткнул пальцем в ту сторону, где стояла кучка дедов.

Они о чем-то перешептнулись между собой и обратились к старосте.

— А мы — выборные... — сказал Семен Ларионыч, многозначительно выступая вперед.

— Я знать ничего не хочу! Кто вас выбрал? с чьего разрешения? по какому праву? — перебил его директор.

— Уж это ты у «мира» спроси: «мир» выбирал — «миру» про то и знать, — ответил невозмутимо Семен Ларионыч. — А ежели ты тепериче не хочешь по-добру

нас выслушать, так опосля, значит, не пеняй: оглобли-то мы, пожалуй, и поворотим, да как бы твою милость не ушибить — велики больно.

— Ты... каторгу знаешь? бывал? — бесстрастным металлическим голосом обратился Оржеховский к старосте, неподвижно уставив на него свои холодные глаза.

— Нет, не ведал, не бывал; а любопытен знать: расскажи... — будто льдом обдал его в свою очередь Семен Ларионыч.

— Ну, так вот узнаешь ее скоро! — только и нашелся сказать озадаченный директор. — Что вам от меня надо? — крикнул он, помолчав, толпе.

Староста неторопливо кашлянул в руку.

— А нам вот чего нужно, — заговорил Семен Ларионыч, отчеканивая каждое слово: — чтоб ты, значит, айда отсюда, чтоб севодне же, значит, духу твоего у нас в фабрике не было... потому — уж очень ты «мир» изобидел: выборного посек; тепериче тоже обобрал кругом фабришных, — обрчитываешь их... Мы тебе, значит, честью сказываем: не хочем мы тебя; и честью же просим: уезжай от нас как можно поскорее, — вишь, народ остервенился...

Директор стоял, как пораженный громом, слушая эту краткую, выразительную речь; такой отчаянно-смелой дерзости он не ожидал и чувствовал, как у него от злости задрожали губы и колени.

— Так... хорошо... поборемся!.. — тихо, но злобно сказал Оржеховский, оглянув сверкающим взглядом толпу. — Господин смотритель! — позвал он громко.

Смотритель робко высунулся в дверь.

— Готовы у вас казаки? Прикажите им отворить ворота и выстроиться... Я сейчас буду, — распорядился директор. — Теперь вы у меня держитесь!.. уносите шкуры! Я знаю, кто вас подучил, — не уйдут и они... Марш на работу! все!! — попытался он еще раз употребить начальническое влияние.

Но народ попрежнему не двигался с места.

— Береги лучше свою-то шкуру: она у тебя севодне незаконная... — крикнул кто-то в толпе, намекая, очевидно, на густые эполеты...

Оржеховский весь позеленел, но промолчал и быстро удалился в комнаты. Он машинально обошел их кругом, зарядил в кабинете шестиствольный револьвер, задумчиво повертел его в руках и вышел с ним на площадку крыльца. Внизу, у последней его ступеньки, поджидал теперь директора один урядник, держа за поводья двух лошадей — свою и директорскую; остальные казаки, верхами, выстроившись в шеренгу, стояли уже за открытыми настежь воротами, а смотритель, тоже верхом, боязливо держался позади их.

Оржеховский торопливо сел на лошадь и, в сопровождении урядника, выехал за ворота, держа перед собой в правой руке револьвер.

— Видите вы эту штуку? — показал он его толпе, круто остановив перед ней лошадь. — Вот она как действует...

Директор обернулся, прицелился в ставень и выстрелил.

— Видели? — насмешливо спросил он, под'ехав к окну и указывая пальцем народу круглое отверстие, насквозь пробитое пулей в ставне. — Вот то же самое будет и с теми лбами, кто осмелится меня ослушаться... Марш все на работу!

Но толпа и теперь была неподвижна.

— Казаки! — скомандовал директор, желая окончательно постращать ее: — прицелься в передних!

Казаки, не торопясь, достали из-за плеч винтовки, медленно взвели курки и, безмалейшего смущения, стали целиться в «дедов»: винтовки были заряжены одними холостыми зарядами; по расстоянию между командой и народом, они никому опасностью не угрожали.

Толпа, однако ж, не знала этого, тем не менее в ней только на один миг пробежало сильное движение, послышался глухой ропот, — и она снова окаменела.

— А коцда так, — вскричал староста Семен, быстро обернувшись и подмигнув ближайшим фабричным: — так айда же за мной, ребята! — И он кинулся на казаков, как раз'яренный зверь, которого оцарапала шальная пуля.

Растерявшись от внезапности его движения, казаки успели только дать бесполезный залп по воздуху. Толпа загудела и застонала. Передние ряды ее с криком налетели на казаков, окружили их, стащили с седел, некоторым связали кушаками руки на спине, отвели всех в «конвойную» и заперли там. Все это было сделано в какие-нибудь три минуты. Впрочем, сказать по правде, если казаки сперва немного и со-

противлялись, то, разумеется, больше для виду, чтоб оградить себя на всякий случай в глазах начальства; они с фабричными постоянно жили в ладу, водили хлеб-соль, даже имели между ними своих зазнобушек, — ссориться им, стало быть, не приходилось — невыгодно было.

Между тем как одна часть толпы распоряжалась таким бесцеремонным образом с казаками, другая окружила самого Оржеховского, сильным натиском припер его к стене дома, меж ставнями. Директор был безоружен: какой-то здоровенный фабричный, в первую же минуту свалки, вышиб у него из руки револьвер; другой тотчас же отыскал этот револьвер в снегу, осторожно поднял его и, подавая старосте, сказал:

— Накось, Семен Ларионыч, припрячь хорошенько эвту штуку: пускай набольшие в городе поглядят, какими он гостинцами нам сулился...

Бледный, как полотно, с бессильно стиснутыми зубами, Оржеховский испуганно ждал неизвестной развязки этих бурных сцен.

— Худо вам... очень вам худо будет! — говорил он, тяжело дыша.

— Ничего, сами в деле — сами, значит, и в ответе, — успокоил его высеченный им «дед».

— Чего коня-то мучишь напрасно? Слезай! — заметил кто-то директору.

— Да что нам, робяты, долго-то толковать с ним? Давай, стащим его, коли добром не слезает! — обратился к толпе муж Парасковьи Петровны.

Директор инстинктивно ухватился руками за ставень.

— Что вы хотите делать со мной?! — в ужасе закричал он, теряя последнее мужество, когда кучка рабочих протянула к нему свои здоровенные руки. — Дайте мне только подводу, и я сейчас же уеду... вот вам бог свидетель! — указал Оржеховский рукой на небо.

Но он несколько поздно предложил эту полюбовную сделку: в толпе послышался сдержанный смех.

— Знамо, что уедешь, коли сами хочем тебя отправить; да только ты маленько рано каяться-то вздумал: надоть бы еще пострелять в нас, — сострил кто-то.

— Мы те давеча добром сказывали: уходи; не послушался, — тепериче пеняй на себя, коли поучим тебя маленечко. Слезай, слышь! — лукаво прищурившись, об'явил директору один из «дедов».

— Слушайте, братцы! — ухватился Оржеховский за последнее средство: — никого я из вас не выдам... все забуду; скажу в городе просто, что сам не хочу здесь служить — надоело... что хотите, то и скажу, только пустите меня...

— Ишь! теперь так и «братцы» стали, — саркастически заметил один кудреватый парень, раза два высеченный директором: — теперь так он на нас, собака, словно как на образа молится...

— А ты чего лаешься? — важно и строго остановил его староста. — Ты говори дело, а не ругайся!

Парень сконфузился и стушевался.

— Слеза-ай, господин дилехтор! Супротив «мира» все едино ничего не поделаешь, — увещательно обратился Семен Ларионыч к Оржеховскому.

Но тот не трогался с места и еще крепче ухватился за ставень. Он, однако ж, недолго удержался в этом положении: небольшая кучка фабричных снова протянула к нему руки и, без особенного труда, стащила его с лошади.

— Веди его тепериче, робяты, в сборную, мы сейчас туды прибудем, — распорядился один из «дедов».

Директора взяли под руки и повели, несмотря на все его просьбы и сопротивления. Народ с оглушительным шумом хлынул за ним, как одна бурная волна; бросившиеся вслед за ней ребятишки выказывали почему-то непомерную радость, толкая друг друга в снег и заливаясь звонким, беззаботным смехом.

— Ну вас! чего разбесились, черти? Ужо вам староста-то даст знать! — унимали их, оборачиваясь, пожилые бабы.

Смотритель, верхом ускользнувший в суматохе общей свалки за «конвойную» и притаившийся там возле забора, теперь кубарем скатился с лошади, привязал ее за стойку калитки и — ни жив, ни мертв — пустился улепетывать домой по задворкам.

— Ишь ка-ак!.. Ишь ка-ак жа-арит чиновник-от наш! — добродушно смеялись между собой заметившие его побег фабричные, и не помышляя, разумеется, пускаться в погоню за этим зайцем, особливо теперь, когда настоящий зверь был пойман.

Пока толпа шумно подвигалась вперед, Варгунин и Жилинский, поровнявшись с «дедами», стали уговаривать их — отпустить директора поскорее в город, «без всякой расплаты», — как выразился Матвей Николаевич. Немного погодя к ним присоединились Светлов и Христина Казимировна; узнав, в чем дело, они тоже, в один голос, советовали «дедам» принять этот добрый совет. Но «деды» твердо стояли на своем.

— Поучим маленечко, тогды и отправим, — говорили они.

— Ну-с, хорошо-с. Да как вы его поучите? — нетерпеливо приставал к ним Варгунин.

— А так и поучим: постегаем маленько, — сказал староста.

— Смотрите, батенька! это ведь острогом пахнет... — предупредил его Матвей Николаевич.

— Сам знаю, Матвей Николаевич, что не пряниками пахнет, да как же быть-то? «Мир», значит, так решил, а нам супротив «мира» итти не почему нельзя...

Семен Ларионыч погладил бороду, заложил за спину руки и задумчиво уставился в землю.

— В острог, так в острог! — с отчаянной решимостью махнул он вдруг рукой и опять задумался.

— Как «мир» хочет, так тому и быть! — единодушно поддержали его «деды».

Варгунин не счел деликатным настаивать далее на своем совете; однако, Матвею Николаевичу удалось как-то склонить выборных — дать ему честное слово, что они накажут директора только слегка, для одного виду, — это была с их стороны хоть и небольшая, но все-таки уступка. Тем не менее, расходившаяся не на шутку толпа думала совсем иначе; оказалось, что ее не так легко уговорить, как «дедов». Жилинский и его гости, даже Христина Казимировна истощили все свое красноречие, чтобы подействовать на благоразумие фабричных, но те и слышать не хотели о каких бы то ни было уступках; напротив, эти жаркие увещания, повидимому, еще больше подстрекнули мстительный инстинкт некоторых горячих голов.

— Чего с ним попусту-то валандаться! — кричали в толпе, окружавшей директора: — вали его, ребята, прямо в пролубь! Это дело вернее будет!

— Туда собаке и дорога! — резко подхватил кто-то.

И толпа, увлекаемая передней кучкой рабочих, сопровождавших Оржеховского, ринулась было в сторону фабричной плотины, где действительно находилась узкая прорубь, откуда обыкновенно брали воду.

При этом неожиданном движении народа в Светлове внезапно проснулась вся его энергия. Александр Васильевич быстро отыскал глазами Варгунина, выразительно махнул ему белым платком и в один миг забежал вперед толпы.

— Стой на минуту, братцы! — с необычайной силой крикнул он раз'яренной кучке рабочих, тащивших Оржеховского, и остановил ее движением широко распростертых рук. — Если вы только без согласия выборных тронете директора хоть пальцем, — мы с Матвеем Николаичем первые бросимся в прорубь. Так и знайте!

— Да! уж тогда не поминайте лихом... — решительно поддержал Светлова догнавший его Варгунин.

Толпа на минуту как будто опешила; она, очевидно, была поражена таким неожиданным оборотом дела. Оржеховский изумленно смотрел во все глаза на своего нечаянного защитника в полушубке. Наступило угрюмое молчание.

— Как же тут теперича быть, робяты? Сказывайте... — надумался проговорить, наконец, один из главных зачинщиков буйства, нерешительно обернувшись назад.

Но Варгунин не дал ему дождаться ответа.

— Как знаете, так и делайте, а мы от своего слова не отступим, — еще решительнее сказал Матвей Николаевич. — Пойдемте, батенька! — торжественно обратился он к Светлову, подавая ему руку.

Они быстро отделились от толпы и твердо зашагали рука об руку по направлению к плотине.

— Эй!.. Матвей Николаич!.. По-олно... Воротитеся!.. — торопливо закричало им вслед несколько взволнованных голосов.

Варгунин остановился, слегка обернувшись.

— В сборную? — спросил он строго и холодно.

— В сборную, в сборную! — загудела разом толпа и в одну минуту изменила направление, хлынув по первоначальному пути.

— Молодец вы, батенька! Как это вам пришло в голову? — шопотом говорил Матвей Николаевич Светлову, горячо пожимая ему руку и медленно поворачивая за толпой. — Без вас — прощай директор!

— Вряд ли бы деды допустили до этого? — как бы вопросительно заметил Александр Васильевич.

— Да уж там они хоть допускай, хоть нет — все равно. Э, батенька! ведь и деды не застрахованы, коли народ захочет... — пояснил Варгунин и вдруг задумался.

Толпа между тем все быстрее и быстрее подвигалась вперед, и, наконец, передние ряды ее остановились против крыльца «сборной избы». Туда немедленно вошли сперва «деды», а за ними староста и некоторые другие, более влиятельные, фабричные личности. Они совещались там не больше десяти минут, но Оржеховскому эти десять минут показались длиннее целых суток. К концу ожидания развязки ему даже сделалось дурно, и он только тогда очнулся, когда его, по распоряжению вернувшегося из «сборной» старосты, раздели и положили на скамью у ворот. Толпа на миг заволновалась — и вдруг замерла, притаила дыхание...

На глазах всей этой многолюдной толпы, нарушая только своими отчаянными криками ее угрюмое молчание, директор был наказан двадцатью ударами розог...

На Оржеховском, как говорится, лица не было, когда он встал с роковой скамейки; густая краска стыда покрывала его вспотевшие щеки, зубы были лихорадочно стиснуты, а руки в бессильной злобе сжимались в кулаки. Ни за что в мире не поднял бы он теперь глаз на эту, обсчитанную им и так позорно наказавшую его толпу! Она, действительно, и теперь стояла выше директора: ни во время наказания, ни после Оржеховский не услыхал от нее ни одной шутки, ни одной неприличной выходки, между тем как сам он постоянно острил, наказывая других. Толпа ограничилась тем, что молча проводила его обратно до дому.

Здесь, в какие-нибудь два часа времени, все имущество директора, за исключением казенной мебели да известного револьвера, было под личным надзором старосты осторожно запаковано фабричными в тюки и сложено на три парные подводы, заранее приготовленные; впереди их стоял во дворе собственный возок Оржеховского, запряженной тройкой. Пока шли в доме все эти приготовления к от'езду директора, «деды» потребовали от него, чтоб он на каждую дверь, за которой хранилось какое-либо имущество казны, наложил воском казенную и именную печати. Оржеховский на этот раз повиновался, как ребенок, безучастно понурив свою совсем сбитую с толку голову, он шел везде, куда ему указывали выборные. Таким образом сперва были опечатаны директорский дом и оба завода, а потом — все остальное. Когда и эти формальности кончились, староста распорядился, чтобы на каждую из трех подвод уселось по казаку, и послал сказать директору, что «задержки больше нету».

— Лошади, смотри, даны вам казенные, — громко обратился в заключение Семен Ларионыч к урядннку, сидевшему уже на облучке возка: — чтобы в целости, значит, были доставлены обратно, а не то — сами за них и ответите...

Староста вдруг остановился и, понизив до шопота свой голос, стал торопливо говорить что-то уряднику, который в ответ только кивал ему согласливо головой.

Наконец показался директор. Непримиримая злоба сверкала в его опущенных глазах, когда он, не проронив ни слова, садился в свой экипаж. Толпа также молча, но как-то внушительно смотрела на него несколькими сотнями зорких глаз. Семен Ларионыч, степенно перекрестясь, взял под уздцы тройку, осторожно вывел ее за ворота и пробежал с ней рядом несколько шагов по улице.

— Вали теперича с богом! — крикнул он уряднику, пуская лошадей и отскочив в сторону.

Тройка быстро помчалась.

— Счастливо оставаться! — не оборачиваясь, успел закричать Оржеховский толпе своим резким, металлическим голосом.

Глубокий сарказм, злоба и ненависть явственно дрожали в этом последнем приветствии директора.

Когда от'ехала последняя подвода, народ несколько минут оставался еще на месте, молчаливо следя за удалявшимися экипажами, и, только потеряв их из виду, стал медленно, будто нехотя, расходиться. Опять образовались отдельные группы; слышался спор, шли толки. Какой-то фабричный парень отыскал во дворе директорского

дома метлу и торопливо, с самым серьезным видом, замел на снегу свежие следы начальнического отступления.

Несмотря, однако ж, на отсутствие директора, фабрика всю остальную часть дня вела себя самым приличным образом, хотя и не принималась за работу. Вечер прошел также тихо: нигде не затевалось вечорки, даже не видно было, против обыкновения, ни одного пьяного на улицах; напротив, все это время на лицах рабочих лежала какая-то сосредоточенная озабоченность, крепкая сдержанная дума. «Деды» почти не выходили из «сборной»; староста Семен, вооружась своей сучковатой палкой, поминутно заглядывал то туда, то сюда, горячо толковал с молодыми парнями и, видимо, предупреждал их о чем-то. Самый ловкий из этих парней был командирован на собственной «сорви-голова лошадке» Семена Ларионыча верст за пять от деревни — стеречь дорогу в город; тройка таких же лихих лошадей стояла во дворе старосты, готовая пуститься в путь по первому его приказу. Словом, по всему заметно было, что в фабрике ждали чего-то необыкновенного.

Почти в самую полночь, или много что несколькими минутами позднее, когда Жилинские с гостями только что встали из-за ужина, все еще толкуя о происшествиях сегодняшнего утра, — в столовую к ним торопливо вошел староста Семен, весь красный и, очевидно, сильно встревоженный.

— Рота идет!.. версты за три отсюда... с жандармским, — об'явил он, едва переводя дух.

Присутствующие многозначительно переглянулись, но в первую минуту никто не проронил ни слова.

— Так и есть! Так я и думал! — отозвался, наконец, Казимир Антоныч, досадливо потерев рукой лоб.

— Скорехонько собрались! — заметил саркастически Варгунин и улыбнулся, но как-то тревожно.

— Тепериче вот какое дело, — сказал Семен Ларионыч, обращаясь к Жилинскому и отирая с лица пот: — тут, у твоего крылечка, троечка стоит... лихая, — так надо вам всем айда отсюда поскорее... Время тепериче нельзя проволочить ни минуты... Собирайтесь!

— Я никогда ни от кого не бегал! — величаво проговорил Жилинский: — и моя дочь тоже.

— Да и мы останемся, — твердо сказал Светлов, посмотрев на Варгунина.

— Разумеется, батенька, останемся, — подтвердил Матвей Николаевич.

Староста нетерпеливо и как-то досадливо махнул левой рукой.

— Да ты не ортачься, Казимир Антоныч, — опять обратился он к Жилинскому: — я не о тебе хлопочу, а о своих... о своей шкуре... Ежели вас тепериче здесь накроют — нам же хуже будет; скажут: не своим, значит, умом орудовали дело... Одни-то мы еще так и сяк разделаемся, а уж как с вами-то застанут — пропадай голова. Ты тепериче рассуди: у нас уж это все уговорено между своими, как быть надо, коли что пронюхают, скажем, что, мол, к тебе точно приезжали гости и, значит, из любопытства вы все ходили смотреть, как наши у дилехторского дома выстаивали, а опосля, мол, надо быть, напужались, что их ребята наши изобидеть могут, да и дали лыжи в город... Понимаешь? Уж эту мы механику начисто подведем... А коли вы тепериче останетесь тут — значит, мол, не боялись, снюхались с фабришными... Я тебе, ей-богу, дело говорю!

Жилинский стоял в нерешительности.

— Да так ли это, полно, Семен Ларионыч? — спросил он несколько подозрительно.

— Да уж так... Я тебе говорю: уезжайте! — убедительно продолжал упрашивать староста. — Тепериче... и нам нельзя тоже остаться без руки в городе: ваши-то золотые головы нам еще там не раз пригодятся... А насчет имущества — ты не хлопочи: все будет цело, как есть... за все буду сам в ответе. Ты ведь меня знаешь не первый год: у меня тоже в мошне-то, поди, лежит чего-нибудь.

— Если ты, Семен Ларионыч, действительно говоришь правду, если точно ваша польза требует, чтобы мы все уехали отсюда, — тогда, разумеется, нечего и толковать, я готов! — согласился Жилинский.

Он высказал это согласие так же величаво, как и свой отказ перед тем.

— Да уж верно слово я тебе говорю, что так! — еще раз подтвердил староста

самым убедительным тоном. — Только, христа ради, не мешкай ты... А уж мы там дадим вам весточку в город через своего курьера... хорошо знаем эти порядки.

После минутного совещания решено было ехать всем вместе. В доме, впрочем, не поднялось после этого никакой особенной суматохи. Жилинский торопливо обошел все комнаты, везде заглянул зорким хозяйским взглядом, запер комоды, конторку и шкап с серебром, захватил из кабинета шкатулку с деньгами, какие-то бумаги, отдал несколько распоряжений старому слуге, безгранично к нему привязанному и даже добровольно уехавшему за ним в ссылку, — и совсем был готов в путь. Христина Казимировна не уступила в этом отношении отцу; она собралась еще скорее. Что же касается Светлова и Варгунина, то им и собираться было нечего — стоило только накинуть шубы. Семен Ларионыч потому именно и торопил Казимира Антоныча, что уж никак не ожидал таких коротких сборов. Словом сказать, не прошло и полчаса, как все были уже на крыльце. Там их поджидала действительно лихая тройка, заложенная в те самые широкие пошевни, на которых староста отвез с вечорки дорогих гостей; на козлах молодцевато сидел знакомый уже нам муж Парасковьи Петровны.

— Ну, Лександр Васильич, благодарим тебе покорно: ведь ты наших-то выручил; а то во какой бы мы беды нажили — смертоубийство ведь! — говорил староста, усаживая Светлова последним.

— Не за что, Семен Ларионыч... — взволнованно отозвался Александр Васильевич, горячо пожав его мозолистую руку.

— Ну да ладно, свидимся еще, бог даст... Всех вас благодарим покорно! Христина Казимировна, потепле, матушка, закутайтесь... вишь, ведь стужа ноне. Ты, Петроваша, мотри! леском ужо об'езжай, да ухо-то востре держи... Ну... до приятного повидания! Вали, парень, с богом! — напутствовал староста от'езжавших друзей.

Тройка быстро помчалась. Об'ехав по задам фабрику, она круто повернула в лес и стала искусно нырять между кочек и сугробов. Среди этих снежных волн Петроваш оказался настоящим опытным и закаленным моряком. Перед тем, как надо было своротить на торную дорогу, он вдруг нырнул с тройкой в какой-то глубокий ухаб, задержал лошадей и притаился. Варгунин осторожно выглянул на дорогу.

— Видите, батенька? — сказал он шопотом Светлову, указав на темную, продолговатую массу, которая медленно подвигалась в полуверсте от них, по направлению к фабрике.

— Да, вижу, — также тихо ответил Александр Васильевич, разглядев впереди этой темной массы слегка отделившегося от нее всадника.

Через минуту они явственно услышали сперва глухой топот конских копыт, а потом — мерные и тяжелые человеческие шаги. Это рота переходила мостик на Ельце.

Переждав еще минут десять, Петроваш осторожно выехал на большую дорогу, молодцевато прибрал вожжи — и тройка полетела во весь дух, обдавая всех снежной пылью. Жилинский и Варгунин молча завернулись от нее в шубы. Светлову было жутко, но хорошо: быстрая езда и теперь соответствовала вихрю мыслей, проносившихся у него в голове; даже эта снежная пыль, точно кончиками булавок колошая ему лицо, подходила под возбужденное состояние молодого человека: его внутри тоже будто покалывало что-то. Христина Казимировна зябла, куталась в шубку и нежно жалась к нему. Вышедшая из-за облаков бледная луна и теперь так же томно светила им опять, как и в ночь их роковой прогулки вдвоем за четыре версты от фабрики...

В. В. Куйбышев

Первый арест и суд

В 1906 году я приехал из Петербурга в Омск — город, в котором я родился. Сейчас же связался с партийной организацией. Омский комитет РСДРП был в большинстве большевистским. Лидером комитета являлся Константин Андреевич Попов. Вскоре по приезде я был избран в состав Омского комитета. На меня было возложено общее руководство пропагандистской работой. Кроме того, я сам вел несколько рабочих кружков.

Из областного центра мы получили директиву — выбрать делегатов на общегородскую конференцию. После этой конференции должны были быть выбраны делегаты

на всероссийский партийный с'езд (речь идет о Лондонском с'езде, состоявшемся в 1907 году).

Мы провели работу по созыву конференции, причем К. А. Попов на одном из заседаний комитета сказал нам, что в настоящий момент в Омске находится видный товарищ из центра. Фамилии товарища он не называл, сказав лишь, что товарищ бежал из ссылки, по пути за границу задержался в Омске и что он перед от'ездом оставит нам проекты резолюций по некоторым вопросам. Мы просили задержать от'езд этого товарища с тем, чтобы он присутствовал на нашей общегородской конференции. Константин Андреевич ответил, что это вряд ли возможно, но что нашу просьбу он передаст товарищу. Мы были очень обрадованы, когда на заседании конференции появился некий тов. Абрамович (таков был его паспорт) и принял участие в работах конференции.

Конференция собралась на окраине города, в маленьком доме, в сравнительно большой комнате. Домик снимался на средства нашей организации одним семинаристом Молодовым. Он сам занимал одну маленькую комнату, остальные 2—3 комнаты были в распоряжении нашей организации.

Нас было 38 человек. Я не буду излагать хода конференции, скажу лишь, что подавляющее большинство делегатов было большевистским. Только 3—4 делегата принадлежали к меньшевикам. Среди нас были три женщины.

Внешняя охрана конференции была поручена трем товарищам. Из них я хотел бы отметить одного парня, пекаря по профессии, которого мы звали Курилкой. Я не знаю происхождения этой клички, но к нему она очень шла. Это был человек низкого роста, страшно юркий, с бегающими глазами, постоянно находящийся в движении, тянувший «козью ножку». И как-то всегда, встречая его, хотелось сказать: «Жив, Курилка!»

Конференция шла своим чередом. Вдруг, во время речи Абрамовича, влетает Курилка и кричит: «Мы окружены казаками!». На его обязанности лежало предупредить появление полиции или казаков. Но, зазевавшись где-то вдалеке от здания, Курилка не заметил, как ночью тихо, неслышно, подошли казаки и окружили наш дом. Курилка прорвался к нам уже через цепь казаков, которые вначале не хотели его пропускать, а потом, добродушно посмеиваясь, протолкнули его к нам, твердо зная, что так он вернее останется в их руках.

Моментально, вслед за возгласом Курилки, что мы окружены казаками, врывается исправник, а за ним полицейский пристав и казачий офицер. С револьвером в руке пристав кричит: «Руки вверх, будем стрелять!». За спинами передних товарищей, которые вынуждены были поднять руки, мы усердно начали уничтожать следы нашего собрания. Тем не менее не все уничтожили. Найденными оказались: писанные рукой Абрамовича с поправками К. Попова резолюции конференции, а также печать Омского комитета РСДРП и несколько прокламаций Омского комитета.

Совершенно неожиданно для нас, мы не подверглись обыску в помещении. Нас заставили с поднятыми руками выйти из квартиры, которую в наше отсутствие усердно обыскали. По выходе нас немедленно оцепил большой отряд казаков и с большими непонятными предосторожностями проводил нас в один из участков полиции. Всех 38 человек поместили в маленькой комнатушке, так что мы не могли не только лечь, но даже сесть.

Обстановка ареста, страшное волнение исправника и полицейских, то обстоятельство, что мы арестованы исправником и казаками, а не жандармами, а также тот факт, что обыск был произведен в наше отсутствие — все это повергло нас в большое недоумение. В чем дело? Вскоре это раз'яснилось. Оказывается, полиции было донесено о том, что собралась вооруженная дружина, которая должна была произвести в ближайшие дни какую-то экспроприацию. Этим об'яснились и спешка, и те тактические ошибки (о чем скажу позже), которые были допущены арестовавшими нас.

После трехчасового пребывания в участке нас отправили в омскую городскую тюрьму. К счастью, всех посадили в одну камеру, за исключением трех женщин, которые были отправлены в женский корпус.

На другой день мы начали обсуждать, как вести себя при допросе. Обсуждение тянулось несколько дней. За эти дни выяснилось, что нас хотят предать военному суду. Время было еще революционное, и мы жили в полной уверенности, что революция вот-вот снова вспыхнет с небывалой силой, что она неизбежно победит. Поэтому — что же нам разговаривать с судебными властями самодержавия? Мы решили

не только не давать никаких показаний, но не отвечать даже на вопросы о своих фамилиях. Каждый из нас должен был произнести следующую стереотипную фразу: «Я представителям царского суда никаких показаний давать не буду».

Вскоре возник вопрос о защите — воспользоваться защитой или нет? Все мы от защиты отказались, за исключением одного из заключенных, некоего Айзина, представителя немногочисленных среди нас меньшевиков. Ему было всего 16 лет и в этом случае, оказывается, вопрос о защите решали родители.

Прошло несколько месяцев. Среди нас был и сбежавший из ссылки товарищ из центра. Мне и другим членам омского комитета партии Попов вскоре рассказал, что портной Абрамович — не портной и не Абрамович, а присяжный поверенный Шанцер (партийная кличка «Марат»), активный участник Стокгольмского с'езда партии[1].

Время заключения в тюрьме мы не теряли даром. «Портной Абрамович» и Константин Андреевич Попов (кстати, тоже юрист) обучали нас, молодежь, и теории и практике революционной борьбы. Кроме того, происходили ожесточенные споры с четырьмя меньшевиками, которые были в нашей среде. Мы интенсивно сносились с волей, так как порядки в омской тюрьме были сравнительно благоприятные для этого.

На свидание к нам приходили случайно уцелевшие партийные товарищи. Они сообщили, что организация восстановлена, что выбран новый омский комитет во главе с Афанасием. Худо стало только в том смысле, что меньшевики начинали отвоевывать отдельные участки организации, что наехало много меньшевиков и предстоят большие бои за посылку делегатов на всероссийский партийный с'езд (омская организация должна выбирать непосредственно, так как на областную конференцию послать делегатов не удалось). Наша связь с омской организацией была настолько тесна, что однажды в камере для свиданий было устроено заседание обоих составов омского комитета, прежнего — арестованного и вновь избранного, куда, кстати, попали два очень видных меньшевика. На этом совместном заседании партийных комитетов мы все же большинством голосов избрали Абрамовича и Попова в надежде на то, что им так или иначе удастся освободиться и что только в том случае, если им не удастся освободиться, они будут заменены другими делегатами.

До нас доносились какие-то странные сведения: то нас передавали из военно-окружного в гражданский суд, то опять — в военно-окружной. По правде говоря, это нас мало интересовало. Мы жили верой в то, что нас освободит революция.

Но вот наступают последние дни перед судом. Окончательно выясняется, что нас будет судить военно-окружной суд. Обвиняться будем по 126 статье Уголовного уложения. Нам грозит максимум 8 лет каторги, минимум — ссылка на поселение.

Однажды Попов и Шанцер созывают общее собрание и один из них, кажется Шанцер, произносит приблизительно такую речь:

«Товарищи, вы — в большинстве молодые революционеры, не знающие еще ни ссылки, ни тюрьмы, ни каторги. И, может быть, поэтому вы так легко отнеслись к предложению о демонстративном поведении на следствии и суде. (А у нас было решено выйти на суд с пением «Марсельезы» и добиться вывода нас из зала суда с тем, чтобы суд прошел в наше отсутствие. В. К.). Предупреждаю вас, — продолжал тов. Шанцер, — что, повидимому, дело принимает серьезный оборот, и если мы не примем некоторых мер, то очень может быть, что все мы пойдем на долгосрочную каторгу. Между тем, в содержании нашего дела есть такие моменты, которые можно использовать и несколько повлиять на возможный приговор. Я и тов. Попов считаем, что мы должны сохранить прежнее наше решение: отказаться от приглашения защитников. Они тем более не нужны, что Попов — юрист, а я (Шанцер, естественно, скрывал, что он присяжный поверенный. В. К.) — человек, крайне опытный в такого рода процессах. Вы должны предоставить мне с Поповым возможность использовать все ошибки, допущенные полицией во время нашего ареста и ведения следствия, и постараться скомпрометировать полицию и вообще обвинителей. Вопрос же о защите мы считаем все же необходимым подвергнуть тайному голосованию, так как если большинство присутствующих выскажется за защиту, более того, если даже значительная группа лиц выскажется за защиту, то мы с Поповым считаем, что большинство не имеет права насиловать меньшинство».

---

[1] Здесь т. Куйбышев ошибается — т. Шанцер был избран на Стокгольмский с'езд, но был арестован на границе. (Прим. ред. О. Куйбышевой).

Начались жаркие прения. Все высказались за то, чтобы придерживаться намеченной тактики — выйти на суд, спеть «Марсельезу», добиться вывода, и пусть они делают, что хотят. Раздавались лишь отдельные робкие голоса, которые не вязались с этим общим настроением. Тогда Попов и Шанцер выступили с энергичными речами за то, чтобы участвовать в процессе, а вопрос о защите подвергнуть тайному голосованию. Это предложение было принято. Тайное голосование дало такие результаты: из 35 голосовавших 5 высказалось за приглашение защиты. Решили защитников не приглашать, а Шанцеру и Попову выступить с последним словом обвиняемых, чтобы использовать грубые нарушения законов, совершенные полицейскими и следственными властями, для компрометации всего дела.

Нужно сказать, что сидевший среди нас Курилка оказался привлеченным еще по другому делу. Мы узнали об этом только в тюрьме. Однажды он забрался в военную казарму с кипой прокламаций и стал раздавать их солдатам. Когда один из солдат попытался его схватить, он выпрыгнул в окно и исчез. Но внешний вид его был настолько оригинален, что, после ареста его по нашему делу, в нем узнали сбежавшего агитатора среди воинских частей. Это было уже дело более серьезное и тут не было никаких сомнений в неизбежности каторжного приговора.

Нас ведут на суд. Входим в зал. Торжественная обстановка. Кругом военные. На своих местах военный прокурор и военный защитник несовершеннолетнего Айзина.

«Суд идет», — провозгласил судебный пристав. Входят пять человек. Все военные. Председатель — генерал. Седой, обрюзгший, с виду добродушный, всю жизнь проведший в судебных органах. Прокурор — бравый полковник с академическим и университетским значками.

Напоминаю, что абсолютно никаких показаний следственным властям дано не было. Суд мог оперировать исключительно показаниями «свидетелей» — полицейских и казаков, нас арестовавших или обыскивавших.

Начинается допрос свидетелей. Первым вызывается руководитель нашего ареста — исправник. Этот лихой полицейский влетает в зал, козыряет суду, звенит шпорами и бойко отвечает на вопросы председателя. Так как нет защиты, то председатель обращается к обвиняемым — не будет ли с нашей стороны вопросов. Поднимается Попов и задает следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, господин исправник, на каком основании вы нас арестовали, тогда как мы находились в черте города, иными словами, мы были подвластны или жандармской власти или полицмейстеру города Омска?».

Исправник пришел в страшное негодование, что-то зарычал и делал какие-то жесты, показывающие, что он не хочет отвечать на такой дерзкий вопрос обвиняемого. Тогда председательствующий говорит ему: «Нет, будьте добры ответить на вопрос подсудимого». Вся спесь с исправника немедленно слетела. Он начинает что-то лепетать. Из этого лепета можно было разобрать только одно, что он с Иван Иванычем, полицмейстером города Омска, большие приятели и что иной раз он помогает Ивану Ивановичу, иной раз Иван Иванович оказывает ему услуги.

Скамья подсудимых хохочет. Но хохот этот еще больше усиливается, когда мы слышим окрик председательствующего: «Ну, знаете, дружба дружбой, а служба службой».

Попов вновь встает и, обращаясь к свидетелю, старается добиться от него более толкового раз'яснения — почему он арестовал нас, а не полицмейстер. Но этого ответа получить нельзя было, и свидетель, как мокрая курица, осмеянный садится на свое место.

Второй свидетель — околоточный надзиратель, производивший обыск в комнате Молодова, т. е. того товарища, который снимал домик для партийных собраний. Товарищ Молодов еще в камере говорил нам, что ему были доставлены все вещи, кроме брюк и портмоне, которое было в этих брюках. В портмоне было 10 рублей. Мы этому не придали особенно большого значения, но наши «защитники» Попов и Шанцер, очевидно, учли это обстоятельство и очень хорошо его использовали.

Тов. Попов обращается к околоточному надзирателю с вопросом:

— Вы обыскивали комнату Молодова?

— Да, я.

— Там был сундук с вещами?

— Да, был.

— Там были брюки и 10 рублей в кошельке?

— Да, были.

Тогда товарищ Попов, раньше не уверенный, что ему удастся поймать эту ниточку, уже прокурорским тоном начинает допрашивать свидетеля, несколько издеваясь над ним.

— А скажите, пожалуйста, куда вы дели эти 10 рублей? — Околоточный надзиратель, грубый и тупой бурбон, очевидно, ничего не подозревая, отвечает, что он эти деньги передал господину полицмейстеру, который прибыл на место ареста уже после нашего увода. Ниточка схвачена и дальше начинается буквальное издевательство над полицейскими, единственными свидетелями нашего преступления.

Вызывают полицмейстера Шмонина. Председатель суда задает ему формальные вопросы, он на них отвечает. Поднимается Попов. Шмонин, конечно, не знал, что было в зале до его прихода, так как он только что вызван из комнаты свидетелей. Попов уже совершенно прокурорским тоном обращается к Шмонину: «Господин полицмейстер, во-первых, почему мы были арестованы исправником, а не вами? Во-вторых, вам были переданы 10 рублей. Так вот, они не были возвращены обвиняемому Молодову».

Полицмейстер повторяет сцену исправника. Он также гордо заявляет о своем отказе отвечать на вопросы обвиняемых, тоже что-то рычит, шипит, шея его багровеет. И так же, как в первом случае, председатель суда вынуждает свидетеля отвечать на вопросы обвиняемых. Тогда полицмейстер заявляет, что он действительно помнит, что ему были переданы 10 рублей, но кому потом он их передал, он сейчас никак не может вспомнить. Попов просит суд занести в протокол, что деньги попадали из кармана в карман и в чьем-то кармане исчезли. Скамья подсудимых хохочет. Едва сдерживаются конвойные. Даже судьи руками закрывают рот, чтобы не выдать своих улыбок. Председательствующий начинает перешептываться с членами суда и потом заявляет, что в такой редакции это занести в протокол нельзя, но он считает правильным, чтобы в протокол было занесено: деньги не были возвращены обвиняемому Молодову.

Поднимается прокурор. Это его первое выступление. Мы ждем какой-то каверзы. Он просит слова у председательствующего, делает большую паузу и заявляет: «Я прошу занести в протокол (еще большая пауза. Мы недоумеваем, в чем дело. В. К.), я прошу занести в протокол, что брюки также пропали».

Скамья подсудимых уже не сдерживается и не хохочет, а гогочет. Судья близок к тому, чтобы прыснуть. Полицейские сидят посрамленные, уличенные в воровстве и подлогах. Попов все время задает каждому из свидетелей вопрос — не он ли принес и подбросил прокламации. Повидимому, у суда начало складываться впечатление, что дело в значительной мере дутое и что полицейские понаделали таких вещей, которые компрометируют власти.

Как я уже сказал, предполагалось, что в этой квартире собралась боевая дружина. Повидимому, эти сведения собрал исправник. Желая отличиться, он сам, а не жандармские власти и не полиция, арестовал нас. Делу был придан военный характер. На деле же выяснилось, что при нас, арестованных, да и то только у одного человека, оказался... перочинный нож. Правда, как потом нам рассказывали, у второго арестованного был браунинг. Этот браунинг, будучи отобран, не фигурировал ни в каких протоколах. Очевидно, он был украден полицейскими.

Мне сейчас, по прошествии 25 лет, очень трудно вспомнить все подробности суда, но было очень много моментов, которые все больше и больше ставили полицию в смешное и жалкое положение.

После допроса свидетелей давали показания эксперты.

Они должны были доказать, что рука, вносившая некоторые поправки в проекты резолюций, найденные при обыске, является рукой Попова. Председатель спрашивает экспертов: «Скажите, пожалуйста, это рука обвиняемого Попова?». — «Да», — отвечают оба эксперта. — «Скажите, но, может быть, это распространенная рука и, может быть, это простое совпадение?».

Эксперты с недоумением смотрят на председателя и молчат. Он говорит: «Так, это распространенная рука. Хорошо, можете итти».

Мы недоумеваем. Настроение суда совершенно неожиданно в нашу пользу. Единственное важное показание против нас — собственной рукой Попова писанные поправки в резолюциях — отметается. Все остальное мы можем отрицать, потому что

обыск произведен в наше отсутствие, протокола обыска мы не подписывали, за все то, что было найдено в наше отсутствие мы ответственности нести не можем.

Судебное следствие закончено, начинаются речи защитников и прокурора. У нас защитников нет, выступает лишь один защитник несовершеннолетнего Айзина. Он говорит только о нем и по существу только о его несовершеннолетии.

Выступает прокурор. Повидимому, ему вообще было присуще говорить с большими паузами, солидно. Он чисто формально излагает дело, заверяет, что о боевой дружине здесь не может быть и речи, так как единственное оружие, найденное у обвиняемых, — это перочинный нож, и то в единственном числе, но все основания есть предполагать, что суд имеет дело с социал-демократической организацией. Поэтому он просит применить к нам 126 статью, такой-то пункт, приговорив нас к 4 годам каторги.

Речь была исключительно формальной. Ни одного аргумента, ни одной попытки доказать. Речь по обязанности. Зато, когда прокурор перешел к обвинению Курилки во втором деле, в деле распространения прокламаций среди войск, его нельзя было узнать. Появился пафос, появилось чувство. Он громил, призывая суд быть бдительным и т. д. и настаивал на применении к Курилке статьи, карающей пожизненной каторгой.

Слово предоставляется обвиняемым. Последнее слово подсудимых. Мы сидели на скамье по алфавиту.

Первым должен говорить Абрамович (Шанцер).

— Господин Абрамович, хотите ли вы воспользоваться последним словом?

— Пожалуй, воспользуюсь, — говорит он. И вот он начинает речь. Сначала несколько вяло. Мы смотрим на него с некоторым недоумением. Потом он постепенно расходится и зал оглушается такой речью, какую, я думаю, едва ли слышал когда-либо омский суд: это была не оправдательная речь, это была речь обвинителя против полиции, против ее методов работы, против самодержавия. Естественно, Шанцер не перегнул палки в части обобщений и атак царского строя. Но это сквозило в каждом его слове. Полицию он так разделал, что от нее не осталось живого места. Воровство, подлоги, кумовство, все это было им использовано и использовано необыкновенно ярко и полно.

Отвлекаясь, я должен сказать, что я в жизни своей не встречал такого большого оратора, как товарищ Шанцер. Недаром товарищ Шанцер был прозван Маратом. Это была его постоянная партийная кличка.

Трудно представить себе, какое впечатление произвела эта блестящая речь «портного Абрамовича» на суд и прокуратуру. Даже мы, знавшие Шанцера уже в течение пяти месяцев по совместному тюремному заключению, слушали его, раскрыв рот, так как тюремная обстановка, естественно, не давала повода для проявления его столь исключительного ораторского таланта.

Дальше началась перекличка по алфавиту остальных обвиняемых. Все мы отказываемся от права воспользоваться последним словом. Доходит очередь до Попова. Он берет слово и не столь талантливо, не столь горячо, но с поразительной логикой, более детально доказывает те положения, которые только что привел в своей речи Шанцер-Марат.

Суд удаляется на совещание. Мы сидим в специально отведенной для нас комнате и не можем притти в себя от недоумения. Я не помню, что больше нас поразило — необыкновенное ли поведение суда, или совершенно необыкновенная речь «портного Абрамовича».

В то, что Абрамович — товарищ из центра и что он — Шанцер-Марат, нас было посвящено только пять или семь человек. Все остальные не сомневались, что это действительно портной Абрамович.

Поведение суда заставило всех нас недоумевать. Мы абсолютно не сомневались в том, что встретим на суде грубые окрики, ожидали и побоев. Таково было наше представление о суде. Но все это нас мало пугало. А тут вдруг — суд явно настроен против наших обвинителей и сочувствует нашему поведению.

Суд совещается 2—3 часа. Мы разговаривали между собой, недоуменно задавали друг другу вопросы. Вдруг входит прокурор и направляется прямо к Абрамовичу.

— Господин Абрамович, вы — портной?

— Да, портной.

— Слушайте, я ничего не могу понять. У меня уже 20-летняя судебная практи-

ка, и я уверяю вас, что ни разу в зале суда не была произнесена такая речь, какую произнесли вы: чем это об'яснить?

— Вы знаете, господин прокурор, я портной. Наше дело таково: сидим на нарах, ноги под себя поджав, и все время разговариваем с товарищами на разные темы. Вот так я и приобрел практику, умею болтать.

Прокурор сразу почувствовал иронию в этом ответе, покачал головой: «Да, знаете, это речь, это речь». И ушел.

Мы долго хохотали над прокурором. Наконец, нас зовут в зал заседаний.

«Встать, суд идет!». Входит суд. Председатель суда читает приговор. Приговор короткий: «Признать всех обвиняемых (обвиняемые перечисляются все снова по алфавиту. В. К.) по 126 статье Уголовного уложения оправданными за неимением доказательств. Признать всех обвиняемых виновными по 124 статье Уголовного уложения и приговорить каждого к одному месяцу крепости».

Что касается Курилки (я, к сожалению, не могу вспомнить его настоящей фамилии), то он был приговорен к 3 годам каторги.

Мы вернулись в камеру. Может быть, это было продиктовано молодостью (мне еще не было 19 лет), но я был страшно огорчен этим приговором: или воля или каторга, а то вдруг один месяц тюрьмы. Так кончился суд и мой первый арест.

Естественно возникает вопрос: чем об'яснить такое поведение суда? Конечно, при наличии общей линии на разгром революции, при соответствующих директивах, никакие блестящие речи и никакое наше поведение не могли повести за собой такого мягкого приговора. Ведь все-таки была найдена печать комитета, все-таки была найдена резолюция, писанная рукой одного из наших товарищей. Мы держались демонстративно, никаких показаний не давали, заявив, что с представителями царской власти мы разговарить не хотим. Мы отказались от защитников. Среди нас был К. А. Попов, который уже неоднократно подвергался преследованию за принадлежность к партии.

Мы долго ломали голову над этим обстоятельством. Как нам стало известно впоследствии, дело об'яснялось следующим: исправник получил сведения о боевой дружине и пришел арестовывать эту дружину. Повидимому, еще до того, как исправник ворвался в нашу квартиру, генерал-губернатору Западной Сибири Надарову и всем окружным властям было известно, что будет произведена операция против боевой дружины. Руководить этой операцией геройски согласился исправник. Очевидно, ему чудилось сопротивление, ему чудилась какая-то ужасная организация, которая вот-вот должна была произвести какое-то зверское нападение в городе Омске. После ареста обнаружилось, что в нашем деле нет и элементов боевой дружины. Полицией были сделаны совершенно непростительные ошибки (обыск в отсутствие арестованных). Дело было передано в гражданский суд, а оттуда в военный. Военный суд этого дела принять не хотел, и дело снова было передано в гражданский суд. Тогда генерал-губернатор Надаров настоял на передаче дела все-таки военному суду. Военный суд снова отказался. И, как нам потом стало известно, эта тяжба между генерал-губернатором и военным судом дошла до Петербурга, где спорили между собой ведомство юстиции и военная прокуратура. Надаров победил. Дело все-таки передали военному суду против воли его председателя. Председатель суда после этой борьбы с генералом Надаровым решил не особенно стараться на суде.

Так генерал Седов, председатель суда, отомстил генерал-губернатору Надарову за то, что он навязал ему это дело.

Генерал-губернатор Надаров мог отомстить за свое поражение только единственным способом: он всех нас подверг административной ссылке. Я поехал в Каинск, Попов — на Волгу. Не помню, куда был направлен Шанцер-Марат. Выборы на всероссийский с'езд от омской организации все же оказались реализовавшимися. Попов был делегатом от омской организации на Лондонский партийный с'езд.

Мне хочется сказать о дальнейшей судьбе нашего милого товарища Курилки. Как я уже говорил, он был приговорен к 3 годам каторги. Его живая натура, абсолютно не способная к покою и неподвижности, понудила его бежать из омской тюрьмы до окончания каторги. Я не знаю подробности этого побега. Знаю только, что, бежав, он остался в том же Омске, не прекращая своей партийной работы. Однажды, на какой-то массовке, он, гонимый полицейским, бросился в Иртыш, надеясь его переплыть, и утонул.

М. Попов

С. М. Киров в Томске

Впервые я встретился с тов. Кировым Сергеем Мироновичем (тогда Сережей Костриковым) свыше тридцати лет тому назад, в конце 1904 года, в Томске. Было это или на занятии кружка Гриши Пригорного (Крамольников Григорий Иннокентьевич) или на заседании подкомитета, образовавшегося из этого кружка.

Томская партийная организация этого времени не имела законченного оформления. Комитета, как такового, или не было, или он состоял только из Гриши Пригорного и т. Смирнова Александра Михайловича (Авессалом, Кудрявый).[1]

После разгрома, произведенного охранкой в марте 1904 г., из тюрьмы мало-помалу выходили старые комитетчики, но их или выслали, или они были настолько скомпрометированы, что приниматься за руководящую работу им никак не приходилось. Поэтому и возникла мысль у т. Пригорного организовать актив молодежи, который руководил и вел революционную работу под названием подкомитета.

Самыми молодыми из этого состава подкомитета были Иосиф Кононов и Сережа Костриков, вероятно, поэтому их об'единяла и личная дружба.

Каждый из членов подкомитета вел какой-нибудь участок нелегальной работы. Сергей Костриков руководил группой, которая занималась печатанием нелегальной литературы на мимеографе и гектографе, за неимением в то время у комитета нелегальной типографии.

Эта группа осенью 1904 г. напечатала три прокламации.

Хотя в конце ноября или в декабре Томский комитет оборудовал типографию, тем не менее группа Сережи Кострикова в начале 1905 г. выпустила еще одно гектографированное издание Томского комитета — прокламацию: «Товарищи! Революция в России началась»...

С начала 1905 года работа мимеографической группы стала падать, так как была организована типографская техника, и С. Костриков перешел на организационную работу по созывам разного рода агитационных собраний. Наша хроника отмечает, что они происходили 3-4 раза в неделю.

Наконец, подошли январские события, в организации которых С. Костриков принимал самое деятельное участие.

Эти события происходили следующим порядком:

Традиционный «Татьянин день» 12 января в 1905 г. совпадал со 150-летним юбилеем Московского университета, поэтому томские либералы решили устроить в железнодорожном собрании «праздник просвещения». На подкомитете томской организации был поставлен вопрос об использовании этого банкета для революционных целей. Мобилизованы были 200 человек членов партии, которые и явились на банкет. Появление столь значительной группы было совсем неожиданно для организаторов и участников банкета, и вначале произошла заминка с пропуском, но организованные рабочие «самовольно проникли» в помещение банкета, сорвали банкет, превратив его в митинг.

Выступавший на митинге тов. Баранский (Николай Большой) от имени партии призывал приступить к организации всеобщей забастовки на Сибирской железной дороге и участвовать в назначенной на 18 января вооруженной демонстрации — в ответ на 9 января в Питере. Были распространены прокламации. Последующие дни проходили в горячей подготовке к вооруженной демонстрации.

Тов. Костриков с несколькими другими товарищами был выделен подкомитетом для подготовки боевых дружин и вооруженной демонстрации; на обязанности этой группы было разработать план демонстрации, а также вооружить не имеющих оружия.

План был разработан, избрано руководство демонстрацией. Демонстрацию возглавили — товарищ, известный под кличкой «Бур»[2], знаменосец Иосиф Кононов, а на смену ему т. Костриков и Иван Лисов. Вооружение было проведено также организованно — 15 января на конспиративной квартире по Ремесленной улице (против мыловаренного завода) так называемым десятником (начальником боевых десят-

[1] Смирнов А. М. погиб от тифа на Царицынском фронте.
[2] Студент университета Лепидевский.

ков) выданы были револьверы, а так как оружия нехватало, то 17 января оно давалось дополнительно в помещении сторожа жел.-дор. технич. училища по Бульварной ул. (т. Семенов Егор). Таким образом на демонстрации 18 января 1905 г. было до 300 человек вооруженных.

Демонстрация 18 января в Томске неоднократно описана, начиная с № 12 «Вперед» от 29 марта 1905 года.[1]

Из демонстрантов почти никто не вышел целым из полицейского окружения. Пострадал и т. Костриков — помимо избиения у него было рассечено шашкой пальто.

После демонстрации им было организовано похищение знамени, оставшегося на убитом Кононове. Кто-то из демонстрантов засунул знамя во внутренний карман пальто Кононова, о чем Кострикову сообщил городской врач Грацианов, осматривавший труп. В эту же ночь Костриков и Лисов Иван были в покойницкой университетской клиники и добыли окровавленное знамя. Это знамя было и на похоронах (26 января 1905 г.) и на демонстрации по случаю открытия памятника Иосифу Егоровичу Кононову 14 июня того же года.

Смерть убитого на демонстрации друга, зверства и избиения полиции произвели на Сергея Мироновича потрясающее впечатление. В отличие от меньшевиков, у Сергея создавалось убеждение, что развивающаяся революция подошла вплотную именно к вооруженным выступлениям.

Был такой момент во время демонстрации, когда казаки, после наших первых выстрелов из револьверов плохого боя (бульдоги и лефаше), повернули лошадей от стрелявших с такой стремительностью, что их ряды совершенно смешались, в сумятице некоторые попадали с лошадей, что создало преувеличенное представление об их потерях. На собравшемся вечером заседании подкомитета Сергей неоднократно обращал внимание товарищей на это обстоятельство и говорил, что при хорошем вооружении, дисциплине и достаточном числе демонстрантов результаты были бы иные. На этом же заседании решена была организация похорон, а также написана коллективно известная прокламация «В венок убитому товарищу».

Последующие события происходили при все возрастающем революционном настроении. Зверская расправа полиции с демонстрантами создала всеобщее возмущение, выступали общественные организации, забастовали университет и технологический институт, даже профессора в числе 52 человек подписались под «петицией» о прекращении насилий над демонстрантами, так как в среде демонстрантов могут быть и «питомцы высших учебных заведений».

26 января были похороны убитого товарища Кононова, вылившиеся в громадную демонстрацию, на которой присутствовала и боевая дружина партии, готовая дать отпор полиции. Но все прошло спокойно, несмотря на венки с красными лентами, выступления товарищей убитого и распространяемые прокламации «В венок убитому товарищу».

2 февраля 1905 года, ночью, на широкое собрание, устроенное подкомитетом, нагрянула полиция и было арестовано 46 человек. Среди них был арестован в первый раз и Сергей Миронович Костриков. Арестованные, окруженные полицией и

[1] Скопление рабочих и публики началось в 9 ч. утра около почты, а часам к 11 по сигналу на середине улицы образовалось ядро демонстрантов, при чем по разработанному плану вооруженные сгруппировались впереди колонны и по бокам ее, сразу же было выкинуто знамя «Долой самодержавие!», которое нес Кононов И. Е. Демонстрация с пением марсельезы двинулась вниз к Второвскому пассажу (теперь Дворец труда), полиция двинулась параллельно с обеих сторон демонстрации. Когда она подошла к Второвскому пассажу, с Вознесенской горы (теперешний железо-бетонный мост) на рысях с обнаженными шашками мчалась казачья сотня. Подпустив ее на расстояние 40-50 метров, тов. Бур скомандовал «огонь» и сам первый выстрелил в казаков, начали стрельбу и демонстранты, сотня смешалась, лавой повернула обратно и беспорядочно отступила, но в то же время перекрестным огнем с обеих сторон на демонстрантов посыпался град пуль полицейских. После первых же выстрелов городовых упал Иосиф Кононов. Произошло замешательство в необстрелянных рядах демонстрантов, оправившиеся казаки врезались в демонстрацию, оказавшуюся окруженной со всех сторон, и началось избиение. В результате оказалось со стороны демонстрантов трое убитых — Иосиф Кононов, Елизаров и Осколкин (в газете «Вперед» указывалось, что был убит И. Кононов и мальчик 13 лет), со стороны полиции ранены 2 городовых и 1 казак (телеграмма полковника Романова). Раненых и избитых на демонстрации около 200 чел., арестованных 120.

солдатами, были доставлены в загородную тюрьму (исправительное № 1 арестантское отделение).

Арестованные просидели, на основании ст. 21 положения об усиленной охране, один месяц и постепенно их почти всех освободили. Сергей Миронович вышел, видимо, в начале апреля, так как принимал участие в организации первомайской массовки.

Жандармский полковник Романов в выписке постановления от 9 апреля отмечает, что Костриков отказался от показаний по делу об его аресте и «во время содержания под стражей вел себя весьма дурно, не подчиняясь требованиям тюремного начальства».

С начала лета Сергей Миронович заведывал нелегальной типографией Томского комитета партии.

1 июня старого стиля происходил большой митинг, численностью до 600 человек, а 14 июня, в 7 час. вечера, на монастырском кладбище — митинг на могиле т. Кононова И. Е.

Этот митинг был особенно внушителен — присутствовало на нем более 1000 человек, на могилу при открытии памятника было возложено 15 венков с красными лентами и цветами. Был также венок от рабочих ст. Тайга, привезенный делегацией рабочих во главе с тов. Реутовым. Через этого товарища Сергеем Мироновичем была установлена связь с тайгинскими рабочими, а впоследствии организована тайгинская группа Томского комитета партии.

Над могилой Кононова развернулось знамя, под которым он умер. Между прочим, это знамя в течение нескольких лет хранилось Томским комитетом и выносилось на многие демонстрации. Митинг протекал под охраной численно внушительных боевых дружин комитета.

Полиция не вмешивалась в траурный митинг, хотя мимо кладбища проехала сотня казаков во главе с полицмейстером, встреченная оглушительным свистом.

На другой или третий день после этого митинга началась забастовка типографских рабочих с предъявлением экономических и политических требований.

В это же время происходила в Томске конференция Сибирского союза, состоящая из делегатов-комитетчиков сибирских городов.

На этой конференции выступили с разногласиями сибирские большевики и меньшевики. Полемика между ними не была поднята на должную принципиальную высоту, и стороны «протаскивали» через постановления конференции свои предложения. Состав делегатов, недостаточно разбиравшихся в разногласиях, принимал предложения тех и других. Представителем меньшевиков был В. А. Гутовский (Газ), от большевиков выступал Баранский (Николай Большой). Последний появился на конференции с большим опозданием, когда основные постановления были уже приняты, и ему оставалось только провести некоторые большевистские предложения тактического порядка, которые, тем не менее, внесли живую струю в обсуждения и постановления конференции.

Сергей Миронович, присутствовавший на конференции, рассказывал о ней с тяжелым чувством человека, при котором совершался акт измены революционному делу.

В сентябре или октябре 1904 года, когда он только-что появился в Томске и вошел в организацию, ему приходилось быть на двух собраниях, на которых выступал Гутовский (Газ) с докладами о партийных разногласиях, выступал как большевик; как большевик, он уехал на третий с'езд партии. И вот, на томской конференции в июне 1905 г. тот же Гутовский проводит меньшевистские резолюции, смысл которых находится в полном противоречии с тем, что он же говорил полгода тому назад.

Выяснилось, что Гутовский, делегированный как большевик, на 3-й с'езд не пошел, а участвовал в меньшевистской конференции.

Костриков не был делегатом на сибирской конференции, а присутствовал на ней без права голоса, но его поразило, что за большевистскую резолюцию о вооруженном восстании голосовало лишь 4 человека, против 18.

Сергея Мироновича поразило также и отношение Гутовского к вооруженному восстанию. Он считал подготовку к нему безнадежным делом по результатам демонстрации 18 января в Томске. «Располагая бульдогами и лефаше, нельзя совершить

революцию», — говорил он, и у молодежи возникало горькое чувство. Между тем, до этой конференции все революционные надежды рабочей молодежи основывались именно на вооружении рабочих дружин и на вооруженном восстании.

После конференции отношение к вооруженному восстанию большевиков и меньшевиков становится для него кардинальным вопросом. После раз'езда делегатов конференции, на каждой массовке меньшевики выступали по вопросам о тактических разногласиях. Не согласные с меньшевиками начинают группироваться, и через некоторое время возникает потребность изучить эти разногласия.

Для этого был организован кружок. Кружок поставил себе целью изучение большевизма — изучали протоколы II с'езда партии, «Что делать?» Ленина.

Сергей Миронович работал в это время техником в городской управе, а жил в обществе книгопечатников на Болоте, в доме Кочетова, ныне угол Лермонтовской и Крестьянской улиц, вверху двухэтажного дома, у старушки Кононовой, матери убитого Иосифа, работавшей там сторожихой. Переехал к нему и я. Там же происходили регулярные занятия кружка. Очень скоро эта квартира превратилась в штаб большевистской фракции томской организации, на нее даны были явки, ежедневно происходили собрания или просто собиралась рабочая молодежь в свободное от работы время.

Все лето 1905 года прошло в Томске в беспрерывном нарастании революционного движения.

Начиная с середины июня, прошла забастовка типографских рабочих, в июле она возобновилась и разрослась до всеобщей забастовки, захватившей железнодорожное правление. Происходила забастовка и на линии Сибирской железной дороги.

В половине июля в томской организации прошли перевыборы Томского комитета партии, в состав которого был избран тов. Костриков. К этому времени наша связь со ст. Тайга укрепилась окончательно, там была создана группа Томского комитета, и Сергей Миронович постоянно выезжал туда. Были организованы группы на ст. Болотная, в сторону Новониколаевска, и на ст. Мариинск, с охватом Анжерских копей — в сторону Красноярска.

13 октября 1905 г. комитет вынес постановление о проведении всеобщей политической забастовки, которая и охватила все предприятия и учреждения города. В городе начались открытые митинги. Еще до этих событий в томской организации шли дебаты по вопросам о баррикадной борьбе, захвате власти и т. д.

Большевистскую тактику отстаивали Броннер В. М. и Костриков С. М., но они были в явном меньшинстве. Вся последующая тактика комитета проводилась в соответствии с полученным «директивным письмом» Мартова, под влиянием чего в октябрьские дни началась агитация за переизбрание Городской думы на основе всеобщего, прямого и т. д. голосования.

По линии Сибирской жел. дороги в это время происходила всеобщая забастовка, и движение приостановилось.

Тов. Писарев Иннокентий и Костриков С. М. проводили забастовку на станциях Тайга и Болотная. Рассказывая о последующих событиях, Сергей Миронович сообщил, что с линии он вернулся утром 20 октября. Город в это время разделился на два враждебных лагеря, детская забава производства выборов в Городскую думу совершенно поглотила внимание комитета партии, проводился громоздкий подсчет голосов по выборам, в то время как черная сотня с архиереем во главе совершенно открыто мобилизовалась и выступала на патриотических манифестациях. В ответ на это комитет выдвинул идею организации городской охраны, в которую и записалось 70-75 человек. Такое положение предопределило катастрофу.

Вместо того, чтобы создать реальную силу и орган действительной революционной власти, хотя бы в виде стачечного комитета, как это было в других сибирских городах, избрали демократическую Городскую думу, о которой (кстати сказать) не вспомнили не только в ближайшие дни революционных испытаний, но и во все последующие дни свобод, вплоть до реакции с начала 1906 г.

20 октября последовал разгром и сожжение городского театра и Управления Сибирской железной дороги.

Сергей Миронович был в этих горящих зданиях, осажденных черносотенцами и войсками, и выбрался оттуда с горстью вооруженных дружинников, пробившись через кольцо осаждавших.

В результате погрома погибли сотни людей.

Погром продолжался до 23 октября. В покойницких университета для опознания было выставлено 153 трупа, кроме того, было много сгоревших в Управлении дороги и в театре.

Комитет партии после этих событий распался. В кратчайший срок был организован новый комитет, который прежде всего занялся организацией боевых дружин. В состав комитета вошел С. М. Костриков. Во главе дружин стал Шимановский.[1]

Под охраной организованных боевых дружин вскоре же начались митинги, и снова восстановились свободы.

При относительных свободах, воцарившихся в Томске, комитет партии перешел на условия легального существования. В Уржатском переулке образовалась своеобразная коммуна, членами которой был поголовно весь состав комитета и значительная часть подкомитета.

В ноябре месяце состоялись грандиозные похороны т. Иннокентия Писарева, погибшего от брюшного тифа на Анжерских копях во время проведения забастовки на линии Сибирской железной дороги.

Тов. Костриков был связан личной дружбой с т. Писаревым (Скрибой), которая прочно закрепилась при нашей совместной работе в Тайге и ее районе.

Похороны происходили в Томске под охраной более чем 300 дружинников, среди которых был отряд тайгинских рабочих.

Для характеристики работы Сергея Мироновича необходимо отметить его работу в Тайге.

Началась она в середине июня 1905 г., после похорон тов. Кононова, на которых присутствовала делегация тайгинских рабочих. Один из них обратился к комитету с просьбой о посылке людей к ним в Тайгу для организации массовок.

В ближайшие дни, уговорившись о созыве массовки, мы втроем с Костриковым и Скрибой (Писарев) выехали в Тайгу, где нас встретил Реутов. Без всякой конспирации мы прямо пошли в железнодорожное депо, где открыто в помещении ремонта паровозов начался митинг. Трибуной была передняя площадка паровоза.

Томские массовки летом происходили обыкновенно в лесу, здесь же, в необычных для нас условиях цеха, среди дымящихся паровозов, в присутствии сотен рабочих в производственной обстановке, митинг проходил с особенным под'емом. На нем Сергей Миронович в первый раз выступил перед открытым большим собранием.

Митинг прошел прекрасно, на нем же было постановлено организовать боевую дружину. После митинга, на более узком собрании, в условиях некоторой конспирации, была организована группа, которая впоследствии руководила всеобщей забастовкой, проводила конфискацию оружия, управляла открывшимся движением, в октябрьские же дни к ней перешла фактически вся власть над поселком.

В октябрьские дни боевая дружина Тайгинской группы обезоружила линейных жандармов и конфисковала все оружие, состоящее из значительного количества берданок и артиллерийских револьверов. Последними были вооружены впоследствии дружинники томских десятков.

Тайгинская группа по своему составу была организована исключительно из рабочих депо, и в ней не было ни одного меньшевика.

К началу 1906 г. на Томск надвинулась реакция. Подавление Московского восстания послужило сигналом реакции. Красноярское восстание также было подавлено. Носились слухи о движении карательных экспедиций — с запада Меллер-Закомельского, с востока — Ренненкампфа. В Томск приехал новый губернатор барон Нолькен и об'явил город на военном положении. Мы ответили ему митингом в бесплатной библиотеке, которая была оцеплена войсками и черной сотней, но при наличии значительных сил боевых дружин Нолькен не решился повторить погрома. Осада библиотеки, продолжавшаяся 6-7 часов, после переговоров была снята без сдачи оружия, как того требовала полиция.

Однако, 6 января последовали первые аресты. Арестована была типография, а также штаб боевой дружины.

Жили мы с Сережей уже на другой, более конспиративной квартире моего отца, на Нечаевской улице.

7 февраля утром у нас должно было быть комитетское собрание с подкомитетом.

[1] Расстрелян в 1918 году на Дальнем Востоке белобандитами.

Возвращаясь домой поздно ночью накануне, мы наткнулись на обыск, которого счастливо избежали.

В течение 3-5 февраля 1906 года были арестованы до 200 товарищей и 2-я типография. Разгром был полный, по городу ходили патрули со шпиками и задерживали всех, известных охранке.

Из комитета и подкомитета уцелели 3-4 человека, которые оставались в городе только для того, чтобы передать связи и организацию вызванным из других городов товарищам.

Костриков ни за что не хотел уезжать, пока не будет закончена перестройка. Мы решили с ним переехать в Красноярск, где нас не знала охранка. В половине февраля я двинулся туда, а через две недели был арестован второй раз Сергей Миронович. При обыске у него ничего не было найдено и, продержав его месяца два, принуждены были выпустить с «изменением меры пресечения» под залог.

Ввиду повсеместных разгромов, пронесшихся по Сибири, и многочисленных провалов типографий в Сибирском союзном комитете возникла мысль организовать подпольную (в буквальном смысле) типографию, законспирировав ее таким образом, чтобы она максимально была застрахована от случайных провалов.

Организация такой типографии была поручена т. Кострикову, М. Попову и др.

Для этой цели Попов М. был вызван из Красноярска в половине мая, а Ольга, под фамилией Газиной, купила на средства Сибирского союза, через томского городского врача Грацианова, небольшой двухэтажный дом, стоящий на уединенной Аполлинарьевской улице, на самом конце города. Помещение было оборудовано хорошо законспирированным входом, представляющим из себя подвижную стенку подполья нижнего этажа, вращающуюся на петлях и роликах, лежащих на рельсах, которые служили им опорой. Для того, чтобы проникнуть в помещение, нужно было спуститься в подполье квартиры нижнего этажа, открыть ключом, наподобие французского, защелку, затыкающую подвижную стенку, и значительным усилием передвинуть ее по рельсам в сторону. Эта подвижная стенка-дверь представляла собой плоский ящик, набитый землей.

Система вентиляции, сигнализации и законспирированный вход были сконструированы т. Костриковым.

Работа над оборудованием помещения продолжалась месяца полтора, и когда оно было закончено, туда были привезены наиболее громоздкие части оборудования типографии: станок (вал и рельсы), реалы, кассы, столы и стулья.

Оставалось только закончить ремонт верхних открытых помещений — покрасить полы, оклеить стены обоями.

Однако, 19 июля последовал арест работавших там тт. Кострикова и Попова. Газина случайно не ночевала в ту ночь на Аполлинарьевской улице, а т. Решетов, живший у себя на квартире, идя утром на работу, издали увидел оцепленную квартиру и скрылся. Таким образом, двое избежали ареста.

Тщательно произведенный обыск не обнаружил помещения подпольной типографии. Присутствие нас в ремонтируемом доме было необъяснимо для охранки.

Товарищ Газина (Ольга), оставшаяся на воле и следившая за ходом расследования, об'ясняет наш провал массовыми обысками в эту ночь, начавшимися с дома Грацианова, — действительно, весь квартал был оцеплен солдатами и во всех домах квартала были произведены обыски. Во всяком случае, если бы у охранки были сведения об оборудовании нами типографии под домом на Аполлинарьевской улице, она была бы открыта, несмотря на всю конспирацию.

В результате этого ареста и обыска, к нам не могли пред'явить обвинения ни по одной из существующих статей уголовного уложения ни жандармерия, ни судебно-следственные власти, и потому в половине марта 1907 года я был освобожден из тюрьмы. Меня выслали в Тобольскую губернию. Что касается Сергея Мироновича, то во время сидения после нашего ареста, в начале 1907 года, он судился по другому делу (арест в конце февраля 1906 г.), вместе с Кулешем, Ароном, Моисеевым и другими, и получил приговор на три года крепости, сокращенный до 1 г. 4 м. крепости по несовершеннолетию, без зачета предварительного заключения. Таким образом, после нашего освобождения он остался в тюрьме отбывать наказание.

Когда, по окончании установленного приговором срока, Сергей Миронович был освобожден, он уехал в г. Иркутск, где пробыл несколько месяцев.

После провала там, Сергей Миронович уехал во Владикавказ, где снова был арестован (4-й раз, летом 1911 года).

Обстоятельства этого ареста следующие:

Летом 1909 года в доме по Аполлинарьевскому переулку произошел обвал подвального помещения, предназначавшегося под типографию. Это обратило внимание полиции, была вызвана саперная воинская часть, которая и открыла по обвалу типографию, не открытую обыском полиции три года назад, в июле 1906 г.

Наличие в обрушившемся подвале типографского станка, рельс и типографских касс послужило причиной новых арестов. Попов М. — был арестован по месту ссылки в Челябинске, Решетов — в Томске, а Костриков в течение двух лет не был разыскан и арест его последовал лишь в 1911 году, в гор. Владикавказе.

Мы трое были арестованы летом 1909 г. и этапным порядком препровождены в Томск, судились в марте 1910 г., дело же Кострикова было выделено и разбиралось лишь весной 1912 г. По суду он был оправдан и возвратился во Владикавказ.

Таким образом, Сергей Миронович с 1904 по 1912 г., т.-е. в течение более семи лет, был связан с Томском.

Первые два ареста были кратковременны и дали ему общую закалку. Длительное же сидение с лета 1906 г. по 1908 г. было широко использовано им для самообразования.

После ареста в 1906 г. мы сидели в камере № 28 секретного отделения загородной тюрьмы втроем в течение 4-5 месяцев. Тюремный режим был свободен, вплоть до того, что находящиеся там пересыльные товарищи нарымцы ездили в город за покупками для нашей тюремной коммуны; в тюрьму регулярно проникала нелегальная литература, включая литературу центральных органов. Тюрьма издавала на гектографе свой журнал, в котором Сергей Миронович принимал постоянное участие, наконец, в тюрьме проводились лекции с законченным циклом занятий, кружки и диспуты. В томской тюрьме того времени было больше «политических свобод», чем в самом Томске, в котором губернатор барон Нолькен ввел режим свирепой реакции. Зимой в конце 1906 г. произошло крупное столкновение с тюремным начальством, попытавшимся «завинтить тюрьму», перешедшее в прямой «бунт». Были разбиты окна, двери, а в нашей камере № 28 была даже разобрана печь, кирпичами которой разбивались двери, закрытые с утра, вопреки установившейся традиции. Были введены войска, открывшие огонь по секретному корпусу, в результате чего оказалось двое раненых. Но тюремное начальство не решалось еще применить меры, которые бы раздавили наше сопротивление — в это время было открытие Государственной думы, поэтому ввиде компромисса начальство предложило нам перейти в общие камеры так называемых «красноярских бараков», где режим устанавливался также свободным. Пожелавшие же остаться в секретной должны были подчиниться режиму закрытых дверей.

Несмотря на неудобство общих камер, где трудно было установить дисциплину, обеспечивающую возможность заниматься, мы решили с Сергеем Мироновичем переселиться в «красноярский барак», чтобы не подчиниться новому режиму, вводимому в секретной.

В «красноярском бараке», в камере № 1 нас сидело 43 человека. Установили жесткую конституцию и повели кружковые занятия. Сергей Миронович читал на кружке по современной терминологии «политграмоту». Ночью же, когда вся камера засыпала, читали «Капитал» Маркса узким кружком. Засиживались за этой работой до 3-4 часов ночи и вскоре по изобретению Кострикова вообще превратили ночь в день, — т. е. занимались почью до утра, а спали днем до обеда, который был в час дня. Такой распорядок установили ввиду полной невозможности заниматься днем — буйное население камеры в 40 человек, несмотря на конституцию, порядочно шумело.

Это обстоятельство, наконец, заставило нас после нового года добровольно снова перейти в секретную, где мы вдвоем с Костриковым принялись за серьезные занятия. Сергей Миронович решил использовать тюрьму как университет. По собственному желанию, оставшиеся по приговору полгода он провел в одиночке после того, как меня выслали в Тобольскую губернию.

В 1908 г. за побег из ссылки я вновь был арестован, переслан в Томск и снова сидел в одной камере с Костриковым. За год он теоретически много вырос, с воли, из

города, ему посылали неограниченное количество книг, и он с удивительной энергией и упорством преодолевал великое учение Маркса-Энгельса.

Сергей Миронович Костриков за время томской полпольной работы и долгие годы тюрьмы из «уржумского уроженца» превратился в профессионала революции, вооруженного стальной волей большевика и революционной наукой Маркса-Ленина.

Волна Октябрьской революции подняла его от руководства тюремным кружком рабочих до управления социалистическим государством и миллионными пролетарскими массами, превратила его в Кирова — пролетарского трибуна и ближайшего соратника нашего великого Сталина.

М. Бажан

Демонстрация в Томске

(Из поэмы о Кирове)

И рассветет, и твердо выйдут люди,
И порохом пропахнут снег и дым,
И рассветет, и виден мир им будет,
Весь мир, все судьбы станут видны им,
Сергею с другом — хлопцам молодым.

Из комнаты соседней Катерина
Выходит к ним, она им принесла
Кусок простого красного сатина,
Который вышила ее игла.
И ласково, но властными руками
Материю взял Кононов и так
Сказал друзьям: — По всей вселенной пламя
Мы пронесем, как этот красный флаг.
Как хочется для мира молодого
Прожить века, чтоб все твои дела,
Чтоб жизнь твоя достойною была
И класса твоего и знамени такого!
И он застыл как будто наготове:
Не знамя перед ним горит, — заря, —
Оттенки все и пламени и крови
Рванулись в небо, небо озаря,
И с каждою минутою багровей
Над миром разливаются моря.
Бессмертный стяг взлетает над мирами —
Размах высокий — чистого огня!
— Клянусь, — тебя я пронесу над нами!
— Клянусь, — ты жизни выше для меня!
Рассвет зардел морозно и сурово,
Сухих снегов дымилась круговерть.
День утвердил, и подтвердила смерть
Ту клятву юноши — прямое слово.

Еще заря, и розовеет лед
Скрипучей, скованной зимой Ушайки,
Но вот уже мелькают у ворот
И сыщиков и лавочников шайки.
Сигнал — «в ряды»! — Толпа. И крик как раз
Какой-то офицерши сиповатой,
Бас пристава, как будто трубный глас,
И марсельезы первые раскаты.
И рыжий грузчик, и студент с копной
Льняных волос, и девочка с завода
Встают плечом к плечу, рядами, в строй,
Идут с окраин. Слышен гул народа
И скрип снегов. Сначала тишиной,
Их центр встречает в рядами черных
Безликих и глухих городовых,
Затем свистками из-за стен соборных
И откликом на них свистков других.

Так пролетарии входили в город.
И в воздухе мерцающий мороз
Напев, который был и чист, и молод, —
Ту песню грозной красоты разнес.
Взлетали кличи в высь над песней этой,
Подхваченной рядами горячо,
И с песнею, сегодня трижды спетой,
Шли пролетарии к плечу плечо.
И Кононов, как вызов, над толпою
Движеньем резким вскинул красный флаг, —
Запело древко у него в руках,
Как бы предчувствуя начало боя.
Сергей шагал, вот что-то крикнул он,
Вот выпрямился, вот блеснул бульдогом.
И шел народ торжественно и строго,
Уверен в силе собственных колонн.
И голоса росли, и без усилий
Неслись все выше, выше вдоль небес.
Под лай собак свистки с ума сходили,
Снег заскрипел, и пристав вдруг исчез.
Но пересвист трещал без остановки,
Пока не вырвались из-за стены
Седые от мороза скакуны
Казачьей сотни вышколенной ловко.
И все затихло — слышалось одно,
Как лед колотят четкие копыта.
Мгновенье битвы, нынче пережитой,
Тебя забыть вовеки не дано!
«Огонь! Огонь!» И грянул выстрел сухо.

Нестрашный, одинокий, краткий звук,
Короткий треск пять раз слыхало ухо,
И рвался револьвер пять раз из рук.
Пять раз метал бульдог свинец и пламя,
Казаки дрогнули, смешался конный ряд.
И поднял Осип над собою знамя:
Они бегут! Они бегут назад!
Но из дверей, из ближней подворотни,
Из переулков, вдруг, из-за угла
Пришли шпики на помощь смятой сотне,
И вот стрельба идущих обожгла.
Стреляй, Сергей!.. Уже на льду Ушайки
Стрекочут пули. Не уйдет никто.
И на плече багровый след нагайки,
И шашкою рассечено пальто.
Сергей стрелял, он ощущал порою
В своей руке патронов холодок:
Он заряжал. Стрелял. Обычай боя
Он изучал, — нелегким был урок.

И храп коня, и свист, и шашкой вея,
Папаху сдвинув, налетел казак,
И зашатался Осип, но, бледнея,
Успел сорвать он с древка красный стяг,
И навзничь рухнул. Пятна над снегами
Одни плывут, лишь свист и огоньки.
— Клянусь, тебя я пронесу над нами!
И руку сжав, он не разжал руки,
И чтоб враги нечистыми руками
Не взяли знамени, как свой трофей.
Он далеко, глубоко спрятал знамя
На холодеющей груди своей.

Ввалились от глубокой скорби очи,
Как кровь, что запеклась, чернеет рот.
А день угас, и вечер настает —
Мечтательный пролог сибирской ночи.
На фосфорный, на бесконечный снег
Он тенью лег, ему границы нет.
Рот искривлен немым и тайным плачем,
Кричать нельзя — лишь рухнуть на
кровать.
И надо сердцем облалать горячим,
Чтобы насильно слезы оборвать.

**
*

...Сергей поднялся, ко всему готовый.
Схватил пальтишко. Приподнял засов.
Остановясь, хотел прибавить слово,
Но молча встал за ним Иван Лисов.
Они неслышно пробирались вместе.
Калитка только стукнула вдали.
Морозной пылью вихрились цвели
Холодные, колючие созвездья.
Мороз стоял без края, без границ,
Великим, тихим океаном стужи,
И ветер примерзал к земле все туже,
Как в лед вмерзают крылья мертвых птиц.
Молчание шло с севера. Оно
Надвинулось во всем своем об'еме.
От холода растрескивалось дно
Заледенелой, окоченелой Томи.
Кристалл снежинок, мерзлый жесткий прах
Покрыл всю землю россыпью соленой
И звездный свет был раздроблен в снегах
На синий луч, на желтый и зеленый.
Как нестерпима эта синева!
Лицо Ивана, словно неживое.
Бескрайний мир скрежещет под ногою,
На сотни верст вокруг земля мертва.

Свернуть сюда. Вдали от зданий сонных
Стоит ограда. Открывая край,
Отстала известь. С кирпичей казенных
Свисает иней — снеговой лишай.
Глухие стены городской мертвецкой,
Глухая тишь, нагих ветвей узор.
Смеялся Осип, молодо и дерзко:
«Что сверстано — не попадет в разбор!»
Да, наше сердце яростно и жадно:
Твори и рушь, и созидай, и строй,
Ты входишь в мир, суровый и громадный,
В прекрасный мир, наполненный борьбой!
Бывает миг — и сотни жизней мало,
Бывает миг — и слух наполнит дрожь.
И слышишь дальний шопот за Уралом,
Речь, за морем звучащую, поймешь.
Приходит все — покой и воля — разом,
Провидишь мир, такой бывает миг!
Так было с этим парнем сероглазым:
Он волю жить и побеждать — постиг.

Пора итти. По сумрачной аллее
Проникнуть вглубь, минуя двор во мгле...
Зовет Иван, от тишины слабея:
— Сергей, постой! Как страшно на земле!

Земля родная! Восставать и славить
Победу жизни, появленье дня!
Ни смерти тлен, ни вражеская зависть,
Ни выстрел в спину не страшат меня.
Пускай Иван останется, он так устал,
Сегодня поработал он немало.
Чего сегодня он не испытал?
А был бойцом добротного закала.
Пойду один, шагая по рядам,
Один склонюсь над мраморной доскою,
Последний долг товарищу отдам,
Последний раз коснусь его рукою,
Достану знамя, поцелую в лоб,
Скажу ему... Нет, не скажу ни слова...
Не сыщешь выражения такого,
Что выразить всего меня могло б!
Тут, в анатомке университетской,
В ее пустой, неприбранной мертвецкой,
В глухом углу, с пробитой головой
Лежит товарищ, смелый, боевой.
Лежит товарищ в куртке грубой шерсти,
В простой рубахе, рассеченной вкось,
И, смеренно аршином долгим смерти,
Большое тело смирно улеглось.

Напрягся горбик смуглых дуг
надбровных
Безмолвно затаив немой вопрос,
И расплылся вдоль мускулов бескровных
Неизгладимый мутно-желтый воск.
Кой-где на подбородке тонкий волос
Еще скользил из ослабелых пор...
Сергей тихонько шевельнул, освоясь,
Знакомый лоб, простреленный в упор.
Высокий лоб... Мой Осип! Встань скорее!
Нам надо жить, — пути зовут, круты.
До боли вглядывался он, немея,
Познав молчанье тьмы и пустоты.
Он содрогнулся. Наклонясь над телом,
Он тихо руку протянул вперед
И флаг нашел — его мертвец сберег
Под полотном рубахи потемнелым.
И вот — пурпурный лоскуток сатина,
Простая ткань, как искорка огня!
— Клянусь, ты жизни больше для меня,
И, может быть, я под тобою сгину,
И, может быть, я выступлю с тобой,
Как знаменосец, избранный народом,
По черным землям проходя походом
В безвестный край за далью голубой.
Я протопчу, дорогу пролагая,
И жар песков, и неба синеву,
И перед тем, как пасть, изнемогая,
Я жизнь свою недаром проживу.
И не одну, — я две бы жизни прожил,
Когда б две жизни было у меня.

Он знамя взял и вышел к темной шири
Сибирских нескончаемых сторон, —
В непроницаемую ночь Сибири,
Во всеимперский, приполярный сон.
Огромные, бескрайние просторы
У ног его катились, как поток:
Приморья, степи, города и горы,
И пыль, и снег, и ветер, и песок.
Прижавши к сердцу знамя, в глубь дорог
Он вышел, и переступил порог...

В. В. Иванов

Погром

Отца отправили в томский сумасшедший дом. У него нашли белую горячку. Мы переехали в Томск. Мать поступила в кухарки. Стряпала она плохо, кроме того, ей часто приходилось менять службу, так как я не нравился всем ее хозяевам. Службу она старалась найти неподалеку от сумасшедшего дома.

Каждое воскресенье мы навещали отца. Мне казалось, в сумасшедшем доме он стал рассуждать спокойнее и правильнее. Он составлял киргизский словарь, а в свободное время колол дрова для смотрителя. Жизнью своей он был очень доволен. Палаты чистые, опрятные, соседи смирные. Вскоре мне самому захотелось стать сумасшедшим.

— И долго тебя продержат? — спрашивал я с завистью.

— Да вот доктор говорит: прибавите еще десять фунтов, и можно выпустить. Главный доктор больного меньше пяти пудов не выписывает. Какой, говорит, он поправившийся, если не весит пяти пудов.

— Опять в Волчиху поедешь? — спрашивала мать с тоской.

— Надоели мне мужики, вернусь я в казачество. Кроме того, давно я стерлядей не ловил.

— Лов хороший, — сказала мать.

— Писали, что ли?

— Не писали, а наших казачков встретила.

А встретили мы наших казаков так. Возвращались мы поздно ночью с матерью из гостей. Она ходила к знакомой рябой кухарке помогать стряпать пельмени. В городе шел еврейский погром. Стряпая пельмени, кухарки рассказывали друг другу о том, как черная сотня сожгла народный дом вместе с митинговавшими студентами и рабочими.

Мы пересекли большую пустынную площадь. Где-то в стороне, у белого дома, горел костер. Не помню, было ли это зимой или весной, но пронизывающая, тоскливейшая изморозь поднимается вокруг меня и сейчас, когда я вспоминаю эту длинную площадь. Мать шла довольная: пельмени удались, она несла остатки, чтобы завтра утром поджарить и угостить меня: наша хозяйка, как и все хозяйки, обижалась, что кухаркин мальчишка много жрет.

От белого дома донесся крик. Затопал иноходец. К нам скакали с пиками наперевес широкие папахи. Мы остановились. Кони уперлись в нас. К седлу приторочено

что-то пушистое. Я не испугался, я с любопытством ждал их. Они были пьяны, радовались своей удали; они не видели никакой подлости в том, что грабили людей; они радовались тому, что не попали в Манчжурию, а сражаются в тихом и безопасном месте, они радовались будущим медалям.

Размахивая пикой, казак крикнул пьяным и ленивым голосом:

— Жидовка, чо, младенца спасаешь?

Второй закурил трубку, звякнул шашкой о стремя. Голос у него был еще ленивее, чем у первого.

— Не успели дорезать?

— Дорежем!

Мать молчала.

— Жидовка, отойди. Сейчас пронзать будем сына твоего пиками.

— Кетер, шайтан! — ответила моя мать торопливо. — Таре, дчал гасын?[1] Очумели совсем! Чо, своих не узнали, штоб вас язвило! Совсем перепились.

Казак с трубкой сплюнул.

— Чо? С Иртыша?

Первый казак спросил:

— Чо, какой станицы, тетка?

— Семиярской, — ответила мать.

Первый казак спросил:

— Прохора Хворостинина из Урлютюпа знаешь?

— Слыхала.

— Передай по всей линии, что сына его встретила в Томске. Жидов громит, дескать. А это бери себе.

Он отстегнул от седла черное и бросил матери. Мать пощупала и передала мне. Это был разорванный сюртук и шапка меховая с длинной тульей. Хворостинин слез с коня и, шатаясь, с протянутой рукой, подошел к матери.

— Чо, видишь, тетка?

На ладони у него лежали золотые часы.

— Мог бы тебе подарить, но скажут — не с удальства, а спал с ней.

Он поднял коню переднюю ногу. Положил часы на землю и опустил копыто. Легонько хрястнуло. Хворостинин опять поднял ногу и показал сплющенные в лепешку часы. Пощелкал по крышке ногтем, плюнул и бросил изо всей силы в сторону.

— Вот как сибирячки-то поступают, — сказал он, отъезжая.

Мы долго ползали по земле, разыскивая эти часы.

Чуть светало, когда мать вернулась на площадь. Часов она так и не нашла. Тогда она обругала Хворостинина, который, наверно, только махнул рукой, а часы остались в ладони.

— Знаю я этих казачков, жадней зверя не встретишь.

. . . . . .

И. Тачалов

Мрачная повесть

...Встреча с Натальей устыдила меня и заставила вернуться в мастерскую Алексея — снова взяться за шапки. Повлияло на меня и то, что шел как раз 905—906 год. Он захватил и всколыхнул меня. Я начал знакомиться с революционными кружками и участвовать на массовках и митингах. Я не различал никаких партий, не понимал никаких программ и платформ, а участвовал просто, благодаря своей впечатлительной, увлекающейся натуре... Я жадно присматривался к лицам новых людей, с упоением прислушивался к неслыханным речам, мне нравилось, что слабые горсточки бунтарей смело боролись с громадным всероссийским чудовищем, вооруженным до зубов. Я гордился своей принадлежностью к гордым и мятежным, гордился своим бесстрашием, считал себя особенным, видя, что мои родные, знакомые страшатся даже мысли о революции, даже одного слова «политика»... А потом я чувствовал благоговейный трепет, когда горсточка моих товарищей шла во главе многотысячной

[1] Отойди, чорт! Что надо?

демонстрации и увлекала за своим красным знаменем почти весь город, восторгался тем, что это знамя несет мой закадычный товарищ Мишка Зимачев... Мне страстно хотелось, чтобы мои родные увидели меня не среди подонков и отбросов человеческих, а среди главарей освободительного движения. Когда казаки заграждали путь, я, как пьяный, бросался в их ряды и призывал итти с нами. Во время погрома я спасся каким-то чудом... Вечером перепуганный Алексей сообщил мне, что громилы приходили к нему и искали меня. Он посоветовал уйти мне куда-нибудь на время... Я ушел к знакомому сапожнику-белорусу Мише Дубовцу с намерением переночевать, а утром уйти в деревню.

Этот сапожник был сознательным и политически просвещенным, связанным с революционной организацией человеком. Он был многосемейный, имел шестерых детей, из которых самой старшей девочке было одиннадцать лет. Несмотря на бедность, эта семья была на редкость цветущей и красивой, начиная от родителей и кончая грудным младенцем. Они приняли меня приветливо и сами предложили мне остаться у них квартирантом.

Утром я пошел к хозяину шапочного магазина. Купец предложил мне делать картонки для шапок и фуражек. Я сразу освоился с этим немудрым делом.

Погромная волна схлынула скоро, меня никто не преследовал, я жил и работал спокойно и скоро горячо привязался к семейству сапожника... Здесь я впервые встретил полное семейное равенство, я никогда не видел, чтобы отец был возмущен или раздражен, никогда не слыхал, чтобы он заворчал или прикрикнул на жену или детей. Да и дети были послушными и веселыми. Красавица хозяйка нисколько не тяготилась ни бедностью, ни детьми, ни революционностью своего мужа, она шумно и весело хозяйничала, и только в случае острой нужды торопила мужа — поскорее закончить какой-нибудь заказ. Муж, всегда наполовину работавший, наполовину читавший, послушно отрывался от чтения, заканчивал и относил работу.

Этот тихий, светлый и невозмутимый человек был стойким и непоколебимым в борьбе с произволом, он ни на минуту не задумывался жертвовать своим и семейным спокойствием и жизнью, и без малейшей рисовки выполнял самые рискованные задания организации. Одно время я был арестован вместе с ним и просидел в тюрьме около месяца. Я сильно беспокоился о его семье, но сам Дубовец чувствовал себя, как дома.

— Семью поддержит организация, — говорил он. — Но если бы и не так, то ведь на то и борьба. Тот не борец, кто идет да оглядывается.

Когда мы вышли из тюрьмы, жена заявила:

— Что ж, мы все прожили, все остались здоровыми. Было немного поголоднее, побеспокойнее и поскучнее, но зато теперь вдвое радостнее и веселее...

Одно время мне показалось, что я влюбился в свою хозяйку... Испугавшись этого, я все чистосердечно рассказал мужу. Он задумчиво выслушал меня и засмеялся.

— Ничего, братец, — сказал он шутливо, — любовь не бывает виноватой...

Приехал брат Николай и жил у другого сапожника: он не довольствовался починкой и учился шить новую обувь. Он не понимал меня и сильно тревожился за мою принадлежность к «политике», а когда я вышел из тюрьмы, он резко потребовал, чтобы я прекратил свои глупости. Он доказывал мне, что я своим сидением в тюрьме опозорил всю нашу породу, что от меня отрекаются все родные и знакомые, и что он тоже будет принужден отречься.

Раздосадованный резкостью и несознательностью брата, я также резко ответил, что он, очевидно, из-за пьянства потерял не только свою железную силу, но и светлый разум, и мы впервые расстались враждебно.

Потом ко мне неожиданно явились обе сестры. Аграфена оправилась окончательно, но лицо ее так и осталось обезображенным. Наталья только что вышла из больницы и была еще слабой и бледной. Обе сестры были немного подвыпивши и зашли просто пособолезновать мне — арестанту. Они были изумлены моим здоровьем и хорошим настроением. Наталья со смехом заявила:

— А ведь мы, Ванюшка, подумали, что политикой занимаются только сумасшедшие или поврежденные, ну и всполошились.

— А меня Егорка побил, — беззубо пожаловалась Аграфена. — Он мне так и бросил в глаза: «от вашей породы нечего ожидать: вон младший-то братец стал даже «политиком»...

Спор с Николаем и посещение сестер точно облили меня ядом... Втайне я гор-

дился тем, что я — «рожденный в спирту» — оказался избранником, опроверг мрачное пророчество отца и ушел из мира отверженных, — и, оказывается, что все мои достижения не радуют родных. Однако, обстановка новой работы была очень благотворной: картонажная работа гораздо выгоднее и интереснее гильзовой. Стихи мои тоже совершенствовались... Дубовец знакомил меня с интеллигентными семействами, и предо мной открывался новый мир, новые взаимоотношения...

И. Тачалов

Орлиная песня

У каменных высот могучего Алтая,
На серых остряках холодных, сонных скал,
Орленок молодой, отважностью сгорая,
Сидел и, полный дум, по небу тосковал.

В небесной синеве заоблачно-свободной
Его могучий брат бестрепетно парил,
И младший, тяготясь тоскою безысходной,
Стерег его полет и дерзостно молил:

— Возьми меня с собой, дай мне расправить крылья
И сердце закалить в полете роковом,
Не дай погибнуть мне в минуту слабосилья
И поддержи своим испытанным крылом.

Дай насмотреться мне на трепет изумрудный
Задумчивых лесов и ласковых равнин,
На белизну снегов, таящих непробудный
Тысячелетний сон незыблемых вершин,

На ярость буйную каскадов белогривых,
Стремящихся порвать об'ятия твердынь,
На зеркала озер, на ленты рек игривых
И на молчание безжизненных пустынь.

О, дай взглянуть на все с высот недостижимых,
Дай сердце напоить живых страстей вином,
И слиться с глубиной красот непостижимых,
И вспыхнуть и сгореть в восторге неземном.

Глеб Пушкарев

Осада

Друзья направились к цеху. Шум тысячи голосов остановил их в дверях. С первого взгляда казалось, что в мастерских праздник: люди, шумные, возбужденные, переходили из одного конца в другой, переговариваясь, перекликаясь друг с другом. В дальнем углу прямо на полу сидели солдаты железнодорожного батальона. В сторонке с винтовкой в руках стоял Борисов. Сергей с Ивочкиным пробрались к нему. Он дружески протянул им руку:

— Пришли? Опять, значит, вместе? Драться выходит, братишки, будем!..

— Что случилось?

— То, что и надо было ждать. Омская рота решила ночью окружить нас и обезоружить. А мы постановили: оружия не отдавать, перейти в мастерские и отсиживаться здесь. Нас поддержал и партийный комитет.

— А совет?

— Партийный комитет для руководства работой остается в городе, а весь со-

став совета и ряд партийных работников ночью перешли сюда. Мыльников здесь. Сейчас обсуждают план обороны мастерских.

— Оружие есть?

— Есть. Перевезли достаточно... Вот пушек не удалось тогда заполучить, а то бы веселее было.

Заиграл рожок. Солдаты поднялись с мест и, строясь на ходу, направились в паровозный цех. За ними последовали и рабочие. Сергей не отставал от Борисова.

Незнакомый Сергею человек в черной папахе читал приказ совета. Долетали только отдельные слова:

«...Пользуясь военной силой, губернатор предложил нам распустить Совет рабочих и солдатских депутатов... Губернатор приказал арестовать членов Совета и партийный комитет... Мы, товарищи, согласиться на это не можем... Совет постановил защищать свои права с оружием в руках... Мы призываем вас присоединиться к нам и вместе с товарищами солдатами железнодорожного батальона запереться в мастерских, чтобы...»

Крики «ура» заглушили читающего приказ.

Человек в папахе стучал железной палкой по паровозу.

— Товарищи! Тише! Через час мы будем выдавать оружие тем, кто останется с нами в мастерских. Сейчас же предлагается всем, кто живет близко от мастерских, разойтись по домам за продуктами и теплой одеждой. У кого есть оружие — несите его сюда... Скорее, товарищи! Часа через два мастерские будут уже окружены войсками.

Он исчез в толпе.

У штаба собрались солдаты, рабочая молодежь, которой, как и Сергею, незачем было итти домой. В открытые двери комнаты старшего мастера солдаты таскали мешки с продуктами.

Не прошло и пяти минут, как из штаба вышел Борисов и обратился к молодежи:

— Кто свободен, товарищи, идите за мной — строить баррикады!

Толпа двинулась за Борисовым. Молодежь шла с песнями, с горящими глазами.

Вход в сборочный цех представлял собою узкий коридор между двумя каменными стенами цеха и пристройкой. Борисов палкой провел на снегу две черты, соединив цех с пристройкой.

— Сюда поставим паровоз, а кругом навалим всякий хлам. Начинаем, товарищи?

Сергей с Ивочкиным направились к стоящему в сторопе паровозу.

Командиром оказался Стрельцов. Он осмотрел свою бригаду, похлопал рукою по паровозу и покачал головой.

— Серьезный господин. Справимся ли мы с этой махиной?

Сергей подошел к паровозу с задней стороны, уперся в него руками и сразу отскочил: леденящая сталь жгла через рукавицы.

— Кусается!

— Бери плечом! — приказал Стрельцов, и первым бросился на штурм. — Нажимай, ребята!

Рабочие, как муравьи, облепили паровоз и по команде: «три!» — начали толкать его вперед. Заскрипели колеса, и паровоз сдвинулся с места. Теперь уже его можно было гнать без особого труда.

— Веселей! — кричал Стрельцов, и с новой силой бросился на паровоз, ускоряющий ход. У ворот подложили под колеса полено, чтобы остановить ход. Перевели стрелку и погнали чудовище обратно к мастерским.

В проходе, на очерченном Борисовым месте остановились.

С разных сторон двора на носилках, тачках стаскивали к паровозу железный лом, колеса, ящики, шпалы — все то, что можно было найти поблизости, и валили в кучу между паровозом и стенами цеха.

— Сюда! — кричал Стрельцов и голыми руками ворочал огромные чугунные части, железные болванки, ящики, шпалы. — Под колеса вали! А ну, товарищи, веселее!

Сергей с Ивочкиным носились по двору, выкапывая из-под снега разбросанные металлические части, — все, что могло пригодиться для баррикад.

Возле паровоза росла металлическая стена.

— Довольно! — закричал Стрельцов и поднялся на баррикаду. — Крепка! Такую не скоро прошибешь... Заходи, товарищи, греться.

Забрав лопаты, носилки, рабочие разбрелись по двору. Сергей долго рассматривал баррикаду, пробуя крепость отдельных частей, и довольно улыбался:

— На совесть сложена!

...Из механического цеха кричали:

— Выходи! Оружие привезли! Баррикады строить надо! Уголь таскать! Дрова запасать! Жи-ве-е!

Двери на улицу были раскрыты настежь, рабочие и солдаты таскали через них на плечах огромные четырехугольные вагонные печи. Одну на другую, как кирпичи, укладывали печи кольцом вокруг входа в цех.

— Есть хочу, — решительно заявил Ивочкин: — с утра ничего не ел. Идем в цех!

Цеха неузнаваемы. Самый большой — сборочный — превратился в огромный зал. Паровозы отведены в камеры по сторонам, как по стойлам. Один из них отвели к дальней стене и приперли им запасные ворота.

На платформах все время подвозили толстые железные листы. Их тотчас же стаскивали к окнам, ставили на ребро и закрепляли проволокой. Получилась броня на высоте глаза.

В механическом убрали лишние станки, очистили проходы, забронировали окна. В углу свалили гору кошем и тюфяков от мягких вагонов, забранных из дальнего вагонного цеха.

**
*

...Утром, когда так сладок сон, по мастерским поднялась тревога. Люди соскакивали с постелей, хватали винтовки и становились в свои десятки.

— Выходи!.. Оружия с собой не брать!

Люди бежали в кузнечный цех, перелезали через баррикаду и выбегали во двор. Часовой кричал, размахивая руками:

— К воротам номер один! Там нужны люди.

Застегивая шубу на-бегу, Сергей выбежал на площадку. Первое, что бросилось ему в глаза, это разбитые ворота и два товарных вагона, стоявших на рельсах перед баррикадой. Двери вагона распахнуты и оттуда рабочие выбрасывают мешки, тюки и ящики.

Группа рабочих с топорами в руках заколачивала брешь в воротах.

Кто-то кричал «ура!», кто-то смеялся радостно, заразительно.

Только тут Сергей заметил на вагоне надпись мелом:

— Товарищи! Мы с вами. Ждите! Будем помогать и дальше!

Рабочие взваливали мешки на плечи и тащили их к кузнечному цеху. Сергей подбежал ближе. Кто-то взвалил ему на плечо тяжелый сверток и он побежал с ним вслед за товарищами.

В вагоне оказался хлеб, мука, мясо, табак.

Вернувшись за новой ношей, Сергей заметил у вагона тетушку Силину. Она распоряжалась — куда и что нести. Ощупывая каждый мешок, качала головой:

— Голубчики, и до чего же вы хорошие люди.

Поймав Мыльникова, дернула его за рукав:

— Начальник, отпиши ты им, чтоб в следующий раз дрожжей прислали. Мука есть, а без дрожжей... что я с ней делать стану? И маслица надо, и соли. Сделай милость!

Пустые вагоны отвели в сторону, чтобы они не загораживали двор.

Осажденные ходили по двору, как на прогулке.

Ивочкин долго бродил возле забора, всматриваясь во вражеские снежные окопы. Вдруг он сделал прыжок и вскочил на забор, помахивая рукой.

— Здорово, земляки!

— Здорово, земляк, — послышались ответные голоса и смех. — Приходи к нам чай пить.

— А закуска есть? — кричал Ивочкин.

— Закуска твоя.

— Ну, я без закуски не люблю. Заходи к нам, у нас с закуской. — Он вынул кисет, завернул папироску и закурил.

— Табак у тебя есть? — в несколько голосов сразу отозвались солдаты.

— А почему нет? Подходи, всех угощу. Этого добра не жалко.

— Стрелять не будешь?

Ивочкин рассмеялся.

— Подходи, ребята!.. А что у вас офицеров-то не видать?

— Зачем тебе их?

— Как же? Не одни же вы воюете против нас?

— Ясное дело, имеются и офицеры.

— Так почему вы бродите около нашего забора?

— Мы вроде разведки и охраны... Оставь вас, так вы и разбежитесь ночью через забор, либо с воли вам пищу возить станут. Вас оберегаем.

— Вот спасибо, — снял шапку Ивочкин. — Заботитесь, значит, об нас? А все же, где у вас офицеры-то?

Солдат махнул рукой на костры.

— Греются. Либо в город обедать уехали. Они не любят кушать на улице с нами. У них все свое.

— Так! Может, курить, ребята, хотите?

Ивочкин наклонился за забор и спустил туда кисет.

Со двора подошли Борисов, Сергей и еще несколько рабочих.

— Собственно, вы, ребята, должны угощать нас табаком, — балагурил Ивочкин. — Вы в городе живете, вам все достать можно, а нам где взять?

— Не дают, — вздохнул худощавый, низенький солдат.

Другой добавил:

— Боятся... В город не пускают.

— Переходите тогда к нам, — предложил Борисов. — У нас солдат много.

— Домой охота, — вздохнул первый солдат. — Навоевались досыта.

Борисов перебросил ноги через забор и повернулся к солдату:

— А вы думаете, нам воевать охота? Я сам из Смоленска, а сижу здесь.

— А зачем воюете? — затягиваясь цыгаркой, спросил сухощавый. — В роте нам все рассказали. Тоже понимаем кое-что.

— Рассказали, говоришь? И про то, что мы японцам продались, тоже говорили? И что на их деньги мы воюем? Так ведь?

— А то нет?

— А знаете вы, что вот уже больше года мы требуем прекращения войны и роспуска вас по домам? Мы бастовали, восставали с оружием в руках, мы требовали, чтобы царь прекратил никому ненужную войну и заключил мир. А вместо этого царь посылал новые войска, расстреливал и убивал наших товарищей.

Голос его звенел:

— Мы требовали и требуем, чтобы крестьянам была отдана помещичья земля чтобы землю мужик обрабатывал на себя, а не на помещика. Вот что требуем мы!

— Врешь? — хитро прищурился худощавый.

— Мы требуем, чтобы земля принадлежала тому, кто ее обрабатывает собственными руками...

— Правильно, — поддакнул высокий солдат.

— Мы требуем, чтобы фабрики и заводы принадлежали рабочим. Вот за что мы боремся! Поэтому-то нас и заперли в эту мышеловку. Мы требуем всего этого для вас, а вы с оружием в руках выступаете против нас — ваших братьев. Вы только подумайте, что вы делаете! Вы губите то, чего мы с таким трудом добивались для вас.

Высокий солдат сдвинул шапку на затылок. Его глаза горели.

— Нет, товарищ, не говори! Они тоже боятся нас. Лаской заманивают...

— И водкой спаивают, — рассмеялся Борисов. — Думаешь, мы не знаем, как вас вчера угощали на площади да уговаривали нас живьем взять. Неправда, разве, это? А?

— Правильно, угощали...

— Вот в этом-то и дело. Им нужно было напоить вас, чтобы легче обмануть, чтобы вы не знали, за что боремся мы.

Худощавый снова лукаво сощурился.

— Красно говоришь, а как верить тебе? Много к нам таких в деревню приез-

жало; уж обещали такое, чего сразу на воз не уложишь, а где оно? Так и ты разоряешься. Говорить все можно, а ты мне документ дай, вот тогда и поверю.

Борисов впился глазами в худощавого:

— Документ, говоришь, дай? Найдем! — он вытащил из кармана газету и протянул ее худощавому. — На, почитай! Тут все сказано, чего мы требуем. Вот и пораскинь теперь мозгами.

Он порылся в кармане и достал несколько листовок — обращений рабочих к солдатам.

— Почитай и это! Вещь полезная. Да смотри, чтоб офицеры вас с ними в казарме не поймали.

— Зачем офицеры? — тряхнул головой худощавый, водя пальцем по строчкам. — Без офицеров дело обойдется.

— Другим почитать дайте, — добавил Борисов. — А потом обсудите вместе.

— Не учи! — сердито отозвался худощавый. — Дай-ка лучше еще курнуть.

Борисов протянул ему пачку с папиросами.

В это время со стороны осаждавших раздалась команда и солдаты быстро побежали на свои места.

— Приходите завтра! — крикнул им вдогонку Борисов. — Поговорим еще.

— Не снимут, так придем, — послышался ответ.

**
*

...Вечером снова вызвали во двор. Было дано распоряжение стаскать в цех два вагона найденного на запасных путях угля и кокса. Вместе с мужчинами вышли и женщины.

Об утренней беседе знали все осажденные, и она влила надежду на то, что солдаты разберутся во всем и откажутся осаждать мастерские.

Спустилась ночь, загорелись фонари. Работа во дворе не затихала.

Кто-то начал песнь, ее подхватили другие, и весь двор запел:

Нас давит, товарищи, власть капитала,
Царящего мощно повсюду;
Однако, товарищи, время настало
Проснуться рабочему люду.

Песня укрепляла веру людей в себя, в свое дело.

От забора послышался голос:

— Товарищи! Среди солдат волнение: они тушат костры, берут винтовки. Сейчас начнется наступление.

В ответ на эти выкрики песня вспыхнула с новой силой. Пели все, даже те, кто никогда не пел. Среди мужских голосов звенели женские. Это были незаметные героини, пришедшие сюда бороться рядом с мужьями, отцами, братьями.

Закончив работу, с той же песней возвратились в цех.

**
*

...У вокзала раздался третий звонок. Поезд свистнул и паровоз нехотя заскрипел по мерзлым рельсам. Шел он тихо, словно у него нехватало сил тянуть состав.

— Эшелон, — заволновался Борисов. — Как бы ловушки тут не было какой? Остановится против нас и начнет гвоздить по мастерским. Беги-ка, Ивочкин, скажи, чтоб приготовились.

Ивочкин на-бегу крикнул часовому:

— Давай тревогу!

Не успел он отбежать еще от баррикады, как двери вагонов широко распахнулись и оттуда через забор полетели подарки. Матрос с ленточками на шапке кричал:

— Братишки, держись! Едем в Россию, там восстание поднимать будем!

Ивочкин кошкой забрался на забор и, размахивая шапкой, орал:

— Оставайтесь с нами! Расправимся здесь, тогда и на Россию вместе пойдем.

Матрос махнул рукой:

— Не выйдет, братишка! Оружие отняли у нас еще во Владивостоке. Едем с голыми руками... Держитесь здесь, поможем там.

Он снял шапочку и потряс ею. Вагон скрылся за поворотом.

Рабочие бросились подбирать подарки.

— Видал, Сережа? Не пропадем! — все за нас. Победим ведь мы, Сережка?

— Обязательно, — подтвердил Сергей, поднимая с земли буханку хлеба.

***

...Утром все разом повскакали со своих мест. Гремела крыша, как будто на улице шел крупный град. Звенели окна, сыпалось стекло. С визгом в цеха влетали пули и, ударившись в противоположную стену, падали на землю.

Командиры быстро выстраивали свои десятки у окон.

За воротами строчил пулемет. Разведка из модельного цеха доносила, что наступления пока не заметно. Осажденные на ружейную стрельбу не отвечали: берегли патроны.

Свинцовый горох продолжал сыпаться. Но постепенно ослабевал. Замолк и пулемет.

А еще через полчаса Ивочкин сидел уже на заборе и весело болтал с солдатами, которые только что ожесточенно палили в мастерские.

— Что же вы, братишки, думаете, мы — куропатки? Себя, что ли, подбадриваете? Патронов хоть бы пожалели.

— Казенные, чего их жалеть, — глупо улыбаясь, загоготал солдат. — Прикажут стрелять и стреляем. Наше дело маленькое.

— А своего ума нехватает? Подумал бы, для чего это в людей стрелять.

За солдата ответил другой, высокий, желчный, в потрепанной до неузнаваемости шинели и старой шапчонке:

— Стрелять будем — так скорей отсюда уйдете. Вишь, морозина какой, а тут хороводишься с вами. Волынка одна. Нажать на вас по-настоящему — и крышка... Вояки тоже... У вас, поди, и патронов-то нет? Я не слыхал, как вы стреляете.

— Дураками будем, если стрелять в белый свет станем. Вот подойдете ближе, так и бомбой угостим.

Солдаты захохотали.

— Бомбой? А ты видал, какая она бывает?

Ивочкина задело за живое и он набросился на солдата:

— А ты видал, какие пушки бывают?

— Видал.

— То-то, что видал. Мы вчера одну на крышу поставили... Для вашего угощения. За милую душу угостим и не задумаемся.

Солдат запорно шмыгнул носом.

— Пушкари...

Ивочкин серьезно обиделся.

— Сережка! Лезь сюда.

Сергей запрыгнул на забор.

— Говори, есть у нас пушка?

Сергей поправил шапку, сделал независимый вид и пробасил:

— Какая же крепость без пушки бывает?

Ответ вызвал дружный смех солдат.

— Не веришь? — тянул Ивочкин к себе солдата. — Не веришь?

— Это почему я верить тебе стану? Кто ты есть такой?

Ивочкин заломил шапку на затылок, перебросил ноги обратно и вцепился в солдата:

— Лезь сюда, лезь... Зря, ребята, вы с нами воюете... За вас же стараемся... Чтоб земля у вас была, хлеб...

— Ладно, — перебил его солдат. — Ты пушку обещал показать...

Снова смех.

— Шагай к воротам. Там я тебя встречу и проведу в крепость. Покажем тебе пушку и пулеметы. Хочешь?

Солдат неуверенно почесался.

— Заманите и убьете.

— А на что ты нам сдался? — расхохотался Ивочкин. — Пойми, голова, не с вами мы воюем, а с вашими офицерами да начальниками. Идем!..

Солдат переминался на месте.

— Сергей, позови-ка Борисова, сейчас это дело устроим.

Сергей побежал разыскивать Борисова, Ивочкин продолжал агитировать солдат.

— Один боишься — идите двое. Нам все равно. Нам не жалко. Одному не поверите, так двум-то уж нельзя не верить. Идем, давай!

Подошел Борисов. Ивочкин спрыгнул с забора и передал ему разговор с солдатами.

— Понимаешь?! Их надо встретить как следует, показать наш пулемет и пушку... Накормить доотвала... Пустим им пыль в глаза, поверят, ведь, и в пушку и в пулемет. Вернутся назад, такое расскажут, что солдаты с постов уйдут.

Борисов задумался.

— Ладно. Только без согласования больше такого не выдумывай. Эта палка о двух концах. Может, пыль пустишь, а может, наше бессилие покажешь. Как кто смотреть будет.

Запрыгнув на забор, он обратился к солдатам:

— Здорово, ребята! Ну, кто из вас к нам в гости собирается? Давайте, двух-трех устроим. Покажем, как мы живем. Мы с открытою душой и ничего не скрываем.

Солдаты молчали. Тогда высокий в затасканной шинели стукнул винтовкой о землю:

— Не то пойду, коли не врете!

— Мы не офицеры, чтоб врать, — обиделся Борисов. — Кто еще?

К высокому присоединился молодой веселый парень.

— Идем, коли зовут.

Борисов показал на ворота:

— Шагайте туда.

Солдаты отдали винтовки своим товарищам и двинулись к воротам, где ожидал их Борисов с Ивочкиным и Сергеем.

Нерешительно вошли во двор и остановились против баррикады, поднимавшейся на метр выше паровоза, выглядывавшего из-под железного хлама.

— И когда вы успели сгрохать такую махину? Гляди, Снетков, целый паровоз туда убухали.

— Думаешь, мы шутки с вами шутить сюда пришли? Мы, брат, тоже военные и кое-чего понимаем. Разбей такую штуку из твоего пулемета! А мы своей шестидюймовочкой сумеем покрошить вас, если только полезете... Пошли пушку смотреть.

Дальним обходом провели гостей к модельному цеху. Подошли к самой стене. Борисов предложил солдатам поглядеть вверх на огромное окно. Оттуда ясно выглядывало жерло пушки и две мордочки пулеметов.

— Верно, шестидюймовка! — удивился солдат. — Как же вы стрелять из нее станете? Разнесет весь дом.

Обида послышалась в голосе Борисова.

— Думаешь, мы такие дураки? Не сообразили этого? Нет, дружок, все подсчитано, продумано. Пол зацементирован, а на дальний конец насыпали земли. После выстрела побежит она назад и на мягкую землю наткнется. Вот и вся премудрость.

— И снаряды есть?

— Вот голова! Зачем же бы мы ее без снарядов на крышу потащили?

— Сорока на хвосте вам снарядов принесла, что ли?

— Ты все военные тайны узнать хочешь, — подмигнул Борисов. — Сказать разве?

— Сам в гости звал, так и говори.

— Ладно, только не болтайте.

Борисов снизил голос до шопота.

— Вы который день против нас стоите?

— Первый.

— А те куда девались, которые вчера стояли?

— Отдыхают.

— А не бунтуют?

— Не для этого сюда поставлены, — запротестовал солдат.

— Дело твое... Так слушайте. Третьего дня вечером у нас выломали ворота. Видите, забили их досками. Мы думали — наступление. Выскочили на улицу, а на дворе целый поезд... Вон вагоны разбросаны по двору. Осмотрели мы поезд, а в нем мука, хлеб, мясо, колбасы и всякая снедь, какая нам нужна для пропитания. И так девять вагонов. Давай мы таскать все это в крепость и внизу под мешками нашли пушку и два пулемета... Как, думаем, без патронов стрелять станем, а тут ребята кричат: нашли, нашли! И верно, последний вагон был полон патронов. Вот тут мы и ожили. Вчера пушку оборудовали, сегодня хотели ее испробовать да вы стрельбу прекратили. Бить вас у нас никакой охоты нет. Зачем нам это дело?.. Только вы, ребята, молчите, не проговоритесь, а то знаете... Время военное.

— Сами солдаты, понимаем.

Борисов повысил голос:

— Нагляделись, тогда идемте в крепость. Наши хозяйки, поди, и обед уже изготовили.

Тетушка Силина встретила с поклоном и приглашением:

— Садитесь, гостеньки.

На столе перед солдатами появились тарелки жирных щей, каша, политая маслом, и кружки с чаем.

— Кушайте, гостеньки, — улыбчато приглашала тетушка. — Не обессудьте, чем богаты, тем и рады. Сами понимаете, в каком положении, а то бы лучше угостили.

— Благодарствуем, — ответил высокий солдат. — Угощение, видать, приятное. Всех так кормите или только офицеров?

— Нет у нас такого добра, — рассердился Борисов. — У нас все одинаковы, что командир, что боец. Все товарищи, но дисциплина покрепче вашей. Разве кто из офицеров пойдет к нам?

После обеда возвратились в цех.

— Покурим, — предложил Борисов.

Солдаты взяли по папироске и с любопытством разглядывали цех.

— Как в настоящей крепости. Пулей не прошибешь. Народу у вас, видать, тоже достаточно. Народ крепкий, свежий, с такими воевать можно.

— А у вас как? — вмешался в разговор Ивочкин.

Солдат вздохнул.

— По совести сказать, устали. Больше года по Манчжурии бродили. Бывало, начнутся бои, день-два, а то и неделю, пищу никак подвезти нельзя. В голоде да в холоде. Когда — дожди. Грязища... А вшей!.. Грязь соскоблишь, обмоешься мало-мало, а там кровища. Такую жизнь врагу не пожелаешь.

— А теперь опять, говоришь, воевать? — чуть ухмыльнулся Борисов.

— Опять. Куда денешься?

— Отказались бы — и все. Что они с вами сделают? Ничего. Мало ли до вас сюда приходило солдат, их всех губернатор на нас натравливал, так никто кроме вас не остался. Все отказались и ушли домой.

— Нам наряд прямо из Харбина дан. Вот и пришли сюда себе на голову. Не бунтовали бы вы, мы теперь дома были бы.

— А кто же бунтовал? Мы, как узнали, что вы идете сюда, послали к вам навстречу делегацию рассказать, чего мы хотим, чего для вас требуем. А вы с нами и разговаривать не стали и делегатов наших куда-то девали. Где они, не знаешь?

Солдат замотал головой.

— Не видали мы и не слыхали про ваших делегатов. Другое вот знаем: как это вы нас взорвать хотели.

— Мы?

— А то кто же больше. Под мост-то кто мины положил?

— Под какой мост?

— Какой, какой, — начал сердиться солдат. — Один у нас мост — через Енисей.

— Ничего не понимаю, — развел руками Борисов.

Солдат в свою очередь недоумевающе смотрел на собеседников.

— То ли верно не знаете, то ли Ваньку валяете, по мосту нас не пустили.

— Кто?

— Жандармы.

У собеседников глаза сделались круглыми.

— Ну, а дальше что?

— Под'ехали к деревушке, забыл, как ее зовут.

— Базаиха.

— Вот, вот. Слышим — стрельба. Мы за винтовки, а поезд остановился. Выскакиваем, жандармы к нам бегут. Командир наш впереди. Спрашивает, что случилось. Главный из жандармов и говорит: «Вот, солдатики, вас так и встретят пулями в Красноярске... Под мост мину положили, чтобы вас на воздух взорвать. Понимаете теперь, куда вы идете и что вам с бунтовщиками надо делать»... Ясно, понимаем. Взяли винтовки да прямо через Енисей пешком и пропороли сюда. Сразу и к мастерским. Ладно, что вы заперлись тут, а то бы разгромили в сердцах сразу».

— Не врешь? — сурово переспросил солдата Ивочкин.

— Чего врать! Что знаю, то и говорю. Спроси хоть его, — показал он на товарища.

— Правильно, — подтвердил тот.

Борисов встал и пошел вдоль цеха.

Разговор на момент прекратился. Новость, переданная нам солдатами, ошеломила всех.

Вернулся Борисов и протянул солдату листок.

— Грамотный? Читай!

Солдат развернул листок, разгладил его ладонью и по складам начал читать:

«К СОЛДАТАМ 7-го КРАСНОЯРСКОГО ПОЛКА!

Товарищи! Мы слышали, что ваше начальство распространяет среди вас слухи, будто мы намерены вас встретить враждебно. Нет, это неправда. Вам, как много пострадавшим на войне, мы намерены устроить торжественную встречу, если только узнаем о дне вашего прихода. Солдаты красноярского гарнизона встали на защиту города. Народ и войска города Красноярска своей встречей хотят высказать глубокое сочувствие за все то, что вы потерпели на войне».

Солдат повертел листок между пальцами и недоверчиво процедил:

— Не пойму, чему и верить? Вы говорите одно, они — другое.

Борисов положил руку на колени солдата.

— Хорошо! Вы пришли пешком, а куда же ваш поезд девался?

— В город пошел.

— Значит, мост-то не был минирован?

— А кто его знает. Ничего я понять не могу.

Борисов сел против солдата и заговорил решительно. Слова были коротки, мысль ясна.

Солдат кивком головы показывал свое согласие с ним.

И только когда начало темнеть, солдаты всполошились.

— Домой, однако, пора. Как бы не хватились нас. Смена скоро, офицеры проверку делать станут.

— Так что же скажешь?

— Правильно все, браток. Понимаем, как и что... Да разве мы за них? Скажи сам, в России-то у нас, разве, ладно? Земля чужая, хлеб сеешь, а голодаешь... Жизнь тяжелая, слов нет, а кому скажешь? Вот ты бы пришел к нам в казармы да рассказал, тогда другое дело. Стоим мы против вас, это верно, а только не враги мы вам... Не обижайтесь, стрелять будем, а больше так: за молочком посылать в крынку... Один я — что... Вот если бы все, тогда и разговор другой.

Рассказы о войне

Поезд мчался по пустынным равнинам, занесенным снегом. В поезде было три классных вагона; их занимали офицеры. В остальных вагонах, теплушках, ехали солдаты, возвращавшиеся в Россию одиночным порядком. Все солдаты были пьяны. На остановках они пели, гуляли по платформе, сидели в залах первого и второго классов. На офицеров и не смотрели. Если какой-нибудь солдат по старой привычке отдавал честь, то было странно и необычно.

И во всех эшелонах было то же. Темная, слепая, безначально-бунтующая сила прорывалась на каждом шагу. В Иркутске проезжие солдаты разнесли и разграбили вокзал. Под Читою солдаты остановили экспресс, выгнали из него пассажиров, сели в вагоны сами и ехали, пока не вышли все пары.

Нам рассказывал это ехавший в нашем поезде мелкий железнодорожный служащий, в фуражке с малиновыми выпушками. Все жадно обступили его, расспрашивали. Впервые мы увидели представителя осиянного всемирною славою железнодорожного союза, первым поднявшего на свои плечи великую октябрьскую забастовку. У него были ясные молодые глаза. Он с недоумевающею улыбкою говорил о непонимании офицерами происходящего освободительного движения, рассказывал о стачечных комитетах, о выставленных ими требованиях.

— А скажите, как у вас, все слушаются стачечных комитетов?

Железнодорожник сдержанно улыбнулся.

— Да, у нас дисциплина не то, что у вас. Одно слово стачечного комитета, — и все сразу бросят работу, от инженера до последнего стрелочника.

Он говорил еще, что раньше они требовали реформ; теперь же, когда поведением после 17-го октября правительство показало свою неискренность, они уже т р е б у ю т р е в о л ю ц и и.

На следующий день к вечеру мы прибыли на станцию Манчжурия. Предстояла пересадка, а поезд наш запоздал.

Пришлось ночевать на станции.

Здесь было уже полное царство стачечного комитета. Все выглядело так ново, необычно и невиданно, как будто перед глазами развернулся какой-то буйно-фантастический сон. Рядом с пожелтевшим, загаженным мухами об'явлением военного губернатора Забайкалья ярко белело новенькое об'явление от «Комитета служащих и рабочих Забайкальской железной дороги». В об'явлении сообщалось, что посадка в вагоны возвращающихся с Дальнего Востока воинских чинов будет производиться в строгом порядке записи; записываться там-то; никакого различия между генералами, офицерами и нижними чинами делаться не будет; в вагоны первого класса вне записи будут сажаться сестры милосердия и больные; остальные места первого класса, второго и так далее до теплушек заполняются по порядку записи. В конце заявлялось, что кто не будет подчиняться распоряжениям стачечного комитета, того не повезут совсем.

Мы пошли записываться. В конце платформы, рядом с пустынным, бездеятельным теперь управлением военного коменданта, было небольшое здание, где дежурные агенты производили запись. На стене, среди железнодорожных расписаний и тарифов, на видном месте висела телеграмма из Иркутска; в ней сообщалось, что «войска иркутского гарнизона перешли на сторону народа». Рядом висела социал-демократическая прокламация. Мы записались на завтра у дежурного агента, вежливо и толково дававшего об'яснения на все наши вопросы.

В залах вокзала было оживление, лица смотрели светло и празднично. Железнодорожный машинист, окруженный кучкою солдат, читал им требования, пред'явленные главнокомандующему читинским гарнизоном. Солдаты жадно слушали, задерживая дыхание. Проходившие офицеры молча косились на них.

Официанты сообщили нам, что завтра у них официантский митинг; они собираются «экспроприировать» буфет и вести его впредь на артельных началах, без хозяина... Вошел радостно-взволнованный рабочий, с черными от железа руками, и крикнул на всю залу:

— Товарищи! Делегаты вести привезли: в России в ш е с н а д ц а т и губерниях войска перешли на сторону народа!

Передавались и другие вести: в Севастополе все броненосцы захвачены восстав-

ними матросами, адмирал Чухнин с офицерами атакует их на миноносцах, крепостные форты разрушены артиллерийским огнем, убито десять тысяч человек.

Был кругом обыкновенный российский большой вокзал. Толклись обычные носильщики, кондукторы, ремонтные рабочие, телеграфисты. Но не видно было обычных тупо-деловых, усталых лиц. Повсюду звучал радостный, оживленный говор, читались газеты и воззвания, все лица были обвеяны вольным воздухом свободы и борьбы. И были перед нами не одиночные люди, не кучки «совращенных с пути», встречающих кругом темную вражду. Сама стихия шевелилась и вздымалась, полная великой творческой силы.

Что это, — юности лучшие сны?
Вижу — и верить глазам не решаюсь...

Там, в Манчжурии, я про это читал, но все было далеким, трудно-воображимым. Здесь впервые широко развернулось перед глазами то, о чем я читал, вдруг стало видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что за два года нашего отсутствия, в России, действительно, родилась светлая свобода. Ее могли теперь бить, душить, истязать. Но, раз рожденная, она была бессмертна. Убить и положить ее в гроб было уже невозможно.

Утром подали поезд. Пришли два железнодорожника со списком. Произошла посадка. Агент выкликал по списку фамилию, вызванный входил в вагон и занимал предназначенное ему место. Кто был недоволен вагоном или своим местом, мог остаться ждать следующего поезда, — по этой же записи он имел право попасть туда одним из первых.

Толстый, краснолицый капитан, отдуваясь, раскладывал вокруг себя свои вещи и говорил:

— Нет, ей-богу, молодцы забастовщики!.. Ни толкотни, ни спешки, ни ругани. У каждого свое место... А то, как из Харбина выезжали: первое, — чуть руку себе не сломал, второе, — спал в коридоре, как собака...

Приехали мы в Читу. Здесь революция царствовала. Читинский губернатор Холщевников был под арестом, городом управлял революционный комитет.

На вокзале нам рассказали про курьезный случай, происшедший здесь несколько дней назад. Ехал в Россию командир одного корпуса с тремя генералами из своего штаба. Один из генералов обругал на вокзале помощника начальника станции, грозил побить его, кричал, что он продался японцам и жидам. Генералы поужинали на вокзале, воротились в свой вагон, пьют чай. Показалось им странно, — что это поезд стоит так долго? Выглянули, — их вагон отцеплен, стоит один; вокруг часовые с винтовками. В вагон входят три офицера без погонов и двое статских.

— Один из вас оскорбил сейчас помощника начальника станции, — об'явил генералам статский. — Потрудитесь перед ним извиниться. Если извинитесь, то вы просидите в вашем вагоне сутки под арестом и поедете дальше. Если не извинитесь, — совсем не поедете.

Мялись, мялись генералы. Нечего делать, пошли, извинились. Отсидели свои сутки и поехали дальше.

До Читы мы ехали довольно скоро и ровно. От Читы помчались дальше быстрее любого экспресса. Дело вскоре об'яснилось: к нашему поезду прицепили вагон, в котором ехали на с'езд в Иркутск железнодорожные делегаты.

— Ну, слава богу, теперь можно быть спокойным: с начальством едем! — острили офицеры и с иронической почтительностью поглядывали на вагон, в который не допускался никто посторонний.

На станциях мы встречали вооруженных милиционеров. На одном раз'езде нас обогнал поезд с боевой дружиной, мчавшейся на соседнюю станцию, где черносотенцы напали на рабочих.

Проехали мы Кругобайкальскую дорогу. На Мамаевом раз'езде, когда наш поезд обгонял воинский эшелон, из солдатской теплушки с силою полетел в наш вагон большой камень; оба оконные стекла разлетелись вдребезги, одному офицеру ушибло колено. Всю ночь мы мерзли.

В Иркутске нам предстояла новая пересадка. Садиться в вагоны так, как в Манчжурии, было куда приятнее, чем так, как в Харбине. Мы обошли вагоны и предложили пассажирам заблаговременно составить список всех едущих, чтобы в

Иркутске не бегать записываться каждому отдельно, а прямо представить список тому «начальству», какое окажется в Иркутске, — стачечному комитету или коменданту. Все с удовольствием согласились. Порядок записи был определен жеребьевкой, мы составили список и выбрали для представления списка депутацию из одного штаб-офицера, одного военного врача и одного прапорщика запаса.

Мы были верст за сорок от Иркутска. В вагон вошел взволнованный кондуктор и сообщил, что на станции Иркутск идет бой, что несколько тысяч черкесов осаждают вокзал.

— Какие-такие черкесы? Откуда?

Около Иркутского вокзала расположен поселок, населенный кавказцами, — черкесами, армянами и грузинами. Несколько дней подряд в этом поселке шел погром...

...При разгроме лавок будто бы нашли массу солдатских шинелей, винтовок и еще теплый труп унтер-офицера. Черкесы созвали из окрестностей своих земляков и напали на вокзал, чтобы отомстить.

В этих рассказах о еще теплых трупах и бесцельных убийствах солдат звучало что-то странное и знакомое, чувствовались за кулисами чьи-то предательские, кровавые руки. Пассажир, несколько дней назад проезжавший через Иркутск, видел самый погром. Он вышел на крыльцо вокзала. Поселок горел, из лавок расхищались товары; на его глазах солдат-погромщик размозжил железною полосою голову бежавшему черкесу. А около вокзала стояла, выстроившись, рота солдат под командой офицера и спокойно смотрела. Пассажир спросил офицера, отчего он не остановит погрома.

— Мне не приказано вмешиваться. Велено только охранять вокзал.

Поезд мчался. Впереди на черном небе чудился отсвет далекого зарева, сквозь грохот вагонов как будто слышались выстрелы. Все осматривали и заряжали свои револьверы.

Мы приехали в Иркутск поздно ночью. На вокзале все было тихо и спокойно.

Посадкою в вагоны здесь заведывало военное начальство. Наша депутация со списком отправилась к коменданту. Он жил тут же у платформы, в вагоне второго класса. Депутацию принял маленький, худенький офицер с серебряными штабс-капитанскими погонами, с маленькою головкою и взлохмаченными усиками. Депутация вручила ему список. С безмерным, величественным негодованием офицер отодвинул от себя список концами пальцев.

— Виноват! Тут функционирует не стачечный комитет! Никаких списков я принять не могу, каждый должен записаться у меня лично... И затем, — что это за список? Волков, Айзенберг, Филиппов... Кто такой Волков? Что это за Айзенберг?.. Должны писаться чин и звание... Предпочтение при посадке будет отдаваться штаб-офицерам...

— Когда же мы поедем?

— А это, как выйдет по записи. Уж на два дня вперед запись заполнена.

Все толпою хлынули в вагон записываться. В узком коридорчике шла давка, выход был один; тот, кто записался, протискивался к выходу, с трудом продираясь сквозь напиравшие навстречу тела. Дело происходило 18-го декабря. Первых человек пять комендант записал на 20-е, человек по десяти на 21-е и 22-е. На 23-е никого не записал. Я с товарищем попал на 24-е, — почти через неделю!

— Позвольте, что это за запись такая? По пять, по десять человек на день!..

Комендант, не удостаивая нас ответом, говорил, цуская слова через нос:

— Будьте добры, быть на вокзале к тому времени, когда подадут поезд. Я буду вызывать записавшихся по списку и сажать в вагоны... Впрочем, господа, вы, может быть, попадете и раньше записи: многие из записавшихся уехали другими способами. Советую вам приходить к каждому поезду, — может быть, попадете... Тем более, что трудно поручиться, удастся ли уж кому-нибудь вообще-то уехать отсюда дня через три-четыре. Сегодня вечером мы отбили от вокзала нападение черкесов. Говорят, их теперь соберется тысяч десять. Если сожгут вокзал и перервут сообщение, то запасные с эшелонов все кругом разнесут, нас перебьют, и что вообще будет, трудно сказать...

Мы вышли от коменданта, злые и раздраженные. Куда направиться? Поселок у вокзала сожжен, в город попасть нельзя, потому что по Ангаре идет шуга, и перевоза нет; да и опасно ехать ночью из-за черкесов.

В дороге мы хорошо сошлись с одним капитаном, Николаем Николаевичем Т., и двумя прапорщиками запаса. Шанцер, Гречихин, я и они трое, — мы решили не ждать и ехать дальше хоть в теплушках. Нам сказали, что солдатские вагоны поезда, с которым мы сюда приехали, идут дальше, до Челябинска. В лабиринте запасных путей мы отыскали в темноте наш поезд. Забрались в теплушку, где было всего пять солдат, познакомились с ними и устроились на нарах. Была уже поздняя ночь, мы сейчас же залегли спать.

Поезд двинулся и пошел. Наш вагон прыгал, трясся, словно в припадке жестокого озноба, мы подлетали на своих ложах, как только что обезглавленные цыплята. Наконец, заснули.

Утром проснулись, — бодрые, выспавшиеся. Поезд стоит.

— Однако, что значит привычка! — удивленно заметил Шанцер. — Сначала, как мы только что поехали, я думал, ни за что не засну. А выспался великолепно, даже не слышал тряски.

— И я тоже, — отозвался капитан Т.

Вдруг дверь теплушки с шумом отодвинулась, кто-то крикнул:

— Есть тут кто? Вылезай! Дальше вагоны не пойдут!

— А где мы?

— На станции Иннокентьевской.

На Иннокентьевской... Это всего за семь верст от Иркутска!.. То-то мы так хорошо проспали ночь: поезд все время стоял на месте...

— Забастовка идет! Гляди, ребята!

— Вон они, красные флаги!

— И где? Это фуражка начальника станции!

— У-у, дура! Фура-ажка!.. Вон трепыхается!..

Среди солдат была суетня и оживление. Мы вышли на площадку. Все теснились и смотрели вправо. Через полотно дороги чернела и медленно двигалась большая толпа.

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Порожний паровоз, свистя, промчался мимо и на миг закрыл все.

Толпа окружила поезд, только что пришедший с запада. На площадке вагона стоял смертельно-бледный, растерянный жандармский офицер и что-то говорил толпе.

— Врешь, подлец! — кричали ему.

— Убийца! Каин!

— Кровопийца!.. Насосался христианской крови?

Наш поезд двинулся, угрожающе свистя, на кипевшую, взмахивавшую руками толпу. Проводник вагона на ходу вскочил на ступеньку. Мы набросились на него с расспросами, — что это было, в чем дело?

— Это р о т м и с т р приехал с пассажирским поездом из Нижнеудинска. Там по его приказу была стрельба. Двадцать человек рабочих пострелял. Вот мы и хотели посмотреть, что это за человек, который в людей стреляет. И у нас есть р о т м и с т р, и в Чите, а нигде в народ не стреляли.

— Что же они, бить его пришли?

— Не бить, а сделать ему позор.

Были у проводника такие хорошие, ясные глаза. Они с недоумением широко раскрывались при рассказе о стрельбе по безоружным людям. Что это? Откуда у всех, с кем мы теперь встречались, эти светлые, чем-то изнутри осиянные глаза, как будто совсем люди были из другой породы, чем два года назад?

На станциях все были новые, необычные картины. Везде был праздник очнувшегося раба, почувствовавшего себя полноценным человеком. На станции Зима мы сошли пообедать. В зале I—II класса сидели за столом ремонтные рабочие с грубыми, мозолистыми руками. Они обедали, пили водку. Все стулья были заняты. Рабочие украдкою следили смеющимися глазами, как мы оглядывали залу, ища свободных стульев.

Я и рыхлый капитан спросили себе в буфете рябчиков. Сесть было негде, мы стояли у стола и ели. Вдруг я услышал, — кто-то нам что-то говорит. За столом,

наискось от нас, стоял старик с крючковатым носом, с седой, курчавой бородой. Он смотрел на нас и, простирая руку, говорил:

— Господа! Об'ясните мне, пожалуйста, почему рябчики летают у нас только для господ офицеров и буржуазии?.. Почему мы, трудовые люди, не можем есть рябчиков? Я работал сорок лет, трудился потом и кровью, а вот посмотрите, — кроме мозолей на руках, ничего не нажил... Разве вы трудились в жизни больше, нежели я? А вот едите рябчиков, а я не имею возможности... Почему это так случилось, господа офицеры? Может быть, вы мне об'ясните!..

Другие рабочие выжидающе поглядывали на нас и чуть заметно посмеивались. Мы молчали, стыдливо опустив глаза, и доедали своих рябчиков.

Старик подошел к стоявшему у окна прапорщику:

— Скажите, пожалуйста, почему вот вы, например, стали офицером? У ваших родителей были средства, и они вам дали образование...

Молодой прапорщик слушал, сконфуженно улыбаясь, и старался выразить на лице, что ему весело и интересно наблюдать старика.

— А если бы у меня родители были богатые, я бы, может, был бы теперь генералом, — продолжал старик. — Может быть, был много умнее вас. Вы бы передо мною во фронт стояли... Почему так, позвольте узнать?.. Сколько с меня полагается драть шкур?

— Одну, — уверенно ответил прапорщик, чуть-чуть улыбаясь.

— Одну? — Старик подумал. — Верно, одну!.. А почему с меня одну шкуру дерет казна, другую инженеры, третью купец? Можно все это терпеть или нет?

Старик весь до краев был полон тем неожиданно-новым и светлым, что раскрылось перед ним в последние месяцы. Как будто живою водою вспрыснуло его ссохшуюся, старческую душу, она горела молодым, восторженным пламенем, и этот пламень неудержно рвался наружу.

— Не желаете ли сесть с нами?

Старик острыми глазами смотрел на прапорщика и указывал ему на столик у окна.

— Отчего же? С удовольствием.

За столиком сидели три рабочих и унтер-офицер из нашего эшелона.

— Садитесь, пожалуйста! — вежливо пригласил старик и испытующе ждал, сядет ли офицер за один стол с солдатом.

Прапорщик сел.

— Вот! Это так! Хорошо! — детски-радостно воскликнул старик. — Вас можно уважать! Он вот — солдат, вы — офицер. На службе он вам обязан дисциплиной, а тут вы оба люди, больше ничего. И никакого от этого вреда нету! Вон у японцев солдаты вместе с офицерами сидят, вместе курят, — а ка-ак они вас лупили!..

Мы возвращались в вагон с рыхлым капитаном. Он негодовал и возмущался.

— Чорт знает, — какое холуйство! Сидят, развалились, пьянствуют в первом классе, а пассажирам негде сесть. Раз они рабочие, передовые люди, то должны бы понимать, что мы здесь не офицеры, не буржуазия, а просто проезжие... Извольте видеть, — вот какая у нас революция!

На платформе стояла древняя, трясущаяся старуха. Падал снег. Старуха опиралась на палку, укоризненно смотрела на нас и шамкала:

— С чем назад-то едете?.. Стыда нету!.. А как мы вас провожа-али!..

Верст за десять до Красноярска мы увидели на станции несколько воинских поездов необычного вида. Пьяных не было, везде расхаживали часовые с винтовками; на вагонах-платформах высовывали свои тонкие дула снаряженные пулеметы и как будто молчаливо выжидали. На станции сбирался шедший из Манчжурии Красноярский полк: поджидали остальных эшелонов, чтобы тогда всем полком пешим порядком двинуться на мятежный Красноярск.

Приехали мы в Красноярск. Местный гарнизон вместе с народом демонстрировал по улицам с красными флагами; по городу в сопровождении двух казаков раз'езжал новый революционный губернатор, прапорщик Кузьмин; шли выборы в городскую думу на основе четырехчленной формулы. На вокзале, разграбленном запасными матросами, продавались номера социал-демократической газеты «Красноярский рабочий», печатанные в губернской типографии. Еще держалось светлое опьянение свободы, но

черные, тяжелые тучи уже заволакивали горизонт. Все знали о стягивающихся под городом правительственных войсках.

Здесь же мы впервые подробно узнали о подавленном московском восстании, о разрушенных снарядами кварталах и о сковавшем Москву военном положении.

В самом конце декабря мы, наконец, приехали в Челябинск. Тут только в первый раз почувствовалось, что желанная, далекая Россия, до которой, казалось, никогда не доберешься, — уже близко, сейчас, здесь, за Уральским хребтом.

Дальше мы поехали с почтовым поездом. Но двигался поезд не быстрее товарного, совсем не по расписанию. Впереди нас шел воинский эшелон, и солдаты зорко следили за тем, чтобы мы не ушли вперед их. На каждой станции поднимался шум, споры. Станционное начальство доказывало солдатам, что почтовый поезд нисколько их не задержит. Солдаты ничего не хотели слушать.

— Пускай все равно идут. Чтоб по справедливости!

Они клали шпалы перед нашим поездом, отцепляли паровоз, взбирались к машинисту и грозили бросить его в печку, если он двинет поезд. Офицеры эшелона посмеивались и тайно поощряли своих солдат. Препирательства тянулись полчаса, час. В конце концов их поезд, при победном «ура!» солдат, двигался вперед первым. На следующей остановке повторялось то же самое.

От военного начальника дороги пришла грозная телеграмма с требованием, чтобы почтовый поезд шел точно по расписанию. Но телеграмма, конечно, ничего не изменила. До самой Самары мы ехали следом за воинским эшелоном, и только у Самары эшелон обманным образом отвезли на боковую ветку, арестовали офицеров эшелона и очистили путь почтовому поезду.

Мы переехали Волгу и ехали уже по самой настоящей, подлинной России.

На одной станции сходил с поезда денщик капитана Т. Капитан Т. вышел на платформу и, прощаясь, горячо расцеловался с денщиком. Толпившимся на платформе солдатам это очень понравилось.

— Ваше благородие! Позвольте, мы вас на руках донесем до вашего вагона!

— Лучше под колеса его! — послышалось из толпы.

Забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда. Железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и задумчивы.

Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кровавочерные, мстительные волны.

И. В. Пузырев

На рассвете

(Рассказ участника ленской забастовки 1912 г.)

Шахтер-забойщик Быков вылез из сырого, мрачного забоя и, не заходя в «номера», направился в продовольственную лавку-кухню.

От дверей лавки вытянулся длинный хвост шумливой очереди.

— Что дают? — осведомился, подходя, Быков.

— Капусту кислую да солонину вонючую! — ответила, не повертываясь к нему, одна из женщин.

Кухонный староста в это время сбросил с весов большой кусок синего, покрытого местами нехорошей зеленью, мяса. Очередь возмущенно зашумела.

— Не хошь — не бери! — заорал староста. — Раз'елись! Дома, поди, и такого не видали!.. Тамбовщина! — презрительно тундел он, делая пометку в заборной книжке шахтера, мрачно рассматривавшего мясо.

— Следующий!..

Подошел Быков. Запах квашеной капусты и падали резал нос.

— На падаль конскую похоже... Вишь, с жеребячьим удом, язви их, засолили, — засмеялся сзади его стоящий шахтер.

— Бери... Собаку с'ешь с устатку, а конский уд и подавно! — ехидно усмехнулся староста.

— Знамо — с'ешь, не сдыхать же с голоду! — раздраженно закричал усталый Быков, забирая небольшой кусок.

В «номере» Завалина Степанида, визгливо крича, наступала на занятого своими обувками, мрачного мужа:

— Растяпа!.. Разззявил шары-те, видно, и не приметил, что тебе пропастину отвесили!.. Жри ее сам, мучитель...

— Мухаметов... иди-кось, посмотри, ты знаешь, поди, маханину-то? — крикнула она вошедшему Шамсутдину Мухаметову и вытащила из-под нар завернутое в грязную тряпку мясо.

Мухаметов отдернул нос от запаха, ударившего в нос, и засмеялся:

— Ай, хорош мяса, баба! Конский уд отвесил лавка!.. Нет, наша такой не ешь... Кобыла ешь.

К завалинской просечке собрались соседи и, ругаясь, рассматривали мясо.

— На работу завтра не выдем! Вот и все!

— Пущай хочь мясо хорошее дают, а не пропастину! — кричал один шахтер и толпа ему поддакивала.

— Верно, что не выходить! Что мы — собаки что ли? — возмущенно согласились все с шахтером.

По «номерам» быстро разнеслась весть о том, что кормят кониной, да едва ли еще и не падалью. И шахтеры Андреевского рудника решили, как один, 29 февраля на работу не выходить и не спускаться в шахты до тех пор, пока не будет выдано хорошее мясо и не будет отстранен от должности кухонный староста.

На прииск прикатил сам главноуправляющий, и с управляющим Андреевского прииска и исправником пошел к продовольственной лавке, где толпились и шумели собравшиеся шахтеры. Он махнул рукой, приказывая замолчать и, улыбаясь, заговорил:

— Так делать, ребята, нельзя! На работу надо вставать немедленно, а не горланить зря... Мясо вам выдают скотское, хорошее... Первый сорт мясо!

Толпу взорвал возмущенный, злобный крик. Перебивая один другого, шахтеры кричали, пересыпая речь ругательствами по адресу компании.

— По закону надо, шахтеры, по контракту действовать! Напишите прошение... Укажите все, в чем нуждаетесь, а сами вставайте на работу и не теряйте попусту заработка, — увещевал толпу исправник Галкин, стоя за спиной управляющего. — Выберите уполномоченных и мы выслушаем их.

Из толпы вышел шахтер и выложил требования, вчера принятые в бараках.

— А на работу не пойдем до тех пор, пока не выполните наших требований! Правильно, ребята? — закончил он, повертываясь к толпе.

— Правильно! Не выйдем на работу!..

— Не собаки мы, чтоб пропастиной кормить!

— Веры нету в ваши слова! — ответила многими выкриками толпа.

Исправник вскипел и, покраснев как рак, заорал:

— Нечего бунтовать!.. Немедленно на работу!

Толпа еще сильнее зашумела. Исправник, оробевший несколько от грозного гула, продолжал прежним уговаривающим тоном:

— Зря, зря, ребята, бунтуете!.. Мясо хорошее, не конское... А часть эта... член конский, попал или по недосмотру, или, скорее всего, какой-нибудь шутник подбросил...

Управляющий Цинбег перебил исправника таким же тоном обиженного благодетеля:

— Вот жалуетесь, что свечей вам нехватает. А идете с работы — у каждого в кармане они торчат. А я на это, бог с вами, рукой махнул!..

Рабочие не слушали говорившего и в один голос требовали вызова окружного инженера Тульчинского, главного представителя компании.

Лавка пустела. Шахтеры группами выходили на улицу и расходились по баракам.

Вслед за Андреевским рудником прекратил работу Утесистый. Весть о забастовке всколыхнула приска и давно назревший протест тысяч горняков, изможденных каторжной работой, достиг своего предела.

Забастовали васильевцы. Второго марта к ним присоединились александровцы и надеждинцы. Третьего марта федосеевцы не вышли на работу.

Народный дом был набит шахтерами доотказу. На площади перед ним толпились непопавшие в зал. На сцене разместились выборные. В криках потонул волнующийся зал.

Думпе наклонился к Индрику Розенбергу и сговаривался с ним о тексте требований рабочих. Выборные горячо спорили между собой, обсуждая положение на приисках.

Деповская мастеровщина толпилась впереди. Кто-то из зала крикнул:

— Мастеровым отдельные требования выставить! Скорее удовлетворят!..

Баташов с листом бумаги в руке поднялся с места и взмахом привлек внимание собрания. Говор в зале стих и сотни глаз устремились на сцену. Баташов отчетливо выкрикивал пункты требования забастовщиков:

— ...«продовольствие должно выдаваться на равных условиях со служащими Все продукты должны отпускаться в присутствии уполномоченных рабочих...

— ...«Расширение квартир, с достаточным количеством воздуха и света.

— ...«Восьмичасовой рабочий день и семичасовая работа в предпраздничные дни».

— Правильно! Катай дальше! — одобрительно летели голоса из зала.

— ...«Устранение административных лиц, — продолжал Баташов, — издевающихся над рабочими: с Андреевского рудника — смотрителя Горелова и служащих Феоктистова и Баженова... С Утесистого прииска—старшего шахтового Синицына».

Баташов кончил. С места сорвался Думпе и, подавшись всем телом в зал, бросил горячие слова:

— Мы хотим, чтобы забастовка носила миролюбивый характер! И мы должны заявить начальству, что если будут применены карательные меры к нашим уполномоченным, — мы снимем всех рабочих с приисков!.. Кто за утверждение наших требований?

Взметнулся лес рук и зал единодушным гулом одобрения покрыл слова Думпе.

Александровский прииск раскинулся в долине. По сторонам возвышаются волнообразные гольцы, правую сторону извилистой лентой прорезает узкоколейная железная дорога.

Внизу, в лощине, разбросаны шахты и рабочие бараки, похожие больше на казармы-конюшни, чем на людское жилье. От времени стены их, поддерживаемые подпорками, покосились. В крышах, в прогнивших стенах—дыры, заменяющие собой вентиляторы, заткнутые тряпьем. Холодный северный ветер свободно проникает в пазы, меж почерневших бревен. От моховой конопатки осталась одна серая засохшая грязь. Дует со всех сторон. Сыро, грязно и холодно.

В таких «образцово устроенных» жилищах ютилось большинство ленских шахтеров. А кучка прихлебателей «душеприказчиков» Ленского товарищества занимала отдельные теплые квартиры. Стены оклеены шпалерами, пол покрашен и моется регулярно шахтерскими женами, яркий электрический свет золотистыми снопами падает на внутреннее убранство комнат, подчеркивая резкую грань между владельцами этих гнезд и обитателями вонючих, холодных бараков. Здесь семья в два человека, а иногда один холостяк-служащий занимает одну, две и три комнаты. Рабочие же в бараках набиты как «сельди в бочке» — по сто человек с семьями в четыре, пять и более душ.

Располагаются семьи открыто на нарах: рядом «сынки-нахлебнички» с «мамками», которым за хлеба они платят три целковых, да иногда на сарафан или на кофту — в награду за особую услужливость.

Правда, среди этих «селедок в бочке» есть и счастливчики, приютившиеся в «просечках» за ситцевыми занавесками. Но таких очень мало. Большинство под завистливыми взглядами холостых, а иногда и женатых, гнездятся открыто на нарах.

Холодная, звездная ночь.

Поднимающийся туман от подмерзшей речки Бодайбо окутывал серой пеленой напряженно притаившийся стан. Сугробы снега, навитые конусом, теснились ближе к огромным галечным отвалам. За ними скрывалась промывалка, ожидающая золотой породы и рабочих рук, чтобы выбросить из своего нутра блестящие желтые крупинки золота, вырастающие в пуды.

Тихо. Внешне ничто не нарушает ночной покой. В окнах рабочих бараков, через уцелевшие в рамах тусклые от грязи и копоти стекла, красновато мерцает свет.

В ближайшем от полотна железной дороги полуразвалившемся бараке не спят, хотя рассвет уже брезжит на востоке.

Барак сегодняшней ночью живет особой жизнью. Двери раскрыты настежь, клубы пара и дыма вырываются наружу, заволакивая от случайного зрителя внутренний вид барака. Когда пар и дым относило ветром через дыру, заменявшую дверь, смутно вырисовывались фигуры сидевших и лежавших вдоль сплошных нар женщин, мужчин и подростков. Люди в беспорядке перемешались, переплелись между собой, забыв про свои просечки и постели.

...Высокого роста приискатель-шахтер, с головой, завязанной тряпкой, нервно вертел «собачью ножку», поминутно хватаясь рукой за повязку. Запекшаяся кровь выступала сквозь тряпку темнокрасным цветом.

...Собравшись с силой, откинув немного голову на бок, шахтер продолжал прерванный рассказ:

— Около двух часов было, когда андреевцы, пророк-ильинцы, васильевцы подошли к нам, александровцам... Две версты до Надеждинского приска осталось. Остановились. Обсудили, как быть, куда двигаться. Решили итти к прокурору — хлеба просить семейным, освобождения арестованным выборным делегатам и заявить ему, что среди них нет подстрекателей. До трех тысяч человек пошло: часть по полотну железной дороги, а другая — по тракту.

— Впереди шли выборные с общими прошениями, за ними, большей частью, семейные, а дальше — все остальные. Многие в руках на виду держали записки с отдельными просьбами...

Шахтер умолк, крепко затянувшись «собачьей ножкой», и широкой, заскорузлой мозолистой рукой, выдававшей его волнение, провел по русым жестким волосам. Он не мог спокойно продолжать рассказ.

Барак настороженно ждал. Десятки лихорадочно блестевших глаз впились в лицо рассказчика, который, порывисто втянув воздух в широкую грудь и овладев собой, вновь заговорил:

— Без умысла шли, с открытым сердцем, спокойно, тихо, без ругательных слов. Большинство в праздничной одежде — надели лучшее: часы, цепочки, кольца, шаровары плисовые, рубашки нанбуковые... Идем вдоль железной дороги. Поезд с капитаном Лепиным и солдатской командой из Бодайбо навстречу мчится, — наших арестованных в тюрьму отвозили, а теперь на Надеждинский возвращаются.

Мы двигаемся дальше. Несколько сот шагов до народного дома осталось. Остановились на мостике, народ все подходит да подходит... Палач в жандармском одеянии—ротмистр Терещенко и окружной инженер Тульчинский, видим, под'ехали, остановились, с солдатами поговорили, потом пошли в нардом. А народ все валом подходит... в рядах по 4—5 человек...

Минут через пять выходят Терещенко, Тульчинский, Лепин и штабс-капитан Санжаренко. Прошли к полотну железной дороги. Тут к ним присоединились товарищ прокурора Преображенский и мировой судья Хишун..

Рассказчик перевел дыхание и, посмотрев воспаленным взглядом на сидящего рядом водоотлива, поправил окровавленную тряпку на голове.

— Мы уже с тракта повернули, когда Тульчинский выдвинулся вперед и подошел к нам. Передние остановились и подали ему прошения... Многие окружили его, он стал читать, другие на штабеля бревен сели, на изгородь... Закуривают. Никто не думал, что стрелять станут...

...Шахтер привстал с нар. Смоченная кровью тряпка с'ехала на левую сторону головы.

Голос его снова хрипло загудел:

— Грянул залп... Садануло вдоль лба... Я упал... Рядом еще десять наших, как трава подкошенная, свалились... У Бочкарева из правого виска струйкой кровь бежит... Степан Шваков рядом с ним стонет, а потом затих... Сначала не поняли... Думали, холостым пальнули... А увидели убитых, раненых, услышали стоны и крики — бросились на землю, чтобы укрыться от пуль... Задние же пустились бежать в разные стороны... Солдаты пачками стреляли по лежачим, уползавшим и по тем, кто убегал... Пули так и свистели, пыль стояла, подымалась клубками от них... Валились люди, как подкошенные... Свинец сверлил тела, неся смерть...

Барак ожил, очнулся от мимолетного оцепенения. Слышались женские причитания вперемежку с глухими мужскими голосами, в которых звучала жгучая ненависть... Неслись суровые проклятия.

— Душегубы проклятые! Да разве это так им пройдет даром?.. Эх, что ж это за жизнь! Собака и та лучше у надворного живет!.. Ночью волосы к стенке примерзают. Пикнуть не смей — расчетом пугали, а теперь вот, смотрите, свинцом рассчитались!..

Барак вздрагивал от всхлипывания и женских рыданий. Что-то тяжелое и острое вползало в нервно бьющиеся сердца, давило стальным обручем грудь...

Ночь ползла к концу. Наступил рассвет нового дня, новой упорной, жестокой борьбы.

Тверды и угрюмы лица шахтеров. Крепкие плечи вздрагивают под напором бурного негодования. Все говорит за то, что они решили твердо пройти намеченный путь борьбы. Силы шахтеров еще не сломлены. Дорого обойдется палачам пролитая ими рабочая кровь!

— Для мирного уговора шли... А нас свинцом встретили!..

— Раненых и убитых, наваленных на подводы по четыре-пять человек, к центральной больнице начали подвозить. Полный ледник мертвецами набили; в поленницу, как дрова, мертвых складывали. Груды тел... Около пятисот душ... Крови рабочей испить захотели... Сволота проклятая!..

Старый шахтер опустил голову и лицо его выражало суровую решимость.

Воцарилась снова жуткая тишина. Слышно было, как под полом скреблись мыши.

Где-то сквозь слезы тянул ребенок:

— Мамка, а мамка... Не плачь,—тятька, может, придет...

Рыдания женщины усилились, переходя в вопль...

— Перестань, Васина! — послышался грубый, но ласковый голос. — Ты мальчонку-то уйми, пущай спит, скоро рассвет начнется. Муж-то, может, еще жив, придет скоро. Эх, тяжело на душе!.. Спать бы прилечь, что ли, все легче бы было, да разве после такого дня уснешь?! Думать крепко, приискатели, надо... Как быть? Ехать всем скопом с приисков... Пущай ленцы подавятся золотом и нашей кровью! Что-то завтра будет?.. Из семнадцатого барака передавали, что артельным старостам с кухонь харчи выдавать запретили, из номеров выселять приказано... Иркутскому генерал-губернатору телеграмму Лебедев послал. Ответу еще нет... Ну, расходись! Пора... Ночь-то эвон какая короткая, а завтра рано подыматься надо, — закончил приискатель-шахтер.

По одному разбредались люди по бараку, размещаясь на нарах.

Барак чутко и тревожно задремал. Последняя сальная свеча в тусклом фонаре, около дверей, потасла...

Нары и сбившиеся в кошмарном полусне люди на них погрузились в смрадную, сероватую тьму, прорезанную тонкой лентой утреннего рассвета.

Песня 27-й Краснознаменной дивизии

1.

В степях Приволжских, в безбрежной шири,
В горах Урала, в тайге Сибири,
Стальною грудью врагов сметая,
Шла с красным стягом Двадцать седьмая.

2.

Струил ей песни Иртыш глубокий,
Гимн пели кедры в тайге далекой.
На Енисее врагов громила,
В широкой Висле коней поила.

3.

Ее видали мятежным мартом
На льду залива форты Кронштадта,
Сердитый Каспий словно родную
В волнах баюкал Двадцать седьмую.

4.

Сраженья стихли, смолк гром орудий,
Легко вздохнули мы вольной грудью.
И труд свободный оберегая,
Стоит на страже Двадцать седьмая.

5.

Но если вспыхнет сражений пламя,
Взовьется снова алое знамя.
Стальною грудью врагов сметая,
Пойдет в атаку Двадцать седьмая.

Матэ Залка

Третий

Бой шел второй день. В лагере военнопленных никто не спал, ждали решительного удара чехов.

Проезжавшие накануне мимо лагеря раненые красногвардейцы рассказывали, что в барабинском направлении восставшие иртышские казаки столкнулись с куломзинским рабочим батальоном. Венгерский конный отряд вышел на помощь рабочим. Защиту станции Омск и иртышского моста городской ревком поручил интернационалистам-красногвардейцам, о храбрости которых слагались целые легенды. В последнем номере омской газеты их называли «бесстрашными борцами международной революционной солидарности». И пленные, еще вчера относившиеся к ним с враждебностью и неприязнью, втайне гордились ими.

В городе началась эвакуация, это было всем известно. Суда на Иртыше повернули к северу. Неожиданное предательство чехов отрезало Омск от внешнего мира. Чешский эшелон, назначенный для занятия станции Омск, поколебался и не восстал в условленный час. Из Челябинска, где чехи поднялись раньше на день, прилетела тревожная весть, и ревком успел приготовиться к эвакуации. Интернационалисты заняли все решающие пункты. Хотя чешский эшелон бежал к Барабинску, из Петропавловска чехам шло подкрепление и эвакуация была неизбежна.

Лагерь военнопленных серел в ста шагах от станции. Пулеметные и винтовочные пули пронизывали частым дождем тонкие дощатые стенки бараков, в которых теснились тысячи пленных. В унтер-офицерском бараке фельдфебели составляли какко-то таинственные списки. Пленные ходили понурые, растерянные. Народ толпился в узких улицах между бараками. В этот день забыли даже об обеде: тревожные слухи кружились и волновали.

— Если чехи победят, брестский мир будет аннулирован. Опять начнется война, а с войной вернется плен.

— Мы сами виноваты.

— Вильгельм предложил Ленину послать в Сибирь войска против чехов.

— Улита едет, когда-то будет.

— Чехи не берут в плен.

— Ну, и красногвардейцы тоже не берут.

Со стороны Иртыша ударила первая пушка. Пленные гадали: чехи или красные. Но красная артиллерия вскоре ответила из рощи. Эскадрон венгерцев-интернационалистов в красных тусарских кепи прошел мимо лагеря. Гусары тарцевали и весело шутили с пленными.

Бозаи держался в отдалении, ни с кем не спорил и не разговаривал. Его тут не знали. Он приехал с востока всего три дня тому назад, собирался в Москву и Петроград, чтобы познакомиться со столицами и присмотреться поближе к русской революции, узнать ее программу. Но все же он твердо решил ни во что не вмешиваться здесь, на чужбине. Об этом он не говорил никому и вообще держался особняком, как человек, хорошо знающий свое дело. Ведь он не мальчишка, а старый профсоюзный деятель, член венгерской социал-демократической партии.

Война и плен сделали Бозаи убежденным антимилитаристом и пацифистом. Он не очень верил большевикам, но на него произвело большое впечатление то, что русские заключили обещанный мир и об'явили пленным:

— Вы свободны и каждый из вас может воспользоваться правами международного гражданства. (Это относилось только к солдатам, а офицеры остались попрежнему заключенными в лагерях, что очень подкупило замкнутого и недоверчивого Бозаи).

С возвращением на родину Бозаи не спешил. Там еще существовали французский, итальянский и балканский фронты и еще можно было с успехом угодить к праотцам. Русская революция превратила вчерашних пленников в свободных граждан, и Бозаи, не долго думая, перебрал свои несложные инструменты, уложил их в сундучок и пошел по деревням и селам странствующим мастером. В Иркутске ему предлагали работу, такую выгодную, что он даже колебался — не осесть ли ему на месте, но вскоре отогнал эту мысль. Его влекло бродяжничество, тянуло в Москву и Петроград — северные преемники парижской революции.

Ему хотелось повидать Ленина, услышать на митинге и, может быть, даже вступить с ним в спор.

Ленин! Кто он такой, этот Ленин? Бозаи очень интересовало, как относятся к Ленину такие вожди, как Адлер, Каутский, Бауэр и какова точка зрения венгерских эсдеков. Впрочем, ну их к чорту!

Перестрелка со стороны станции усилилась. Пленные рассыпались по баракам. Бозаи подошел к воротам, давно уже ставшим ненужными. Там стоял раненый красногвардеец и раздавал прохожим омскую газету интернационалистов «Вилагфоррадалом» («Мировая революция»). Газета издавалась на трех языках: венгерском, немецком и русском. Это тронуло Бозаи так же, как и сам красногвардеец, левая рука которого висела на перевязи. Форма сидела на нем мешковато, он был немолод, но его энергичное лицо было лицом героя. Через правое плечо его была перекинута новенькая винтовка. Он называл пленных «товарищами».

Бозаи взял экземпляр газеты, напечатанной на желтой оберточной бумаге, и отошел в сторону. Он с ужасом почувствовал, что не находит в себе враждебности по отношению к этому солдату, которого еще месяц тому назад он назвал бы легкомысленным авантюристом, забывшим, благодаря привольной солдатской жизни, страдания фронта и плена. Бозаи подумал, что, пожалуй, напрасно он многое считал только пустым агитационным трюком.

Он углубился в газету и медленно пошел к бараку. Газета его захватила. В ней события рисовались с тем же мужеством, с каким бойцы сейчас стреляли там, за

мостом. Газета признавала временную победу чехов и называла их выступление перчаткой, брошенной капиталистами революции. В конце газеты стояло имя редактора — Лигети. А кто этот Лигети? Как он смеет так развязно обвинять всю социал-демократию в измене! Бозаи хотелось возмутиться, но это не выходило, он не мог обидеться за социал-демократов.

Он невольно прислушивался к грохоту орудий, который говорил о надвигающейся контрреволюции, чья жуткая сила становилась реальной и ощутимой. Он глубоко вздохнул и почувствовал, что оставаться равнодушным к этим событиям выше его сил.

«Неужели чехи победят?.. Значит, опять плен».

В этот момент ему показалась вполне оправданной винтовка на плече раненого красногвардейца.

Сердце Бозаи терзало беспокойство. Он вспомнил, что от Читы до самого Омска почти на каждой станции он видел чешские эшелоны. Чешские духовые оркестры играли веселые марши. Офицеры обращались с солдатами подчеркнуто демократично. На станции Чулымской Бозаи был избит чешским комендантом за то, что задел легионера.

— Эй, Пепи, подь, сем. Тебе обязательно хочется немецкую «кнёдли» под Верденом? Получишь в живот, будь покоен.

Чешский комендант бил крепко, по австрийскому образцу, с унтер-офицерской ухваткой. Бозаи не пожаловался красногвардейцам, эшелон которых стоял тут же на станции, он счел это ниже своего достоинства.

В «Вилагфорградалом'е» подвалом был напечатан Коммунистический манифест Маркса и Энгельса.

Красногвардеец митинговал у ворот:

— Мы теперь будем отступать вверх по Иртышу до самого Тобола. Там соберемся с силами и ударим на Омск. И вообще осенью поедем к себе домой революцию делать. Не может быть, чтобы наши не поумнели, пора же повернуть винтовочки.

С той стороны, где скрылись гусары, послышался пулеметный огонь. Раненый красногвардеец направился к станции. Пленные, разбившись на группы, читали газеты.

Перед лагерной канцелярией стояла повозка, на нее грузили амуниционные ящики и винтовки. Кованые приклады стучали над ящиками, как земля, падающая на землю. Пленные обступили воз. Один усталый, почти седой солдат спросил:

— А почему забираете оружие? Что, мы для вас его берегли?

— А что ж, если за него никто не хочет браться? Чехам его оставить по вашему? — закричал плотный красногвардеец, стоявший на возу.

Бозаи узнал в нем жестяника Данцигера, с которым пять лет работал на вагоноремонтном заводе. Данцигер постарел с тех пор, как они расстались. Бозаи инстинктивно отодвинулся к толпе пленных.

Данцигер выпрямился и замахал короткими руками.

— Что ж, товарищи, колеблетесь? Берите оружие, пока не поздно. Жизнь одна, а двум смертям не бывать. Конечно, главное — убеждение. Но русская революция это и наша революция. Они начали, а мы продолжим. Мы, интернационалисты...

— Какие интернационалисты, — крикнул Бозаи из толпы.

Данцигер повернулся на голос и сердито ответил:

— Ясно, — коммунисты, а не демократы.

Бозаи уронил газету и нагнулся. Вокруг воза плотно стояли пленные. Двое потянулись за оружием. Данцигер вынул из кармана красный платок, разорвал его на узкие полосы и раздал пленным.

— Прикрепите их к фуражкам, товарищи.

Только двое, взявшие оружие, прикрепили красные банты. Воз двинулся. Пленные молча расходились. Перестрелка приближалась, но пули свистали высоко. В ворота в'ехали два извозчика. На первом сидел высокий белокурый красногвардеец с забинтованным коленом, через бинт просачивалась кровь. Его узнали, это был Лигети.

— Товарищ Лигети ранен! — кричали пленные.

На втором извозчике стоял молодой красногвардеец, держа за древко тяжелое

бархатное знамя, на котором золотыми буквами было написано: «Да здравствует мировая революция!»

Пленные залили узкую площадь.

— Скорее к мосту! Каждая винтовка дорога! — крикнул Лигети.

«Ага, так вот он, знаменитый Лигети», — подумал Бозаи. Он быстро пробежал глазами газету, ища статью редактора, ему хотелось вступить в спор с Лигети и доказать, что демократию заклеймили слишком рано.

Он впился в жирно напечатанные строки.

«Первый интернационал захлестнуло море крови коммунаров, расстрелянных у стены Перлашез. Второй интернационал оказался бессильным против кровавой авантюры 14-го года. Теперь в зареве нашей революции рождается новый Интернационал трудящихся всего мира».

Бозаи высоко поднял газету и крикнул:

— Разрешите вас спросить, товарищ Лигети...

Но в эту секунду в воротах показалось несколько всадников. Один из них на взмыленном коне влетел на площадь.

— Нас окружают! За мной! Галопом! — И он блеснул саблей. — Отходим!

Знамя качнулось, кони рванули и закружились около ворот. Пулемет бил совсем у забора. К насыпи, спотыкаясь и часто падая, отступали железнодорожники.

— Словом, по вашему рождается третий! — крикнул Бозаи. Но площадь уже опустела, пули застучали по крышам бараков. Бозаи услышал свой одиночный выкрик, и он показался ему ненужным и беспомощным.

Хоть бы Данцигер узнал, — подумал он, сгорбившись.

Кто-то подскочил к Бозаи и крикнул:

— Что у вас, пуля в животе?

— Хуже, гораздо хуже, — махнул рукой Бозаи.

Он сложил газету, повернулся. В эту секунду тяжелые ворота лагеря захлопнулись и Бозаи видел, как раз'яренные чешские легионеры, сыпя громкими проклятиями, с винтовками наперевес загоняли в лагерь военнопленных.

Н. Асеев

Семен Проскаков

1

Так не зовут
простого врага:
«гад»!

Тот,
кто потом чужим
богат, —
гад,

тот,
кто мученью
чужому рад, —
гад,

тот,
чье веселье —
зарево хат, —
гад!

Под
шум речек,
под цокот
белок

страшные речи
идут у белых:

...Помните
садик,
балкон,
река...
Щадить краснозадых
нам не рука!

Те,
кто прервал
эту ровную жизнь,
на интервал
от меня держись!

Я, моему
государю
хорунжий,
нервов
и слабости
не обнаружу.

Я их, как зайцев,
буду травить
плетью казацкой
из-под травы!..

Беги, Проскаков,
кройся в кусты,

гонят,
наскакивают
кони
в хлысты!

Слева
в плети
взят аргамак,
прямо
в плечи
шашки замах.

Беги, Проскаков,
зверем травимый,
кровью горячей
следы свои вымой.

Жив ли ты,
нет ли,
друг мой
безвестный, —
свинцу
и петле
не стиснуть песни.

Пускай
убит ты,
немой
и строгий,
тобою взвиты
эти строки!

2.

Висков серебря
внезапную проседь,
стоял и стыл
Колчак на допросе.

Он никогда
не знал и не ведал
и не встречался
лицом к лицу
с тем,
кто вырвал
над ним победу
из рук холеных
в таежном лесу.

Он никогда
не знал и не понял,
вежливо сдержан,
изящно-лукав,
что
не Англия
и не Япония —
Проскаков
держал его жизнь
в руках.

И лишь выслушав
приговор смертный,
жизнь
перебравши
в последний раз,
вспомнил и он
о силе несметной,
тяжкой силе
восставших масс.

Вспомнил,
увидев
дымок на
костре,
мирно курившийся
утром пастушьим.
И разорвал
тишину расстрел
эхом распарывающим
и растущим!..

...Как иркутская
Чека
разменяла
Колчака,
так и прочих
выловим —
свидеться
с Корниловым...

Может,
эта песня
груба;
но больше
нет у меня
притязаний,
чтоб и моей
гореть на губах
вроде
этакой,
партизаньей!

...Все пережив
и все победив,
с прошлым
будущее сличая,
встань, Проскаков,
и обведи
землю
выцветшими
очами.

«Аэропланы
летят на юг...
Аэропланы
летят на север.
Я гляжу
и не узнаю
бывшей

нищей,
несчастной России».

Как не узнать,
как не понять?
Разве тебе
эта даль не знакома,
разве не ты
вскочил на коня,
на боевого
коня военкома?

Разве не ты
в боевых рядах
поднимаешь
лицо свое,
и под марш мой
идешь сюда
и на строчках
моих поешь:

...Сыты наши кони,
и крепок дом,
нас никто не гонит,
мы сами идем;
крепким, ровным шагом,
с веселым лицом,
красную присягу
на сердце несем!

Это тебе
петь и плясать,
радоваться
и веселиться.
Это твои
звонки голоса,
явственны взоры
и лица.
Это тебе
жить и дышать,
скинув
со счету всякого,
кто осмелится
помешать —
песне и жизни
Проскакова.

А. А. Фадеев

Последний из Удэге

Алеша Маленький был послан в районы восстания для того, чтобы ликвидировать разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом. Разногласия эти обнимали коренные вопросы движения, и от того или иного разрешения их зависели судьбы и жизни десятков и сотен тысяч людей.

Вначале Алеша Маленький предполагал пробраться к партизанам через Сучанский рудник, где Соня Хлопушкина, ведавшая всей подпольной связью, указала ему несколько явочных квартир. Но когда поезд в двух перегонах от Шкотова подвергся обстрелу, Алеша решил слезть в Шкотове и дойти до ближайшего отряда: он хотел перед встречей с Петром Сурковым сам ознакомиться с тем, что делается в повстанческих районах.

И действительно — за те несколько дней, пока он добрался до Скобеевки, он прошел целый университет партизанской борьбы. Прохождение курса началось, едва он отошел от Шкотова.

— Кто идет? Задержись!.. — раздался окрик из кустов впереди.

Из-за изгиба дороги выметнулось двое партизан, — они с ружьями наперевес побежали к Алеше.

— Руки до горы!

Партизаны остановились против Алеши и взяли ружья на-изготовку.

Алеша, жмурясь, с удовольствием смотрел на них.

— А сверток я куда дену? — весело сказал он, указав на бумажный сверток, в который он, только что переодевшись в кустах, сложил инженерский костюм.

— Не разговаривай!

— Да я — свой, свой! Проведите меня до караульного начальника, я сам ему документ покажу.

— Оружие есть? — ощерившись, спросил партизан, стоявший впереди.

— А то нет? Кабы я чужой был, я бы давно вас обоих ухлопал, — усмехнулся Алеша. — Да ты что все на фуражку смотришь? — сказал Алеша, сообразив, что на фуражке остался след от инженерских молотков. — Ясно, что я переодетым был, когда ехал к вам...

— Обыщи его, Семенов!..

Второй партизан, русявый паренек лет девятнадцати, опустив винтовку, неуверенно ступил по направлению к Алеше.

— Нет, уж извини, брат! — серьезно сказал Алеша. — Такого обычая мы не держимся — оружие сдавать. Я — рабочий из города, послан до вас большевицким комитетом...

— Много вас, рабочих, тут шляется! — тупо сказал первый партизан, ощетинив рыжие усы и собрав на лбу складки в палец толщиной. — Подумаешь — начальство с комитету!... Обыскать! Не разговаривать!..

То, что партизаны вначале не доверяли ему, было вполне естественно и не огорчало Алешу, но последние слова партизана возмутили его.

— Ах, вот как ты рассуждаешь? — медленно сказал Алеша, раздув широкие волосатые, вывернутые ноздри, пронзительно глядя на партизана. — «Много, — значит,—их тут шляется?!»... Рабочие, которые там в кабале сидят, к ним с чистым сердцем, а они — вон оно что! Да разве вы без рабочего класса можете какую надежду иметь? «Много их тут шляется!»... Ежели вы меня сейчас же не проводите до караульного начальника, я не посмотрю, что вы партизаны, и так обоим в морду насую!.. Вишь, герои какие! «Много, — говорит, — их тут шляется!».. — не на шутку обиделся и раскричался Алеша.

— Сведем его до караульного, что ли?.. — Русявый паренек, не решаясь подойти к Алеше, робко взглянул на своего товарища.

— Ступай вперед! — сурово сказал Алеше первый партизан. — Коли побежишь, пулю получишь!

— Ты, смотри, не побеги, — уже посмеиваясь, сказал Алеша.

Сопровождаемый партизанами, он был приведен на хутор под осиновой рощей. Предъявив караульному начальнику документ, который Алеша выпорол из брючной подкладки, и вволю поучив начальника, Алеша, в сопровождении того же недоверчивого партизана с рыжими усами, выехал на двуколке в село Майхе, где стоял штаб командира Бредюка.

Партизан был сердит на Алешу и вымещал злобу на лошадке, но Алеша, поглядывая на вздувшиеся паром темные поля, на лимонную полоску заката над дальними сиреневыми горами, вдыхая влажные ароматы, весело насвистывал всю дорогу.

В село они въехали, когда уже зажглись огни в избах. Еще издали донеслись звуки многочисленных гармоник, разноголосого пения. Село представляло собой вооруженный лагерь. На улицах и во дворах горели костры, освещавшие лица, армяки, патронташи, по улице мелькали женские платки; мужики верхами возвращались с поля, волоча плуги и опрокинутые бороны; рев гармоник и пение мешались с мычаньем коров, лаем собак, криками ребятишек.

Навстречу попалась группа пьяных партизан: один в распахнутом пиджаке играл на гармонике, трое, обнявшись и заплетаясь ногами, пели несогласным хором.

— Н-да, крестьянская республика, — подумал Алеша.

— Тут сам пройдешь, а то не проедем, — хмуро сказал партизан, указав кнутом на большую пятистенную избу с освещенными, занавешенными окнами; вся улица перед избой была забита партизанами, сидевшими и лежавшими вокруг костров. Над крыльцом свисало темное полотнище.

Алеша спрыгнул с двуколки и взял подмышку сверток.

— Ты вот что, ты в бутылку не лезь, — сказал он партизану. — Насчет морды это я ведь так сказал. Бить морду за несознательность — это, брат, безобразие, и я бы того не сделал. А сказал я это к тому, чтобы ты рабочих не оскорблял. К рабочим ты должен относиться как к старшим товарищам своим. Понял?.. Твоя фамилия-то как?

— Снетков Павел... — несколько растерявшись, сказал партизан.

— Так-то вот, Снетков Павел. Понял теперь? Ну, прощай...

И Алеша торопливо сунул ему свою плотную руку, которую тот с внезапной готовностью пожал.

**
*

На крыльце Алешу задержал дневальный.

— К Бредюку?.. Из города?.. Обожди маленько.

Через некоторое время дневальный вернулся.

— Пройди, что ли. Они на второй половине, — сказал он с лукавой улыбкой.

С чувством некоторого почтительного стеснения вошел Алеша в горницу к легендарному Бредюку. В горнице, вокруг стола, передвинутого от образов к двуспальной кровати, сидело в разнообразных позах человек пять командиров, — все они позернулись к Алеше. По красным их лицам, острой закуске на столе и запотевшим стаканам Алеша понял, что люди эти только что выпивали, а по случаю его прихода спрятали бутылки под стол или под кровать, — в другое время Алеша Маленький сам был не дурак выпить и знал, как делаются такие штуки.

— Товарищ Бредюк кто будет? — спросил он, притворившись, будто ничего не заметил.

На кровати сидел, обложенный со всех сторон пуховыми подушками, небольшого роста плотный человек в нижней рубашке, из расстегнутого ворота которой выглядывало необыкновенно нежное, белое тело.

— Бредюк я буду, — сказал он сильно простуженным голосом.

Алеша с плохо скрытым удивлением задержал на нем свои ежовые глаза. На голове у человека, назвавшего себя Бредюком, была темная засаленная кепка, надвинутая на лоб, — огонек лампы мешал рассмотреть выражение его глаз, — светлые, лихо закрученные усы выделялись на его широком красном лице.

— Вы, значица, из города? Так... Вот уже и из города к нам приехали! — сказал Бредюк с чуть заметной издевкой в голосе и повел усами.

Вокруг почтительно заулыбались; кто-то сдержанно кашлянул.

— Вот так гусь! — все более изумляясь, подумал Алеша.

— А кто же именно вы будете? — после некоторого молчания спросил Бредюк.

— Зовут меня — Алексей Чуркин.

— А, Чуркин! — многозначительно сказал Бредюк. — Никогда не слыхивал... И зачем же вы пожаловали?

Алеша понял, что пришло время спасать не только личную свою честь.

— Подержи-ка сверточек, — вспыхнув глазами, сказал он и с неожиданным раздражением сунул сверток на колени сидящего с краю потного командира в тулупчике. — Это твоя вилка-то? Сифона нету, надеюсь? Да ведь, говорят, новый к старому не пристанет... Подвинь-ка селедочку!.. У нас, видишь ли, товарищ Бредюк, такой обычай: сначала человека с дороги накормить, а потом расспрашивать.

И Алеша Маленький яростно вонзил вилку в селедку.

Водворилась изумленная тишина. Сидящий с краю потный командир в тулупчике, держа обеими руками сверток, тупо смотрел на Алешу. Остальные косились на Бредюка.

— А ты сыми сверток, дурак, и уступи табурет товарищу! — простуженно сказал Бредюк.

— Парень-то свой, видать, — неуверенно сказал кто-то из командиров.

— Ты, может, выпьешь с устатку? — просипел Бредюк.

— Нет, уж воздержусь, — Алеша подавил вздох сожаления. — Да... Так приехал я от большевицкого комитета для связи, — сказал он, усаживаясь на подставленную ему табуретку, вылавливая вилкой ускользающий грибок, — для связи, для помощи...

— Ага, все-таки думает, значица, о нас большевицкий комитет! — льстиво просипел Бредюк.

— Гусь, это гусь, — снова подумал Алеша Маленький.

— Как дела у вас?

— Дела, вашими молитвами, ничего... Вот думаем на Шкотово наступать, силы стягиваем... Урминские-то пришли? — спросил Бредюк одного из командиров.

— С полчаса как прибыли...

— Это из-под станции Урмино?.. — Алеша пристально посмотрел на синенькую мисочку возле Бредюка. — Это не они обстреляли поезд сегодня?

— Должно, они... А что, побеспокоили малость?

— Подсунь-ка вон ту мисочку, — сказал Алеша. — Курочка, что ли? Видать, не голодаете... Железную дорогу вы, стало быть, оголяете?

— Приходится.

— Так... Дорожка для эшелонов открытая, — беззлобно констатировал Алеша.— А вы, стало быть, думаете Шкотово за собой удержать?

— Вот, значица, представитель большевицкого комитету уже поучит нас, как воевать, — с деланной покорностью сказал Бредюк и повел усами. — Спасибо боль-

шевицкому комитету! Да ведь нам, милость ваша, только бы в Шкотове оружьишка, одежонки разжиться, а там мы снова на линию пойдем...

— Гусь и сукин сын, — окончательно решил Алеша Маленький, обгладывая крылышко, — а на Шкотово идут, должно быть, по глупому плану ревкома...

— С ревкомом связь есть у вас?

— Есть связь... Он хоть нам и не нужен, ревком, а связи как не быть!.. Вот и инструктор от ревкому к нам приехал. Познакомься. Христя!

Алеша так и пронзил глазами сидящего через стол, заискивающе улыбнувшегося ему молодого человека в тужурке с блестящими пуговицами.

— Хорош представитель ревкома, который ни разу не вмешался, когда они меня тут допрашивали! И пьян, как стелька...

— Давно ты из ревкома?

— Дня два. Приехал выборы на с'езд проводить, — ответил инструктор, глядя на Алешу белыми и лживыми глазами на выкате.

— Какой с'езд?

— В июне с'езд областной созываем.

— Так... Об этом новшестве мы еще не слыхивали. Уже, стало быть, и с'езд созываете? Что ж, самое время, — беззлобно согласился Алеша Маленький. — Подготовка, стало быть, солидная? С'езд в июне, а вы сейчас уже готовитесь?

— Как же... На завтра назначено собрание в селе.

— Очень интересно. Полевые работы, конечно, могут и подождать, раз такое важное дело! Придется сходить на это ваше собрание...

— Коли вы интересуетесь, я могу вас ознакомить со всеми материалами, они у меня на квартире, — лебезил инструктор. — Можно у меня и переночевать...

— Прекрасно... Очень прекрасно...

Алеша с ненавистью смотрел на узенький, прыщавый лоб инструктора. «Поэт он, что ли?» — подумал Алеша: светлорусые, полные перхоти волосы инструктора были зачесаны назад и напущены на уши.

— А что, милость ваша, — начал Бредюк своим простуженным голосом, — не чувствуем мы, крестьянство и трудовое казачество, как мы все здесь сообща поднялись и геройски бьемся за свободу, чтобы рабочие в городах поднялись вместе с нами против золотопогонников. Не слыхать у нас, чтобы и в городе восстания были. Почему это? — спросил он и победительно зашевелил усами.

— Кто же это у вас такие слухи распространяет? — сказал Алеша, оторвавшись от еды и обводя взглядом всех сидящих за столом командиров. — Это — неправда. Рабочие ведут большую подготовку к восстанию, рабочие бьются и умирают везде и повседневно. Десятки и сотни добровольцев идут в партизанские отряды, об этом вы должны знать лучше меня. С железнодорожниками, я думаю, вы тоже связаны и знаете, что они помогают вам. Многие из наших лучших большевиков руководят отрядами. Стало быть, это неправда. Такой слух на руку золотопогонникам. Несознательным это надо раз'яснять, а сознательно распускающих такой слух — к стенке ставить. Я не верю, чтобы крестьянство и трудовое казачество так думало...

— Вам, конечно, виднее, — с деланной покорностью сказал Бредюк, — а говорят в народе. Народ от Бредюка ничего не таит, потому они знают, что Бредюк завсегда с ними, а они с Бредюком. Об этом кажный подтвердит, — напыжившись, сказал Бредюк.

— Правильно!..

— Командир заслуженный...

— Еще на Уссурийском вместях кровь проливали! — заволновались командиры.

— Я этого не отымаю, — улыбнулся Алеша. — Вместе боролись до сих пор и дальше будем. Правильно, товарищ инструктор?

Инструктор заискивающе улыбнулся и осторожно посмотрел на Бредюка, и Алеша понял, что инструктор очень боится Бредюка.

— Ну, веди, показывай свои материалы, — презрительно сказал Алеша.

Теплая, полная весенних шорохов и копошений ночь раскинулась над селом, звуки гармони доносились издалека; парочки ворковали под плетнем. Высоко под звездами невидимые летели журавли... «Курлы... курлы»... — кричали они.

— Так вот с кем и из кого они думают строить свою крестьянскую республику! — взволнованно думал Алеша, шагая рядом с инструктором по улице, заставленной возами и заваленной спящими у костров людьми.

***

Он проснулся от петушиного хрипа под самым оконцем, — проснулся в настроении довольно мрачноватом. В избе было, должно быть, сыро — подушка, перина, одеяло полны были тяжеловатой влажности, — все тело у Алеши разламывало: Алеша страдал от приобретенного на паровозе ревматизма.

Инструктор спал на полу, на соломе, накрывшись с головой одеялом, похрапывая. Солнце только что выглянуло расплавленным краем из-за поросшего пихтой отрога, надвинувшегося на самое село, — под отрогом, должно быть, над рекой, как розовые белила, лежали полосы тумана. Оглушительно скрипел ледник во дворе, на полынях искрилась роса.

Алеша осторожно, чтобы не разбудить инструктора, стал натягивать сапоги. В соседнюю половину избы кто-то вошел со двора.

— Спит? — спросил мужской голос.

— Должно, спят еще, — ответил голос хозяйки.

Алеша в одном сапоге, другой держа в руке, быстро проковылял к двери и высунул свою заспанную в темнорусом ежике головку:

— Что надо?

Стоявший у выходных дверей крестьянин с валяной бородой уважительно, но с достоинством снял шапку, обнаружив на лбу под волосами круглую желтоватую шишку величиной с цыпленка:

— Инструктор с ревкому тут стоит, так велел разбудить пораньше: седни с утра сход у нас...

— А сам он рано не привык вставать? — тоненько сказал Алеша. — А вы кто такой будете?

— Я — председатель местный...

— Эй, инструктор! — крикнул Алеша, оборачиваясь.

— Что?! Что?! — воскликнул тот, садясь и испуганно хватая рукой под подушкой.

— Стрелять пока некого, а вот как это ты сход назначаешь, а спишь, как барин? — сказал Алеша, чувствуя неудержимое желание пустить в него сапогом.

— Я сейчас...

Инструктор быстро стал одеваться.

— Пройди сюда, товарищ, — сказал Алеша председателю, — садись...

Председатель сел на скамью, положив руки на колени.

— Вот ты, стало быть, председатель, самый главный человек в селе, — начал Алеша, натягивая сапог, — а согласился сход созывать в будний день, когда самый разгар работы...

— Оно верно, — улыбнулся председатель, — да ведь оно у нас теперь все смешалось, и мы за этим не следим и праздников не соблюдаем. Боев нет — на поле идем, бои идут — в погреб залезем да сидим... А вы, случаем, не тот товарищ, что, сказывают, из городу приехал?

— Он самый.

— От большевицкого комитету?

— Вот-вот...

— Я и гляжу, что не тот, — со смущенной улыбкой сказал председатель: — я думал, не тот ли приехал, с кем я в городе видался. Дивный человек! Когда у нас тут восстание зачалось, — еще и Бредюка не было, ни других каких командиров, одни мы, мужики, — послали меня ходоком в город...

— А восстание с чего у вас началось? — перебил Алеша.

— Да как везде, — удивился председатель. — Об'явили набор в солдаты, мужики отказались. Не было нам расчету воевать! Хорошего от власти не видим, обращение хуже еще, как при старом режиме; деньги дешевые, товару нет. Ну, пришли кадеты, стали силом брать, — молодые ребята в сопки. Стали тогда родителев мучить. Да как мучить! Поверишь, раскалили шомпол докрасна, да одному старику в то место, откуда ноги растут. Ясно, народ не стерпел... Вот и послали меня в город: «Проберись, — говорят, — найди большевицкий комитет, скажи, мол, что поднялись, как один, а что и как действовать, не знаем. Еще скажи, мол, очень мы, мужики, свою ошибку сознаем, что когда чехи выступили, не поддержали мы вас, рабочих. Очень мы за это каемся, просим не судить нас и поддержать нас»... Ну, ведь

легко сказать — найди большевицкий комитет при белой-то власти! Адресу никакого, у первого попавшего не спросишь... Цельную неделю, поверишь, я по скаженному этому городу ходил взад-вперед, взад-вперед. Прикурну где на ступеньке или под забором и снова хожу. Еще ведь морозы были, — сказал председатель, и все его кирпичное, иссеченное морщинами лицо засветилось, — почти и не ел ничего... «Ну, — думаю, — Кузьма Фомич, ежели ты на отчаянный шаг не решишься, не найти тебе большевицкого комитету, пропало ваше восстание!» Да... Пошел я тогда на пристань, где, значит, пароходы грузят. Думаю, присмотрюсь к какой грузчицкой артели, выберу хорошего парня по обличью и все ему скажу, а там — пан или пропал. Так и сделал... Ну, грузила там одна артель муку с парохода в вагоны. Присмотрелся я к ним со стороны, — часа три возле них ходил да смотрел. Когда приглядился к одному горбоносенькому, — еврейчик, должно, — и вот чем он меня завлек: вижу я, что в артели он не старшой, одет, как все, а лицо и руки у него вроде не такие грубые, как у других. А главное, — вижу, что, когда у них меняются, кому с парохода до вагона кули носить, а кому в вагон подавать, всегда они его так ставят, чтобы ему в вагон подавать: полегше, значит, — вроде оберегают его... Когда они зашабашили, пошли все в столовку. Его, вроде невзначай, окружили человек шесть, чтобы, значит, в глаза не кидался, и тоже пошли. Я, как в кутку сидел, выскочил, да прямо к ним, да его за рукав: «Позвольте вас на минутку поговорить!» Он аж прогнул и на меня — так строго. Тут все на меня затюкали, один даже в плечо толкнул, а другой давай его, еврейчика этого, оттирать. Ну, тут, хочешь — поверишь, хочешь — нет, товарищ дорогой, а не сдержался я и заплакал. Да ведь измучился весь! «Товарищи, — говорю, — грузчики! Мужик я, — говорю, — с Майхенского села, дозвольте мне с этим товарищем о кровном нашем дельце поговорить!» Тут уж и он: «Обождите, — говорит, — товарищи»... — Отошли мы с ним в сторонку. Я ему так и бряк. И как раз попал! — радостно воскликнул председатель.

Алеша почувствовал, что желтоватая шишка и валяная борода председателя подозрительно теряют свои очертания, и отвернулся.

— Как раз он из комитету и оказался! — радостно кричал председатель. — Видишь, счастье какое? Тут уж у меня дело на мазь пошло. Научил он меня всему, тайный адрес дал на случай, если опять в город придется, и свел меня с одним кочегаром на паровозе, — он, говорит, вам оружие доставит. И, правда, оружие доставили. Ну, только уж теперь умней меня командиры есть, и я этими делами не занимаюсь. А двое сынов моих воюют... Очень мне запомнился тот еврейчик. Я вот все думал, не он ли приехал, — с улыбкой закончил председатель.

— Нет, товарищ этот теперь арестован, — сказал Алеша.

— Арестован?! — воскликнул председатель. На лице его изобразилось такое огорчение, точно речь шла о его сыне. — Ка-ких людей заметают! — сказал он, словно бы не веря. — Да ладно, отольется им...

— А как же вот некоторые у вас в селе говорят, будто нет никакой помощи от рабочих? — лукаво спросил Алеша.

— Кто может так говорить? — взволновался председатель. — Враг или темный человек. Никогда я этому не поверю...

— Вот и я тоже, — весело сказал Алеша. — Бредюком вы как — довольны?

— Бредюком?.. — Председатель подумал. — Что ж, горяч он, дюже горяч, а нам любим мы его за геройство: жизни он своей не жалеет...

— А имя, отчество его как?

— Андрей Осипович.

— Очень великолепно! — сказал повеселевший Алеша.

Когда председатель ушел, Алеша некоторое время, насвистывая, наблюдал за инструктором: инструктор перед зеркальцем старательно выделывал прическу.

— Как твоя фамилия? — неожиданно спросил Алеша.

— Что? — обернулся инструктор. — Бледный, Хрисанф Хрисанфович...

— Ты стихов, случаем, не пишешь?

— Как вы узнали? — засмущался инструктор. — Раньше действительно писал, а сейчас нет времени заниматься. Разве когда в партизанскую нашу газету...

— А ну, прочти что-нибудь...

— То-есть — как? Сейчас прочесть? Да я, пожалуй, наизусть не помню...

— Прочти, прочти...

— Ну, что вы!

— Читай, читай...

Они стояли друг против друга — Хрисанф Хрисанфович Бледный в тужурке с металлическими пуговицами, с зачесанными назад и напущенными на уши мокрыми светлыми волосами, держа в руке расческу, и Алеша Маленький в грязной нижней рубашке и черных, заправленных в сапоги брюках с незастегнутой еще прорехой, упершись в бока руками и скосив головку.

— Ну вот, например, — конфузясь, сказал инструктор:

Вперед, борцы, за светлую свободу,
Вы с доблестной честью ее сберегли.
Вы бич для врагов трудового народа,
Смутились буржуи и короли.
Веет над вами красное знамя,
Антанта вас хочет замучить в петле.
В сердце горит революционное пламя,
Такой энтузиазм не бывал на земле.
Отвсюду ползут смертоносные гады,
Дышит буржуй, как кровавый дракон,
Он защищает дворцы и палаты —
Он мнит водрузить монархизма закон.
Вперед же, орлы, борцы за свободу!
Вперед через горы, тайгу и моря!
За вами идут трудовые народы,
И всюду горит коммунизма заря.

Алеша некоторое время, скосив головку, смотрел одним глазом в пол, как петух на зерно.

— Ну, пойдем завтракать, — сказал он тоненьким голоском.

***

Вся улица перед зданием школы была запружена народом; белели рубахи мужиков и платки женщин. Некоторые из мужиков, рассчитывая сразу после митинга ехать в поле, сидели на возах или верхами. В толпе не мало было и вооруженных, с красными лентами на шапках, партизан, пришедших послушать делегата из города.

За столиком, вынесенным на крыльцо, сидел сельский председатель Кузьма Фомич, Алеша и Бредюк. Инструктор, держась рукой за крылечный столбик, а в другой держа фуражку, натужно крича и встряхивая светлыми волосами, докладывал о с'езде:

— ...Беззаветно проливая свою кровь... не щадя сил... мы скажем акулам-интервентам... в очищенных от белогвардейцев районах... воля трудящихся масс... — кричал инструктор.

Край кумачового полотнища колыхался перед столиком. Белые солнечные облачка плыли в ясном небе. Жаворонки, журча, взвивались над холмистыми полями за избами, и далеко-далеко, то исчезая в солнечном сверканьи, то появляясь вновь, парил ястреб.

Бредюк, в защитном френче, перетянутом ремнями, с висящим сбоку маузером, сидел рядом с Алешей, важный и неподвижный, как истуканчик. Та же засаленная кепка, с которой Бредюк, похоже, не расставался и во сне, была надвинута на лоб, но сегодня Алеша уже хорошо рассмотрел его глаза, — глаза были пронзительные и желтые...

— ...Идя от победы к победе... сбросили в море врага... пришло время самим ковать свою судьбу... — кричал инструктор.

— Вот именно, что не пришло, а надо еще биться и биться за это, — неодобрительно подумал Алеша.

Но вид вооруженного народа, серьезные и внимательные лица женщин, золотистые головы ребятишек, край кумачового флага, полыхавший перед глазами, все больше веселили и радовали Алешу, и он все более задорно и бойко поглядывал вокруг своими ежовыми глазками.

— А теперь, товарищи дорогие, — медленно вставая и снимая шапку, сказал

Кузьма Фомич, когда инструктор кончил и отгремели дружные хлопки, — а теперь, товарищи дорогие, дадим слово прибывшему вчерась делегату нашего большевицкого комитету, которые там в белых подпольях и вражеских застенках...

Ему не дали кончить — бешеные хлопки и крики приветствовали Алешу. И, словно несомый ими, он очутился на краю крыльца перед волнующейся рябью смеющихся, загорелых лиц.

— Скажу «ура» большевицкому комитету! — выдохнул Кузьма Фомич и махнул шапкой.

Народ слитно подхватил его крик, — стайки воробьев с шумом взвились из-под крыши и замельтешили над толпой.

— Товарищи! — тоненько начал Алеша Маленький, весело глядя на бессмысленно хлопающего в ладошки сияющего ребенка на руках у женщины на возу. — Товарищи! Дозвольте с первых слов передать вам, трудящимся крестьянам, красным повстанцам, гордости и силе нашей, братский привет от всех рабочих и от нашего подпольного комитета партии большевиков...

Снова взвилась стайка угомонившихся было воробьев, и снова долго не умолкали крики и рукоплескания толпы.

И, отдаваясь этой волне, словно бы убыстряя ход, но в то же время не спуская с крыльца своей плотной, уверенной ручки, Алеша Маленький начал докладывать, все больше и больше овладевая вниманием толпы. Через некоторое время только щебет птиц, всплески кумачового полотнища над крыльцом да тонкий, веселый и страстный голосок Алеши звучали над притихшей толпой.

Пока он рассказывал о международном положении, силах интервенции, перевижках на фронте, настроении рабочих и состоянии их организаций, он держался на том внутреннем пафосе, который вызвала в нем оказанная ему встреча. Но когда он перешел к характеристике внутреннего состояния враждебного лагеря, он точно пересел на любимого железного конька, и на протяжении этой части его речи веселый гогот, не переставая, прокатывался по толпе.

— ...Созвали господа промышленники собрание насчет материальной помощи фронту, — тоненько рассказывал Алеша. — Сначала речь шла, как говорится, «вообче», буржуи выступали, говорили: положим, дескать, животы на алтарь отечества, заложим жен и детей! А как дошло, — кто сколько даст, — тут они стали ходить друг возле друга, точно смазанные тем самым добром, что вывозится за город только ночью... Часам к двум все стали уже хрипеть, а к трем передрались, проломали стулом голову купцу Грибакину, — здорово, говорят, один образованный профессор его треснул! — и разошлись ни с чем, обвиняя друг друга... в большевизме. По-ихнему выходит, что ежели один сукин сын стукнет другого по башке стулом, так это большевизм!

— ...Или вот с денежной реформой, — продолжал Алеша, переждав смех. — Выпустили новые деньги. Известно, однако, что золото наше, добытое народным потом, идет в карман иностранным буржуям за оружие и продовольствие, а станок — ему что? — станок работает денно и нощно — бумажки выпускает. Ясно, что деньги эти скоро на подтирку пойдут, благо и бумага подходящая...

Это замечание вызвало большое оживление среди мужиков.

— Пущай уж ими буржуи подтирают, мы и лопушком обойдемся! — выкрикнул кто-то. И снова хохоток прошел по толпе.

Алеша не преминул рассказать и о железнодорожной даме, с которой он ехал в поезде. Свои разговоры с дамой Алеша изобразил в лицах, а когда он описал, как во время обстрела дама упала в обморок и нюхала потом нашатырный спирт, неумолкающий хохот стоял в толпе, даже Бредюк смеялся, а Кузьма Фомич, со своей шишкой, и вовсе лег на стол.

Рассказывая о растущих продовольственных затруднениях из-за прекращения подвоза продуктов из деревень, Алеша вспомнил и о купленных им на станции Угольной слоеных пирожках. Пирожки эти стоили в былые времена в первом и втором классе десять копеек, а в третьем — пять, а паровозным машинистам они обходились со скидкой в четыре копейки. А теперь их в третьем классе совсем нет, а в первом стоят они рубль, а мука черновата, а вместо мяса — печонка.

— Ясно, что от этого, в первую голову, страдает рабочее население, — говорил Алеша, — но рабочие просили меня передать, что мы за это на вас, мужиков, не в обиде и не просим вас, чтобы вы сейчас в города хлеб везли. Мы будем хлеб с

буржуев требовать, а не дадут, — будем силой брать!.. Мы люди простые, пышно говорить не умеем и зряшных обещаний не даем, но мы согласны лучше голодать, лишь бы вы, красные повстанцы, не сложили оружия, лишь бы сбросить проклятую власть!..

Взрыв аплодисментов покрыл эти слова Алеши. Кузьма Фомич, словно невзначай, провел по глазам пальцем.

Тут Алеша сказал о том, что злостные шептуны стараются посеять рознь между рабочими и крестьянами, и привел вчерашние слова Бредюка. Но самого Бредюка Алеша не назвал, а из той внутренней коробочки, в которой Алеша хранил сотни имен и фамилий, вытащил Павла Снеткова и подробно рассказал собранию о встрече, оказанной ему Павлом Снетковым. Когда он почувствовал, что слушатели достаточно осудили Павла Снеткова и огорчились, что среди них имеются такие недостойные товарищи, Алеша раз'яснил, что в поведении Павла Снеткова виновата его несознательность, и похвалил Павла Снеткова за то, что он храбро и честно стоял на посту, и всем стало видно, что Павел Снетков вовсе не плохой парень, а во всем виноваты враги, которые могут опутать всякого, если не будет тесной дружбы с рабочими.

Найдя, что он достаточно поднял настроение, Алеша решил осторожно, не дискредитируя ревкома, подготовить почву к возможной перемене линии ревкома. Вернувшись к вопросу об интервенции, Алеша сказал, что борьба может затянуться, и рекомендовал не увлекаться внутренним устройством — земельными, базарными, административными делами, которые без победы в городах нельзя закрепить, не увлекаться с'ездами и собраниями, а все силы отдавать вооруженной борьбе.

— Среди вас находится доблестный партизан, гроза белых — Андрей Осипович Бредюк, — весело поблескивая глазками, с невыносимым пафосом сказал Алеша Маленький. — Областной комитет ценит его военный опыт и боевые заслуги и приветствует его!..

Бредюк надулся от удовольствия и зашевелил усами. Собрание захлопало.

— Андрей Осипович, как старый боец, может подтвердить мнение областного комитета: нельзя оголять линию железной дороги. И надо держаться мелкими отрядами. Если большая сила белых разгромит большой отряд, собрать снова трудно будет, а мелкие отряды не поймаешь. Правильно, Андрей Осипович?

— Это дело ясное, — важно просипел Бредюк.

Но как ни осторожен был Алеша, он чувствовал, что последняя часть речи пошла вразрез с настроением собрания и вызвала кое-где сдержанный говорок.

Когда Алеша кончил и смолкли хлопки, посыпались многочисленные вопросы: «Можно или нельзя в очищенных селах землю переделять?», «Что делать, если лавочники лавки закрывают?», «Ежели задержится подмога из России, неужто нехватит сил города одолеть?», «Как быть с ценой на продукты и товары, ежели каждый как хотит, так и устанавливает?», «Есть ли у большевицкого комитету полная данная, что другие державы, — скажем, Япония, — большой силой проть нас пойдут?».

— Вот-вот! — поддержал этот вопрос Кузьма Фомич. — И собственное это ваше расположение, или же весь большевицкий комитет так располагает?

Все эти вопросы по тому, как они были выражены, шли как возражения областному комитету, но это были живые голоса жизни, и Алеша внимательно прислушивался к ним.

В ответах на вопросы Алеша постарался сгладить неблагоприятное впечатление от последней части его речи. Он сделал это не из боязни дать прямые ответы, — такая боязнь чужда была Алеше, — а оттого, что не считал себя вправе до переговоров с Сурковым показать, что у областного комитета разногласия с ревкомом. На вопрос о переделе земли он дал утвердительный ответ, оговорив, что это должны делать сами села по своему усмотрению, а лавочников, которые имеют товары, предложил описать и товары раздать семьям партизан из бедняков.

Но чего не мог дать Алеша — это лозунга близкой победы, победы назавтра, того лозунга, который жил в сердцах этих людей и воодушевлял их, лозунга, которым, как считал Алеша, подымал их на борьбу ревком и которого они ждали от представителя комитета большевиков. И по дальнейшим выступлениям отдельных партизан и мужиков Алеша чувствовал, что неудовлетворенность осталась. А один молоденький и очень толковый мужик даже так закончил свою речь:

— ...Словами товарища из большевицкого комитету очень мы довольны, но только насчет наших дел, выходит, он нас вроде расхолаживает...

**
*

— А теперь, товарищи дорогие, — торжественно возгласил Кузьма Фомич, — дадим слово нашему дорогому командиру, товарищу Бредюку...

Бредюк, одернув френч и поправив маузер, стремительно вышел наперед крыльца, — толпа бушевала, приветствуя его.

— Н-да, ежели этот на меня напустится, дело дрянь, — тревожно подумал Алеша, хлопая Бредюку.

Но Бредюк, взмахнув руками, точно он собирался плыть вразмашку, начал страшно сипеть своим простуженным голосом что-то совершенно невразумительное. Не только чего-либо враждебного областному комитету, но вообще никакого смысла нельзя было уловить в его словах.

— Я... Мы с вами!.. Вы со мной!.. Товарищи бойцы!.. Я... До капли крови!.. — сипел Бредюк.

Его натуженное, красное лицо все больше наливалось кровью, капли жирного пота текли по лицу его. Он сорвал кепку, потом сильным рывком оборвал пуговицы на вороте френча. Все собрание, раскрыв рты, смотрело на него горящими глазами, как заколдованное.

Когда он кончил, его проводили бурей восторга.

— Да ты, оказывается, дурачок! — посмеивался Алеша Маленький, неистово хлопая Бредюку.

После заключительного слова Алеши и раз'яснений инструктора о норме и порядке выборов стали выкликать кандидатов:

— Фомича!..

— Гордеева!..

— Снытку Ивана!..

— Фомича!..

Бредюк вдруг поднялся из-за стола и, прикрыв глаза от солнца, стал пристально смотреть вдаль. Собрание смолкло и закольхалось.

По вьющейся в кустах дороге, со стороны Шкотова, скакал всадник. Скрывшись в ложбине под селом, он показался снова в дальнем конце улицы. Когда он подскакал к собранию, толпа раздалась, и всадник, обливаясь потом, у самого крыльца осадил взмыленную лошадь, весь откинувшись назад. Толпа прихлынула к крыльцу.

— Со Шкотова выступили колчаки, товарищ командир! — запыхавшись, сказал всадник. — Не боле роты. Однако, пулеметов штуки четыре... Вот-вот к хутору подойдут!..

Бредюк выпрямился.

— Бойцы! — просипел он. — По ротам! Строиться!.. Придется покинуть собрание ваше, товарищи дорогие, — сказал он с деревянной усмешкой. — Шурка! Коня моего!

Партизаны, женщины, дети, расталкивая толпу, побежали с собрания. Во дворах и на улицах возникло стремительное движение. Выводили коней. Закрывали ставни.

Бредюку принесли драгунку и патронташ и привели храпящего и бьющего копытами небольшого конька рыжей масти. Бредюк, закинув драгунку за спину, вскочил в седло, и конек, урося задом, грызя мундштуки и разбрасывая хлопья пены, боком вынес Бредюка к строящемся неподалеку ротам.

— Будем продолжать собрание наше, — сказал Кузьма Фомич. — Каки еще кандидаты будут?..

Алеша, наблюдавший с крыльца за строящимися ротами, замечал, что порядка не было. Долго стояла толчея, партизаны плохо слушались команды. Одни уже копошились в рядах, другие еще бежали со дворов. Вдогонку за одним, крича, бежала баба, держа в вытянутой руке патронташ, который, тот, очевидно, забыл. Знакомый Алеше командир в тулупчике, забыв про роту, ругался с правофланговым, потом ударил его кулаком по шее.

Роты еще не все построились, когда со стороны не видного из-за осиновой рощи на холме хуторка послышался залп, за ним другой. Послышалась частая ружейная дробь, которую пронизал далекий, неумолкающий токот пулеметов. Сторожевое охранение встретило противника.

Конный взвод во главе с Бредюком карьером помчался из села по дороге к хутору. Сначала одна, потом другая пешие роты, сбиваясь со строя, побежали в ту же сторону и через некоторое время скрылись в роще. Остальные роты спустились в лощину за селом. Стрельба у хутора участилась, но никто уже не уходил с собрания, — здесь привыкли к таким делам, да и противник был малочисленен.

Только когда проголосовали последнего кандидата, собрание начало расходиться.

Стрельба постепенно стала отдаляться, — должно быть, партизаны отогнали противника. Пока Алеше подседлали коня и об'яснили дорогу на Скобеево, роты, бывшие в лощине в резерве, уже возвращались с песнями в село, а мужики выезжали в поле...

А. А. Фадеев

Пташка

Захваченный с динамитом рабочий Игнат Саенко, по прозвищу Пташка, работал откатчиком в шахте № 1. Пташкой он был прозван за то, что мог подражать голосам всех птиц. Да и наружностью он смахивал на птицу — маленький, вихрастый, длинноносый и тонкошеий. Он был женат и имел двух детей, и старший его сынишка тоже уже умел подражать птицам.

Игната Саенко взяли ночью, побудив всех соседей. И когда его вели, его жена, сынишка и все соседи и дети соседей, любившие Пташку за то, что он пел, как птица, высыпав на улицу, долго кричали и махали ему вслед.

Контрразведка помещалась над оврагом в глухом дворе, обнесенном со всех сторон высоким забором. Когда-то там помещался сенной двор. Пташку впихнули в амбар и заперли на замок. В этом пустом и темном амбаре он, страдая от отсутствия табака, просидел до самого рассвета.

С того момента, как динамит был обнаружен у него под половицей, Пташка знал, что ему больше не жить на свете. Правда, его участие в деле только и состояло в том, что он, согласившись на уговоры товарищей, предоставил им свою квартиру для хранения динамита. Но мысль о том, что он мог бы облегчить свою судьбу, если бы выдал главных виновников предприятия, не только не приходила, но и не могла притти ему в голову. Она была так же неестественна для него, как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом.

Весь остаток ночи он не то, чтобы набирался сил, чтобы не проговориться, — таких сил, которые заставили бы его проговориться, и на свете не было, — а просто обдумывал, как ему лучше соврать, чтобы укрыть товарищей и выгородить себя. А еще он думал о том, что будет с детьми, когда его убьют, и жалел жену. «Навряд ли кто возьмет ее теперь за себя с двумя ребятами, косую», — думал Пташка.

На рассвете пришли взявший его ночью унтер — большой мужик с черной бородой, ростшей более в толщину, чем в ширь, и солдат с ружьем — тоже рослый, но рыхлый, желтолицый скопец. Они отвели Пташку на допрос.

Пташка увидел за столом офицера со старообразным лицом и, хотя он его никогда не видел, догадался, что это сам Маркевич (кто же на руднике не знал Маркевича). Ему стало страшно. Но пока Маркевич расспрашивал его имя, фамилию, губернию, вероисповедание, Пташка справился с собой. Маркевич спросил его, где он достал столько динамита и зачем. Пташка сказал, что крал его по частям, чтобы глушить рыбу.

— Рыбки, значит, захотелось? — нехорошо улыбнувшись, спросил Маркевич.

— Двое ребят у меня, жалованье не платят, живем бедно, сами понимаете, — сказал Пташка и тоже позволил себе чуть улыбнуться.

— Видимо, он рыбную торговлю хотел открыть? — сказал Маркевич, подмигнув сидящему в углу на табурете унтеру. — Полпуда! А!..

Пташка сказал, что он, правда, хотел продавать рыбу инженерам и конторщикам, чтобы немного подработать.

— А зачем третьего дня заходил к тебе Терентий Соколов? — спросил Маркевич, в упор глядя на Пташку круглыми желтоватыми глазами, страшными тем, что они ничего не выражали.

— Откуда он... — подумал было Пташка, но тут же сделал удивленное лицо, даже не очень удивленное, а такое, как надо, и сказал:

— Терентий Соколов? Да я и не знаю такого...

— А что если я его приведу сейчас, и он при тебе все расскажет?

— Не знаю, кто он, и что он мыслит сказать, — пожав плечами, ответил Пташка: он знал, что Маркевич не может привести Терентия Соколова, который вчера прислал жене письмо из Перятина.

— Слушай, — таким тоном, словно он желал помочь Пташке, сказал Маркевич, — Соколов признался в том, что на квартире твоей передаточный пункт, откуда динамит переправляют к красным... Я знаю, тебя в это дело зря запутали. Если назовешь, кто тебя запутал, я тебя отпущу. А не назовешь...

— Я, ваше благородие, служил на царской службе, я всю германскую войну прошел, — проникновенно сказал Пташка, — а с красными дела я не имел и не могу иметь. А сознаю я то преступление, что я тот динамит покрал для глушения рыбы по великой бедности. И коли должен я за то итти под суд, пусть будет на то ваша воля...

Маркевич вразвалку обошел вокруг стола и, постояв против Пташки и посвистав немного, изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Пташка отлетел к стене и, прижавшись к ней спиной, изумленно и гневно посмотрел на Маркевича, — из носа у Пташки потекла кровь.

Маркевич, подскочив к нему, тычком стал бить его кулаком в лицо, раз за разом, так что Пташка все время стукался затылком в стену. Пташка не успевал ничего сказать, а Маркевич тоже ничего не говорил, а только бил его кулаками в лицо, пока у Пташки не помутилось в голове и он не сполз по стене на пол.

Унтер и солдат подхватили Пташку под руки и, пиная его плечами и коленями, отволокли в амбар.

Пташка долго лежал в углу, обтирая полой рубахи горящее опухшее лицо, сморкаясь кровью и тяжело взлыхая. Он думал то о том, что он теперь пропал, то о том, что улик против него все-таки нет, и это немного подбадривало его. Потом ему захотелось покурить и поесть, но никто не шел к нему. Со двора не доносилось никаких звуков. Он был отрезан от всего мира, ему неоткуда было ждать помощи и некому было пожаловаться. Он подложил руку под голову и незаметно уснул.

Проснулся он от звука открываемого замка. Дверь распахнулась, и вместе с солнечным светом и запахом весны в амбар вошли Маркевич и унтер.

Черноборолый унтер с ключами в руке остановился у распахнутой двери, а Маркевич подошел к Пташке, с полу смотревшему на него настороженными птичьими глазами.

— Что, не надумал еще? — сказал Маркевич. — Встать! — взвизгнул он и сапогом ударил Пташку в живот.

Пташка вскочил, одной рукой поджав живот, а другой пытаясь заслониться от Маркевича.

— Говори, кто носил тебе динамит. Убью!..

— Убейте меня, — детским голосом закричал Пташка, — а я не знаю, чего вы от меня хотите!..

— Взять его! — сказал Маркевич.

Унтер крикнул со двора солдата. Через пробрызнувший молодой травкой двор Пташку подвели к длинному погребу с земляной, прорастающей бурьяном крышей с деревянными отдушинами и зачем-то железной трубой посередине.

— Куда вы ведете меня? — спросил Пташка, бледнея.

Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком, открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью. Пташку сбросили по ступенькам, — он упал возле каких-то бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих заплесневевших бревен.

В то время, когда спустившиеся в погреб унтер и солдат держали обмякшего и притихшего Пташку, Маркевич засветил фонарь, отпер вторую дверь и вошел в глубь погреба. Пташку ввели вслед за ним в сырое, лишенное окон затхлое помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал тошнотворный трупный запах.

С противоположного конца помещение было ограничено такой же стеной из стоячих бревен, и там видна была еще одна дверь на замке. Посредине помещения стоял топчан, в углу — кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над ним тем-

ным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с потолка.

Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке.

— За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня, — тихо и очень серьезно сказал ему Пташка.

— Раздеть его! — скомандовал Маркевич.

— Что вы хотите делать? — в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата.

Но они кинулись на извивавшегося Пташку и, пиная его и выворачивая ему руки, сорвали с него одежду и, голого, повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки обхватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже напрягаться телом, веревки начинали душить его.

Раздался свист шомпола, и первый удар прожег Пташку насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал.

***

И с этого момента началась новая, страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в неимеющую конца, сплошную ночь мучений, немыслимых с точки зрения человеческого разума и совести.

Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба. Все время было разделено для Пташки на отрезки, в одни из которых терзали и мучили его тело, а в другие, выволоченный за дверь в тесную замляную каморку, он лежал в непроглядной душной и сырой тьме, забывшись сном или лихорадочно перебирая в памяти обрывки прежней своей жизни.

Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем сознании всю свою жизнь, и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент, когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, расстегнутый ворот рубахи унтера, откуда выглядывала его потная волосатая грудь и шнурок от нательного крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах собственной крови и паленого мяса — все заслоняли перед Пташкой.

Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли, и для того, чтобы высечь из этого, уже не похожего на человеческое, тела новую искру страдания, изобретались все новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: «Убейте меня, я не виноват»...

Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе, как тень, появилась маленькая белая женщина. Пташка, закованный в обручи у стены, не видел, как она вошла. Появление ее было так невозможно здесь, что Пташке показалось, — он бредит или сошел с ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него. Она сидела безмолвно, не шевелясь, глядя на то, как мучают Пташку, широко открытыми, пустыми голубыми глазами.

И Пташка понял, что это не видение, а живая женщина, и вдруг ужаснулся тому, что все, что происходит с ним, это не сон и не плод больного ума, а все это — правда.

И тогда все прошлое и настоящее в жизни Пташки вдруг осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие когда-либо приходили ему в голову.

Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и лишений, вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь — ужасную жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в поднебесье, и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди, которым были открыты и доступны все блага и красоты мира — и теплые удобные жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах, — чтобы эти люди смогли предать его, Пташку, этим невероятным мукам, немыслимым даже и среди зверей?

И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть людьми; что главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз то, что

он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом людей, и посягал на блага и красоту мира и для себя и для всех людей.

Пташка понял теперь, что то человеческое, чем еще оборачивались к людям эти выродки, владевшие всеми благами земли, — что все это ложь и обман, а правда их была в том, что они теперь в темном погребе резали и жгли тело Пташки, закованное в обручи у стены, и никакой другой правды у них больше не было и не могло быть.

И Пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не мог уже попасть к живым людям, товарищам своим, и рассказать им об этом. Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся там, на земле, еще не до конца понимают это, и в решающий час расплаты сердца их могут растопиться жалостью, и они не будут беспощадны к этим выродкам, и выродки эти снова и снова обманут их и задавят на земле все живое.

Распятый на стене Пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то делающую с его телом фигурку Маркевича с потным и бледным исступленным лицом, на освещенную багровым светом горна съежившуюся на топчане и смотрящую на Пташку женщину, похожую на маленького белого червяка, и Пташка чувствовал, как в груди его вызревает сила какого-то последнего освобождения.

— Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня... — тихо, но совершенно ясно сказал Пташка. — Разве вы люди? — сказал он с великой силой презрения в голосе. — Вы — не люди, вы — даже не звери... Вы — выродки... Скоро задавят вас всех! — торжествующе сказал Пташка, и его распухшее, в язвах лицо с выжженными бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке.

Маркевич, исказившись, изо всех сил ударил его щипцами по голове.

Тело Пташки два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и Пташка умер.

Всеволод Иванов

Бронепоезд № 14-69

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игреную лошадь.

Тело его влипло в плоскую лошадиную спину, лицо танцовало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать...

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-то наш за японцем пошел далеко-о!

— Деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Эту муку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцы-то! На трашпанке в жестянках молоко везли! Дурной народ, воевать приехали, а молоко жрут с шиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну, и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота, и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу, и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали:

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по моему, товарищи, — распропагандировать его — и пустить. Пущай большевистскую правду понюхат. А я так полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кче!..

— Хо-о!..

— Прореху-то застегни, чорт!

— Валяй, Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!

— Чать, тоже человек...

— На камне и то выдолбить можно.

— Лупи!!.

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые краснобронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там раз'ясни. Подробно. Не хорошо, мол.

— Зачем нам мешать!

— Против свово брата заставляют итти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди все хорошие, должны понять. Такие ж крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас, поди, этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I dont understand...

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца. Вершинин почувствовал смущенье.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..

Знобов думал. Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син-Бин-У лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительно китайскую песню.

— Мука мученическая, — сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны, — сказал Знобов, — кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами учебник закона божия для сельских школ.

— Може по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.

— А ты попробуй, — предложил Васька.

— Как его. Не поймет, поди!

— Может, поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин, — сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap!

Знобов стукнул себя кулаком в грудь, и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, почему-то ломаным языком прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed.

Мужики радостно захохотали.

— Понимает, стерва.

— Вот, сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по-матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцем в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал раз'-яснять:

— Этот с ножом-то—буржуй. Ишь брюхо-то выпустил, часы с цапочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял! Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат!.. We!

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову, и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень, — говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он, пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то — японец, американка, англичанка, вся эта сволочь, империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Away!

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям.

Син-Бин-У подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мериканысы ресыпубылика-а, пухао. Нипонс, пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Кыра-а-сна ресыпубылика; нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец руки кверху, проговорил:

— Шапго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

А. С. Новиков-Прибой

Зуб за зуб

Вечером, когда над Сибирью спускался тихий сумрак ночи, через село Кашеедово проходил неизвестный человек лет двадцати пяти в крестьянской одежде. Около одного дома, где он, остановившись, купил крынку молока, вокруг него собрались мужики и бабы, приставая с расспросами о новостях.

— Новостей пропасть, только некогда рассказывать, — заявил прохожий, напившись молока и утирая рукавом рубахи свои небольшие усики.

— Ну, что-нибудь скажи, — послышались голоса.

— Про город-то, поди, слыхали?

— А что?

— В руки красных попал...

Это удивило всех. Придвинувшись ближе к прохожему, люди сразу насторожились, недоверчиво заглядывая в его маленькие, немного насмешливые глаза.

— Честное слово, правда! Сам из города. Солдаты взбунтовались и порешили со всеми офицерами. А что делается теперь там — голова кругом идет: митинги, народ с красными флагами ходит по улицам, революционные песни поют. По селам беляков вылавливают. Везде восстанавливают советскую власть. Словом, всем прохвостам — крышка. Однако, прощевайте! — неожиданно оборвал прохожий и тронулся в путь.

— Да подожди, расскажи толком, как и что? — начали упрашивать его.

— Что рассказывать-то? Скоро сами узнаете все. А мне спешить надо...

Брошенная прохожим новость моментально облетела все село, вызвав среди жителей горячие споры.

На другой день, рано утром, в конце села Кашеедова показался отряд всадников, сопровождавших какую-то повозку. Их было человек до пятидесяти. У всех из-за плеч виднелись карабины. Среди жителей Кашеедова поднялась страшная тревога: люди начали разбегаться из домов, прячась в конопляниках, в ригах, зарываясь в солому. Но так продолжалось недолго. Солдаты ехали мирно, распевая революционные песни, веселые, с красными бантиками на фуражках, вместо прежних кокард.

Над ними развевался большой пунцовый флаг с надписью: «Смерть палачам! Да здравствует советская власть!» В середине отряда ехала телега. На ней находились четыре человека: кучер, правивший лошадью, два связанных офицера и рабочий, высокий, худощавый, в потрепанном пиджаке, в черной засаленной фуражке, с широкой красной лентой через плечо.

— Товарищи! — увидев около домов жителей Кашеедова, закричал вдруг рабочий с телеги, размахивая фуражкой. — Наша взяла! Вся губерния в руках красных! Собирайтесь на сходку. Там я все об'ясню...

А солдаты, раскачиваясь в седлах, пели:

Бей, руби их, злодеев проклятых...

Из одного дома в другой забегали люди, сообщая новость. Детвора носилась по конопляникам, кружилась около овинов, разыскивая своих спрятавшихся отцов и родственников, и звонко раздавались их голоса:

— Тятя! Иди скорее домой! Слобода приехала...

— Дядя Ваня! Тебя тетя Ганя зовет... беляков рубить...

И народ все смелел, высыпая на улицу и примыкая к отряду конных.

Солнце, поднявшись, брызнуло ярким светом. Радостно голубело небо, просветленное, без единого облачка. Позолотившись, ослепительно сияло озеро, а по извилистым краям его, над каменками и кустарниками тальника, плавали обрывки молочного тумана.

Люди торопливо выгоняли скотину в стадо и спешили на сходку, около которой собралась уже большая толпа. Все, вытянув шеи, смотрели на середину круга, туда, где стояла повозка со связанными офицерами. Рабочий-оратор, показывая рукой на капитана Прибылева, спрашивал:

— Узнаете своего палача?

По толпе пронесся гул.

— Мы его поймали дорогой, — продолжал оратор. — Он ехал к вам, чтобы опять устроить вам порку. А этот — его помощник, — показал он на другого офицера, молодого подпоручика. — Но об этих кровопийцах мы поговорим после. А теперь я хочу вам рассказать о другом...

Оратор посмотрел на толпу, окружившую его повозку, на солдат, выстроившихся в сторонке правильными рядами, откашлялся и громко начал:

— Товарищи! Опять вернулась к нам свобода, опять сами труженики становятся у власти...

Где-то мычали коровы, блеяли овцы, а здесь, около схода, стало вдруг тихо, и в этой тишине звучал лишь один голос, басистый и громкий, бросая призывные слова. Между оратором и народом протянулась невидимая связь, держа в напряженном состоянии стариков и подростков, мужиков и баб. По-разному слушала толпа: одни стояли, наклонив головы, точно отяжелевшие от новых мыслей, нахмурив брови, серьезные и тяжелодумные; другие, напротив, держались прямо, щурясь от солнца и улыбаясь, словно погрузившись в чудесный сон; некоторые повернулись в сторону повозки вполоборота, приоткрыв рты и подставляя к уху ладони совочком.

Подпоручик все время ежился, чувствуя грозную силу толпы, и беспокойно поглядывал в сторону солдат, но капитан Прибылев, к удивлению многих, сидел спокойно, скользя стальными глазами по загорелым лицам людей, точно изучая их, и нагло встречал взгляды крестьян.

Оратор увлекался. По его энергичному лицу катились крупные капли пота. Из его речи выходило, что все омское правительство арестовано и что скоро наступит время, когда по всей сибирской территории не останется ни одного народного врага.

— Да здравствуют большевики! — закончил оратор.

— Качать товарища оратора! Качать!

Десятки рук протянулись к повозке, заставив задрожать подпоручика и насторожиться самого капитана, стащили рабочего и с криками «ура» долго подбрасывали его в воздухе.

Когда водворилась тишина, оратор предложил народу начать выборы в сельский совет, но оказалось, что у них давно уже был создан военно-революционный штаб. В него входили трое: Яков Семенов, Антон Воротилов и Потап Кротов.

Пока оратор беседовал с двумя первыми, несколько человек побежали за Кротовым. Его нашли в картофельной яме. Он явился и направился прямо к повозке,

взъерошенный, выпачканный в земле, с застрявшей кострой в густых волосах. Посмотрел на красное знамя, на связанных офицеров, на оратора, с улыбкой протягивающего ему руку, улыбнулся сам и спросил:

— Неужто это правда?

— Да, товарищи, народ раздавил контрреволюцию...

Потом вскочил на повозку и крикнул во всю силу своих здоровых легких:

— Товарищи! Наша борьба не пропала даром! Свергнули окаянную силу...

— Для тебя еще осталась, — вставил капитан Прибылев, скосив на говорившего недобрый взгляд.

— Замолчи, стервятник, пока твой поганый язык я тебе не вырвал! — рассердился Потап и хотел было ударить капитана.

Но в этот момент его схватил за руку оратор и строго заговорил:

— Так нельзя, товарищ! Надо по закону. Мы — не разбойники...

Быстро был создан военно-революционный трибунал. В него вошли членами Ермилка Сучков, мужичонка бедный и хилый, Карп Суслов, человек степенный и точный, а их возглавлял председатель Трифон Дерзилов, дезертир с гражданского фронта.

Жарко пылало солнце. Влага сырой земли, испаряясь, сгущала неподвижный воздух, душный, как в натопленной бане. А облачко на юге, раньше маленькое, теперь расплылось по голубому небосклону, точно чернильное пятно на пропускной бумаге. На дальних деревьях, качаясь и вытягивая шеи, беспокойно каркали вороны. Бухал большой колокол, пугая галок и голубей, стаями реющих вокруг церкви, а в его перекатный гул складно вплетался заливчатый перезвон маленьких колоколов.

Какой-то крестьянин, проезжая через село, остановился около церкви, посмотрел на красный флаг, прикрепленный к повозке, на веселую компанию выпивающих людей, слез с телеги и направился к ним.

— Что это у вас за праздник сегодня?

Ему об'яснили, в чем дело.

— Свобода! А того и не знают, что у нас в селе полно казаков...

— А ты откуда? — спросил оратор.

— Из Дразниловки. Пятнадцать верст отсюдова...

Оратор, вдруг нахмурившись, крикнул в сторону солдат:

— Десять молодцов — ко мне, а остальные на коней!

Через минуту солдаты уже сидели в седлах.

— В цепь! — снова крикнул им оратор, описав рукою полукруг.

Народ недоумевал, глядя, как их окружают всадники, обнажая сабли. Десять позванных солдат, приблизившись к членам трибунала и штаба, притиснули их к церковной ограде. Тут же, выхватив из кармана по револьверу, стояли оба офицера, кучер и сам оратор.

Прекратился звон колоколов, и Ефим, церковный сторож, высунувшись из колокольной пищи, удивленно смотрел вниз. Сразу оборвалось веселье. Что-то страшное, чего нельзя осмыслить умом, надвинулось на людей, гнетущим мраком окутав их души.

— Постойте, как же это так? — побледнев, глухо спросил Потап, обращаясь к оратору.

— Связать этого первым! — отрывисто приказал тот.

Несколько солдат, спрыгнув с коней, набросились на Кротова, скручивая ему назад руки и туго затягивая их веревками, а он, вырываясь, кричал, как безумный:

— Проклятие вам, подлые провокаторы!

Толпа робко зашумела.

— Молчать! — вскочив на повозку, гаркнул капитан Прибылев, угрожая револьвером. — И ни с места! Пришибу, как собаку!..

Снова все стихло.

— Ну что, голубчики, попались? — слышался злорадный голос капитана. — Что вы теперь запоете в свое оправдание?

Исчез пунцовый флаг, пропала с плеч оратора лента: на руках солдат, вместо красных повязок, уже виднелись человеческие черепа, а на фуражках — кокарды; сверкали на солнце обнаженные сабли; с коней смотрели решительные лица всадников.

В толпе уже не было пьяных. Мужики, бабы и ребятишки, застыв на месте, молчали, дрожа от страха, пришибленные и безвольные.

Вдруг вся площадь огласилась дикими воплями.

В воздухе запахло человеческой кровью.

Из церкви вынесли на площадь подсвечники и почерневшие от времени иконы. Здесь же, облачившись в погребальные одежды, находился весь духовный причт, приведенный под конвоем.

Священник о. Иннокентий Богомольцев, слушая распоряжения капитана Прибылева, молчал и лишь украдкой косился на своих прихожан, оцепленных солдатами. Они стояли, не двигаясь с места, не зная, что будет с ними дальше, покорные, придавленные страхом. Стало жалко их, хотелось возражать против безумного предложения начальника. Но когда взглянул в сторону ограды, где, распластавшись по земле, валялись окровавленные трупы людей, то почувствовал, что и сам он заражается жутью, лишаясь силы воли. Губы его посинели, нижняя челюсть, густо поросшая бурым волосом, вздрагивала.

Дьякон был смелее и, встряхивая обнаженной головой, протестовал:

— Это невозможно... Это будет богохульством...

— Если не подчинитесь моему распоряжению, то сейчас же прикажу выпороть вас, а потом — к стенке! — гаркнул капитан, осадив пляшущего под ним коня.

Священник вздрогнул и, обращаясь к дьякону, смиренно заговорил:

— Наше дело маленькое, отец Симеон, мы должны выполнить распоряжение начальника. ибо всякая власть самим богом установлена...

Некоторое время спустя, уныло загудел погребальный звон. Похоронная процессия сначала двинулась вдоль улицы, а потом, свернув в переулок, направилась за околицу. Там, за полверсты от села, на возвышении, рядом с крупным бором, в березняке, виднелось кладбище. Впереди несли подсвечники, иконы, а за ними, едва передвигая ноги, шагали два человека, обреченные на смерть: Потап Кротов и Трифон Дерзилов. Оба были привязаны друг к другу, локоть к локтю, у обоих, кроме того, были руки скручены назад и затянуты настолько туго, что кисти их вздулись и посинели.

Их заживо отпевали.

Трифон вскидывал голову, все оглядывался назад, часто мортая слезящимися глазами. Он как будто не понимал, что с ним делают. Потап, вытянув вперед свою жилистую шею, тупо смотрел в землю неподвижным взглядом. Лица их осунулись, заострились, как у покойников. Смерть, наложив на обоих свою тень, невидимым призраком стояла перед ними.

— У меня рубашку разорвали, — взглянув на свою грудь, устало промолвил Трифон, точно впервые заметил это.

Потап взглянул на него исподлобья и ничего не ответил.

Поп, подбрасывая длинные волнистые волосы, дергал широкими плечами, точно черная риза мешала ему. Он был смертельно бледен и пугливо косил глаза по сторонам. До него доносились тяжелые вздохи, всхлипывания баб, беспорядочный топот тысячной толпы, напиравшей в спину. Это заставляло его вздрагивать, несуразно оттопыривать в стороны локти и напруживать все тело, словно в ожидании, что сейчас он будет раздавлен живым потоком людей. Он пел слабым голосом, путая и пропуская слова такой простой молитвы, как «святый боже».

Дьякон, свирепо размахивая кадилом, поднимал ноги в тяжелых сапогах так высоко, как будто старался перешагнуть через какое-то препятствие, и гудел пропившимся басом. Угристое лицо его натужилось, покраснело, точно он взбирался на крутую гору.

По временам он бросал на священника враждебно-пронзительный взгляд.

Рядом с ним, тихо подпевая в тон надтреснутым тенором, шагал псаломщик, молодой чахоточный человек, жалкий в своих истоптанных башмаках и обтрепанном пиджаке.

В стороне от дороги, напротив приговоренных, поглядывая на похоронную процессию, ехал верхом капитан, спокойный, уверенный.

Все жители села, старые и малые, двигались беспорядочной толпой. В жарких лучах солнца, маяча, мелькали обнаженные головы мужчин и ребятишек, пестрели

разноцветные платки женщин. Рассыпавшись по жесткой щетине жнивья, их замыкали полукругом всадники и гнали к кладбищу, как гонят стадо животных на скотобойню.

Некоторые из крестьян угрюмо поглядывали на осиротевшие луга и поля, на юг, откуда наползала черная туча, угрожая проливным дождем, на опустевшее село, делая страшные догадки, что его так же могут ограбить и превратить в пепел, как недавно поступили с соседней деревней. Одни раскаивались, что впутались в такое дело, другие сокрушались, что нет у них достаточно оружия, чтобы опрокинуть этих разбойников. Дерзкие год тому назад, в дни радостной свободы, люди теперь шли молча, поднимаясь к кладбищу, как на Голгофу, удрученные и подавленные, точно их самих отправляли в могилу.

На кладбище, как свежая рана, зияла глубокая могила, ожидая жертв произвола. Ее выкопали сами же крестьяне, посланные сюда под конвоем солдат. Народ обступил могилу со всех сторон, образовав большой круг, в центре которого находились Дерзилов и Кротов, крестьяне с лопатами, старики с иконами и подсвечниками, духовный причт, капитан на коне и несколько солдат с винтовками.

Началась краткая лития.

— Упокой, господи, души новопреставленных рабов твоих, Потапия и Трифона...

Священник опустил глаза, не замечая, что камилавка у него с'ехала набок. Он пел не своим голосом, произносил привычные слова, как автомат, думая о том, что крестьяне теперь не простят ему и что при первой же возможности надо бежать из села в город.

Дьякон, размахивая кадилом, басил так хрипло, точно у него пересохло горло. Туча, погасив солнце, отбросила на землю зловещую тень, и ему казалось, что сейчас наступит египетская тьма и вострубят архангелы о страшном дне второго пришествия...

— Кощунствуете, батюшка, а? — словно проснувшись от тяжелого сна, вдруг спросил Потап, глядя на попа.

Священник вздрогнул.

— Разве так повелел вам поступать христос, а? Где ваш бог? Или заснул, или не видит, что пастыри его проделывают на земле? Словоблудники! Вы прислужники не бога, а сатаны!..

Поп, ежась, пятился назад, точно в него летели не слова, а раскаленные стрелы, остро вонзаясь в тело, — пятился до тех пор, пока не уперся в живую стену людей. Взглянул на своих прихожан, как бы ища для себя защиты, и еще больше омрачилась душа: в каждой паре глаз прочитал роковой приговор, который не сегодня-завтра над ним совершится. Что-то хотелось сказать, но не мог произнести ни одного слова и только жевал губами, весь какой-то скомканный, с перекошенным лицом.

Дьякон, стиснув зубы, отведя в сторону кадило, смотрел на своего пастыря с таким свирепым видом, точно хотел ударить его по голове.

Молния снизу доверху расколола черную тучу, грянул оглушительный гром.

Перекатным эхом откликнулся бор.

Жуткая дрожь пробежала по народу.

— Зарывайте! — приказал капитан, испугавшись предстоящего дождя.

Трифон, почувствовав на себе руки палачей солдат, вдруг заколотился весь, заплакал, умоляя о пощаде.

— Нашел кого просить, дурень! — сурово промолвил Потап.

Солдаты на минуту остановились, повернув головы к капитану, словно ожидая с его стороны милости.

— Живо! В два счета! — распоряжался Прибылев, указывая при этом, как нужно похоронить приговоренных.

Потапу и Трифону связали ноги, опустили в могилу; опустились туда же и двое солдат.

— Отпустите... Никогда больше не буду... — стараясь вырваться из страшных уз, продолжал выть один.

— Прощай, народ крестьянский! — кричал Кротов.

— Родимые! Их живыми хотят закопать... — громко заголосила какая-то баба.

Женским воплем, тяжким и надрывным, огласилось все кладбище. Плакали и ребятишки.

Только мужики молчали, угрюмо вздыхая, запуганные и подавленные дьявольским замыслом капитана.

Под угрозой расстрела, тех же крестьян, что вырыли могилу, заставили и зарыть ее. Неуверенно работая лопатами, они с ужасом бросали землю, закапывая живыми тех, кто вырос в их среде, кто болел их болью.

Солдаты, находясь в яме, поддерживали Потапа и Трифона в стоячем положении.

Туча закрыла полнеба и продолжала тяжко наползать, сверкая вспышками молнии, издавая резкий треск и грохот, точно рвалось железо.

По мере того, как Потапа и Трифона засыпали землей, лица их темнели, кровью наливались глаза. А когда на поверхности земли остались только головы, капитан приостановил работу невольных могильщиков и, обращаясь к народу, властно крикнул:

— Замолчите, бабье! Иначе сейчас же разделаюсь с вами!

И женщины, повинуясь непоколебимой воле капитана, сразу прекратили вопль.

— Что, будете заниматься революцией?

— Простите... — сипела одна голова. — Отпустите... Покрою все грехи...

— Гадина... — гневно хрипела другая, уставившись на капитана вылезающими из орбит глазами. — Скорпион!.. Изверг!

— Посмотрите на вашу революцию! Она в землю зарыта! Задыхается, хрипит, доживая последние минуты! Конец вашей свободе!

Народу казалось, что в лице Потапа и Трифона действительно погибла их свобода, закопаны в землю все их надежды, все упования на лучшую долю, на радостную жизнь. Безнадежная скорбь охватила сердца. Все старались взглянуть на могилу, но, увидев страшное зрелище, тут же отворачивались. Там, на желтом песке, торчали две головы, казавшиеся срезанными и брошенными на землю. Но каждая из них продолжала жить, поворачиваться лицом, искаженным и почерневшим, как чугун, то в одну сторону, то в другую. Глаза, налившись кровью и пучась, в последний раз мрачно смотрели на окружающий народ, на небо.

Голова Трифона, разинув рот, задыхалась и почти шопотом произносила безумные слова:

— Братцы... Душно... Зачем ноги держите?.. Отпустите... Камень давит...

А другая, оскалив зубы, искривив рот в страшную гримасу, хрипела проклятиями.

Налетел ветер, наполняя бор тысячеголосым гулом, закачались на кладбище березы, шумно потрясли листьями, четко защелкали первые капли дождя.

По приказанию капитана, сами солдаты быстро начали набрасывать землю на головы погребенных.

Хлынул дождь.

— Марш по домам! — гаркнул офицер народу.

И все бросились к селу, задернутому густой сетью дождя. Неслись, как от страшного видения, спотыкаясь и падая, обгоняя друг друга. Мимо них вихрем промчались всадники.

И только трое из тех крестьян, что рыли и закапывали могилу, отстав от других, свернули в сторону, в березовую рощу, и быстро побежали в обратный путь — на кладбище.

В бору, версты за две от села Кашеедова, при недавно заброшенном дегтярном заводе, находилась землянка, довольно исправная и сухая. Кругом царила та сырая тьма ночи, которая тянется бесконечно долго. Лил, не переставая, дождь, шумел ветер, сгибая деревья. Узорчато сверкали отяжелевшие тучи. Каждый удар грома тысячекратно повторялся эхом, точно между землей и небом происходила пушечная перестрелка. Чувствовалась бесприютность и грозная жуть тайги.

А внутри землянки, на очаге, потрескивая, весело и жарко горели дрова. Сверху, закрыв потолок серой пеленой, висел дым. На нарах, застланных измятой соломой, трое мужиков, согнувшись, возились над человеческим телом, лежавшим пластом.

— Дышать — дышит, а не оживает, — выпрямляясь, сокрушенно промолвил рыжебородый.

— Ничего, воскреснет, — успокаивал другой, носатый солдат, служивший во время войны санитаром в госпитале. — Надо только раздеть догола и хорошенько растереть кожу.

— Это для чего же? — спросил третий, вскинув брови, человек солидно-медлительный.

— А чтобы простуду из него вышибить. Для крови тоже полезно: быстрее по жилам начнет течь. А то она, кровь-то, без движения застывает вроде студня...

На черных стенах землянки, трепыхаясь, плясали отблески огня и двигались, сближаясь и расходясь, три человеческие тени. Пахло смолою, дегтем и лесной прелью. По голому человеку, плотному и складному, с крепкими мускулами, часто переворачивая его, неумело шаркали корявые руки, натирая кожу докрасна. От мужиков, промокшие рубахи которых начали высыхать, поднимался пар.

— Сердце бьется правильно, — приложив ухо к левой стороне груди, с авторитетом понимающего медика заявил бывший санитар. — Жарь еще!

Дождь стал затихать, реже сверкала молния, удалялись и перекаты грома. От порыва, ворвавшегося в землянку, клубы дыма заволновались, опускаясь до нар, и раз'едали глаза.

Голый человек вдруг начал чихать.

— Потап! А, Потап! — обрадовавшись, обратился к нему рыжебородый, тормошна за плечи.

Кротов устало открывал глаза, но тут же снова закрывал их, точно ему больно было смотреть. Понемногу он собирался с силами, озираясь и никого не узнавая.

— Ух, страшный сон видел...

— Хорош сон, коли с того света явился, — заметил рыжебородый, улыбаясь.

Ему помогли сесть. Моргая, долго харкал и отплевывался песком, пока не промыл рот и глаза дождевою водой. Попил немного — стало легче. И только теперь заметил, что он сидит совершенно голым.

— Где это я?

— Теперь-то, паря, ты в хорошем месте, а был — шибко в плохом, — начал об'яснять бывший санитар, у которого на кончике носа повисла капля пота, готовая сорваться. — Прозевай мы еще минуту — была бы твоя душа у дьявола в когтях...

Мужики наперебой рассказывали Потапу, как он был похоронен и как они выручили его, во-время разрыв могилу, а он, слушая их, сам начал восстанавливать в памяти тяжелую картину пережитого ужаса... Когда засыпали его землей, холодели ноги, давило грудь. Нижняя часть тела постепенно умирала. Это он ясно сознавал. Потом начала раздуваться голова, глаза полезли на лоб. Вокруг него завертелись люди — мужики, бабы, ребятишки, солдаты, поп с дьяконом запрыгали в дикой пляске и заржали, как лошади. И все сразу куда-то исчезли. Остался один только медведь, большой, лохматый. Он схватил Потапа, затащил в тесную берлогу и навалился на него своим тяжелым телом. А лицо у медведя было человечье, с большими усами. Близко заглядывал в глаза Потапу и несуразно тряс головой. Наконец зажал ему лапой рот и стал плеваться, не давая смотреть... Наступил непроглядный мрак.

Кротов тряхнул головою, устало оглядел землянку и трех мужиков.

— А где Трифон?

— Да ничего с ним не вышло: задохся, паря... Ну, мы его и оставили в могиле...

Потапа нарядили в рубашку и штаны, успевшие за это время подсохнуть, и начали советоваться, куда его теперь спрятать.

— Знаете что? — заговорил вдруг рыжебородый.

— Ну?

— Отвезу-ка я его к брату Якову, что лесником служит в Ершовом лесничестве. Сорок верст до него. Ни один сыщостат не заглянет туда...

Все согласились с таким решением.

— Ну, отпетый, ты пока что сиди здесь и грейся у огня, а я побегу в село за воронком. Одежонку захвачу, жратвы и самосядку. Потом дорогой мне расскажешь, что видел на том свете...

Рыжебородый выскочил из землянки, но сейчас же вернулся обратно.

— Чтоб не забыть... Вы все-таки на зорьке этак могилу закопайте. Сделайте, как было... И об этом никому ни звука...

— Ладно, сделаем...

Рыжебородый исчез.

Третий мужик подложил на очаг дров и охапку ветвей с хвоей.

Взвилось пламя, а над ним, как золотые мухи, закружились искры.

...День был тихий и ведряный, а к вечеру подул ветер, нагоняя облака, поднимая пыль. Солнце, обойдя свой круг по небу, медленно опускалось за Медвежьим холмом. В Кашеедове на одной стороне улицы окна пламенели багрянцем, но озеро, покрытое мелкой рябью, уже потухло, потемнело, лишившись солнечных красок.

Мужиков в селе не было: они все, вооружившись пиками, скрывались в лесу. Дома остались лишь старики, бабы и ребятишки. Трудовой день приближался к концу; по улице гремели последние повозки. Пахло прелым навозом, парным молоком и свежим сеном.

Настроение у всех было тревожное. Люди, работая, постоянно оглядывались по сторонам, словно кого-то ожидая. А когда в'ехала в село чужая подвода, сразу все забеспокоились, внимательно осматривая мужика, сидевшего на телеге. За его спиною лежал связанный телок. Лошадь шла шагом, а между тем была вся потная. Это наводило на подозрение.

— Откуда? — спросили его кашеедовцы.

— Из Журавлихи, — с напускным спокойствием ответил с телеги мужик.

— Далече?

— Не дальше вашего села.

Под'ехав к дому Мирона Золотухина, он остановился и, не торопясь, слез с телеги. К нему подошло несколько человек, расспрашивая:

— Ну, как у вас там?

— Да ничего, — неохотно отвечал приезжий, привязывая вожжами лошадь к крыльцу.

— Спокойно?

— Как в животе после касторки.

Из ворот вышел сам Мирон, крепкий старик с умным лицом, с одной половинкой седой бороды, что придавало ему смешной вид. Приезжий направился к нему, прихрамывая на одну ногу, поздоровался за руку и, незаметно подмигнув глазом, заговорил громко:

— Вот и привез твою покупку. Боялся, поди, что обману, а?

— Да чего бояться? Деньги небольшие... — ответил старик, почесывая за ухом.

— Сбрил бы ты бороду совсем. Чего с одной половинкой ходишь?

Мирон нахмурился.

— Зачем? Пусть смотрят люди и вспоминают, как живется нам в Сибирских Коротых Штатах...

Приезжий деланно засмеялся.

— Однако, куда телка стащить?

— На двор.

Приезжий, взяв телка в охапку, направился к воротам. Старик, пропустив его, запер за собою калитку. Оба они зашли в хлев и там быстро переговорили.

Через несколько минут приезжий уже садился на свою телегу, говоря:

— Надо торопиться, а то как бы дождиком не помочило.

И, завернув лошадь, крикнул:

— Прощай, дядя Мирон! При случае — заезжай.

— Заглянем как-нибудь, — ответил старик, стоя у ворот.

Позднее он вывел через задние ворота своего лохматого коня, сел верхом на него и тронулся в путь, скрываясь в темноте.

В лесу, между большими деревьями, вблизи крутого оврага, ярко горели костры, в клочья разрывая черный покров ночи. Под напором ветра тайга глухо гудела, раздраженно ворчала, призрачная в зареве полыхающих огней, наполненная смутными движениями теней. Казалось, что она населена миллионами привидений, реющих полесным трущобам. В эту ночную пору все было здесь загадочно: и шалаши, сделанные на скорую руку из еловых ветвей, и обитатели их, собравшиеся в одну кучу.

Это раскинулись табором кашеедовцы, решившиеся на последний шаг — поднять восстание против насилия.

Обсуждался важный вопрос, решить который нужно было немедленно. Среди толпы сидевших и полулежавших людей, возвышаясь над всеми, стоял Потап Кротов, или, как теперь его прозвали, Отпетый. Он был вооружен револьвером и ручной бомбой.

— Посты усилили? — спрашивал он, поворачивая голову во все стороны.

— Все сделано, товарищ Отпетый! — отвечали ему из толпы.

— Инструкции часовым дали?

— Так точно!

Над кострами, поднимая пар, кипели котелки, ведра и чайники. В них готовился ужин. К запаху дыма и смолы примешивался, возбуждая аппетит, сладкий аромат похлебки.

— Враги наши — в Журавлихе, — продолжал Отпетый, стараясь быть как можно спокойнее. — Всего тринадцать верст от нас. Завтра собираются окружить нас и перебить, как собак. Но это им не удастся! Мы первые свернем им головы! Я предлагаю, товарищи, поужинать и немедленно двинуться на Журавлиху. Мы застанем их врасплох! Не так ли?

— Верно, правильно! — раздались голоса.

— Только справимся ли с ними? — кто-то робко выразил сомнение.

— Беляков сто человек, — подхватил другой.

Голоса зашумели:

— У нас около четырехсот!

— У них винтовки!

— Наплевать! У нас зато пики есть! Пиками ночью сподручнее будет работать...

— У белых пулеметы...

— Это еще лучше — нам достанутся...

Старик Мирон, облапив свои колени, смотрел в темное небо, откуда маячили ему вершины деревьев, поглаживал рукой оставшуюся половину бороды, по временам вставляя:

— Сущая правда.

Ветер, спустившись вниз, шарахался по земле, набрасывался на костры, крутя пламя и дым, поднимая в темное небо рои золотистых искр.

Повстанцы продолжали шуметь. Из-за деревьев виднелись их возбужденные лица. Некоторые из них держали пики.

Отпетый смотрел на свой отряд молча, нахмурив брови, прислушиваясь к спорам других, решительный и суровый. Большинство было на его стороне. Это его возбуждало, придавая уверенность в победе.

— Тише! — громко крикнул он, подняв вверх правую руку.

Все сразу замолчали.

— Мы поднялись не за тем, чтобы праздно в лесу гулять. Революция — это вам не масленица с блинами. Тут нужно действовать смело. Или они нас, или мы их. Верно, у нас мало оружия — несколько винтовок, несколько бомб. Неважно! Через несколько часов вооружимся лучше. На нашей стороне темная ночь.

Стоявшие в стороне лошади, заржав, подняли между собой драку.

Молодой парень, вскочив, побежал к ним, и тут же послышался его сердитый окрик:

— Ну, вы, анафемы, развоевались!..

Теперь заговорил помощник Отпетого, усатый солдат, отличившийся своею храбростью на германском фронте, — Тарас Ершов.

Он развивал мысль о том, что если удастся им достать оружие, то их отряд разрастется в большую партизанскую армию.

По времени раздавался шум голосов.

— Довольно зря кричать! — снова поднял свой голос Отпетый. — Время для нас дорого! Раз вы меня выбрали начальником, то я приказываю повиноваться мне. А если нет — я бросаю вас и один пойду на врагов. Пусть меня второй раз зароют в могилу! Но что смогу, то я сделаю...

— Все до единого пойдем!..

— Умрем за свободу!..

— Раздавим живодеров!..

Партизаны кричали наперебой, вскакивали со своих мест, потрясали пиками, возбужденные, со сверкающими глазами.

Ветер предательски окутал их облаком дыма. Пламя костров, трепыхаясь, разрывало тьму. Глухой рокот проносился по тайге, то удаляясь, то приближаясь, рассыпаясь на множество непонятных звуков. Что-то хаотическое и зловещее было в этом.

Отпетый остановил всех и властно распорядился:

— Всем нет надобности ехать. Полторы сотни конных достаточно. А пока давайте скорей ужинать!

Все бросились к своим котлам.

...В селе Журавлихе, около двухклассного училища, большого одноэтажного здания с железной крышей, позванивая шпорами, тихо прохаживался часовой, вступивший на пост с двенадцати ночи. По временам он останавливался, всматривался в непроглядную тьму, прислушиваясь к разным звукам. Во всем селе не было ни одного огонька, а на небе, задернутом тучами, — ни одной звезды. Смутно намечались лишь ближайшие постройки, принимая уродливые формы, а дальше — все было залито мраком, черным, как деготь. На дворе, звякая удилами, всхрапывали лошади, били копытами о землю. Порывистый ветер, налетая, шумел тополями, жевал солому крыш. Где-то на другом конце села, заливаясь, лаяла собака.

Часовому все время чудилось, что к нему кто-то крадется. Несколько раз он сдергивал с плеча винтовку и быстро брал ее на-изготовку, ожидая нападения, но вокруг никого не оказывалось. Из груди его вырывался облегченный вздох, и снова вдоль фасада школы, от одного угла до другого, мерно раздавались его шаги. В каждом предмете ему мерещилось что-то коварное и враждебное. И даже большой серый камень, лежавший около крыльца, когда часовой устремлял на него долгий взгляд, будто оживал, шевелился, становился похожим на присевшего человека.

— Тьфу, чертовщина! — тихо ворчал солдат, протирая глаза.

Последние два месяца прошли для него в каком-то кошмаре. Постоянно приходилось раз'езжать с карательными отрядами, не зная покоя ни днем, ни ночью. Народные бунты все разрастались, несмотря на то, что их подавляли самым жестоким образом: крестьян пороли, вешали, рубили шашками, сжигали их деревни и села, забирали имущество. И когда всему этому конец?..

Мимо часового пробежала собака. Он вздрогнул, инстинктивно срывая с плеча винтовку.

— Чтоб тебя разорвало! — прошипел часовой, чувствуя, как его с ног до головы обдало холодом.

В памяти с отчетливой ясностью всплыл вчерашний случай. По распоряжению вахмистра, он должен был отрубить голову одному крестьянину, партизанскому разведчику. Шашка была тупая, рука работала неуверенно, делая ошибочные удары, и перед ним, падая и поднимаясь, долго билось окровавленное человеческое тело, а кругом, потешаясь, громко смеялись солдаты:

— Не воин, а баба деревенская...

— Ему бы только чугуны ухватами из печки таскать...

В особенности он не мог забыть того момента, когда перед мужиком впервые сверкнула шашка: приговоренный, втянув воздух в себя, издал такой звук, точно икнул, и в ужасе замер, невероятно расширив зрачки черных глаз.

«Дьявольская наша служба» — подумал часовой, ускоряя шаги. Всматривался в мрак, но ничего не видел, кроме безумного взгляда изрубленного им мужика. Часовой зашагал быстрее. И вдруг между углом школы и большой бочкой с водою, словно поднявшись из земли, выросли перед ним две человеческие фигуры.

— Тссс... — раздалось над его ухом, а перед глазами жутко наметился револьвер.

Он онемел от ужаса, задохнулся, роняя винтовку, и уже ничего больше не видел, ничего не слышал, покорно уходя за теми, чьи руки крепко держали его за локти. Его вели Отпетый и Демьян Блажной, — тот самый, который приезжал к Мирону в Кашеедово. Часовой опомнился только за огородами и увидел себя в кольце окруживших его людей, вооруженных пиками. Несколько человек обыскали его, одну бомбу сняли с пояса, а другую вынули из кармана.

— Простите, братцы... — начал было умолять часовой, но его перебил Отпетый:

— Подожди об этом! Ты должен показать нам всю правду о своем отряде. Если соврешь, то суд будет короток с тобою: дальше этого места никуда не уйдешь...

И строго начал допрашивать:

— Где помещается отряд?

— В школе, — глухо отвечал часовой.

— Сколько всего вас?

— Сто десять человек.

— Офицеров?
— Двое.
— Где помещаются лошади?
— У попа на дворе и в школьном дворе.
— А там есть солдаты?
— Пять человек.
— Где хранится пулемет?
— В сенях школы.
Отпетый немного задумался.
— Товарищ начальник, простите... Я хотел бежать к вам...
— Об этом поговорим после! А теперь скажи — вы ждали нас?
— Нет.
— Зачем приехал сюда отряд?
— Ловить красных, что спрятались в лесу.
— Кто вас должен был проводить туда?
— Не знаю. Какой-то крестьянин из этого села.
— Днем ты его можешь признать?
— Могу.
— Хорошо!
Часового связали и отвели в сторону.
Отпетый, обращаясь к своим товарищам, отдавал распоряжения:
— Десять человек должны справиться с теми, что спят у попа. Петров, возьми это дело под свое руководство. Несколько человек возьмите по охапке соломы и кучками разложите ее вокруг школы, только подальше от стен, чтобы пожара не наделать... Зажечь солому нужно сразу и все время поддерживать огонь. А то в темноте белые могут разбежаться. С трещотками должны стать в стороне, чтобы их совсем не было видно.

Через несколько минут, вытянувшись в длинную вереницу, осторожно шагая, партизаны тронулись в село. Держа пики наготове, они шли тихо, как привидения, в суровом безмолвии, об'ятые жутким мраком, а приблизившись к школе, рассыпались, образовав вокруг нее живую цепь, причем половина из них подошла вплотную к стенам здания.

Отпетый и еще один из партизан, отойдя друг от друга на несколько шагов, остановились под окнами, держа наготове бомбы.

Было тихо, село казалось обезлюдевшим, и только ветер, путаясь в листве, шумел тополями, да где-то близко, должно быть на крыше крыльца, замяукала кошка. Но лишь вспыхнули кучки соломы, как со звоном посыпались осколки разбитого стекла.

— Что такое? Кто там? — послышалось из школы.

Вслед за этим внутри помещения, сверкнув огнем, раздались два страшных взрыва. Повстанцев обдало брызгами стекла, горячим потоком метнувшегося воздуха. Вздрогнула земля, ухнула вся окрестность, грохочущим эхом отозвалась ночь. И масса голосов, потрясая сырой мрак, смешалась в неистовый рев, перебиваемый выстрелами ружей и тарахтеньем деревянной трещотки. В газах взорвавшихся бомб и в дыму возникающего пожара, обезумев от ужаса, люди шарахались из одной комнаты в другую, опрокидывая столы и парты, давя друг друга. В эти метавшиеся фигуры, с близкого расстояния, уже без всякого промаха, стреляли партизаны, возбужденные и озлобленные.

Выделялись голоса:
— Бросай оружие!..
— Все равно перебьем всех!..
Солдаты, считая себя побежденными, выскакивали из дверей, выпрыгивали из окон, и, поднимая вверх руки, умоляюще просили:
— Сдаемся, товарищи...
— Мы за вас...
Партизаны обезоруживали их и отводили в сторону, оцепляя со всех сторон.

Проснулось село, охваченное тревогой, и понеслись от одного дома к другому, точно перекликаясь между собою, испуганные крики:
— Пожар! Пожар!
— Наших режут!..

— Скотину выгоняй!..

Скрипели ворота, хлопали двери, гремели ведра, топали, бегая по улице, сотни ног, визжали бабы, плакали дети.

Некоторые из жителей Журавлихи, более решительные, вооружившись топорами, железными вилами, дрекольями, бежали на помощь повстанцам. Но здесь и без них дело приближалось к концу. Обезоруживали последних солдат.

В окне, свесив ноги наружу, уселся офицер и, поддерживая рукою распоротый живот, сердито приказывал партизанам:

— Помогите спуститься!..

Это был капитан Прибылев.

Чья-то острая пика, вонзившись в грудь, опрокинула его внутрь школы.

Л. Н. Сейфуллина

Линюхина Степанида

I

Свекор к земле приверженным был. Из России в Сибирь за ней притащился. Но и в Сибири земля далась и наградила только тех, кто с запасом прибыл. А Линюхины, оттого Линюхиными и стали по прозвищу, что прадед еще сковырнулся и от нужды слинял.

Такой предел и правнукам положил: линяй еще, мотай жилы.

Приверженным к земле старик был, но пришлось мужа Степанидина в город на заработки отпустить, а младшего — на чужую землю в батраки. Долго кряхтел, когда старший уехал. Потом зорко из-под насупленных серых торчков-бровей на Степаниду глянул и спросил:

— С нами будешь? Али в город к мужику? Аль еще куды?

Степанида твердые губы разжала, редкой на ее лице усмешкой рот повела:

— Четверо, небось, вашинского приплоду-то у меня. Куды от вас? Одна семья. А Федор вернется.

Старик яснее взглянул. Ко двору Степанида: ворочает работу за мужика, молчалива, строга и ребят здоровых носит.

— Ну, живи, коль так.

А Федор старику такую загвоздку всадил, что, по его, стариковскому рассуждению, больней всех бед была. Письмо прислал, когда царя сменили и появились всякие «социалы», меньшевики да большевики.

Писал:

> «И еще сообщаю вам, что самая для бедного народу правильная партия рабочего классу большевики, я в нее по добровольному своему мнению записался и состою теперь как большевик. Супруге моей, Степаниде Никитишне, как грамоте обучена, приказанье мое с сим случаем сообщаю — программу большевистскую вам прочитать для осведомления, каковую в этом письме посылаю».

Степанида в школе обучалась. Могла в книге всякое слово сперва шопотком разобрать, потом правильно вслух прочитать. Но программу из'яснить отказалась.

— Трудно.

Раз'яснили другие. Священник узнал, в церкви старика Линюхина отчитывал:

— Немцам Россию такие вот, как твой сын, продали. Разумных российских правителей ниспровергли, государственную казну между собой делят. Неразумных чем прельщают: все общее; имущество, земля, жены общие. Разоренье и блуд...

Путались ноги у старика, когда из церкви шел. Солдаты другое говорили, попа бить обещали, но от этого не легче старику Линюхину. Тело в старом порядке износил, и новые мысли в ум не принять.

Вся семья в смущенье пришла. Деньги, Федором присланные, не радовали. Староста церковный по доверенности получил, с почты привез. Передавал, с'ехидничал:

— Легкие. Не скажу — украл, а недалеко от этого. Небось, из казны отобранной. Барами теперь распузатитесь.

Степанида крепкая, и та на дворе втихомолку поплакала. С красными глазами в избу вернулась. Поглядел на нее старик, откашлялся и сказал сурово:

— Завтра к мужику тебя повезу.

Степанида только крепче губы сжала, а свекровь заплакала.

— Каки мы с тобой для малых детей кормители? Одна она ворочает. Энта-то кукушка своих подбросила...

Старик угрюмо отозвался:

— Хлебу запас есть. Доедим и тот, какой для посеву; опять же я обувку починяю... Заработаю. К мужику пущай с'ездит.

Степанида тихо успокоила:

— Ладно.

А меж бровей морщинка крепко залегла.

Как спать ложились, старик неожиданно сказал:

— Може, образумишь. Ты баба твердая и приманчивая. Стары люди баяли: мужик силком, баба тишком, а, бывать, крепче покоряет.

Степанида промолчала. Но ворочалась долго на полатях. Ребятишки рядом сладко спали. Старики на печке затихли. А она думами маялась. Чем смутили в городе Федора? Горячий был, а умом сторожкий. Не скоро со своей думы его собьешь. А там вот люддался на чужое. Чему поверил? Искала слов вразумительных, чтобы разговорить. Бывало, и слушал ее Федор. Под пару друг другу подошли, согласно жили.

Еще чуть мутнело, будто жидким молоком подернулось ночное небо, как поднялся старик и пошел лошадь запрягать. Не хотела плакать Степанида, а скропила слезой сонных детей. Не осилила тоски и тревоги. Старуха громко причитала. Дребезжащий старческий голос ее и за околицей все еще в ушах степанидиных будто стоял. Всю дорогу до города старик только с лошадью разговаривал. Степанида молчала, и он с ней не заговаривал.

II

Думала мужика сговаривать домой податься, а вот уже скоро год, как к мужу Степанида приехала, а об от'езде еще и помину нет.

Жили на копях, работали те же деревенские мужики. Только одни давно, с десяток и больше лет, как деревню оставили, другие поменьше, как с ней расстались. Из городов рабочих совсем мало, все больше природные, деревенские. Даже люди есть из той самой деревни, откуда Федор со Степанидой. Свои, старые знакомцы. А совсем у них повадка другая. Мужик часто на небо поглядывает. То дождя у бога просит, то богу жалуется, кряхтит, что облака шибко не ко времени скопились. Все с небом и по небу живет. За урожай его благодарит, за недород на него же вздыхает. А здесь народ такой, что неделями на небо-то не взглядывает. Все в землю. Под землей больше и живут, буравят ее, прокапывают, спрятанные богатства достают. И здесь у земли другой закон. Она всегда немилостива и жестока. Никто матушкой здесь ее не называет. И закон у нее прямой: не плошай. Небо может солнцем сиять и дождить, а внизу все сырой мрак, твердые стены, едкая черная угольная пыль и тяжелый дух, от которого быстро хилеет грудь. Засветит ли солнце, належет ли хмарь, человеку ни то, ни другое в подземном его труде не в подмогу. В узких подземных коридорах каждый сам за себя отвечает, сам себя оберегает. От самого малого недосмотра зависит жизнь человека. Не досмотрел, — может произойти взрыв, засыплет землей... Зазевался — и получил раненье. Недосмотрели наверху за машиной, которая отсасывает из шахты дурной воздух, — растелется душный, смертоносный газ, и... конец жизни. Оттого люди здесь научились пристально в землю смотреть, к каждой мелочи приглядываться. Уши, глаза, руки, тело всегда начеку. На небо, на бога зазеваешься — и пропал. От этой жизни здесь и речь иная и все понимание другое. Говорят покороче, посумрачней. За неудачи винят себя, за удачу себе же благодарствуют. Про бога мало кто вспоминает. Бабы на зык дерзкие и ухваткой смелые.

В деревне теперь бабье лето. Солнышко нежаркое, но неторопливо ласковое. Как женщина в старости, мудрая многодетная мать. Обо всех привыкла заботиться без суеты, но лаской никого не обделяет. В чистом светлом воздухе тонкие паутинки протянуты, и легко тем воздухом дышится. А здесь все с угольной пылью возня. Все в горле и в носу першит.

Степанида тоже работать стала, угли сортировать. Продохнуть со сладостью и не удается. Едкая угольная пыль раз'едает глаза. Не очень захочешь на солнце смотреть, и неяркий свет люди с болью принимают. Сначала тосковала по ночам, долго

вздыхала и ворочалась. А потом стала засыпать сразу. Непривычная работа утомляла сильней, чем деревенская страда. Сначала Федор в казарме для холостых жил. Как Степанида приехала, в отдельную землянку перебрались. С работы приходила — надо было и поесть сготовить и землянку прибрать. От угля, сваленного под кроватью, и в землянке все та же черная пыль, что и на работе. Сразу, как только на кони приехала, начала было Степанида мужа уговаривать:

— Поедем домой. Как ни то прокормимся около земли природным своим трудом. Подспорье из своего заработка даешь, а лучше без него обойтись...

Но и высказать всех мыслей своих не успела, как Федор резко оборвал:

— Ты зря не старайся. В деревню сейчас не поеду. Нельзя. Здесь дела много, и дело нужное. Кости поломали, шахты отстаивали, теперь не бросим. Под хозяином спину гнули, на него работали. Теперь на себя. Поживи здесь, — шире мозгой раскидывать научишься. Вот, утвердится все, как мы располагаем, тогда поговорим.

В праздники Федор все на собраниях, и Степаниду с собой повел. В первый раз она тихонько из клуба скоро ушла. Непривычная обстановка. На сцене, под большим красным флагом, за столом вместе сидели рабочие, техники и господа инженеры. Управляющий копями в город перебрался. Но господа еще остались. Под контролем неохотно работали. На собраньи рабочие с ними спорили. И даже женщины речи говорили. Степаниде показалось, что она своей робостью всем приметна, она застыдилась и ушла. Но потом привыкла, часто ходить стала.

Только недолгим оказалось спокойное житье. Рабочие все время настороже держались. Была у них и своя красная гвардия. Федор в ней состоял. Но все же опасности большой не чуяли. А вот в самом начале этого бабьего лета беда стряслась. Загудел тревогу гудок... Степанида с работы не на сборище сразу пошла, а домой забежала.

И не успела повернуться, как в двери Федор сразу залпом сказал:

— В городе белые. Скоро сюда. Там плохо бьются. Брасплох застали. Я сейчас с отрядом. А коли что, домой не жди... После как-нибудь весточку передам.

И стал поспешно обуваться. Степанида обомлела. Дрогнувшим голосом спросила:

— А я как же?.. В деревню домой надо.

Федор строго сапогом пристукнул.

— И думать не моги. Там дети со стариками, не одни, проживут. А тут верного человека оставить надо. Другого искать некогда. Я на тебя понадеялся, так и товарищам об'явил. Чать, не подведешь? Аль теперь откажешься? А?

Подошел к Степаниде, рукой за плечо придержал и неловко в глаза заглянул. Степанида глаза потупила и сжала губы, ничего не сказала. А Федор медленно, будто с трудом подбирая слова, произнес:

— Мы с тобой ладно жили... Другие тоже, бывает, жалеют друг друга. Ну, а мы... Не только что спали вместе да детей рожали, а все вместе. Как приехала ты из деревни, думал, может, и не сладимся. А потом... Я ведь все тебе рассказывал. Ты моим мыслям не препятствовала. И сама вровень со мною старалась. Я и понадеялся. Дак как? У тебя-то другие мысли, что ль? Не молчи, Степанида, некогда мне... Охота с хорошим сердцем проститься. Я не рассержусь, если не по-моему рассудишь. Все одно, поезжай домой. Неволить не стану. Все одно к тебе приеду. А только... надеялся я было на тебя...

Степанида усмехнулась.

— Чего ты улещиваешь? По другому думала бы, так давно уехала. И теперь не застращал бы, кабы и совсем от меня отказаться пригрозил. Мы с тобой не новожены, не молодые, что шибко в ласковых словах рассыпаться. Езжай. Я тут подожду, если так лучше. Я, было, думала, что ты сам домой меня отправишь.

Федор еще раз заглянул ей в глаза, усмехнулся, крепко тряхнул за плечи и прижал к себе. Поговорили они недолго. Федор ей наказ дал, какие ответы давать, если за мужа теребить белые начнут.

— Ну, а потом слух дам, известье о себе. И как дальше тебе самой устраиваться. Прощай покудова... — Крепко, быстро поцеловал, вздохнул, старую солдатскую шапчонку в руках помял и вышел.

Степанида не заплакала, только в лице изменилась. Побелела вся, даже губы белые стали. Пошла было за ним, да сердце в груди затрепыхалось до того, что в глазах черные круги пошли. Она передохнула с трудом и, как стояла у порога, так и села на него.

III

На другой день землянки рабочих опустели. Многие целыми семействами, с женами и детьми, поднялись, успели до появления на копях белых властей скрыться. Остались только недавно из деревень на работу прибывшие. Они прожили только кто год, кто два на копях. И все еще тянулись к своим. Боялись решительно на чью-нибудь сторону стать. Гунявый рыженький мужичонка при встрече со Степанидой так ей об'яснил:

— Куда пойдешь? Все одно, и при белых та же работа будет. А мы пришли на работу, так при ней и останемся. Нам все одно, кто ни поп, тот и батька.

Степанида только спросила осторожно:

— Своих-то нет у тебя? Все одно для своего брата стараться, аль опять на хозяина? Вернулся, слыхать, хозяин копей.

Мужичонка раздумчиво головой покачал:

— Все одно, и у белых и у красных начальство-то есть. А я их и не разбираю. Мы — народ темный.

Степанида качнула головой и поскорей от него отошла. Она-то уже знала своих. Год работы на копях научил ее думать, упорно доискиваться причины, — отчего богатым жизнь утеха, а беднякам, на них работающим, от той утехи только малые, неверные крупицы достаются. Год был трудный. Сначала на радостях работа плохо шла. Потом за работу принялись, все недочеты на плечи рабочих легли. Но так же, как Федор, она знала, в каком лагере их место и где они хорошего добьются. Но с мужичонкой спорить не стала. Помнила наказ Федора: осторожно держаться, зря на подозренье не вылезать.

Под вечер конский топот, шум голосов и стук нарядных экипажей взбудоражили всех, оставшихся на копях. Степанида из землянки не вышла. Поплотней припёрла дверь и легла ничком на кровать. Она думала о детях, о муже, обо всех, кто ушел с ним. И вдруг острая тоска клещами сдавила ей сердце. Тихонько и горько она до утра в подушку проплакала. В дверь кто-то раза три стучался. Но она не встала и огня не зажгла. Верно, кто-нибудь из знакомых баб с вестями забегал. Постучали не очень настойчиво и ушли.

Белые водворились. Прежний управляющий из города снова на копи перебрался. Начался суд и расправа. Каждый день двое конных гоняли кучками трусливых согнувшихся мужчин в город на допрос. Гунявый рыженький мужичонка нечаянно в передрягу попал. Сказал по своей привычке подлипале господскому, рыжеусому штейгеру, свое любимое:

— Нам все одно, кто ни поп, тот и батька.

Его отстегали нагайкой в назидание на глазах у толпы. Степанида пожалела его. Густо-красный от обиды и боли, он тяжело дышал, натягивая штаны. В толпу проходил, низко опустив взъерошенную голову. Степанида его тихонько рукой за плечо приостановила. Шепнула:

— А ты не стыдися. Над всеми измываются, никто не осудит. Мы все свои, все под одной бедой.

Он сердито отодвинул ее локтем, но продохнул легче.

На другой день самое Степаниду забрали на допрос.

В маленькой комнатке, при конторе копей, развалясь на стуле, сидел сухощавый, бритый нерусский чернявый человек. После сказали Степаниде, что ее серб допрашивал. Он сдвинул на затылок вышитую небольшую шапочку. Подробно оглядел Степаниду. Строгое, невеселое лицо ее ему не понравилось, и он сразу рассердился.

— Большьевишка? Гавры правда!

Степанида подняла на него спокойные синие глаза.

— Не пойму, господин, про чего спрашиваете. Я тут недавно. Из деревни приехала.

Серб выбранился нехорошей русской бранью, довольно чисто выговаривая ее, и стал выпытывать:

— Где муж? Гавры весь правда!

Он не бил, но допросами на малопонятном языке, неожиданностью этих вопросов и дико-зычными окриками хуже побоев измаял.

Ночевала в новой арестантской, в холодной кладовушке при конторе, с двумя

бабами. Всю ночь они шопотком проговорили. Оттого и нестрашным Степаниде показалось это первое ее заточение.

На утро Степаниду выпустили. Сразу пришлось думать, как прожить, чем прокормиться. Опять стать на работу по сортировке угля она не хотела. Свои ушли. С чужими, с теми, кто покорился и, не жалея своей жизни, старался для владельца поправлять шахты, наладить большую добычу угля, с этими она не могла вместе работать.

Выручил случай. Знакомая женщина, Марья Потапова, порекомендовала ее жене управляющего. Нахвалила как хорошую прачку. Попросила разрешения себе на помощь на стирку пригласить. Господское белье Степанида никогда не стирала. Одна и не решилась бы взяться. Боязливо, чуть придерживая пальцами, растянула перед собой тонкую, всю в кружевах, женскую рубашку и покачала головой.

— Чего же тут стирать? Чистехонькое, только что попримято. У нас личная утирка эдакая белая и снова не бывает. А тут исподняя рубаха. Э-эх! Живут, вот это живут! Да как к ей притронуться? Разорвешь еще.

Марья, главная стиральщица, весело засмеялась.

— А ее и стирать-то чуть-чуть. Знамо, если начнешь тереть, как свою, так и помину не останется. Дай-ка покажу.

На этой стирке нежданно Степанида милостивое барынино внимание к себе привлекла. Скучала Валерия Львовна на копях. Большевиков прогнали, а веселая жизнь все как-то не налаживается. Муж занят. Говорит, что рабочих надо подтянуть, дело направить, а тогда можно будет и в город почаще ездить, и самим у себя приемы гостей устраивать. Одну в город надолго не пускает. Только днем за покупками, и то, как малолетка, с горничной. Очень ревнив. Валерия Львовна молода и легкомысленна. А он стар и тяжеловат на под'ем. Принялась было Валерия Львовна за устройство любительских спектаклей, но жены инженеров с женами техников не поладили. На одной из репетиций ссора большая произошла. Дело разладилось. Хотела в народном доме танцовальные вечера для рабочих устраивать, муж запротестовал:

— Помилуй, матушка. Это тебе не заграница. Наши разойдутся — не возрадуешься. Особенно теперь: понюхали свободы, большевики их распустили. Необходимо твердое, жесткое с ними обращенье. Надо внушить, что после революции, как никогда, необходимы законность и порядок. Нет, уж ты с этим повремени.

Совсем нечего делать Валерии Львовне. Встанет с постели в первом часу дня, попримеряет перед зеркалом часа два платья разные, и опять не знает, куда руки свои девать. На рояле побренчит, романсы попоет, и опять дела нет. Книжки раскрытые и коробки конфет во всех комнатах на диванах валяются, но ни в голову, ни в рот ничего уж не лезет от сытости. Стала она от скуки и по двору бродить. В прачечную зашла. Марья Потапова, щуря ласково глаза, бурной льстивой радостью ее встретила. Посмешила рассказом каким-то, веселой побасенкой. Понравился барыне прачкин хитрый говорок. Она и в кухню, когда прачки обедали, пришла. Тут к Степаниде пригляделась.

— У вас удивительное лицо. Совсем не простонародное. Знаете, вы очень красивая. У вас профиль чудесный: прямая линия лба и носа. И фигура. Я таких крестьянок еще не видала. Они всегда с животом, а вы такая стройная, узенькая. Совсем не крестьянский облик. Право, удивительно.

Степанида от досады пунцовела, но промолчала. Только губы построже ежила. А барыня все пристает:

— Вы замужняя? Ах, четверо детей? Да что вы! Это ужасно!

И всем строгим обликом, сдержанностью ответов своих, неспешностью движений неожиданно ей Степанида понравилась. В это время как раз привезенная из дальнего города востроглазая с завитым чубиком горничная Валерии Львовны проворовалась. Уличили ее. Барыня решила вместо нее Степаниду к себе в услуженье взять. Об'яснила мужу:

— Ничего, пусть неумелая, я ее выучу. Мне все равно скучно, делать нечего. Я с ней займусь. Зато она — честная, по лицу видно. И, повидимому, очень скромная. Так мало говорит, не назойливая. А она, знаешь, удивительно в стиле наших комнат: они у нас высокие, строговатые, и вся обстановка тоже строгая. Она и к обстановке подходит, я ее возьму.

Управляющий посмотрел в бездумные синие глаза своей молодой жены и весело рассмеялся.

— Возьми. Чем бы дитя ни тешилось...

Степанида не сразу согласилась. Противна ей была чудная, взбалмошная, ребячливая барыня. Но в это время доставили ей слух от мужа. Он наказывал, чтобы никуда с копей не выезжала, а пристроилась бы как-нибудь безопасней, чтобы поменьше за ней приглядывали. Тогда дело одно можно будет через нее наладить. Степаниду грызла тоска по детям. Ночами, при мысли о них, сна лишалась. Иной раз привидятся во сне, — сразу, как от толчка в сердце, просыпается. Но домой и свекровь теперь приезжать не советовала. Приедет с копей, разговоры начнутся: как да что, да где Федор? Старика, пожалуй, на допросы потянут. К ним в деревню тоже каратели наезжают. Всяким слухом пользуются, подозрительных людей ищут. Да и своих односельчан-недоброжелателей много. Лучше тишком переждать. Все благополучно. За денежной подмогой старик со старшим парнишкой сами как-нибудь выберутся, к ней приедут. Вот этого дня она и стала, как праздника, ждать. В господском доме место самое безопасное. Известья нужные в квартире управляющего тоже легче узнать. И Степанида согласилась. Работа нетяжелая, хоть и доставалось за день ногам. Все по мелочам туда-сюда приходилось тыкаться. То и дело:

— Стеша, дайте носовой платок! Сте-еша! переставьте вот так столик! Стеша! Где же моя сумочка?

Барыня — как человек, лишенный рук и ног. Сама ничего не возьмет и не найдет. Комнаты мелочишкой нарядной все позаставлены. И за ними ежедневный кропотливый требуется уход. Но не камни ворочать. Досадно силу убивать на такую работу, да все же привыкнуть можно. И пища хорошая, и одежду справили... Но с каждым днем на сердце коростой нарастали тоска и злоба. Вот живут! Ни над чем не трудятся, всего наглотались, не знают, что и придумать, чтоб в глотку с охотой шло. Это управляющий так живет. А как же сам владелец? И добывают все для такой жизни им рабочие. Для них даже о пригодном жилье не позаботились. Казарма у холостых холодная, без потолка, — прямо два ската крыши вверху. У семейных хлипкие, тесные землянушки. Окна забиты железом и тряпьем. Нет ни сарайчика, ни кладовушки. Уголь для топки тут же под кроватями. У Валерии Львовны на ночь одно белье, на день другое. И через день сменное. Да еще недавно отшвырнула полотняную ночную рубашку.

— Не могу. Это мама зачем-то полотняных мне насовала. Ужасные рубашки! Телу тяжело.

У Степаниды недобрый огонь загорелся в глазах. Телу тяжело! А бабы в землянках в холщевых, почти бессменных ходят. Эта во всяких душистых растворах купается каждое утро, а у тех в лохмотьях одежды на работе ноги видны, вот посмотрела бы. Копоть и грязь продубили кожу, теркой, чать, тереть надо, чтоб отмякла. Э-эх! А говорят, что перемена все-таки произошла. Царя убрали, бедному народу освобожденье. С каждым днем росла злоба в сердце у Степаниды. В деревне господской жизни она не видала. Обиду положенья своего так остро не чувствовала. А здесь постоянно в глаза лезла разница жизни господ и рабочих. И рабочие, поди-ка, из той же из плоти и крови. Только они работают, а эти готовое кушают. И не подавятся, ироды!

Однажды несчастье случилось. Испортилась воздуходувная труба. Быстро наполнил Надеждинскую шахту ядовитый газ. Когда вынесли задохшихся рабочих, Степанида прощаться с ними ходила. И будто отсвет от темной синевы мертвых их лиц и на ее лицо пал. Вернулась иссиня бледная. Барыня ее увидела, даже испугалась.

— Вы не заболели? Сходите сейчас же к фельдшеру. Я больных боюсь. И вообще, Стеша, скажу вам откровенно, мне уже надоедать начинает ваш постоянный невеселый вид. Вначале мне казалось, что вы просто тихая, а вы — угрюмая. Это мне неприятно. Я радость люблю. Встряхнитесь, пожалуйста.

Встряхнуть бы тебя хорошенько, пиголица! Плачет, когда в обед блюдо какое не понравится или платье портниха испортит, а горя, настоящего человечьего горя, не видит и видеть не хочет. Этаких придушить, так ни грех, ни жалость не замают. Сильно затосковала Степанида, но подобрала себя крепко. Перед барыней смолчала. Воли сердцу не дала. В это время как раз своим подмогу давала. Через нее передали паспорта для скрывавшихся товарищей. С барыней в город ездила, ухитрялась на тайных квартирах бывать, наказы от большевиков получать. Через

нее и связь наладилась. А крепиться ей все трудней становилось. Взгляд острей стал. Всякая обида в глаза, ни одна незаметной не пройдет. Барыня временами со скуки болтливой становилась.

На землю легла уже зима. Коротки дни, а ночи так долги, что без устали дневной за год кажутся. Сна нет, и заняться нечем. Управляющий часто на заседаньях и в конторе задерживается. Вот и стала развлекать себя Валерия Львовна разговорами со Степанидой. Та сама не словоохотлива, а слушает как будто внимательно, терпеливо. Как только вспыхивали яркие большие электрические лампы в нарядном пустом доме, Валерия Львовна приказывала в мужнином кабинете камин затопить. Садилась с ногами в кресло перед камином и звала Степаниду.

— Садитесь, посидите со мной. Да бросьте ваше вязанье, как вам не надоест!

Но Степанида, сложа руки, сидеть не умела, добилась разрешенья чулки вязать во время этих вечерних бесед. Гости у Валерии Львовны бывали редко. Местные дамы ей не нравились. Оттого вечерами часто маяла она Степаниду своим пустым, бездельным рассказыванием.

И в этот вьюжливый вечер, как всегда, ее в кабинет мужнин позвала. Вдруг разоткровенничалась:

— Вы знаете, я беременна. Хотела аборт сделать, муж умоляет ребенка сохранить. Я и не знаю, что мне делать. У вас это как-то просто выходит. Каждый год дети. Вот у вас — четверо. Ужас! Я родовых мук боюсь. Ведь я хрупкая. А потом — заботы с детьми. Мы еще не так богаты, чтобы детей спокойно иметь. Ну, на одного, может быть, и хватит, а? Все-таки занятно — ребенок. Я хочу, чтобы девочка. Ее лучше, интересней одевать. А в общем беспокоюсь. Возня, расходы... Но одна девочка, пожалуй, ничего. Когда она будет ходить, я ей сделаю, знаете, вот какое платьице...

Степанида вспомнила своих четверых. Есть ли сменные рубашонки-то у них? Вдосталь ли хлеба? Э-эх, растравила боль сорока! Им и дети, свое рожденье, только забава. Ни тяготы, ни скорбей!

Отводя в сторону ненавидящий взгляд, Степанида тихо сказала:

— Дозвольте, барыня, мне уйти сейчас. Неможется что-то...

И решительно встала. Валерия Львовна, скрыв недовольную гримасу, хотела ответить ей, но в кабинет шумно и торопливо вошел управляющий. Он кинул быстрый взгляд на Степаниду и приказал:

— Идите в кухню. Валерия, я должен тебе сказать...

Приостановился, метнулся к двери и плотно ее притворил за Степанидой. В кухне Степанида узнала, что к ней зачем-то Прошка, сын кузнеца, забегал. Обычно она сама к единомышленникам своим заходила. В дом управляющего они не бегали, чтоб недовольство и подозренье не возбудить. Видно, что-то случилось. Вспомнила Степанида и про барина. Как встрепанный, в кабинет влетел. Что-то случилось. Она незаметно, даже не набросив шубы, из дома выбралась.

IV.

Это была первая тревога. Известия о партизанских большевистских отрядах управляющего обеспокоили. Но зима прошла, и лето к концу, — свои не приходили. Управляющий успокоился. Валерия Львовна к матери уезжала. Оттуда с дочерью, нарядным свертком в кружевах, и маленькой толстенькой старушкой-няней вернулась. Степанида сильно похудела. Она ждала. Она знала, что свои надвигаются. Все кругом успокоились. Но тайные вести были утешительны. Только ждать становилось с каждым днем трудней. Вдруг, в теплый июльский день, управляющий из города на взмыленной тройке прискакал. И не домой, а сразу в контору. Степанида в окно видела, насторожилась. Через час был об'явлен приказ рабочим приготовиться к эвакуации. Шахты опустели, ожила кривая улица рабочей слободки. Степаниду тянуло туда. Сердце горячо и до звона в ушах часто стукало в груди, руки тряслись. Но уйти она не могла. Барин домой прибежал весь красный, взволнованный. И в первый раз Степанида, кошкой подкравшись, подслушала их тайный разговор в угловой комнате.

— Собирайся, немедленно надо уезжать.

— Подожди! Я же так быстро не могу. Как же бебе? Няня вчера занемогла. Я испугалась, в город ее отправила... Как же?

— Эх, что как же? Ночью мы должны выехать. И ночью выеду я, мне нельзя

сейчас. А ты с ребенком немедленно, через час, через два... Слышишь? Возьми с собой Степаниду. Ты рассказывала, что она ненавидит большевиков.

— Ну да. Ее муж бросил, с ними ушел. А она добровольно осталась. Да, на нее положиться можно.

— Ну, и собирайтесь живо. Быть может, и мне удастся следом за вами. Ну да, я это устрою. Нечего ночи дожидаться. Я выйду незаметно пешком, а там дальше устрою. Рабочих будут эвакуировать с утра. Придется им уплату выдать, а потом...

И быстро к двери пошел. Степанида едва успела отбежать от нее, юркнув в другую комнату. В конторе в это время шла перепалка. Пожелавших эвакуироваться рабочих не оказалось. Степаниде из дома вырваться никак не удалось. Барыня вцепилась в нее и следом за ней ходила, ни на шаг не отпуская. А бросить все и открыто уйти она не хотела. У ней были свои соображения. Необходимо управляющего задержать. Он может увезти все деньги. Она знала, что рабочие сами за ним следят. Но по слободке, верховые и пешие, уже метались солдаты. Белая охрана. Ей здесь легче за управляющим следить. И она пообещала Валерии Львовне, что поедет с ней. Терпеливо выносила беспомощное ее хныканье.

Барин вернулся не один. Два солдата с винтовками пришли с ним и расположились в кухне. Степанида за барином тихонько в комнаты пробралась. Увидела, что он к барыне вошел. Подумала с минуту и, крадучись, проскользнула в его кабинет. Там долго искала глазами, где бы спрятаться. Это было трудно. Но понадеялась, что барин в спешке и волнении не заметит. Чуть отодвинула, охнув от натуги, тяжелый диван с высокой спинкой, заползла за него и легла. Сердце забилось так, что ей показалось — по всей комнате слышно. Но замерла, всю себя крепко забрала в тихость, затаилась. Как она предполагала, так и вышло. Барин вошел в кабинет, запер дверь на ключ изнутри — и сразу к несгораемому шкафу. И в руках плотно запертый, туго набитый портфель. Жалованье рабочим не выдали. Значит, из конторской кассы деньги забрал. Не иначе. Вот в этом портфеле они. Быстро соображала. Барин вокруг даже не оглянулся. Сразу хитрым замком шкафа занялся, а портфель около себя на кресло положил. Степанида тихонько, совсем бесшумно, по ковру выползла из-за дивана и ползком к письменному столу. Барин не услышал, занят был, денежные пачки считал. Но в это время за дверью в коридоре громко закричала Валерия Львовна:

— Стеша! Стеша! Да куда же она подевалась?

Этот крик за дверью заставил барина вздрогнуть.

Он повернул голову. Степанида одним прыжком к нему. Он крикнул было:

— Эй, пом...

Но она кинула в него тяжелым пресспапье со стола, угодила в голову. Он пошатнулся и упал. Наклонившись к нему, увидела Степанида, что он жив, чуть слышно дыханье. Только обмер, оглушенный ударом. Надо было спешить. Тяжелый портфель и свертки с деньгами нести с собой невозможно. А где их спрятать? Где? Она прежде всего захлопнула шкаф, сунула за пазуху ключи. Потом беспомощно стала озираться по комнате. И вдруг решилась.

— Будь что будет. Не подумают, что на виду брошено. Похитрей искать будут.

Сунула портфель и сверток в камин, прикрыла их стоячими дровами, придвинула низенькую ширмочку. В коридоре уже слышались встревоженные голоса. Очевидно, ее искали. И вдруг дверь задрожала от ударов. Завопила за дверью Валерия Львовна.

— Борис Платонович! Открой, скорей открой! Слышишь? Борис Платонович!

Мужа звала. Степанида метнулась к окну. Оно выходило во двор. И никого вокруг как будто нет. Уже перекинувшись во двор, услышала Степанида, что дверь кабинета трещит. Очевидно, ее взламывали. Степанида поторопилась и свалилась с размаху на землю. Упала боком, правой рукой на камень. От боли потемнело в глазах, но все же превозмогла ее, поднялась, глянула в глубину двора. Никого. Добралась до каменной кладовушки. Заперта. По двору нельзя. Да и некогда. В квартире слышен шум. Затаилась на земле между кладовушкой и погребом в нешироком закоулке между двумя постройками. Но вдруг медленно ноги поехали по земле. Она упала. Лишилась сознанья от боли в руке.

V.

Деньги Степанида все-таки сберегла для своих. Красные пришли быстрей, чем их ждали. С тревожной вестью Валерия Львовна и стучала к мужу в кабинет.

Управляющий отдышался, но ни погоню за Степанидой устраивать, ни денег искать было некогда. Охрана из кухни немедленно исчезла при первом извещении о том, что красные близко. Надо было шкуру спасать. Радовались, что лошади напились. Быстро уехали. Ни в доме, ни во дворе не искали. Прислуга, захватив одежду и вещи, тоже скрылась из дома. К пустому несгораемому шкафу рабочие пока поставили охрану, и только Степанида, очнувшись, об'яснила, что он пуст. Пришла в себя она, в полный разум, уже в комнате, на господской постели. Кругом увидала своих. Сновали по комнатам жены рабочих. К ней подошла Марья Потапова. Во дворе гомонили красноармейцы.

Сбереженные деньги большую помощь копейским оказали. Поэтому Степанида приобрела огромное уваженье среди своих. И только это обстоятельство помогло ей пережить скорбные дни. Федор не вернулся. Его убили в последней схватке с белыми, близко от копей. Чуть-чуть не добрался. Степанида долго промаялась с раздробленной рукой. Она высохла и плетью болталась в рукаве. И первое свиданье вдовы с детьми было обильно слезами и причитаниями. Но жить надо. Поэтому Степаница сурово остановила свекровь, когда она на другой день причитать начала.

— Будет, мамонька. Слезами мертвых не поднять, убыли не пополнишь. С одной рукой, а проживу... И левой научусь, что ни то сработаю. Не в драке ее потеряла. Людям помогала, люди и не оставят. Дело для меня найдется. Какую ни то пользу еще принесу.

Дело для нее скоро нашлось. Приехала Марья Потапова. Заговорила живым говорком своим:

— Жива? Нагляделась на детушек? Ну, и слава богу. Давай-ка опять собирайся в дорогу. Детей после перевезем. Мы тебя делегаткой выбрали.

— Это как делегаткой?

— А вот на первом женском собраньи, единогласно!

— Как же заглазно? Разве можно?

— У, чего нельзя! Все как одна загалдели: тебя да тебя. Достанем, говорят. Она теперь нашинская, пусть здесь постарается. В деревне с одной-то рукой, все одно, какая ты работница?

Собрались и поехали. С жаром, с большой охотой Степанида за работу и за ученье принялась. Выбирали ее на многие собранья и на губернскую конференцию выбрали. Там назначили ее делегаткой в здравотдел.

Старуха со внучатами с ней в город охотилась.

А старик заупрямился:

— Где родился, тут и помру. Я на тебя не серчаю, ты, видать, не с дурью, а с делом. А все одно меня перемастрячивать уже поздно. Не люблю, когда бабы в общественное дело суются. Выращивай детей, на это я тебя благословляю. Ну, охоты нет на ваше новое глядеть. Здесь доживу.

И старуха осталась с ним вдвоем век доживать. Старик недолго проскрипел. Через три года старуха продиктовала учителю письмо к Степаниде о том, что родитель кончился, как быть с избой и коровой.

Не прошло месяца, как в теплый зимний день под'ехала к похилевшей линюхинской избе подвода. В ней сидела повязанная серым пуховым платком женщина и четверо ребятишек. Старуха к окошкам кинулась.

— Да никак это Степанида? Ой, батюшки, никак она.

Женщина уже в избу вошла и сказала, усмехаясь:

— Не ждали гостей, мамонька?

Скоро высокая строгобровая, с гладко зачесанными волосами, женщина стала на всех сельских собраньях появляться. И около ее избы часто сбирались стайками бабы.

— За справкой пришла.

— Муж послал. Дознайся, мол, у Степаниды. Эта на всяком деле разберется.

— Другие-то нашинские коммунисты только страсть задают, а эта ничего.

— Правильная женщина. От этой указка всегда в дело.

Еще через два года на перевыборах была избрана Степанида Линюхина председателем сельского совета. Старуха, узнав об этом, сказала со вздохом:

— Это уж чего-то совсем бабе не личит. И мужики, боюсь, шибко обижаться на тебя станут. Ловко ли — баба на селе голова.

Степанида усмехнулась.

— Ничего, маменька. Руку потеряла, головой научилась работать, не боюсь.

— А ты шибко-то не хвались.

Степанида тихо ответила:

— Я и не хвалюсь. Только стараюсь. Ты всю жизнь около своей избы простаралась, а мне пришло дело над всем селом. А доченька моя, может, и над губернией сумеет. Жизнь-то бабья шире пошла.

В. Ильенков

Цена человека

На курсах марксизма шли приемные испытания.

В кабинет профессора русской истории вошел человек лет тридцати пяти с курчавыми белокурыми волосами, в сапогах и гимнастерке защитного цвета.

— Гринев, — назвался он, протягивая левую руку. Правая была засунута в карман.

— Садитесь, — сказал профессор, внимательно разглядывая его близорукими глазами поверх очков. — Расскажите, что вам известно о том времени, когда на Руси торговали людьми.

— Я хорошо помню это время, профессор, — улыбнулся Гринев, облегченно вздыхая, как ученик на экзамене, которому неожиданно задали легкий вопрос.

— Позвольте... Но вы же не можете этого помнить? — удивился профессор, хмуря свои рысьи брови.

— Это было совсем недавно, — уверенно возразил Гринев. — В девятнадцатом году...

Гринев вынул портсигар карельской березы и, зажав его в коленях, достал папиросу. Быстрым привычным движением он придавил ладонью спичечную коробку и зажег спичку.

Профессор взглянул на его неподвижную, как бы привязанную правую руку и пододвинул пепельницу.

— Я командовал партизанским отрядом под Иркутском,—начал Гринев, торопливо и жадно затягиваясь табачным дымом. — Оружия у нас почти не было, если не считать нескольких охотничьих дробовиков да двух-трех берданок.

Но мы умели обходиться и без оружия — спускали под откос поезда. Нам помогали темные ночи и друг-тайга, которая укрывала нас и кормила. Когда Колчака погнали на восток, мы осмелели еще больше. Обосновавшись в одной деревушке возле железной дороги, мы не давали покою белым и чехословакам, панически отступавшим к Иркутску.

И вот однажды я получил сообщение, что колчаковцы увозят с собой коммунистов, захваченных в плен и приговоренных к смерти. Среди них находился один очень ответственный товарищ, которого мне приказали освободить во что бы то ни стало. Но захватить поезд и вступить в бой с хорошо вооруженной охраной было безумием.

Мы ограничились тем, что основательно испортили полотно железной дороги. Несколько поездов остановилось в ожидании, пока саперы не исправят повреждения.

С горы, на которой стояла наша деревушка, мы видели эшелон смерти, в котором везли наших обреченных товарищей. Но что мы могли сделать? Я собрал свой отряд, чтобы в последний раз обсудить создавшееся положение. Мне было тяжко одному принимать ответственность за смерть десятков людей.

Партизаны угрюмо молчали. И вот в тот момент, когда казалось, что никакого выхода нет, мы увидели всадника с белым флажком, приближавшегося к нашей деревне. Навстречу ему выехали два партизана. Один из них тотчас же вернулся и сказал, что меня желает видеть какой-то иностранный офицер, чтобы переговорить по важному делу.

Я вскочил на коня и поскакал. Мы встретились возле большой сосны на пригорке. На заморенной кляче сидел молодой обрюзгший офицер в новенькой шинели. Он взял под козырек и на ломаном русском языке назвался командиром эшелона смерти.

— Я везу ваши коммуниста. Двенадцать люди. Я их могу убить, могу пускать на свобода. Вы заплатить мне триста рубель, и я могу отпускать коммуниста, — сказал

он, уставившись в меня водянистыми рыбьими глазами. — Триста рубель золота. Бумажки не беру. Через два часа давайте триста рубель золота и получайть ваши коммуниста. Я буду здесь ожидаться.

Он говорил спокойно, равнодушно, как будто речь шла о продаже коровы.

Желая себя гарантировать от обмана, я попросил список коммунистов. Офицер достал из полевой сумки клочок бумаги. Среди незнакомых мне фамилий я нашел ту, которая владела моим мозгом несколько дней.

— Хорошо, — сказал я, стараясь не выдать своего волнения. — Через два часа я привезу золото.

— Надо сверять время. Я люблю точно, — проговорил офицер, вынимая часы.— Ни одной минуты лишней. Сейчас десять часов.

Я мчался, нахлестывая лошадь нагайкой. Я ликовал — все оказалось необыкновенно просто: уплатить триста рублей — жизнь двенадцати товарищей спасена!

— Срочно давайте золото, ребята! — крикнул я, влетая в толпу партизан. — Только триста рублей!

— Держи, — сказал старик, протягивая мне серебряный рубль. Другой высыпал мне в картуз горсть мелких серебряных монет. Третий вывернул свой карман, из которого выпал медный пятак.

— Золото! Золото, товарищи! — торопил я, но, приглядевшись к мрачным лицам партизан, понял, что этим людям легче с голыми руками пойти в атаку под пулеметным огнем, чем собрать триста рублей золотом.

Весельчак и плясун Ерошкин снял с руки тонкое колечко с тусклым зеленым камушком и бросил его в картуз.

— Невеста при расставании подарила... Сказала: «будешь носить колечко — живой вернешься». Ну, чорт с ним! — махнул он рукой и рассмеялся. — Бабские предрассудки!

Время шло, и я растерянно поглядывал на часы. Никогда в жизни не жаждал я так золота, как в эти минуты...

— Поторговаться с ним, дьяволом, может сбавит цену? — сказал Ерошкин, садясь на коня.

— Что будем делать? — спросил я, обращаясь к партизанам, чувствуя полную беспомощность.

— В церкви пощупать надо, — предложил старик, отдавший серебряный рубль. — На иконах непременно есть золото.

Я готов был расцеловать старика за находчивость. Привели попа.

Он был в рваном рыжем подряснике и калошах на босу ногу. Волосы его, заплетенные в косички, как у девицы, торчали рожками из-под соломенной шляпы.

— Храм наш бедный, — плакался он, позвякивая ключами. — Какое там золото! Медь позлащенная... фольга...

На нескольких иконах мы обнаружили ризы из белого металла и сорвали их. В алтаре на престоле стояли две чаши, отливавшие красноватым цветом червонного золота.

— Это не дам, — решительно заявил поп, прикрывая их своими руками. — В них тело и кровь господа нашего...

— Кровь! Кровь!! — закричал старик, хватая чаши. — А ежели наших двенадцать товарищей расстреляют, это не кровь?!

— Кощунство! Святотатство! — хрипел поп, стараясь вырвать чаши, но старик оказался сильнее.

— Тут на двести рублей потянет! — радостно воскликнул он, со звоном постукивая чашу о чашу.

— Серебряные они... только позлащенные, — злорадно сказал поп. — А если вам золото надо, — снизил он голос до шопота, — то у Анисима есть золотые. Точно знаю. У церковного старосты.

В церковь ввалился Ерошкин.

— Не уступает, чорт жадный! — проговорил он, отдуваясь. — Триста рублей и ни копейки меньше.

Оставалось полчаса. Я приказал привести церковного старосту. Ерошкин вскинул на плечо дробовик и через пять минут привел бледного, тощего старика с длинной жидкой бородкой.

— Нет у меня золота, — буркнул он, не глядя на меня.

— Если через пять минут не принесешь золото, расстреляем, — заявил я, вынимая наган.

— Стреляйте, а золота нету, — ответил Анисим, ощупывая рукой грудь.

Секундная стрелка описала последний круг.

— Принесешь?

Анисим молчал, продолжая ощупывать рукой грудь возле сердца.

Его отвели к церковной ограде, и Ерошкин поднял свой дробовик, целясь в голову.

«Если мы его расстреляем, все равно не найдем денег», — подумал я и уже хотел остановить Ерошкина, но вдруг против своей воли, теряя самообладание, я крикнул:

— Всех расстреляем, кто скроет золото! Обыскать все дома!

Ерошкин, закладывая патрон, уговаривал попа:

— Ты чужие деньги хорош считать, а свои не показал? Неси золотые, а то сейчас кончим... Я кольцо отдал? Отдал. Может, мне через это теперь не жить больше...

Шлепая калошами, поп повел нас в сад.

— Вот тут... под третьей яблоней... — бормотал он, становясь на колени и дрожащими руками разгребая рыхлую землю.

В корнях дерева блеснула жестянка из-под килек, — в ней лежали десять золотых, завернутых в тряпочку.

... Ровно в двенадцать я подскакал к сосне с мешком, в котором гремели церковные чаши, мои серебряные часы, коробка из-под килек, царский рубль, кольцо Ерошкина и прозеленевшие медяки.

— Получайте, — сказал я, высыпая на землю содержимое мешка.

— Большевики точны. Это бьет Колчака, — ответил офицер, не спеша разглядывая чаши. — Это беру. А это не надо, — брезгливо отбросил он кольцо Ерошкина. — Медь. Икона зря портили, латунь, — тоном знатока определил он, царапая по металлу эфесом шашки. — Двести пятьдесят рубель золота. Мало.

— Больше у нас нет, — сказал я, с трудом преодолевая острое желание вцепиться руками в тонкое, с выдавшимся кадыком горло.

Офицер сложил в мешок вещи, спрятал в карман золото и, трогая поводья, впервые улыбнулся, видимо, очень довольный сделкой.

— Лучше воробей в руки, чем лебедь на небе. До свидани!

Через полчаса от эшелона отделилась группа в двенадцать человек и направилась к нам. Мы побежали навстречу...

— Кольцо-то мое не взял, — радовался Ерошкин, надевая на палец подарок своей невесты. — Стало быть, долго жить буду!

— А как фамилия того ответственного товарища, которого вы освободили... то-есть купили? — спросил профессор, в волнении кусая седой жесткий ус.

— Не помню, — ответил, подумав, Гринев. — Я его потом не встречал...

Профессор встал и, порывисто протянув руку, тихо сказал:

— Ну, вот и встретились.

Р. Фраерман

Васька гиляк

Васька снял лыжи и пешком пошел по направлению к Мариинскому. Натруженные ноги особенно чутко ощущали притоптанный снег дороги. Безмолвен был холодный, зеленоватый простор. Он казался светлым, но в этом призрачном, дымчатом свете ничего не было видно. Нельзя было различить, где кончаются мысы и начинаются снег и торосы. Васька несколько раз попадал с дороги в сугробы. Эта мерцающая тьма не пугала его. Она была так же знакома, как эта тишина и месяц в оранжевом круге. Он шел, ни о чем не думая. Он не слышал даже глухого окрика, повторенного несколько раз.

— Стой, кто идет?

Васька отскочил. В первую секунду хотелось бежать, потому что нет ничего ужаснее для гиляка человеческого крика во тьме.

Но голос впереди был не строгий, даже как будто ласковый.

— Постой, куда? Стрелять буду.

При луне фигура, которая приближалась, казалась непонятной и действительно страшной, особенно ее тень, бегущая впереди, — огромная, остроконечная, как тень старой ели.

Но когда человек подошел, Васька увидел, что странным его делают высокий башлык на голове и тяжелый бараний тулуп.

Из башлыка шел голубоватый пар и торчала заиндевевшая борода. Потом из-под скалы показался другой, в таком же башлыке, и тоже подошел.

— Ты кто такой? — спросил первый.

— Гиляк, — ответил Васька и для ясности повторил: — охотник, Васька-гиляк.

Человек нагнулся к нему.

— Э-э-э, верно, гиляк! И куда тебя, друга[1], носит? — сказал он сочувственно. — Ты куда идешь?

— В Маринское. Тут мой друга живет, Макаров.

— Это какой Макаров? Кажись, в третьей роте есть такой командир. Из низовых рыбаков он, что ли? Не Андреем зовут?

— Андрейка, Андрейка! — Васька обрадованно протянул говорившему руку, как человеку, который знает имя его друга. Но тот не взял, а задумчиво, даже недовольно обратился к товарищу:

— Ну, что с ним, с чортом, делать? В штаб что ль, отвести?

— Вот еще! — неохотно ответил другой. — С гиляком в штаб таскаться?! Отведи к Макарову. Может, признает. Только гляди, ружье у него возьми.

Васька, молча, с недоверием отдал свой винчестер и долго шел за человеком, глядя себе под ноги.

Накатанный снег на дороге светился лунным пламенем. Огни деревни на невидимом берегу казались звездами, и, поднимая к ним глаза, Васька смутно видел перед собой все тот же черный тулуп и заиндевевший башлык. Теперь они уже не казались ему страшными.

Следы полозьев на дороге были глубоки, тверды, края их мерцали под луной.

«Много коней прошло по дороге, много людей проехало, и возы были тяжелые. Правду сказал Митька о красных», — думал Васька.

Он был теперь спокоен за свое ружье. Он верил, что эти люди не могли его обидеть, и с уважением поглядывал на башлык и широкую спину, заслонявшую изредка огни на берегу.

Несмотря на поздний час, изба, куда привели Ваську, была полна народу. Пили чай. На столе валялись куски соленой рыбы, хлеба и сахару, о котором Васька слышал столько чудесного. Было жарко, дымно, и Ваське сразу захотелось курить. Он жадно втянул горячий, горьковатый от дыму воздух.

— Товарищ Макаров, чорта в гости к тебе привел, — сказал партизан, срывая лед с бороды и постукивая Васькиным винчестером.

Макаров о чем-то громко рассказывал и ответил не сразу. Васька первый подошел к нему и протянул руку, не сгибая ладони. Этому приветствию научился он у русских.

— Здоров, Макарка!

Макаров поднял свои густые, рыжие брови и глянул на Ваську удивленно и настороженно.

— Васька, ты? Как попал сюда? — С минуту все изумленно смотрели то на Ваську, то на Макарова, лицо которого постепенно принимало свое обычное выражение озабоченности и занятости. — Аль через город шел по Амуру? — спросил он.

— Нет, через сопки по тайге пришел, лису гонял.

— А-а-а! — разочарованно протянул Макаров. — А я думал, через город пришел, вести принес, — и добавил, обращаясь к другим: — знакомый, гиляк один, ничего парень, охотник хороший.

— Свой, значит, человек? — сказал партизан, приведший Ваську.

— Свой, свой! — недовольно ответил Макаров, словно досадуя, что помешали его беседе. Отдай ему винчестер.

---

[1] Так обращаются русские к гилякам.

Но партизан не отдал. Он поднял к свету ружье, еще матовое от мороза, и долго смотрел на него, покачивая головой.

— Да-а, штука шибко хороша, жалко отдавать, своим бы пригодилась. Кто их, гиляков, знает!

— Отдай, Боженков, волчья твоя душа! — резким голосом сказал бритый парень, сидевший в углу.

— Покричи, покричи, может, я испугаюсь, — спокойно возразил Боженков, поглядывая на Ваську веселыми глазами. Лицо у него было пожилое, обветренное, с красными жилками на щеках и под глазами. Васька с тревогой смотрел на свой винчестер. Боженков, помолчав секунду, словно выжидая, что ему еще скажут, неожиданно улыбнулся широко и добродушно, отчего лицо его, несмотря на густую бороду и старческие жилки, приобрело наивное, задумчивое выражение.

— Отдать можно. И то сказать, какой он без ружья охотник!

Стуча подмерзшими валенками, Боженков вышел. Вскоре про Ваську все забыли. Он пил чай с хлебом и соленой кетой, курил чужой табак, кучей лежавший на столе, и слушал малопонятный для него разговор.

Сахар, который он пробовал впервые, показался ему сначала невкусным, но потом он с'ел куска три и один даже спрятал за пазуху вместе с табаком для сынишки.

От тепла и сытости, после двух ночей, проведенных в тайге, сильно хотелось спать. Но Васька сидел, сжав между коленями винчестер, и старался не закрывать глаз. Красные ленты на папахах казались сизыми. Голоса звучали то далеко, то близко и звенело в ушах. Васька с трудом слушал.

Говорили об японцах, о том, что в городе экспедиционных войск, вместе с белыми, больше двух тысяч, что драка предстоит тяжелая, и если на помощь не подойдут приисковые и сахалинские, то город будет трудно взять.

Потом говорили о рыбалках, о заездках, о том, что Кузин и крупные промышленники захватили все побережье. Рыбацким артелям негде даже тони выбрать. На приисках — голод, а в городе — казни и аресты рабочих.

— Купцы из города пушнину на Сахалин отвозят, — вставил Васька в общий разговор.

— Ишь, стервы! — сказал все тот же бритый парень с резким голосом, которого Макаров называл Кумалдой. — К японцам прятать повезли.

— От народа добро не спрячешь. — Макаров поднялся и подкрутил уже потухающую лампу. — Ну, что ж, ребята, спать пора, — сказал он по-хозяйски. — Завтра делов чортова пропасть. Может, выступать назначат, слыхал я в штабе.

По его твердому голосу и уверенным жестам Васька понял, что Макаров — начальник, а он, Васька, — его друг. Это льстило ему больше, чем если бы сам чомский шаман был его братом. Не раз в путину Макаров спал под крышей васькиной фанзы, ел его юкалу, пил его воду, и маленький Панга в веселую минуту держался за его палец.

Он вышел вслед за Макаровым на улицу.

Над деревней стояла луна в оранжевом круге, и Васька, взглянув на нее, подумал, что уже полночь и что в это время в стойбище начинают выть собаки.

— Друга, — сказал он Макарову, чувствуя непреодолимую благодарность за хлеб и сахар, за табак и приют, в котором не отказали ему эти люди с холщевыми патронташами, с красными лентами на папахах, — друга, ты — хороший человек. Хочешь, я тебе свои лыжи отдам? Лучше во всем низовье не сыщешь.

— Не надо мне твоих лыж, — зевая и запахивая тулупчик, ответил Макаров.

— Друга, — снова начал Васька, — я два дня за лисой гонялся, а она ушла. Нет счастья Ваське. — Он хотел рассказать про лису-крестовку, про то, как он в тайге пропадал и о чем он там думал, замерзая в снегу под валежником...

Но Макаров прервал его и прислушался.

С Амура доносилось гудение, словно кто-то чуть трогал струну на контрабасе.

— Не до твоей лисы теперь! — Он отмахнулся и торопливо зашагал к ближнему краю села.

Низкорослый Васька еле поспевал за ним.

Кто-то встречный громко сказал:

— Эй, браток, амгунские с приисков пришли.

— Ой, ну? — радостно отозвался Макаров.

И голоса их были гулки в разреженном воздухе.

С высокого берега был виден Амур, снега, играющие лунными всполохами, мерцающие торосы, и на тракте — обоз. Конец обоза терялся в темноте под скалами. Над передними возами, в'езжавшими на крутой под'ем в деревню, стоял синий пар, от скрипа снега под полозьями, казалось, трепетали в зеленоватом небе бледные, колючие звезды.

— Идут, видишь, — говорил оживленно Макаров, глядя куда-то поверх Васьки. — Идут амгунские, костюкинские, соловьевские. Аль мы хуже рассейских большевиков?

И он хохотал, выбрасывая изо рта морозный дым, оседающий на бороде инеем.

Ночь Васька провел плохо. Лег близ порога, у бочки с водой. Ночью кто-то, часто встававший пить, наступал ему на ноги. Он часто просыпался и выходил из избы. И на улице было тоже беспокойно. В избах всю ночь горели огни, слышны были голоса, лошадиные вздохи, скрип снега. У ворот стояли сани с поднятыми к звездам оглоблями.

Все же Ваське изредка удавалось заснуть. Тогда ему снился Орон, лиса и будто Семка отнимает у него винчестер.

Утром в селе было шумно и тесно от вооруженных людей. У волостной избы висел красный флаг с обледенелым древком. Несмотря на ранний час и мороз, пели песни. Это было странно и весело. Никогда, ни у костра после удачного лова, ни во время медвежьего праздника в стойбище, Васька не чувствовал себя так хорошо, как в этой толпе.

Он узнавал людей по обуви и одежде. Тут были рыбаки в шимах, расписанных узорами, амгунские старатели и китайцы в высоких ичигах, щеголеватые корейцы, любящие белые одежды. Тут были даже амурские гольды в лосиных унтах[1], бесстрашные охотники на медведей, которым нож заменяет винтовку. Их лица более приветливы, чем у Васьки, и лыжи их легче, и глаз вернее.

Ваське встретились и приисковые тунгусы в дохах, в оленьих торбазах[2], искусно расшитых разноцветными шкурками, — тунгусы, которым он всегда завидовал, потому что нет на свете лучше охотника, нет на свете добрей и честней человека, чем тунгус.

— Куда идете вы? — спросил их Васька по-тунгусски, — разве вы будете стрелять в японцев и русских капитанов?

— Дагор (что значит по-якутски друг и товарищ), — ответили они ему. — Это верно! Мы бьем только зверя. Но нет нам житья от купца Кузина. Каждый тунгус ему должен, каждый тунгус ему платит. Это хуже китайского ясака. Ясак в старину платили только раз в год. Мы же зимой и летом приносим Кузину на склад шантарских соболей, панты, шкуры медведей и рысей, а ему все мало. Мука же его горькая, порох нечист и дорог. Мы обзавелись бы, как отцы наши, луками, если б не научились так хорошо стрелять из ружья.

— Не брат ли этот Кузин тому купцу, который имеет рыбалки на низовье? — спросил Васька. — У него работает китаец Лутуза?

— О Лутузе мы не слыхали. Купец же—этот самый. Большие прииска на Амгуни тоже его.

— Ай, ай, зачем же ему так много рыбы, пушнины и золота? Не знаете ли вы об этом?

— Это мы не знаем. Но слыхали в тайге, что на Амуре большая война. Приисковые рабочие пошли в город купцов наказывать. Такой закон вышел. И мы пригнали сюда красным двести оленей для езды и мяса.

— Кто же вам за это заплатит?

— Старики нам сказали — об этом не думать.

— Цо, цо! — и, чтоб не сказать больше, Васька укоризненно посмотрел себе под ноги.

... Начиналось наступление на город, из села выезжал первый обоз.

На возах сидели люди, и дула их винтовок глядели в белое небо, предвещавшее ветер и пургу.

На одном из возов, или это только показалось Ваське, он увидел грязную заячью шапку Лутузы, его плоский, отмороженный на кончике нос.

---

[1] Мягкие сапоги без подошв. (Прим. авт.).

[2] Род обуви. (Прим. авт.).

Васька окликнул его, но мимо проскакал верхом партизан в огромных пимах и крикнул:

— Эй, товарищ, чего, чорт, на дороге стоишь!

Потом пробежал гольд на лыжах, размахивая руками, и возы скрылись под берегом.

Внизу на Амуре было видно, как вслед за обозом выскочили из-за поворота нарты тунгусов. Олени, пугаясь лошадей, сворачивали с дороги прямо на целину и, вытянув морды, проваливались и тонули в снегу. И оттуда долетал веселый, молодой голос Петра, кричавшего на оленей. Васька все еще стоял в задумчивости, присматриваясь ко всей этой незнакомой суете. Что делать? Уйти обратно в тайгу казалось невозможным; как бросить охотника без помощи? Остаться в деревне, когда уходит друг и хозяин, казалось еще невозможнее. И Ваське вдруг захотелось вместе с Макаровым, с Лутузой, с Петром и этим незнакомым гольдом итти на восток, в город, с ружьем за плечами, навстречу тому страшному зверю, на которого собралось столько людей.

«Так вот они красные люди, которые чтут бедных и преследуют богатых, — подумал он. — А я ли, Васька-гиляк, не бедный человек и я ли не зол на богатых?»

Так решил он сказать Макарову, но когда увидел его рыжие брови и озабоченное лицо, сказал другое:

— Друга, сегодня десять раз меня люди назвали «товарищем». А я для них еще ничего не сделал. Я никогда не слышал, чтобы русские называли гиляка «товарищем». Как мне заплатить за это?

— Отстань! — сказал Макаров, занятый в это время разговором с Кумалдой, тем самым бритым парнем, который вчера помог Ваське выручить винчестер. — Уходи ты, ради бога, домой, не до гостей мне теперь!

— Эх, зачем так говоришь? — Васька укоризненно посмотрел на Макарова. Он готов был обидеться и повернулся, чтобы уйти, но Кумалда остановил его.

— Друга, ты что хочешь сказать?

— Я хочу вместе ходить, Васька-гиляк тоже красный.

— В партизаны хочешь? — удивленно спросил Кумалда и долго с любопытством смотрел на Ваську. Потом рассмеялся. — Это тебе не лис гонять. Каюк может быть. — И парень, закрыв глаза, сделал страшное лицо, показал, как умирают люди.

— Ай, ай! — Васька печально вздохнул. — Медведь тоже страшный, но гиляк не хуже гольда знает, как на него охотиться. Медведь мне не враг, и, если охота моя удачна, я не убиваю его, а сажаю на цепь в сенях моей фанзы, и жена кормит его брусникой и поит из длинной ложки до дней великого праздника. Но что я могу сделать с Семкой-собачником, с Митькой-гиляком, с купцом Кузиным? На цепь они не пойдут. Их можно только стрелять.

— Вот-те гиляк! — сказал с одобрением Кумалда. — Косу носит, а мозгами шевелит не хуже нашего. Хочешь ко мне в отряд лыжников? У меня там и гольды, и тунгусы, и китайцы — чистый Интернационал! Весело будет.

— Цо, цо, тернационал! — Васька, улыбаясь, повторил незнакомое слово.

Макаров впервые сквозь суету, партизанские заботы и тревоги посмотрел на гиляка ласково и внимательно.

— А я-то тебя не понял, Васька, — сказал он виновато. — Значит, вместе рыбачили, вместе и воюем? — И Васька увидел перед собой его обветренную руку старого рыбака, с плоской ладонью, с пальцами, припухшими от ревматизма.

Васька вложил в нее свою. Потом вышел на двор, достал свои лыжи из сарайчика и присел на кучу снега, дожидаясь Кумалды, чтобы отправиться в отряд.

На душе его все же было неспокойно. Казалось, будто в буран, когда надо молчать, беречь дыхание и гнать собак домой, он вдруг повернул на страшный Амур и запел веселую песню:

— Сй-де! О-лай!

***

Прошло больше месяца, как Васька стал партизаном лыжного отряда интернационального амгунского полка. За это время он перестал удивляться многому — и сладости сахара, который случалось ему теперь нередко пробовать, и бесстрашности

русских рыбаков, умирающих от пуль, и собственному спокойствию, с каким он делал все, что приказывал начальник лыжного отряда Кумалла.

Он не удивился и тогда, когда среди партизан действительно встретил китайца Лутузу, с берданкой за плечами и с красной тряпкой на грязной заячьей шапке. Для него было несомненно, что Лутуза должен быть здесь, среди всех. Его смутило лишь, что он остриг свою косу.

Васька поздоровался с ним, как со старым приятелем, будто вчера покинувшим его фанзу, и попросил перебраться к ним в лыжный отряд.

Удивляться было бы недостойно гиляка. Надо оставлять сердце открытым, как глаза. Пусть отражаются в нем утро и снег, и выстрелы, и желания попутных людей. Сначала Ваське казалось, что желаний этих множество — столько же, сколько людей на Амуре. Но потом, приглядевшись, он решил, что одно лишь желание — лучше покрыть свою юрту, т.-е. устроить свою жизнь, — гонит лыжи партизан и заряжает их винтовки.

Сно же сливало и его следы с другими. Часто он отыскивал Макарова на стоянках и, улучив минутку, когда тот казался свободным от вечной своей суеты, спрашивал его:

— Друга, чего ты хочешь?

— Я большевик, Васька. Понимаешь ты это? — отвечал Макаров по-гиляцки.

— Нет... Ты скажи, чего ты хочешь?

— Я хочу, чтобы власть принадлежала тем, кто сам ловит рыбу, копает золото и бьет зверя. Я хочу, чтобы у Кузина не было заездок, загоняющих всю рыбу в его невода, чтоб и рыбацким артелям досталось. Я хочу, чтобы золото на его приисках принадлежало всем: и тебе, Васька, и твоему народу.

Васька молча выслушивал его, морща от напряжения свое гладкое, безволосое лицо.

Он слышал это не только от Макарова. В городе был еще враг, еще сопки курились первыми буранами, а в деревнях рыбаки уже складывались в артели, делили кузинские промысла, захватывали богатые купеческие рыбалки, соляные склады, снасти. Приисками управляли рабочие.

Васька шел по общему следу. Глубок и ясен был этот след. Васька тоже нередко думал. Хорошо бы и в Чумах собрать гиляцкую артель и завести железную шхуну. Он даже слышал по ночам сквозь стены зимовья на рыбалке грохот ее якорной цепи. Это стреляла артиллерия белых.

Город был уже виден. Ночью будто всполохи плавала над ним желтая заря. Это было зарево его электрических огней, глядящих в снежную тьму на Амур пронзительно и враждебно.

Пока крепость с батареями и искровым телеграфом находилась в руках японцев, город был недоступен.

С утра до вечера оттуда слышались пушечные выстрелы: били по дальним рыбалкам, занятым партизанами.

Как ветер, с гудением носились над Амуром снаряды, взрывы их крошили синие торосы, не причиняя, однако, партизанам большого вреда.

День и ночь скрипели на Амуре обозы.

Васька никогда не думал, что на свете так много людей, не жалеющих жизни и ненавидящих, как он, этот город, полный японских солдат, белых офицеров, купцов, чиновников и проституток.

На рассвете прибегали оттуда портовые рабочие и оставались у партизан, выпрашивая для себя винтовки и патроны. Но каждый дорожил этим сам, — оружия было мало. Они рассказывали, что в городе нет сена и дров, на улицах дохнут лошади, а в китайской слободке жители жгут дома.

Тогда партизанский штаб решил послать в город к японскому командованию парламентера-рыбака Андрея Макарова — с требованием сдать город. Парламентер был принят. Майор Исикава, человек вежливый, образованный, внимательно выслушал его, называя «господином Макаровым», и даже предложил сигарету, от которой тот не отказался.

Но через час Макаров был выдан белой контрразведке и умер от страшных мучений. Всю ночь его жесткие рыжие брови и волосы на голове, залитые кровью, стояли дыбом.

Через день майор Исикава получил неприятное сообщение, что шесть японских купцов захвачены партизанами на рыбалках, расстреляны перед фронтом, как за-

ложники. Это было тем досаднее, что среди них были знакомые, у которых майор в эту зиму часто бывал в гостях и играл в покер. Он рассердился на белых, на красных и даже на самого себя.

— Эта глупая и ужасная экспедиция, которую затеяло правительство, — сказал он старшему офицеру Мацусимо, — приносит нам гораздо больше вреда, чем пользы.

Он всегда слыл среди друзей за либерала.

— Надо быть самураем, майор, — вежливо, но с грустью заметил Мацусимо.

— Да, это, конечно, верно, — сказал с легким вздохом майор, — но большевики начинают нас серьезно беспокоить. Я бы хотел, чтобы мирные японские граждане и другие имели возможность в случае нужды выехать на Сахалин.

И он распорядился выслать для охраны сахалинской дороги, еще не занятой партизанами, часть морской пехоты.

Мацусимо вышел и только в коридоре за дверью позволил себе усмехнуться. Он знал, что под «другими» майор разумел лишь одну русскую даму — жену капитана Борецкого, начальника контрразведки.

***

В лыжном отряде, кроме Лутузы, Васька подружился еще с Боженковым. Это было тем более странно, что Васька не мог забыть ту голубую ночь, полную холодного дыма, когда Боженков криком остановил его на дороге и пытался завладеть его винчестером. Но он помнил и веселые глаза и добродушное выражение его бородатого, как у айна[1], лица, когда он согласился отдать ружье. Он находил какое-то сходство между Боженковым и Макаровым, хотя они были мало похожи друг на друга. Боженков тоже знал немного по-гиляцки, был шумен, суетлив в движениях и, главное, смотрел на Ваську, как гиляк на гиляка. За это Васька прощал ему хриплый, простуженный голос, сварливость, ругань и даже шутки, которых он не понимал. Это был старый бродяга, побывавший на всех приисках и рыбалках. Он носил, как все старатели, ичиги и синие, из китайского сатина, штаны такой ширины, что их можно было, как портянку, раза три обернуть вокруг ноги. Это предохраняло колени от сырости в шурфах и от приисковой лопаты. Но и эти штаны за пятнадцать лет таежной жизни не спасли его от ревматизма. В морозы, туманы, дождь он жестоко страдал и мечтал об отдыхе.

Иногда его звали «Боженькой», отчасти из-за сходства фамилии, отчасти за свою необычную ругань, которую он кончал не так, как другие — «в христа», «в бога», а ласкательно: «в душеньку», «в боженьку».

От него первого Васька узнал о гибели Макарова. Он пришел в зимовье с припухшим от мороза лицом и сел около Васьки.

— Э, друга Макарова белые прикончили, — сказал он угрюмо, потирая колени.

Это было так неожиданно, что лицо Васьки вдруг почернело. Он поднялся с чурки, на которой сидел, и затопал своими кривыми ногами, полный гнева и ужаса.

В это утро Васька с особенной готовностью пошел с Лутузой, Боженковым и гольдом Ходзеном в разведку. Японцы еще стояли в Кахинской бухте. Лыжникам пришлось сделать большой крюк, чтобы их обойти.

Шли через сопку, глубокой тайгой. Васька всю дорогу был сосредоточен и угрюм. Лутуза, еще плохо ходивший на лыжах, часто отставал, и Васька, поджидая его, садился на снег, опускал голову меж поднятых коленей и не шевелился, пока Боженков не толкал его лыжей.

— Ты, Васька, не очень думай, — говорил Боженков, усаживаясь рядом и доставая кисет, — а то коса пропадет, облысеешь.

Васька не отвечал на шутку и спрашивал о своем:

— Ой, друга, зачем Макарку убили? Шибко хороший человек.

— За то и убили! Им, белым, одно удовольствие нашего человека зарезать. За то и война идет, чтобы по-новому все поставить и рабочему человеку наверх выйти. Дай срок, мы еще их костями в бабки наиграемся. Так я понимаю это дело. А ты, гиляк, что понять можешь?

— О-о-о, русский только понимает! — обиженно возражал Васька. — Я тож понимаю.

---

[1] Народец, живущий на юге Сахалина и отличающийся от других богатой растительностью на лице. (Прим. авт.).

— Большевик ты, значит, выходит?

— Однако, большевик.

— То-то и есть! А мне, брат, прикончить бы скорей войну эту и отдохнуть на рыбалочке, к артели бы хорошей пристроиться, а то в сторожа бы пошел... Ох, ножки мои! — и, потирая колени, Боженков с кряхтением поднимался на свои огромные, как стволы, ноги, снова садился и грозил обрезом отставшему Лутузе:

— Тебе бы, чорту косому, бруснику с бабами собирать, а не на лыжах бегать: весь отряд задерживаешь.

Лутуза, громко дыша, садился рядом отдохнуть.

...Позади, километра за два, по следам разведки не спеша двигался Кумалда с отрядом лыжников, одетых, как Васька и Боженков, в белые балахоны с капюшонами, сшитые из бабьих рубах. Даже вблизи, днем эту белую движущуюся массу трудно было отличить от снега. Отряд заходил в тыл японцам.

Ночью разведка вышла на Амур...

**
*

На рассвете японцы заметили, что их обходят, и начали отступать к городу, прикрываясь пулеметным огнем.

Кумалда не успел раскинуть цепь через Амур, и теперь лыжники шли наперерез, не сгибаясь и неся потери. Дорогу все же удалось занять. Люди ложились на лыжи и прикладами окапывали снег. Тогда японцы двинулись к городу целиной. Взошло солнце, было 32 градуса по Реомюру, небо казалось кристаллически твердым; пронзительно блестел наст, вызывая резь в глазах. Васька, привыкший к этому сверканью, хорошо видел фигуры японцев на снегу. Они смешно прыгали и проваливались в сугробы.

Прицеливаясь, Васька следил только за тем, чтобы они не перебегали. Ни о том, что он убивает, ни о том, что его могут убить, он не думал. Но ни один человек не должен быть виден на снегу. Ему даже казалось, что у него не ружье, из которого он бьет только зверя, а веревка от невода, и стоит ему лишь прищуриться, потянуть, чтобы человек, запутавшись в ней, упал на снег.

Это не страшно. Через минуту он может подняться и снова бежать. Но поднимались другие и тяжело бежали, бросая меховые шлемы и что-то крича. Лутуза рядом тоже кричал и оглушительно бухал из берданки. Боженков, лежавший близко слева, орал, пригибаясь к снегу:

— Ей, друга, молодец, уларь по обозу, голубчик!

Васька приподнялся, чтобы лучше прицелиться в лошадей. Но Боженков вдруг подкатился и ударом ноги повалил его на снег.

— Пулеметы!

Васька только теперь услышал частый стук и незабываемый острый свист, как игла, входящий в сердце. Он увидел сбоку от себя чью-то высокую папаху, торчком на снегу, полную крови и мозга, он хотел подняться и бежать к сопкам, но Боженков крепко держал его. Он все же пытался вырваться и получил удар прикладом.

— Лежи, убьют!

Тогда он пальцами стал рыть под собой снег, чтобы уйти в землю.

Японцы, прорвав цепь, в полном порядке отступили к городу. Вечером они снова сделали безуспешную вылазку, чтобы оттеснить партизан к сопкам. Но Васька в цепь уже не пошел. Он на собаках развозил по линии патроны. Желание бежать, спрятаться глубоко в тайгу не оставляло его. Казалось, он мог бы теперь вечность простоять на лыжах под пихтою, закрыв глаза и прислушиваясь к чмоканью белок в тишине тайги.

**
*

Через неделю партизанами была захвачена крепость. Сообщение с городом было прервано еще раньше. Японцы мерзли в казармах минного городка, так как не было возможности привезти из тайги дров. К тому еще накануне начался буран. Белая гудящая мгла разрывала снежную землю. Ветер был тверд, пронзителен, невыносим. Из носу у солдат шла кровь, словно их поднимали на страшную высоту. Пришлось увести наружные караулы с фортов. Солдаты замерзали через десять минут. Так длилась пурга, то усиливаясь, то стихая, три дня. Когда она кончилась, верхний сектор крепости был в руках партизан.

В последнюю ночь, когда пурга ослабела, сорок красных лыжников, перейдя Амур, заняли верхнюю батарею. Она была заброшена еще с 1918 года, когда артиллеристы-красногвардейцы, оставляя крепость, спрятали замки и снаряды. Эти артиллеристы были сейчас среди лыжников. Всю ночь налаживали орудия и откапывали снаряды. Ветер вырывал дыхание и заглушал стуки молотков, обмотанных тряпками. К утру орудия были очищены от снега, исправлены и повернуты на минный городок. Внизу, над дымом и длинными казармами, медленно занималась желтая, ветреная заря. Ее встретили выстрелом. Снаряд лег на самой окраине городка. Японцы, еще не одетые, в фуфайках, с зубными щеточками, выскочили на улицу. Над Амуром кончался тусклый туман. Второй снаряд ударил левее, за цейхгаузами.

Тогда началась та путаница, которая непонятным образом передалась и в город. Обыватели говорили, что это японцы стреляют из крепости по Варкам. Среди белых, силевших в окопах, прошел слух, что от Де-Кастри пробивается к городу через пролив японский ледокол и за ним крейсер.

Штаб, потерявший связь с крепостью, не принимал никаких мер. И только комендант ее Кабаяси, низенький даже для японца, но крепкий, с энергичными скулами, понял, в чем дело. Он отдал приказ поджечь цейхгаузы, взорвать искровой телеграф и топить в уборных затворы лишних винтовок.

Через час он вывел обе роты из крепости на Амур и, опасаясь засады по дороге, повел их целиной к городу. Снег уже не падал, но ветер не прекращался. Полушубки у солдат были вывернуты белой овчиной вверх, желтые шлемы обмотаны платками и полотенцами.

Дым от пожара мешался с туманом. Можно было бы незамеченными пройти эти пять-шесть километров до городских окопов. Но ветер! Он шел навстречу, упираясь в грудь, зажимая нос, вдавливая глаза внутрь. Чтобы вздохнуть, надо было отвернуться. Солдаты спотыкались и падали, так как закрывали лица перчатками. У многих были уже отморожены пальцы и щеки. Так прошли пять километров. Стали видны железные баржи во льду у пристани...

Тогда случилось то, чего не ожидал Кабаяси. Секрет, выдвинутый белыми за баржи, донес, что на город наступают партизаны. По всей цепи началась частая стрельба. Японцы остановились. Потом тихо легли на лед. Внизу шуршал и звенел снег, ударяясь о пряжки амуниции и дула винтовок. Мертвели губы, леденели слезы на глазах, их приходилось отрывать вместе с ресницами.

И десяти минут нельзя было выдержать, а стрельба продолжалась уже полчаса. Раненых терли снегом, и все же они замерзали. Кабаяси приказал поднять японское знамя и кричать: «Банзай, японцы!» Ветер вогнал крик обратно в легкие, вызывая тошноту и икоту. Огонь усилился. Белые видели только красный круг на знамени.

Больше нельзя было лежать, и младшие офицеры предлагали с боем ворваться к своим. Кабаяси не соглашался. Он недаром прошел немецкую военную школу. Он подполз к Симото, самому высокому солдату в роте, и сказал:

— Эй, ты, труба фабричная!

Тот неподвижно сидел на снегу, засунув в рот помороженные пальцы. На его темножелтом лице южанина виднелись белые пятна.

— Ты спишь, собака!

Кабаяси ударил его кулаком по лицу. Симото вынул пальцы изо рта и с трудом улыбнулся своими замерзшими губами. Он не знал, что может быть так приятно, когда бьют. Но Кабаяси показал ему наган. Симото поднялся, не чувствуя ни пальцев на ногах, ни пяток.

Он был действительно высок словно не японец: выше Кабаяси на три головы. Ему подали знамя. Но побелевшие руки не держали его.

— Сложи их, как Будда, — сказал Кабаяси и просунул древко под скрещенные руки Симото. — Иди к городу. Не прячься, а выбирай самые высокие места и кричи: «Банзай, японцы». Если придешь, то скажешь первому, что здесь — японцы, а не большевики.

Симото пошел по гребням сугробов, кланяясь ветру. Слева всходило солнце, но туман попрежнему качался над головой. Симото хотелось плакать, ибо этой весной кончается срок его службы.

Он думал вернуться в Кочи, где родился близ моря, жил и работал на табачной фабрике.

Странно, что лучший друг — хромой Хитучи — тоже называл его «фабричной

трубой». Что за несчастье быть большим, когда другие малы! Когда Симото отправился в Сибирь, Хигучи на прощание угостил его в кабачке теплым саки, пахнущим медом и зеленью.

— Мне жаль тебя, Симото, — сказал Хигучи. — Тебя отправляют в Россию воевать с людьми, которые делают для нас, рабочих, хорошее дело. — И он рассказывал ему долго о Катаяме и еще об одном человеке, чье имя он смутно запомнил тогда — Ленин. Симото не думал ни с кем воевать.

— Я понимаю, Хигучи: что нашему брату хорошо, то всегда хорошо.

Навеселе после саки они бродили потом, обнявшись, в порту и пели песню, за которую их чуть было не арестовали жандармы.

Симото вспомнил это, потому что думал о Хигучи. Он не чувствовал себя виноватым. Его обоймы полны — ни одного выстрела не сделал он в этой стране. И он знал даже некоторых из этих удивительных «большевиков», для которых ничто не препятствие: ни мертвый ветер, убивающий Симото, ни снег, по которому они бегают быстрее рикшей, ни пушки, которые они поворачивают, куда им надо.

Симото медленно шел по сугробам. Ветер относил в сторону свист пуль. Он бил по зубам и проникал в сердце. Казалось, что стреляют и сзади. Симото с трудом оглянулся. Он удивился, что так мало прошел. Кабаяси, целящийся в него из винтовки, был хорошо виден. Симото вспомнил, что надо кричать. Тогда он открыл рот и, обжигая ветром легкие, запел ту песню, которую он пел с Хигучи в порту. Туман стал реже и сверкал, как море. Древко знамени сползало из застывших рук к ногам. В плече мучительно жгло. Симото зацепился о древко и упал, замерзающий, уже близкий к кончине. Туман исчез, стало жарко. Симото увидел синюю воду Тозанады. А на волне, глотая селедку, качается бронзово-черный баклан. Запахло присами и морской капустой. И казалось Симото, что он все еще поет...

Потом, минут через десять над Симото со скрипом протопали японские солдаты в толстых гетрах.

Из города их заметили и узнали. Кто-то поднял знамя, а Симото остался лежать на снегу, как и другие, кто не успел дойти до барж.

Три дня партизаны обстреливали город из крепостных орудий. На четвертый в штаб привели японского парламентера с завязанными глазами. Начались мирные переговоры.

Потом на розвальнях, устланных сеном и шкурами, приехал с китайским консулом Кабаяси. Им прочли мирное соглашение, по которому японцы сдавали город партизанам.

Кабаяси закрыл глаза, чтоб не видать этих бородатых, оборванных большевиков, поклонился, коснувшись руками колен, и с вежливостью истого японца сказал:

— Модэно.

Антон Сорокин

Саудакас

В тяжелые топы колчаковщины, когда казаки атамана Дутова в Тургайской области жгли оранжевые степи, атаман Дутов производил мобилизацию среди киргиз, и не пожелавших взять оружие убивал. Приехали казаки в Тургайскую степь Сарыарки и стали косить аулы киргизские. Каждый киргиз — это чинка, соломинка и складывали в копны, только каждая соломинка в копне была киргизским телом.

Высоко летали, не шевеля крыльями, серогрудые коршуны и заунывно кричали надоедливым заунывным свистом.

— Посадили мобилизованных киргиз в вагоны, в ящики, — говорил Саудакас, — словно в спичечные коробки натолканы мы, спички.

Жаль было Саудакасу жену, детей, юрты, родной степи, и сон бежал от Саудакаса, как тарбаган; ускакал, и только одна мысль начала расти и скоро выросла тарантулом мохноногим, прожорливым и пожирал тарантул все мысли и оставлял надоедливые слова: «Тургень, джаргень джер яшипалган чандек иматул, слышишь, Ибрагим. — Тургень джаргень яни ни алган тенлек иматул».

— Стучат колеса, — говорит Ибрагим, — надоело слушать, уши болят.

— Ты прислушайся, что они говорят.

— Где родился, где рос какой человек. Забыть может, — пять восходов солнца

слушал Саудакас песню колес. Сон улетел быстролетным лачином, а колеса надоедливо кричали свою железную песню: «Тургень джаргень джер яни»... и были слова одинаковы, как трава чий. Привезли киргиз и заставили рыть ямы длинные, вбивать колья и обматывать колкой проволокой, как кустарник чий ченгиль проволока, такие же колючки. Ибрагим отказался рыть землю и сказал знакомому казаку, который прежде часто гостил у Ибрагима:

— Анрюшке, ты сдурел что ли? не буду, Анрюшке, рыть землю, степь-матери больно, степь кормит, зачем буду землю портить? — не буду.

Выстроили виселицу и, для устрашения, первого повесили Ибрагима. Подошел Саудакас и говорит, а сам плачет и, как ребенок, утирает слезы кулаками.

— Анрюшке, ты что, не узнал что ли, свой человек это—Ибрагимка, сколько раз баранину ел, сдурел что ли, не узнал что ли?

— Молчи, Саудакаска, и тебя повешу.

— Мой весить нельзя, нам больно будет... — и отошел Саудакас. Напугались мысли и притихли.

Скоро закрякали невидимые утки. Летели пули, как степные осы, жалили людей до смерти.

Прислушался Саудакас и удивился: невидимые утки крякали, железным криком крякали:

— Тургень джерген джер яни ни алган тенден имутул—где родился, где рос какой человек забыть может,—и узнал Саудакас от Анрюшки, что это войско, напитое богачами, воюет против войска бедняков, не желающих своими трудами увеличивать богатство богачей.

— А ты что, Анрюшке, сдурел что ли, — Ибрагимку повесил. Мой шибко напугался.

— Да, Саудакаска, попал в колесо, одним словом, в переплет, а как избавиться — не знаю; вы, киргизье, — сутяги и на этот счет мастаки, может, придумаешь, раскинь-ка как мозгами. Ибрагимку мне и самому жаль, да ничего не поделаешь, — служба колчаковская.

— Бежать, бежать надо, — сказал Саудакас.

— Ну, ты, дурак, тише — и нагайкой огрел Анрюшке Саудакаса.

Завыл Саудакас. Выл долго, надоедливо, как умеют выть только голодные волки, и можно было понять:

— Ты что, Анрюшке, сдурел что ли?

А утром, когда небо раскрыло свой глаз и начинало подниматься, чтобы осмотреть всю степь, с товарищами ушел Саудакас. И утром, когда аллах надел шелковый халат и застегнул на золотую пуговицу солнце, ушел Саудакас с товарищами и никто не видел — даже железная птица, что там высоко летала и зорко смотрела, словно степной коршун, не шевелила крыльями и стонала: «Тургень джаргень ни алган...».

Птица зоркая не видела, проглядела, — сорок пять человек уползло; проглядела птица и не бросала яиц, которые производят гром и огонь и ранят землю.

Через двадцать закатов солнца вернулся Саудакас в родной аул и рассказал, что видел, на которой стороне правда.

— Правда на стороне победителей, — сказал Баир, а Баир — отец Саудакаса.

И скоро по оранжевой степи растянулись четкие длинные ленты отступающих войск атамана Дутова и скрылись в необозримых степях Сары-арки...

Илья Мухачев

Сайгалата

I

У подножья скал зубчатых,
В юрте низкой, тесной, душной
Вырастала Сайгалата —
Быстроногая пастушка.
Ей послушны иноходцы,
Ей знакомы перевалы,
Где вода по камню льется,
И гремят снегов обвалы.

Раз, на празднике богатом,
Что кострами полыхал,
Полюбила Сайгалата

Чеберека — пастуха.
Для нее темноволосой
Как летал он на коне
По долине, по откосам
В чистой, хвойной тишине!

Но недаром хозяин стада,
Рысью шубу спустив с плеча,
Все ловил Сайгалату взглядом
На поляне в кругу девчат.
Не напрасно веселой водкой
Он поил пастуха три дня,
Подарил ему трубку, плетку,
Дорогое седло, коня.
Через реки да через горы,
Где лесной не смолкает звон,
Скотогоном в далекий город
Чеберека отправил он.

II

Тропы горные, зверьи,
Скал зубчатые грани,
Горький пастбища запах
Не уменьшат страданий.
В дни тяжелой нотери
Мысли сердцу послушны.
Часто глядя на запад,
Тосковала пастушка:

— Быстролетная птица сокол,
Поднимись высоко-высоко,
Вдалеке слышен крик человека, —
Не видать ли там Чеберека?
В ту страну, — только ночь
прольется, —
Я поеду на иноходце.
Понесет меня конь толковый,
Застучат в тишине подковы.
Зверь набросится, зубы щеря,
Я наотмашь ударю зверя,
Хрустнет череп, угаснут быстро
На траве золотые искры.
Не страшусь я, пусть ветер вольный
Над лесами рассыплет грозы.
Струи трепетных белых молний
Заплету, словно ленту, в косы.
Я поеду в город богатый,
Что отсюда стоит на вечер...
Чеберек, услышь Сайгалату,
Выйди, ласковый, мне навстречу!

А кругом — хребты Алтая
В голубых высоких дугах,
Белый ключ, с холма сбегая,
Весь дрожал, словно испуган.
И паслась на травах мятых
Нерасседланная лошадь,
И позвали Сайгалату
В юрту бая — Баробоша.

На барсучьих пыльных шкурах
Бай сидел зевая, щурясь.
В очаге, плеща крылами,
Золотое злилось пламя,
А над ним в котле плясало,
Закипев, баранье сало.

С улыбкою смелой
Пастушка босая
Упорно смотрела
На тучного бая.
Он глянул сурово
И, вытянув руку,
По светлой подкове
Легонько постукал.
И кодочи робкий,
Неслышно ступая,
Набитую трубку
Поднес укту-баю.
Поднес и по знаку,
Не видя, не слыша,
Покорной собакой
На стойбище вышел.

Распахнулась шуба рысья,
Бай встает, — глаза остры, —
От волнения зажглися
Скулы — желтые костры.
— Ты родилась быть послушной,
Мало спать, стеречь коров,
Я — хозяин твой, пастушка,
Я — владелец табунов.
У меня в долгу немалом
Непутевый твой отец,
Черных, жирных, годовалых
Я дарил ему овец.
Люди знают Баробоша, —
Он не скуп и не сердит,
За хорошее хорошим
Платит честный теленгит.
Я имею к людям жалость,
Я хочу тебе добра,
Я хочу, чтоб ты осталась
В этой юрте до утра.
Жаркой юностью богата
На твоем лице заря,
Я хочу, чтоб от меня ты
Родила богатыря.

...Словно ветер подул с белков,
Словно дружный ударил дождь,
Словно тысячи сквозняков —
Побежала по телу дрожь.
Там, за юртой, Колочи глух,
Ниоткуда спасенья нет.
И, срываясь, две тени вдруг
Забарахтались на стене.
Но пастушку — она ловка —
Баробош удержать не смог,
Лишь остался в его руках

Желтой шубы пушистый клок.
Меж расселин и пропастей,
По осколкам седых камней
Сайгалата бежала в степь,
Где паслись табуны коней.
Там, где знойный день вечерел,
Рассыпая град золотой,
Все ей чудился Чеберек
Сильный, ласковый, молодой.

III

Первый луч над сопкой мутной
Вырастал, синел и падал,
Только не было в то утро
Сайгалаты возле стада.
И напрасно волкодавы
За высокими камнями
В молодых, пористых травах
Рылись чуткими носами.
Плыли тучи издалека,
От воды тянуло мглою,
Да орлы, роняя клекот,
Все кружились над скалою.
Да ручей, живой, холодный,
Все синел, в долине роясь,
Словно кто-то мимоходом
Обронил там синий пояс.

...Лишь когда, цветами пылая,
Много весен прошло по скатам,
На зеленом родном Алтае
Появилась вновь Сайгалата.
Собирались над водопадом
Голубые стада тумана.
Шла пастушка с красным отрядом
Против белой банды Кармана.
Много женщины мяса варили,
Загорелые, в шубах душных,
Собирались ойроты в аиле
Слушать песню родной пастушки.
Вышла стройная, брови хмуря
От костра, что высок и светел,
И запела струна тошшура,
Словно в осень ущельный ветер.

— Вижу вновь я страну лесную,
Дорогие, знакомые лица,
Только сердце мое тоскует,
Беспокойной болью томится.
Мы в далекую эту местность
Шли, снимая вражьи засады;
Чеберек по ущелиям тесным
Все летал впереди отряда.
Хорошо он владел арканом,
Острой саблею, длинной пикой,
В русском городе мы недаром
Научились борьбе великой.
Но в наплыве туманов шатких
Молча прятался враг по скалам...
Не забуду последней схватки
За рекою у перевала.
Месяц слышал, как ветры дули,
Люди с криком падали в реку,
Месяц видел, как злая пуля
Сердце вырвала Чебереку.
Неподвижный и молчаливый,
Чеберек зарыт под скалою.
Он не слышал, как ночью ивы
Разговаривали с волною,
Как, напуганные пожаром,
Кони ржали, скача по тропам,
Как во тьме под моим ударом
Баробош повалился в пропасть.

Долго пела Сайгалата,
А потом ушла в разведку,
Только в сумраке мохнатом
Карабин качнулся меткий.
Вдалеке, будто ослабли,
Под копытом гнулись горы,
И казался месяц саблей
Над зеленой кромкой бора.
В кедраче, в густых туманах,
Ночь дрожала, гулы плыли,
Будто тысячи шаманов,
Одичав, там в бубны били.

...А на утро выпали росы,
Теплый воздух поплыл с востока.
Распустив зеленые косы,
Ели слушали песню потока.
Из тайги по тропе, что вьется
Меж кустов и камней по скату,
Два товарища на иноходцах
Привезли в аил Сайгалату.
Оглядела она ойротов,
Что из юрт выходили с поклоном,
И на войлок, пахнущий потом,
Опустилась, не выронив стона.
Только тонкие выгнулись брови,
Но сказала голосом ровным:

— Песню птицы слух мой ловит,
Славит птица край наш горный.
Собрались цветы, играя,
Под высокою осиной,
Лиственница молодая
К солнцу тянется вершиной.
Будто горы стали выше —
Все поет там: травы, лес ли...
В каждом дереве я слышу
Радость жизни, голос песни.
Но зачем пихтач дымится,
Брызжет липкою смолою,
Черные мои ресницы
На глаза ложатся мглою?
Отчего я тут, на склоне,
Где табун овец пасется?
Дайте мне ружье, патроны,
Вороного иноходца!

По рассыпанному следу,
До вечернего тумана
Я к товарищам поеду,
Пулю выпущу в Кармана!

Но, задумчивые от заботы,
Да от боли большой человечьей,
Уложили пастушку ойроты
В низкой юрте на шкуры овечьи.
Ей мерещились: битва, крики;
Над ущельями, над лесами
Чеберек на высокой пике
Поднимал боевое знамя.

В. А. Луговской

Песня о ветре

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.
Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русской
речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.
По-чешски чешет, по-польски плачет,
Казачьим свистом по степи скачет.
И строем бьет из московских дверей
От самой тайги до британских морей.
Тайга говорит,
Главари говорят —
Сидит до поры
Молодой отряд.
Сидит до поры,
Стукочат топоры,
Совет вершат...
А ночь хороша!
Широки просторы. Лунь. Синь.
Тугими затворами патроны вдвинь.
Месяц комиссарит, обходя посты.
Железная дорога за полверсты;
Рельсы разворочены, мать честна,
Поперек дороги лежит сосна.
Дозоры — в норы, связь — за бугры
То ли человек шуршит, то ли рысь.
Эх, зашумела, загремела, зашурганила,
Из винтовки, из нагана меня ранила.
Ты прости, прости, прощай,
Прощевай пока,
А покуда обещай
Не беречь бока.
Не ныть, не болеть,
Никого не жалеть,
Пулеметные дорожки расстеливать,
Офицеров у сосны расстреливать.
Паровоз на-чеку
Ругает вагоны.
Волокет Колчаку
Тысячу погонов.
Он идет впереди,
Полковник удалый;
У него на груди —
Фонари-медали.
Командир-паровоз,
Мучает одышка.
Впереди откос —
Паровозу крышка!
А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют: —
Россия ты, Россия, российская страна,
Соха тебя пахала, боронила борона.
Эх, раз (и)—два (и),—горе не беда.
Направо околесица, налево лабуда!
Дорога ты, дорога, сибирский путь.
А хочется, ребята, душе вздохнуть.
Ах, сукин сын, машина, сибирский
паровоз,
Куда же ты, куда же ты солдат завез?
Ах, мама, моя мама, крестьянская дочь,
Меня ты породила в несчастную ночь.
Зачем мне, мальчишке, на жизнь
начихать?
Зачем мне, мальчишке, служить у
Колчака?!
Эх, раз (и)—два (и),—горе не беда.
Направо околесица, налево лабуда!

...Радио говорят.
Флагов вскипела ярь.
— Восьмого января
Армией пятой
Взят Красноярск! —
Слушайте крик протяжный —
Эй, Россия, советы, деникинцы,
День этот белый, просторный, в морозы
наряженный,
Червонным тузом выкинулся.
Сибирь взята в охапку.
Штыки молчат.
Заячьими шапками
Разбит Колчак.
Собирайте, волки,
Молодых волчат.
На снежные иголки
Мертвые полки
Положил Колчак.

Эй, партизан,
Распускай сельчан:
Раны зализать
Не может Колчак.
Стучит телеграф:
Тире, тире, точка.
Эх, эх, Ангара,
Колчакова дочка!

На сером снеге волкам приманка:
Пять офицеров, консервов банка,
Эх, шарабан мой, американка.
А я девчонка, да хулиганка!
Стой!
Кто идет?!
Кончено. Залп!!

Никандр Алексеев

Партизанская пушка

1.

Художника достойна кисти,
Достойна повестей и пьес,
К себе нашла и в интуристе
Вполне законный интерес.

О днях давно былых поведай, —
Туристы здесь, — поведай гид[1]:
— Что за орудие победы
Музей заботливо хранит?

— Какой завоеватель в лето
Каких припомненных времен,
Кому грозился пушкой этой?
Какой орды «Наполеон»?

Кузнец без горна — воин некий
Приладил к корню кедра сам
В железном, несомненно, веке
Стальную втулку колеса.

Кочевника орудьем этим
Не мог бы напугать никак
Еще в шестнадцатом столетьи
В сибирских княжествах Ермак.

Почуя порох, разве птица
В полете просвистит пером,
Которой в каждой ветке мнится
И пламень, и, быть может, гром.

— Не смейтесь вы над ней!
Довольно!
Смешите, граждане, меня...
«Последней, самой дальнобойной
Она, по времени, родня!»

Охотно верилось рассказу:
Конструктор пушки и творец
По партизанскому заказу —
Села Завьялова кузнец.

Калибр орудья пусть не крупный
И голос — точно плети свист...
Кузнец сказал: «не хуже Крупна»!
И вот кузнец — артиллерист.

2.

Со стороны белопогонной
Без перерыва и конца
Со свистом ястребиным тонны
Лились английского свинца.

Мне помнится — снаряд один
Взорвался возле Барнаула:
Звенели окна звоном льдин
От содрогания и гула.

Казалось, Марны и Вердэна
Мортиры выли, сея страх,
Как иноземные гиены...
И воздух порохом пропах...

Что за пальба была! Послушай!
Палила втулка, говорят,
Рыча медведицей, насущей
Растущих рыжих медвежат.

Она вела себя геройски, —
Простая втулка колеса,
Будила дух и песню в войске,
Будила эхо по лесам.

Не для нее ли флаг пылал
Настолько огненно меж веток,
Что тетерев затоковал,
Подумав: зарево рассвета...

Не верите? Не кто-нибудь
Сказал о тетереве этом...
Я тот, чья собственная грудь
Служила пушечным лафетом.

Пока восток на горизонте
Багровым флагом полыхал
И втулка била в тыл, на фронте
Союзник славный возникал.

И в день победы, в день погони
Был виден воин на следу,
На шлеме чьем (не на погоне)
Свою заметили звезду.

---

[1] Гид — проводник, показывающий иностранцам достопримечательности.

С. Алымов

Партизанская

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою взять Приморье —
Белой армии оплот.

Наливалися знамена
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих лет не смолкнет слава;
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города.

И припомнятся не раз нам,
Как маячные огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод,
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

Дальневосточная

1.

За дальней восточной границею
Следит неустанно она,
И может по праву гордиться ей
Рабочая наша страна.

И пусть только белый попробует,
Протянет к нам лапу свою,
Коротким ударом Особая
Его опрокинет в бою.

2.

Ведь ею командуют ленинцы —
Отборные люди страны,
Стоит она славной наследницей
Героев гражданской войны.

И пусть только белый попробует,
Протянет к нам лапу свою,
Коротким ударом Особая
Его опрокинет в бою.

3.

Столицы, республики, области
И север, и запад, и юг
О силе Особой и доблести
Горячие песни поют.

И пусть только белый попробует,
Протянет к нам лапу свою,
Коротким ударом Особая
Его опрокинет в бою.

4.

Так стой же, друзьями любимая,
Границы Союза храня,
Железная, непобедимая,
Особая — наша броня.

И пусть только белый попробует,
Протянет к нам лапу свою,
Коротким ударом Особая
Его опрокинет в бою.

ПРИМЕЧАНИЯ

Алымов, Сергей — поэт. Автор известной песни «По долинам и по взгорьям».

Алексеев, Никандр Алексеевич, поэт. Р. 1892 г. Первые книги стихов Н. Алексеева вышли во Франции, куда он попал в 1915 г. с русскими войсками во время империалистической войны. Сибирская тематика занимает в творчестве Алексеева значительное место. Отдельным изданием в Сибири напечатан сборник «Избранные стихи», 1933 г. Печатался Н. Алексеев в сборниках «Выстрел», «Шаги», «Сибирь колхозная», в журн. «Сибирские огни». Стихотворение «Партизанская пушка» перепечатывается из журн. «Сибирские огни» № 1, 1935 г.

Асеев, Николай Николаевич (р. 1889), поэт. Несколько лет жил на Дальнем Востоке.

Стих. «Владимирский тракт» перепечатывается из книги Н. Асеева — «Избранные стихи», Москва, 1933 г., а отрывок из стихотворных примечаний к материалам по истории гражданской войны «Семен Проскаков» — из книги Ник. Асеева «Семен Проскаков», Москва, 1937.

Бальдауф, Федор Иванович (р. 1800, умер в 1842 г.). Родился в семье горного чиновника Нерчинских заводов. По окончании горного корпуса в Петербурге, служил в Нерчинске на заводе и преподавал русский язык в горном училище.

Ф. И. Бальдауф начал писать стихи еще в корпусе и печатался в журналах с начала 20-х гг. Незаслуженно забытый поэт пушкинской поры — Ф. И. Бальдауф, возвратившись в Сибирь, писал очень много, но почти все его произведения, за исключением опубликованных его сослуживцем-поэтом А. Таскиным (в сборнике «Воспоминания бывших питомцев горного института», СПБ. 1873 г.), до нас не дошли и, видимо, пропали. Лучшими произведениями Ф. И. Бальдауфа являются романтическая поэма «Авван и Гайро» (1834 г.), названная автором «тунгусской повестью», стих.—«К бурятке», «Вечер на берегу Байкала», «Кузнец» и др.

«К бурятке» перепечатывается из сборника «Воспоминания». Помещается оно, а также отрывок из романа Калашникова и поэма Бестужева-Марлинского — как образец романтической литературы о Сибири.

Бажан, Микола — современный украинский поэт. Его поэма о С. М. Кирове охватывает период жизни и работы Сергея Мироновича в Томске, Баку и Ленинграде. Бажан начинает свою поэму с показа событий 1905 года в Томске, вооруженную демонстрацию 20 октября и роль в ней молодого С. М. Костирикова—Кирова. Во время демонстрации гибнет друг Кирова, молодой печатник Иосиф Кононов, несший знамя на демонстрации. Перед смертью он успевает спрятать знамя у себя на груди. Киров с рабочим Иваном Лисовым идут в анатомический театр, где находится труп Кононова, выручать знамя.

Первый отрывок дается в переводе Н. Ушакова, второй — Б. Турчанова.

Бахметьев, Владимир Матвеевич (р. 1885 г.). Много лет жил в Сибири, где в 1911 г. напечатан первый его рассказ (в газете «Обская жизнь»). Сотрудничал в ряде сиб. газет и журналов, автор ряда романов, повестей, рассказов. Собрание сочинений Бахметьева выпущено в 1927 г. издательством «Земля и Фабрика» в 3-х томах, из них 1-й том — рассказы из сибирской жизни. Рассказы «На земле» (1916 г.) и «Волчий марш», (печатается с сокращениями) перепечатываются из сб. избранных произведений В. Бахметьева «Шаги» (М. 1933 г.).

Березовский, Феоктист Алексеевич. Род. в Омске в 1877 г. Литературную работу начал с 1900 г. в сибирских газетах. В 1922 г. принял участие в организации журнала «Сибирские огни». Автор ряда романов, повестей и рассказов из сибирской жизни: «Бабьи тропы», «Варвара», «Мать», «Таежные застрельщики», «Стрелочник Гранкин» и др. Собрание сочинений Ф. А. Березовского выпущено в 1929 г. издательством «Земля и Фабрика». Рассказ «Праведник» (с небольшими сокращениями) перепечатывается из 1-го тома собр. сочинений.

Бестужев-Марлинский, Александр Александрович (1797—1837). Писатель-декабрист. Пробыл в сибирской ссылке с 1827 по 1829 г. (Якутск), после чего был переведен в кавказскую армию, где и был убит в бою у мыса Адлер (к югу от Сочи).

Автор многочисленных романов и повестей, пользовавшихся большой популярностью.

Непродолжительное пребывание в Сибири оставило след в его творчестве. Бестужев написал ряд очерков из сибирской жизни («Исых», «Отрывки из рассказов о Сибири») и несколько стихотворений («Шебутуй», «Саатырь» — якутская баллада). В. Белинский, который относился вообще отрицательно к романам Марлинского, хвалил его сибирские очерки: «С похвалою должны мы упомянуть и о его собственно литературных статьях, каковы: «Отрывки из рассказов о Сибири», «Письмо к доктору Эрману», «Сибирские нравы», «Исых» и пр. Во всех этих статьях виден необыкновенно умный, блестяще образованный человек и талантливый писатель, и почти все они отличаются, в противоположность повестям, языком простым, живым и прекрасным без изысканности».

«Саатырь» перепечатывается нами из сборника «Поэты-декабристы» М. 1926 г.

Вересаев В. (псевдоним Викентия Викентьевича Смидовича), беллетрист, литературовед, публицист (р. 1867).

Как врач был мобилизован и полтора года пробыл на русско-японской войне (1904—1905). Русско-японская война отражена Вересаевым в ряде рассказов и в очерках «На войне». Из этих очерков помещаются отрывки, характеризующие положение на железной дороге в Сибири в конце 1905 года. Упоминаемый в очерках «революционный губернатор» Красноярска прапорщик Кузьмин — случайная фигура в революционном движении, не игравшая в Красноярске никакой руководящей роли.

Гарин (псевдоним) — **Михайловский,** Николай Георгиевич (1852—1906). Автор широко известных произведений: «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». Инженер-путеец, принимал участие в постройке сибирской железной дороги. Автор «Путевых очерков по Дальнему Востоку», «Войны», очерка «Карандашом с натуры», «Корейских сказок», «По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову». Полное собрание сочинений выпущено в издании А. Маркса в 1916 г. Из 4 тома этого издания и перепечатаны в настоящем сборнике отрывки из очерка «Карандашом с натуры».

Герцен, Александр Иванович (1812—1870). Выдающийся публицист и политический деятель, основатель русского вольного бесцензурного книгопечатания за границей. Ленин, характеризуя Герцена, писал, что «в крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени» (т. XV, стр. 464).

Перепечатываемый отрывок о сибирских помпадурах взят из крупнейшего произведения А. И. Герцена «Былое и думы».

Гончаров, Иван Александрович — известный русский писатель (1812—1891 г.). В 1852—54 гг. на фрегате «Паллада» совершил кругосветное путешествие и через Сибирь (Аян—Якутск—Иркутск) вернулся в Россию. Это путешествие описано им в книге «Фрегат Паллада» и в очерках «По восточной Сибири» («Русское обозрение» 1891 г.). Отрывки из «Фрегата Паллады» перепечатываются из полн. собр. соч. И. А Гончарова, т. 7, СПБ, 1899. Изд. А. Ф. Маркса.

Горький, Максим, Великий пролетарский писатель (1868—1936). Отрывок из 3 акта пьесы «На дне» перепечатывается из собрания сочинений М. Горького, т. V изд. 1929 г. Легенда о «Праведной земле» (Беловодье), о которой рассказывает в пьесе странник Лука, бытовала среди безземельного и малоземельного угнетенного крестьянства и о ней было много народных сказаний и литературных произведений. Земля эта предполагалась в Сибири. В XIX веке делался ряд попыток отыскать Беловодье, в частности, известны попытки алтайских крестьян Бухтарминской волости. Попытки переселения в Беловодье известны в 1825—26, 1840, 1858, 1861 и 1869 гг. В 1862 г. в Усинский край явились в поисках Беловодья «бегуны» или «странники» из Ишимского и Ялуторовского округов Тобольской губернии и основали село В-Усинское.

Давыдов, Дмитрий Павлович, р. в 1811 г. в г. Ачинске. Был учителем и смотрителем училищ в Троицкосавске, Якутске и Верхнеудинске. Выйдя в отставку в 1860 г., жил в Иркутске и в Тобольске, лишившись зрения.

В 1856 г. в Казани было напечатано отдельной брошюрой стихотворение Давыдова «Амулет». В 1857—1859 гг. в газете «Золотое руно», издаваемой в Петербурге, было помещено несколько стихотворений, в том числе «Думы беглеца на Байкале». В 1859 г. в Верхнеудинске издана поэма Давыдова «Шир Гуилгуху или волшебная скамеечка», и в 1871 г., в Иркутске, — «Поэтические картины».

Стихотворение «Думы беглеца на Байкале» приобрело широкую известность и стало массовой народной песней, подвергаясь изменениям. Долгое время имя

автора этого стихотворения было забыто и только в конце 20-х гг. настоящего столетия оно было точно выявлено.

Стихотворение «Думы беглеца на Байкале» дается по первоначальному тексту Д. П. Давыдова (сб. «Песни русских поэтов», XVIII — первая половина XIX века. Серия «Библиотека поэта». Изд. «Советский писатель». 1936 г.).

Достоевский, Федор Михайлович. Известный русский писатель (1821—1881 г.). За участие в группе Петрашевского осужден на каторжные работы и с 1849 по 1859 г. находился в Сибири — сначала 4 года в Тобольской и Омской каторжных тюрьмах, а затем в Семипалатинске—рядовым (2 года) и прапорщиком. Обстановка каторжной жизни и быта заключенных описаны в книге «Записки из Мертвого дома».

В Сибири Достоевским написаны рассказы «Село Степанниково», «Дядюшкин сон», начаты «Записки из Мертвого дома» и задуман роман «Идиот».

С каторги Достоевский вышел с расшатанным здоровьем и обострившейся падучей болезнью, но примиренный с существующим общественно-политическим строем и проникнутый чувством христианского «смирения».

В настоящей книге мы печатаем отрывок из «Записок из Мертвого дома» по отдельному изданию (Л. — 1935 г. Гос. изд-во «Художественная литература»).

Елпатьевский, Сергей Яковлевич (1854—1933) писатель, врач, участник народнической группы журнала «Русское Богатство». В Сибири провел в ссылке 3 года. Сибирь дала богатый материал для художественных произведений Елпатьевского. Сочинения Елпатьевского вышли в 3-х томах в изд-ве «Знание» (СПБ, 1904). Сибирские очерки и рассказы составляют содержание I тома. Несколько раз переиздавались его «Очерки Сибири». Рассказы «Абаканская степь» и «Отлетает мой соколик» (последний — с небольшим сокращением) перепечатываются из 3-го издания книги Елпатьевского «Очерки Сибири», СПБ, 1901 г.

Ершов, Петр Павлович (1815—1869) — писатель. Род. в с. Безруковом (около Ишима), детство провел в захолустном городке дальнего севера — Березове, учился в Тобольской гимназии, окончив которую поступил в Петербургский университет. Студентом написал сказку «Конек-Горбунок», получившую большую популярность. Успех сказки ввел Ершова в литературную среду, он был знаком с А. С. Пушкиным, который ценил сказку.

После окончания университета Ершов вернулся в Сибирь преподавателем в Тобольск, где и умер. Кроме «Конька-Горбунка» Ершов написал ряд стихотворений и поэму «Сузге», напечатанную в «Современнике» (1838 г.). Поэму «Сузге» мы перепечатываем с некоторыми сокращениями из «Сибирского сборника» (кн. I, 1886 г.), стихотворение «Желание» — из сборника, изданного «Советским писателем» в 1936 г.

Жижка М. — автор книги «А. Радищев» — М. 1934 г. См. примеч. к слову — Радищев.

Залка, Матэ. Венгерский пролетарский писатель. (1896—1937). Мобилизованный во время империалистической войны, он в 1916 г. попал в плен в Россию и жил в Сибири. Был активным участником гражданской войны. Автор ряда произведений о гражданской войне в России и революционном движении на Западе. Героически погиб в Испании в борьбе с фашистами в 1937 г. Рассказ «Третий» перепечатывается из журнала «Сиб. огни» за 1935 г., № 6.

Иванов, Всеволод Вячеславович. Род. 1895 г. в Сибири, в семье учителя. Юность провел в скитаниях, переменив массу профессий. В литературной учебе его деятельное участие принимал М. Горький.

Произведения В. Иванова, посвященные гражданской войне в Сибири, — «Бронепоезд 14-69», «Партизаны», «Цветные ветра», «Голубые пески» — получили известность и неоднократно переиздавались. В. Иванов — автор многочисленных рассказов, повестей, романов. Собрание его сочинений издано ГИЗом в 1928—1931 гг., в 7 томах. В автобиографическом романе «Похождения факира» (ч. 1 вышла в 1934) В. Иванов дает ряд картин дореволюционной Сибири. В книге помещены отрывки из «Бронепоезда 14-69» и «Похождения факира».

Калашников, Иван Тимофеевич (1797—1863). Сын чиновника, по окончании иркутской гимназии работал чиновником в Иркутске и Тобольске. В 1823 г. покинул Сибирь, переехал в Петербург, где работал на различных должностях, совмещая эту работу с работой преподавателя русской словесности. Вышел в отставку в чине тайного советника в 1859 г. В 1831 г. выпустил свой первый роман: «Дочь купца Жолобова», написанный по материалам иркутских преданий. В 1833 г. вышел его второй роман — «Камчадалка» и в 1834 г. — повесть «Изгнанники». Романы Калашникова пользовались в свое время большой популярностью и переиздавались.

А. С. Пушкин в письме к Калашникову (1833 г.) писал о его романах «Дочь купца Жолобова» и «Камчадалка»: «Ни одного из русских романов не прочитывал я с большим удовольствием. «Камчадалка» не ниже вашего первого произведения».

В. Г. Белинский в своей рецензии на третье издание романа «Дочь купца Жо-

лобова» отнесся к роману отрицательно: «Гораздо лучше бы поступил Калашников, если б вместо плохого романа составил что-нибудь вроде записок о Сибири... Г. Калашников, как видно из его романа, хорошо знает Сибирь и любит ее, описания его бывают увлекательны и живы: знак, что он мог бы написать хорошую книгу»... (Полн. собр. соч. СПБ. 1904 г. т. VII).

Изданный в 1841 г. роман Калашникова «Автомат» успеха не имел. Калашников оставил воспоминания, напечатанные только в 1905 г. (Русская старина. 1905 г. №№ 7, 8 и 9).

М. Горький в автобиографической повести «В людях» (гл. 2-я) вспоминает о чтении романа «Камчадалка».

Отрывок из романа «Дочь купца Жолобова» перепечатывается из журнала «Московский Телеграф», издававшегося Николаем Полевым (1831 г., № 23). К этому отрывку было предпослано следующее примечание издателя: «Сей роман уже печатается и будет вскоре выдан. С удовольствием помещаем отрывок из оного в Телеграфе, желая познакомить предварительно публику с произведением, достойным ее внимания».

Отрывок этот помещается как характерный образец литературы о Сибири того времени (многочисленные романы Полевого, Калашникова, Авдеевой, Щукина и др.).

Караваева, Анна Александровна. Род. в 1893 г., в Перми. Несколько лет работала в Сибири (Барнаул), где в 1921 г. началась ее литературная работа. Первый рассказ—«Под искрами» — напечатан в 1921 г., в барнаульском альманахе «Сноп». В 1922 г. выпустила книгу стихов «Чертополошье». В 1923 г. поместила в журнале «Сибирские огни» рассказ «Флигель», а в 1925 г., там же, первое крупное произведение — «Золотой клюв» — повесть о дальних днях, о прошлом Алтая. А. А. Караваева — автор ряда романов, повестей, очерков («Лесозавод», «Двор», «Юность на Грязной», «Записки каторжника», «Крутая ступень» и др.).

Короленко, Владимир Галактионович, известный писатель, публицист (1853—1921). В 1879 г. выслан в Вятскую губернию за революционную деятельность. В 1887 г. за отказ принести присягу царю Александру III после казни Александра II, Короленко был сослан в Якутскую область, где прожил три года. Сибирь в творчестве Короленко сыграла исключительно большую роль. В. Г. Короленко начал литературную работу еще до сибирской ссылки, но лишь в Сибири он оформился как писатель. Здесь, в ссылке, им задуманы, вынашены и отчасти написаны лучшие произведения. Сибирь дала ему богатый запас ярких художественных впечатлений, к которым писатель возвращался почти всю свою жизнь. Первое произведение Короленко из сибирской жизни «Сон Макара», напечатанное по возвращении его из ссылки в 1885 г., доставило автору огромную известность. В 1886 г. вышла в свет первая книга рассказов Короленко, куда вошли главным образом его сибирские произведения («Сон Макара», «Соколинец», «Очерки сибирского туриста», «В подследственном отделении»). Затем в журналах и в отдельных изданиях печатаются сибирские рассказы: «Черкес», «По пути», «Ат-Даван», «Марусина заимка», «Последний луч» и многие другие.

В 3 и 4 томах «Истории моего современника» В. Г. Короленко дал описание ссылки. Рассказ «Искушение» (написан в 1897 г. для журнала «Космополис», не цензурой не был пропущен. Напечатан впервые в 1905 г. в журн. «Русское богатство») и «Воспоминания о Чернышевском» перепечатываются (с сокращениями) из полного собрания сочинений В. Г. Короленко, изд. А. Маркса, 1914 г., отредактированного самим автором.

Крупская, Надежда Константиновна. Р. в 1869 г. Являлась активным членом Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В 1898 г. поехала в ссылку в Сибирь, в село Шушенское, где находился В. И. Ленин. Вся дальнейшая жизнь и работа Н. К. Крупской тесно связана с партией большевиков и революционной работой В. И. Ленина. Отрывок из ее воспоминаний о В. И. Ленине перепечатывается из сборника «О Ленине» — М. 1933 г.

Куйбышев, Валериан Владимирович. Один из видных руководителей большевистской партии и советского правительства. Р. в 1888 г., в Омске. Революционную деятельность начал с 1904 г. и как профессионал-революционер работал в Сибири, Петербурге и Поволжье. Неоднократно арестовывался и высылался (в Нарымский край, Иркутскую губернию, в Туруханский край).

После Октябрьской социалистической революции В. В. Куйбышев был председателем Самарского губисполкома и членом Реввоенсовета. Работал на Туркестанском фронте, а с 1920 г. в Москве — в ВЦСПС, в ВСНХ. Был членом ЦК ВКП(б), работал председателем ЦКК и народным комиссаром РКИ, председателем ВСНХ, председателем Госплана СССР, заместителем председателя Совнаркома СССР, членом Политбюро ЦК.

Перепечатываемый отрывок взят из книги В. В. Куйбышева «Эпизоды моей жизни».

Кущевский, Иван Афанасьевич (1847—1876). Род. в Барнауле или Ачинске (точных данных нет), учился в томской гимназии. В 1864 г. приехал в Петербург, где вел полуголодную жизнь. Работал грузчиком, матросом, кузнецом, одновре-

менно слушал лекции в университете в качестве вольнослушателя. Находясь в больнице («Я продаю больничные порции, чтобы покупать свечи; часто сижу голодный и работаю. Но дело подвигается вперед слишком медленно, вечера темные, денег нехватает на свечи»), написал известный, пользовавшийся большой популярностью роман «Николай Негорев или благополучный россиянин» (печатался в «Отечественных записках» в 1871 г.). В романе этом И. А. Кущевский поставил один из жгучих вопросов современности — ренегатство части демократической интеллигенции.

Кроме романа, Кущевский написал (под псевдонимом «Хайдаков») ряд рассказов, очерков и фельетонов. («Маленькие рассказы». СПБ, 1875 г., «Неизданные рассказы», СПБ, 1888).

Отрывок из романа «Николай Негорев», описывающий гимназическую учебу Негорева (в этом описании — много автобиографического), дается из отдельного издания романа (М. Госиздат, 1923 г.). Отрывок из очерка «Не столь отдаленные места Сибири» — из журнала «Отечественные записки» т. CCXXI, СПБ, 1875, где очерк И. А. Кущевского помещен под псевдонимом «Хайдаков».

Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (1797—1846). Декабрист, поэт, близкий друг А. С. Пушкина. Смертная казнь, к которой был приговорен Кюхельбекер за участие в восстании декабристов, была заменена 15-летним заключением. Проведя 10 лет в тюремном заключении, он был выслан в Сибирь (Баргузин, Акша — в Восточной Сибири, Курган, Тобольск — в Западной Сибири). Умер в Тобольске. Автор ряда стихотворений, поэм, пьес. «Полное собрание сочинений» Кюхельбекера, изданное в 1908 г., далеко не полно и малоудовлетворительно тестологически. «Дневник» Кюхельбекера напечатан в 1929 г.

Стихотворение «19 октября 1836 г.», посвященное годовщине открытия Царскосельского лицея, где Кюхельбекер учился вместе с А. С. Пушкиным, и стихотворение «Аргунь», написанные в сибирской ссылке, мы перепечатываем из сборника «Поэты-декабристы» (Москва, 1926 г.).

Описание жизни Кюхельбекера в Сибири дано в романе Ю. Тынянова «Кюхля» (глава этого романа — «Конец» — помещена в этой книге).

Луговской, Владимир Александрович — современный советский поэт. Родился в 1901 г. Печататься начал в 1925 г. Имеет ряд книг стихов. Стихи о Сибири являются единичными в его творчестве. Помещенные в сборнике стихи перепечатаны из книги «Мое поколение», 1933 г.

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович — бытописатель Урала и сибирского Зауралья (1852—1912). Автор ряда крупных романов: «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца», «Братья Гордеевы», «Золото», «Хлеб», сборника «Сибирские рассказы» и др. В своих романах Мамин-Сибиряк берет переходную пореформенную эпоху 70—90 годов — период роста и хищнического развития русского капитализма. Ленин так характеризовал творчество Мамина-Сибиряка: «В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России» (т. 3, стр. 379).

Рассказ «Сибирские орлы» перепечатывается из собрания сочинений Мамина-Сибиряка в издании А. Маркса, 1916 г.

Мачтет, Григорий Александрович (1852—1901)—писатель-народник. В Сибири в качестве ссыльного провел около 4-х лет, написал романы «Блудный сын», «И один в поле воин» и ряд рассказов из сибирского быта («Мирское дело», «Вторая правда», «Мы победили», «Сон одного заседателя», «В тайге и тундре» и др.). Основной тематикой рассказов Г. Мачтета о Сибири является тяжелое, бесправное положение крестьянства, произвол чиновничества. Полное собр. соч. Г. А. Мачтета вышло в 1911 г., в изд. «Просвещение». Рассказ «Сон одного заседателя» перепечатывается из сборника повестей и рассказов Г. А. Мачтета, М. 1887.

Мисюрев, Александр Александрович. Р. в 1909 г., печататься начал с 1929 г. в «Сиб. Огнях». Отдельным изданием выпущен рассказ «Четвертый горновой» и книга исторических рассказов «Бергалы». (Новосибирск, ОГИЗ, 1937 г.). Рассказ «О плавильщике руд Иване Зажигайлове» перепечатывается из сборника «Бергалы».

Михайлов, Михаил Ларионович (1829-1865) — популярный поэт и публицист, блестящий переводчик Гейне, Беранже, Томаса Гуда, Гете, Шиллера, древнегреческих поэтов, сотрудник «Современника». «Он очень умная и дельная голова» — писал о нем Н. Г. Чернышевский. Принимал участие (вместе с Н. В. Шелгуновым) в составлении и распространении прокламации «К молодому поколению». В 1861 г. был арестован и приговорен к ссылке в каторжные работы на 6 лет. Умер в Кадае (Нерчинская каторга). С момента ареста имя его стало запретным и исчезло со страниц журналов и сборников. Запрещенный цензурой сборник переводов Михайлова вышел в 1862 г., в Берлине. В 1866 г. было предано сожжению издание его переводных стихотворений. Наиболее пол-

ное издание стихотворений Михайлова (529 стихотворений) вышло в 1934 г. (изд. „Academia"), откуда мы и перепечатываем два его стихотворения.

1) «Крепко, дружно вас в об'ятья» написано в 1861 г. в Петропавловской крепости и впервые опубликовано в «Колоколе» Герцена в 1862 г.

2) «Смело, друзья! Не теряйте...» впервые опубликовано в Лондоне в «Свободных русских песнях», изданных Герценом и Огаревым. Это стихотворение написано было также в Петропавловской крепости, а затем с различными изменениями печаталось в ряде нелегальных изданий.

Сибирские мотивы имеются в ряде оригинальных стихотворений Михайлова.

Михеев, Василий Михайлович (1859—1908)—поэт и беллетрист. Род. в Иркутске. Юность провел в Сибири, где и началась его литературная деятельность. В 1884 г. выпустил первую книгу — «Песни о Сибири», написал несколько пьес («Тайга», «По хорошей веревочке»), роман «Золотые россыпи», ряд рассказов. Произведения Михеева печатались в журналах «Русское богатство», «Сибирский сборник», в газете «Восточное обозрение» и выпускались отдельными изданиями. В. М. Михеев оставил ряд ценных, резких обличительных произведений, с большим сочувствием рисующих быт национальностей Сибири, политических ссыльных, горнорабочих, переселенцев. Мы помещаем в книге несколько стихотворений В. М. Михеева, взятых нами из сб. «Песни о Сибири» (Москва, 1884 г.) и «Отголоски Сибири» — сб. стихотворений разных авторов (Томск, 1889 г.).

Мухачев, Илья Андреевич, — поэт. Род. в 1896 г. Печататься начал с 1925 г. в газетах, в журнале «Сибирские огни», в сборниках и альманахах. Отдельными изданиями вышли книги его стихов: «Чуйский тракт» (1926 г.), «На горном пути» (1934 г.), поэма «Путем коллектива» (1934 г.), «Лирика» (1936 г.), «Край родной» (1938 г.). В настоящем сборнике печатается его поэма «Сайгалата».

Наумов, Николай Иванович (1838—1901) — писатель-народник. Сын тобольского чиновника. Учился в томской гимназии. В 1856 г. поступил в юнкерское училище. В 1860 г. переехал в Петербург, где слушал лекции в университете, но вскоре был арестован за участие в студенческой демонстрации и заключен в Петропавловскую крепость. В 1862 г. сблизился с каракозовцами, вновь был арестован по подозрению в участии в обществе «Земля и воля», но через два месяца освобожден за недоказанностью. В 1864 г. переезжает в Сибирь, где вновь подвергается аресту. Литературную деятельность начинает еще юнкером, но расцвет ее относится к концу шестидесятых, началу семидесятых годов прошлого столетия. В 1871 г. появляется его рассказ «Деревенский торгаш», в 1872 г. — «Юровая», в 1873 г. — «Крестьянские выборы», «Мирской учет», «Еж», в 1874 г. выходит сборник рассказов «Сила солому ломит», в 1881 г. — второй сборник его рассказов «В тихом омуте» и в 1882 г. третий сборник — «В забытом краю».

Г. Плеханов писал о Наумове: «В семидесятых годах Н. И. Наумов пользовался огромной популярностью в самых передовых слоях нашей народнической (тогда самой передовой) интеллигенции. Его произведениями зачитывались. Особенный успех имел сборник «Сила солому ломит».

Народники в своей пропагандистской работе пользовались рассказами Наумова. Рассказы Наумова освещали волнующие вопросы об эксплоатации крестьянства кулаками, о произволе чиновничества, призывали к активному протесту против кулаков и чиновников.

Популярность Н. Наумова была яркой, но не длительной. Это было вполне естественно. Наумов не был большим художником слова. Популярность его в 70 годах об'ясняется тем, что он выражал взгляды и чаяния народников, но по мере того, как жизнь опрокидывала теории народников, интерес к произведениям Наумова быстро падал. Однако, творчество Н. Наумова остается ценным и в наше время, как освещающее дореволюционный быт сибирского крестьянства.

Перепечатываемые в этом сборнике отрывки из рассказов Н. Наумова «Деревенский торгаш», «Еж», и «Горная идиллия» взяты из книги «Рассказы о старой Сибири» в издании Зап. Сиб. ОГИЗ'а, 1937 г.

Некрасов, Николай Алексеевич (1821—78) — один из крупнейших русских поэтов. Его стихотворная повесть — «Княгиня Волконская», отрывок из которой мы печатаем в сборнике, имела, по словам самого Некрасова, «такой успех, которого не имело ни одно из моих прежних писаний». «До сих пор «Трубецкая» и «Волконская» были известны под заглавием «Русские женщины», — пишет К. Чуковский в примечаниях к однотомному «Полному собранию стихотворений» Некрасова. — Это заглавие пора изменить, т. к. оказывается, что на том автографе, который предназначался к печати, рукой Некрасова написано другое заглавие: «Декабристки».

В 1826 году декабристы были сосланы в Сибирь. Вскоре за ними последовали их жены: Муравьева, Ивашева, Трубецкая, Нарышкина, Розен, Волконская, Анненкова, Ентальцева, Юшневская. Избалованные светские женщины, смолоду

вращавшиеся в придворных кругах, добровольно отреклись от богатств и почестей, чтобы разделить со своими мужьями унизительную жизнь на каторге, хотя закон освобождал их от брака с «преступниками». Николай I, опасаясь, что их подвиг усилит в русском обществе сочувствие к сосланным, принял жестокие меры, дабы помешать их намерению. В пути их обыскивали, на станциях им не давали лошадей, в Иркутске заставили подписать отречение от прав.

Но декабристки не испугались угроз: на всю жизнь поселились они в Сибири и вернулись оттуда старухами. Впрочем, вернулись не все: Муравьева, Ивашева и Трубецкая погибли.

В поэмах «Кн. Трубецкая» и «Кн. Волконская» Некрасов воспел смелых, самоотверженных декабристок. Обрадованный небывалым успехом «Волконской», Некрасов задумал новую поэму о декабристах и набросал уже ее план. Согласно этому плану, стихотворная повесть о Трубецкой и Волконской должна была занять в поэме скромное место пролога; все ее десять глав изображали жизнь этих самоотверженных женщин в Сибири, причем героиней поэмы должна была стать Муравьева, умершая в Петровской тюрьме через несколько лет после прибытия в Сибирь. Но «цензурное пугало» помешало осуществить эти замыслы. (Заимствовано из примечаний К. Чуковского — ред.).

Новиков-Прибой, Алексей Силыч. Р. 1877 г. Автор популярного романа «Цусима» и ряда рассказов. Во время гражданской войны некоторое время жил в Сибири. Гражданская война в Сибири дала А. С. Новикову-Прибой материал для нескольких рассказов. Мы перепечатываем отрывок из рассказа «Зуб за зуб», помещенного в сборнике рассказов А. С. Новикова-Прибой — «Две души» (8-е издание, М. 1935 г.).

Одоевский, Александр Иванович (1802—1839) — поэт-декабрист. За участие в восстании декабристов был сослан в Сибирь (Чита, Петровский завод). Затем был переведен рядовым на Кавказ, где и умер от лихорадки.

Печатался при жизни мало. Текст стихотворения «А. С. Пушкину» нами перепечатывается из издания стихотворений А. Одоевского в серии «Библиотека поэта», изд. «Советский писатель», 1936 г. Стихотворение это написано в читинском остроге в 1827 г. в ответ на послание Пушкина декабристам «В Сибирь».

Впервые оно напечатано за границей в 1858 г. за подписью «Искандер», а в 1861 г. за подписью Одоевского. В России полный текст напечатан только в 1910 г.

Стих «Из искры возгорится пламя» послужил эпиграфом для ленинской «Искры».

Стих 11 печатался иногда: «И православный наш народ».

Стихи 14—15:

«И вновь зажжем огонь свободы —
И с нею грянем на царей...»

Омулевский (псевдоним Иннокентия Васильевича Федорова) (1836—1883). Р. в Петропавловске на Камчатке. Детство и юность провел в Иркутске, откуда переехал в Петербург. Принимал участие в демократических журналах — «Современнике», «Искре», «Деле» и др. Литературная деятельность Омулевского началась с 1857 г., когда в Петербурге вышла его книга «Мицкевич в переводе Омулевского». Книга эта встретила холодный прием. Четыре года Омулевский не печатал ничего. С 1861 года его стихи и рассказы начинают появляться в столичных и сибирских изданиях.

В 1870 г. в журнале «Дело» был напечатан его роман «Шаг за шагом», вышедший затем отдельным изданием под заглавием «Светлов, его взгляды, характер и деятельность». Роман имел огромный успех и был запрещен царской цензурой. Действие романа происходит в Сибири; одно из центральных мест романа — выступление рабочих на стекольном и суконном заводе (этот эпизод дается в настоящей книге).

Кроме романа «Шаг за шагом», Омулевский написал роман «Попытка — не шутка» (не закончен) и ряд рассказов: «Сибирячка», «Медные образки», «Сутки на станции» и др. Книга стихов Омулевского «Песни жизни» вышла в конце жизни писателя (1883 г.).

Омулевского часто называли «отцом сибирской поэзии», хотя сибирские мотивы не являются основными в его творчестве. Лирика Омулевского — с ярко выраженным гражданским характером. Одно время Омулевский был близок к сибирским областникам.

Произведения Омулевского издавались неоднократно. Полное собрание его сочинений вышло в 1906 г. (изд. А. Ф. Маркса) и сборник сочинений (2 тома) в 1936 и 1938 гг., в изд. Вост.-Сиб. Краевого издательства в Иркутске, из которого мы и помещаем несколько стихотворений. Отрывок из романа «Шаг за шагом» дается нами по изданию Госиздата, М. 1923 г.

Петров, Иван Матвеевич, один из первых поэтов Сибири. Повидимому, уроженец Иркутска (точных данных нет). В 20-х гг. служил чиновником в Красноярской казенной палате. В 1828 г. он выпустил в Красноярске сборник произведений «Енисейский альманах» (сборник печатался в Москве). Это был первый

печатный памятник «сибирской поэзии» (В тобольском журнале XVIII в. «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», Сибирь не имела никакого отражения).

В «Енисейском альманахе» было помещено 14 стихотворений И. М. Петрова. С начала 30-х гг. И. М. Петров печатался в «Телескопе», «Сыне отечества», «Московском вестнике» и др. журналах и газетах. В 1833 г. И. М. Петров издал свои стихотворения отдельной книжкой.

Литературное наследство И. М. Петрова невелико. Сибири посвящены у него только пять стихотворений: «Моя родина», «К Енисею», «Ночь на Енисее», «Картины из времен завоевания Сибири», «Гадание тунгусов».

Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837) — великий русский писатель.

Его послание декабристам («В Сибирь»), находящимся в каторжных работах, написано в конце 1826 или начале 1827 г. Через жену декабриста Н. Муравьева—А. Г. Муравьеву — оно было послано заключенным.

На послание Пушкина ответил Одоевский стихотворением «А. С. Пушкину».

Пушкарев, Глеб Михайлович — беллетрист. Р. в 1889 г. Печатается в «Сибирских огнях», в детских журналах, в детских альманахах. Отдельными изданиями вышли книги для детей: «Яшка таежник» (1925 и 1928 гг.), «Советчик» (1926 г.), «Большак» (1928 г.), «В хребтах Алтая» (1930 г.), «Отряд партизана Ломова» (1934 г.). В 1938 году вышла в издании Новосибоблгиза повесть «Восстание», из которой и взят отрывок для настоящей книги.

Пузырев, Иван Васильевич. Бывший рабочий Ленских приисков, участник событий 1911 г. Перепечатываемый очерк взят из «Сибирских огней» № 5 за 1932 год.

Радищев, Александр Николаевич (1749—1802) — один из первых писателей, провозгласивший идеи буржуазной революции в России и резко выступивший против самодержавия, крепостного права и дворян-крепостников. За свое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Ссылку проводил в Илимском остроге (Восточная Сибирь).

По дороге в Сибирь (1790) и на обратном пути (1797) Радищев вел путевые записки («Записки путешествия в Сибирь» и «Дневник путешествия из Сибири»).

Мы даем из «Записок путешествия в Сибирь» все записи, относящиеся к пути от г. Тобольска до конца путешествия (30 июля — 20 декабря), по изданию: «А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II. М. 1907 г. Изд. В. М. Саблина». Для удобства чтения нами допущены в тексте некоторые исправления (транскрипция, знаки препинания).

О пребывании Радищева в сибирской ссылке в настоящей книге печатается отрывок из книги М. Жижка «Радищев».

Н. Ростов — автор книги «Жизнь и смерть Костюшко-Валюжанича», одного из видных революционеров-большевиков.

Костюшко был офицером, в 1897 г. вышел в запас, поступил в с.-х. институт, откуда был исключен. За участие в демонстрации 1901 г. в Екатеринославе сослан на 5 лет в Якутскую область. В 1904 г. в Якутске ссыльные организовали вооруженный протест против губернатора. Активное участие в протесте принимал А. А. Костюшко (Валюжанич), за что и был приговорен к 12 годам каторги. После восстания 1904 г., приговоренный к каторге, бежал в Читу под фамилией Григоровича. В 1905 году, будучи председателем Читинского совета рабочих и казачьих депутатов, руководил вооруженным восстанием. В 1906 г., после занятия Читы карателями, был арестован и расстрелян.

Перепечатываемый отрывок взят из книги Н. Ростова «Жизнь и смерть Костюшко-Валюжанича» в издании Жургазоб'единения, М. 1936 г.

Рылеев, Кондратий Федорович (1795—1826). Декабрист-поэт. За участие в восстании декабристов повешен в 1826 г. вместе с другими четырьмя осужденными.

С 1821 г. начал печатать в разных журналах и альманахах «Думы», в которых проводил свои общественно-политические взгляды. Вместе с декабристом А. А. Бестужевым-Марлинским издавал альманах «Полярная звезда». На почве литературных интересов сблизился с А. С. Пушкиным. Поэзия Рылеева выражала стремления крайнего революционного крыла декабристов. О поэме «Войнаровский», напечатанной в 1825 г., А. С. Пушкин говорил, что в ней слог Рылеева «возмужал и становится истинно повествовательным».

Из произведений К. Ф. Рылеева, имеющих отношение к Сибири, известны:

1. «Смерть Ермака» (из «Думы»)—стихотворение, впервые опубликованное в «Русском инвалиде» 17 января 1822 г., № 14. Стихотворение это стало массовой песней и без имени автора неоднократно перепечатывалось (в различных вариациях) в песенниках.

2. Поэма «Войнаровский» (Войнаровский — один из сподвижников Мазепы сосланный в якутскую ссылку. Миллер — встреча которого с Войнаровским опи-

сывается в поэме — известный путешественник и историк (1705—1783). Поэма эта была издана при жизни автора.

3. Незаконченные варианты на тему «Меньшиков в Березове».

Мы помещаем стихотворение «Смерть Ермака» по тексту, данному в наиболее полном собрании стихотворений К. Ф. Рылеева. (Библиотека поэта. К. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Изд-во писателей в Ленинграде. 1934 г.).

Саянов, Виссарион Михайлович (псевдоним В. М. Махнина) — современный советский поэт. Родился в 1903 г. Печататься начал в 1924 г. Стихотворение «Старый Иркутск» перепечатывается из книги стихов В. Саянова «Лирика», Л. 1937 г.

Сейфуллина, Лидия Николаевна. Р. 1889. Писать начала в Сибири. Первые ее произведения были напечатаны в журнале «Сибирские огни». Ряд романов, повестей и рассказов («Правонарушители», «Перегной», «Виринея» и др.), написаны на сибирском материале. Рассказ «Линюхина Степанида» перепечатывается из IV тома собр. сочин. Л. Сейфуллиной М—Л. 1926 г., изд. Госиздата.

Станюкович, Константин Михайлович (1844—1903), писатель, автор многочисленных «морских рассказов», романов, повестей. С 1885 г. был 3 года в ссылке в Сибири (Томская губ.). Наблюдение над нравами ссыльных и «высшего» общества в Сибири дало К. М. Станюковичу материал для романа «В местах не столь отдаленных», отрывок из которого перепечатывается из полного собр. соч., изд. А. Ф. Маркса, СПБ, 1907 г. (т. 8-й).

Смердов, Александр Иванович — поэт. Р. в 1910 г. Печатается в журнале «Сиб. огни», в сборниках и газетах. Перепечатываемый отрывок взят из его поэмы «Товарищ Валериан».

Сорокин, Антон Семенович — писатель (1884—1928 г.). Род. в Павлодаре, в семье купца-старовера. Учился в омской гимназии. Много лет служил счетоводом в Упр. Омской ж. дороги. Писать начал с 1900 г. Печатался преимущественно в мелких сибирских газетах — в Петропавловске, Омске и др. городах, а позднее в журнале «Сибирские огни» и др. Литературное наследство, оставленное Сорокиным, количественно велико: сотни рассказов, очерков, пьес. При жизни писателя была опубликована лишь незначительная часть его произведений. Излюбленные темы Сорокина: быт национальностей Сибири (в частности казахов), борьба с шовинизмом и милитаризмом. В творчестве Сорокина не мало и нездоровых, упадочных настроений.

Рассказ «Саудакас» перепечатывается из «Сибирских огней», № 3, 1924 г.

Тан, Н. (Богораз) Владимир Германович, этнограф и беллетрист (1865—1936). Как член «Народной воли» был в 1899 г. выслан в Колымск, где начал заниматься этнографическими и лингвистическими наблюдениями среди местного населения. Был участником Якутской («Серебряковской») экспедиции. Автор ряда научных работ, был одним из видных работников Академии наук. Под псевдонимом Н. Тан, Богораз выступал как беллетрист и поэт. Первый сборник его рассказов («Чукотские рассказы») вышел в 1899 г., в 1900 г. — «Стихотворения». Основными темами рассказов Богораза являются быт туземцев и настроения политической ссылки. Богоразом написан роман «Восемь племен» — из древней жизни крайнего Северо-Востока. В художественных произведениях Богораз оставался по преимуществу этнографом.

Собр. художественных произведений Богораза вышло в издании «Просвещение» и в издании «Земля и фабрика» (1929 г.). Рассказ «На мертвом стойбище» перепечатывается из собр. соч. В. Г. Тан, т. 1, Чукотские рассказы, изд. ЗиФ. 1929 г.

Тачалов, Иван Иванович, — поэт-рабочий (умер в 1929 г., год рождения не установлен). Сибиряк, барнаульский рабочий, Иван Тачалов прошел страшную жизнь. М. Горький в одной из своих статей справедливо назвал его «человеком страшной жизни». Иван Тачалов — один из тех талантливых выходцев из народа, которых «капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами» (В. И. Ленин). Тачалов был одаренным поэтом. По его выражению, он «искры из себя высекал». Но, не имея ни угла для жизни, ни куска хлеба, он был вынужден жить по барнаульским притонам, в качестве музыканта. «Там мне удавалось устраиваться со своей поэзией то в конюшнях, то в банях — вспоминал Тачалов. — Мое образование началось в бане и завершилось там же... Мне приходилось простаивать целыми неделями на бирже труда, с готовностью поступить хотя в землекопы, но и это оказывалось недоступным».

Со дна жизни И. Тачалову удалось вырваться перед 1905 годом. Он работает картонажником, принимает активное участие в революционном движении 1905 г. в Барнауле. Он пишет сатирические стихи, которые быстро распространяются среди рабочих города. «Читал я рабочим свою поэму «Егорка» — вспоминал Тачалов — так рабочие на руках меня носили. Бывало гул стоит, ходуном все ходит, как только кончу. Со всех сторон кричат: вот это ловко, вот это здорово!».

В 1910 г. выходит его первая книжка стихов «Аккорды мысли», где наряду с бодрыми стихами, встречается много упадочнических. В 1929 г. издана автобиографическая «Мрачная повесть» с предисловием М. Горького.

Перепечатываемые нами стихотворение «Орлиная песня» и отрывок из «Мрачной повести» взяты из книги И. Тачалова «Избранные произведения» в издании Зап. Сиб. ОГИЗ'а, 1937 г.

Телешов, Николай Дмитриевич — беллетрист. Р. 1867 г. Сотрудник журналов «Мир божий», «Жизнь» и др. В «большую литературу» Телешов вошел очерками из жизни переселенцев в Сибирь. В восьмидесятые годы, в период самой жестокой общественной реакции, Телешов едет за Урал и «свежими, неискушенными глазами наблюдает движение переселенческой волны и создает ряд очерков и рассказов, просто, ясно, бесхитростно и удивительно непринужденно изображающих то, что он видел». Собрание сочинений Н. Д. Телешова выпущено в 4 томах в 1914—1917 гг. Рассказ «Нужда» перепечатывается из сборника «Избранные рассказы». «Художественная лит.», 1935 г.

Толстой, Алексей Константинович, граф (1817—1875), поэт, драматург и романист. Автор исторических трагедий (трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Феодор», и «Царь Борис»), исторического романа «Князь Серебряный, ряда стихотворений и политических памфлетов. Один из соавторов сочинений Кузьмы Пруткова. В Сибири не был. Его стихотворение «Колодники» (дата написания его неизвестна и стихотворение было опубликовано уже после смерти поэта) стало массовой народной песней. Мы перепечатываем ее по тексту книги: А. К. Толстой. Стихотворения. Библиотека поэта. Изд. «Советский писатель», 1936 г.

Толстой, Лев Николаевич (1828—1910) — великий русский писатель.

Для настоящей книги взят отрывок из романа Л. Н. Толстого «Воскресение» (по отдельному изданию — М., 1933).

Профессор Н. К. Гудзий в своей книге «Как работал Толстой» сообщает ряд интересных сведений о том, как Л. Н. собирал и изучал материалы для глав о Сибири.

Толстой привлекал к сбору материалов своих знакомых, читателей, сам непосредственно изучал быт заключенных, знакомился с соответствующей литературой, в частности изучал книги Н. Ядринцева, Л. Мельшина и др.

Толстой беседует со смотрителем Бутырской тюрьмы — Виноградовым, посещает квартиры тюремных надзирателей, выясняя подробности тюремного быта. Толстого прежде всего заинтересовал вопрос — имеют ли политические общение в тюрьме с уголовными. Получив на это отрицательный ответ, Толстой сказал: «То, что вы мне сообщаете, заставляет меня изменить план романа».

Профессор Гудзий пишет: «В период работы над пятой и шестой редакциями романа Толстой знакомится с жизнью и бытом заключенных в сибирских тюрьмах, в частности политических, не только по письменным сообщениям, доставлявшимся ему, но и по соответствующим книгам. В присланной ему И. Д. Сытиным книге Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке» (СПБ. 1872) многие места Толстым отчеркнуты карандашом. Впрочем, сколько-нибудь значительных совпадений между текстом «Воскресения» и книгой Ядринцева нет. Быть может из нее заимствованы в романе некоторые областные сибирские слова, вроде «язви-те», или сведения о том, что проходящие через этапы арестанты оставляют на стенах тюрем записки, в которых сообщают о своей судьбе (отчеркнуто Толстым). Также мало почерпнул Толстой и из другой присланной ему Сытиным книги Л. Мельшина (псевдоним П. Ф. Якубовича) — «В мире отверженных», издание «Русского богатства», 2 тт., СПБ, 1896 г. (в ней нет никаких пометок Толстого). В параллель с «Воскресением» могут быть поставлены лишь те места этой книги, где говорится о специфическом преследовании женщин со стороны стражи и арестантов, о людоедстве среди каторжных уголовных и о раздаче в камерах тюрьмы евангелий иностранными проповедниками.

Больше совпадений «Воскресение» имеет с книгой состоявшего в личном знакомстве с Толстым Д. Кеннана — «Сибирь и ссылка» (русский перевод, Лондон, 1891). Так, почти точно совпадают в обеих книгах описания сибирского полуэтапа и цифры размещенных в тюрьме арестантов. Встретившийся Кеннану в Томске административно-ссыльный сообщает ему о том, что он был сослан в Якутскую область за отказ присягнуть Александру III. За то же и туда же был сослан и фигурирующий в «Воскресении» Набатов. Кеннан и Толстой сходно говорят о крайней тесноте, в которой помещались заключенные в сибирских тюрьмах, принужденные спать на полу, под нарами и в проходах, у обоих переполненная, текущая через край тюремная параша, около которой расположились спящие арестанты. При описании Иркутска у Кеннана упоминаются те же гостиницы (Дюка и «Сибирская»), что и в «Воскресении», в той главе, где идет речь о прибытии Нехлюдова с партией в город, в котором жил начальник края. По словам Кеннана, восточно-сибирский генерал-губернатор Анучин в донесении царю писал о продажности сибирской администрации. О том же на-

чальник края говорит Нехлюдову. Один из сибирских чиновников говорил Кеннану: «Я без числа писал рапорты о злоупотреблениях и неустойках в моем ведомстве, но этим мало чего или, вернее, ничего не добился. Может быть, когда Вы опишете положение дел, это произведет большее впечатление, и что-нибудь и изменится». Начальник края говорит Нехлюдову: «А он хочет видеть во всей прелести? Пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати». Наконец, характеристика у Толстого молодого купца-золотопромышленника, бывшего на обеде у начальника края вместе с Нехлюдовым, близко напоминает характеристику у Кеннана Иннокентия Кузнецова сына богатого красноярского золотопромышленника.

Тынянов, Юрий Николаевич — литературовед и романист. Р. 1894 г. Автор романов «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» (о Грибоедове), «Пушкин», ряда рассказов и повестей.

Заключительную главу из романа «Кюхля» (о пребывании в Сибири и о смерти В. Кюхельбекера) мы перепечатываем по пятому изданию этого романа (1932 г.).

Успенский, Глеб Иванович (1843—1902) — известный русский писатель. С середины 80-х годов в деятельности Глеба Ивановича начинается полоса «Путевых заметок» и «Путевых очерков». Круг своих наблюдений он расширяет на всю страну. В ненасытной жажде впечатлений, в беспрерывных поисках «правды жизни» Г. И. из'ездил в эти годы почти всю Россию. В этот же период у Успенского возникает мысль о поездке в Сибирь.

В 1884 г. Г. И. писал своей знакомой Е. П. Летковой: «В Перми я занимался моими книгами и чувствовал некоторую скуку, но один эпизод заставил меня призадуматься, как говорят, «крепко». Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят, или, как в Ленкорани, караван идет с колокольчиками далеко-далеко. Дальше-больше; выглянул в окно (окно у меня в первом этаже) — гляжу, из-под горы идет серая бесконечная масса арестантов. Скоро все они поравнялись с моим окном, и я полчаса стоял и смотрел на эту закованную толпу; все знакомые лица — и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все, все наше из нутра русской земли, — человек не менее 1500; все это валило в Сибирь из этой России, и меня так потянуло вслед за ними, как никогда не тянуло в Париж, ни на Кавказ, ни в какое-либо место, где виды хорошие, а нравы того превосходнее. Все эти люди — наборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, несосланные, томимся, скучаем, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем и опять мучаемся; все эти, от воров до политических, не выдержали этой жизни, и их тащат на новые места. И мне о х о т о й, а не на цепи, захотелось необузданно итти в новые места».

В 1888 году он едет в Сибирь. В Томске встречается с группой политических ссыльных — своих старых знакомых и друзей. Для «Сибирской газеты» пишет статью об А. Щапове.

Вернувшись из Сибири, он публикует в 1891 г. в «Русской мысли» очерки о своей поездке — «От Казани до Томска и обратно», где дает зарисовки о переселенцах, о «бегстве» российского крестьянина от безземелья и тягот жизни на поселение в Сибирь, о «путешествии» этого же крестьянина тоже на поселение, но за железными решетками. Кроме очерков о Сибири, Успенский написал о ней рассказ — «Не знаешь, где найдешь», который и печатается в настоящем сборнике.

Рассказ, как и очерки, посвящен, главным образом, переселенцам. О коренных сибиряках и в очерках и в рассказах упоминается между прочим. «Заканчивая мои письма о летней поездке в Западную Сибирь, — писал Успенский, — я очень сожалею, что кроме переселенческого, то-есть общерусского дела, мне не пришлось коснуться в них явлений собственно сибирской жизни». Г. И. не удалось ближе познакомиться с сибирской деревней, с улусами и аилами алтайцев, шорцев, хакасов. Поэтому он в своих очерках «не коснулся» зверской эксплоатации бедноты и батраков кулачеством, баями, зайсанами. Вдумчивый наблюдатель, писатель-реалист, он безусловно заметил бы все возрастающую «народную нужду в Сибири» и беспощадное господство того же зверского закона — «отдай!» Он увидел бы полуголодную жизнь и русской сибирской бедноты и коренных ее народностей.

Рассказ «Не знаешь, где найдешь» перепечатывается (с сокращениями) из полного собрания сочинений (изд. А. Ф. Маркса).

Фадеев, Александр Александрович. Р. 1901 г. Автор широко известных романов «Разгром» и «Последний из Удэге», оба об интервенции и гражданской войне на Дальнем Востоке.

Два отрывка из 3-й части романа «Последний из Удэге» даются по тексту издания 1936 г.

Фраерман, Рувим Израилевич — современный писатель, автор ряда книг о

гражданской войне на Дальнем Востоке. Перепечатываемый отрывок взят из книги «Васька гиляк».

Чехов, Антон Павлович (1860—1904) — знаменитый русский писатель. Кроме многочисленных рассказов и пьес, Чехов написал обширные очерки «Остров Сахалин» и цикл небольших зарисовок «Из Сибири».

Отправляясь в поездку на Сахалин (1890 г.), Чехов задумал помещать в «Новом времени» короткие дорожные заметки. В письме А. Суворину А. П. писал с дороги: «Уезжая я обещал прислать Вам путевые заметки, начиная с Томска, ибо путь между Тюменью и Томском давно уже описан и эксплоатировался тысячу раз. Но вы в вашей телеграмме из'явили желание иметь от меня сибирские впечатления возможно скорее... Дорогою писать было положительно невозможно, я вел короткий дневник карандашом и могу предложить Вам теперь только то, что в этом дневнике записано. Чтобы не писать очень длинно и не запутаться, я все свои записанные впечатления разделил на главы. Посылаю вам шесть глав... Если какие строки найдете интересными и достойными печати, то передайте их благодетельной гласности, подписав мою фамилию и печатая их также отдельными главами, через час по столовой ложке. Общее название можно дать «Из Сибири», потом «Из Забайкалья», потом «С Амура» и т. д. Новую порцию Вы получите из Иркутска, куда я еду завтра и куда буду ехать не меньше 10 дней — дорога плоха».

В другом письме А. Суворину Чехов сообщал: «Сегодня (27 июня 1890 г. — ред.) послал Вам четыре листка об Енисее и тайге, потом пришлю о Байкале, Забайкалье и Амуре».

Очерки Чехова «Из Сибири» мы перепечатываем с небольшими сокращениями из X тома полного собрания сочинений, вышедшего под редакцией А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого в 1932 г. По этому же изданию печатается рассказ А. П. Чехова «В ссылке» — единственный рассказ, написанный на сибирском материале.

Шаповалов, Александр Сидорович. Р. 1871. Большевик, за участие в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» в 1896 г. арестован и сослан в Сибирь в Минусинский у., где познакомился с В. И. Лениным, участвовал в с'езде 17-ти социал-демократов. По окончании ссылки вел активную революционную работу. После Октябрьской социалистической революции — на советской и партийной работе. Автор ряда воспоминаний о своей революционной работе. Отрывок о В. И. Ленине в ссылке взят из книги «В царских тюрьмах и в ссылке». М. 1937.

Шишков, Вячеслав Яковлевич. Р. 1873 г. Работал в Сибири и Якутии около 20 лет, как техник и инженер по изысканию путей сообщения. Печататься начал с 1908 года (в газете «Сибирская жизнь» в 1908 г. был помещен первый его рассказ «Кедр»).

Автор многочисленных романов, повестей и рассказов о Сибири: «Тайга», «Угрюм-река», «Ватага», «Чуйские были». Собр. соч. Шишкова (т. 1—XIII) вышло в 1927—1929 гг. в издательстве «Земля и Фабрика» (ЗиФ).

Рассказ «Отец Макарий» перепечатывается из книги: Вяч. Шишков. Пурга. Изд. 2-е М. 1931. Изд-во «Недра».

Отрывок из романа «Угрюм-река» — из 2-х томного издания этого романа в 1933 г.

Шумахер, Петр Васильевич (1817—1891). Поэт, сатирик. Несколько лет служил в Сибири на золотых приисках. Сотрудник добролюбовской «Искры». Автор ряда стихов, направленных против самодержавия. Сибирь почти не нашла отражения в творчестве П. В. Шумахера, если не считать стихотворения «Песня каторжного». Наиболее полное издание стихотворений П. В. Шумахера вышло в 1937 г., в изд. «Советский писатель». (П. В. Шумахер. Стихотворения и сатиры. Серия «Библиотека поэта»), откуда мы и перепечатываем стихотворение «Песня каторжного».

Щапов, Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — один из видных историков-материалистов, сын пономаря с. Анги, Верхоленского у. Учился в Иркутской бурсе и Казанской духовной академии. В 1860 году начал читать лекции в Казанском университете. За резкий протест против расстрела крестьян в с. Бездна в 1861 г. и свою дальнейшую антиправительственную деятельность в Петербурге, в 1864 г. он был выслан в Иркутск.

Автор ряда исторических и публицистических произведений.

Среди его произведений только одно написано, как художественный очерк,— это его воспоминания «Из бурсацкого быта», который под псевдонимом «Сибиряк» был помещен в №№ 18 и 19 сатирического журнала «Искра» за 1863 г. Очерк написан под влиянием Помяловского, который просил Щапова поделиться своими воспоминаниями об Иркутской бурсе. Щапов предполагал дать еще несколько очерков из бурсацкого быта, но этому воспротивилась духовная цензура.

Очерк «Из бурсацкого быта» перепечатывается нами из книги: А. П. Щапов. — Собрание сочинений. Дополнительный том. Иркутск, 1937 г.

Ядринцев, Николай Михайлович — публицист-областник, писатель, исследователь Сибири (1824—1894 гг.). С 1862 сотрудничал в «Искре», «Деле», «Отечественных записках». Основатель газеты и сборников «Восточное обозрение» в Иркутске. Автор ряда научных и публицистических трудов — «Сибирь, как колония» и др. Очерк «На обетованных землях» перепечатывается из «Сибирского сборника» за 1886 г.

Якубович, Петр Филиппович (псевдонимы — Л. Мельшин, П. Я. Гриневич П. М. Рамшев и др.) (1860—1911) — поэт-народоволец.

В 1887 г. был приговорен к каторжным работам, которые отбывал на Каре и в Акатуе (Забайкалье), а затем был на поселении в Кургане. Автор многочисленных стихотворений и очерков «В мире отверженных», «Пасынки жизни» (о сибирских тюрьмах).

Стих. «Песня бурильщиков» написано в Акатуе в 1892 г., печаталось с сокращениями и изменениями. Перепечатано из книги «В мире отверженных» (М. 1933). Стих. «Облако» перепечатывается из сб. «Русская муза». СПБ. 1908.

Ярославский, Емельян (псевдоним Губельмана Миней Израилевича) — старый большевик. Р. 1878 г., в г. Чите. Сын крестьянина ссыльно-поселенца, впоследствии учителя. Революционную деятельность начал в 1898 г. на забайкальской жел. дороге. Как революционер-профессионал работал в Сибири, Петербурге, Одессе, Ярославле и др. городах. Неоднократно арестовывался. Был участником Таммерфорской конференции большевиков, IV и V с'ездов партии. В 1908 г. был приговорен на 7 лет каторги, затем выслан в Якутскую область. Активный участник Октябрьской социалистической революции (в Москве). В 1920 г. работал в Сиббюро ЦК РКП(б). В 1921 — секретарь ЦК. С 1923 г. — секретарь ЦКК ВКП(б), член Партколлегии при ЦК ВКП(б). Е. Ярославский — автор многочисленных книг, брошюр и статей по истории революционного движения и по антирелигиозным вопросам.

Очерк «На волю» перепечатывается из журнала «Сибирские огни», № 1 за 1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 2

Сибирская старина

С. Я. Елпатьевский — Абаканская степь 3
К. Ф. Рылеев — Смерть Ермака 4
П. Ершов — Сузге 5
И. М. Петров — Картины из времен завоевания Сибири 8
Ф. Саянов — Старый Иркутск 9
В. М. Михеев — 26 октября 1881 года 10
И. Г. Калашников — Дочь купца Жолобова 10
Ф. И. Бальдауф — К бурятке 13
А. А. Бестужев-Марлинский — Саатырь 14

Путевые очерки о Сибири

А. Н. Радищев — Записки путешествия в Сибирь 17
И. А. Гончаров — Фрегат «Паллада» 20
А. П. Чехов — Из Сибири 26
Омулевский (И. В. Федоров) — Бирюсинский лес 35
Н. Г. Гарин (Михайловский) — Карандашом с натуры 36

Сибирские заводы и прииски

А. А. Мисюрев — О плавильщике руд Иване Зажигаеве 43
П. Заборинский — Иван Ползунов 54
П. Ершов — Желание 62
Анна Караваева — Золотой клюв 63
В. М. Михеев — Через мрак к свету 67
И. А. Кущевский — Не столь отдаленные места Сибири 68
Н. И. Наумов — Еж 73

Сибирская деревня, переселенцы, нацмены

Н. И. Наумов — Деревенский торгаш 81
Вяч. Шишков — Отец Макарий 91
В. М. Михеев — Новоселы 95
Г. И. Успенский — Не знаешь, где найдешь 96
Н. М. Ядринцев — На обетованных землях 100
Н. Д. Телешов — Нужда 103
В. М. Бахметьев — На земле 107
М. Горький — На дне 115
Н. И. Наумов — Горная идиллия 117
В. Г. Тан (В. Г. Богораз) — На мертвом стойбище 121

Сибирская школа

А. П. Щапов — Из бурсацкого быта 128
И. А. Кущевский — Николай Негорев 133
В. В. Иванов — Похождение факира 138

Сибирские помпадуры

А. И. Герцен — Былое и думы 143
К. М. Станюкович — В местах не столь отдаленных 145
Г. А. Мачтет — Сон одного заседателя 153
Д. Н. Мамин-Сибиряк — Сибирские орлы 160
Вяч. Шишков — Угрюм-река 165

Уголовная ссылка

Д. П. Давыдов — Думы беглеца на Байкале 170
Ф. М. Достоевский — Записки из мертвого дома 170
Л. Н. Толстой — Воскресенье 178
П. В. Шумахер — Песня каторжного 181
А. Толстой — Колодники 181
А. П. Чехов — В ссылке 181
С. Я. Елпатьевский — Отлетает мой соколик 186
Ф. А. Березовский — Праведник 189

Политическая ссылка

М. Жижка — «Путешествие» от Петербурга до Илимского острога . . 197
Омулевский (И. В. Федоров) — Если ты странствуешь, путник... . . 200
Он же — На дальней родине моей... 200
А. С. Пушкин — В Сибирь 201
А. И. Одоевский — А. С. Пушкину 201
Ю. Тынянов — Кюхля 201
В. К. Кюхельбекер — 19 октября 1836 г. 207
Он же — Аргунь 208
Н. А. Некрасов — Декабристки 208
В. Г. Короленко — Воспоминания о Чернышевском 213
М. Л. Михайлов — Крепко, дружно вас в об'ятья... 219
Он же — Смело, друзья! Не теряйте... 219
П. Ф. Якубович — Песня бурильщиков 220
Он же — Облако 220
В. Г. Короленко — Искушение 221
Н. К. Крупская — В ссылке 232
А. С. Шаповалов — В царских тюрьмах и ссылке 237
В. Швейцер — В Туруханской ссылке 242
Н. Ростов — Жизнь Костюшко-Волюжанича 244
А. Смердов — Товарищ Валерьян 251
Ем. Ярославский — На волю 253
Зинаида Орджоникидзе — Путь большевика 255
В. М. Бахметьев — Волчий марш 261
Н. Н. Асеев — Владимирский тракт 267

Революционное движение в Сибири

Омулевский (И. В. Федоров) — Шаг за шагом 269
В. В. Куйбышев — Первый арест и суд 273
М. Попов — С. М. Киров в Томске 286
М. Бажан — Демонстрация в Томске 293
В. В. Иванов — Погром 295
И. Тачалов — Мрачная повесть 296
Он же — Орлиная песня 298
Г. Пушкарев — Осада 298
В. В. Вересаев (Смидович) — Рассказы о войне 307
И. В. Пузырев — На рассвете 312

За власть советов

Песня 27-й Краснознаменной дивизии 317
Матэ Залка — Третий 317
Н. Асеев — Семен Проскаков 320

10.7220 ОССР—НКП
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬ
Научно-техническая
Б Б Н
Новосибирск, Ленинская

А. А. Фадеев — Последний из Удэге 322
Он же — Пташка 332
Всеволод Иванов — Бронепоезд № 14-69 335
А. С. Новиков-Прибой — Зуб за зуб 338
Л. Н. Сейфуллина — Линюхина Степанида 349
В. Ильенков — Цена человека 358
Р. Фраерман — Васька гиляк 360
Антон Сорокин — Саудакас 369
Илья Мухачев — Сайгалата 370
В. А. Луговской — Песня о ветре 373
Никандр Алексеев — Партизанская пушка 374
С. Алымов — Партизанская 375
Дальневосточная 375

Примечания 376

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

р.	Строка	Напечатано	Нужно
9	20 сверху	сюда	отсюда
0	19 снизу	понимал	понимаю
2	5 сверху	жар	пар
1	22 снизу	едет человек?	чего едет человек?
8	1 сверху	доклаад	доклада
9	5 сверху	одного	оного
3	22 сверху	прижилками	прожилками
4	7 сверху	рукодопов	рудокопов
2	1 сверху	горба	торба
4	3 сверху	клак	клал
8	3 снизу	дойдут	не дойдут
0	13 снизу	переселенецв	переселенцев
2	29 сверху	харкнул	гаркнул
0	6 сверху	нелыпые	нелепые
4	18 сверху	хлопочат	хлопочут
7	8 снизу	страх	страж
5	11 снизу	укореневшимися	укоренившимися
2	20 сверху	„Zudu rodoczy,	„Ludu roboczy,
4	14 снизу	Получили	Получали

Заказ № 3423

Составил Г. Пушкарев

Редактор С. Кожевников. Технический редактор А. Л. Темиряев.

Сдано в производство 7|XII 1937 г. Подписано к печ. 10|XII-1938 г. Формат 70×105/16. Тир. 10000. Бум. л. 12¼. Печ. 24½ л. Уч.-авт. 48 л. Изд. № 1956. Новосибирск, типогр. № 1 Облисполкома. Зак. 3423. Уполномоченный Облита № 11709 от 10|XII-38 г. Цена 9 р. 50 к. Перепл. 1 р. 50 к.

Сибирские помпадуры

А. И. Герцен — Былое и думы 143
К. М. Станюкович — В местах не столь отдаленных 145
Г. А. Мачтет — Сон одного заседателя 153
Д. Н. Мамин-Сибиряк — Сибирские орлы 160
Вяч. Шишков — Угрюм-река 165

Уголовная ссылка

Д. П. Давыдов — Думы беглеца на Байкале 170
Ф. М. Достоевский — Записки из мертвого дома 170
Л. Н. Толстой — Воскресенье 176
П. В. Шумахер — Песня каторжного 181
А. Толстой — Колодники 181
А. П. Чехов — В ссылке 181
С. Я. Елпатьевский — Отлетает мой соколик 186
Ф. А. Березовский — Праведник 189

Политическая ссылка

М. Жижка — «Путешествие» от Петербурга до Илимского острога . . 197
Омулевский (И. В. Федоров) — Если ты странствуешь, путник... . . . 200
Он же — На дальней родине моей... 200
А. С. Пушкин — В Сибирь 201
А. И. Одоевский — А. С. Пушкину 201
Ю. Тынянов — Кюхля 201
В. К. Кюхельбекер — 19 октября 1836 г. 207
Он же — Аргунь .
Н. А. Некрасов — Де
В. Г. Короленко — Во
М. Л. Михайлов — Кр
Он же — Смело, друзь
П. Ф. Якубович — Пес
Он же — Облако .
В. Г. Короленко — Ис
Н. К. Крупская — В с
А. С. Шаповалов — В
В. Швейцер — В Турух
Н. Ростов — Жизнь Ко
А. Смердов — Товарищ
Ем. Ярославский — На
Зинаида Орджоникидзе
В. М. Бахметьев — Во
Н. Н. Асеев — Владими

Ре

Омулевский (И. В. Федо
В. В. Куйбышев — Перв
М. Попов — С. М. Киро
М. Бажан — Демонстра
В. В. Иванов — Погром
И. Тачалов — Мрачная
Он же — Орлиная песн
Г. Пушкарев — Осада 298
В. В. Вересаев (Смидович) — Рассказы о войне 307
И. В. Пузырев — На рассвете 312

За власть советов

Песня 27-й Краснознаменной дивизии 317
Матэ Залка — Третий 317
Н. Асеев — Семен Проскаков 320

10.7220 СССР—НКТП
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Научно-техническая БИБЛИОТЕКА
Новосибирск, Ленинская, 32а № 5

А. А. Фадеев — Последний из Удэге 322
Он же — Пташка 332
Всеволод Иванов — Бронепоезд № 14-69 335
А. С. Новиков-Прибой — Зуб за зуб 338
Л. Н. Сейфуллина — Линюхина Степанида 349
В. Ильенков — Цена человека 358
Р. Фраерман — Васька гиляк 360
Антон Сорокин — Саудакас 369
Илья Мухачев — Сайгалата 379
В. А. Луговской — Песня о ветре 373
Никандр Алексеев — Партизанская пушка 374
С. Алымов — Партизанская 375
Дальневосточная 375

Примечания 376

Составил Г. Пушкарев

Редактор С. Кожевников. Технический редактор А. Л. Темиряев.

Сдано в производство 7|XII 1937 г. Подписано к печ. 10|XII-1938 г. Формат 70×105/16. Тир. 10000. Бум. л. 12¼. Печ. 24½ л. Уч.-авт. 48 л. Изд. № 1956. Новосибирск, типогр. № 1 Облисполкома. Зак. 3423. Уполномоченный Облгита № 11709 от 10|XII-38 г. Цена 9 р. 50 к. Перепл. 1 р. 50 к.